



СТЕФАН  
ЦВЕИГ

# СТЕФАН ЦВЕИГ

Собрание  
сочинений  
в десяти  
томах

# STEFAN ZWEIG

*Stefan Zweig*

Собрание  
сочинений  
в десяти  
томах

# СТЕФАН ЦВЕИГ

Собрание  
сочинений

Том  
6

ВРАЧЕВАНИЕ  
И ПСИХИКА  
ЖОЗЕФ ФУШЕ



МОСКВА  
«ТЕРРА» — «TERRA»  
1996

ББК 84.4 А  
Ц26

Внешнее оформление  
И. САЙКО

Ц  $\frac{4703010000-208}{A30(03)-96}$  Подписное

ISBN 5-300-00432-4 (т. 6)  
ISBN 5-300-00427-8

© Издательский центр «ТЕРРА», 1996

*Альберту Эйнштейну  
почтительно*





ВРАЧЕВАНИЕ  
И ПСИХИКА







## ВВЕДЕНИЕ

Всякое ущемление естества есть напоминание о высшей родине.

*Новалис*

**З**доровье для человека естественно, болезнь — неестественна. Здоровье приемлет-ся его телом как нечто само собой понятное, так же, как воздух легкими и свет глазами; не заявляя о себе, живет оно и растет в нем вместе с общим его жизнеощущением. А болезнь — она проникает внезапно, как что-то чуждое, она нечаянно набрасывается на объятую страхом душу и берет в ней множество вопросов. Ибо если откуда-то со стороны явился он, злой враг, то кто же наслал его? Останется он или уйдет? Доступен он заклятию, мольбе, преодолению? Жесткими своими когтями извлекает болезнь из сердца противоречивейшие чувства: страх, веру, надежду, обреченность, проклятие, смирение, отчаяние. Она учит больного спрашивать, думать и молиться, поднимать полный испуга взор в пустоту и обретать там существо, коему можно поведать о своем страхе. Только страдание создало в человечестве религиозное чувство, мысль о Боге.

Поскольку здоровье от природы присуще человеку, оно необъяснимо и не требует объяснений. Но всякий страждущий ищет в каждом случае смысл своих страданий. Ибо мысли о том, что болезнь нападает на нас без всякого толку, что без всякой нашей вины, бесцельно и бессмысленно, тело охватывается жаром и раздирается, до последних своих глубин, раскаленными лезвиями боли, — этой чудовищной мысли о полной нелепости страданий, мысли, достаточной, чтобы ниспровергнуть всю этику мироздания, человечество еще никогда не решилось довести до конца. Болезнь всякий раз представляет-

ся ему кем-то ниспосланной, и тот непостижимый, кто ее посылает, должен, по мнению человечества, иметь все основания для того, чтобы вселить ее именно в это вот тленное тело. Кто-то должен копить зло на человека, гневаться на него, его ненавидеть. Кто-то хочет его наказать за какую-то вину, за какой-то проступок, за нарушенную заповедь. И это может быть только тот, кто все может, тот самый, кто мечет молнии с неба, кто шлет на поля жар и стужу, кто зажигает звезды и туманит их, ОН, у кого вся власть, всемогущий: Бог. От начала времен, поэтому явление болезни связано с религиозным чувством.

Боги посылают болезнь, боги одни могут и взять ее обратно: эта мысль утверждена незыблемо в преддверии всякой врачебной науки. Еще полностью лишенный сознания собственного своего разума, беспомощный, несчастный, одинокий и слабый, охвачен человек древности пламенем своего недуга и не знает другого выхода, как с воплем обратиться свою душу ввысь, к Богу-чародею, чтобы он от него отступился. Только вопль, молитву, жертвоприношение и знает первобытный человек в качестве лечебного средства. Нельзя защититься против него, сверхсильного, непреодолимого во мраке; значит, нужно смириться, добиться его прощения, умолять его, упрашивать, чтобы он взял обратно из тела пламенеющую боль. Но как достигнуть его, невидимого? Как взывать к нему, не зная его обиталища? Как подать ему знаки раскаяния, всепокорности, обетования и готовности к жертвам, знаки, которые были бы ему понятны? Всего этого не знает оно, бедное, неискушенное, смутное сердце ранней поры человечества. Ему, неведающему, не откроется Бог, не снизойдет к его низкой, будничной доле, не удостоит его ответа, не услышит его. И вот, в нужде своей, должен беспомощный, бессильный человек искать себе другого человека, как посредника перед Богом, мудрого и искушенного, которому ведомы чары и заклинания, дабы умиловить темные силы, ублажить их во гневе. И таким

посредником в эпоху первобытных культур является единственно жрец.

Таким образом, в доисторическую пору человечества борьба за здоровье означает не борьбу с отдельной болезнью, а борьбу за Бога. Всяческая медицина на земле начинается как теология, как магия, культ, ритуал, как душевная напряженность человека против посланного Богом испытания. Телесному страданию противопоставляется не технический, а религиозный акт. Не ищут причин недуга, а ищут Бога. Не борются с болезнью, а пытаются замолить, искупить ее, откупиться от Бога при помощи обетов, жертв и церемоний, ибо только тем путем, каким пришла она, — путем сверхъестественным, — может она и отступить. Так единству явления противопоставляется еще полное единство чувства. Есть только одно здоровье и одна болезнь, а для этой последней опять-таки только одна причина и одно средство: Бог. А между Богом и страданием есть только один посредник — все тот же жрец, этот страж души и тела в одно и то же время. Мир еще не расщеплен, не раздвоился; вера и знание образуют в святилище храма одну, единую категорию; избавление от боли не может совершиться без выступления на арену душевных сил, без ритуала, заклинаний и молитвы. А потому толкователи снов, заклинатели демонов, жрецы, коим введом таинственный ход светил, творят свое целебное искусство не как практический акт науки, а как таинство. Не поддающееся изучению, доступное восприятию лишь посвященных, передается оно, это искусство, от поколения к поколению; и хотя жрецы, имея опыт, немало понимают во врачевании, они никогда не дают советов исключительно деловых: они требуют чуда в исцелении, требуют освященной храмины, душевной приподнятости и присутствия богов. Только очистившись и освятившись телом и духом, вправе больной воспринять целебную формулу; паломники, бредущие дальней и трудной дорогой к храму в Эпидавре, должны провести канун в вечерней молитве, должны омыть тело, заколоть каждый по жертвенному животному,

проспать ночь в преддверии на шкуре жертвенного кабана и повеждать сны этой ночи жрецу для их разъяснения: лишь тогда он удостоит их одновременно и пастырского благословения, и врачебной помощи. Но всякий раз в качестве первейшего залога исцеления утверждается приближение души, полной веры, к Богу: кто хочет чуда выздоровления, должен подготовить себя к чуду. Врачебная наука в истоках своих неотторжима от науки о Боге; медицина и богословие составляют поначалу одно тело и одну душу.

Это начальное единство вскоре рушится. Ибо для того, чтобы стать самостоятельной и принять на себя практическое посредничество между болезнью и больным, наука должна отринуть божественное происхождение болезни и исключить, в качестве совершенно излишней, религиозную установку — жертву, молитву, культ. Врач выступает рядом со жрецом, а вскоре и против жреца — трагедия Эмпедокла — и, низводя страдания из области сверхчувственной в плоскость обыденно-природного, пытается устранить внутреннее расстройство средствами земными, стихиями внешней природы, ее травами, соками и солями. Жрец замыкается в рамках богослужения и отступает от врачебного искусства, врач отказывается от всякого воздействия на душу, от культа и магии; отныне два эти течения разветвляются и идут каждое своим путем.

С момента нарушения первоначального единства все элементы врачебного искусства приобретают сразу же совершенно новый и заново окрашивающий смысл. Прежде всего единое душевное явление «болезнь» распадается на бесчисленные, точно обозначенные болезни. И вместе с тем ее сущность теряет в известной степени связь с духовной личностью человека. Болезнь означает уже нечто, приключившееся с человеком не в его целом, а лишь с отдельным его органом (Вихров на конгрессе в Риме: «Нет болезней вообще, а лишь отдельные болезни органов и клеток»). И первоначальная задача врача — противостоять болезни как некоей цельности — заменяется теперь, естественным образом, более незначительной,

строго говоря, задачей — локализовать всякое страдание по его исходным точкам и причислить его к какой-либо из давно расчлененных и описанных групп болезней. Как только врач поставил правильный диагноз и дал болезни наименование, он в большинстве случаев уже выполнил суть своего дела, и лечение совершается в дальнейшем само собою при посредстве предусмотренных на этот «случай» медицинских приемов. Полностью отрешившись от религии, от волшебства, являясь добытой в школе суммой знаний, современная медицина оперирует не индивидуальной интуицией, а твердыми практическими установками, и если она до сих пор еще охотно присваивает себе поэтическое наименование «врачебного искусства», то высокий этот термин может означать лишь более слабую степень — «искусство ремесленное». Ибо давно уже наука врачевания не требует от своих учеников, как некогда, жреческой избранности, таинственной мощи провидения, особого дара созвучия с основными силами природы; призванность стала призванием, магия — системой, таинство врачевания — осведомленностью о лекарственных средствах и об отправлениях организма. Исцеление совершается уже не как психическое воздействие, не как событие неизменно чудесное, но как чистейший и почти наперед рассчитанный рассудочный акт со стороны врача; выучка заменяет вдохновение, учебник приходит на смену Логосу, исполненному тайны, творческому заклинанию жреца. Там, где древний, магический порядок врачевания требовал высшего душевного напряжения, новая, клинико-диагностическая система требует от врача противоположного, а именно ясности духа, отрешенного от нервов, при полнейшем душевном спокойствии и деловитости.

Эти неизбежные в процессе врачевания деловитость и специализация должны были в девятнадцатом веке усилиться сверх меры, ибо между пользующимся и пользующим возникло еще третье, полностью бездушное существо: аппарат. Все более ненужным становится для диагноза пронизательный и творчески сочетающий симптомы взор прирожденного врача: микроскоп открывает для него зародыш бактерии, измери-

тельный прибор отмечает за него давление и ритм крови, рентгеновский снимок устраняет необходимость в интуитивном прозрении. Все больше и больше лаборатория принимает на себя в диагностике то, что требовало от врача личного проникновения, а для пользования больного химическая фабрика дает ему в готовом виде, дозированным и упакованным то лекарство, которое средневековый медик должен был собственноручно, от случая к случаю, перемешивать, отвешивать и рассчитывать. Засилие техники, проникшее в медицину хотя и позже, чем повсюду, но столь же победоносно, сообщает процессу врачевания деловитость некоей великолепным образом разработанной в деталях и по рубрикам схемы; понемногу болезнь — некогда вторжение необычного в сферу личности — становится противоположностью тому, чем была она на заре человечества: она превращается, большей частью, в «обычный», «типический» случай, с заранее рассчитанной длительностью и механизированным течением, делается задачей, доступной разрешению методами рассудка. К этой рационализации на путях внутренних присоединяется, в качестве мощного пополнения, рационализация извне, организационная; в клиниках, этих гигантских вместилищах горя человеческого, болезни распределяются, точно так же, как в деловых центрах, по специальным отделениям, с собственными подъемниками, и так же распределяются врачи, конвейером проносящиеся от постели к постели, исследующие отдельные «случаи» — всегда только больной орган, и большей частью не имеющие времени заглянуть в лицо человека, прорастающего страданием. Исполинские организации больничных касс и амбулаторий привносят свою долю в этот обездушивающий и обезличивающий процесс; возникает перенапряженное массовое производство, где не зажечься ни одной искре внутреннего контакта между врачом и пациентом, где, при всем желании, становится все более и более невозможным малейшее проявление таинственного магнетического взаимодействия душ. И тут же, в качестве ископаемого, допотопного

экземпляра, вымирает домашний врач, тот единственный, кто в больном знал и человека, знал не только его физическое состояние, его конституцию и ее изменения, но и семью его, а с ней и некоторые биологические предпосылки, — он, последний, в ком оставалось еще нечто от прежней двойственности жреца и врача. Время сбрасывает его с колесницы. Он являет собою противоречие закону специализации и систематизации, так же как извозчичья лошадь по отношению к автомобилю. Будучи слишком человеческим, он не подходит больше к ушедшей вперед механике медицины.

Против этого обезличивания и полнейшего обездушивания врачебной науки искони выступала широкая, непросвещенная, но в то же время внутренне понимающая масса народа, в тесном смысле этого слова. В точности так же, как тысячи лет назад, смотрит простой, недостаточно еще «образованный» человек на болезнь с благоговейным чувством, как на нечто сверхъестественное, все еще противопоставляет он ей душевный акт надежды, страха, молитвы и обета, все еще первая его, руководящая мысль — не об инфекции или заболевании сосудов, а о Боге. Никакая книга и никакой учитель не убедит его в том, что болезнь возникает «естественным» путем, а следовательно, без всякого смысла и без вины; а потому он заранее проникается недоверием ко всякой практике, которая обещает устранить болезни путем трезвым, техническим, холодным, т. е. бездушным. Равнодушие народа к ученому, с высшим образованием, врачу слишком глубоко отвечает его потребности — наследственному массовому инстинкту — в связанном с целым миром, сроднившимся с растениями и животными, знающем тайны «враче по природе», ставшем врачом и авторитетом в силу своей натуры, а не путем государственных экзаменов; народ все еще хочет, вместо специалиста, обладающего знанием болезней, «человека медицинского», имеющего «власть» над болезнью. Пусть давно уже в свете электричества рассеялась вера в ведьм и дьяволов, — вера в этого чудодейственного, знающего чары человека сохрани-



лась в гораздо большей степени, чем в этом признаются открыто. И то же самое почтительное благоговение, которое мы испытываем по отношению к гению и человеку, непостижимо творящему, в лице, скажем, Бетховена, Бальзака, Ван Гога, питает народ доныне ко всякому, в ком чувствует он якобы целебную мощь, превосходящую норму; доныне требует он себе как «посредника», вместо холодного «средства», полнокровного живого человека, от которого «исходит сила». Знахарка, пастух, заклинатель, гипнотизер именно в силу того, что они практикуют свое лекарское ремесло не как науку, а как искусство. и притом запрещенное искусство черной магии, в большей степени вызывают его доверие, чем имеющий все права на пенсию, хорошо образованный общинный деревенский врач. По мере того как медицина становится все более и более технической, рассудочной, локализирующей, все яростней отбивается от нее инстинкт широких масс; все шире и шире, вопреки всяческому школьному образованию, разрастается в низах народа, в смутных его глубинах это течение, направленное против академической медицины.

Это сопротивление давно уже чувствуется наукой, и она борется с ним, но тщетно. Не помогло и то, что она связалась с государственной властью и добилась от нее закона против лекарей-шарлатанов и целителей «силами природы»: движения, в последней глубине своей религиозные, не подавляются до конца силой параграфов. Под сенью закона ныне, как и во времена средневековья, продолжают орудовать бесчисленные, не имеющие степеней и, значит, с государственной точки зрения, неправомочные целители; неустанно длится партизанская война между природными методами лечения, религиозным врачеванием и научной медициной. Но самые опасные противники академической науки явились не из крестьянских хижин и не из цыганских таборов, а возникли в ее собственных рядах; подобно тому как французская революция, а равно и всякая другая заимствовали вождей не из народа, но, наоборот, мощь дворянства потрясена была, собственно говоря, дворяна-

ми, против нее восставшими, так и в великом восстании против чрезмерной специализации школьной медицины решающее слово неизменно принадлежало отдельным, независимым врачам.

Первым, кто повел борьбу против бездушия, против срывания покровов с чудес врачевания, был Парацельс. Вооружась булавой мужицкой своей грубости, ополчился он на «докторов» и предъявил книжной их, бумажной учености обвинение в том, что они хотят разложить человеческий микрокосм, как часовой механизм, на части и потом опять склеить. Он борется с высокомерием, с догматической авторитарностью науки, утратившей всякую связь с высокой магией *natura naturans*<sup>\*</sup>, не замечающей и не признающей стихийных сил и не чующей излучений как отдельных душ, так и мировой души в целом. И как ни сомнительны, на взгляд современности, его собственные рецепты, духовное влияние этого человека растет, как бы под покровом времени, и в начале девятнадцатого века вырывается наружу в так называемой «романтической» медицине, которая, являясь ответвлением философски-поэтического течения, стремится, в свою очередь, к высшей форме телесно-душевного единства. С безусловной верой во вселенскую одухотворенность природы она отстаивает мысль, что сама природа — наиболее мудрая целительница и нуждается в человеке в лучшем случае лишь как в пособнике. Подобно тому как кровь, не побывав в учении у химиков, образует антитоксины против всякого яда, так и организм, сам себя поддерживающий и преобразующий, способен в большинстве случаев без всякой помощи справиться с болезнью. Поэтому путеводной нитью всякого человеческого врачевания должно быть правило — не идти вразрез с естественным ходом жизни, а лишь укреплять в случае болезни всегда присущую человеку волю к выздоровлению. А этот импульс нередко может быть поддержан путем душевного, духовного, религиозного воздействия в

---

<sup>\*</sup> Термин Спинозы «природа рождающая, творящая», в противоположность *natura naturata* — «природа творимая, пассивная».

той же мере, как и при помощи грубой аппаратуры и химических средств; истинное же исцеление всегда совершается изнутри, а не извне.

Сама природа — тот «внутренний врач», которого каждый с рождения носит в себе и который поэтому более понимает в болезнях, чем специалист, лишь извне нащупывающий симптомы; впервые болезнь, организм и проблема врачевания рассматриваются романтической медициной вновь как некое единство. Целый ряд систем возникает в девятнадцатом столетии из этой основной идеи о самостоятельной силе сопротивления организма. Месмер основывает свое магнетическое учение на воле человека к здоровью, *Christian Science*\* — на плодотворной мощи самосознания; и наряду с этими использующими внутренние силы природы мастерами другие обращаются к силам внешним: гомеопаты — к цельному, неразбавленному веществу, Кнейп и другие последователи врачевания природой — к ее восстанавливающим стихиям — воде, солнцу, свету; и все они отказываются, как бы сговорившись, от всяких химических комбинаций в лечении, от всякой аппаратуры и, стало быть, от самых значительных достижений новейшей науки. Общее всем этим природным методам, чудесным исцелениям и «врачеванию духом» положение, противостоящее школьной патологии с ее тенденциями к локализации, может быть выражено в единой, короткой формуле. Научная медицина рассматривает больного с его болезнью как объект и отводит ему, почти презрительно, абсолютно пассивную роль; ему не о чем спрашивать и не о чем говорить; все, что он должен делать, это послушно и даже без единой мысли следовать предписаниям врача и по возможности выключить себя самого из процесса пользования. В этом слове «пользование» ключ ко всему. Ибо в то время, как в научной медицине больного «пользуют» в качестве объекта, метод душевного врачевания требует от больного прежде все-

---

\* Христианская наука (англ.).

го, чтобы он сам пользовался душой, чтобы он, как субъект, как носитель и главный исполнитель врачевания, проявил максимум возможной для него активности в борьбе с болезнью.

В этом призыве к больному — воспрянуть душой, собрать воедино свою волю и целостность своего существа противопоставить целостности болезни — и состоит существеннейшее и единственное врачебное средство всех психических методов, и пособничество их представителей ограничивается по большей части не чем иным, как такого рода словесным обращением. Но того, кто знает, какие чудеса может совершать Логос, творческое слово, это чародейное сотрясение уст в пустоте, создавшее бесчисленные миры и бесчисленные миры разрушившее, того не поразит, что в науке врачевания, как и во всех других областях, несчетное число раз совершались при посредстве единого слова истинные чудеса, что только через словесное обращение и взгляд — этих посланцев от личности к личности — во многих случаях могло быть восстановлено, исключительно воздействием на дух, здоровье в организмах, совершенно расшатанных. В полной мере чудесные, исцеления эти не являются ни чудом, ни исключительным явлением; они лишь смутно отражают все еще неясный для нас закон взаимодействия высшего порядка между телом и душой, который полнее, может быть, исследуют будущие поколения; для нас же достаточно и того, что возможность врачевания путем чисто психическим уже не отрицается и что по отношению к явлениям, необъяснимым с точки зрения чистой науки, установилось известного рода смутное признание.

Такие самовольные отклонения отдельных крупных представителей врачевания от академической медицины принадлежат, по моему разумению, к числу интереснейших эпизодов истории культуры. Ибо ничто в истории, как в материальной, так и в истории духа, не сравнится по драматической силе психического воздействия с тем эпизодом, когда один-единственный, слабый, изолированный человек идет в одиночку про-

тив гигантской, весь мир объемлющей организации. Поднимается ли Спартак, осыпаемый побоями раб, против римских легионов и когорт, или Пугачев, бедный казак, против исполнинской России, или Лютер, широколобый августинский монах, против всемогущей *fides catholica*\*, — всякий раз, когда человек противопоставляет объединенным силам вселенной всего лишь внутреннюю мощь своей веры и бросается в борьбу, кажущуюся бессмысленной из-за полной ее безнадежности, именно тогда душевное его напряжение творчески передается людям и создает из ничего несметные силы. Каждый из великих наших фанатиков «лечения духом» собрал вокруг себя сотни тысяч, каждый делами своими и исцелениями пробудил и поколебал сознание эпохи, от каждого пошли и проникли в науку мощные течения.

Фантастическое положение: в эпоху, когда медицина, благодаря сказочному вооружению своей техники, творит истинные чудеса, когда она научилась дробить, наблюдать, фотографировать, измерять, подвергать своему воздействию и изменять мельчайшие атомы и молекулы живой ткани, когда все другие точные науки поспешествуют ей и сопутствуют и ничто органическое не являет как будто тайны, — как раз в этот самый миг ряд независимых исследователей доказывает ненужность во многих случаях всей этой аппаратуры. Они открыто и неопровержимо свидетельствуют своими делами о том, что и в нашу пору, как некогда, можно с голыми руками, исключительно путями психическими, добиться исцеления, и даже в тех случаях, когда ничего не мог сделать до них величественный и точный механизм университетской медицины. На первый взгляд система их непонятна и почти смешна в силу своей незначительности: врач и пациент мирно сидят рядом и, кажется, просто болтают. Ни рентгеновских снимков, ни измерительных приборов, ни электрической цепи, ни кварцевых ламп, ни даже термометра — ничего нет от всего того

---

\*Католическая вера (англ.).

технического арсенала, который составляет справедливую гордость нашего времени; и все-таки их древний метод действует часто с большей силой, чем ушедшая вперед терапия. То обстоятельство, что ходят железнодорожные поезда, не внесло никаких изменений в душевную конституцию человечества, ибо разве не подвозят они ежегодно к Лурдскому гроту сотни тысяч паломников, ждущих чудесного исцеления только оттуда? И то, что изобретены токи высокой частоты, столь же мало устранило тяготение души человеческой к тайне, ибо в 1930 году, в Гальспахе, они, эти токи, будучи укрыты в магическом жезле некоего ловца душ, волшебством создали из ничего целый город с отелями, санаториями и увеселительными заведениями — все вокруг одного-единственного человека. Ни один факт столь наглядно, как многообразный успех методов внушения и так называемых чудесных исцелений, не свидетельствует о том, какие огромные залежи веры еще имеются в двадцатом столетии и сколько практических возможностей врачевания сознательно упущено за долгие годы медициной, ориентирующейся на бактериологию и гистологию, той медициной, которая так упорно отрицала малейшую возможность иррационального и по прихоти своей исключала психическую самопомощь из своих точных расчетов.

Само собой разумеется, ни одна из этих современно-старинных систем ни на миг не поколебала несравненную по своей продуманности и универсальности организацию современной медицины; успех отдельных психических методов и систем отнюдь не доказывает, что научная медицина была сама по себе не права, но обличает лишь тот догматизм, что неизменно замыкался в последней из найденных систем врачевания, в качестве лучшей для всех и единственно возможной, и издевался над всякой другой, как над несовременной, неправильной и невозможной. Вот этому самомнению нанесен жестокий удар. В той плодотворной вдумчивости, которая замечается теперь как раз у духовных вождей медицины, не последняя роль принадлежит непреложному успеху, в отдель-

ных случаях, тех психических методов лечения, о которых речь будет ниже. Смутное, но и нам, непосвященным, внятное сомнение зародилось в их рядах: не завела ли (как открыто допускает человек такого масштаба, как Зауэрбрух) «чисто бактериологическая и серологическая трактовка болезней медицину в тупик», не начинает ли наука врачевания превращаться постепенно из служения человеку в нечто самодовлеющее и чуждое людям — с одной стороны, благодаря специализации и с другой — в силу предпочтения, отдаваемого количественному расчету перед индивидуальной диагностикой, не стали ли — повторяя превосходную формулировку — «врач чересчур уж медиком».

То, что в наше время именуется «кризисом сознания в медицине», не является, однако, ни в какой мере узкопрофессиональным вопросом; этот кризис входит в состав того общеевропейского состояния неустойчивости, того универсального релятивизма, который, после длившегося десятилетиями диктаторского утверждения и отрицания во всех отраслях науки, заставляет специалистов вновь оглянуться, наконец, назад и поставить ряд вопросов. Отрадным образом начинает обнаруживаться известного рода широта взглядов, столь чуждая обычно академическим кругам; так, превосходная книга Ашнера «Кризис медицины» дает изобилие неожиданных примеров того, как методы лечения, еще вчера и позавчера подвергавшиеся, в качестве средневековых, осмеянию и вышучиванию (вроде пускания крови или прижигания), стали сегодня новейшими и наиболее действенными.

Более справедливо и с живым, наконец, интересом к закономерности явления взирает медицина на случаи «исцеления духом», те самые, что еще в девятнадцатом веке отрицались и высмеивались людьми, имеющими «степень», в качестве шарлатанства, обмана и фокусничества; серьезные усилия прилагаются к тому, чтобы постепенно сочетать эти сторонние, чисто психические достижения с точными достижениями клинического обихода. Неоспоримо чувствуется в среде умнейших и гуманнейших врачей своего рода тоска по прежнему универ-

сализму, стремление найти пути от замкнутой, локализованной патологии к конституциональной терапии, к осведомленности не только об отдельных болезнях, коим подвержен человек, но и о личности этого человека. Исследовав вплоть почти до молекулы тело и клеточку, как универсальную материю, творческая любознательность вновь обращает, наконец, свой взор в сторону целостности болезни, различной в каждом случае, и вслед за местными призраками ищет других, высших. Новые научные дисциплины — учение о типах, физиономика, учение о наследственности, психоанализ, индивидуальная психология — пытаются вновь выдвинуть на первый план как раз не родовое в человеке, а изначальное единство каждой личности; достижения внеакадемической психологии, явления внушения, самовнушения, открытия Фрейда, Адлера все настойчивее овладевают вниманием всякого вдумчивого врача.

Разделенные веками, снова начинают сближаться два течения в науке врачевания, органическое и психическое, ибо неизбежно — вспомним образ спирали у Гете — всякое развитие возвращается, на более высокой ступени, к исходной своей точке. Всякая механика приходит в конце концов к изначальному закону движения, всякое дробление вновь тяготеет к единству, все рациональное поглощается, в свою очередь, иррациональным; и после того как века науки строго и односторонне исследовали материю и форму человеческого тела вплоть до основных глубин, вновь возникает вопрос о «духе, созидающем для себя тело».

\* \* \*

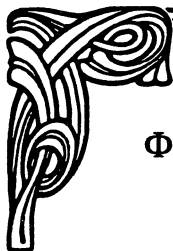
Книга эта задумана отнюдь не как систематическая история всех психических методов лечения. Мне дано лишь воплощать идеи в образах. Поведать о том, как мысль растет в человеке и потом прорастает через него в мир, — такая картина из области духовно-душевной жизни явственнее, мне кажется, отобразит идею, чем любой историко-критический



очерк. Поэтому я ограничился тем, что выбрал трех человек, которые, идя самостоятельными и даже противоположными путями, воплотили в жизнь, на сотнях тысяч людей, идею лечения духом: Месмер — внушением укрепляя волю к здоровью, Мери Бекер-Эдди — хлороформируя экстастикой мощной веры, Фрейд — призывая к самопознанию и к устранению собственными силами психических конфликтов, гнетущих сферу подсознательного. Лично я не испытал ни одного из этих методов ни в качестве врача, ни в качестве пациента; ни с одним из них меня не связывают ни фанатизм убеждения, ни чувство личной благодарности. Таким образом, приступая к настоящему труду исключительно из побуждения образотворчества, я надеюсь остаться независимым и, отображая Месмера, не стать месмерианцем, отображая Бекер-Эдди — последователем Christian Science и отображая Фрейда — отъявленным психоаналитиком. Я вполне сознаю, что каждое из этих учений могло стать действенным лишь путем доведения до крайности содержащейся в нем идеи, что каждое дает резко изощренную форму, дополняя ее новым изощрением, но, в согласии с Гансом Саксом, «ошибкой я это не сочту». Мысль имеет с волной, устремляющейся за свои пределы, то общее, что она ищет для себя крайних форм. Решающим для всякой идеи является не то, как она осуществляется, а то, что, по существу, в ней содержится. Не что она собой представляет, а что она дает. По чудесному выражению Поля Валери, «лишь крайность сообщает миру его цену, лишь средний уровень — устойчивость».

*Зальцбург, 1930 год*





## ФРАНЦ АНТОН МЕСМЕР

Надобно вам знать, что воздействие воли — немалая статья во врачевании.

*Парацельс*

### ПРЕДТЕЧА И ЕГО ВРЕМЯ

Ни о чем не судят так поверхностно, как о характере человека, а именно здесь нужно быть всего осторожнее. Ни в каких делах не склонны люди менее терпеливо дожидаться целого, а оно собственно и создает характер. Я всегда находил, что так называемые плохие люди выигрывают, а хорошие теряют.

*Лихтенберг*

**В** продолжение целого столетия Франц Антон Месмер, этот Винкельрид современной психотерапии, занимал место на позорной скамье шарлатанов и мошенников, рядом с Калиостро, графом Сен-Жерменом, Джоном Ло и другими авантюристами той эпохи. Напрасно суровый одиночка среди немецких мыслителей протестует против позорного приговора университетской науки — напрасно превозносит Шопенгауэр месмеризм как самое содержательное, с философской точки зрения, из всех открытий, хотя бы даже оно задавало порой загадок больше, чем разрешало их. Но предрассудок труднее опровергнуть, чем какие бы то ни было суждения. Дурная слава распространяется без проверки, и вот один из наиболее добросовестных немецких исследователей, отважный и одинокий путник,

шедший на свет и на блуждающие огоньки и указавший дорогу новейшей науке, прослыл двусмысленным фантастом, подозрительным мечтателем; и никто не дал себе труда проверить, сколько существенных, мирового значения, перспектив возникло из его ошибок и давно уже преодоленных крайностей. Трагедия Месмера в том, что он пришел слишком рано — и слишком поздно. Эпоха, когда он выступил, именно потому, что она так величаво гордилась разумом, полностью отрешена от всякой интуиции: это (опять по Шопенгауэру) — сверхумная эпоха просвещенности. За сумеречным сознанием средневековья, благоговейным и смутно чающим, последовало поверхностное сознание энциклопедистов, этих всезнаек — так, по точному смыслу, следовало бы перевести это слово, — грубоматериалистическая диктатура Гольбахов, Ламетри, Кондильяков, которой вселенная представлялась интересным, но допускающим улучшения механизмом, а человек — всего лишь курьезным мыслящим автоматом. Полные самодовольства, — ибо они уже не сжигали ведьм, признали добрую старую Библию незамысловатой детской сказкой и вырвали у Господа Бога молнию при помощи Франклинова громоотвода — эти просветители (и их убогие немецкие подражатели) объявили нелепыми бреднями все, чего нельзя ухватить пинцетом и вывести из тройного правила, выметая, таким образом, вместе с суеверием и малейшее зернышко мистики из прозрачной как стекло (и как стекло хрупкой) вселенной своего *dictionnaire philosophique*\*. То, чего нельзя было математически проанализировать, они, в бойком своем высокомерии, признали призрачным, а то, чего нельзя постигнуть органами чувств, не только ничтожным, но просто несуществующим.

В такую нескромную, неблагочестивую эпоху, обожествившую единственно свой собственный, исполненный самодовольства разум, явился неожиданно человек, утверждающий, что вселенная наша отнюдь не пустое, бездушное простран-

---

\* *Философский словарь (англ.)*.

во, не безучастное мертвое ничто вокруг человека, но что она непрестанно пронизывается невидимыми, неосязаемыми и лишь внутренне осязаемыми волнами, таинственными токами, которые, в процессе передачи, соприкасаются друг с другом и друг друга оживляют, как одна душа другую, как мысль — мысль. Неосязаемый и не имеющий пока имени, равный, может быть, той силе, что передается от звезды к звезде и в лунную ночь поднимает сомнамбул, этот неведомый флюид, мировая материя, способен, будучи передан от человека к человеку, создать поворот в душевных и телесных болезнях и восстановить таким способом ту высшую гармонию, которую мы называем здоровьем. Где источник этой изначальной силы, каково ее истинное имя, ее подлинная сущность, он, Франц Антон Месмер, не может сказать определенно; пока что он, *ex analogia*\*, именует эту действительную материю магнетизмом. Но пусть испытают, — просит он академии, настаивает он перед профессорами, — какое изумительное действие вызывает этот способ при простом поглаживании кончиками пальцев; пусть без всякой предвзятости познакомятся, наконец, со всеми этими болезненными кризисами, загадочными состояниями, прямо-таки волшебными излечениями, которые он производит при расстройстве нервов единственно путем магнетического воздействия (теперь мы говорим: внушения). Но академически-профессорская просвещенность упорно противится тому, чтобы бросить хоть один бесстрастный взгляд на все указанные Месмером и стократно удостоверенные явления. Этот флюид, эта сила симпатической передачи, сущность которой не поддается четкому объяснению (уже это одно подозрительно), не значится в компендиуме всех разгадок, в *dictionnaire philosophique*, и следовательно, подобных вещей не должно быть. Явления, на которые указывает Месмер, необъяснимы при помощи голого разума. Следовательно, они не существуют.

---

\* По аналогии (*лат.*).

Он пришел столетием раньше, чем следовало, Франц Антон Месмер, и он опоздал на два-три столетия. Ранняя эпоха медицины проявила бы участливое внимание к его сторонним опытам, ибо широкая душа средневековья способна была вместить все непостижимое. Она умела еще изумляться чисто по-детски и верить собственному внутреннему потрясению больше, чем простой видимости. Будучи легковерной, эта эпоха была слишком глубоко проникнута волей к вере, и ее мыслителям, как истовым богословам, так и светским людям, не показалось бы нелепым учение Месмера о том, что между макрокосмом и микрокосмом, между мировой душой и душой индивидуума, между созвездием и человеком существует материально преображенная, трансцендентная связь; и вполне понятным явилось бы его воззрение, что один человек может волшебным образом влиять на другого магией своей воли и умелым обращением.

Без всякого недоверия, с любознательно раскрытым сердцем взглянула бы фаустовски-универсальная мировая наука того времени на опыты Месмера; и в свою очередь, новейшая наука смотрит на большинство психотехнических операций этого первого магнетизера отнюдь не как на фокусничество или чудо. Именно потому, что мы день за днем, едва ли не час за часом узнаем о новых невероятных открытиях и чудесах в области физики и биологии, мы долго и добросовестно колеблемся, прежде чем признать неверным то, что вчера казалось невероятным; и действительно, многие из месмеровских открытий и опытов без труда согласуются с нашим сегодняшним представлением о мире. Кто станет оспаривать нынче, что наши нервы, наши чувства подвержены таинственным и связующим воздействиям, что мы являемся «игралищем любого давления атмосферы», испытывая магнетическое влияние бесчисленных импульсов, внутренних и внешних? Мы, к кому только что сказанное слово в ту же секунду перелетает через океан, не учимся разве ежедневно заново тому, что окружающий нас эфир оживлен неосязаемыми колебаниями и жизнен-

ными волнами? Нет, нас отнюдь не пугает больше мысль Месмера, когда-то оспаривавшаяся, что от нашего индивидуального существа исходит совершенно своеобразная и определенная личная сила, которая, излучаясь далеко за пределы того или другого нерва, способна воздействовать определенным образом на чужую волю и чужую личность. Но роковым образом Месмер явился слишком рано или слишком поздно: как раз та эпоха, в которую он имел несчастье родиться, не обладала органом для смутно-благоговейных чаяний. Никаких камер обскур в делах психики: прежде всего порядок в незатененный свет! И именно там, где начинается таинственная игра сумеречного света, при переходах от сознательного к бессознательному, холодный дневной взор рационалистической науки оказывается вконец слепым. И так как она не признает за душой индивидуальной созидательной силы, то и ее медицина видит в часовом механизме *homo sapiens*\* только повреждение органов, больное тело, но ни в коем случае не потрясение душевное. Неудивительно поэтому, что при душевных расстройствах она не знает ничего другого, как только цирюльничью премудрость: слабительное, кровопускание, холодную воду. Помешанных привязывают к колесу и вертят до тех пор, пока пена не пойдет у них изо рта, или колотят до бесчувствия. Эпилептиков накачивают всякими снадобьями, все нервные состояния объявляют просто несуществующими, потому что не умеют к ним подойти. И когда этот отщепенец Месмер впервые начинает помогать при таких заболеваниях посредством своего магнетического, кажущегося магическим воздействия, возмущенный факультет отворачивается и утверждает, что налицо только фокусничество и обман.

В этой отчаянной авангардной схватке за новую психотерапию Месмер совершенно одинок. Его ученики, помощники еще на полстолетия, на целое столетие от него отстали. И одиночество трагически усугубляется: у этого борца нет даже

---

\*Разумный человек (*лат.*).

такого панциря, как полная уверенность в себе. Ибо Месмер чувствует только правильное направление, дороги он еще не нашел. Он чувствует, что стоит на верном пути, чувствует, что случайно оказался в жгучей близости от тайны, великой и плодотворной тайны, и знает все же, что один не способен разрешить ее и раскрыть до конца. И потрясающе поэтому, как человек, которого легкомысленная молва целое столетие чернила как шарлатана, просит содействия и помощи именно у врачей, своих товарищей; подобно тому как Колумб перед своим отплытием блуждает от одного королевского двора к другому со своим планом морского пути в Индию, так и Месмер обращается то к одной, то к другой академии и просит внимания и содействия своей идее. И у него, как у его великого собрата, в начале его пути ошибка, ибо, находясь всецело под обаянием средневековой мечты о таинственном составе, Месмер полагает, что своей магнетической теорией он открыл всеисцеляющее средство, эту вечную Индию старинного врачебного искусства. В действительности же он давно уже, сам того не сознавая, открыл гораздо больше, чем новую дорогу; он, как Колумб, обрел целый материк науки, с бесчисленными архипелагами и далеко еще не исследованными странами — психотерапию. Ибо все эти только теперь раскрывшиеся страны новой психиатрии — гипноз и внушение, Christian Science и психоанализ, даже спиритизм и телепатия расположены на том новом континенте, который открыл этот трагический одиночка, сам не зная того, что вступил на другую, чуждую медицине часть земного шара. Другие возделали его области и собрали жатву там, где он бросил в борозды семена, другие вкусили славу, в то время как его имя предается наукой позорному забвению вместе с именами всяческих еретиков и пустословов. Его современники возбудили против него судебное дело и вынесли ему обвинительный приговор. Настало время посчитаться с его судьями.

## ЗАРИСОВКА

В 1773 году Леопольд Моцарт-отец сообщает своей жене в Зальцбург: «С последней почтой я не писал, потому что у нас был большой концерт у друга нашего Месмера, на Загородной улице, в саду. Месмер очень хорошо играет на гармонике мисс Дэвис, он в Вене единственный учился этому, и у него гораздо лучший стеклянный инструмент, чем был у самой мисс Дэвис. Вольфганг тоже играл на нем».

Как видно, они хорошие друзья, венский врач, зальцбургский музыкант и его знаменитый сын. Уже несколько лет перед тем, когда недоброй памяти директор придворной оперы Афлиджио (кончивший потом на галерах), несмотря на императорский приказ, не захотел поставить первую оперу четырнадцатилетнего Вольфганга Амадея «*La finta semplice*»\*, в дело вмешивается, с большей, чем у императора и двора, смелостью, музыкальный меценат Франц Антон Месмер и представляет свой небольшой загородный театр для исполнения немецкой музыкальной пьесы «Бастьен и Бастьенна», стяжав себе, таким образом, наряду со славой в другой области, непреходящую в истории заслугу — быть крестным отцом первого оперного произведения Вольфганга Амадея Моцарта. Этой дружбы маленький Вольфганг не забывает: во всех письмах говорит он о Месмере, всего охотнее проводит время в гостях у своего «милого Месмера». И когда в 1781 году он переезжает на постоянное жительство в Вену, он в почтовой карете прямо от заставы направляется в близкий ему дом. «Пишу это в месмеровском саду, на Загородной улице» — так начинается его первое письмо к отцу от 17 марта 1781 года. И в «*Così fan tutte*»\*\* он впоследствии создал своему ученому другу известный юмористический памятник. Еще звучит, и, надо думать, и в столетиях будет сопровождать стихи о Франце Антоне Месмере бойкий речитатив:

---

\* «Простая уловка».

\*\* «Так все делают».



Вот и магнит вам, —  
Он все докажет.  
Владел им Месмер, тот,  
Который родом был  
Из стран немецких  
И знаменит стал  
Во Франции.

Но этот удивительный доктор, Франц Антон Месмер, не только ученый человек и любитель искусства, благожелательный к людям, он и богатый человек. Немногие из венских горожан обладали в то время таким удивительно красивым, приветливым и открытым домом, как его дом на Загородной улице, 261, — поистине небольшой Версаль на берегу Дуная. В большом, просторном, чуть что не княжеском парке гостей приводят в восторг всевозможные затеи в стиле рококо, небольшие боскеты, тенистые аллеи с античными статуями, птичник, голубятня, тот самый изящный (к сожалению, давно исчезнувший) летний театр, где состоялась премьера «Бастьена и Бастьенны», круглый мраморный бассейн, которому суждено в дальнейшем, при магнетических сеансах, быть свидетелем замечательнейших сцен, и на небольшом пригорке галерея, с которой открывается, далеко за Дунаем, вид на Пратер. Неудивительно, что говорливое и охочее до удовольствий венское общество охотно собирается в этом прекрасном доме, ибо доктор Франц Антон Месмер считается одним из самых уважаемых граждан, с тех пор как он женился на вдове гофкаммеррата ван Буш с капиталом больше чем в тридцать тысяч гульденов.

Стол его, как рассказывает Моцарт, ежедневно накрыт для всех его друзей и знакомых, у этого высокообразованного и приветливого человека можно великолепно поесть и выпить, да и в духовных наслаждениях недостатка нет. Здесь услышишь, задолго до напечатания и в большинстве случаев в исполнении самого композитора, новейшие квартеты, арии и сонаты Гайдна, Моцарта и Глюка, близких друзей дома, а

также и последние новинки Пиччини и Ригини. А тот, кто предпочитает поговорить на серьезные темы, вместо того чтобы слушать музыку, тот найдет в лице хозяина универсально образованного собеседника в любой области. Ибо этот мнимый «шарлатан», Франц Антон Месмер, имеет авторитет даже среди ученых. Уже в то время, когда он, сын епископского егеря, родившийся 23 мая 1734 года в Ицианге на Боденском озере, перебрался для дальнейшего образования в Вену, он — действительный студент теологии города Ингольштадта и доктор философии. Но этого далеко не достаточно беспокойной натуре Месмера. Как блаженной памяти доктор Фауст, он хочет владеть наукой во всех ее областях. И вот он изучает сначала в Вене право, чтобы обратиться, наконец, окончательно к четвертому факультету, к медицине. 27 мая 1766 года Франц Антон Месмер, уже и без того доктор двух наук, торжественным образом удостоивается степени доктора медицины, «*autoritate et consensu illustrissimorum, perillustrium, magnificorum, spectabilium, clarissimorum professorum*»<sup>\*</sup>; его докторский диплом собственноручно подписан светилом терезианской науки, высокославным профессором и придворным медиком Ван-Свитеном. Но Месмер, ставший богатым человеком в результате женитьбы, отнюдь не намерен сразу же чеканить монету из разрешительной грамоты на врачевание. Он не торопится с врачебной практикой и, в качестве ученого дилетанта, охотнее следит за новейшими открытиями геологии, физики, химии и математики, за успехами абстрактной философии, и прежде всего музыки. Он сам играет как на клавире, так и на виолончели, первый вводит стеклянную гармонику, для которой потом Моцарт сочиняет специальный квинтет. Вскоре музыкальные вечера у Месмера начинают считаться в числе излюбленных в культурном кружке Вены, и наряду с небольшим концертным залом молодого Ван-Свитена у Глубокого Рва, где каждое воскресенье появляются

---

<sup>\*</sup> «Властью и постановлением славнейших, сверхславных, великолепных, высокопочитаемых и знаменитейших профессоров» (лат.).

Гайдн, Моцарт и в дальнейшем Бетховен, дом 261 на Загородной улице считается одним из самых изысканных уголков искусства и науки.

Нет, этот многократно оклеветанный человек, которого впоследствии яростно чернили как отщепенца медицины и невежественного знахаря, этот Франц Антон Месмер не первый встречный, это чувствует каждый при знакомстве с ним. Уже чисто внешне бросается в любом обществе в глаза благодаря высокому росту и внушительной осанке этот хорошо сложенный широколобый мужчина. Когда он со своим другом Кристофом Виллибальдом Глюком появляется в одном из салонов Парижа, все взоры с любопытством обращаются к этим двум немцам, сынам Энака, возвышающимся на целую голову над остальными. К сожалению, немногие сохранившиеся изображения недостаточно полно воспроизводят его лицо; видно все же, что оно гармонично и красиво очерчено, что губы полные, подбородок округлый и плотный и лоб сформирован великолепно поверх ясных, светло-стальных глаз; благотворную уверенность излучает этот могучий мужчина, которому, при его неистощимом здоровье, суждено дожить до преклонного возраста. Поэтому ошибочнее всего представлять себе этого великого магнетизера чародеем, демоническим явлением со вспыхивающим взором, с адскими молниями в глазах, чем-то вроде Свенгали или доктора Спаланцани; наоборот, отличительной его чертой, по свидетельству всех современников, является предельное, непоколебимое терпение.

Не столько пылкий, сколько полнокровный, упорный в большей степени, чем легко воспламеняющийся, вдумчиво наблюдает этот крепкий шваб окружающие явления; и подобно тому как проходит он через комнату, широко расставив ноги, грузно и увесисто, твердым и размеренным шагом, так и в своих исследованиях идет он медленно и уверенно от одного наблюдения к другому, медленно, но непоколебимо. Он мыслит не ослепительными, блистающими вспышками, но осторожными, в дальнейшем неопровержимыми положениями, и

никакое противоречие, никакое огорчение не потревожат его покоя. В этом спокойствии, в этой твердости, в этом великом и упорном терпении и заключается, собственно, гений Месмера. И только его необычной, исполненной скромности выдержкой, его обходительной, чуждой честолюбия манерой объясняется тот исторический курьез, что человек, пользующийся в Вене одновременно и весом и богатством, имеет только друзей и ни одного врага. Повсеместно превозносят его познания, его непритязательный, приятный характер, щедрую руку и щедрый ум: «*Son âme est comme sa découverte simple, bienfaisante et sublime*»\*. Даже его коллеги, венские врачи, ценят Франца Антона Месмера как превосходного медика, — правда, лишь до того момента, когда он, набравшись смелости, пойдет собственным путем и без одобрения факультета сделает открытие мирового значения. Тогда всеобщим симпатиям наступит внезапно конец и начнется борьба не на жизнь, а на смерть.

## ВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ ИСКРА

Летом 1774 года некий знатный иностранец проезжает с женой через Вену; жена, внезапно заболевшая резами в желудке, обращается к известному астроному, иезуитскому патеру Максимилиану Геллю, с просьбой изготовить ей для лечения магнит в удобном для пользования виде, который она могла бы положить себе на живот. Ибо то обстоятельство, что магниту присуща особая целебная сила, — несколько странное для нас предположение, — считалось в магической и симпатической медицине прежней поры делом бесспорным. Уже древность проявляла постоянный интерес к своеобразной повадке магнита — Парацельс именует его впоследствии «монархом всяческих тайн», — ибо этот отщепенец среди неорганической природы проявляет совершенно особое свойство. В то время как свинец и медь, серебро, золото, олово и обычно-

---

\* Его душа, как и открытие его, проста, благотворна и возвышенна (фр.).

венное, как бы неодушевленное железо, не имея собственного бытия, подчиняются силе тяготения, этот один и единственный элемент обнаруживает некую одушевленность, какую-то самостоятельную активность. Магнит властно притягивает к себе другое, мертвое железо, он, как единственный субъект среди сплошного окружения объектов, способен выражать нечто вроде личной воли, и его властная повадка невольно вызывает предположение, что он подчиняется иному, не земным — может быть, астральным — законам мироздания.

Водитель кораблей и наставник потерявших дорогу, он, будучи насажен на острие, безошибочно обращает свой железный перст к полюсу; и кажется, действительно, что в пределах земного мира он сохранил воспоминание о своем метеорическом происхождении. Такого рода бросающиеся в глаза особенности одного-единственного металла должны были, естественно, оказать свое магическое воздействие прежде всего на классическую натурфилософию. И так как ум человеческий неизменно склонен мыслить аналогиями, то врачи средневековья приписывают магниту симпатическую силу. Целое столетие занимаются они испытаниями — не может ли он притягивать к себе, наподобие железных опилок, также и болезни из человеческого тела. А там, где область темного, туда тотчас же с любопытством проникает со светящимся своим совиным взором пытливый ум Парацельса.

Его шатко парящая фантазия, порой обманчивая, а порой гениальная, без всяких колебаний превращает смутное предположение предшественников в патетическую уверенность. Его легко воспламеняющемуся уму представляется сразу же бесспорным, что наряду с «амброидальной», действующей в янтаре силой (то есть с не получившим еще никаких прав гражданства электричеством) сила магнетизма свидетельствует о наличии в земле, в «адамовой материи» особой, астральной, связанной со звездами субстанции, и он сразу же зачисляет магнит в список непогрешимых целебных средств: «Я утверждаю ясно и открыто, на основании произведенных мной

опытов с магнитом, что в нем сокрыта тайна высокая, без которой против множества болезней ничего сделать невозможно». И в другом месте он пишет: «Магнит долго был у всех на глазах, и никто не подумал о том, нельзя ли сделать из него дальнейшего употребления и не обладает ли он и другой силой, кроме притяжения железа. Вшивые доктора часто тычут мне в нос, что я не следую за древними; а в чем мне им следовать? Все, что они наговорили о магните, — ничто. Положите на весы то, что я о нем сказал, и судите. Если бы я слепо следовал за другими и сам не ставил опытов, то я знал бы только то, что знает каждый мужик, — что он притягивает железо. Но человек мудрый сам должен испытывать, и вот я открыл, что магнит, кроме явной, каждому в глаза бросающейся силы — притягивать железо, обладает и другой, скрытой силой». И насчет того, как применять магнит для лечения, дает Парацельс, с обычной для него решительностью, точные указания. Он утверждает, что у магнита есть брюхо (полюс притяжения) и спина (полюс отталкивания), так что, будучи правильно налажен, он может пропустить свою силу через все тело; и этот способ обращения с магнитом, который действительно является догадкой о характере далеко еще не открытого электрического тока, стоит, по словам этого вечного задир, «большего, чем все, чему учили галенисты всю свою жизнь. Если бы вместо того, чтобы похвалиться, они взяли в руки магнит, они сделали бы больше, чем всей своей ученой болтовней. Он излечивает истечения из глаз, ушей, носа и из наружных покровов. Тем же способом залечиваются раскрытые раны на бедрах, фистулы, рак, истечения крови у женщин. Кроме того, магнит оттягивает грыжу и исцеляет переломы, он вытягивает желтуху, оттягивает водянку, как я неоднократно убедился на практике; но нет нужды разжевывать все это невеждам».

Наша современная медицина не слишком серьезно отнесется, конечно, к этим ошеломляющим сообщениям; но что сказал однажды Парацельс, является для его школы и два

столетия спустя откровением и законом. И вот ученики его, наряду со множеством других зелий из парацельсовской волшебной кухни, почтительно растят и лелеют его учение о целебной силе магнита. Его ученик Гельмонт, а после него Коклениус, опубликовавший в 1608 году целый учебник «*Tractatus de magnetica cura vulnereum*»\*, страстно отстаивают, опираясь на авторитет Парацельса, органическую силу лечения магнитом; таким образом, наряду с официальной медицинской, пробивают себе дорогу во времени, в качестве подземного течения, и магнетические методы лечения. Кем-либо из этих безымянных пролагателей особых путей, каким-либо из забытых приверженцев симпатического лечения и был, вероятно, предложен путешественнице-иностранке тот магнит.

Иезуит Гелль, к которому обратился проезжий пациент, астроном, а не врач. Ему неважно, оказывает ли магнит целебное действие при резах в желудке или нет, его дело изготовить только магнит соответствующей формы. Этот свой долг он и выполняет. И в то же время он сообщает своему другу, ученому доктору Месмеру, о своеобразном случае. И вот Месмер, *semper novarum rerum cupidus*\*\* , всегда готовый познать и испытать новые методы в науке, просит друга держать его в курсе результатов лечения. Едва услышав, что рези в желудке больной совершенно прекратились, наносит он визит пациентке и изумляется быстрому облегчению, которое произошло после наложения магнита. Метод его заинтересовывает. Тотчас же он решает испробовать его. Он поручает Геллю изготовить для себя несколько магнитов подобной же формы и делает ряд опытов с другими пациентами, накладывая подковообразный намагниченный кусок железа то на шею, то на сердце, но всякий раз на больную часть тела. И странное дело, в некоторых случаях он, к собственному своему изумлению, достигает успеха в лечении, совершенно неожиданного, никогда не чаянного, в особенности у некой девицы Эстерлин, вылеченной

---

\* «Трактат о магнетическом лечении ран» (лат.).

\*\* Всегда падкий до нового (лат.).

им таким образом от судорог, и у профессора математики Бауэра.

Бесхитростный лекарь тут же широко открыл бы глотку и начал хвалиться, что нашел новый талисман здоровья, магнит. Дело кажется таким ясным, таким простым, следует только при судорогах и эпилептических припадках вовремя наложить больному на тело волшебную подкову, не спрашивая как и почему, — и чудо исцеления совершилось. Но Франц Антон Месмер врач, человек науки, сын новой эпохи, мыслящей в причинной связи. Его не удовлетворяет установленное на глаз положение, что магнит в целом ряде случаев помог его пациентам почти волшебным образом; в качестве серьезного, мыслящего врача он, именно потому, что не верит в чудеса, желает объяснить себе и другим, почему этот таинственный минерал совершает такие чудеса. После его опыта у него в руках только один факт для разгадки: многократный целебный эффект магнита; для логического заключения ему необходимы и другие звенья — причинное обоснование. Лишь в таком случае новая проблема будет не только поставлена перед наукой, но и разрешена.

И удивительное дело: чертовское счастье дает, кажется, в руки ему — и именно ему — другой конец нити. Ибо именно этот Франц Антон Месмер достиг, почти десять лет тому назад, в 1766 году, докторской степени при помощи весьма замечательной, мистически окрашенной диссертации под названием «De planetarum influxu»\*, в которой он, под влиянием средневековой астрологии, допускает воздействие созвездий на человека и выдвигает тезис, что некая таинственная сила, изливаясь через далекие небесные пространства, действует на каждую материю изнутри, что некий изначальный эфир, таинственный флюид, пронизывает всю вселенную, а с ней и человека. Этот изначальный флюид, эту конечную субстанцию осторожный studiosus обозначил тогда в высшей степени

---

\* «О влиянии планет» (лат.).



неопределенным термином «*gravitas universalis*», силой общего тяготения. Эту свою юношескую гипотезу достигший зрелости мужчина давно уже, вероятно, позабыл. Но теперь, когда Месмер видит, что при случайном лечении достигнуто столь необъяснимое действие стального магнита, который, в качестве метеорита, также ведет происхождение от звезд, оба эти начала, эмпирическое и гипотетическое — излечившаяся наложением магнита пациентка и тезис докторской диссертации — смыкаются в одну, целостную теорию; теперь Месмер верит, что его философское допущение непременно подтверждено явным целебным воздействием, и полагает, что нашел для неопределенной «*gravitas universalis*» тот самый «невидимый огонь» Гиппократа, тот «*spiritus purus, ignis subtilissimus*»\*, который, как вселенский творческий ток, пронизывает и мировой эфир, и клеточку человеческого тела! В его случайном опьянении ему кажется, что предмет длительных поисков, мост, соединяющий звездные миры с человечеством, найден. И он испытывает чувство горделивого возбуждения: кто перейдет этот мост, тот вступит в страну неведомого.

Искра дала вспышку. В результате случайного соприкосновения опыта и теории получился у Месмера взрыв мысли. Но первый разряд происходит совершенно не в том направлении. Ибо Месмер, в своем преждевременном воодушевлении, считает, что вместе с магнитом нашел, без всяких сомнений, и универсальное целительное средство, философский камень; ошибка, явно неправильное заключение оказывается в начале его пути и толкает его дальше. Но это — ошибка творческая. И так как Месмер не устремляется за ней слепо, но продвигается, сообразно со своим характером, шаг за шагом, не спеша, то, несмотря на необходимость обходов, он движется вперед. Ему суждены еще пути крутые и обманные. Но в то время как другие топчутся, тяжело и неповоротливо, на проторенных дорогах старых методов, этот одиночек? пробирается все же в

---

\* Чистый дух, тончайшее пламя (лат.).

потемках вперед и медленно нащупывает путь от ребяческих средневековых представлений к умственному кругозору современности.

## ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ

Отныне Франц Антон Месмер, до сих пор простой врач и любитель изящной науки, владеет одной, единой жизненной мыслью, или, скорее, мыслью владеет им. Ибо до последнего вздоха суждено ему, в качестве непреклонного исследователя, размышлять об этом *perpetuum mobile*, об этой движущей силе вселенной. Всю свою жизнь, свое состояние, свою репутацию, свой досуг отдает он своей основной идее. В этом упорстве, в этом непреклонном и все же пылком самоограничении — величие и трагедия Месмера, ибо то, что он ищет, магический вселенский флюид, он никогда не в состоянии обрести в ясно доказуемой форме. А то, что он нашел, новую психотехнику, этого он вовсе не искал и за всю свою жизнь не осознал. Таким образом в удел ему достается судьба, до отчаяния сходная с судьбой его современника, алхимика Бетгера, который, в плену своей мысли, хотел изготовить химическое золото и при этом открыл случайно в тысячу раз более важный фарфор; и в том и в другом случае основная мысль дает только существенный психический толчок, а открытие совершается как бы само собой в процессе лихорадочно продолжаемых опытов.

Вначале у Месмера только философская идея о мировом флюиде. И магнит. Но радиус воздействия магнита относительно невелик, это видит Месмер уже при первых своих опытах. Его притягательная сила распространяется лишь на несколько сеймов, и все-таки таинственное предчувствие Месмера не обманывает; он верит, что в нем таится значительно большая, как бы скрытая мощь, которую можно вызвать наружу искусственно и повысить путем правильного применения. Он приступает к серьезнейшим исследованиям. Вместо того чтобы наложить на больное место одну лишь подкову, как тот англичанин, он пристраивает своим больным по два маг-

нита, один сверху, с левой стороны, другой снизу, с правой, чтобы таинственный флюид прошел в замкнутой цепи, непрерывным, через все тело и восстановил, приливая и отливая, нарушенную гармонию. Чтобы усилить собственное свое благотворное влияние, он на шею у себя сам носит магнит, зашитый в кожаный мешочек, и, не довольствуясь этим, передает свой источающий силу флюид всевозможным другим предметам. Он намагничивает воду, заставляет больных купаться в ней и пить ее, он намагничивает путем натирания фарфоровые чашки и тарелки, одежду и кровати, намагничивает зеркала, чтобы они потом отражали флюид, намагничивает музыкальные инструменты, чтобы и в колебаниях воздуха передавалась дальше целительная сила.

Все фанатичнее проникается он идеей, что можно (как в дальнейшем с электричеством) передавать магнетическую энергию путем проводки, нагнетать в бутылки, собирать в аккумуляторы. И вот он конструирует в конце концов печальной известности «ушат здоровья», многократно высмеянный «baquet»\*, большой, прикрытый сверху деревянный чан, в котором два ряда бутылок, наполненных намагниченной водой, сходятся к стальной штанге, от которой можно подвести к больному месту отдельные подвижные провода. Вокруг этой магнетической батареи устраиваются больные, истово касаясь друг друга кончиками пальцев, замкнутой цепью, потому что Месмер на основании опыта утверждает, что, пропуская ток через несколько человеческих организмов, он его опять-таки усиливает. Но и эксперименты с людьми не удовлетворяют его, — вскоре кошки и собаки должны уверовать в его систему; наконец, магнетизируются даже деревья в месмеровском парке и тот водный бассейн, в трепещущее зеркало которого пациенты благоговейно погружают свои обнаженные ноги, с руками, привязанными канатами к деревьям, в то время как сам руководитель играет на стеклянной гармонике, тоже намагни-

---

\*Кадка (фр.).

ченной, чтобы при помощи ее нежных и упругих ритмов сделать нервы больных более доступными проникновению универсального бальзама.

Чепуха, шарлатанство, ребячество — так реагирует современное чувство, с оттенком разочарования или сожаления, на эти нелепые выходки; тут, действительно, вспомнишь о Калиостро и других целителях-чародеях. Первые опыты Месмера застревают — к чему излишняя деликатность? — беспомощно и жалостно в жестких и сорных зарослях средневековья. Нам, потомкам, кажется, конечно, пустым фарсом — переносить силу магнетизма на деревья, воду, зеркала и музыкальные инструменты путем простого натирания и добиваться при этом целительного действия. Но, чтобы быть справедливым, представим себе уровень физических знаний в ту эпоху. Три новые силы возбуждают любопытство тогдашней науки, три силы, из которых каждая еще в поре младенчества и каждая — Геркулес в колыбели. Благодаря котлу Папина, благодаря новым машинам Уатта можно было иметь первое представление о движущей силе пара, об огромном запасе энергии атмосферного воздуха, который прежним поколениям казался какой-то пассивной пустотой, каким-то неосознаваемым, бесцветным мировым газом.

Еще десятилетие, и первый воздушный корабль поднимет человека над землей; еще четверть века, и паровое судно впервые победит другую, водную стихию. Но в то время огромная энергия сжатого или выкаченного воздуха доступна пониманию только в порядке лабораторных опытов, и столь же скромно и робко заявляет о себе электричество, этот ифрит, тогда еще замкнутый в ничтожной лейденской банке. Ибо что считается в 1775 году электрическим давлением? Вольты еще не произвел своего решающего наблюдения; только от маленьких, игрушечных батарей можно получить несколько ни на что не нужных голубых искр и слабый толчок в сустав пальца. Это все, что знает месмеровская эпоха о творческой силе электричества, — не больше и не меньше, чем о магнетизме. Но, должно быть, уже в то время смутное предчувствие

настойчиво подсказывало человеческой душе, что грядущее, посредством одной из этих сил, может быть, посредством сжатого пара, может быть, при помощи электрической или магнетической батареи, изменит формы мира и обеспечит двуногим млекопитающим на миллионы лет господство над землей, — предчувствие тех, донныне еще не учтенных масс энергии, которые, будучи скованы рукой человека, наводняют наши города светом, бороздят небо и передают звук от экватора к полюсу за бесконечно малую долю секунды. Гигантская сила заключена, в зародыше, в крохотных начинаниях того времени; это уже тогда чувствует мир, чувствует Месмер; только он, по несчастью своему, подобно принцу в «Венецианском купце», выбирает из трех шкатулок не ту, которую нужно, и приковывает внимание насторожившейся в ожидании взрыва эпохи к слабейшему элементу, к магниту, — ошибка, бесспорно, но ошибка, понятная в то время, человечески понятная.

Итак, поразительны не первые опыты Месмера, не намагничивание зеркала или бассейна, — поразительно для нас в его опытах то невообразимое целебное воздействие, которое производит один человек при помощи ничего не стоящего магнита. Но даже эти на первый взгляд чудесные исцеления оказываются, при психологически правильной их оценке, вовсе не столь уж чудесными; с большей долей вероятности и даже с уверенностью можно сказать, что с начала всякого врачевания страждущее человечество исцелялось благодаря внушению гораздо чаще, чем мы предполагаем и чем склонна допускать врачебная наука. Мировая история доказывает, что не было еще столь бессмысленного медицинского метода, который бы на некоторое время не принес больному облегчения, благодаря наличию веры в этот метод. Наши деды и наши предки излечивались средствами, над которыми современная медицина сострадательно посмеивается, та самая медицина, методы которой наука предстоящих пятидесяти лет, в свою очередь, объявит с такой же улыбкой недействительными и, может быть, даже опасными. Ибо там, где свершается неожжи-

данное исцеление, внушению принадлежит огромная, трудно воображаемая роль. От заговоров древности до Териака и мышиного помета средневековья и до радиевого жезла какого-нибудь Цейлейса все методы лечения обязаны во всякую эпоху громадной долей своего воздействия воле к здоровью, пробудившейся у больного, и притом в такой степени, что атрибут этой веры — магнит, гематит или вспыскивания — при многих заболеваниях почти бесполезен по сравнению с силой, направленной со стороны больного на этот атрибут. Неудивительно поэтому, но, наоборот, совершенно логично и естественно, что именно открытый в последнюю очередь метод дает самый неожиданный успех, так как ему, как еще неизвестному, обеспечен максимум благотворно содействующей ему надежды со стороны человека; так было и с Месмером.

Едва лишь получило огласку целебное действие его магнитов в отдельных, особых случаях, как молва о всемогуществе Месмера распространилась через Вену на всю страну. Из ближних и из дальних краев спешат паломники к дунайскому магу, каждый хочет испытать прикосновение чудодейственного магнита. Выдающиеся сановники призывают венского врача в свои замки, в газетах появляются сообщения о новом методе; спорят, оспаривают, возносят до небес и поносят искусство Месмера. Но главное: каждый хочет его испытать или узнать о нем. Ломота, подергивания, шум в ушах, параличи, рези в желудке, расстройство менструаций, бессонница, боли в печени — сотни болезней, до сих пор не поддававшихся никакому воздействию, излечиваются его магнитом; чудо за чудом происходит в доме, до сих пор предназначавшемся лишь для уюта и увеселений, на Загородной улице, 261. Не прошло и года с той поры, как путешественник-иностранец привлек внимание Месмера к волшебному средству, а слава дотоле безвестного врача настолько вышла за пределы Австрии, что доктора из Гамбурга, из Женевы, из самых различных городов просят его пояснить им способ применения его столь действенного, по слухам, магнетического курса, чтобы они могли про-

должать его опыты и, со своей стороны, добросовестно проверить. И — крупный соблазн для месмеровского самолюбия! — оба доктора, которым венский врач доверился в письмах, доктор Унцер из Альтоны и доктор Харзу из Женевы, полностью подтверждают замечательное целебное действие, которого они достигли по методу Месмера с помощью магнита, и оба по своей инициативе печатают восторженные статьи о месмеровских методах.

Благодаря таким убежденным положительным отзывам, Месмер находит все больше и больше последователей; в конце концов курфюрст призывает его даже в Баварию. Но что объявилось столь разительно в Вене, подтверждается столь же блистательно в Мюнхене. Так, наложение магнита при параличе и слабости зрения академического советника Остервальда имело такой шумный успех, что академический советник печатает в Аугсбурге, в 1776 году, сообщение о своем исцелении при посредстве Месмера: «Все, что он совершил здесь при различных болезнях, дает основание предполагать, что он подсмотрел у природы один из ее самых таинственных движущих моментов». Клинически точно описывает выздоровевший то отчаянное положение, в котором нашел его Месмер, и как магнетическое лечение разом избавило его, волшебным образом, от застарелого страдания, не поддававшегося доселе никакой врачебной помощи. И чтобы заранее отразить всякое возможное возражение со стороны врачей, рассудительный академический советник пишет: «Если кто скажет, что история с моими глазами одно воображение, то я этим удовольствуюсь и ни от одного врача в мире не потребую большего, чем сделать так, чтобы я воображал себя совершенно здоровым».

Под впечатлением этого неоспоримого успеха Месмер впервые (и в последний раз) получает признание. 28 ноября 1775 года Баварская академия торжественно избирает его своим сочленом, «ибо она убеждена, что труды столь выдающегося человека, увековечившего свою славу особыми и неоспоримыми свидетельствами своей неожиданной и плодотворной

учености и своими открытиями, много будут содействовать ее блеску». В течение одного года одержана полная победа, Месмер может быть доволен: академия, десятки врачей и сотни излечившихся и восторженно благодарных пациентов свидетельствуют неопровержимо о целебной силе магнита. Но удивительно — в тот самый миг, когда ряд свидетелей, без всякого постороннего влияния, отдает Месмеру должное, сам он себя осуждает. В течение этого года он нашел уже печальную ошибку в расчетах, а именно, что не магнит действует в его руках, а действуют сами руки, что, следовательно, его паразитическое влияние на людей исходит не от мертвого минерала, которым он манипулирует, но от него, живого человека, что вовсе не магнит был чудодейственным источником здоровья, а сам магнетизер. После такого признания проблема получила неожиданно новое направление: еще один толчок, и могла быть познана действительная, персональная причинность. Однако духовная напряженность Месмера недостаточно велика, чтобы опередить целое столетие. Только шаг за шагом продвигается он по неверным и обходным путям. Но вот, отбросив в сторону, честно и решительно, свой волшебный минерал, магнит, он высвобождается одновременно из магической пентаграммы средневекового хлама; достигнута та точка, где идея его становится для нас понятной и плодотворной.

## ДОМЫСЛЫ И ПОСТИЖЕНИЯ

Когда именно Месмер решается на этот исторический поворот в методах своего лечения, нельзя установить с точностью. Но уже в 1776 году его благодарный пациент Остервальд пишет из Баварии, что «доктор Месмер выполняет теперь большую часть своих сеансов без всяких искусственных магнитов, простым прикосновением к больным органам, частью непосредственным, частью через посредство каких-либо предметов». Значит, не прошло даже года, и Месмер заметил, что магнит совершенно не нужен при так называемых магнетических сеансах, потому что, когда он проводит просто рукой



вдоль нервных путей, от одного полюса к другому, больной чувствует то же самое возбуждение или облегчение; Месмеру стоит только дотронуться до своих пациентов, и нервы их уже напрягаются и готовы вздрагивать, уже происходят, без всякого прибора или медикамента, изменения в характере болезни организма, сперва в форме возбуждения, затем — успокоения. Итак, нет места сомнениям: от его рук исходит нечто неведомое, нечто гораздо более таинственное, чем магнит, что необъяснимо ни по Парацельсу, ни по данным старинной и современной медицины. И изобретатель стоит в изумлении перед своим открытием: вместо магнетического метода он открыл какой-то другой.

Теперь Месмеру следовало бы сказать честно: «Я ошибся, магнит не имеет никакого значения, вся та сила, которую я ему приписывал, принадлежит не ему, и то целебное воздействие, которого я, к собственному моему изумлению, достигаю ежедневно, основано на причинах, мне самому непонятных». И конечно, ему следовало тотчас же перестать называть свои сеансы магнетическими и забросить всю затейливую аппаратуру намагниченных бутылок, заряженных «ушатов здоровья» и заколдованных чашек и деревьев, как совершенно ненужное фокусничество. Но как мало таких людей в политике, в науке, в искусстве, в философии, даже из числа самых смелых, которые способны мужественно и определенно признаться, что вчерашнее их воззрение было ошибкой и нелепостью! Так и Месмер. Вместо того чтобы решительно отказаться от несостоятельной теории о целебной силе магнита, он предпринимает сложное отступление; он начинает двусмысленно оперировать с понятием «магнетический», поясняя, что магнит как минерал действительно не помогает, но что сила, действующая при его сеансах, тоже магнетизм, «жизненный» магнетизм, в живом человеческом организме аналогичный таинственной силе мертвого металла. Он делает весьма пространные и смутные попытки представить дело так, что, в конце концов, в его системе ничего, по существу, не измени-

лось. Но в действительности это заново придуманное понятие «жизненный» магнетизм (обычно переводимое, крайне неудачно, «животный» магнетизм) означает нечто до крайности далекое от проповедовавшейся до сих пор металлотерапии, и начиная с этого мгновения нужно быть чрезвычайно внимательным, чтобы не дать ввести себя в заблуждение из-за сознательно созданной идентичности термина.

С 1776 года магнетизировать отнюдь не значит у Месмера касаться магнитом или воздействовать им, но единственно и только — предоставлять таинственной человеческой силе, истекающей из нервов на концах пальцев («жизненная» сила), действовать на других людей. И если до сих пор лица, практикующие этот симпатический метод поглаживания, все еще именуют себя магнитопатами, то они пользуются этим словом совершенно неправильно, ибо, вероятно, ни у одного из них в доме вообще нет магнита. Ведь их метод основан исключительно на личном воздействии, являясь терапией внушения, или флюидальной терапией.

Таким образом, через год после первого своего открытия Месмер благополучным образом преодолевает свою опаснейшую ошибку; но как прекрасна, как кстати была эта ошибка! В то время Месмер полагал еще, что при судорогах или нервных припадках достаточно наложить больному магнит на тело, искусно провести им несколько раз туда-сюда, и больной здоров. Но теперь, когда эта приятная иллюзия о волшебном действии магнита рушилась, он беспомощно стоит перед волшебной картиной, изо дня в день достигаемой им голыми руками. Ибо откуда, собственно, это чудесное воздействие, получающееся тогда, когда он поглаживает виски своим больным, обвеивает их своим дыханием, когда он при помощи кругообразных движений вдоль мускульной системы вызывает этот таинственный, внезапный нервный трепет, эти неожиданные вздрагивания? Это флюид, «*force vitale*»\*, исходящая

---

\* Жизненная сила (лат.).

из его, Франца Антона Месмера, организма и опять вопрос: исходит ли эта особая сила лишь из его особого организма, или от любого другого человека точно так же? Можно ее повысить посредством воли, можно дробить ее и усиливать другими элементами? И как происходит эта передача силы? Психическим путем (анимистическим) или, может быть, как химическое излучение и испарение мельчайших, невидимых частиц? Земная эта сила или божественная, психическая или физическая или духовная? Идет ли она от звезд, или является тончайшей эссенцией нашей крови, продуктом нашей воли? Тысяча вопросов встает перед простым, вовсе не очень уж умным и лишь самозабвенно наблюдательным человеком, тысяча вопросов, для него заведомо неразрешимых, и из которых самый важный вопрос — происходят ли так называемые магнетические исцеления анимистическим или флюидальным путем — до сих пор не получил вразумительного ответа.

В какой лабиринт попал он неожиданно, с тех пор как воспроизвел это бессмысленное лечение, проделанное при помощи магнитной подковы над той иностранкой, как далеко завела его эта печальная ошибка! Проходят годы, и он не видит просвета. Лишь одно ясно Месмеру, лишь одно знает он по собственной своей, изумительной практике: лучше, чем всякое химическое средство, может нередко живой человек помочь во многих случаях своим присутствием и своим влиянием на нервную систему. Из всех природных тел действенное всего влияет на человека сам человек. Болезнь, по его представлению, есть нарушение гармонии в человеке, опасный перерыв в ритмической смене прилива и отлива. Но в каждом человеке жива глубоко заложенная целебная сила, воля к здоровью, вечный, изначально-жизненный импульс к вытеснению всего болезненного; и задача нового магнетического врачевания — повысить эту волю к здоровью (которой механическая медицина, действительно, слишком долго пренебрегала) путем магнетического воздействия (мы говорим: внушения).

По вполне правильной, с психологической точки зрения, мысли Месмера, которая находит затем в Christian Science свое дальнейшее развитие, душевная установка, воля к здоровью способны, действительно, совершать чудеса выздоровления; задачей врача является поэтому вызвать чудо к жизни. Магнитопат как бы производит только зарядку истощенных нервов для решающего толчка, он наполняет и укрепляет внутреннюю защитную батарею организма. Но, напоминает Месмер, при попытке поднять жизненную силу человека не следует пугаться, если симптомы болезни, вместо того чтобы сразу же стухнуть, делаются поначалу, наоборот, резче, конвульсивнее, ибо задачей всякого правильного магнетического курса и является довести всякую болезнь до крайнего ее обострения, до кризиса и судорог; без труда можно узнать в этой знаменитой «теории кризисов» Месмера давно испытанное экзорцирование дьявола во времена средневековья и изгнание болезней по методу хорошо ему известного патера Гаснера.

Сам того не подозревая, Месмер с 1776 года систематически занят сеансами внушения и гипноза; и первоначальная тайна его успеха заключается прежде всего в напряженности его личной мощи, излучающейся особенно сильно и впечатляющей почти магически. Но все же, как мало ни знает Месмер о действенном начале своего метода, уже в те первые годы этому удивительному одиночке удалось установить некоторые истины, открывшие пути для дальнейшего развития. Прежде всего Месмер замечает, что некоторые из его пациентов особенно восприимчивы к магнетизму (мы бы сказали — обладают внушаемостью, медиумичны), а другие совершенно невосприимчивы, что, таким образом, одни люди действуют как источники воли, другие как ее приемники; но если увеличить число участников, то восприимчивость усиливается с помощью массового внушения. Такими своими наблюдениями Месмер дал резкий толчок к дальнейшей дифференциации тогдашней науки о характере; благодаря этому новому осве-

щению душевный спектр совершенно неожиданно дает иные, более красочные разложения. Мы видим, что человек, помимо своей воли наткнувшийся на огромную проблему, намечает один, без постороннего содействия, множество новых вопросов. Но никто не в состоянии объяснить ему феномен, еще донныне, собственно, не разрешенный, — каким образом отдельным, особо одаренным, как бы магическим, с медицинской точки зрения, натурам удается простым наложением рук и атмосферическим воздействием своей личности достигать исцеления, о котором ничего не может сказать даже глубочайшая и просвещеннейшая наука.

Но больным нет дела до флюида, они не спрашивают «как» и «почему», они толпами теснятся, неудержимо влекомые молвой о новизне, о необычности. Вскоре Месмеру придется устроить в своем доме на Загородной улице собственный магнетический госпиталь; даже из других стран приезжают больные, с тех пор как они услышали о знаменитом исцелении юной девицы Эстерлин и прочли восторженные благодарственные отзывы других его пациентов. Время музыки и галантных игр на воздухе миновало в доме 261 на Загородной улице; Месмер, до сих пор практически не пользовавшийся докторским дипломом, с утра до ночи лихорадочно работает на своей новой фабрике здоровья при помощи жезлов, бакетов и всяких хитрых приспособлений. Вокруг мраморного бассейна в саду, в котором раньше резвились золотые рыбки, сидят теперь в замкнутом круге одержимые недугами и истово погружают ноги в целебную воду. Каждый новый день приносит известия о новом триумфе магнетических сеансов, каждый час привлекает новых верующих, ибо молва о чудесных исцелениях просачивается сквозь окна и двери; вскоре весь город только и говорит, что об этом вновь возродившемся Теофрасте Парательсе.

Но среди всяческого успеха один человек сохраняет трезвость — это сам маэстро Месмер. Все еще, несмотря на настояния своих друзей, он не решается окончательно высказаться

об этом чудодейственном флюиде; лишь в двадцати семи положениях он смутно намечает первую теорию жизненного магнетизма. Но он упорно не соглашается поучать других, чувствуя, что сам должен изучить сначала тайну своего собственного воздействия.

## РОМАН ДЕВИЦЫ ПАРАДИЗ

В той же мере, в какой выигрывает Франц Антон Месмер в известности в Вене, проигрывает он в симпатиях окружающих. Все венское общество, ученые и профессора, любило его, человека, о многом осведомленного, нечестолюбивого, богатого и притом гостеприимного, обходительного и всегда чуждого высокомерия, — все это до тех пор, пока он забавлялся новыми идеями, как безвредный дилетант. Теперь, когда Месмер серьезно берется за дело и его своеобразные сеансы возбуждают сенсацию, он начинает вдруг чувствовать со стороны своих товарищей по профессии, врачей, какое-то сопротивление, сперва тайное, а затем, понемногу, и открытое. Напрасно приглашает он своих бывших коллег к себе в магнетическую клинику, чтобы доказать им, что он оперирует не знахарскими снадобьями и заговорами, а при помощи обоснованной системы, никто из приглашенных профессоров и докторов не желает серьезно разбираться в этих казусных исцелениях. Весь этот род терапии при помощи кончиков пальцев, без клинического вмешательства, без лекарств или прописанных средств, эти манипуляции с волшебным жезлом и с намагниченными ушатами не представляются им, понятно, слишком серьезными. Вскоре Месмер начинает чувствовать острый холодок извне. «Прием, оказанный здесь моим первым идеям, поразил меня холодом», — пишет он в те дни в Мюнхен. Он честным образом надеялся, что встретит со стороны великих ученых ставшего ему родным города, у прежних своих друзей по науке и музыке, по крайней мере, интерес или критическое участие. Но когда-то столь общительные, люди науки не вступают с ним в разговор, они только посмеиваются и глумятся,

повсюду он наталкивается на предвзятое отрицание, вселяющее в него горечь. В марте 1776 года он снова сообщает секретарю Баварской академии, что его идея «подверглась в Вене, вследствие ее новизны, почти всеобщему гонению», а два месяца спустя жалуется в более сильных выражениях: «Я все еще продолжаю делать физические и медицинские открытия в своей области, но надежда на научное завершение моей системы в настоящее время тем более несостоятельна, что мне приходится непрестанно иметь дело с отвратительными интригами. Здесь объявили меня обманщиком, а всех, кто верит в меня, дураками. Так встречают новую истину».

Неотвратимый рок слишком раннего выступления на мировой арене настиг его: бессмертный консерватизм факультета чует в нем приближение нового познания и с возмущением на него ополчается. Немедленно начинается в Вене глухое и напряженное брожение, направленное против его магнетических сеансов: во французских и немецких журналах появляются — разумеется, без подписи — корреспонденции из Вены, высмеивающие методы Месмера. Но ненависть вынуждена еще действовать за спиной, ибо безукоризненная личная выдержка Месмера не дает подходящих поводов для открытого нападения. Неудобно именовать шарлатаном, невеждой, несостоятельным знахарем доктора двух факультетов, вот уже десять лет имеющего на своем дипломе подписи таких авторитетов, как Ван-Смитен и Ван-Гаен. В выманивании денег также нельзя заподозрить его, потому что этот богатый человек лечит большую часть своих пациентов совершенно бесплатно.

И что всего обиднее, не приходится даже его дискредитировать как хвастуна или пустозвона, ибо Месмер ни в малейшей степени не преувеличивает масштаба своего открытия. Он отнюдь не утверждает (как, например, Мери Бекер-Эдди в дальнейшем со своей *Christian Science*), что открыл универсальную терапию, устраняющую необходимость всякого другого медицинского воздействия; он с тщательным самоограничением подчеркивает, что его жизненный магнетизм непос-

редственно помогает только при нервных болезнях и влиять на последующие физические их проявления может, во всяком случае, лишь опосредованно. Этим он как бы вынуждает к терпению втайне накопившееся враждебное чувство своих коллег, ожидающих случая подставить ножку ненавистному новатору.

Наконец, долгожданный случай представляется. Эпизод с девицей Парадиз дает повод без труда превратить невинный роман в полную значения драму, ибо редко в истории болезней сценическая обстановка была столь эффектна. Мария Терезия Парадиз, высокоталантливая молодая девушка, считается безнадежно ослепшей на четвертом году жизни в силу поражения зрительных нервов; ее выдающаяся способность к игре на клавире приобрела в Вене всеобщую известность. Императрица имеет о ней самоличное попечение. Она назначила родителям даровитого ребенка пенсию в двести золотых дукатов и дает ей за свой счет дальнейшее образование; впоследствии девица Парадиз дала много концертов, один даже в присутствии Моцарта, и множество ее неопубликованных композиций доныне хранится в венской библиотеке.

И вот эту молодую девушку приводят к Месмеру.

Перед тем ее годами лечили по всем правилам науки, но безрезультатно, лучшие глазные врачи Вены, известный хирург профессор Барт и придворный врач Штерк. Но некоторые признаки (конвульсивное вздрагивание глаз, выступающих при этом из орбит, страдание селезенки и печени, вызывающее нечто вроде припадков помешательства) дают основание думать, что слепота девицы Парадиз проистекает не из разрушения зрительного нерва, но лишь из-за расстройства, обусловленного психикой. Делают еще одну попытку и приводят ее к Месмеру, который устанавливает в ней потрясение общей нервной системы и признает, что в силу этого возможность ее исцеления его, Месмера, методами не исключена. Чтобы быть в состоянии в точности следить за успехами магнетического курса, он берет ее к себе в дом, где подвергает магнетическому лечению бесплатно, вместе с другими двумя пациентками.



До этого пункта все заявления современников сходятся в точности. Но отныне полнейшее, зияющее противоречие устанавливается между показаниями Месмера, утверждающего, что он почти полностью вернул ей зрение, и свидетельством профессоров, отвергающих какую бы то ни было претензию на улучшение, как обман и «воображение». (Это слово «воображение» играет отныне решающую роль при всех исходящих от научных кругов упреках Месмеру.) Конечно, теперь, по прошествии полутора веков, нелегко сделать выбор между двумя утверждениями, столь резко друг другу противоречащими. За врачей говорит то, что к Марии Терезии Парадиз и в дальнейшем никогда уже не вернулось больше зрение; за Месмера, кроме свидетельства общественности, та записка, которая составлена отцом молодой девушки и которая кажется мне слишком наглядной, чтобы можно было объявить ее попросту подделкой. Ибо я знаю мало документов, которые бы так исчерпывающе полно с психологической точки зрения воспроизвели первое восприятие света человеком, постепенно излеченным от слепоты; чтобы измыслить такие тончайшие, основанные на знании человеческой души подробности, потребовался бы лучший поэт и психолог, чем старый гоф-секретарь Парадиз-отец или столь непоэтическая натура, как Месмер.

Записка, в ее существенной части, гласит:

«После непродолжительного энергичного магнетического воздействия со стороны г-на доктора Месмера она начала различать очертания поставленных перед ней тел и фигур. Но новое чувство было столь впечатлительно, что она могла смотреть на все это только в очень темной, снабженной ставнями и занавесями комнате. Когда перед ее глазами, со впятеро сложенной на них повязкой, проводили зажженной свечой, хотя бы и очень быстро, она разом падала, словно сраженная молнией. Первой человеческой фигурой, которую она увидела, был г-н доктор Месмер. Она с большим вниманием наблюдала за ним и за всевозможными колеблющимися движения-

ми его тела, которые он проделывал, чтобы испытать ее. Она до известной степени была смущена этим и сказала: «Как ужасно видеть это! Неужели таков облик человеческий?» К ней, по ее желанию, привели большую домашнюю собаку, очень ручную, ее всегдашнюю любимицу, и она осмотрела ее с тем же вниманием. «Эта собака, — сказала она потом, — нравится мне больше, чем человек; мне много легче на нее смотреть». Особенно поражали ее носы на лицах, которые она рассматривала. Она не могла удержаться от смеха. Она выражалась об этом так: «Мне кажется, что они обращены на меня с угрозой и хотят выколоть мне глаза». После того как она увидела достаточное количество лиц, она попривыкла к этому. Наибольшего труда стоит ей научиться различать цвета и степень отдаленности предметов, ибо в отношении вновь проявившегося у нее чувства зрения она столь же неопытна и не искушена, как новорожденный ребенок. Она никогда не ошибается в отличии одного цвета от другого, но зато путает их наименования, в особенности если ее не навели на след — производить сравнения с окраской, ей уже знакомой. При виде черного цвета она поясняет, что это образ ее былой слепоты. Этот цвет всегда пробуждает в ней некоторую склонность к меланхолии, которой она часто была подвержена в период лечения. В это время она неоднократно раздражалась внезапными рыданиями. Так, однажды с ней случился столь сильный припадок, что она бросилась на софу, отбивалась руками, пыталась сорвать с себя повязку, отталкивала все и, жалостно стеная и плача, являла своим видом такое отчаяние, что мадам Сакко или любая другая знаменитая актриса не могла бы найти лучшего образца для изображения женщины, потрясенной крайним горем. Через несколько мгновений это печальное настроение прошло, и она вернулась к своей прежней приветливости и жизнерадостности, — хотя вскоре после этого снова с ней случился такой же припадок. Так как в первые дни, когда распространилась молва о том, что она прозрела, нас усиленно стали посещать родственники, друзья и высокопостав-

ленные лица, она стала сердиться. Однажды, будучи этим недовольна, она выразилась в разговоре со мной так: «Почему это я чувствую себя менее счастливой, чем раньше? Все, что я вижу, вызывает во мне неприятное возбуждение. Ах, я была гораздо спокойнее со своей слепотой!» Я утешил ее тем доводом, что ее нынешнее раздражение происходит от восприятия чуждой области, в которой она пребывает. Но как только она привыкнет к зрению, она станет такой же спокойной и довольной, как другие. «Это хорошо, — отвечала она, — потому что если при взгляде на что-нибудь новое мне и дальше суждено испытывать беспокойство вроде нынешнего, я готова теперь же вернуться к прежней слепоте».

Так как вновь обретенное чувство поставило ее на первоначальную природную ступень, то она вполне свободна от предвзятых взглядов и именуется вещи просто по тому естественному впечатлению, которое они на нее производят. Она очень хорошо судит о чертах лица и делает из этого выводы о свойствах характера. Знакомство с зеркалом вызвало в ней большое удивление; она не могла понять, как это плоское зеркальное стекло улавливает предметы и вновь представляет их глазу. Ее привели в великолепную комнату, где была высокая зеркальная стена. Она стала производить перед ней удивительные повороты и телодвижения и особенно смеялась тому, что изображение в зеркале, когда она приближалась, подступало к ней, а при удалении от него отступало. Все предметы, которые она замечает в известном отдалении, кажутся ей маленькими, и в ее представлении они увеличиваются по мере того, как придвигаются к ней.

Когда она с открытыми глазами подносила ко рту кусочек поджаренного хлеба, он представлялся ей таким большим, что не поместится, казалось ей, во рту. Потом ее провели к бассейну, который она назвала большой суповой миской. Ей казалось, что деревья в аллее движутся рядом с ней с двух сторон, а на обратном пути она думала, что дом идет ей навстречу, и особенно понравились ей освещенные окна. На следующий

день пришлось исполнить ее желание и отвести ее в сад при свете дня. Она опять внимательно осмотрела все предметы, но не с таким удовольствием, как накануне вечером. Протекавший перед домом Дунай она назвала длинной и широкой полосой и указала точно те места, где она видит начало и конец реки. Деревьев, стоявших примерно в тысяче шагов по ту сторону реки, на так называемом Пратерау, можно было коснуться, по ее мнению, вытянув вперед руки. Так как это было среди бела дня, она не могла долго вынести пребывания с открытыми глазами в саду. Она сама потребовала, чтобы ей завязали опять глаза, так как восприятие света не по силам ее слабому зрению и вызывает в ней головокружение. А когда у нее на глазах снова повязка, то она без провожатых не решается ни на один шаг, хотя, будучи слепой, расхаживала прежде по хорошо знакомой комнате. Рассеянность нового чувства служит причиной того, что она должна быть более внимательной за клавиром, чтобы сыграть что-нибудь, в то время как раньше она исполняла целые концерты с безукоризненной верностью и при этом разговаривала с окружающими. Теперь с открытыми глазами ей трудно сыграть и небольшую вещицу. Она следит за своими пальцами, — как они поднимаются над клавиром, — но при этом не попадает в большинстве случаев на нужные клавиши».

Производит ли это ясное, прямо-таки классическое описание впечатление подделки? Можно ли, действительно, допустить, что ряд очевидцев, пользующихся уважением, дал себя полностью одурачить и послал сообщения в газеты о чудесном исцелении, не потрудившись удостовериться относительно состояния бывшей слепой, живущей на расстоянии двух улиц? Но именно из-за шума, вызванного этим случаем магнетического лечения, врачебная корпорация с недовольством вмешивается в дело. На этот раз Месмер вторгся в их собственную, личную область, и глазной врач и профессор Барт, у которого девица Парадиз в течение нескольких лет безуспешно искала помощи, с особым рвением ополчается против непрошенного

целителя. Он утверждает, что девицу Парадиз следует рассматривать еще как слепую, потому что она часто не знает названий находящихся перед ней предметов и нередко путает их, — ошибка, психологически очень понятная и даже вероятная у долголетней слепой, впервые познающей предметы; ошибка, сама по себе не опорочивающая. Но за официальным миром сила превосходства. Прежде всего, вмешательство влиятельных врачей ставит преграду намерению Месмера лично представить императрице Марии Терезии свою находящуюся на пути к выздоровлению пациентку; и все яростнее пытаются раздраженные коллеги помешать Месмеру продолжать магнетическое лечение.

По какому праву? — следует, объективно говоря, спросить. Ибо даже в самом неблагоприятном случае метод внушения не может сделать мертвый зрительный нерв девицы Парадиз еще более мертвым, не может сделать слепую более слепой. Таким образом, при желании нельзя ни из одного из параграфов закона вывести право посторонних лиц отнять у дипломированного врача его пациентку в середине лечения. И так как помимо того девица Парадиз сама крепко держится за своего целителя, противники Месмера избирают обходный путь, чтобы лишить его драгоценного объекта опытов: они внушают старикам Парадиз устрашающую мысль, что если дочь их действительно прозреет, то сразу же пропала монаршья милость — пенсия в двести дукатов, и что покончено со своеобразной сенсацией от выступлений слепой концертантки. Этот довод — угроза финансовая — сразу же действует на семью. Отец, дотоле вполне доверявший Месмеру, насильно врывается в дом, требует свою дочь немедленно обратно и грозит обнаженной саблей. Но, удивительное дело, сопротивление встречает он не со стороны врача. Сама девица Парадиз, привязавшаяся к своему целителю не то в качестве медиума, не то по эротическим побуждениям, заявляет определенно, что не намерена возвращаться к родителям, а остается у Месмера. Это приводит в раздражение ее мать, она с невероятной яростью

набрасывается на непокорную девушку, предпочитающую чужого человека своим родителям, наносит ей, беззащитной, побои и ведет себя по отношению к ней так ужасно, что та падает, охваченная судорогами.

Но, несмотря на все приказания, угрозы и побои, не удается заставить стойкую девицу Парадиз покинуть своего покровителя (а может быть, своего возлюбленного). Она остается в магнетической клинике. Месмер одержал победу, правда, Пиррову победу. Ибо в результате перенесенного возбуждения и насилий слабый проблеск света, доставшийся с таким трудом, угасает. Приходится снова начать лечение, чтобы оживить пришедшие в расстройство нервы. Но на это Месмеру не дают времени. Факультет пустил уже в ход самые тяжелые орудия. Он мобилизовал архиепископа кардинала Мигадзи, императрицу и двор и, кажется, самую могущественную в терезианской Австрии инстанцию: знаменитую комиссию нравов. Профессор Штерк, как глава медицинского ведомства в Австрии, дает, по поручению императрицы, приказ «положить конец этим обманам». И вот государство отнимает у магнетизера власть над его медиумом. Месмер вынужден немедленно прервать лечение и выдать не получившую еще исцеления девицу Парадиз родителям, несмотря на ее отчаянные мольбы.

Дальнейшие события, за недостатком соответствующих документов, не поддаются точному выяснению. Или Месмеру предписано было правительством, более или менее настоятельно, покинуть пределы Австрии в качестве «нежелательного иностранца», или сам он оказался сыт по горло товарищеским отношением медицинских кругов Вены. Во всяком случае, он, сразу же после случая с девицей Парадиз, покидает свой великолепный дом на Загородной улице, 261, уезжает из Вены и ищет новое отечество сначала в Швейцарии, потом в Париже. Венский факультет может быть спокоен, его цель достигнута. Он отстранил неприятного, с замашками самостоятельности, человека и дискредитировал (по его мнению, на-

всегда) первые зачатки психотерапевтического метода, правда, неясного, но уже приближающегося к современным представлениям. На целое столетие с четвертью воцаряется на Венском факультете *in rebus psychologicis*\* величественное спокойствие, пока опять не появляется, со своим психоанализом, еще один досадный новатор, Зигмунд Фрейд, на которого профессора факультета ополчаются с тем же предубеждением и с такой же яростью, но на этот раз, по счастью, со значительно меньшим успехом.

## ПАРИЖ

Восемнадцатое столетие мыслит и живет космополитически. Наука Европы, ее искусство представляют еще одну большую семью; для человека духовной культуры еще не придумано современное нам яростное отграничение одного государства от другого. Художник и ученый, музыкант и философ странствуют в то время из одной резиденции в другую без всяких националистических ущемлений, чувствуя себя как дома везде, где они могут проявить свой талант и выполнить свою миссию, встречая дружеский прием со стороны всех наций, народов и государей. Поэтому в решении Месмера переселиться из Вены в Париж нет ничего особенного, и с первого же часа ему не приходится раскаиваться в перемене обстановки. Его аристократические пациенты из Австрии открывают перед ним двери посольства. Мария Антуанетта, живо интересующаяся всем новым, необычным и занимательным, обещает ему свою поддержку, а бесспорная принадлежность Месмера к всемогущему тогда масонству тотчас же вовлекает его в средоточие духовной жизни французского общества. Кроме того, его учение совпадает с исключительным моментом. Ибо как раз потому, что Вольтер и энциклопедисты агрессивным своим скептицизмом вытравивали из общества восемнадцатого века

---

\*В делах психологии (*лат.*).

церковную веру, они, вместо того чтобы уничтожить неистребимую в человеке потребность веры («écrasez l'infâme!»\*), загнали ее в какие-то другие закоулки и мистические тупики.

Никогда не был Париж столь жаден до новшеств и суеверий, как в ту пору начинающейся просвещенности. Перестав верить в легенды о библейских святых, стали искать для себя новых и особенных святых и обрели их в толпами притекавших туда шарлатанах розенкрейцерства, алхимии и филалетии; все неправдоподобное, все идущее наперекор ограниченной школьной науке встречается в скучающем и причесанном на философский манер парижском обществе воодушевленный прием. Страсть к тайным наукам, к белой и черной магии проникает повсюду, вплоть до высших сфер. Мадам де Помпадур, правительница Франции, прокрадывается ночью через боковую дверь Тюильрийского дворца к мадам Бонтан, чтобы та предсказала ей будущее по кофейной гуще; герцогиня д'Юффе велит соорудить для себя дерево Дианы (об этом можно прочесть у Казановы) и омолаживается путем в высшей степени физиологическим; маркизу де Л'Опиталь какая-то старая женщина заманивает в глухое место, где ей во время черной мессы представлен будет Люцифер собственной персоной; но в то время как добрейшая маркиза и ее подруга, обнаженные с головы до пят, ждут появления обещанного дьявола, мошенница исчезает с их одеждой и деньгами.

Наиболее почтенные мужи Франции трепещут от почтительного благоговения, когда легендарный граф Сен-Жермен тончайшим образом проговаривается за ужином и выдает свой тысячелетний возраст тем, что об Иисусе Христе и о Магомете говорит, как о личных своих знакомых. В то же самое время хозяева гостиниц и постоялых дворов Страсбурга радуются переполненности своих комнат, потому что принц Роган принимает у себя, в одном из самых аристократических дворцов,

---

\* «Раздавите гадину!» (фр.)



отъявленного сицилийского проходимца Бальзамо, именуемого себя графом Калиостро. В почтовых каретах, в носилках и верхом прибывают со всех концов Франции аристократы, чтобы приобрести себе у этого превоклассного шарлатана микстуры и волшебные снадобья. Придворные дамы и девицы голубой крови, княгини и баронессы устраивают у себя в замках и городских отелях лаборатории по алхимии, и вскоре эпидемия мистического помешательства охватывает и простой народ. Едва лишь распространяется молва о нескольких случаях чудесного исцеления у гроба парижского архидиакона на кладбище Сен-Медар, как туда стекаются тысячи людей и впадают в дикие корчи.

Ничто необычное не кажется в ту пору слишком нелепым, никакое чудо достаточно чудесным, и никогда не было мошенникам столь удобно, как в эту одновременно и рассудочную и падкую до сенсаций эпоху, бросающуюся на всякое щекочущее нервы средство, увлекающуюся всяким дурачеством, верующую, в своем скептицизме, во всякое волшебство. Таким образом, врач, владеющий новым универсальным методом, заранее мог считать свою игру выигранной. Но Месмер (и это следует подчеркивать неустанно) отнюдь не намерен отбивать у какого-нибудь Калиостро или Сен-Жермена золотые прииски глупости человеческой. Дипломированный врач, гордый своей теорией, фанатик своей идеи, — более того, пленник ее, — он хочет и желает прежде всего быть признанным официальной наукой. Он презирает весьма ценный и прибыльный энтузиазм угодников моды: благосклонный отзыв одного академика был бы для него важнее, чем шум, произведенный сотней тысяч дураков. Но всеильные профессора отнюдь не усаживаются с ним вместе за один лабораторный стол. Берлинская академия ответила на его доводы лаконично, что «это ошибка», Венский медицинский совет официально признал его обманщиком; становится понятным его отчаянно-страстное желание удостоиться, наконец, честного отзыва. Едва успев прибыть, в феврале 1778 года, в Париж, он сразу же направляется к Леруа, президенту Академии наук; через него

он настойчиво домогается, чтобы все члены академии оказали ему честь и серьезным образом подвергли рассмотрению его метод в организованном им на первое время госпитале в Кретеиле (поблизости от Парижа). Согласно инструкции, президент ставит это предложение на обсуждение. Но Венский факультет, по-видимому, забежал вперед, ибо Академия наук коротко и решительно заявляет о своем отказе от рассмотрения месмеровских опытов.

Не столь легко, однако, отступает человек, который, будучи проникнут страстной уверенностью в то, что дает миру нечто очень важное и новое, добивается для своей научной мысли научной санкции. Он тотчас же обращается к только что основанному Медицинскому обществу. Там он в качестве врача может требовать своего бесспорного и непреложного права. Еще раз предлагает он представить в Кретеиле своих излечившихся пациентов и дать с готовностью объяснения на всякий вопрос. Но и Медицинское общество не проявляет особой склонности стать в оппозицию к родственной ему венской организации. Оно уклоняется от сомнительного предложения под тем малоубедительным предлогом, что может судить об излечениях лишь в случаях, когда оно осведомлено о предшествующем состоянии пациентов, а этого в данном случае нет.

Пять раз пытался Месмер добиться у всех факультетов мира признания или по крайней мере внимательного рассмотрения своей системы: нельзя было действовать прямее, честнее, в большем согласии с наукой. Лишь теперь, когда ученая клика своим молчанием выносит ему приговор, не ознакомившись с документами и фактами, лишь теперь обращается он к высшей и решающей инстанции: к общественному мнению, ко всем образованным и интересующимся людям; в 1779 году он печатает на французском языке свой «Трактат об открытии животного магнетизма». Красноречиво и поистине искренне просит он помощи в своих опытах, участия и благоволения, ни одним намеком не обещая чудесного или невозможного: «Животный магнетизм — это вовсе не то, что врачи понимают под

словом таинственное средство. Это наука, имеющая свои обоснования, выводы и положения. Все в целом и донныне неизвестно, это я признаю. Но именно потому было бы несправедливо давать мне в судьи лиц, ничего не понимающих в том, о чем они решаются судить. Мне нужны не судьи, а ученики. Поэтому мое намерение состоит целиком в том, чтобы официально получить от какого-либо правительства дом, где бы я мог поместить больных для лечения и где мог бы, с легкостью и без особых околичностей, доказать в полном объеме действие животного магнетизма. Затем я хотел бы взять на себя подготовку большого количества врачей и предоставить тому же правительству решить, в какой мере желает оно распространить мое открытие — для всеобщего пользования или в ограниченных кругах, быстро или не спеша. Если бы предложения мои были отвергнуты во Франции, я покинул бы ее неохотно, но это, конечно, неизбежно. Если они будут отвергнуты повсюду, то я все же надеюсь найти для себя спокойный уголок. Под покровом своей добросовестности, свободный от упреков совести, я соберу около себя частицу человечества, того человечества, которому я хотел бы быть полезным в более широких размерах, и тогда придет пора ни у кого, кроме самого себя, не спрашивать совета, как поступать. Если бы я действовал иначе, то к животному магнетизму отнеслись бы как к моде. Каждый бы пытался блеснуть им и найти в нем больше или меньше того, что он действительно в себе содержит. Им стали бы злоупотреблять, и полезность его превратилась бы в проблему, разрешение которой последовало бы, может быть, лишь через несколько столетий».

Это ли язык шарлатана, сочинительство и болтовня человека нечестного? Конечно, в громогласном обращении прежнего скромного просителя звучит уже нотка окрыленности: Месмер впервые говорит языком успеха. Ибо как раз в эти последние месяцы его метод лечения нервных болезней внутренением нашел серьезных приверженцев и влиятельных союзников, и прежде всего открыто стал на его сторону Шарль Делон, лейб-медик графа д'Артуа, выпустивший брошюру.

Это открывает Месмеру путь ко двору; в то же самое время одна из дворцовых дам Марии Антуанетты, которую Месмер исцелил от паралича, выступает перед своей повелительницей в пользу того, кто помог ей. Высшее дворянство, мадам Ламбаль, принц Конде, герцог Бурбон, барон Монтескье и в особенности герой дня, молодой маркиз Лафайет, высказываются с воодушевлением в поддержку его учения. И вот, несмотря на враждебное отношение академии, несмотря на неудачу в Вене, правительство, по приказу королевы, вступает в непосредственные переговоры с Месмером, чтобы привязать к Франции родоначальника столь плодотворных идей; министр Морепа, по приказанию свыше, предлагает ему пожизненное содержание в двадцать тысяч ливров и, кроме того, десять тысяч ливров на квартирные расходы, правда, с выплатой лишь в том случае, когда три подготовленных им для государства ученика признают пользу магнитотерапии.

Но Месмер сыт по горло и не желает вновь и без конца возиться с предвзятыми суждениями узколобых специалистов, он не идет ни на какие оговорки «если» и «в том случае», он не принимает милостыни. Он гордо отказывается: «Я не могу входить в договорные отношения с правительством, пока правильность моего открытия не будет непреложным образом признана и подтверждена». И после двух лет магнетической терапии такую силу приобрел в Париже высланный из Вены Месмер, что в качестве угрозы может заявить, что покинет Париж, и в этом смысле предъявляет ультиматум королеве: «Единственно из уважения к Вашему Величеству я Вас заверяю, что продлю свое пребывание во Франции до 18 сентября, и до этого срока готов оказать помощь тем больным, которые удостоят меня своим доверием. Я ищу, Ваше Величество, такое правительство, которое признает необходимость не допускать, легкомысленным образом, проникновения в мир истины, вызывающей своим воздействием на природу человека изменения, коим, с самого начала, требуется контроль со стороны истинного знания и истинной силы, а также направление в благожелательном смысле. В деле, касающемся всего чело-

вечества, деньги должны быть, в глазах Вашего Величества, лишь на втором плане; четыреста или пятьсот тысяч франков, обращаемых на такую цель, ничего не должны значить. Мое открытие и я сам должны быть награждены с величием, достойным монарха, с которым я вступаю в сношение». Этот ультиматум Месмера не принимается, по-видимому, в результате сопротивления со стороны Людовика Шестнадцатого, чей трезвый и бережливый нрав восстает против всяких фантастических экспериментов. И вот Месмер действует всерьез: он покидает Париж и направляется в германские владения, в Спа.

Но эта вызывающая самоопала — иного свойства, чем прежняя, венская, безнадежно смахивающая на бегство или высылку. Он удаляется из державы Бурбонов как властелин, как претендент, и целый рой вдохновенных приверженцев провожает высокочтимого вождя в добровольное изгнание. Но еще большее число их остается в Париже и во Франции, чтобы действовать там в его пользу. Возмущение по поводу того, что из-за интриг факультета с полным равнодушием допустили отъезд такого человека из Франции, приобретает постепенно лихорадочный характер. Записки в его защиту дюжинами появляются в печати. В Бордо, в соборе, аббат Эрвье открыто проповедует с кафедры догму магнетизма; Лафайет, перед своим отплытием в Америку, сообщает Вашингтону, как нечто весьма важное, что он везет американцам, кроме ружей и пушек для войны за независимость, также и новое учение Месмера («Un docteur nommé Mesmer, ayant fait la plus grande découverte, a fait des élèves, parmi lesquels votre humble serviteur est appelé un des plus enthousiastes... Avant de partir, j'obtiens la permission de vous confier le secret de Mesmer, qui est une grande découverte philosophique\*»). И масонство, защищающее в на-

---

\*Некий доктор, по имени Месмер, сделавший величайшее открытие, снискал себе учеников, среди которых ваш покорный слуга считается одним из самых восторженных. Перед отъездом я испрошу разрешения посвятить вас в тайну Месмера — большое философское открытие (фр.).

уже, как и в области политики, все новое и революционное, с решимостью становится на сторону собрата.

И вот, вопреки правительству, вопреки королю, вопреки медицинской коллегии, вопреки академии, эти восторженные приверженцы Месмера добиваются возвращения его в Париж на поставленных им условиях; то, в чем отказал Месмеру король, предлагают ему, за свой счет, дворянство и буржуазия. Группа его учеников, во главе с Бергасом, известным адвокатом, основывает акционерное общество, чтобы предоставить маэстро возможность учредить свою собственную академию, в противовес королевской; сто поклонников вносят каждый по сто луидоров «pour acquitter envers Mesmer la dette de l'humanité»\*, наряду с чем Месмер обязывается передать им свои знания. Сразу же магнетические акции расхватываются; в двенадцать месяцев собрано 340 000 ливров, значительно больше, чем требовал сначала Месмер. Кроме того, ученики его объединяются в каждом городе в так называемое «Гармоническое общество» («Société de l'Harmonie»), отдельно в Бордо, Лионе, в Страсбурге, в Остенде, и даже одно в колониях, в Сан-Доминго. С триумфом, вызванный из изгнания мольбами и заклинаниями, встреченный празднествами и приветствиями, возвращается Месмер опять во Францию, некоронованный глава некоей незримой духовной державы. То, в чем отказал ему король, он сам себе создал: свободу исследований, независимое существование. И если официальная, академически-насторожившаяся наука объявит ему войну, Месмер теперь готов к ней.

## МЕСМЕРОМАНИЯ

Месмер, чей магнетический метод обещает исцеление от всех видов болезненного возбуждения, сам приносит на первых порах в Париж особый вид возбуждения — месмероманию. Вот уже много десятков лет ничто не приводило Сен-

---

\* Чтобы выполнить по отношению к Месмеру долг человечества (фр.).

Жерменское предместье, с его неизменно хорошим, скучающим среди роскоши обществом, в такое волнение, в такой, можно сказать, пароксизм страсти, как практика магнетического лечения. В течение нескольких месяцев Месмер и магнетизм становятся в Париже *la grande mode, le dernier cri*\*. Перед его роскошной квартирой на Вандомской площади с утра до вечера стоят коляски и кабриолеты дворянства; лакеи в цветных ливреях лучших домов Франции ждут у украшенных гербами носилок; а так как приемные помещения оказываются слишком тесными для столь неожиданного наплыва, а для лечения хорошо платящих пациентов имеются лишь три «ушата здоровья», то уже за несколько дней вперед покупают себе место у «бакета», как в наши дни ложу на первое представление новой оперы. Но филантропия тоже в моде, и Месмер предоставляет «бакеты» — правда, меньшего размера — и для лиц менее состоятельных, ибо каждый, будь он богат или беден, должен получить свою долю этого «гармонического» целебного средства. Он исключает из круга больных только лиц с открытыми ранами, несомненных эпилептиков, умалишенных и калек, честно подчеркивая этим, что он достигает улучшения в общем самочувствии лишь через нервную систему, но не может чудом изменить строение органов.

В этих магнетических залах, а вскоре и в собственном дворце, в отеле Буильон на улице Монмартр, где Месмер устроил клинику, в течение пяти лет толпятся пациенты всех сословий, настоящие и мнимые больные, любопытные и снобы всякого ранга. Каждый любопытный парижанин — а какой парижанин из хорошего общества не любопытен? — должен во что бы то ни стало хоть однажды испробовать на себе чудодейственный флюид и потом этой щекочущей нервы сенсацией хвалиться в элегантных салонах с той же примерно дилетантской поверхностностью, как в наше время за *five o'clock tea*\*\* рассуждают о теории относительности или психоанализе.

---

\* Величайшей модой, последним криком (фр.).

\*\* Пятичасовой чай (англ.).

Месмер в моде, и потому его наука, принимаемая им весьма серьезно, действует на общество не как наука, а как театр. Что в постановке его лечения есть, действительно, нечто нарочито театральное, Месмер никогда не отрицал, напротив, он открыто признает это, «*Mes procédés, s'ils n'étaient pas raisonnés, paraîtraient comme des grimaces aussi absurdes que ridicules, auxquelles il serait en effet impossible d'ajouter foi*»<sup>\*</sup>.

Ему, в качестве знатока душ человеческих, известно, что всякое основанное на вере лечение нуждается, для усиления его действия, в определенном магическом или религиозном церемониале; и он, в силу психологической убежденности, окружает свою личность неким магическим ореолом; как всякий сведущий в психологии врач, он усиливает свой авторитет таинственностью. Уже само помещение действует на посетителей благодаря особому убранству тревожно и возбуждающе. Окна затемнены занавесями, чтобы создать сумеречное освещение, тяжелые ковры на полу и по стенам заглушают звук, зеркала отражают со всех сторон золотистые тона света, странные символические звездные знаки привлекают внимание, не давая ему полного удовлетворения. Неопределенность всегда повышает чувство ожидания, таинственность усиливает напряжение, молчание и замалчивание взвинчивают мистическую настроенность; поэтому в волшебном приемном покое Месмера все чувства — зрение, слух и осязание тончайшим образом подвергаются воздействию и раздражению. Посредине большого зала стоит широкий, как колодец, «ушат здоровья». Вокруг этого магнетического алтаря сидят, в глубоком молчании, как в церкви, больные, затаив дыхание; никто не смеет пошевелиться, ни один звук не должен вырваться, чтобы не нарушить создавшегося напряжения. Время от времени собравшиеся вокруг «ушата» образуют, по данному знаку, знаменитую (впоследствии заимствованную спиритами)

---

<sup>\*</sup>Если бы мои приемы не были разумно обоснованы, они должны были бы казаться столь же нелепыми, сколько и смешными, и им, действительно, трудно было бы дать веру (*фр.*).



магнетическую цепь. Каждый касается кончиков пальцев своего соседа, чтобы мнимый ток, усиливаясь при прохождении от тела к телу, пронизал весь благоговейно насторожившийся ряд. Это глубокое, ничем кроме легких вздохов не нарушаемое молчание сопровождается тончайшими аккордами клавира или тихим хоровым пением из соседней комнаты; иногда даже сам Месмер играет на своей стеклянной гармонике, чтобы нежным ритмом умерить создавшееся возбуждение или повысить его, если нужно, ускоряя ритм. Так в продолжение часа организм заряжается магнетической силой (или, как сказали бы мы по-современному, создается гипнотическая напряженность, путем воздействия на нервную систему приемами монотонности и ожидания). Потом появляется, наконец, сам Месмер.

Серьезный и спокойный, он входит медленно, с величавым выражением лица, излучая покой среди общего беспокойства; и едва лишь он приблизился к больным, как легкий трепет, словно от звенящего издали ветерка, пробегает по цепи. На нем длинная, шелковая фиолетовая мантия, вызывающая мысль о Зороастре или об одежде индийских магов; сурово, сосредоточившись в себе наподобие укротителя зверей, который, имея лишь легкий хлыст в руке, единственно силой воли удерживает зверя от прыжка, шагает он, со своим железным жезлом, от одного больного к другому. Перед некоторыми он останавливается, спрашивает тихо о их состоянии, потом проводит своей магнетической палочкой по одной стороне тела книзу и по противоположной вверх, приковывая к себе в то же время, властно и настойчиво, исполненный ожидания взгляд больного. Других он вовсе не касается жезлом и, лишь очерчивая в воздухе невидимый круг, как бы осеняет им со значительным видом лоб или центр болевых ощущений, но при этом неотступно сосредоточивает при помощи недвижимого взора внимание на больном и этим приковывает его внимание. Во время этой процедуры другие почтительно затаили дыхание, и в течение некоторого времени в просторном, приглушенном коврами помещении не слышно ни-

чего, кроме его медленных шагов или, порой, вздоха облегчения или тоски.

Но обычно это длится недолго, и один из больных начинает при прикосновении Месмера дрожать, конвульсивная судорога проходит по его членам, его бросает в пот, он кричит, вздыхает или стонет. И как только у этого первого обнаруживаются видимые знаки напрягающей нервы силы, другие участники цепи тоже начинают чувствовать знаменитый, несущий исцеление кризис. Подергиванья, словно электрический ток, пробегают по замкнутому ряду, дальше и дальше, возникает массовый психоз; у второго, у третьего пациента начинаются судороги, и вот шабаш ведьм в полном разгаре. Одни катаются в корчах по полу, другие начинают пронзительно смеяться, кричать, стонать и плакать, некоторые, охваченные судорогами, носятся в пляске, как черти, некоторые — все это можно видеть запечатленным на гравюрах той поры — как будто впали, под влиянием жезла или упорного взгляда Месмера, в обморочное состояние или гипнотический сон. С тихой, застывшей на губах улыбкой лежат они безучастно, в каталептическом оцепенении, и в это время музыка по соседству продолжает играть, чтобы состояние напряженности все усиливалось и усиливалось, ибо, по знаменитой «теории кризисов» Месмера, всякая нервно обусловленная болезнь должна быть доведена до высшей точки своего развития, чтобы тело могло исцелиться. Тех, кто слишком сильно охвачен кризисом, кто кричит, буйствует и корчится в судорогах, быстро уносят служители и помощники Месмера в соседнюю, плотно обитую, наглухо изолированную комнату, в «salle des crises»\*, чтобы там успокоиться (что, разумеется, дало в сотнях случаев повод глумлению в печати и утверждениям, что нервные дамы получают там успокоение путем в высшей степени физиологическим).

Поразительнейшие сцены ежедневно разыгрываются в волшебном кабинете Месмера: больные вскакивают, вырыва-

---

\*Зал кризисов (нем.).

ются из цепи, заявляют, что они здоровы, другие бросаются на колени и целуют руки спасителю, некоторые умоляют усилить ток и еще раз их коснуться. Понемногу вера в магию его личности, в его личные чары становится для его пациентов формой религиозного помешательства, а сам он — святым и исцелителем несчетного числа людей. Как только Месмер показывается на улице, одержимые недугом бросаются к нему, чтобы дотронуться только до его одежды; княгини и герцогини на коленях просят, чтобы он посетил их; опоздавшие, не получившие доступа к его бакету, покупают себе, для личного употребления, так называемые «*petits baquets*», маленькие ушаты, чтобы лечиться магнетизмом по его методу на дому. И в один прекрасный день Париж может созерцать глупейшую картину: по самой середине улицы Бонди сотня человек, веревками привязанных к намагнетизированному Месмером дереву, ждет «кризиса». Никогда ни один врач не переживал такого стремительного и шумного успеха, как Месмер; пять лет парижское общество только и говорит, что о его магически-магнетическом лечении.

Но нет ничего опаснее для вновь возникающей науки, если она становится модой и предметом светской болтовни. Против своей воли Месмер попадает в двусмысленное положение: в качестве честного врача он хотел дать новое целебное средство для науки, а дает, оказывается, подходящую тему для моды и для всюду поспевающих ее представителей, томящихся праздностью. Ведут споры — за Месмера и против него — с таким же отсутствием внутреннего интереса, как за Пуччини или Глюка, Руссо или Вольтера. Кроме того, столь прятная эпоха, как восемнадцатое столетие, спешит повернуть всякое новшество в сторону эротики: придворные кавалеры ждут от магнетизма, в качестве основного его эффекта, оживления своей упавшей мужской силы, а про дам сплетничают, что они ищут в *salle des crises* натуральнейшей формы охлаждения нервов.

Каждый мелкий писака вступает теперь в дискуссию, вы-

пуская глупую, восторженную или пренебрежительную брошюру, анекдоты и памфлеты подбавляют литературного перца в медицинский спор и в конце концов месмеромания переносится даже в театр. 16 ноября 1784 года итальянская королевская труппа разыгрывает фарс под названием «Les docteurs modernes»\*, в котором Раде, стихотворец третьего сорта, высмеивает магнетизм. Но он прогадывает, ибо фанатики месмеризма не допускают даже в театре шуток по адресу своего кумира. И вот представители громких фамилий, слишком гордые, разумеется, для того, чтобы самим утруждать свои уста, посылают в театр лакеев, чтобы те освистали пьесу. Во время представления какой-то королевский государственный советник бросает из ложи в ряды слушателей печатную брошюру в защиту магнетизма, и когда на следующий день недалевидный автор пьесы, Раде, направляется в салон герцогини Вильруа, она через своих служителей указывает ему на дверь; она не принимает субъектов, которые осмеливаются «издеваться над новым Сократом наподобие Аристофана».

День ото дня сумасшествие нарастает, и чем больше непризванных начинают развлекаться новой салонной игрой, тем фантастичнее и нелепее становятся крайности увлечения; в присутствии принца Прусского и всех членов магистрата в полном служебном облачении подвергают в Шарантоне магнетизации старую лошадь. В замках и парках возникают магнетические лужайки и гроты, в городах — тайные кружки и ложи, дело доходит до открытых схваток врукопашную между приверженцами и противниками системы, и даже до дуэлей; короче говоря, вызванная Месмером сила выходит за пределы своей собственной сферы, медицины, и заполняет всю Францию опасным и заразительным флюидом снобизма и истерии — месмероманисй.

---

\* «Современные доктора» (фр.).

## АКАДЕМИЯ ВМЕШИВАЕТСЯ В ДЕЛО

Перед лицом этой яростно распространяющейся эпидемии не приходится уже рассматривать Месмера как нечто с научной точки зрения не существующее. Возможность или невозможность жизненного магнетизма превратилась из предмета городских толков в дело государственное, и ожесточенный спор должен, наконец, получить разрешение с высоты академической кафедры. Интеллектуальные круги Парижа и дворянство почти целиком за Месмера, королева Мария Антуанетта, под влиянием принцессы Ламбаль, всецело на его стороне, все ее дворцовые дамы обожают «божественного немца». Лишь один человек во всем Бурбонском дворце смотрит на всю эту магию с упорным недоверием — это король. Абсолютно чуждый неврастении, с обложенными жиром и флегмой нервами, обжора в стиле Рабле, с отличным пищеварением, Людовик Шестнадцатый не в состоянии проявить особого любопытства к вопросам врачевания души; и когда, перед отъездом в Америку, ему представляется Лафайет, благодушный монарх весело посмеивается над ним: «Что-то скажет Вашингтон по поводу того, что он пошел в аптекарские ученики к господину Месмеру». Он ведь против всяких беспокойств и тревожений, добрый, толстый король Людовик Шестнадцатый; в силу какого-то внутреннего чутья он ненавидит революции и новшества также и в области духовной. В качестве человека делового и основательного, любящего порядок, он высказывает поэтому пожелание, чтобы внесли, наконец, ясность в эту бесконечную распрю по поводу магнетизма; и в марте 1784 года он подписывает указ, в котором поручает Обществу врачей и академии немедленно подвергнуть официальному рассмотрению магнетизм, как в его полезных, так и вредных проявлениях.

Редко видела Франция состав более внушительный, чем тот, который выделили обе организации по данному вопросу: имена почти всех участников и донныне пользуются мировой

известностью. Между четырьмя врачами находится и некий доктор Гильотен, который через семь лет изобретет машину, в секунду излечивающую все земные болезни, — гильотину. Среди других имен блистают славой такие, как имя Венъямина Франклина, изобретателя громоотвода, Байльи, астронома и в дальнейшем мэра Парижа, Лавуазье, обновившего химию, и Жюсье, знаменитого ботаника. Но при всей своей учености эти столь дальновидные в остальном умы не подозревают, что двое из них, астроном Байльи и химик Лавуазье, сложат через несколько лет свою голову под машиной своего коллеги Гильотена, с которым они исследуют теперь магнетизм в столь дружеском общении.

Спешка несовместима с достоинством академии, ее должны заменить методичность и основательность. И вот проходит несколько месяцев, прежде чем ученая коллегия выносит окончательный отзыв. Документ этот честным и добросовестным образом удостоверяет прежде всего бесспорное действие магнетических сеансов: «Некоторые тихи, спокойны и испытывают блаженное состояние, другие кашляют, плюют, чувствуют легкую боль, теплоту по поверхности всего тела, впадают в усиленную потливость; другие охватываются конвульсиями. Конвульсии необычайны по частоте, продолжительности и силе. Как только они начинаются у одного, они проявляются тут же и у других. Комиссия наблюдала и такие, которые продолжались три часа, они сопровождалась выделением мутной, слизистой жидкости, исторгаемой силой такого напряжения. Наблюдаются и следы крови в отдельных случаях. Эти конвульсии характеризуются быстрыми и произвольными движениями всех членов, судорогами в глотке, подергиваниями в области живота (*hypochondre*) и желудка (*epigastre*), блуждающим или застывшим взором, пронзительными криками, подскакиванием, плачем и неистовыми припадками смеха; затем следуют длительные состояния усталости и вялости, разбитости и истощения. Малейший неожиданный шум заставляет их вздрагивать в испуге, и замечено, что измене-

ния в тоне и такте исполняемых на фортепиано мелодий действуют на больных в том смысле, что более быстрый темп возбуждает их еще больше и усиливает неистовство их нервных припадков. Нет ничего поразительнее зрелища этих конвульсий; тот, кто их не видел, не может составить о них никакого понятия. Удивительно, во всяком случае, с одной стороны, спокойствие одной группы больных и с другой — возбужденное состояние остальных, удивительны различные, неизменно повторяющиеся промежуточные явления и та симпатия, которая возникает между больными; можно наблюдать, как больные улыбаются друг другу, нежно разговаривают друг с другом — и это умеряет судорожные явления. Все подвластно тому, кто их намагничивает. Если они даже находятся в полном, по-видимому, изнеможении, его взгляд, его голос тотчас же выводят их из этого состояния».

Таким образом, то обстоятельство, что Месмер влияет на своих пациентов внушением или как-либо иначе, установлено официально. Есть что-то такое в данном случае необъяснимое, удостоверяют профессора, и что-то им незнакомое, при всей их учености: «Судя по этому стойкому воздействию, нельзя отрицать наличия некой силы, которая действует на людей и покоряет их, и носителем которой является магнетизер». Этой последней формулировкой комиссия, собственно говоря, вплотную подошла к щекотливому пункту: она сразу же подметила, что удивительные эти явления имеют источником человека, особое личное воздействие. Еще один шаг в сторону этого непонятного соотношения между магнетизером и медиумом, и сто лет оказались бы предвосхищенными, проблема продвинута была бы на точку зрения современности. Но этого последнего шага комиссия не делает. Ее задачей, согласно королевскому указу, является установить, существует или нет магнетически-жизненный флюид, то есть новый физический элемент. Поэтому со школьной педантичностью она ставит только два вопроса, А большое и Б большое: во-первых, доказуем ли вообще этот жизненный магнетизм и, во-вторых,

полезен ли он как лечебное средство; «ибо, — аргументирует она *more geometrico*\* , — жизненный магнетизм может существовать и вместе с тем не быть полезным, но ни в коем случае он не может быть полезным, если не существует».

Таким образом, комиссия занята не таинственным контактом между врачом и пациентом, между магнетизером и медиком, иначе говоря, не существом проблемы, а единственно вопросом о «*présence sensible*»\*\* таинственного флюида и ее доказуемости. Можно его видеть? Нет. Можно обонять? Нет. Можно его взвешивать, трогать, измерять, пробовать на вкус, рассматривать под микроскопом? Нет. И вот комиссия прежде всего устанавливает эту его непознаваемость для органов чувств: «*S'il existe en nous et autour de nous, c'est donc d'une manière absolument insensible*»\*\*\*. После такого не слишком трудного утверждения комиссия переходит к вопросу, доказуемо ли по крайней мере действие этой незримой субстанции. На этот предмет экспериментаторы решают подвергнуть магнетизации прежде всего самих себя. Но, как известно, на людей, скептически настроенных и абсолютно здоровых, внушение не действует ни в какой мере: «Никто из нас ничего не почувствовал и, прежде всего, ничего такого, что могло бы быть названо реакцией на магнетизм; один только ощутил во второй половине дня нервное раздражение, но никто не испытал кризиса». Став, таким образом, на путь недоверия, они с особой предвзятостью приступают к рассмотрению бесспорного факта воздействия на других. Они ставят пациентам ряд ловушек: предлагают, например, одной женщине несколько чашек, из которых только одна намагнетизирована, и, действительно, пациентка ошибается и берет себе другую чашку, ненамагнетизированную. Казалось бы, этим доказано, что действие магнетизма — шарлатанство, «*imagination*», вообра-

---

\* По способу геометрии (*лат.*).

\*\* Осязаемом наличии (*лат.*).

\*\*\* Если он и существует в нас и вокруг нас, то лишь в абсолютно невоспринимаемой органами чувств форме (*лат.*).



жение. Но академики должны согласиться одновременно, что у той же самой пациентки, как только сам магнетизер подносит ей чашку, сразу наступает кризис. Решение задачи опять-таки близко и, собственно говоря, уже найдено: логически им бы следовало теперь установить, что эти явления возникают в силу особого контакта между магнетизером и медиумом, а не благодаря какой-то таинственной материи. Но, как и сам Месмер, академики обходят вот-вот уже близкую к разрешению проблему личного воздействия через передачу внушением или флюидальным путем и выносят торжественное заключение относительно «*nullité du magnétisme*»\*. Там, где ничто не ощущается на глаз, на обоняние, на осязание, там ничего и нет, поясняют они, и это замечательное действие основывается исключительно на одном воображении, что, конечно, является лишь словом, лишь производным от понятия «внушение», которое они просмотрели.

Такое торжественное признание магнетизма несуществующим сводит, разумеется, на нет и второй вопрос — об универсальной полезности магнетического (мы говорим психического) лечения. Ибо действие, для которого академия не может указать причины, ни в каком случае не должно быть признано перед лицом мира полезным или целебным. И вот лица сведущие (то есть те, которые на этот раз ничего не поняли в существе дела) утверждают, что метод господина Месмера опасен, ибо эти искусственно вызванные кризисы и конвульсии могут стать хроническими. И свое заключение они излагают, наконец, в тезисе, для которого надо запастись дыханием: «После того как члены комиссии признали, что флюид жизненного магнетизма не познается ни одним из наших чувств и не произвел никакого воздействия ни на них самих, ни на больных, которых они при помощи его испытали, после того как они установили, что касания и поглаживания лишь в редких случаях вызывали благотворное изменение в

---

\*Ничтожности магнетизма (фр.).

организме и имели своим постоянным следствием опасные потрясения в области воображения, после того как они, с другой стороны, доказали, что и воображение без магнетизма может вызвать судороги, а магнетизм без воображения ничего не в состоянии вызвать, они единогласно постановили, что ничто не доказывает существования магнетически-жизненного флюида и что, таким образом, этот не поддающийся познанию флюид бесполезен, что разительное его действие, наблюдавшееся при публичных сеансах, должно быть частично объяснено прикосновениями, вызываемым этими прикосновениями воображением и тем автоматическим воображением, которое, против нашей воли, побуждает нас переживать явления, действующие на наши чувства. Вместе с тем комиссия обязывается присовокупить, что эти прикосновения, эти непрестанно повторяющиеся призывы к проявлению кризиса могут быть вредными и что зрелище таких кризисов опасно в силу вложенного в нас природой стремления к подражанию, а потому всякое длительное лечение на глазах у других может иметь вредное последствие».

Этот официальный отзыв от 11 августа 1784 года сопровождается секретным рукописным донесением комиссии на имя короля, в котором в туманных выражениях указывается на опасность для нравственности, вытекающую из раздражения нервов и смещения полов. После такого приговора академии и равным образом отрицательного и неприязненного отзыва врачебной коллегии с психическим методом, с лечением путем личного воздействия для ученого мира бесповоротно окончено. Не помогает и то, что несколько месяцев спустя открыты и продемонстрированы в ряде опытов с непреложной ясностью явления сомнамбулизма, гипноза и медиумического воздействия на волю и что они вызвали громадное возбуждение во всем интеллектуальном мире; для ученой Парижской академии, после того как она однажды в восемнадцатом столетии изложила свое мнение письменно, не существует, вплоть до двадцатого века, никаких гипнотических, сверхчув-

ственных явлений. Когда в 1830 году один французский врач предлагает дать ей новые доказательства, она отклоняет. Она отклоняет даже и в 1840 году, когда Брайд своей «Неврогипнологией» сделал из гипноза всем понятное орудие науки. В каждом селе, в каждом городе Франции, Европы и Америки магнетизеры-любители уже с 1820 года демонстрируют в переполненных залах примеры самого поразительного воздействия; ни один полуобразованный или даже на четверть образованный человек не пробует отрицать их. Но Парижская академия, та самая, что отвергла громоотвод Франклина и противооспенную прививку Дженнера, которая назвала паровое судно Фультона утопией, упорствует в своем бессмысленном высокомерии, отворачивает голову и утверждает, что ничего не видит и не видела.

И так длится ровно сто лет, пока, наконец, французский врач Шарко не добивается в 1882 году, чтобы пресветлая академия соизволила официально познакомиться с гипнозом; так долго — битых сто лет — отказывал ошибочный приговор академии Францу Антону Месмеру в признании, которое, при большей ее справедливости и вдумчивости, могло бы уже в 1784 году обогатить науку.

## БОРЬБА СТОРОН

Еще раз — в который раз? — метод психического лечения ниспровергнут академической юстицией. Едва только Медицинское общество публикует свой отрицательный отзыв, как в лагере противников Месмера воцаряется ликование, словно навеки покончено со всяческими видами врачевания через психику. В каждом магазине продаются забавные гравюры на меди, которые изображают «Победу науки» в наглядном даже для неграмотных виде: озаренная ослепительным ореолом, комиссия ученых разворачивает свиток с уничтожающим приговором, и пред лицом этого «семикратно пылающего света» бегут, верхом на метлах, Месмер и его ученики, украшенные каждый ослиной головой и ослиным хвостом.

На другой гравюре изображена наука, мечущая молнии в шарлатанов, которые, спотыкаясь о разбитый ушат здоровья, проваливаются в преисподнюю; третья, с подписью «Nos facultés sont en rapport»\*, изображает Месмера, магнетизирующего длинноухого осла. Брошюры с издевательствами появляются дюжинами, на улицах распевают новую песенку:

Le magnétisme est aux abois,  
La Faculté, l'Académie  
L'ont condamné tout d'une voix,  
Et même couvert d'infamie.  
Après ce jugement, bien sage et bien légal,  
Si quelque esprit original  
Persiste encore dans son délire,  
Il sera permis de lui dire:  
Crois au magnétisme... animal! \*\*

И в продолжение нескольких дней кажется, действительно, что тяжкий удар академической палицы, как некогда в Вене, окончательно переломил теперь, в Париже, хребет Месмеру. Но дело происходит в 1784 году; гроза революции, правда, еще не разразилась, но дух беспокойства и мятежа носится уже в атмосфере, предвещая опасность. Приговор затребован всехристианнейшим королем, торжественно опубликован королевской академией — никто бы при короле-солнце не осмелился пойти наперекор столь уничтожающей опале. Но при слабом Людовике Шестнадцатом королевская печать не гарантирует защиты от глумления и дискуссий; дух революционности давно уже проник в общество и охотно вступает в страстное противоречие с мнением короля.

И целый рой негодующих брошюр разлетается по Парижу

---

\* Наши таланты приносят плоды (фр.).

\*\* Магнетизм при последнем издыхании, академия и факультет единогласно осудили его и даже покрыли позором. Если после такого отзыва, столь же мудрого, сколь и законного, какой-нибудь чудаки вздумает упорствовать в своем безумии, можно будет с полным правом ему сказать: «Верь в воздействие... животного!» (фр.)

и Франции, чтобы реабилитировать Месмера. Адвокаты, врачи, коммерсанты, лица из высшего дворянства опубликовывают под своими именами благодарственные отзывы о своих исцелениях, и среди любительской, пустой печатной болтовни можно разыскать в этих памфлетах немало откровенного и смелого. Так Ж. Б. Бонфуа, представитель хирургической коллегии в Лионе, запрашивает энергично, могут ли господа члены академии предложить лучший способ лечения: «Как поступают при нервных болезнях, этих болезнях, донныне еще совершенно не понятых? Прописывают холодные и горячие ванны, взбудораживающие, освежающие, возбуждающие или успокаивающие средства, и ни одна из этих паллиативных мер не дала до сих пор столь поразительных результатов, как психотерапевтический метод Месмера». В «Doutes d'un provincial»<sup>\*</sup> некий аноним обвиняет академию в том, что она, по закоснелому своему высокомерию, даже близко не подошла к самой проблеме: «Недостаточно, господа, если мысль ваша поднимается выше предрассудков эпохи. Нужно уметь забывать интересы своего сословия ради всеобщего благополучия». Один адвокат пишет пророчески: «Господин Месмер, на основе своих открытий, построил целую систему. Эта система может быть так же плоха, как и все предшествующие, ибо всегда опасно опираться на первичные выводы. Но если, независимо от этой системы, он ясно изложил некоторые смутные идеи, если хоть одна истина обязана ему своим существованием, то он имеет неоспоримое право на человеческое уважение. В этом смысле он будет признан более поздней эпохой, и никакие комиссии и правительства всего мира не в состоянии отнять у него его заслугу».

Но академии и ученые общества не вступают в дискуссию, они решают. Как только они вынесли решение, им благоугодно с надменностью игнорировать всякие возражения. Но в этом, особом случае академии приходится пережить нечто

---

<sup>\*</sup> «Сомнения одного провинциала» (фр.).

неприятное и неожиданное — из ее собственных рядов выступает обвинитель, член комиссии, и не из последних, а именно знаменитый ботаник Жюсье. По указу короля он присутствовал при опытах, отнесся к ним с большей добросовестностью и меньшей предвзятостью, чем большинство других, и потому, при окончательном решении вопроса, отказался поставить свою подпись под великой хартией опалы. От острого взора ботаника, привыкшего с благоговейным терпением наблюдать мельчайшие и незаметнейшие нити и следы семян, не скрылся слабый пункт расследования, а именно то обстоятельство, что комиссия сражалась с ветряными мельницами теории и потому была мимо цели, вместо того чтобы, исходя из бесспорного наличия результатов месмеровского лечения, доискиваться до возможных его причин. Не интересуясь фантазмагориями Месмера, его магнетизированными деревьями, зеркалами, водой и животными, Жюсье попросту устанавливает тот новый, существенный и поразительный факт, что при этом новом методе на больного действует какая-то сила. И хотя он столь же мало, как и остальные, способен установить осязаемость этого флюида, доступность его для созерцания, он логически правильно допускает возможность такого агента, «который может переноситься от одного человека к другому и часто производит на этого последнего видимое воздействие». Какого рода этот флюид — психического, магнетического или электрического, об этом честный эмпирик не решается допытываться самостоятельно. Возможно, по его словам, что это сама жизненная сила, «*force vitale*», но во всяком случае какая-то сила здесь несомненно налицо, и долгом беспристрастных ученых было исследовать эту силу и ее действие, а не отрицать предвзято впервые обнаруживающийся феномен при помощи таких расплывчатых и неопределенных понятий, как воображение.

Столь неожиданное заступничество со стороны вполне беспристрастного ученого означает для Месмера огромную моральную поддержку. Теперь он сам переходит в наступление

и обращается в парламент с жалобой, указывая, что комиссия, при ознакомлении с делом, обратилась только к Делону, вместо того чтобы опросить его, истинного изобретателя метода, и поэтому он требует нового, непредубежденного обследования. Но академия, довольная тем, что отделалась от неприятного казуса, не отвечает ни слова. С того мгновения, как она сдала в печать свой приговор, она полагает бесповоротно ликвидированным толчок, который дал науке Месмер.

Но в этом деле Парижской академии с самого начала как-то не везет. Ибо как раз в тот момент, когда она вышвырнула нежелательный и непризнанный факт внушения за дверь медицины, он возвращается обратно, через дверь психологии. Именно 1784 год, в котором, как полагает она, покончено благодаря ее отзыву с подозрительно колдовским способом природного лечения, становится подлинным годом рождения современной психологии: именно в этом году ученик и помощник Месмера Пюисегюр открывает явление искусственного сомнамбулизма и проливает новый свет на скрытые формы взаимодействия души и тела.

## МЕСМЕРИЗМ БЕЗ МЕСМЕРА

Судьба неизменно оказывается богаче на выдумку, чем любой роман. Ни один художник не мог бы изобрести для трагического рока, неумолимо преследовавшего Месмера всю жизнь и долгое время после смерти, символа более иронического, чем тот факт, что этот отчаянный искатель и экспериментатор не сам сделал свое самое решающее открытие и что система, именуемая месмеризмом, не является ни учением Франца Антона Месмера, ни его изобретением. Он, правда, вызвал к жизни ту силу, которая стала решающей для познания динамики души, но — роковое обстоятельство — он ее не заметил. Он видел ее и вместе с тем просмотрел. А так как по действующему везде и всегда соглашению открытие принадлежит не тому, кто его подготовил, но тому, кто его закрепил и сформулировал, то слава досталась не Месмеру, а его верно-

му ученику, графу Максиму де Пюисегюру, доказавшему восприимчивость человеческой психики к гипнозу и бросившему свет на таинственную промежуточную область между сознательным и бессознательным. Ибо в роковом 1784 году, когда Месмер сражается с академией и учеными обществами за любимые свои ветряные мельницы, за магнетический флюид, этот ученик публикует свой чисто деловой, трезвый до конца «Rapport des cures opérées à Bayonne par le magnétisme animal, adressé à M. l'abbé de Poulanzet, conseiller-clerc au parlement de Bordeaux, 1784»\*, который при помощи бесспорных фактов вносит недвусмысленную ясность в то, чего метафизически настроенный немец тщетно искал в космосе и в своем мистическом мировом флюиде.

Опыты Пюисегюра пробивают доступ в мир психики с совершенно неожиданной стороны. От самых ранних времен, в средние века так же, как и в древности, наука с неизменным изумлением рассматривала явления лунатизма, сомнамбулизма в человеке как некое исключение из общего правила. Среди сотен тысяч и миллионов нормальных людей неизменно появляется на свет один такой удивительный любитель ночных прогулок, который, почувствовав во сне лунный свет, с закрытыми глазами встает с постели, с закрытыми глазами, не всматриваясь и не нащупывая, взбирается на крышу по ступенькам и лестницам, пробирается там, с сомкнутыми веками, по головоломным скатам, карнизам и гребням и потом опять возвращается к своей постели, не сохраняя на другой день ни малейшего представления и воспоминания о своем путешествии в бессознательное. Перед этим очевидным феноменом все становилось в тупик, до Пюисегюра. Душевнобольными нельзя было назвать таких людей, ибо в состоянии бодрствования они толково и добросовестно делают свое дело. Смотреть на них как на нормальных тоже было нельзя, — ведь

---

\* «Записка о сеансах лечения жизненным магнетизмом, имевших место в Байонне, адресованная аббату де Пуланзе, советнику парламента в Бордо, 1784 год» (фр.).



поведение их в сомнамбулическом сне противоречило всем признанным законам природного распорядка; ибо когда такой человек, закрыв глаза, шагает во мраке и все-таки, при совершенно прикрытых ресницами зрачках, не глядя вперед, замечает малейшие неровности, когда он с сомнамбулической уверенностью взбирается по крутизне, которой он никогда не преодолел бы в состоянии бодрствования, кто же ведет его, не давая ему упасть? Кто его поддерживает, кто проливает свет на его разум? Какого рода внутреннее зрение под сомкнутыми ресницами, какое другое неестественное чувство, какое «sens intérieur»\*, какое «second sight»\*\* , ведет этого спящего наяву или бодрствующего во сне, как открыленного ангела, через все препятствия?

Так непрестанно, со времен древности, спрашивали себя вновь и вновь ученые; тысячу, две тысячи лет стоял пытливый ум человека перед одной из тех жизненных загадок, которыми природа время от времени нарушает правильный распорядок вещей, как бы желая посредством такого непостижимого отклонения от своих обычно твердых законов призвать человечество к благоговению перед иррациональным.

И вот внезапно, весьма некстати и нежелательно, один из учеников этого дьявольского Месмера и даже не врач, а простой магнетизер-любитель устанавливает при помощи неопровержимых опытов, что эти явления сумеречного состояния не единичный промах в творческом плане природы, не случайное отступление в ряду нормальных человеческих типов, вроде ребенка с телячьей головой или сиамских близнецов, но органическое групповое явления и — что еще важнее и неприятнее! — что такое сомнамбулическое состояние растворения воли и бессознательного поведения можно вызвать искусственно почти у всех людей в магнетическом (мы говорим: гипнотическом) сне.

Граф Пюисегюр, знатный, богатый и согласно моде весьма

---

\*Внутреннее чувство (фр.).

\*\*Второе зрение (англ.).

филантропически настроенный человек, уже давно и со всей страстностью перешел на сторону Месмера. Из дилетантской гуманности и по философскому любопытству он бесплатно проводит в своем поместье в Люзанси магнетическое лечение по указанию своего патрона. Его больные вовсе не истерические маркизы и аристократы-упадочники, но кавалерийские солдаты, крестьянские парни, грубый, здоровый, неврастеничный (и поэтому вдвойне важный) материал для опытов. Как-то раз к нему обращается целая группа ищущих помощи, и граф-филантроп, верный указаниям Месмера, старается вызвать у своих больных по возможности бурные кризисы. Но вдруг он изумляется — более того, пугается. Молодой пастух, по имени Виктор, вместо того чтобы ответить на магнетические пассы ожидавшимися от него подергиваниями, конвульсиями и судорогами, попросту обнаруживает усталость и мирно засыпает под его поглаживанием. Так как такое поведение противоречит правилу, согласно которому магнетизер должен прежде всего вызвать конвульсии, а не сон, Пюисегюр пытается расшевелить увальня. Но тщетно! Пюисегюр кричит на него — тот не двигается. Он трясет его, но, удивительное дело, этот крестьянский парень спит совершенно другим сном, не нормальным. И внезапно, когда он вновь отдает ему приказ встать, парень действительно встает и делает несколько шагов, но с закрытыми глазами. Несмотря на сомкнутые веки, он держится совершенно как наяву, как человек, владеющий всеми чувствами, и сон в то же время продолжается. Он среди бела дня впал в сомнамбулизм, начал бродить во сне. Смущенный Пюисегюр пытается говорить с ним, предлагает ему вопросы. И что же, крестьянский парень, в своем состоянии сна, отвечает вполне разумно и ясно на каждый вопрос, и даже более изысканным языком, чем обычно.

Пюисегюр, взволнованный этим своеобразным явлением, повторяет опыт. И действительно, ему удается вызвать такое состояние бодрствования во сне, такой сон наяву, при помощи магнетических приемов (правильнее, приемов внушения) не

только у молодого пастуха, но и у целого ряда других лиц. Пюисегюр, охваченный из-за неожиданного открытия страстным возбуждением, с удвоенным усердием продолжает опыты. Он дает так называемые послегипнотические приказания, то есть велит находящемуся во сне выполнить, после пробуждения, ряд определенных действий. И в самом деле, медиумы, и по возвращении к ним нормального сознания, выполняют, в точном соответствии с приказом, то, что было им внушено в состоянии сна. Теперь Пюисегюру остается только описать в своей брошюре эти удивительные вещи, и Рубикон в направлении современной психологии перейден, явления гипноза зафиксированы впервые.

Само собой разумеется, гипноз не впервые в мире проявился у Пюисегюра, но у него он впервые вошел в сознание. Уже Парацельс сообщает, что в одном картезианском монастыре монахи, лечившие больных, отвлекали их внимание блестящими предметами; в древности следы гипнотических приемов наблюдаются со времен Аполлония Тианского. За пределами человеческого общества, в животном царстве, уже давно известен был завлекающий и влекущий, вызывающий оцепенение взгляд змеи, и даже мифологический символ Медузы — что другое он означает, как не пленение воли силой внушения? Но это насильственное пленение внимания никогда еще не применялось методически, даже и самим Месмером, который практиковал его несчетное число раз бессознательно, путем поглаживания и фиксации. Правда, нередко ему бросалось в глаза, что у некоторых из его пациентов, под влиянием его взора или поглаживания, тяжелели веки, они начинали зевать, становились вялыми, ресницы их нервно вздрагивали и медленно смыкались; даже случайный свидетель Жюсье описывает в своем сообщении случай, когда один пациент вдруг встает, намагничивает других пациентов, возвращается с закрытыми глазами и спокойно садится на свое место, не отдавая себе никакого отчета в своих поступках — точь-в-точь лунатик среди бела дня. Десятки,

сотни раз, может быть, наблюдал Месмер за долгие годы своей практики такое оцепенение, такое замыкание в себе и отрешенность от чувствительности. Но так как он искал единственно кризиса, добивался, как средства исцеления, единственно конвульсий, то он упорно не замечал этих удивительных сумеречных состояний. Загипнотизированный идеей своего мирового флюида, этот отмеченный злосчастливым роком человек, гипнотизируя, сам глядит только в одну точку и теряется в своей теории, вместо того чтобы поступить согласно исполненному мудрости изречению Гете: «Существеннее всего понять, что все фактическое уже теория. Не следует искать чего-либо за явлениями, они сами — научная система». Таким образом, Месмер упускает главную мысль своей жизни, и то, что посеял отважный предтеча, достается, как жатва, другому. Решающий феномен «теневого стороны природы», гипнотизм открыт под носом у Месмера его учеником Пюисегюром. И, строго говоря, месмеризм назван по Месмеру столь же относительно несправедливо, как Америка по Америго Веспуччи.

Последствие этого одного, на первый взгляд ничтожного, наблюдения из лаборатории Месмера выявилось в дальнейшем как с трудом поддающееся обозрению. За короткий срок пределы наблюдения раздвинулись, открылось как бы третье измерение. Ибо после того, как на примере этого простого деревенского парня из Бюзанси установлено, что в области человеческого мышления существует между черным и белым, между сном и бодрствованием, между разумом и инстинктом, между волей и насилием над ней, между сознательным и бессознательным множество скользящих, неустойчивых, переходящих состояний, положено начало дифференциации в той области, которую мы именуем душой. Указанный выше, сам по себе в высшей степени незначительный эксперимент неопровержимо свидетельствует, что даже самые необычные, на первый взгляд метеорически возникающие психические явления подчиняются вполне определенным нормам. Сон, доселе

воспринимавшийся только как отрицательная категория, как отсутствие бодрствования и потому как черный вакуум, обнаруживает в этих вновь открытых промежуточных степенях сна наяву и бодрствования во сне, как много тайных сил находятся во взаимодействии друг с другом в человеческом мозгу, за пределами сознательного разума, и что как раз при отключении контролирующего сознания проступает явственнее жизнь души, — мысль, здесь лишь робко намечаемая, но которая через сто лет получает творческое развитие в психоанализе. Все психические явления приобретают благодаря этому переключению на подсознание совершенно другой смысл; неслучайное количество творческих мыслей врывается в дверь, открытую не столько знающей человеческой рукой, сколько случаем; «благодаря месмеризму мы впервые вынуждены подвергнуть исследованию явления сосредоточенности и рассеянности, усталости, внимания, гипноза, нервных припадков, симуляции, и все они, будучи объединены, образуют современную психологию» (Пьер Жане). Впервые получает человечество возможность логически осмыслить многое, что считалось до сих пор сверхъестественным и чудесным.

Это неожиданное расширение внутренней сферы в результате незначительного наблюдения Пюисегюра тотчас же вызывает безмерное воодушевление современников. И нелегко воспроизвести то почти жуткое по быстроте своей воздействие, которое оказал на всех образованных людей Европы «месмеризм» как первая стадия познания доселе таинственных явлений. Только что Монгольфье добился владычества над эфиром и заново открыл Лавуазье химический строй элементов; теперь удался первый прорыв в области сверхчувственного; неудивительно, что все поколение проникнуто чрезмерно смелой надеждой — вот-вот раскроется, наконец, полностью изначальная тайна души.

Поэты и философы, эти вечные геометры в области духа, первыми проникают на новые континенты, едва только открытые, неведомые дотоле берега; смутные предчувствия

предсказывают им, как много скрытых кладов можно разыскать на этих глубинах. Уже не в рощах друидов, не в пещерах феи и кухнях ведьм ищут романтики романтическое и необычайное, а в этих новых подлунных областях между сном и явью, между волей и вынужденным безволием. Из всех немецких писателей больше всех заморожен этой «теновой стороной природы» самый сильный, самый дальнзоркий, Гейнрих фон Клейст. Так как его по природе влечет ко всякой бездне, то он всецело отдается радости творчески опускаться в эти глубины и художественно отображать самые головокружительные состояния на границе между сном и явью. Одним взмахом, со свойственной ему порывистостью, проникает он сразу же до глубинных тайн психопатологии. Никогда не было сумеречное состояние изображено гениальнее, чем в «Маркизе О.», никогда явления сомнамбулизма не были воспроизведены столь совершенно с клинической точки зрения и вместе с тем дифференцированно, как в «Кетхен фон Гейльброн» и в «Принце Гомбургском». В то время как Гете, тогда уже осторожный, лишь издали, со сдержанным любопытством следит за новыми открытиями, романтическая юность бурно, вплотную к ним подступает. Э.Т.А. Гофман, Тик и Brentano, в философии Шеллинг, Гегель, Фихте со всей страстью примыкают к этому сулящему переворот учению. Шопенгауэр усматривает в месмеризме решающий аргумент в пользу доказываемого им примата воли над чистым разумом. Во Франции Бальзак в «Луи Ламбере», самой лучшей из своих книг, дает прямо-таки биологию мирообразующей силы воли и жалуется, что не все еще прониклись величием месмеровского открытия — «*si importante et si mal appréciée encore*»\*. По ту сторону океана Эдгар Аллан По творит, в кристаллической ясности, классическую новеллу гипноза.

Мы видим: повсюду, где наука пробивает брешь в мрачной стене вселенской тайны, тотчас же устремляется, как светя-

---

\* Столь значительного и так мало еще оцененного (фр.).

щийся газ, фантазия поэтов и оживляет вновь открытые области образами и явлениями; всегда — и Фрейд тому пример в наши дни — с обновлением психологии возникает и новая психологическая литература. И будь каждое слово, каждая теория, каждая мысль Месмера стократно неверны (что весьма еще сомнительно), то все же он более творчески, чем все ученые и исследователи его эпохи, указал путь новой и давно необходимой науке тем, что приковал взор ближайшего поколения к тайне психики.

Дверь распахнута, свет устремляется в пространство, никогда еще не освещавшееся чьей-либо сознательной волей. Но происходит то, что всегда: чуть только где-либо открывается доступ к новому, как вместе с серьезными исследователями проникает туда же целая свора любопытных, мечтателей, дураков и шарлатанов. Ибо, священным и вместе с тем опасным образом, присуще человечеству заблуждение, что оно одним порывом и прыжком может перешагнуть границы земного и приобщиться к мировой тайне. Если область познания раздвигается для него хоть на один вершок, то оно в самоуверенном своем недовольстве уже надеется, что в его руках, вместе с этим единичным знанием, и ключ к целому. Так и здесь. Как только открыт факт, что в состоянии искусственного сна загипнотизированный может отвечать на вопросы, начинают верить, что медиум может отвечать на все вопросы. С весьма опасной торопливостью люди, видящие во сне, объявляются ясновидящими, сон наяву отождествляется с пророческим сном. Полагают, что в таком замороженном человеке просыпается другое, более глубокое, так называемое «внутреннее чувство». «В магнетическом ясновидении тот дух инстинкта, который направляет птицу за море, в никогда не виданные страны, которые побуждают насекомое к пророческому действию во имя потомства, еще не рожденного, обретает внятный язык; он дает ответы на наши вопросы» (Шуберт).

Не знающие меры приверженцы месмеризма объявляют, что в состоянии кризиса сомнамбулы могут видеть будущее,

их чувства могут обостряться в любом направлении, на любое расстояние. Они могут прорицать и предсказывать, видеть в этом состоянии, благодаря интроспекции (особый род самосозерцания), сквозь свое и чужое тело и безошибочно определять таким способом болезни. Будучи в трансе, они, никогда не учившись, могут говорить по-латыни, по-еврейски, по-арамейски и по-гречески, называть неведомые им имена, шутя решать труднейшие задачи; брошенные в воду, сомнамбулы не идут будто бы ко дну; в силу дара прорицания они способны читать книги, положенные им, в закрытом и запечатанном виде, на голое тело, при помощи «сердечной ямки»; они могут вполне отчетливо созерцать события, происходящие в других частях света, раскрывать в своих снах преступления, совершенные десятки лет назад, — короче, нет столь нелепого фокуса, который не мог бы быть приписан чудесным способностям медиумов. Отводят сомнамбул в погреба, где, по слухам, скрыты сокровища, и зарывают их по грудь в землю, чтобы при помощи их медиумического чутья найти золото и серебро. Или ставят их с завязанными глазами посреди аптеки, чтобы они в силу своего «высшего» чувства нашли правильное лекарство для больного, и вот, среди сотен лекарств, они вслепую выбирают единственно благотворное.

Самые невероятные вещи приписываются, без всякого колебания, медиумам; все оккультные явления и методы, донныне еще занимающие наш трезвый мир: ясновидение, чтение мыслей, спиритическое вызывание духов, телепатические и телепластические художества — все это основывается на фанатичном интересе той поры к «теневогой стороне природы». Проходит некоторое время, и появляется новое ремесло — профессионального медиума. И так как медиум ценится тем дороже, чем более поразительные откровения от него исходят, то карточные шулеры и симулянты, при помощи трюков и обмана, взвинчивают свои «магнетические» силы, пользуясь случаем, до невероятных пределов. Как раз в месмеровские времена начинаются знаменитые спиритические беседы, по



вечерам, в затемненных комнатах, с Юлием Цезарем и апостолами; энергично вызывают и воплощают духов. Все легковерные, все болтуны и люди с извращенной религиозностью, все полупоэты, как Юстинус Кернер, и полуученые, как Эннемозер и Клюге, громоздят в области сна наяву одно чудо на другое; поэтому в высшей степени понятно, что перед лицом их шумливой и часто неуклюжей взвинченности наука сначала недоверчиво пожимает плечами и в конце концов сердито отворачивается. Постепенно, на протяжении девятнадцатого столетия месмеризм становится поистине скомпрометированным. Слишком большой шум вокруг какой-либо мысли всегда делает ее невразумительной, и ничто не оттесняет всякую творческую идею назад, в прошлое, более роковым образом, чем доведение ее до крайности.

## ВОЗВРАТ В ЗАБВЕНИЕ

Бедный Месмер! Никто не удручен шумным вторжением названного по его имени месмеризма более, чем он сам, ни в чем не повинный родоначальник этого имени. Там, где он честно старался насадить новый метод врачевания, топчет теперь и бушует вакхический рой ни над чем не задумывающихся некромантов, лжемагов и оккультистов, и благодаря злосчастному наименованию «месмеризм» он чувствует себя ответственным за моральную потраву. Напрасно этот без вины виноватый отбивается от непрошенных последователей: «В легкомыслии, в неосторожности тех, кто подражает моему методу, заключается источник множества направленных против меня предубеждений». Но как изобличить извратителей своего собственного учения? С 1785 года «жизненный магнетизм» Месмера застигнут и насмерть сражен месмеризмом — его буйным и незаконным порождением. То, чего не могли добиться соединенными силами врачи, академия и наука, благополучно свершили его шумные и неистовые последователи: на десятки лет вперед Месмер объявлен ловким фокусником и изобретателем рыночного шарлатанства. Напрасно протесту-

ет, напрасно борется два-три года живой человек, Месмер, против недоразумения, именуемого месмеризмом, — заблуждение тысяч людей значит больше, чем правота одного-единственного.

Теперь все против него: его враги — потому что он зашел слишком далеко, его друзья — потому что он не участвует в их крайностях, и прежде всего отступает от него столь благожелательное доселе время. Французская революция одним взмахом отодвигает в забвение его десятилетний труд. Массовый гипноз, более неистовый, чем конвульсии у бакета, потрясает всю страну; вместо магнетических сеансов Месмера гильотина практикует свои безошибочные стальные сеансы. Теперь у них, у принцев и герцогинь и аристократических философов, нет больше времени остроумно рассуждать о флюиде; пришел конец сеансам в замках, и сами замки разрушены. Друзей и врагов, королеву и короля, Байльи и Лавуазье сражает та же отточенная секира. Нет, миновала пора философских треволнений по поводу лечебной магии и ее представителя, теперь мир помышляет только о политике и прежде всего о собственной голове. Месмер видит, что его клиника опустела, бакет покинут, с трудом заработанный миллион франков превратился в ничего не стоящие ассигнации; ему остается только бедная жизнь, да и той, по-видимому, угрожает опасность. Вскоре судьба его германских соотечественников, Тренка, Клотца и Адама Люкса, научит его, как слабо держится на туловище во время террора чужеземная голова, и подскажет, что немцу правильнее переменить место жительства. И вот Месмер закрывает свой дом и, вконец обедневший и забытый, бежит в 1792 году из Парижа, от Робеспьера.

*Nic incipit tragoedia*\*. В короткий срок лишившись славы и богатства, одинокий и достигший пятидесяти восьми лет, покидает усталый, разочарованный человек арену своих евро-

---

\*Здесь начинается трагедия (лат.).

пейских триумфов, не зная, с чего начать и куда преклонить голову. Мир не нуждается больше в нем, не хочет почему-то его, его, кого еще вчера они встречали как спасителя и осыпали всевозможными почестями и знаками внимания. Не разумнее ли будет обождать теперь лучших времен на родине, в тиши Боденского озера? Но он вспоминает, что у него есть еще дом в Вене, доставшийся ему после смерти жены, чудесный дом на Загородной улице; там надеется он найти желанный покой для научных занятий в старости. Пятнадцати лет, полагает он, достаточно, чтобы и самая пылкая ненависть улеглась. Старые врачи, когда-то недруги, давно уже в могиле, Мария Терезия умерла, а за ней и два императора, Иосиф II и Леопольд, — кто вспомнит теперь о злополучном приключении с девицей Парадиз!

Так верит он, состарившийся человек, что вправе надеяться на покой в Вене. Но у достохвальной придворной полиции в Вене хорошая память. Едва прибыв на место 14 сентября 1793 года, «пользующийся дурной славой врач» доктор Месмер вызывается в полицию, и там его спрашивают о «предшествующем местопребывании». Так как он заявляет, что был только в Констанце и в «тамошней местности», то от фрейбургского магистрата запрашиваются «соответствующие данные» о его «предосудительном образе мыслей»; староавстрийский служивый конь начинает ржать и пускается рысью. От констанцского бургомистра получены, к сожалению, благоприятные сведения — что Месмер вел себя там «безупречно и жил весьма одиноко» и что никто ничего не заметил «в отношении ошибочно-опасных утверждений». Таким образом, приходится подождать, чтобы потом, как в свое время, после случая с девицей Парадиз, покрепче затянуть петлю. Действительно, проходит некоторое время, и затевается вскоре новое дело. В доме Месмера живет, в садовом павильоне, принцесса Гонзаго. В качестве вежливого, благовоспитанного человека, доктор Месмер делает своей квартирантке официальный визит. Так как он вернулся из Франции, то принцесса заводит, конечно,

разговор о якобинцах — и в тех же выражениях, которыми пользуются в соответствующих кругах, говоря о русских революционерах. В возмущении своем она трактует — я цитирую дословно, по тайному донесению на французском языке — «ces gueux comme des régicides, des assassins, des voleurs»\*. И вот Месмер, хотя и сам бежавший от террора и потерявший из-за революции все состояние, находит, в качестве человека мыслящего, такого рода определения для крупного события в истории мировой культуры несколько упрощенными и говорит в том примерно смысле, что люди эти боролись все же, в конце концов, за свободу и лично не являются ворами, они обложили налогами богатых в пользу государства, и что, в конце концов, и император тоже вводит налоги. Бедная принцесса Гонзаго почти лишается чувств. У нее в доме настоящий якобинец! Едва успел Месмер затворить за собой дверь, как она бросается с ужасающей новостью к своему брату, графу Ранцони, и к гофрату Штупфелю; тотчас же оказывается налицо (мы в старой Австрии) темная личность, именующая себя «кавалером» Десальер, которого полицейский рапорт обозначает, правда, как «некоего» Десальера (полиция могла бы и больше о нем знать). Этот сыщик усматривает великолепный случай заработать несколько банкнот и тотчас же пишет всепокорнейшее донесение в высочайшую канцелярию. Там тот же смертельный ужас у графа Коллорадо: якобинец в добром городе Вене! Как только возвращается с охоты его величество, богохранимый император Франц, ему с осторожностью сообщают страшное известие, что в его резиденции пребывает приверженец «французской разнузданности», и его величество тотчас же отдает приказ, чтобы учинено было строгое следствие. И вот 18 ноября несчастного Месмера отводят, «избегая всяческой огласки», в особое арестное помещение при полиции.

Но еще раз приходится убедиться, как глупо верить с из-

---

\*Этих прощелыг как цареубийц, разбойников, воров (фр.).

лишней поспешностью тайным донесениям. Секретное донесение полиции на имя императора хромает, оказывается, на обе ноги, ибо «выясняется из произведенного следствия, что Месмер не признал себя виновным в произнесении указанных, противных государству, речей и что таковые не доказаны установленным законом образом»; и довольно жалостно звучит предложение министра полиции, графа Пергена, в его «всеподданнейшем докладе» насчет того, что Месмера «следовало бы отпустить с настоящим предостережением и строгим выговором». Что остается императору Францу, как не огласить «высочайшую резолюцию»: «Освободить Месмера из-под ареста, и так как таковой сам заявляет, что намерен в скорейшем времени отбыть отсюда в пределы своего месторождения, то следить за тем, чтобы таковой скорее отбыл и за время своего хотя бы и короткого пребывания не пускался ни в какие подозрительные речи».

Но такое решение вопроса не слишком по нутру достохвальной полиции. Уже раньше министр доносил, что арест Месмера «имел последствием немалое возбуждение в ряду его сторонников, коих здесь у него достаточное количество», поэтому бояться, что Месмер подаст официальную жалобу по поводу незаконного с ним поступка. И вот полицейское управление сочиняет, с целью затушевать дело, «ad mandatum Excellentissimi»\* следующий документ, который достоин занять место в музее в качестве образца староавстрийского приказного стиля: «Ввиду того, что освобождение Месмера не может почитаться доказательством его невиновности, ибо он искусным отрицанием произнесенных им, согласно имеющимся показаниям, предосудительных речей отнюдь не очистился в полной мере от тяготеющего над ним подозрения и избегнул, в соответствии с сим, прямого объявления *consilii abeundi*\*\*», лишь поскольку сам настоятельно представил о своем намерении отбыть без задержки, то следует дать знать

---

\*«По поручению превосходительнейшего» (лат.).

\*\*Совет удалиться (лат.).

о том, чтобы печатание не имело места и что Месмер поступил бы правильно, отказавшись от официального оправдания и тем паче признав мягкость, каковая в обращении с ним проявлена». Таким образом, «печатание», обнародование не состоялось, дело затушевывается и притом так основательно, что в течение ста двадцати лет никто не знал о вторичном изгнании Месмера из Вены. Но факультет вправе быть довольным: теперь навсегда покончено в Австрии с неприятным медиком.

Куда же теперь, старик? Состояние потеряно, на родине, в Констанце, подстерегает императорская полиция, во Франции свирепствует террор, в Вене ждет тюрьма. Война, — прекращающаяся, безжалостная война всех наций против каждой — бьется о границы и переливается через них. И от этого сумасшедшего мирового грохота не по себе ему, старому, испытанному исследователю, этому обнищавшему, забытому человеку. Он хочет только покоя и куска хлеба, чтобы продолжать начатое им дело в новых и новых опытах и явить, наконец, человечеству свою излюбленную идею. И вот Месмер спасается в вечное убежище интеллектуальной Европы, в Швейцарию. Он поселяется в одном из небольших кантонов, в Фрауэнфельде, и, чтобы поддержать жизнь, занимается скудной практикой. Десятки лет живет он во мраке, и никто в крохотном кантоне не подозревает, что седовласый тихий человек, упражняющийся во врачебном искусстве над крестьянами, сыроvarами, жнецами и служанками, — гот самый доктор Франц Антон Месмер, с которым боролись и которого привлекали на свою сторону императоры и короли, в комнатах которого теснилось дворянство и рыцарство Франции, на которого шли войной все академии и факультеты Европы и чьей системе посвящены сотни печатных трудов и брошюр, — вероятно, больше, чем кому-либо другому из современников, включая Руссо и Вольтера. Никто из прежних учеников и последователей не посещает его, и, вероятно, за все эти годы пребывания во мраке никто не узнал о месте его жительства, —

так притаился этот одинокий человек в тени небольшой, отдаленной горной деревушки, где он провел, непрестанно работая, трудные годы наполеоновской эпохи. Едва ли в мировой истории найдется пример столь стремительного падения с гребня шумной славы в бездну забвения и безвестности; едва ли в чьей-либо биографии полнейшее исчезновение из мира находится в такой близости к поражающим триумфам, как в этой замечательной и, можно сказать, единственной судьбе, судьбе Франца Антона Месмера.

И ничто не выявляет лучше характер человека, чем испытание золотом успеха и огнем неудачи. Чуждый наглости и хвастовства в период своей безмерной славы, этот стареющий среди полного забвения человек проявляет величественную скромность и полноту стоической мудрости. Не оказывая никакого сопротивления, можно сказать, почти охотно отходит он назад, в тень, и не делает ни малейшей попытки еще раз обратить на себя внимание. Напрасно двое-трое из оставшихся верными ему друзей зовут его в 1803 году, то есть после десяти лет его затворнической жизни, назад в Париж, уже успокоившийся и в ближайшем будущем императорский, с тем, чтобы он снова открыл там клинику, собрал вокруг себя новых учеников. Месмер отклоняет их предложение. Он не хочет больше споров, грызни и разглагольствований; он заронил свою идею в мир, пусть она плывет по течению или потонет. В благородном отречении он отвечает: «Если, несмотря на мои усилия, мне не досталось счастье просветить своих современников относительно их собственных интересов, то я внутренне удовлетворен тем, что я исполнил свой долг в отношении общества». Лишь для самого себя, в тишине и безвестности, вполне анонимно продолжает он свои опыты и не спрашивает больше, значат ли они что-либо для шумного или равнодушного мира; будущее, а не это время, — так предчувствует он пророчески, — отдаст дань справедливости его трудам, и лишь после его смерти идеи его начнут жить. Ни тени нетерпения в его письмах, ни следа жалоб на угасшую славу, утра-

ченное богатство, одна лишь тайная уверенность, лежащая в основе всякого великого терпения.

Но лишь слава земная может угаснуть как свеча, живая же мысль не угасает. Брошенная однажды в сердце человечества, она и в самую неблагоприятную эпоху выживает, чтобы потом расцвести неожиданно; ни один порыв не пропадает для вечно любопытствующего духа науки. Революция, наполеоновские войны разбросали во все стороны сторонников Месмера и остановили приток последователей; и, рассуждая поверхностно, можно было думать, что незрелый еще посев растоптан безнадежно поступью военных легионов. Но вопреки мировой сутолоке, в полной тайне, незаметно для самого забытого всеми Месмера живет и развивается его первоначальное учение в среде немногих молчаливых приверженцев. Ибо, удивительным образом, именно военное время усиливает у вдумчивых натур потребность искать прибежища от буйства и насилия окружающего мира в области духа; прекраснейшим символом истинного ученого на вечные времена остается Архимед, который, не отвлекаясь ничем, продолжает чертить свои круги, в то время как банда солдат врывается в его дом.

Подобно тому как Эйнштейн в разгар последней мировой войны выводит, не смущаясь озверелостью эпохи, свой, вселенную преобразующий, отвлеченный принцип, так в период, когда наполеоновские войска маршируют по всей Европе и географическая карта ежегодно меняет окраску, когда дюжинами лишаются престолов короли и новые короли создаются дюжинами, несколько скромных врачей размышляют в отдаленнейших провинциях над положениями Месмера и Пюисегюра и развивают их в его духе дальше, как бы укрывшись под сводами своей сосредоточенности. Все они работают, по отдельности, во Франции, в Германии, в Англии, в большинстве ничего друг о друге не знают; никто не знает об исчезнувшем Месмере, и Месмер о них — тоже ничего. Свободные в своих утверждениях, осторожные в выводах, испытывают они и проверяют описанные Месмером явления, и каким-то подполь-



ным путем, через Страсбург и в письмах Лафатера из Швейцарии новый метод проникает дальше. В особенности возрастает интерес к нему в Швабии и в Берлине; знаменитый Гуфелянд, лейб-медик при прусском дворе и член всех ученых комиссий, лично воздействует на короля. И вот, особым королевским указом назначается, наконец, комиссия для повторной проверки магнетизма.

В 1775 году Месмер впервые обратился в Берлинскую академию, и мы помним, с каким жалким результатом. Теперь, почти сорок лет спустя, в 1812 году, когда то же учреждение берется за проверку месмеризма, Месмер, выдвинувший проблему, забыт так основательно, что при слове «месмеризм» никто уже не думает о Франце Антоне Месмере. Комиссия поражена, когда один из ее членов вносит неожиданно, на одном из заседаний, вполне естественное предложение — вызвать в Берлин самого изобретателя магнетизма, Франца Антона Месмера, чтобы он обосновал и разъяснил свой метод. Как, изумляются они, Франц Антон Месмер еще жив? Но почему же не проронит он ни слова, почему не выступит гордо и с триумфом теперь, когда его ждет слава? Никто не может понять, почему великий, всемирно известный человек так скромно и незаметно отошел назад, в забвение. Тотчас же кантонному врачу во Фрауэнфельде посылается настоятельное приглашение — почтить академию своим посещением. Его ждет аудиенция у короля, внимание всей страны, возможно, даже триумфальное восстановление доброго имени после стольких перенесенных несправедливостей. Но Месмер отказывается, — он слишком стар, слишком устал. Он не хочет возвращаться к спорам. И вот в сентябре 1812 года посылается к Месмеру, в качестве королевского эмиссара, профессор Вольфарт с полномочиями просить изобретателя магнетизма господина доктора Месмера о сообщении всех данных, которые «могут служить к ближайшему установлению, описанию и уяснению этого важного дела, и с тем, чтобы содействовать в этой поездке достижению целей комиссии».

Профессор Вольфарт тотчас же уезжает. И по прошествии тридцати лет таинственного молчания мы получаем, наконец, известие об этом исчезнувшем человеке. Вольфарт сообщает: «Мне пришлось, при первом же личном знакомстве с изобретателем магнетизма, убедиться, что ожидание мое превзойдено. Я застал его в кругу той благотворной деятельности, которой он себя посвятил. В его преклонном возрасте тем более удивительным показались мне широта, ясность и проникновенность его ума, неутомимое и живое рвение, направленное к разъяснению вопроса, его столь же простой, сколь исполненный задушевности и крайне своеобразный благодаря удачным сравнениям доклад, а также изящество его манер и любезное обхождение. Если добавить к этому целую сокровищницу положительных знаний во всех отраслях науки, какие нелегко встретить, в их совокупности, у ученого, и благожелательную мягкость сердца, сказывающуюся во всем его существе, в словах, поступках и во всем окружении, если учесть притом могучую, почти чудесную силу воздействия на больных при помощи пронизательного взора или всего только путем спокойного поднятия руки, — и все это еще усиленное обаянием благородной, внушающей почтительное чувство фигуры, то вот, в главных чертах, картина того, что я встретил в Месмере как в личности».

Без всякой утайки раскрывает Месмер посетителю свой опыт и свои идеи, он предоставляет ему принять участие в лечении больных и передает профессору Вольфарту все свои заметки, чтобы он сохранил их для потомства. Но всякую возможность выдвинуться, привлечь к себе внимание он отклоняет с поистине великолепным спокойствием: «Так как нить моей жизни близится к концу, то для меня нет дела более важного, чем посвятить остаток своих дней исключительно практическому применению того средства, в огромной пользе которого убедили меня мои наблюдения и опыты, с тем чтобы мои последние труды умножили число фактических данных». Таким образом, нам неожиданно досталась зарисовка пре-

клонных лет этого замечательного человека, который прошел все стадии славы, ненависти, богатства, бедности и, наконец, забвения, с тем чтобы в полном убеждении относительно стойкости и значения своего жизненного труда, спокойно и величественно пойти навстречу смерти.

Его последние годы — годы человека, исполненного мудрости, искушенного и просветившегося духом исследователя. Материальные заботы не гнетут его, так как французское правительство назначило ему пожизненную ренту в возмещение миллиона франков, обесцененного падением государственных бумаг. И вот, независимый и свободный, он может вернуться на родину, к Боденскому озеру, и символически замкнуть круг своего существования. Так живет он наподобие мелкого помещика-дворянина, единственно ради своей склонности, и эта склонность до кончины его все та же: служить науке и исследованию при помощи новых и новых опытов. Сохраняя ясность зрения, точность слуха и живость ума вплоть до последнего мгновения, он применяет свою магнетическую силу ко всем, кто с доверием к нему обращается; часто отправляется он на лошади, в коляске, в дальний путь, чтобы взглянуть на интересного больного и, возможно, помочь ему своим методом. В промежутках он проводит физические опыты, строит модели и чертит и никогда не пропускает еженедельного концерта у князя Дальберга. В этом музыкальном кружке все, кто с ним встречается, превозносят исключительную, универсальную эрудицию этого всегда прямо держащегося, всегда невозмутимого и величественно спокойного старца, с мягкой улыбкой рассказывающего о своей былой славе и говорящего без всякой злобы и горечи о самых пламенных и яростных своих противниках.

5 марта 1814 года, в восьмидесятилетнем возрасте, почувствовав приближение конца, он просит, чтобы ему сыграли на его любимой стеклянной гармонике. Это все тот же инструмент, на котором пробовал свои силы юный Моцарт в его доме на Загородной улице, тот самый, из которого извлекал в Па-

риже новые и неведомые мелодии Глюк, тот инструмент, что сопровождал его на всех путях и распустьях и теперь проводил в смерть. Его миллионы рассеялись, слава поблекла; от всего шума, от всех распрей и разговоров по поводу его учения престарелому отшельнику ничего не осталось, кроме этого инструмента и любимой его музыки. Так, с непоколебимой верой в то, что он возвращается к гармонии, в мировую сущность, уходит как истинный мудрец в смерть тот, кого ненависть представила нам шарлатаном и пустословом, и его завещание трогательно свидетельствует о стремлении к полной безвестности; он хочет, чтобы его похоронили, как хоронят других, без всякой пышности. Это последнее желание выполнено. Ни в одной газете нет известия о его кончине. Как человека, никому не ведомого, предали земле на чудесном кладбище в Мерсбурге, где покоится и Дросте-Гюльсгоф, старца, слава которого гремела когда-то в мире и труды которого, намечающие путь в будущее, лишь в наше время становятся доступными пониманию. Друзья сооружают ему символический памятник в форме мраморного треугольника с мистическими знаками, солнечными часами и буссолью, которые должны аллегорически изображать движение во времени и пространстве.

Но такова уж судьба всего выдающегося — вечно возбуждать ненависть в людях: злые руки замазывают грязью и разрушают солнечные часы и буссоль, эти непонятные им знаки на могиле Месмера, так же, как поступают невежественные писаки и исследователи с его именем. Годы проходят, пока снова, в недавнем времени, ставят на место, в пристойном виде, камень над его могилой; и вновь проходят годы, прежде чем более просвещенное потомство вспоминает, наконец, о его забытом имени и о роковой судьбе великого немецкого врача-предтечи.

## ПРЕЕМНИКИ

Всегда возникает трагедия духа, когда изобретение гениальнее, чем изобретатель, когда мысль, которую художник или исследователь хотят схватить, им не по силам, и они вынуждены выпустить ее из рук в полуобработанной форме. Так было и с Месмером. Он ухватился за одну из важнейших проблем нового времени, не будучи в силах овладеть ей; он задал миру вопрос, и сам безнадежно мучился с ответом. Но избрав ошибочный путь, он все же оказался предтечей, пролагателем пути и пособником в достижении цели, ибо непреложный факт: все современные психотерапевтические методы и добрая часть психологических проблем имеют прямым начинателем этого человека, Франца Антона Месмера, который первый воочию доказал силу внушения путем несколько примитивных, правда, и обходных практических приемов, но все-таки доказал, вопреки усмешкам, глумлению и презрительному невниманию чисто механической науки. Это одно возвышает его жизнь до подвига, его судьбу — до исторического события.

Месмер был первым образованным врачом нового времени, который выявил и в дальнейшем непрестанно вызывал вновь к жизни то воздействие, которое благотворным образом передается от лица, владеющего даром внушения, от его близости, речи, разговоров и приказаний нервной системе больных; он только не мог разъяснить его и видел еще в этой непонятной ему душевной механике средневековую магию. Ему (как и другим его современникам) недостает решающего понятия о внушении, о той психически целебной передаче силы, которая совершается или воздействием воли на расстоянии, или через излучение некоего внутреннего флюида (по этому вопросу мнения и сейчас еще расходятся). Его ученики уже ближе подходят к проблеме, каждый по-своему: образуются две школы, так называемые флюидистическая и анимистическая. Делез, представитель флюидистической теории, придерживается точки зрения Месмера об излучении материальной нервной

материи, особого вещества; подобно тому как спириты верят в телекинез и некоторые исследователи — в учение о силе «од», он полагает, что, действительно, возможно органическое выделение нашего телесного «личного» вещества. Анимистический последователь Месмера Барбарен отрицает, в свою очередь, всякую передачу материи от магнетизера к магнетизируемому и видит только чисто психическое внедрение воли в чужое сознание. Поэтому он вовсе не нуждается в подсобной гипотезе Месмера о не поддающемся постижению флюиде. «Croyez et veuillez!»\* — вот и вся его волшебная формула, построение, которое в дальнейшем попросту перенимают Christian Science, Mind Cure\*\* и Куэ. Но его психологическая теория все более и более подчиняется мысли, что внушение — один из самых решающих факторов при всяком психическом взаимодействии. И этот процесс давления на волю, изнасилование воли, короче, процесс гипноза представляет, наконец, с 1843 года Брайд в своей «Неврогипнологии» на экспериментальной основе и совершенно непреложно.

Уже одному немецкому магнетизеру, Винкольту, бросилось в 1818 году в глаза, что его медиум засыпал скорее, когда на нем самом был сюртук с блестящими стеклянными пуговицами. Но этот не получивший образования наблюдатель не уловил тогда решающей связи, а именно, что благодаря такому отвлечению зрения при помощи блестящего предмета скорее наступает усталость внешнего чувства, а с ней и внутренняя податливость сознания. И вот Брайд впервые вводит в практику технический прием — сначала утомляет взор медиума при помощи небольших блестящих хрустальных шариков и лишь потом приступает к пассам; этим путем гипноз введен, наконец, в состав столь недоверчивой до сих пор науки как действие техническое, чуждое всякой таинственности. Впервые решаются теперь во Франции университетские профессора применить в аудиториях — правда, поначалу только к

---

\*Верьте и желайте! (фр.)

\*\*Лечение духом (англ.).

душевнобольным — опороченный и заклеянный гипнозизм: Шарко — в Сальпетриере, в Париже, Бернгейм — на факультете в Нанси.

13 февраля 1882 года Месмер удостоивается в Париже реабилитации (правда, при этом ни одним словом не вспоминают о несправедливо обойденном человеке): внушение, прежде именовавшееся месмеризмом, признается научно обоснованным врачебным средством тем факультетом, который сто лет держал его в опале. Теперь, после того, как проложена дорога, психотерапия, столь долго теснимая, шагает от успеха к успеху. В качестве ученика Шарко поступает в Сальпетриер молодой врач-невропатолог Зигмунд Фрейд и знакомится там с гипнозом; он становится для Фрейда мостом, который тот впоследствии сожжет за собой, как только вступит в область психоанализа; и он, следовательно, в третьей ступени наследования, пожнет плоды брошенного Месмером как будто и в скудную землю посева.

Столь же творчески действует месмеризм на религиозные и мистические движения Mind Cure и самовнушения. Никогда не могла бы Мери Бекер-Эдди обосновать свой Christian Science без знакомства с «*veuillez et croyez*», без терапии убеждения Квимби, который, в свою очередь, получил толчок от ученика Месмера Пуайена. Немыслим был бы спиритизм без впервые примененной Месмером цепи, без понятия транса и связанного с ним ясновидения, немыслима и Блаватская с ее теософским цехом. Все оккультные науки, все телепатические, телекинетические опыты, ясновидящие, вещающие во сне — все в конечном счете ведут свое начало от «магнетической» лаборатории Месмера. Совершенно новый род науки возникает из опороченного убеждения этого забытого человека — о том, что путем воздействия внушением можно подвинуть душевные силы больного на такие свершения, которые ни в какой мере не доступны средствам школьной медицины, — человека, честного в своих намерениях, правого в своих предчувствиях и лишь ошибшегося в попытке объяснить то важное, что он сам совершил.

Но, может быть, мы стали осторожными в эпоху, когда одно открытие обгоняет другое, когда вчерашние теории блекнут за одну ночь и внезапно обновляются другие, насчитывающие века существования, — может быть, ошибаются даже и те, которые еще сегодня высокомерно именуют фантазией спорную идею Месмера о допускающем передачу, текущем от человека к человеку личном флюиде, ибо очень возможно, что последующий час мировой истории неожиданно превратит ее в истину. Мы, чьего слуха в ту же секунду, без провода и без мембраны, достигает слово, произнесенное в Гоголю или в Калькутте, мы, которые знаем, что эфир пронизан невидимыми течениями и волнами, и охотно верим, что несчетное число таких силовых станций бесполезно и неведомо для нас работает во вселенной, мы поистине не столь смелы, чтобы предвзято отвергать теорию, согласно которой от живых покровов и возбужденных нервов исходят наделенные силой токи, подобные тем, которые Месмер недостаточно точно назвал «магнетическими», отрицать, что в отношениях человека к человеку действует, может быть, все же принцип, сходный с «жизненным магнетизмом». Ибо почему бы телу человеческому, близость которого возвращает угасшему жемчугу блеск и сияние жизненной силы, не развивать, действительно, в своем окружении ореола теплоты или излучений, действующих на нервы возбуждающе или успокаивающе? Почему бы, в самом деле, не возникать между телами и душами тайным течениям и противотечениям, не возникать между индивидуумами притяжению и отталкиванию, симпатии и антипатии? Кто в этой области дерзнет на смелое «да» или дерзкое «нет»? Может быть, уже завтра физика, работающая со все более и более точными измерительными приборами, докажет, что то, что мы сегодня воспринимаем просто как напор душевной силы, есть все же нечто вещественное, есть доступная созерцанию тепловая волна, нечто от электричества или от химии, энергия, допускающая взвешивание и измерение, и что нам приходится вполне серьезно считаться с тем, над чем отцы наши



улыбались, как над дурачеством. Вполне возможно, таким образом, что мысли Месмера о творчески излучающейся жизненной силе суждено еще вернуться в мир, ибо что такое наука, как не непрестанное претворение в действительность древних грез человечества? Всякое новое изобретение раскрывает и подтверждает только чаяния одного человека, во все времена действию предшествовала мысль. Но история, слишком торопливая, чтобы быть справедливой, служит только успеху. Она превозносит только свершение, только победоносный конец, а не отважную, негодованием и неблагодарностью отмеченную попытку. Только завершившего венчает она, а не начавшего; только победителя озаряет своим светом, а борца ввергает во тьму; так было и с Месмером, первым в ряду новых психологов, который бескорыстно подчинился вечному жребию пришедших слишком рано. Ибо все еще выполняется древнейший и варварский закон человечества — когда-то в крови, а нынче в духе — неумолимый закон, во все времена требовавший, чтобы первенцы приносились в жертву.





## МЕРИ БЕКЕР-ЭДДИ

Oh the marvel of my life! What would be thought of it, if it was known in a millionth of its detail? But this cannot be now. It will take centuries for this.

О чудо моей жизни! Что бы подумали о ней, если бы знали хоть миллионную долю ее подробностей? Но сейчас этого знать нельзя. Для этого понадобятся века.

*Мери Бекер-Эдди в письме на имя мистрис Стетсон (1893 г.)*

## ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ

**Н**аиболее таинственный миг у человека — осознание личной своей идеи, наиболее таинственный у человечества — зарождение религии. Мгновения, когда одна-единственная идея шумно переливается в сотни, тысячи и сотни тысяч, когда одна такая случайная искра разом вздымает к небу пламя от земли, как при степном пожаре, такие мгновения раскрываются неизменно как поистине мистические, великолепнейшие в истории духа. Но большей частью исходная точка таких религиозных течений в дальнейшем теряется. Она занесена прахом забвения, и как отдельный человек редко может вспомнить впоследствии решающие мгновения своей внутренней жизни, так и человечеству редко известны исходные мгновения его страстных верооущений.

Поэтому для тех, кто любит психологию масс и отдельных личностей, большое счастье, что мы имеем, наконец, возможность в непосредственной близости, шаг за шагом, проследить возникновение, развитие и распространение одного из мощ-

ных движений в области веры. Ибо Christian Science\* возникла вплотную на пороге нашего столетия, в атмосфере электрического света и асфальтовых дорог, в ярко освещенную эпоху, не признающую уже никакой частной жизни и никаких тайн и с безжалостной точностью отмечающую, при помощи осведомительного аппарата журналистики, всякое движение. Говоря об этом новом, религиозном методе врачевания, мы впервые можем, день за днем, проследить путь его развития, по договорам, процессам, чековым книжкам, банковским счетам, закладным и фотографическим снимкам, впервые можем подвергнуть проработке в психологической лаборатории чудо или элементы чудесного в массовом внушении. И то обстоятельство, что в истории Мери Бекер-Эдди невероятная сила широкого, можно сказать, мирового воздействия исходит из младенческой в философском отношении и до жути простой идеи, что здесь действительно песчинка интеллекта приводит в движение лавины, именно это ненормальное соотношение делает чудо мирового ее успеха еще более чудесным. Если в наши дни другие великие движения в области веры — изначально христианский анархизм Толстого или непротивление Ганди — имеют на миллионы людей связующее или возбуждающее влияние, то мы можем все-таки постигнуть этот процесс переливания в тысячи чужих душ, а то, что постижимо непосредственно умом, не производит в конечном счете впечатления чудесного. У этих гигантов мысли сила исходит от силы, мощное действие — от мощного побуждения. Толстой, этот великолепный ум, этот гений художественного созидания, дал, собственно говоря, только свое живое слово, свою образующую силу неоформленной, присущей русскому народу идее борьбы с авторитетом государства; Ганди, в конце концов, всего только сформулировал заново активно изначальную пассивность своей расы и ее религий; оба строили на основе издавна существующих воззрений, обоих несло тече-

---

\* Христианская наука (англ.).

нием времени. Про обоих можно сказать, что не они выразили мысль, но мысль, прирожденный гений их нации, выразилась в них; и поэтому не чудом, но скорее абсолютной противоположностью чуду, то есть строго логическим и закономерным актом, является то, что учение их, однажды сформулированное, захватило миллионы.

Но кто такая Мери Бекер-Эдди? Какая-то женщина, какая-то, ни прекрасная, ни увлекательная, не вполне правдивая, не вполне умная, притом еще полу- или на четверть образованная, изолированная анонимная личность без какого-либо унаследованного положения, без денег, без друзей, без связей. Она не опирается ни на какую группу, ни на какую секту; в руках у нее только перо, а в мозгу, в высшей степени посредственном, одна мысль, одна-единственная. С первого же мгновения все против нее: наука, религия, школа, университеты и, мало того, природный житейский разум, «common sense»; для ее абстрактного учения ни одна страна не кажется с первого взгляда столь неблагоприятной, как ее родина, Америка, самая деловитая, с самыми крепкими нервами и наименее склонная к мистике нация. Всем этим преградам ей нечего противопоставить, кроме своей твердой, упрямой, почти до глупости упрямой веры в эту самую веру, и единственно благодаря этой маниакальной одержимости она совершает невероятное. Успех ее абсолютно нелогичен. Но ведь как раз неправдоподобное и является наиболее явным симптомом чудесного.

У нее, у этой недалекой американки, нет ничего, кроме одной-единственной и к тому же весьма спорной мысли, но она только ею и занята, у нее это одна только исходная точка. И за нее она держится, крепко упершись ногами в землю, недвижно, непоколебимо, глухая ко всяким доводам; и своим ничтожным рычагом выворачивает землю из устоев. В двадцать лет она из метафизической путаницы создает новую систему лечения, целую науку, в которую уверовали и которой посвятили себя миллионы приверженцев, с особыми универ-

ситетами, журналами, преподавателями и учебниками, создает церкви с гигантским мраморным собором, целый сонм проповедников и жрецов, и для себя самой — личное состояние в три миллиона долларов. Но сверх всего этого она, именно благодаря крайнему заострению своей идеи, дает толчок всей современной психологии и обеспечивает себе свою, отдельную страницу в истории этой науки. По силе действия, по быстрому успеху, по числу последователей эта полуобразованная, полуинтеллигентная, только наполовину здоровая и с непротым характером, старая женщина превзошла всех вождей и мыслителей нашего времени; никогда еще в близкую нам эпоху не исходило от одного-единственного человека среднего масштаба столько интеллектуального и религиозного беспокойства, как от поразительной личности этой американки, дочери фермера, «the most daring and masculine, and masterful woman, that has appeared on earth in centuries»\*, как выражается о ней, негодуя, ее соотечественник Марк Твен.

Фантастическая жизнь Мери Бекер-Эдди описана дважды, причем налицо полное противоречие в обоих случаях. Существует официальная биография, одобренная церковью, освященная духовным авторитетом руководителей Christian Science; ее «pastor emeritus», то есть сама Мери Бекер-Эдди, собственноручной надписью рекомендовала ее общине верующих — слишком верующих; казалось бы, биография эта, составленная мисс Сибил Вильбер, должна быть, в таком случае, безусловно правдивой; на самом деле она является образцом византийской разукрашенности. В этой биографии, которая, для ободрения и укрепления и без того уже крепких верой, написана Сибил Вильбер «в стиле Евангелия от Марка» — я цитирую дословно — изобретательница Christian Science является в ореоле святой и в ало-розовом озарении (поэтому в настоящем очерке я каждый раз именую ее для краткости

---

\* Самая дерзкая, мужеподобная и властная женщина из всех, какие появлялись на земле на протяжении веков (англ.).

ало-розовой биографией). Исполненная божественной благодати, одаренная сверхземной мудростью, посланница небес, воплотившая в себе все совершенства, Мери Бекер-Эдди в незапятнанной чистоте предстает перед нашим недостойным взором. Все, что она делает, — благо, все добродетели, упоминаемые в молитвеннике, ей приписываются, характер ее расцветает в семи цветах радуги как благодный, женственный, христоролюбивый, материнский, любвеобильный, скромный и сотканный из кротости; все ее противники, наоборот, оказываются тупыми, низкими, завистливыми, порочными, пораженными слепотой людьми. Короче, нет ангела ее чище. Со слезой в растроганном взоре любитесь благочестивая ученица созданным ею образом святой, в котором тщательно заретушированы все черты земного (а следовательно, и характерного для нее). И вот на это приторное отображение решительно замахивается составительница другой биографии, мисс Мильмайн, вооружившись суковатой дубиной документов; она орудует при помощи черного цвета столь же последовательно, как первая при помощи розового. У нее великая изобретательница оказывается самой обыкновенной плагиаторшей, выкрававшей всю свою теорию из письменного стола ничего не подозревавшего предшественника, патологической лгуньей, злостной истеричкой, расчетливой спекулянткой, отъявленной мегерой. С удивительным усердием чисто репортерского свойства притянуты к делу все свидетельства, которые могут резко подчеркнуть ее лицемерие, лживость, пронирыливость и грубую деловитость, а также выявить то смешное и бессмысленное, что заключается в ее учении. Само собой разумеется, биография эта общиной Christian Science столь же яростно преследуется, сколь страстно превозносится другая, ало-розовая. И каким-то необычайно таинственным образом все ее экземпляры исчезли из продажи (так же как пропала с витрин у большинства книготорговцев другая недавно вышедшая биография, написанная Франком А. Декинзом).

И вот евангелие и памфлет, цвета ало-розовый и густо-чер-

ный, оказываются в резкой оппозиции друг другу. Но странно: для беспристрастного наблюдателя действие обеих книг в данном психологическом случае удивительным образом взаимозаменяется. Как раз биография мисс Мильмайн, решившейся во что бы то ни стало представить Мери Бекер-Эдди в смешном виде, придает ей в наших глазах психологический интерес; и именно ало-розовая биография, с ее плоским, не знающем меры обожествлением делает эту безусловно интересную женщину смешной. Ибо обаяние этой сложной души и заключается единственно в смешении противоположных предрасположений, в неподражаемой переплетенности духовной наивности и практического финансового смысла, в небывалом доселе сочетании истерии и расчета. Так же, как уголь и селитра, вещества совершенно различные, будучи смешаны в правильном соотношении, дают порох и развивают громадную взрывчатую силу, так и здесь, благодаря небывалому смешению дарований мистических и коммерческих, истерических и психологических, возникает невероятная напряженность; и может быть, Америка со всеми своими Фордами и Линкольнами, Вашингтонами и Эдисонами не создавала еще типа личности, который так наглядно выражал бы сочетание американского идеализма и американского делового смысла, как Мери Бекер-Эдди. Правда, я согласен, — в карикатурном искажении, с оттенком духовного донкихотства. Но так же как Дон Кихот в мечтательной своей одержимости, в нелепом своем невежестве, вопреки всему, представил миру идеализм испанских идальго более выпукло, чем все даже серьезно задуманные рыцарские романы его поры, так и эта героически нелепо выступающая во имя абсурдной идеи женщина дает нам об американской романтике лучшее понятие, чем официально-академический идеализм какого-нибудь Вильямса Джемса.

Во всяком Дон Кихоте, вооружившемся во имя абсолютно, есть — мы давно это знаем — нечто от неумного, от свихнувшегося, и за ним неизменно плетется на добром своем осле вечный Санчо Панса, вульгарный человеческий рассудок. Но

так же, как рыцарь Ламанчский открыл в сожженной солнцем кастильской равнине волшебный шлем Мамбрини и остров Баратарю, так и эта крепко скроенная, глухая к школьной выучке женщина из Массачусетса открыла — таки среди небо-скребов и фабрик, в самом центре мира цифр, биржевых курсов, банков, трестов и расчетов, царство Утопии. И тот, кто вновь и опять учит мир новому безумию, тот обогатил человечество.

## СОРОК ПОГИБШИХ ЛЕТ

Маленький одноэтажный, неоштукатуренный деревянный дом в Боу, поблизости от Конкорда; его, собственноручно построили Бекеры, фермеры средней руки, ни богатые, ни бедные, англосаксонцы родом, вот уже более ста лет осевшие в Нью-Гемпшире. Отец, Марк Бекер, — кряжистый крестьянин, суровый, крайне благочестивый и крайне упрямый, с крепкими кулаками и крепким черепом; «you could not more move him that you could move old Kearsarge», говорят о нем соседи, то есть его столь же трудно сдвинуть с места, как и старую гору Кирсердж, там на равнине. Это каменное упорство, эту непоколебимой ярости волю унаследовала от него и его дочь Мери, седьмой по счету ребенок (родившаяся 16 июля 1821 года); но она не унаследовала его крепкого здоровья, счастливого равновесия. Беспокойной, слабенькой, бледной, нервной девочкой растет она, чувствительная ко всему, чересчур уж чувствительная. Если кто-нибудь вскрикнет, она сразу же вздрагивает; всякое резкое слово волнует ее свыше всякой меры; она даже не в состоянии справиться с курсом нормальной окружной школы, так как не выносит возни и шума, поднимаемых соседскими детьми. Поэтому хрупкую девочку оставляют дома, позволяют ей учиться, чему она сама хочет, а это — можно себе представить — не слишком много на отдаленной американской ферме, за много миль от деревень и городов. Красотой маленькая Мери не отличается, хотя в круглых больших зрач-



ках вспыхивают порой серо-стальные, странно тревожные искры, и резко очерченный, крепкий рот энергично замыкает узкое лицо.

Отличаться — этого она как раз и хочет, об этом прежде всего и думает этот особенный, своевольно-нервный ребенок. Повсюду и всегда она хочет отличаться, казаться не такой, как все; эта преобладающая черта ее характера обнаруживается очень рано. С самого начала она добивается, чтобы на нее смотрели, как на нечто «высшее», особенное; и для этой цели не может придумать на первых порах ничего лучшего, чем разыгрывать жеманность. Она придает себе «superior air»\*, изобретает для себя особенную походку, употребляет в разговоре бессмысленные иностранные слова, тайно выуженные в словаре и храбро пускаемые в дело; в одежде, манерах и обращении она старается отойти от слишком «обычного» окружения. Но у американских фермеров не слишком много времени и охоты замечать такого рода выдумки ребенка: никто не удивляется маленькой Мери и не восторгается ею. И вполне естественно, что эта встречающая преграду воля к проявлению своей личности (воля, как мы потом увидим, одна из сильнейших на протяжении столетия) ищет более грубых средств, чтобы дать себя заметить.

Всякое устремление, встречающее внешний отпор, обращается вовнутрь и в первую очередь давит на нервы и вносит в них расстройство. Еще до наступления зрелости с маленькой Мери нередко приключались конвульсии, судороги и необыкновенные припадки. И так как она замечает вскоре, что дома проявляют к ней при этих припадках особенную нежность и внимание, то нервы ее — сознательно или бессознательно, здесь трудно указать границу — все чаще разыгрывают такие истерические «fits»\*\*.

С ней случаются — или она симулирует (еще раз, кто в состоянии точно отличить явление действительной истерии от

---

\*Вид превосходства (англ.).

\*\*Припадки (англ.).

истерии разыгранной?) — припадки страха и отчаянные галлюцинации; она ни с того ни с сего издает пронзительные крики и падает как мертвая. Родители начинают уже подозревать эпилепсию у этого странного ребенка, но приглашенный врач с сомнением качает головой. Он не слишком серьезно смотрит на дело: «Hysteria mingled with bad temper»\*, — гласит его слегка насмешливый диагноз. И так как эти припадки часто повторяются, не становясь отнюдь опасными, и, что весьма подозрительно, наступают именно в тех случаях, когда Мери хочет настоять на своем желании или противится чужому, то даже ее клинически несведущий отец проникается постепенно недоверием. Однажды, когда она, после предварительных волнений, падает опять без чувств, он оставляет ее спокойно лежать, не обращая на нее никакого внимания, и берется за свою работу; вернувшись вечером домой, он видит, что она, встав без чьей-либо посторонней помощи, спокойно сидит в своей комнате и читает книгу.

Во всяком случае, одного достигает она этой игрой нервов (или правильнее, игрой на своих нервах), и как раз того, чего она больше всего хотела: добивается особого положения в доме. Ей не приходится вместе с сестрами мыть посуду, стряпать, шить, доить коров, не приходится вместе с братьями выходить на работу в поле; она уже с ранних пор освободилась от «обыкновенного», будничного, пошлого женского труда. И то, что удастся пятнадцатилетней девушке у родителей, то проводит эта женщина везде и по отношению ко всем. Никогда, даже в годы горчайших лишений и ужаснейшей нужды, не соглашается Мери Бекер выполнять обыкновенную женскую работу по хозяйству. С самого начала, в согласии с тайно присущим ей желанием, умеет она сознательно добиваться иного, более возвышенного образа жизни. Из всех болезней истерия, без сомнения, самая, так сказать, сообразительная, наиболее связанная с внутренним личным устремлением; в

---

\*Смесь истерии и дурного характера (англ.).

нападении и защите она всегда обладает способностью выявлять самые тайные желания; поэтому никакой силе не суждено в дальнейшем добиться от Мери Бекер того, чего ее властная воля втайне не хочет. В то время как сестры изводятся в хлеву и поле, эта маленькая американская Бовари читает книги и заставляет ухаживать за собой и жалеть себя. Она держится спокойно, пока не идут наперекор ее воле; но если пробуют принудить ее к чему-нибудь неприятному, она тотчас же пускает в ход свои припадки и начинает игру на нервах. Уже под родительским кровом эта властная, эгоцентрическая натура, не желающая приспособливаться к чему бы то ни было, является не очень приятным домочадцем. И вполне закономерно ее деспотическая воля и в дальнейшем будет вызывать непрестанно и повсюду конфликты и кризисы, ибо Мери Бекер не выносит ничего, что бы было на одном с ней уровне; она признает только подчинение своему чудовищно приподнятому «я», для которого вся вселенная едва ли достаточно просторна.

Неприятной и опасной сожительницей остается она и дальше, эта кроткая на вид, тихая на вид Мери Бекер. И потому ее бравые родители смотрят, как на двойной праздник, на Рождество 1843 года, когда Вашингтон Глоуер, коротко именуемый Ваш, симпатичный молодой коммерсант, уводит их двадцатидвухлетнюю дочь из дома к алтарю. После венчания молодые уезжают в Южные Штаты, где у Глоуера свое предприятие, и в этот короткий период брака и страстной любви с осанистым, веселым Вашем, ничего не слышно о галлюцинациях и истерических припадках. Письма Мери говорят неизменно о полнейшем счастье и дышат здоровьем; так же, как было и с бесчисленным количеством ее товаров по судьбе, соительство с сильным молодым мужчиной поставило на место ее шаткие нервы. Но счастливое и здоровое время длится для нее недолго, ровным счетом полтора года; уже в 1844 году желтая лихорадка за девять дней уносит Ваша Глоуера в Южной Каролине. Мери Бекер-Глоуер остается в ужасном поло-

жени. Небольшая сумма, принесенная ей в качестве приданого, прожита; беременная на последнем месяце и в полном отчаянии стоит она в Вильмингтоне перед гробом мужа и не знает, что делать. К счастью, товарищи мужа по масонству собирают кое-как два-три десятка долларов, так что можно по крайней мере отправить вдову обратно в Нью-Йорк. Там ее встречает брат, и вскоре после этого она производит на свет в родительском доме ребенка.

Жизнь никогда не баловала Мери Бекер. В двадцатитрехлетнем возрасте волна впервые отбрасывает ее назад, к месту отплытия; после каждой попытки к самостоятельной жизни ей суждено находить прибежище в семье; до пятидесятилетнего возраста Мери Бекер ест чужой, подаренный ей или выпрошенный кусок хлеба, спит в чужой постели, сидит за чужим столом. Как раз ей, столь сильной волей, без сознания, однако, своего волеустремления, столь безумно гордой, без малейшего, однако, права на эту гордость и без заслуг, как раз ей приходится, с тайным чувством своей исключительности, быть постоянно в тягость людям равнодушным и, по ее убеждению, ниже ее стоящим. Сначала ей дает приют отец, потом она переселяется к сестре своей Эбигейль; там она остается целых девять лет, в качестве гостя все более и более неприятного и тягостного. Ибо с тех пор, как умер Ваш Глоуер, нервы молодой вдовы опять разыгрываются и, являясь непрошеной нахлебницей, она своей раздражительностью терроризирует весь дом.

Никто не решается возражать ей, чтобы не вызвать «fits»; двери должны быть тщательно закрыты, все в доме должно ходить на цыпочках, чтобы не потревожить «больную». Порой она блуждает с застывшим взором по комнатам, как сомнамбула, порой по целым дням остается в постели, в состоянии полной неподвижности, утверждая, что не может ни стоять, ни ходить, что всякое движение причиняет ей боль. Своего собственного ребенка она поспешно сбывает из дому; эта черствая душа не желает думать о чем-нибудь постороннем, будь

это даже ее собственная плоть и кровь; ее беспокойное «я» не способно заняться чем-либо, кроме самого себя. Вся семья должна внимательно ей прислуживать, каждый должен поспевать за ее неожиданными желаниями; как «Негр с Нарцисса» в известном романе Конрада, она угнетает семью уже одним своим пассивным, снисходительным присутствием, своим неслышным расхаживанием по комнате, своими претензиями на деликатное к себе отношение. В конце концов она придумывает для себя особую манию. Она открывает, что ее нервы только тогда могут быть в покое, когда ее будут раскачивать в гамаке. Само собой понятно — все ведь делается, чтобы она только оставила всех в покое — устраивается такая подвесная софа, и уличным мальчишкам города Тильтона улыбается отныне заработок особого рода: за несколько пенни в час раскачивать Мери Бекер-Глоуер. Это, в спокойном пересказе, звучит, вероятно, как шутка, но на деле становится страшно серьезным. Чем более она жалуется, тем хуже ее самочувствие, так как в результате душевной неудовлетворенности и физическое состояние Мери Бекер явно становится за эти девять лет все более и более внушающим опасения. Ее слабость, ее усталость принимают безусловно патологические формы; в конце концов она уже не может одна спуститься по лестнице, мускулы ослабели, и врач подозревает паралич нервов спинного мозга.

Во всяком случае, в 1850 году Мери Бекер-Глоуер представляет собой полностью нежизнеспособное существо, хронически больную калеку. Сколько в этих неоспоримых явлениях парализованности заключается у молодой вдовы действительного телесного страдания и сколько сознательной симуляции и воображения? Требуется много смелости, чтобы решить это определенно, ибо истерия, гениальнейшая в мире патологии комедиантка, способна при помощи самых достоверных симптомов являть вид болезни в той же мере, как сама болезнь. Она играет с болезнью, но эта игра, часто против ее воли, переходит в действительность; и истерик, который по-

началу хотел всего только внушить другим веру в свою болезнь, вынужден в конце концов сам в нее уверовать. Поэтому надо отказаться от мысли пытаться различить в столь запутанном случае, на расстоянии пятидесяти лет, были ли эти каталептические состояния Мери Бекер действительно параличными или являлись только бегством в болезнь.

Подозрительным остается, во всяком случае, то, что она в некоторых случаях умеет неожиданно стать госпожой над своими недугами, с помощью воли; один эпизод из последующих ее параличных периодов дает основание подозревать многое. Как-то однажды, она снова лежит неподвижно в постели, беспомощная, бессильная калека, и вдруг слышит, как ее муж (позднейший) зовет снизу на помощь. Он с кем-то поссорился, и, по-видимому, ему угрожает серьезная опасность. И что же, параличная одним прыжком соскакивает с постели и бежит вниз по лестнице, чтобы заступиться за мужа. Такие случаи (этот — не единственный в ее жизни) дают основание думать, что Мери Бекер и раньше могла преодолевать грубейшие явления своей парализованности с помощью воли, но, вероятно, не хочет — или что-то в ней не хочет. Вероятно, глубоко под сферой сознания ее эгоцентрический инстинкт постигает, что в состоянии явного здоровья от нее, нахлебницы, тотчас же потребуют услуг по хозяйству, деятельного участия в работе. Но она не хочет ни в коем случае работать с другими, на других, как другие, и чтобы сохранить свою независимость, она, ошестившись всеми своими наэлектризованными иглами, зарывается в болезнь; без сомнения, как во многих случаях, истерия является здесь прикрытием глубоко заложенного инстинкта — бегством в болезнь. И никому не дано прорваться через это нервное прикрытия ее сокровеннейшего «я»; эта железная воля скорее даст разрушить себе тело, чем подчинится чужому желанию.

Но какая огромная сила психического воздействия уже тогда была заложена в это немощное, хрупкое тело, тому дает разительный пример в 1853 году эта удивительная женщина.

В то время, на тридцать втором году ее жизни и на девятом году вдовства, объявляется в Тильтоне странствующий зубной врач, «доктор» собственного своего факультета, Даниэль Паттерсон, образец красавца с пышной бородой из дамских врачей. Своей преувеличенно-столичной элегантностью — на нем всегда черный, наглухо застегнутый сюртук и тщательно выглаженный цилиндр — этот степной ловелас без труда завоевывает в высшей степени неизбалованные женские сердца в Тильтоне. Но — изумительная вещь! — он не замечает красивых, добродетельных, богатых; его очаровывает единственная прикованная к постели, бледная, болезненная, нервная женщина, калека в параличе. Ибо если Мери Бекер хочет быть чем-либо, она тотчас же может этим и стать, в том числе и очаровательной; и от ее страдальчески-улыбчивой кротости исходит такая прелесть, что она пленяет этого широкоплечего, крепкого мужчину. Уже 21 июня 1853 года он предлагает ей руку.

Сватались ли когда-либо к женщине в таком состоянии? Жизненная сила невесты Даниэля Паттерсона в ту пору настолько сломлена, что она не в состоянии даже пройти несколько шагов через улицу, к церкви. Со всей решительностью длинный как жердь жених поднимает параличную с дивана и спускается с ней по лестнице. Перед подъездом дома ее сажают в карету, и она возвращается уже в свою комнату, как мистрис Паттерсон, на руках своего мужа. Но бремя, которое тот с такой легкостью возложил на свои плечи, долгие годы давит своей тяжестью на его жизнь. Доктору Паттерсону не требуется много времени, чтобы открыть, с каким неподходящим характером, с какой тягостной супругой он связался: при всяком переезде приходится погружать в карету вечную пациентку, а вместе с ней и неизбежную софу-качалку; в хозяйстве она проявляет себя столь непригодной, что Паттерсон, при скудном своем доходе, вынужден взять домоправительницу.

Героиня своих собственных грез «погружается меж тем в книги», как с восхищением выражается ало-розовая биография, иначе говоря, лежит в неврастеническом изнеможении

на оттоманке или в постели и читает романы; вместо того чтобы взять к себе в дом сына от первого брака, который духовно погибает где-то на Западе у необразованных людей, она занимается оккультизмом и пописывает в газетах; иной раз она сочиняет для провинциальных журналов статьи и стихи. Ибо и в новом супружестве в ней не пробуждается еще ее сущность. В летаргическом своем бессилии она, со свойственным ей смутным тщеславием, мечтает и грезит о чем-то великом, о чем-то значительном; и так долгие годы одно из гениальнейших дарований столетия ждет, в полной праздности и бездеятельности и все же в тайном сознании своей призванности, какого-то решающего слова, какой-то предназначенной ей роли. Но на долгие годы — почти на десять лет — ей остается все та же однообразная роль неизлечимо больной, достойной сожаления, обреченной всеми врачами и друзьями на безнадежное состояние, «непонятой» женщины.

Очень скоро и добрый Паттерсон замечает то, что многие знали до него, а после него — все: что долго не проживешь сколько-нибудь сносно с этим деспотом, с этой болезненно падкой на преклонение женщиной. Все неуютнее становится ему дома и в супружестве. Сначала он затягивает сверх условленного срока свои деловые поездки; потом разразившаяся в 1863 году гражданская война дает ему желанный повод совершенно уклониться от супружеской жизни. Он выступает в поход в качестве врача северной армии, но попадает в первом же сражении в плен и интернируется до конца войны. Мери Бекер-Паттерсон остается столь же одинокой и беспомощной, как и двадцать лет назад, по смерти Глоуера. Еще раз потерпевшее крушение судно прибывает к старому берегу, еще раз попадает она в дом к сестре. Теперь, на сороковом году, судьба ее окончательно погребена, по-видимому, в бедности и захолустье, с жизнью покончено.

Ибо Мери Бекер уже сорок лет, и она все еще не знает, для чего и для кого она живет. Первый муж в земле, второй за тысячу миль, в плену, ее собственный ребенок где-то у чужих



людей, она все еще кормится из милости за чужим столом, никого не любя и не зная ничьей любви, самое ненужное существо между Атлантическим и Тихим океанами. Напрасно она пытается чем-нибудь заняться. Она преподает в школах, но ее нервы не выдерживают регулярной работы; она читает книги и пишет статейки для захудалых провинциальных журналов; но глубокий ее инстинкт знает в точности, что такое бумагомарание не разрешает еще нужнейшего, главнейшего вопроса ее жизни. Так бродит она бесцельно и тоскливо по дому сестры, и огромные, демонические силы этой загадочной женщины пребывают наглухо замурованными и незримыми где-то в глубине. И чем больше она сознает бессмысленность своего внешнего положения, чем более ясным становится женщине в сорок один год, что с женским счастьем покончено, тем сильнее бродит в ее теле приглушенная и перенапряженная, никогда еще не высвобождавшаяся жизненная сила. Все более бурно раздражаются нервные припадки, все болезненнее действуют конвульсии и судороги, все более стойкими становятся параличные состояния. Теперь она в свои самые легкие дни не может сделать полмили пешком без того, чтобы не устать. Все более и более бледная, слабая, измученная и неподвижная, лежит она в постели, бессильное подобие человека, хронически больная, себе самой опротивевшая и в тягость другим. Врачи отказались от борьбы с ее нервами; без всякого результата обращалась она к самым новейшим средствам, к месмеризму и спиритизму, лечилась травами и всякими другими способами; сестра делает последнюю ставку и посылает ее в Нью-Гемпшир, в водолечебницу. Но тамошний курс только ухудшает ее состояние, вместо того чтобы улучшить. После двух сеансов она вообще уже не может сделать шага; с ужасом сознает она, что навсегда погибла, никто, никакой врач не в состоянии, значит, ее спасти! Чудо должно случиться, воплощенное чудо, чтобы сделать ее, парализованную, духовно и физически разрушенную женщину, опять живым человеком.

И вот на сорок первом году своей все еще бесполезной жизни

ждет Мери Бекер, со всем пылом отчаяния, всеми силами фанатического своего сердца этого чуда, этого чудесного избавителя.

## КВИМБИ

О чудесах и об одном подлинном чудодее ходят с некоторых пор действительно смутные слухи и толки в Нью-Гемпшире: какой-то врач, Пинеас Панкхерст Квимби, совершает будто бы чудесные и небывалые исцеления, и притом каким-то новым и таинственным способом. Этот целитель не применяет ни массажа, ни лекарств, ни магнетизма, ни электричества, и все-таки он, в тех случаях, когда другие врачи с их средствами бессильны, шутя достигает цели. Слух превращается в разговоры, разговоры в уверенность. И вот проходит немного времени, и со всех концов страны устремляются пациенты к этому чародею-доктору, в Портленд.

Этот сказочный доктор Квимби, нужно с самого начала сказать, вовсе не доктор, не ученый латинист и не дипломированный медик, а всего только бывший часовщик из Белфаста, сын бедного кузнеца. В качестве усердного, неглупого, дельного ремесленника он терпеливо изготовил Бог весть сколько часов, как вдруг является в 1838 году в Белфаст, в одну из своих гастрольных поездок, некий доктор Пуайен и впервые открыто демонстрирует там опыты гипнотизма. Этот французский врач, ученик Месмера (повсюду в мире мы встречаемся со следами этого необыкновенного человека), вызвал возбуждение во всей Америке своими гипнотическими сеансами, и непреходящее отражение любопытства того времени к «теневого стороне природы» находим мы в волнующих рассказах Аллана Эдгара По. Ибо почва Америки, на первый взгляд трезвая и сухая, становится именно в силу своей невосприимчивости великолепным посевом для всякого рода сверхчувственных исканий. Здесь научные академии и королевские общества, в высокомерии своем, не объявляют, как в скептической Европе месмеровской поры, простым «воображением» даже

самые очевидные явления передачи посредством внушения, и наивно-оптимистический ум американцев, которым ничто не представляется невозможным, с любопытством обращаются к этим волнующим и новым для них вопросам.

Громадная спиритуалистическая (и вскоре после того спиритическая) волна бежит следом за докладами французского месмериста; во всех городах и селах сеансы его посещаются и подвергаются живейшему обсуждению. И скромный часовщик Квимби принадлежит также к числу полностью замороженных. Он посещает каждую лекцию, не может насытиться чарами гипноза; охваченный любознательностью, он следует за доктором Пуайеном из одного места в другое, пока наконец этот широкоплечий симпатичный человек со своим твердым и умным взглядом американца не обращает на себя, среди прочих слушателей, особого внимания доктора Пуайена. Он подвергает его исследованию и сразу же открывает в нем бесспорное гипнотическое дарование в активной форме. Он часто пользуется им, чтобы усыплять медиумов, и Квимби с изумлением убеждается при этом в своей дотоле ему неизвестной способности к передаче воли. Энергичный ремесленник решительно порывает с часовым делом и обращает свою способность к внушению в ремесло. В одном пятнадцатилетнем немце, Люциусе Бюргмайере, он открывает идеального медиума; оба объединяются, он — в качестве активного магнетизера, Бюргмайер — в качестве чутко реагирующего объекта внушения. И с этих пор новый доктор разъезжает со своим Бюргмайером по стране, как какой-нибудь прорицатель с обезьяной или попугаем, и практикует вместе с ним в деревнях и городах особый вид врачевания — терапию гипнотического ясновидения.

Этот новый метод часовщика Квимби основан поначалу на давно отвергнутом заблуждении ранней поры месмеризма, на присущей будто бы сомнамбулам способности к интроспекции, к прозрению своего внутреннего мира. Как известно, сразу же после открытия сна наяву возникло мнение, что

всякий загипнотизированный может отвечать в состоянии ясновидения на все заданные ему вопросы: о будущем и о прошлом, о видимом и невидимом; почему бы ему в этом случае не постигать незримо существующей в человеке болезни и не устанавливать возможных средств к ее излечению? Вместо клинического диагноза, обычно предшествующего всякому лечению, уверенный в своей медиумической силе Квимби вводит диагноз ясновидения. Его метод, собственно говоря, очень прост. Сначала он усыпляет перед публикой своего Люциуса Бюргмайера. Как только тот впадает в транс, к нему подводят больного, и в своем медиумическом сне Бюргмайер с закрытыми глазами прорицает о данной болезни и прописывает, в том же сне, правильное лечение. Пусть этот род диагностики кажется нам слегка забавным и менее надежным, чем исследование крови и рентгеновские снимки, но нельзя, во всяком случае, отрицать, что на многих больных действует удивительным образом факт определения их страдания и способа его лечения сновидцем, как бы с того света. Повсюду во множестве находятся пациенты, и компания «Квимби и Бюргмайер» делает великолепные дела.

Теперь, после изобретения столь блестящего трюка, bravому «доктору» оставалось только идти тем же путем и дальше заниматься медицинским ремеслом на паях со своим искусным медиумом. Но этот Квимби, необразованный, правда, и не обремененный, подобно представителю науки, чувством ответственности, по природе своей отнюдь не шарлатан, а честный и добросовестно ищущий человек, с любопытством ко всему непонятному. Для него недостаточно загребать и дальше доллары при помощи этого затейливого средства; старый часовщик, ученый механик в нем не дают ему покоя, пока он не докопается наконец, где же, собственно, главная, скрытая пружина этих ошеломляющих исцелений. Случай, наконец, приходит ему на помощь. Как-то, в состоянии транса, Бюргмайер опять прописывает пациенту лекарство, но бедняга больной не располагает средствами для его приобретения; и

вот Квимби прописывает лекарство более дешевое, чем то, что пророчески указал Бюргмайер. И что же, действие его столь же благотворно. Тогда у Квимби впервые появляется творческое подозрение, что вовсе не транс и не гипнотическое прорицание, не пилюли и не жидкости вызывают выздоровление, но единственно вера больного в эти пилюли и жидкости, что только внушением или самовнушением достигается чудо исцеления; короче, он делает то же открытие, что и Месмер в свое время с магнитом. Точно так же, как и тот, он в виде опыта выключает для начала промежуточное звено; он отказывается от гипноза, как тот от металлического магнита. Он разрывает договор со своим медиумом Бюргмайером, оставляет в стороне магию сонного ясновидения и основывает свой метод исключительно на сознательном воздействии внушением.

Его врачебный метод, так называемое Mind Cure\* (переделанное в дальнейшем Мери Бекер в Christian Science и выдаваемое ею за свое собственное, Богом внушенное открытие), в основе очень прост. Квимби на опыте собственных сеансов ясновидения пришел к мысли, что многие болезни покоятся на воображении и легче всего устранить недомогание, разрушив у больного веру в его болезнь. Природа сама должна помогать себе, и врачеватель души требуется лишь для того, чтобы укрепить ее в деле самопомощи. Поэтому Квимби лечит отныне своих пациентов не обычными в практике приемами борьбы с болезнью при помощи медицинских средств, но тем, что психически выключает представление о болезни, то есть, попросту говоря, «заговаривает» болезнь у пациента. В печатном проспекте Квимби дословно значит: «Ввиду того, что мои приемы отличаются от всех других медицинских приемов, я подчеркиваю, что не прописываю никаких лекарств и не лечу извне, а присаживаюсь к пациенту, объясняю ему, какого я мнения насчет его болезни, и в этом моем объяснении и заключается лечение. Когда мне удастся изменить ошибочную ус-

---

\*Лечение духом (англ.).

тановку, то тем самым я изменяю и флюид его физической конституции и восстанавливаю истину; мой метод — истина». Наивный и все же вдумчивый человек вполне сознает, конечно, что этим своим методом он переступил границу науки и проник в область религиозного воздействия. «Вы спрашиваете меня, — пишет он, — входит ли мой метод в состав какой-нибудь определенной науки. На это я отвечаю: нет! Он входит в состав мудрости, которая выше самого человека, которая возведена восемнадцать веков назад. С тех пор она никогда не имела места в сердце человеческом, но она существует в мире, и только мир об этом не знает». Таким образом, Квимби еще до Christian Science определял свое учение ссылкой на Иисуса, как первого «healer», первого врачевателя душ, правда, с той разницей (этого не замечают проникнутые враждебным чувством критики Мери Бекер), что Квимби практиковал метод индивидуального воздействия, основанный на симпатической силе его внушающей личности, между тем как Мери Бекер с гораздо большей смелостью и безрассудностью возводит отрицание болезни и первенство веры перед страданием в систему, претендующую на истолкование и улучшение всего мира.

Новый метод Пинеаса Квимби, во многих случаях чудодейственный по своим последствиям, не заключает в себе, однако, ничего чудесного. Благодушный, седовласый человек со взглядом, внушающим доверие и вместе с тем твердым, садится напротив больного, крепко зажимает его колени между своими, поглаживает и потирает ему слегка влажными пальцами голову (последний след магнетически-гипнотической установки в целях концентрации внимания больного) и потом предлагает подробно рассказать о болезни и настоящим образом разубеждает пациента относительно нее. Он не исследует симптомы научно, но попросту вытесняет их путем отрицания, он не выключает болевого ощущения с помощью тех или иных средств из организма, но путем внушения устраняет его из области чувства. Слишком уж просто, слишком уж примитивно, скажут, пожалуй, про такое лече-

нис путем голого утверждения, — оно недорого стоит. Очень уж удобно отрицать болезнь вместо того, чтобы лечить ее. Но в действительности между методом часовщика 1860 года и получившим высокоавторитетное научное признание методом аптекаря Куэ 1920 года всего лишь один шаг. И успех этого неведомого Квимби не уступит успеху его знаменитого последователя: тысячи пациентов домогаются его Mind Cure, в конце концов он вынужден ввести лечение на расстоянии, так называемые «absent treatments» при помощи писем и инструкций, так как его кабинет не справляется больше с наплывом пациентов и слава о всеисцеляющем докторе начинает распространяться по всему округу.

И до супругов Паттерсон в их деревушке, в Нью-Гемпшире дошла еще несколько лет назад весть об этой удивительной «Science of Health» экс-часовщика Квимби, и в 1861 году, прямо перед отъездом в Южные Штаты, «доктор» (или, вернее, тоже не доктор) Паттерсон пишет 14 октября чудодейственному врачу, не придет ли он как-нибудь в Конкорд: «Моя жена вот уже много лет калека в результате паралича спинных нервов; она может пребывать только в полусидячем положении, и нам бы хотелось испытать в этом случае вашу чудесную силу». Но огромная практика не дает возможности чародею совершать такие путешествия, он вежливо отклоняет приглашение. Мери Бекер, однако, с отчаянием цепляется за эту последнюю надежду на выздоровление. Годом позже, когда Паттерсон уже в плену, в южной армии, прикованная к постели больная шлет к Квимби еще более фанатический, настоятельный призыв SOS— прибыть и «спасти» ее. Она (та самая, которая впоследствии изъяла имя Квимби из всех своих сочинений) пишет дословно: «Я должна прежде всего лично увидеть Вас! Я чувствую полное доверие к Вашей философии, в той форме, как она изложена в Ваших проспектах. Можете Вы, хотите Вы меня спасти? Мне придется умереть, если Вы не можете меня спасти. Моя болезнь хроническая, я не могу уже повернуться сама и не выношу ничего прикосновения, кроме мужниного. Я теперь добыча ужаснейших мук, пожа-

луйста, помогите мне! Простите мне все ошибки в этом письме, я пишу в постели и без всяких приспособлений». И опять Квимби не может приехать, и в третий раз пишет она ему в отчаянии, на этот раз из водолечебницы, спрашивая, можно ли ей, по его мнению, решиться на поездку к нему: «Предположите, что у меня достаточно доверия, чтобы поехать к Вам, полагаете ли Вы, что я могу доехать и не погибнуть окончательно в результате этой поездки? Я в таком возбуждении, что надеюсь прибыть к Вам еще живой. Но вопрос, — достаточной ли будет Ваша помощь, чтобы снова поставить меня на ноги?» В ответ на этот потрясающий призыв Квимби предлагает ей решиться на путешествие без колебаний.

Теперь недостает еще одного — денег на поездку. Эбигейль, обычно на все готовая, не чувствует ни малейшего доверия к этому подозрительному доктору, который лечит без всяких средств и приемов, единственно «by mind», то есть духом. Она вконец устала от вечных фантазий сестры. Она строго объявляет, что ни пенни не истратит на такое явное шарлатанство. Но когда Мери Бекер, эта упрямая голова, чего-нибудь хочет, она разрушит и уничтожит всякую преграду. Она сама набирает в долг горсточку денег, доллар за долларом, у друзей, у знакомых, у чужих. Наконец-то спасительная сумма собрана, наконец-то может она, в конце октября 1862 года, купить билет и поехать в Портленд. Об этом путешествии известно только одно: совершенно изможденная и разбитая, она прибывает в чужой город. Логически естественно было бы теперь повременить с врачебным освидетельствованием. Но эта неистовая женщина не дает себе отдыха: необъятную энергию развивает она со свойственным ей фанатизмом, когда воля ее действительно к чему-либо направлена. Прямо с вокзала, усталая, в полном изнеможении, в дорожной пыли, тащится она тотчас же в International Hotel, где проводит лечение доктор Квимби, и действительно, сил ее хватает только до первой ступени лестницы. Дальше ей, парализованной, не подняться. И вот ее берут на руки и поддерживают служители и другие случайные помощники. Они, ступенька



за ступенькой, волочат и тащат кверху бледную, истощенную, дрожащую от возбуждения, бедно одетую женщину. Двери распахиваются, беспомощное тело вталкивают; она без сил опускается в кресло, калека, изломанные, истерзанные остатки человека. И с мольбой обращается ее испуганный взор к кроткому седому человеку, который присаживается к ней, поглаживает ей руки и виски и тихо начинает ее утешать.

И через неделю — о чудо! — эта самая Мери Бекер, от которой, как от калеки, отступались, пожимая плечами, все врачи, совершенно здорова. Ей свободно и легко повинуются мускулы, суставы, члены. Она опять может ходить и бегать, она, легко прыгая, взбирается по ста десяти ступеням городской башни Портленда, говорит, расспрашивает, ликует, торжествует, пламенет, — сияющая, помолодевшая, почти красивая женщина, дрожащая от жажды деятельности и полная новой энергии, энергии, не имеющей себе равной даже в отечестве ее, в Америке, энергии, которая вскоре завоюет и покорит себе миллионы людей.

## ПСИХОЛОГИЯ ЧУДА

Как падает с неба в ясный день молния? Как могло случиться такое чудо, являющееся насмешкой над всеми правилами врачебной науки, над здравым смыслом? Прежде всего, полагаю я, в силу полнейшей готовности Мери Бекер к чуду. Как молния произвольно вспыхивает в тучах, но предполагает особую заряженность и напряженность атмосферы, так и чудо, чтобы совершиться, требует определенного предрасположения, некоего нервно и религиозно воспаленного душевного состояния; никогда не случается с человеком чуда без того, чтобы он внутренне не ждал его давно и страстно. Мы знаем и учили когда-то, что «чудо — веры лучшее дитя», но и этот вид рождения в духе требует полярности, как рождение от отца и матери; если вера — отец, то отчаяние, несомненно, мать чуда; лишь путем сочетания безгранично уповающей надежды с полнейшей безысходностью обретет чудо здесь, на земле,

свой образ. А Мери Бекер близка в то время, в тот октябрьский день 1862 года, к последнему пределу отчаяния: Пинеас Квимби — ее последняя ставка, два-три доллара в кармане — ее последние деньги. Она знает, что если и в этом случае лечение не удастся, то для нее уже нет больше надежды. Никто не даст ей денег для новых попыток; безнадежно парализованной, нежеланной людям, обузе своей семье и себе самой отвратительной, ей придется отхворать и погибнуть. Если он ее не спасет, то уж не спасет никто. Поэтому она воодушевлена теперь прямо-таки демоническим доверием отчаяния, сильнейшей из сил; одним порывом извлекает она из своего истерзанного тела ту элементарную душевную мощь, которую Месмер назвал волей к здоровью. Короче, она выздоравливает потому, что ее инстинкт усматривает в данном случае последнюю на земле возможность выздороветь; чудо свершается, потому что должно свершиться.

И потом: ради этой попытки вызвано, наконец, наружу, в чистой форме, глубочайшее душевное предрасположение Мери Бекер. С самой ранней юности эта дочь фермера-американца ждала, как и сестра ее у Ибсена, «чудесного». Она всегда мечтала, что с ней и через нее произойдет что-то необычайное; все ее погибшие годы были залогом, сладостным предвкушением этого таинственного мига. С пятнадцатого года своей жизни она готовилась к воплощению безумной своей мечты о том, что судьба обещает ей нечто особенное. И вот она у порога испытания. Если она приковывается хромой обратно, то сестра осмеет ее, от нее потребуют обратно деньги, и жизнь ее бесповоротно погибла. Но если она излечится, то с ней совершится чудо, «чудесное», и (ее мечта с детства!) ей будут дивиться. Все захотят видеть ее, говорить с ней; наконец-то, наконец мир заинтересуется ею, и впервые не из сожаления, как до сих пор, но с почтительным восхищением, — ибо она преодолела свою болезнь магическим, сверхъестественным образом. Поэтому из многих тысяч одержимых недугами во всей Америке, обращавшихся в течение двадцати лет к чародею-доктору

Квимби, никто не был, может быть, в такой степени предрасположен на путях душевных к выздоровлению, как Мери Бекер.

Здесь сливаются, таким образом, в одно целое добросовестная воля к исцелению со стороны врача и страстная, титаническая воля к выздоровлению со стороны пациента. Поэтому выздоровление, собственно, совершилось при первой же встрече. Уже то, как окидывает ее умиротворяющим взором серых глаз этот спокойный, серьезный, приветливый человек, уже это успокаивает ее. И успокаивает ее прикосновение его прохладной руки, магнетически проводящей по ее лбу, и прежде всего успокаивает, что он дает ей говорить о своей болезни, что она его интересует. Ибо интереса, его-то она и жаждет, эта «непонятая» больная. За долгие годы она привыкла к тому, что все окружающие прячут судорожную зевоту, когда она рассказывает о своих недугах; и вот впервые перед ней человек, который всерьез принимает ее страдания, и ее честолюбию льстит, что именно ее хотят излечить духовным методом, через душу, что наконец-то, наконец кто-то ищет у нее, всеми пренебрегаемой, душевных и духовных сил. С верой вслушивается она в объяснения Квимби, она впитывает его слова, спрашивает и дает себя спрашивать. И за страстным интересом к этому новому, к этому духовному методу она забывает свою собственную болезнь. Тело ее забывает о том, что оно парализовано или должно создавать видимость парализованности, ее судорожное состояние разряжается, кровь, более алая, быстро течет по жилам, лихорадочное возбуждение передается истощенным органам, повышая их жизненность.

Но и добрый Квимби вправе изумиться. Привыкший к тому, что его пациенты, в большинстве тяжеловесные рабочие и ремесленники, не мудрствуя, подчиняются его внушению с открытыми устами и открытой душой и, получив облегчение, тотчас же кладут на стол свои два-три доллара, не интересуясь больше ни им, ни его методом, он неожиданно видит перед собой женщину, особую, литературную женщину, «authoress», которая всеми порами жадно впивает его слова; видит, наконец, не

тупую, а страстно-любопытную пациентку, которая не только хочет мигом выздороветь, но и понять, почему и как она выздоравливает. Это сильно льстит самолюбию бравого часовщика, который много лет серьезно, честно и в полном одиночестве отстаивает свою «науку», который до сих пор не встречал никого, кто бы поговорил с ним как следует по поводу его сумбурных, особенных мыслей. И вот каким-то попутным ветром занесло к нему в дом эту женщину, которая тотчас же всю свою вновь обретенную жизненную силу претворяет в духовный интерес; она заставляет его рассказать о себе и объяснить все, его метод, его приемы; она просит позволения заглянуть в его заметки, его записки, его рукописи, в которых он довольно беспомощным образом нацарапал свои смутные теории. Но для нее эти записки становятся откровением; она копирует (очень важная подробность) в отдельности, страницу за страницей, в особенности тетрадку «Вопросов и ответов», которая содержит квинтэссенцию теории и практики Квимби; она спрашивает, спорит, вытягивает из добродушно-го Квимби все, что он может сказать.

Со свойственным ей неистовством она впивается в его предположения и мысли и извлекает из них для себя дикое, фанатическое воодушевление. И именно эта воодушевленность Мери Бекер новыми методами лечения создает ей, собственно, новое здоровье. Впервые эта эгоцентрическая натура, которая ни в чем и ни в ком не принимала самоотверженного участия, эротика которой вытеснена доведенным до крайности чувством своего «я», материнский инстинкт которой подавлен перенапряжением личной воли, — впервые познает Мери Бекер истинную страсть, духовную взволнованность. А элементарная страсть всегда оказывается лучшим предохранительным клапаном при неврозах. Ибо только потому, что до сих пор Мери Бекер не умела занять свои нервы на прямых и светлых путях, только поэтому нервы занимались ею так зловредно. Но теперь она впервые чувствует такую сосредоточенность своей дотоле рассеянной и подавленной страсти, что у нее нет времени думать о чем-либо другом, нет, следовательно, времени для болез-

ни, — а как только у нее не стало времени для болезни, болезнь исчезла. Теперь ее подавленная жизненная сила, вырвавшись на свободу, может претвориться в творческую деятельность; Мери Бекер нашла, наконец, на сорок первом году, свою задачу. С октября 1862 года эта изломанная, исковерканная жизнь впервые обретает смысл и направление.

Благоговейный восторг сразу же охватывает воскресшего Лазаря, восставшую от смерти; с того мгновения, как жизнь получила смысл, прекрасным представляется ей земное существование. И отныне этот смысл в том, чтобы рассказывать о себе и о новом учении. Возвратившись домой, она, уже другая, стоит лицом к лицу со старым своим миром: она стала интересной, наконец-то ею занимаются. Все глядят на нее с изумлением, вся деревня только и говорит, что о ее чудесном выздоровлении. «Для всех, кто смотрит на меня и кто знал меня раньше, я живой памятник вашей мощи, — пишет она, ликуя, своему спасителю. — Я пью, ем, радуюсь и чувствую себя как вышедшая из тюрьмы». Но этой не знающей меры женщине недостаточно, что сестры, тетки, родственники и все соседи дивятся ей, как чуду, — нет, весть должна обойти всю страну; весь мир, все человечество должно знать о чудодее из Портленда! Она ни о чем больше не может думать, ни о чем говорить. Она набрасывается на улице на знакомых и на незнакомых со своими патетическими рассказами, читает доклады о «*cure principles*»\* нового спасителя и в своей провинциальной горазетке «*Portland Courier*» помещает восторженное описание своего «воскресения». Все методы, сообщает она, оказались недейственными: магнетизм, холодный душ, электричество, все врачи от нее отказались, потому что не познали еще истинного, гениального, нового принципа лечения: «Те, кто лечил меня, думали, что может быть болезнь, не зависящая от «*mind*», от духа. И мне не приходилось быть умнее, чем они. Но теперь я впервые могу понять в целом принцип, лежащий в основе деятельности доктора Квимби, и по мере того, как я

---

\*Принципы лечения (англ.).

познаю эту истину, здоровье мое все улучшается. Истина, которую он вселяет в больного, излечивает его без его ведома, и тело, исполнившееся света, освобождается от недуга». В своем напыщенном, брызжущем фанатическим экстазом воодушевлении она не колеблясь сравнивает нового спасителя, Квимби, с Христом: «Христос излечивал больных, но не зельями и не лекарствами. Квимби так говорит, как до него ни один человек не говорил и не исцелял со времен Христа, — так разве он и истина не едино? И разве не сам Христос жив в нем? Квимби отвалил камень от гроба заблуждения, дабы истина могла восстать, — но мы знаем, что свет во тьме светит и тьма не может объять его».

Такого рода благочестивые сравнения, обращенные в адрес старого часовщика, кажутся все же слегка богохульными конкурирующей горе-газетке «Portland Advertiser», и она немедленно подсыпает соли в вспененные этим фанатическим духом волны. Уже люди начинают втайне качать головой по поводу ее нелепых вдохновений. Но глумление и насмешки, сомнения и неверие, все эти препоны со стороны насторожившегося рассудка не имеют отныне власти над опьяненной душой Мери Бекер. Квимби, Квимби, Квимби и исцеление духом — это на долгие годы остается единственной ее мыслью, единственным словом. Никакой плотиной разума не преградить теперь этого потока. Камень скатился и станет лавиной.

## ПАВЕЛ СРЕДИ ЯЗЫЧНИКОВ

Самый сильный человек — это человек единой мысли. Ибо всю накопленную им мощь, силу воздействия, волю, интеллектуальность, нервное напряжение использует он в одном-единственном направлении и создает таким образом напор, которому редко может противиться мир. Мери Бекер одна из таких типичных фанатиков на протяжении всей истории культуры: она владеет с 1862 года одной-единственной мыслью, или, скорее, мысль владеет ею. Она не смотрит ни направо, ни налево, она идет только вперед, вперед, вперед в одном-един-

ственном направлении. И она остановится не раньше, чем эта идея целения духом завоюет ее страну, весь мир.

Правда, то, что она хочет провести, чего она в первую очередь хочет добиться, это и ей самой неясно в ее тогдашнем начальном воодушевлении. У нее нет еще системы, нет учения, — это оформится лишь потом, — у нее только фанатическое чувство благодарности, подсказывающее, что на ее долю выпало возвестить миру апостольскую миссию Квимби. Но и этой первоначальной установки, этой целостной сосредоточенности воли достаточно, чтобы физически и духовно преобразить нервную, не покидающую постели, подверженную конвульсиям женщину. Походка ее становится твердой, нервы напрягаются силой целеустремленности, в упавшей духом неврастеничке пробуждается неудержимо-властная натура и вместе с ней — множество действенных дарований. В короткий срок сентиментальный синий чулок превратился в энергичную, искусную писательницу, усталая страстотерпица — в увлеченного оратора, вечно жалующаяся больная — в страстную проповедницу здоровья. И чем большей мощи она теперь достигает, тем большей мощи и деятельности будет в ненасытности своей добиваться эта женщина, на пятом и шестом десятке более живая, жизнеспособная и деловитая, чем в двадцать и в тридцать лет.

Этим изумительным превращением не слишком, по-видимому, восхищен для начала один человек, а именно вернувшийся наконец из плена доктор Паттерсон. Уже раньше ему нелегко было жить под одной крышей с нервной, капризной, всегда требующей внимания и не покидающей постели истеричкой, но, по привыкнов, он переносил еще это благодушно; теперь, однако, он в испуге отступает от выздоровевшей, от проникшейся внезапным самосознанием, от фанатичной пророчицы и прорицательницы. Он согласен уж лучше платить двести долларов в год на ее содержание и отказаться от дальнейшей совместной жизни; после довольно бурных объяснений он навсегда освобождается от брачного сожительства путем развода. Ало-розовая биография накидывает, разумеется,

на щекотливый эпизод некий покров, она объясняет этот развод в кисло-сладком тоне душеспасительной хрестоматии: «Было нелегкой задачей надлежало руководить ее красивым неразвитым мужем, помышлявшим о кастрюлях, о суете и соблазнах чувственного мира и мало поддававшимся обаянию духовности и света». Но странно, этой «духовности», этого «света», исходящего от «mother»<sup>\*</sup> Мери, не чувствует как будто и преданная вот уже несколько лет Эбигейль. И она не в силах выносить более властной, повелительной манеры внезапно выздоровевшей сестры; дело доходит до бурных столкновений, в результате которых Мери Бекер вынуждена искать себе пристанища где-либо в другом месте. С этого дня обе сестры больше уже никогда не встречались; и с семейством своим неуживчивая Мери порвала последнюю связь.

И вот в пятьдесят лет Мери Бекер снова одинока; первого мужа она похоронила, второй ее бросил, ребенок где-то за много миль на чужбине. Она одна на свете, у нее нет денег, призвания, работы; что удивительного, если она доходит до ужасающей бедности. Часто она не в силах внести полтора доллара недельной платы за свою скверную комнату в пансионе; годами она не может купить себе платье, новую шляпу, перчатки. Приходится наскребывать крохотную сумму цент за центом. Еще многие годы, вплоть до того, как на ее долю выпадет величайший в девятнадцатом столетии успех среди женщин, будет эта непреклонная воительница во имя безрассудства опускаться до последних унижений, до крайней степени нужды.

Так как и теперь еще Мери Бекер с тем же надменным упорством отклоняет всякую возможность работы по хозяйству, «пошлой» работы, то единственным ее спасением от голодной смерти является пристроиться к кому-нибудь, скажем более неприкрыто: блюдолизничать. В эти годы крайней нужды она жила не иначе, как умственной работой, и только ради своей идеи. И ничто не свидетельствует неопровержимее о ее

---

\*Мать (англ.).



психологическом гении и о присущей ей громадной мощи внушения, как то, что, несмотря на все это, она за все время «тернистого пути» (так именуются эти годы скитаний в официальном евангелии) всегда находит доброхотных кормильцев, приглашающих эту бесприютную к себе в дом. Это почти всегда люди бедные, бедные достатком и духом, которые из трогательной любви к «высшему» воспринимают общение с этой удивительной пророчицей как отличие и оплачивают это общение столом и кровом.

Повсюду в мире, в каждом городе, в каждой деревне земного нашего шара имеется такая (очень симпатичная) разновидность людей со смутно-религиозным мироощущением, которых среди их трудовых будней или наряду с ними до самой глубины души захватывает и занимает тайна земного нашего существования, людей, склонных к вере, но недостаточно сильных для того, чтобы создать себе веру. Этот род людей, обычно чистосердечных и трогательных, но слегка слабых, бессознательно требующих себе посредника, который бы направлял их и руководил ими, повсюду и всегда дает лучшую почву для всяких новых религиозных сект и учений. Кто бы они ни были, оккультисты, антропософы, спириты, последователи Christian Science, толкователи Библии или толстовцы, всех их объединяет единая метафизическая воля, смутное влечение к «высшему смыслу» жизни; все они поэтому становятся благодарными и покорными учениками тех, кто творчески или шарлатански культивирует в них мистическую, религиозную силу. Такие люди повсюду вновь и вновь появляются, и в степях, и в мансардах крупных городов, в засыпанных снегом деревушках Швейцарии, и в русских селах, и американский народ, с виду реалистически настроенный, как раз особенно богат такими религиозными прослойками, ибо протестантски твердая вера, в непрестанном своем обновлении, дает там все новые и новые ответвления в форме различных сект. В гигантских городах Америки или рассеянные по бесчисленным ее округам, живут и сейчас еще тысячи и сотни тысяч тех, для кого Библия все еще является самой важной и

единственной книгой, а истолкование ее — существеннейшей задачей жизни.

У таких религиозно-мистических натур находит себе всякий раз прибежище Мери Бекер в годы своей бедности. Временами это сапожник, которому после механической, угнетающей душу фабричной работы хочется услышать что-нибудь «высшее» или потолковать с кем-нибудь о библейских текстах, временами это старая, высохшая женщина, которую мысль о смерти бросает в озноб и для которой всякая весть о бессмертии означает уже утешение. Для этих незамысловатых, попавших в окружение глухоты людей встреча с Мери Бекер становится событием. С почтительным непониманием внемлют они ей, когда она за скудной вечерней трапезой повествует им о чудесных исцелениях. Почтительным изумлением провожают они ее, когда она исчезает потом в своей комнатке на чердаке, чтобы при мерцании керосиновой лампы всю ночь работать над своей таинственной «Библией». Разве так уж это много — предоставить этой вестнице духа, нигде в земном этом мире не имеющей родины, постель под самой крышей, стол для ее работы, тарелку, чтобы она не мучилась от голода. Подобно благочестивым нищенствующим монахам средневековья, подобно русским богомольцам, скитается Мери Бекер в те годы от одного дома к другому; но никогда эта женщина, демонически одержимая мыслью о себе, не чувствует себя смущенной или кому-либо обязанной этим гостеприимством, никогда не приходит ей в голову, что она принимает милостыню. Никто в эти годы бедности не видел ее со склоненной головой, никто хотя бы на миг не наблюдал в ней чувства униженности.

Но она нигде не может надолго удержаться. Повсюду, у бедных и у богатых, в мансарде или впоследствии в мраморном ее дворце, в нужде и в богатстве, в кругу семьи, у друзей и у чужих, повсюду, по истечении короткого срока, исполняется трагический закон ее жизни — чрезмерная напряженность ее воли рушит всякое общение с другими. Ее властная повадка, ее деспотическое своеволие неизбежно приводят к ссорам.

Столкновения с окружающим миром — ее рок, неуживчивость в отношениях с людьми — неустранимое следствие непреклонной уверенности в своей правоте; и вот какой-то демон гонит ее от одного двора к другому, от города к городу все дальше, дальше — дальше! Свершая свою Одиссею по морям всяческих бедствий, она находит на время прибежище у некоего Хайрама Крафта из Линна, днем занимающегося в качестве первоклассного мастера починкой сапог и каблуков, а вечера посвящающего, по примеру Якова Беме и Ганса Сакса, размышлениям и метафизике. Она уже успела воодушевить его своим божественным учением настолько, что он намерен бросить сапожное ремесло и помещает в газетах пространное объявление о том, что он, доктор Хайрам Крафт, умеет лечить по новому способу все болезни и готов возвратить деньги всякому, кто не добьется у него результатов. Но почтенная супруга будущего доктора, которой по-прежнему приходится скоблить плиту, варить обед, шить и чистить обувь, в то время как метафизически настроенная гостья высокомерно отказывается от всякого участия в работе, проникается подозрением, что эта тощая старая женщина намерена оттягать у нее мужа при помощи дьявольских своих дурачеств. И она неожиданно ударяет кулаком по столу и заявляет: «Вы или я!» И на следующий день Мери Бекер опять без крова, на улице.

То, что происходит в дальнейшем, невероятно даже для романа. Мери Бекер, неожиданно изгнанная, не знает никого, кто бы ее принял к себе. Снять комнату в пансионе ей не по силам, с семьей она разошлась, настоящих друзей она никогда не умела приобрести. И вот, со смелостью отчаяния, она направляется напрямиком на некую виллу, где живет Сара Вентворт, старая женщина, известная во всем округе как отъявленная психопатка и спиритка. Она стучится в дверь. Сара Вентворт отворяет самолично и спрашивает, что ей угодно. Мери Бекер заявляет, что дух повелел ей прийти сюда, ибо здесь чистый, гармоничный дом, «a nice harmonious house». Может ли настоящая спиритка выгнать обратно на улицу человека, которого прислал дух? И Сара Вентворт говорит просто:

«Glory to God! Come right in!»\* и предоставляет совершенно чужой женщине приют на ночь. Но Мери Бекер остается не на одну ночь, она остается на много дней и недель, она овладевает старой женщиной посредством своей пламенной речи, пылко-го своего темперамента. Напрасно и здесь пытается супруг выжить пришлицу, ему не справиться (да и кто мог бы!) с волей Мери Бекер, пока наконец много месяцев спустя не приходит на помощь сын. Вернувшись в Эмсбери, он видит, что родительский дом превратился в спиритический бедлам и что отец в отчаянии. Сразу же кровь бросается ему в голову, он не разводит особенных церемоний и попросту грубо объявляет Мери Бекер, чтобы она убиралась к черту. Та сначала противится, ибо чувствует, что давно уже стала в доме хозяйкой положения. Но молодой Вентворт крепкий, отнюдь не спиритуалистически настроенный парень, он не слишком много внимания обращает на ее страстные протесты, швыряет попросту ее вещи в чемодан, взваливает его на плечи и выбрасывает на улицу, — и вот Мери Бекер снова одна, под проливным дождем, ночью, без пристанища. Вымокшая, заходит она к другой спиритке, к портнихе Саре Бэгле; там она находит ненадолго приют, потом опять все то же и то же.

Ни в одной семье, где ей удастся найти пристанище, она не может удержаться сколько-нибудь долго, повсюду оказывается супруг или сын, вышвыривающие чрезмерно властную гостью. И это хождение по мукам, от одного дома к другому, от одной двери к другой, длится целых четыре года. Сколько унижений претерпела Мери Бекер за эти четыре года, об этом умалчивает ее автобиография, так же, как и официозная стряпня на эту тему — и крайне неумно! Ибо как раз высокая выдержка Мери Бекер в ужасающе бедственных обстоятельствах и сообщает ей человеческое величие. И ничто более победным образом не свидетельствует о твердости ее характера, о ее непреклонной, бешеной решимости, чем это святое неистовство, делающее ее совершенно нечувствительной к

---

\* Слава Господу! Войдите! (англ.)

грубым попрекам и выпадам людей. Все ее существо до такой степени полно и переполнено одной, своей идеей, что у нее не остается времени и места для чего-либо другого. Травимая всячески, терзаемая денежными заботами, она ни на один день не перестает думать и обдумывать все одну и ту же мысль.

С одной улицы на другую перетаскивает она в смешном, мещанском саквояже пожелтевшие уже и расползающиеся листы своей рукописи; днями и ночами пишет, переделывает и вносит улучшения на каждую страницу, с той галлюцинирующей одержимостью, которая должна внушать, безусловно, уважение как раз художникам и людям мысли. Сотни раз читала она и поясняла выдержки из этой рукописи сапожникам, слесарям, рабочим и старым женщинам, в неизменной надежде, что вот, наконец, мысль ее понята, ее верование постигается другими. Но она никого не находит, кто бы ее действительно понимал. Постепенно это тягостное состояние беременности невыношенной мыслью переходит в муку. Плод, она чувствует это, созрел и стремится наружу, и все же, несмотря на страшные судороги и напряжение, она не может вытолкнуть его в мир. Ибо, втайне постигая глубочайшее свойство своей природы, она знает, что ей самой отказано в искусстве целебного воздействия.

Чтобы быть врачомателем, «healer», практиком, требуется спокойствие, превосходство, терпение, та целостная, всегда благожелательная, всегда теплоизлучающая сила, которую она сама испытала когда-то в лице своего целителя Квимби. Но сама она, человек беспокойный *par excellence*, успокаивать не может. Она может только возбуждать, только воспламенять, только взывать духовно, но не сдерживать лихорадочный пыл, не умерять действительные страдания. Значит, надо найти другого, свидетеля, посредника, помощника, мужское начало, чтобы претворить ее духовное учение в действительность. И вот этого человека, в которого она могла бы вдохнуть жаркое дыхание своей веры, чтобы сам он потом спокойно и хладнокровно исполнял ее предписания, такого человека она

страстно ищет долгие годы. Но тщетно! Тяжеловесный увалень, сапожник Хайрам Крафт, которому она с трудом вбила в тупые мозги свою идею, предпочел остаться при своей глупой жене; другие, которым она пыталась передать свою силу, Сара Бэглея и мистрис Кросби, проявили вялость чувства и ни тени священной убежденности и, следовательно, дара убеждения. Ни в одном таком пролетарском или мещанском низшего пошиба доме она не нашла посредника.

И вот она обращается к более широкой аудитории и помещает в спиритическом журнале «Banner of light»\*, рядом со всякими темными хиромантами, ясновидящими, сектантами, астрологами и гадалками, первое свое открытое объявление — о том, что она за «рау», то есть за плату, готова поделиться со всяким желающим великой тайной искусства лечить через психику. Приводим здесь, в точном соответствии с оригиналом, этот исторический призыв, этот первый трубный звук донныне не закончившейся войны:

**ANY PERSON** desiring to learn how to teach the sick, can receive from the undersigned instruction that will enable them to commence healing on a principle of science with a success far beyond any of the present modes. No medicine, electricity, physiology or hygiene required for unparalleled success in the most difficult cases. No pay is required unless the skill is obtained.

*Address Mrs. MARY B. GLOVER  
Amesbury. Mass. Box 61\*\**

---

\*«Хоругвь света» (англ.).

\*\* Желаящие узнать, как следует лечить больных, могут получить от нижеподписавшейся указания, которые дадут им возможность начать лечение на научных началах, с успехом, далеко выходящим за пределы современных способов. Не требуется ни медицины, ни электричества, ни физиологии или гигиены для несравненного успеха в самых трудных случаях. Плата вносится после усвоения курса.

Адрес: миссис Мери Б. Глоуер, Эмсбери, Масс., почтов. ящик 61.

Но никто, по-видимому, не отозвался. И опять бесполезно проходит год, проходят два года этой все еще бесплодной жизни.

Наконец, на пятидесятом году существования, удастся ей найти человека. Правда, он безжалостно молод еще, этот евангелист Иоанн, ему всего двадцать один год; по профессии он рабочий картонажной фабрики, и зовут его Ричард Кеннеди. Ее целям более соответствовал бы, собственно, человек покрепче, постарше, повнушительнее. Но три четверти жизни прошли уже зря, нет больше времени ждать и разбираться. И так как взрослые не слушают ее, так как все они слишком уж умно, осторожно и расчетливо высмеивают ее смелые проекты, то она ставит последнюю ставку на этого мальчика. Два года назад она познакомилась с ним в доме мистрис Вентворт, и скромный мальчуган бросился ей в глаза тем, что он единственный из всех благоговейно слушал, когда она рассказывала о своем учении (а ведь она только об этом и может говорить днем и ночью). Может быть, этот невзрачный паренек понимал столь же мало, как и другие, когда фанатически настроенная женщина горячо и страстно толковала о «mind» и «materia», но все-таки он хоть слушал почтительно, и она была счастлива: вот молодой человек, первый, который уверовал в нее и в ее учение. И вот теперь, когда ему двадцать один год, а ей пятьдесят, она неожиданно делает ему предложение заняться практическим врачеванием на основе ее непреложного метода. Скромный картонажник, понятно, не отказывается. Для него это не риск — скинуть фабричную блузу и без всяких академических премудростей превратиться во врача по всем болезням; наоборот, он чувствует себя в высшей степени польщенным. Прежде чем пуститься в дорогу, на завоевание мира, эта странная пара успевает заключить договор, деловой и обстоятельный: Мери Бекер обязуется ознакомить Ричарда Кеннеди со своей Science, своей наукой, а он, со своей стороны, обязуется содержать ее в это время и передавать ей половину всех доходов от практики. Таким образом, лист гербовой бу-

маги, обуславливающий пятьдесят процентов против пятидесяти, является первым историческим документом Christian Science. И с этого мгновения метафизическое и материальное начала, Христос и доллар, пребывают в истории этого американского метода врачевания неразрывно связанными.

Потом они упаковывают небольшой чемодан — в нем помещается все их имущество — и наскребают денег на первый месяц предстоящей жизни. Как велик был основной капитал этого лечебного предприятия, в точности неизвестно, может быть, двадцать долларов, может быть, тридцать или пятьдесят, во всяком случае немного. С этим минимумом они перебираются в соседний городок Линн — седая женщина и неоперившийся юнец. И положено начало одной из замечательнейших авантур в области духа, одному из самых захватывающих движений нового времени.

## ЗАРИСОВКА

Теперь, когда после нескончаемого периода прозябания в фермерских хижинах и в мансардах городов Мери Бекер выступает, наконец, в озарении света, бросим беглый взгляд на ее наружность. Высокая и тощая, жесткая и костистая фигура, вызывающая строгими своими, мужскими линиями воспоминание о другой женщине нашего века, со столь же могучей волей, — о Козиме Вагнер. Движения неистовы: нетерпеливо стремительная походка, нервно вскинутые руки и повелительно поднятая в споре голова, словно она в шлеме и с мечом. Женского во всей этой словно из американской стали выкованной фигуре только пышные каштановые волосы, расходящиеся поверх гладкого лба двумя темными волнистыми прядями и ниспадающие, в мягких завитках, до плеч; в остальном ни одной черты нежности или тепла. Эту сознательную волю к мужскому, к монашескому подчеркивает в особенности одежда. Пуритански строго застегнутая у самого горла, с многочисленными складками по-пасторски, эта напоминающая рясу мантия скрывает, за неумолимой своей чернотой или



за безразлично-серым цветом, все женские формы, и в качестве единственного украшения угрожающе выделяется, как бы ополчаясь на все чувственное, большой золотой крест. Трудно представить себе женщину столь строгой осанки тающей от любви или по-матерински играющей с ребенком, трудно вообразить, чтобы эти странно округлые, глубокие серые глаза могли осветиться веселостью или подернуться дымкой мечтательности. Все в этой царски надменной и в то же время гувернантски строгой фигуре свидетельствует об устремлении, деспотической воле, напоре, о накопившейся, сдержанной, концентрированной энергии. Даже на фотографическом снимке каждый чувствует все-таки, как на него устремлен с угрожающей силой, внушающе-властный взор этой американки.

Столь уверенной в себе, столь величественной является (или созидает себя) Мери Бекер, когда смотрит на объектив фотографического аппарата, когда говорит перед людьми, когда чувствует, что за ней следят. Какой она была в действительности, наедине с собой, в комнате, об этом мы можем только догадываться по отдельным, частного характера, сообщениям. Ибо за этой стальной маской, за этим гладким, упрямым лбом трепещут, лихорадочно вибрируя, до ужаса напряженные и перенапряженные нервы; та самая проповедница, что в гигантских аудиториях так увлеченно вселяет в тысячи больных и отчаявшихся веру в здоровье и новую жизненную силу, сотрясается, за закрытой дверью своей комнаты, от новых и новых конвульсий, одержимая припадками неврастенического страха. Железная воля держится в данном случае на тончайших нервных волокнах. Уже самое легкое потрясение грозит опасностью этому непомерно чувствительному организму. Малейшее гипнотическое воздействие сковывает ее энергию, ничтожной дозы морфия достаточно, чтобы ее усыпить, и эта святая и героиня является игральщиком ужасающих демонических сил: ночью ее домашние нередко просыпаются от пронзительных призывов на помощь, и им приходится ус-

покаивать больную при помощи всевозможных тайных средств. С ней то и дело случаются удивительные припадки. Тогда она с блуждающим взором бродит по комнате и мучительное ее мистическое напряжение, которого никто не понимает, — и менее всего она сама, — разряжается дикими криками и судорогами. Типично для нее и для многих врачевателей души: волшебница, принесящая исцеление тысячам, никогда не могла до конца излечить себя самое.

Но патологическая сторона ее природы выдает себя только за закрытыми дверями, во время тайных сборищ. Только вернейшие ее соратники знают, какой трагической ценой платила она годами за свою стальную выдержку, за внешнюю свою непреклонность и непоколебимость. Ибо в тот миг, когда она выступает публично, ее разрозненные силы одним порывом собираются воедино; всякий раз, когда дело идет о ее основном даре, о ее безмерной воле к власти над другими, пламенная энергия, исходящая от духа, устремляется в ее мускулы и нервы, подобно тому, как электрический ток устремляется в угольную нить лампы, и заряжает все ее существо завораживающим светом. В миг, когда она сознает, что ей надо взять верх над людьми, она берет верх над собой и обретает силу превосходства; внушающее воздействие ее внешности, так же как и ее интеллектуальность, ораторское искусство, писательство, философия, — не дар природы, а порождение воли, триумф творческой энергии духа.

Всякий раз, когда она хочет добиться своего, она опрокидывает для своего организма законы природы; так же властно противится она и «chronology», неумолимым обычно земным срокам. В пятьдесят лет она действует, как в тридцать, в пятьдесят шесть добывает себе третьего мужа, и даже в возрасте прабабки ни один смертный не видел ее дряхлой, кроме ее личного секретаря. Никогда не допустит она, в своей гордости, чтобы обнаружили ее слабость; мир должен созерцать ее в ореоле неуязвимой мощи. Как-то однажды лежит она, в восьмидесятилетнем возрасте, в постели, терзаемая конвульсия-

ми, беззубая, бессильная старуха, с ввалившимися от бессонницы щеками, с нервами, трепещущими от постоянных припадков страха; ей докладывают, что прибыли паломники со всей Америки с единственной целью ее приветствовать. И тотчас же призыв ее самоощущения властно поднимает тело. Трясущаяся от старости женщина дает надеть на себя дорогое платье, как на пружинную куклу, и раскрасить свои щеки кармином; потом ее ведут, толкают ее, на ревматических ногах, шаг за шагом, в направлении к балкону. Осторожно, как нечто бьющееся, волокут и втаскивают эту рассыпающуюся мумию в открытую дверь. Но едва она оказывается снаружи, на балконе, поверх благочестивой толпы, почтительно обнажающей головы, она гордо выпрямляется, речь пламенно и плавно льется с увядших уст, руки, только что цеплявшиеся за железную решетку, чтобы удержать равновесие, взмывают, как дикие птицы, ввысь; надломленное тело напрягается при звуках собственной речи, и вихрь силы пронизывает царственно откинувшуюся фигуру. Снизу смотрят на нее, с жаром в очах, люди, их бросает в трепет это стихийно прорывающееся пламя красноречия. И потом далеко по всей стране разносят они весть о юношеской свежести, о воочию лицезренной ими мощи этой бесспорной владычицы над болезнью и смертью; а между тем за балконной дверью снова и с трудом волокут назад, на одр болезни, эту дряхлую, запыхавшуюся старушку. Так, силой страстного духовного напряжения, вводит Мери Бекер-Эдди не только современников, но и саму природу в обман относительно своего возраста, относительно своих слабостей и недугов; неизменно в решающий час она создает для окружающего мира картину той истины, к которой она в глубине своей души влечется. Не случайно поэтому именно эта столь непоколебимая в столь шатком теле душа измыслила вероучение, в силу которого воля одного человека должна быть сильнее болезни и смерти, не случайно апостольская весть о всемогуществе воли пришла из той страны, которая только сто лет назад расчистила под пашню свои леса и

превратила дикие пустыни в метрополии. И если бы потребовалось в одной картине выразить эту стальную, прямолинейную, смеющуюся над словом «невозможно» американскую энергию, я не знаю для нее лучшего символа, чем гордо поднятая голова и полные великолепной решимости, вызывающе глядящие в незримое глаза этой самой неженственной из женщин.

## ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

Великая, героически затейливая борьба с наукой начинается как идиллия, как забавный мещанский фарс.

В Линне, в том самом захолустном, будничном городке сапожных подмастерьев, где Мери Бекер пыталась в свое время сделать из честного починщика чужих каблуков Хайрама Крафта доктора новой врачебной науки, живет скромная, приятного нрава учительница, мисс Сюзи Мэгоун. Она сняла дом для своей частной школы; на первом этаже будут помещаться классы, второй она хотела бы сдать. И вот однажды вечером, в 1870 году, является некий молодой человек; он похож с виду на мальчика, да и как же иначе: Ричарду Кеннеди не больше двадцати одного года. Он вежливо кланяется и спрашивает (с некоторой неуверенностью в голосе), не сдаст ли она эти пять комнат врачу. «Охотно», — отвечает мисс Мэгоун; он, вероятно, ищет помещение для лечебницы своего отца? Тут лицо юного картонажника заливается краской: нет, он сам доктор, и пять комнат нужны ему для его практики, потому что с ним будет жить и одна пожилая дама, «пишущая книгу». Мисс Мэгоун смотрит поначалу на юнца с некоторым изумлением. Но Линн, в конце концов, в Америке, а Америка не знает нашего академически бюрократического предубеждения против молодости. Там смотрят человеку в глаза, а так как у этого молодого человека открытый и ясный взгляд и, кроме того, он с виду добропорядочен и приличен, она соглашается. Через несколько дней новые жильцы въезжают. Много багажа не приходится им втаскивать по лестнице — всего-

навсего две дешевые кровати, стол, два-три стула и еще какой-то хлам. И что у них не так-то уж густо с деньгами, доказывает наглядно то обстоятельство, что юный медик берется сразу же за черную работу, собственноручно оклеивает комнаты обоями, подметает их и чистит. Но потом — историческая дата, июль 1870 года! — юнец прибывает к дереву перед домом дощечку: «Д-р Кеннеди». И тем кладется начало практике Christian Science.

Прибить к дереву дощечку и назвать себя доктором, это еще не являлось чем-либо особенным в тогдашней Америке, не возражавшей, по свободомыслию, против такого способа соискания ученых степеней. Удивительным является лишь дальнейшее следствие этого решительного шага, а именно, что в первую же неделю появляются у этого только что устроившегося «доктора» пациенты. И еще удивительнее: они, по-видимому, довольны его искусством, так как на второй неделе клиенты еще многочисленнее, а на третьей их еще больше. В конце июля совершается первое чудо Christian Science: незадолго перед тем вылупившийся из яйца «доктор» Кеннеди в состоянии точно и аккуратно выплатить из своих доходов свою долю. И чудо из чудес: кривая успеха с каждой неделей идет вверх. В августе пациентам приходится уже занять очередь в передней, а в сентябре одна из классных комнат мисс Мэгоун временно отводится под приемную. Как будто при помощи какого-нибудь лассо новый метод компании Кеннеди и Бекер оттащил к себе всех больных города Линна от остальных врачей; десятки пациентов что ни день добиваются «новых приемов» лечения. Правда, нам, знакомым с практикой доктора Квимби, метод доктора Кеннеди не кажется столь уж новым, ибо он до мельчайших подробностей повторяет испытанный уже курс лечения внушением бравого часовщика из Портленда. Так же, как и тот, присаживается доктор по картонажному делу Кеннеди к своим пациентам, трет им слегка влажными пальцами виски и охватывает затем всю метафизическую премудрость, которую вбила ему в голову его покровительница,

твердит, что «человек божественного происхождения, и так как Бог не хочет зла, то поэтому не может быть в действительности никакого зла, никаких страданий и болезней. Это лишь рассудочное представление, заблуждение, от которого надлежит освободиться».

С маниакальным упорством, которое вколотила ему Мери Бекер, он твердит, твердит и твердит свои тексты большим с такой безусловной убежденностью, словно у него безграничная власть над их страданиями. И уверенность этого симпатичного, с ясными глазами человека, внушающего доверие своей простотой, передается, действительно, большинству пациентов, принося им облегчение. Простолюдины, сапожники, мелкие служащие, обращающиеся к нему, чувствуют в скором времени, что избавились от страданий и, — к чему отрицать или извращать вещи ясные? — целый ряд давно отвергнутых врачами женщин, болеющих туберкулезом, мужчин в параличе обязаны этому «метафизическому лечению» моментальным облегчением; некоторые утверждают даже, что совершенно выздоровели. И вот очень быстро по восьмидесяти или ста улицам Линна распространяется молва, что этот как снег на голову свалившийся доктор Кеннеди действительно парень хоть куда, он не мучит вас инструментами, порошками и дорогими микстурами, а если иногда и не помогает, то по крайней мере и не приносит вреда. Один больной советует другому испытать хоть раз самоновейший, «ментальный» метод. И вскоре неопровержимые результаты налицо. В течение нескольких недель новая наука одержала в Линне полную победу, все знают и все превозносят доктора Кеннеди, как малого дельного.

Но знают пока и превозносят только Кеннеди. О том, что неподалеку, в соседней комнате, сидит еще крепкая, не совсем старая женщина, от которой, собственно, исходит этот поток воли, о том, что единственно ее напряженная энергия управляет, как куклой, этим юным медиком, что каждое его слово внушено ею, каждое движение его продиктовано и рассчита-

но, об этом никто пока не знает в Линне. Ибо в первые недели Мери Бекер пребывает полностью невидимой. Целые дни сидит она, как сова, тихо и незаметно в своей комнате и пишет, пишет свою таинственную книгу, свою «Библию». Никогда она не входит в приемный кабинет своего Голема, редко обменивается словом с сожителем; иногда лишь узкая, молчаливая тень скользит, к изумлению больных, из одной комнаты в другую. Но воля к утверждению своей личности слишком сильна в Мери Бекер, чтобы долго оставаться на заднем плане; она ничего не хочет и не может делить с другими, и менее всего успех.

С изумлением, с трепетом видит эта женщина, годами терпевшая насмешки, глумление, издевательства, что практическая применимость ее метода доказана на примере чужих людей, и невыразимым экстазом наполняет ее неожиданное счастье: тот камень, который она случайно подняла на своем трагическом пути, — действительно магнит, «*pietre philosophe*»\*, обладающий магической силой притягивать души и облегчать страдания. В ней, вероятно, вспыхнуло в ту минуту нечто от неистовой радости, от восторженного изумления конструктора, который, размышляя теоретически, набросал за письменным столом эскиз машины и видит через много лет, как она впервые правильно и творчески функционирует, нечто от блаженного состояния драматурга в миг, когда начертанные им образы воспроизводятся неожиданно людьми и действуют на людей; в эти часы, возможно, озарило ее смущенную душу первое предчувствие тех неизмеримых возможностей, которые заключались в этом начале. Во всяком случае с этого первого намека на успех Мери Бекер не выносит более мрака. Неужели, действительно, доверить эту великую тайну одному-единственному, какому-то Кеннеди, неужели ее «открытие» суждено ограничиться рамками Линна? Нет, вновь обретенная тайна веры, посредством которой Христос излечивал прокаженных и воскресил Лазаря, столь боже-

---

\*Философский камень (фр.).

ственный метод должен быть возведен всему человечеству как некое Евангелие! Экстатически познает Мери Бекер свое новое, истинное призвание: учить и возвещать! И тотчас же она решает искать апостолов, учеников, которые с одного конца мира в другой пронесли бы ее учение об «отрицании болезни», как Павел — весть о Христе.

Несомненно, этот первый порыв Мери Бекер был благороден и чист; но хотя и убежденная всем сердцем в своей правоте не меньше, чем любой пророк Самарии и Иерусалима, она остается, как и была, американкой, дочерью делового века. Счастливая и сгорая от нетерпения наконец-то передать миру свою спасительную «тайну», она, со своим практическим складом, ни минуты не думает о том, чтобы передать эту благодетельную премудрость бесплатно; наоборот, с первого же момента она старается нотариально оформить положение и расценить по отношению к насковозь материалистическому миру свое потрясающее открытие в долларах и с такими гарантиями патентного свойства, как если бы речь шла о новом запале для гранат или гидравлическом тормозе. С самого начала в метафизике Мери Бекер имеется налицо удивительный провал: наше тело, наши чувства, все это она с презрением отвергает, как призрачное и преходящее; ассигнации же охотно приемлет как реальность. С первого же часа она смотрит на свой неземной дар, как на отличное средство сколотить, проповедуя нереальность зла, добрый и всегда полезный куш денег. Прежде всего она велит отпечатать для себя карточки делового, так сказать, свойства:

*Mrs. M. GLOVER*  
*Teacher of Moral Science\**

Moral Science — ибо спасительного, решающего слова Christian Science она тогда, в 1870 году, еще не нашла. Она не

---

\*Мистрис М. Глоуер, наставница в Моральной науке (англ.).



решается еще раздвинуть горизонт до пределов небесного, религиозного, она еще честным и добросовестным образом верит, что ее учение — всего лишь новая система лечения силами природы, усовершенствованный метод Квимби. Она предполагает в то время готовить исключительно врачей, практикующих по ее «ментальной» системе, и это на первых порах должно быть проведено на полуторамесячных курсах, «ускоренных», сказали бы мы. В качестве гонорара за ее «initiation», ее наставничество в изучении нового метода, она устанавливает для начала единовременный взнос в сто долларов (в дальнейшем повышающийся до трехсот), правда, возлагая притом, весьма предусмотрительно и деловито, обязательство отчислить в ее пользу десять процентов от всех доходов. Мы видим, как в первые же минуты первого ее успеха в этой неделовитой женщине проснулся, наряду с напряженностью жизненной энергии, модный дух неутолимой предприимчивости.

Учеников ей не приходится долго ждать. Кое-кто из вылеченных Кеннеди пациентов — башмачников, трактирщиков и фермеров, две-три праздные женщины соблазняются перспективой. Не рискнуть ли в самом деле, думают эти бывалые, brave люди, сотней долларов, чтобы за шесть недель выучиться докторскому ремеслу у этой мистрис Бекер-Глоуер, придумавшей все так подходяще, в то время как другие, эти простачки-врачи, по пять лет болтаются в университетах и Бог весть как мучаются? Не так-то уж трудно ее докторство, если ему научился этот неоперившийся птенец, этот картонажник, которому всего только двадцать один год и который загребает теперь по тысяче долларов в месяц. И образования, подготовки эта Сивилла тоже, по благородству своему, не требует, латыни и разных там других выдумок; почему бы не выбрать этот удобнейший из всех университетов? Кандидат из более осторожных, прежде чем рискнуть ста долларами, осведомляется на всякий случай у профессорши, не требуется ли все-таки для студента знать кое-что из анатомии. На это Мери Бекер

отвечает весьма решительно и гордо: нет, ни в коем случае, это скорее было бы препятствием, так как анатомия относится к «Knowledge» (земной науке), а «Science», ментальная наука — к Богу, и миссия ее как раз в том, чтобы разрушить Knowledge при помощи Science. Этого достаточно, чтобы успокоить даже самых нерешительных, и вскоре дюжина таких узколобых, широкоплечих сапожных подмастерьев усаживается на метафизическую школьную скамью. Поистине, Мери Бекер-Глоуер не затрудняет им прохождения Science: двенадцать лекций и потом копирование и заучивание наизусть рукописи «Вопросы и ответы», которая — Мери Бекер впоследствии будет отчаянно от этого отпираться — в существенной своей части представляет из себя копию принадлежащего Квимби экземпляра. Закончив последнюю лекцию, она именует бравых башмачников или лавочных сидельцев «докторами» и тем самым отпускает их на волю; ученая степень получена, еще несколько человек могут прибить к дереву дощечку с докторским титулом и храбро взяться за лечение.

Что там ни говори, а эти курсы и ускоренные выпуски Мери Бекер отдают фарсом и чем-то смехотворным. Но здесь мы сталкиваемся с основной чертой в характере этой удивительной женщины: она совершенно лишена чувства юмора. Она исполнена такого самоуважения, до такой степени забронирована и замкнута в своей убежденности, что никакой довод рассудка не доходит до ее мозгов и нервов. Ее захватная логика сильнее, чем логика всего мира. То, что она делает, безусловно, то, что об этом думают другие, — не имеет значения; словно танк, бронированный вплоть до последней щели, продвигается она, в своей самовоодушевленности, вперед, через все проволочные заграждения действительности. Именно из этой недоступности доводам разума проистекает ее фанатическая, несравненная мощь в деле увлекательной проповеди самых невероятных вещей, и, по мере успеха, она перерастает в самовластие и деспотизм. С того момента, как Мери Бекер достигает у больных успеха при помощи своего метода,

с момента, когда она начинает наблюдать, с высоты своей кафедры, сияющие, возбужденные, пламенные взоры преданных своих учеников, с этого момента кровь так бурно приливает ей к сердцу и к вискам, что она в продолжение всей своей дальнейшей жизни глуха ко всяким доводам.

Это новое для нее чувство в несколько недель совершенно преобразует все ее существо, вплоть до мельчайших клеточек. На протяжении ряда лет бесполезным, забытым грузом лежала она в самом нижнем помещении трюма, и вот теперь стоит наверху, на капитанском мостике, держа руку на штурвале; с этого момента шаткость и порывистость уступают место властности. Впервые она, столь невыносимо долго бесплодная, познала самое опасное из опьянений: власть над людьми. Наконец-то кольцо льдов вокруг нее оттаяло, наконец-то бедность выпустила ее из своих цепких когтей: в первый раз за свои пятьдесят лет она живет не на чужие, а на свои собственные заработанные деньги. Наконец-то она может выбросить рваные, штопаные, чадом нищеты пропитанные тряпки и облечь свое тело, приобретшее повелительную осанку, в черное шелковое платье. Отныне эта так долго отвергаемая жизнью женщина навсегда пронизана электрической энергией самосознания. И та, кто в двадцать лет была уже стара, становится в пятьдесят лет молодой.

Но — таинственное возмездие! Столь внезапный прилив новой жизненной силы, столь бурная напряженность и омоложение связаны и с особыми рода опасностями. Ибо эта пятидесятилетняя пророчица, наставница, проповедница осталась в глубине своего существа женщиной, или, правильнее, она только теперь ею стала. Происходит нечто неожиданное. Этот юный, мало значащий Кеннеди, ее ученик, с поразительной быстротой содействовал успеху ее метода. Как healer, он исполнил все, чего могла требовать учительница от ученика, и даже превзошел все ожидания: два года работали они вместе в великолепном содружестве, и текущий счет в банке свидетельствует о деловитости, честности и неутомимом усердии этого «practitioner».

Но странно, этот личный успех Кеннеди, вместо того чтобы осчастливить ее, начинает вызывать в ней инстинктивное раздражение против компаньона. Какое-то чувство, в котором эта пуритански суровая женщина никогда, конечно, не даст себе полного отчета, все чаще и чаще нарастает в ней в его присутствии, и понемногу ее чувственная установка по отношению к нему окрашивается (защитная окраска — нам это сразу же психологически понятно!) в тайную враждебность. По существу дела она ничего бы не могла против него возразить. Этот милый молодой человек держится по отношению к ней неизменно вежливо, признательно, участливо, почтительно и покорно, он выполнил все ожидания — по крайней мере те, которые она с полным сознанием возложила на этого красивого, симпатичного юношу; но кажется, ее подсознание, кровный физиологический инстинкт стареющей женщины ожидали от него, вне контроля собственной ее неослабной воли, еще чего-то другого. Конечно, он с ней вежлив, мил и любезен, но не более того; и затем он точно так же вежлив, мил и любезен с другими женщинами. И что-то такое (что именно — в этом никогда не признается ее пуританское чувство) проникается к нему неприязнью в этой пятидесятилетней женщине, которая над дверью своей комнаты начертала библейские слова: «Thou shalt have no other Gods before me»\*.

Чего-то нет все-таки, чего она от него ожидала, и ясно, чего именно: женщина, плотская женщина в ней требует такого же признания, как наставница, хотя она не осмеливается ни себе самой, ни ему дать понять о таком желании. Но скрытые и подавленные чувства проявляют себя по большей части в других симптомах. И так как не слишком умный Кеннеди все еще не понимает или не хочет понимать, то тайное напряжение прорывается внезапно в виде пополняющего эротику чувства — ничем не прикрытой, дикой ненависти. Однажды, когда они спокойно играют как-то вечером в карты втроем с замуж-

---

\* Да не будет у тебя других богов, кроме меня (англ.).

ней уже Сюзи Мэгоун и Кеннеди выигрывает, скрытое напряжение дает вспышку (даже и в карточной игре ее самовластная натура не терпит, чтобы кто-нибудь другой брал верх). С Мери Бекер-Глоуер происходит припадок истерики: она швыряет карты на стол, заявляет, что Кеннеди сплутовал, и при свидетелях называет его мошенником и шарлатаном.

Бравый Кеннеди, отнюдь не истерик, поступает как человек спокойный и рассудительный. Он тотчас же направляется в их общую квартиру, достает из письменного стола договор, разрывает его на части, бросает клочья в огонь и заявляет, что с совместной их деятельностью навсегда покончено. Мери Бекер впадает в истерический транс и без чувств валится на пол. Но «доктор» Кеннеди, он, кому, по слезливому свидетельству ало-розовой биографии, она «разъяснила физически недостижимые понятия истины с большей глубиной и проникновенностью, чем другому какому-либо ученику», этот brave Кеннеди кое-чему научился как будто из практической медицины. Он принимает обморок не слишком трагически и спокойно оставляет истеричку на полу. На следующий день он хладнокровно подсчитывает итоги своих обязательств, вручает ей шесть тысяч долларов, как причитающуюся ей за два года долю в совместном лечебном предприятии, берет шляпу и открывает свою собственную практику.

Этот резкий разрыв с Кеннеди является, может быть, важнейшим душевным движением Мери Бекер-Глоуер на протяжении всей ее жизни. Это не первая ее размолвка со случайным партнером и не последняя, — такие бурные, кончающиеся разлукой сцены являются, можно сказать, неизбежным следствием ее деспотического характера и проходят через всю ее жизнь. Ни с кем из своих близких — ни с мужем, ни с сыном, ни с пасынком, ни с сестрой, ни с друзьями — не могла расстаться эта безнадежно своевольная женщина иначе, чем поссорившись не на жизнь, а на смерть. Но здесь ей нанесена рана в область наиболее глубокую и темную — в область ее женственности. И как могуче должно было быть запоздалое

чувство стареющей женщины к этому ученику, узнаем мы только впоследствии, только теперь по той кричащей, неистовствующей, судорожно задыхающейся, смертной, до безумия доведенной ненависти, которую она, как истая истеричка, постепенно возводит до пределов чего-то метафизического, до кульминационной точки своей мировой системы.

То, что Кеннеди, это ничтожество, выуженное ею с картонажной фабрики, может совершенно спокойно жить без нее, что он продолжает свою практику, ею же вбитую ему в голову, за несколько улиц от нее, без ее помощи и с выдающимся успехом, эта мысль взвинчивает ее гордость почти до сумасшествия. В дьявольском отчаянии она непрестанно, стиснув зубы, думает и думает о том, как бы уничтожить предателя и отторгнуть от бывшего компаньона свой Science. Чтобы сорвать с него маску, она должна как-нибудь доказать своим приверженцам, что этот изменник в области чувства изменил вместе с тем и «истине», что его метод ложен, «*mental malpractice*»\*. Но логически это неприемлемо — очернить ни с того ни с сего метод Кеннеди как «*malpractice*», ибо у бравого Кеннеди никогда не было и тени собственной идеи, он ни на йоту не отступает от ее инструкций, но, наоборот, ведет свою практику точка в точку так, как напела ему Мери Бекер-Глоуер. Назвать его шарлатаном — значит опорочить свой собственный метод. Но если Мери Бекер чего-нибудь хочет, то она пробьет головой стену. Чтобы иметь право назвать безумно ненавистного ей Кеннеди обманщиком, «*malpractitioner*», она согласна лучше опровергнуть свой способ в одном из решающих пунктов; и неожиданно она запрещает то, что до сих пор предписывала всем своим ученикам в качестве непременной первоначальной стадии воздействия — поглаживание висков увлажненными пальцами и пожимание колен, то есть физико-гипнотическую подготовку внушения верой. Отныне тот, кто коснется тела пациента, совершает, согласно этой неужи-

---

\* Духовно зловреден (англ.).

данно изданной папской булле, не только ошибку в отношении Science, но и прямое преступление. И так как ничего не подозревающий Кеннеди энергично продолжает орудовать по старому методу, то на него налагается запрет. Мери Бекер открыто клеймит его как преступника против науки, как «духовного Нерона», как «месмериста». Но ей недостаточно этого акта личной мести; внезапно, под влиянием болезненно взвинченной и накалившейся ярости против отступника, мирное понятие «месмеризм» принимает в ее глазах демонический характер: в безудержном своем раздражении эта женщина приписывает бравому Кеннеди — в середине девятнадцатого века — сатанинское влияние. Она обвиняет его в том, что он при помощи своего месмеризма парализует ее целительную силу, что он, оперируя черной магией, напускает на людей болезни и отравляет их посредством таинственных телепатических токов. Поистине невероятное для 1878 года, но эта мощью волевого воздействия одаренная истеричка собирает своих учеников, заставляет их взяться за руки и образовать круг, чтобы отвлечь от нее зловредные месмерические излучения нового «Нерона».

Безумие, скажут некоторые, неправдоподобно или вообще придумано. Но, по счастью, эта личной ненависти посвященная (и впоследствии, как слишком неуместная, опущенная) глава «Демонология», в которой она обличает «malicious animal magnetism»\*, черным по белому напечатана во втором издании ее книги — три печатных листа столь бешено суеверной чепухи, какая едва ли предавалась тиснению со времен «Молота ведьм» и псевдокабалистических сочинений.

Мы видим, что и в области чувства, так же как в области веры, эта женщина утрачивает перспективу, как только дело доходит до ее «я». Когда она хочет добиться своего, — а она всегда и везде хочет добиться своего, — она теряет всякое чувство справедливости и меры. Процесс за процессом воз-

---

\*Зловредный животный магнетизм (англ.).

буждает она против отступника; то требует с него не выплаченных по договору сумм, то оклеветывает его перед студентами; в конце концов она своей бредовой идеей так настраивает своего сына, простоватого сельского рабочего, что тот отправляется к Кеннеди на квартиру и грозит испуганному лекарю револьвером, если он не перестанет оказывать «зловредное месмерическое влияние» на его мать. Жалобы становятся все бессмысленнее: то он направил на нее особые смертные лучи, парализующие ее силы, то отравил Аза Эдди «месмерическим мышьяком», то сделал невозможным проживание в ее квартире при помощи магнетической дьявольщины; словно пена с уст эпилептика, безудержно срываются с ее судорогой сведенных губ такого рода бредовые бессмыслицы.

Во всяком случае этот разрыв с первым ее и самым любимым учеником внес на долгие годы расстройство в интимнейшую сферу чувствительности женщины, переживающей климактерический период, и вплоть до смерти она была подвержена время от времени все той же мании преследования, будто Кеннеди тревожит ее и подавляет и грозит ей при помощи телепатических и магнетических приемов. Так, вопреки ее поразительной продуктивности в области мысли, вопреки гениальному, в деловом и тактическом смысле, дару организации, в личной ее жизни до конца преобладает тон невероятной напряженности и болезненного, до предела доведенного раздражения. Но созданная ею система, целиком основанная на противоречии с логикой, была бы неосуществима на началах полного равновесия духовных и душевных сил. Как у Жан-Жака Руссо и множества других, универсальная система, направленная на оздоровление всего человечества, порождена болезнью одного-единственного человека.

Но такие трагические столкновения никогда не действуют на ее боевую мощь подавляюще или разрушающе; наоборот, к ней применимы слова Ницше: «То, что меня не губит, сообщает мне еще большую силу». Вражда и сопротивление удваивают волевую мощь этой женщины. И как раз этот кризис с



Кеннеди становится как бы судорогой, в которой рождается собственное ее учение. Ибо запрещая отныне категорически всякое ослабляющее волю прикосновение к больному, она сразу же и творчески разрывает всякую связь между своим методом и методом своих предшественников месмеровского толка; теперь только Christian Science становится, в чистом виде, «лечением духом». Теперь чудо достигается только словом и верой. Последний мост, ведущий к логике, последняя связь с прежними системами разрушены. Лишь теперь вступает Мери Бекер, своим твердым шагом фанатика, в неприступную доселе область, в область бессмысленного.

## УЧЕНИЕ МЕРИ БЕКЕР-ЭДДИ

В 1875 году становятся, наконец, зримыми те десятки лет, длившиеся во мраке усилия, которые достались на долю этой безвестно живущей и слишком долго пребывающей в тени женщине. В этом году Мери Бекер-Эдди (в то время еще Мери Бекер-Глоуер) выпускает ту «бессмертную» книгу, которая объединяет в одну систему ее теологию, философию и медицину, то есть научные дисциплины трех факультетов, ту книгу «Science and Health»\*, которая и сейчас еще является для сотен тысяч и миллионов людей самой важной после Библии.

Отделяться от этой во многих отношениях своеобразной и отличной от других книги и объявлять ее, как это часто водится, с сердитой, презрительной или сострадательной усмешкой, попросту чепухой — не годится. Все, что имеет следствием воздействие в мировом масштабе на миллионы людей, важно по меньшей мере в психологическом отношении, и уже сама техника возникновения этого библейского труда свидетельствует о необычайной решимости духа, о редком в наши дни героизме замысла. Стоит только вспомнить: с 1867 года гонимая из одного дома, от одного стола к другому женщина таскает повсюду, вместе со скудным своим скарбом, и свою

---

\* «Наука и здоровье» (англ.).

рукопись. В ее скверном чемоданчике нет второго платья на смену, золотые часы с цепочкой — все ее имущество, не считая этих нескольких листов бумаги, давно уже стертых и загрязнившихся во время чтения и от периодически возобновляемых переработок. Поначалу эта знаменитая рукопись представляла собой не что иное, как точный список с «Вопросов и ответов» Квимби, дополненный ею и снабженный предисловием. Но понемногу предисловие перерастает последующий текст, ее добавки становятся с каждым разом самостоятельнее и страннее, ибо не единожды, но два, три, четыре и пять раз перерабатывает начисто эта одержимая свое фантастическое руководство по врачеванию душ. Никогда она не завершает свой труд. И десять, двадцать, тридцать лет спустя после появления книги будет она вносить в нее улучшения и изменения; никогда не даст ей эта книга покоя, никогда она не оставит в покое книгу. В 1867 году, приступая к работе, она, в качестве истой дилетантки, едва справляется с орфографией, еще менее — с языком, и менее всего — с той огромной проблемой, на которую она отважилась; как сомнамбула, с закрытыми глазами, в каком-то таинственном сне, взбирается она на высочайшие башни, на головокружительнейшие гребни философской проблематики. Вначале она не знает, куда, собственно, ведет ее этот труд, ее дорога, не подозревает и тех трудностей, которые ждут ее. Никто ее не подбадривает, никто не предостерегает. У нее нет, в доступном ей кругу, ни одного образованного человека, ни одного специалиста, с которым она могла бы посоветоваться; и как ей надеяться, что найдется издатель для такого сумбурного нагромождения мыслей! Но с той великолепной одержимостью, которая совершенно несвойственна профессионалам и которая отличает только идущих своим, особым путем, она все пишет и пишет в неистовом экстазе пророческого своего самоощущения. И то, что должно было стать, по первоначальному замыслу, лишь орнаментацией рукописи Квимби, преобразуется постепенно в вихревую туманность, из напряженного мрака которой возникает, наконец, мерцающая звезда единой мысли.

Наконец, в 1874 году рукопись готова к печати. Нежданный успех у учеников и пациентов внушил ей бодрость. Пусть теперь эта новая весть, это благословенное учение дойдет до всех, проникнет в мир! Но ни один издатель не думает, разумеется, о том, чтобы рискнуть деньгами ради этого двусмысленного порождения врачебной науки и религиозной мистики. Приходится, значит, обратиться к собственному карману. Но в собственный карман — мы это увидим из дальнейшего — Мери Бекер начисто отказывается залезать даже в те времена, когда он полон и переполнен. Ей, однако, знакома уже ее сила — внушать свою волю другим людям, она уже научилась претворять фанатическую веру в себя и в свою миссию — в покорность, в слепую, пламенную готовность к жертве. Тотчас же два студента заявляют о согласии своим дать на это дело, в виде аванса, три тысячи долларов. Благодаря их своевременной помощи выходит в 1875 году в издательстве «Christian Science Publishing Company»\*, в Бостоне, под заглавием «Science and Health», книга книг, это второе, по мнению ее приверженцев, Евангелие христианства.

Это первое издание — четыреста пятьдесят шесть страниц убористой печати, в зеленом коленкоровом переплете, автор — тогда еще Мери Бекер-Глоуер, принадлежит в настоящее время к rarissimis\*\* в книжной торговле: во всей Европе существует, вероятно, один только экземпляр его, который составительница поднесла в дар философскому факультету Гейдельбергского университета, этому высшему, в глазах каждого американца, трибуналу in rebus philosophicis\*\*\*. Но как раз этот недоступный, первый вариант, тот единственный, который ею самой составлен и не выправлен чужой рукой, кажется мне единственно пригодным для психологической оценки ее образа, ибо ни одно из последующих четырехсот или пятисот изданий не достигает уже близости к первичной, вар-

---

\* Издательство «Христианская наука» (англ.).

\*\* Редчайшим (лат.).

\*\*\* В делах философских (лат.).

варской прелести оригинала. В последующих изданиях немало самых отчаянных выпадов против здравого смысла, грубейших исторических и философских промахов изъято по совету образованных доброжелателей; кроме того, один бывший священник, Виггинс, взял на себя нелегкий труд причесать дикие заросли ее языка под корректную английскую речь. Постепенно и исподволь смягчены были самые крупные несуразности, в особенности злостные выпады против врачей. Но то, что выиграла эта книга в разумности, потеряла она в отношении пламенности и великолепной ее, чисто личной угловатости; постепенно, в позднейших изданиях пантера, яростно вцепляющаяся в науку, превратилась в дикую, можно даже сказать в домашнюю, кошку, которая благодушно уживается с другими домашними друзьями современного общества — с государственной моралью, с просвещением, с церковной верой; как и всякая религия, всякое евангелие, и эта новейшая, последняя религия, Christian Science, в интересах более успешного уловления душ, отошла от истоков, омещанилась и исказилась.

Но как раз в первичной своей, начальной форме «Science and Health» принадлежит к замечательнейшим произведениям частной теологии, к тем метеоритическим книгам, которые, вне какой бы то ни было зависимости от окружающего, словно из чуждых миров, устремляются в самое средоточие эпохи. В этом кодексе, одновременно гениальном и нелепом в силу его неистовой и слепой целеодержимости, беспредельно смешном по ребяческой нелогичности и все же поражающем маниакальной мощью прямолинейности, есть, безусловно, нечто от средневековья, от религиозного фанатизма таких самобытных представителей теологии, как Агриппа Неттесгеймский и Яков Беме. Элементы шарлатанства и творчества сменяются в причудливой игре мысли, самые противоположные влияния бурлят, стекаясь и растекаясь, астральная мистика Сведенборга переплетается с дешевой популярных знаний, приобретаемых из брошюрок за десять пенни; рядом с библейским текстом приводятся заметки из нью-йоркских га-

зет; ослепительные образы чередуются со смехотворными и ребяческими утверждениями. Но бесспорно одно: в этом бурлении есть неизменный жар — все кипит и дергается и клокочет от взволнованности душевной, изумительнейшие пузыри выскакивают на поверхность, и если долго всматриваться в этот непрестанно кипящий в круговороте струй раскаленный котел, то глаза начинают слипаться от жара. Теряешь трезвый рассудок, кажется, что ты в фаустовской «кухне ведьм», и слышишь, как и он, «бормотание сотни тысяч глупцов»; но этот вихрящийся хаос вертится неизбежно вокруг одной и той же точки; неумоимо и непрестанно вколачивает Мери Бекер-Эдди вам в голову одну и ту же, единственную свою мысль, пока, наконец, не сдашься, не столько убежденный, сколько оглушенный. Уже как голый энергетический акт, как достижение совершенно необразованной, неученой, нелогичной женщины представляется поистине великолепным то, как она пламенным хлыстом своей одержимости вновь и вновь подгоняет, как волчок, свою бессмысленную идею и заставляет вращаться вокруг этой идеи солнце, луну и звезды, всю вселенную.

В чем же, собственно, эта новая, неслыханная идея, эта божественная, эта «divine» Science, которую она первая «gendered to human apprehension», которую Мери Бекер первая приблизила к нашему ограниченному земному пониманию? В чем заключается то мировое открытие, которое ало-розовая биография не задумываясь ставит в один уровень с законами Ньютона и Архимеда? Одна только мысль, одна-единственная, лучше всего выражающаяся в ее формулировке: «Unity of God and unreality of evil», что должно значить: есть только Бог, и так как Бог благо, то зла быть не может. В соответствии с этим никакие болезни невозможны, и мнимое их наличие есть всего только неправильная сигнализация со стороны наших чувств, «еггор»\* человечества. «God is the only

---

\*Заблуждение (англ.).

life and this life is truth and love and that divine truth casts out supposed error and heals the sick» (Бог есть единая жизнь, и эта жизнь есть любовь и истина, и эта божественная истина побеждает всякое заблуждение и излечивает болезнь). Значит, болезни, старость, недомогания могут лишь постольку угнетать человека, поскольку он, в ослеплении своем, дает веру этой нелепой мысли о болезни и старости, поскольку он сам создает себе мнимую картину их наличия. На самом же деле (великая истина Science!) Бог никогда не посылает человеку болезни: «God never made a man sick». Болезни, следовательно, только заблуждение человечества; против этого опасного и заразительного заблуждения, а не против болезней, вовсе невозможных, и ополчается истинное, новое искусство врачевания.

Посредством такого ошеломляющего отрицания Мери Бекер в один момент порвала связь со всеми своими предшественниками, как в философии, так и в медицине, и даже в теологии (ибо разве сам Господь в Библии не поражает Иова проказой?) Ее непосредственные предтечи, Месмер и Квимби, как смело и настойчиво ни провозглашали они возможности врачевания, вытекающие из внушения, считались все же с болезнью как с фактом, как с неоспоримой данностью. Болезнь была для них налицо, была у человека, и вот возникала задача устранить ее, преодолеть, «overcome» ощущение боли, а иной раз и самое страдание. При помощи ли магнетического гипноза или мысленного внушения они честно пытались помочь больному в тяжелейшем его кризисе, «to help through», но, воздействуя через психику, все время сознавали, что перед ними действительная болезнь, страдающее человеческое тело.

А Мери Бекер одним гигантским шагом переступает через эту исходную точку, она бесповоротно порывает с миром здравого смысла и опрокидывает воззрение своих предшественников, ставя попросту дело вверх ногами. Никоем образом, утверждает она, дух не может действовать на материю, «matter cannot reply to spirit», так как, — логическое сальто-

мортале! — никакой материи нет. Мы, люди, не материя, а божественная субстанция, «man is not matter, he is the composed idea of God». У нас нет тела, оно нам только снится, и земное наше существование всего только «dream of life in matter», сон о существовании в материальных пределах. Поэтому нельзя лечить болезни способами медицины, ибо их нет; по новому евангелию Мери Бекер-Эдди всякая земная наука, всякое «knowledge»\*, медицина, физика, фармакология — ни на что не годная бессмыслица и заблуждение. Мы спокойно можем взорвать динамитом наши совершенно лишние больницы и университеты: к чему все эти дорогие затеи в борьбе с заблуждением, с самовнушением человечества! Только Science может помочь человеку, просвещая его относительно «error», доказывая ему, что болезнь, старость и смерть вообще не существуют. Как только больной уразумел и воспринял эту «truth», эту никогда не слыханную новую истину, боль, опухоль, воспаление и слабость и без того ведь исчезают: «When the sick are made to realize the lie of personal sense, the body is healed».

Наш бедный земной, слишком научно воспитанный, к сожалению, разум вначале смущен несколько этим «holy discovery», этим священным, недостижимо глубоким открытием Мери Бекер-Эдди. Что же, нам простительно поддаваться чувству изумления. Вот уже три тысячи лет, знаем мы, все мудрецы, все философы Востока и Запада, богословы всяческих религий страстно и без устали раздумывают над этой проблемой из проблем — о связи между душой и телом. Мы знаем, что самые светлые умы добивались хотя бы слабого освещения этой изначальной тайны, в бесконечных догадках, с непомерной затратой страстно напрягаемых умственных сил, и что же, в 1875 году эта решительная и скорая на философию женщина одним взмахом, одним головоломным прыжком за пределы здравого смысла разрешает вопрос психофи-

---

\*Знание (англ.).

зического соотношения, диктаторски заявляя: «Soul is not in the body», душа вообще не имеет ничего общего с телом. Как просто, как трогательно просто! Колумбово яйцо найдено, конечная и изначальная проблема всяческой философии разрешена — jubilemus!\* — и притом с такой дивной простотой, путем кастрирования действительности. Прделана радикальная коновальская операция над мыслью, устраняющая всякое телесное страдание тем, что объявляет тело попросту несуществующим — система, столь же примерно надежная и безошибочная, как если бы зубную боль пытались устранить, отхватывая больному голову.

«Никакого состояния болезни нет», — выставить столь безумно смелое утверждение не так уж, в конце концов, трудно. Но как доказать правильность этой сумасбродной мысли? Очень просто, отвечает Мери Бекер-Эдди, прислушайтесь только, настроившись чуть-чуть религиозно, ведь это же ужасно просто: Бог сотворил человека по своему образу и подобию, а Бог, как вам известно, есть благое начало. Следовательно, человек может быть только божественным, а так как все, что от Бога, благо, то как могут найти себе пристанище в этом отображении божьем такие виды зла, как болезнь, слабость, смерть и старость? Самое большое, это человек может вообразить себе, может, пожалуй, представить при помощи лживых своих чувств, что тело его болит, что оно слабеет и старится, но так как он способен на такие представления лишь при помощи чувств, которым не дано непосредственно познавать Бога, то мнение его «егго», ошибка, и эта ошибочная вера обуславливает его страдания, «suffering is self imposed a belief and not truth». Сам Бог никогда ведь не болеет, как же может недомогать его образ и подобие, живое зеркало божеской его благодати? Нет, люди сами у себя крадут свое здоровье, благодаря неверию в божественное свое начало. Быть больным поэтому не только «егго», заблуждение мысли, но и даже, в

---

\*Возрадуемся! (лат.)



известном смысле, «преступление», ибо тут налицо сомнение в Боге, своего рода кощунство; таким путем приписывают всеблагому возможность зла, а Бог никогда не причинит зла, «god cannot be the father of error».

И вот неистовое колесо ее логики катится в дикой стремительности дальше: душа — это mind, и mind — это Бог, и Бог — это spirit — это опять-таки truth, и truth — опять-таки Бог, и Бог опять-таки благо и так как, значит, есть только благо, то зла нет, нет смерти и прегрешения. Мы видим, что механика аргументации Мери Бекер основана исключительно на круговращении, неизменно одно абстрактное понятие сопоставляется с другим, и значения слов с такой факирской быстротой и с такой настойчивостью пускаются по кругу, что, как в рулетке, их нельзя отличить одно от другого. И эта путаница понятий мелькает на пятистах страницах «Science and Health» в таком множестве искусных перестановок и повторений, что начинает кружиться голова и перестаешь, ошеломленный, противиться.

Я преувеличиваю? Может быть, я злонамеренно привношу в ее систему нелогичность, которой нет в существе ее построения? Ну, так я дословно приведу для примера знаменитейшее ее положение, так называемый «бессмертный тезис» Мери Бекер-Эдди, за «присвоение» которого она подала на одного из своих учеников официальную жалобу. Это бессмертное положение гласит: «Нет ни жизни, ни истины, ни разума, ни существа в материи. Все — безграничный дух (mind) и безграничное его откровение, ибо Бог — это все во всем. Дух — это бессмертная истина, материя — смертное заблуждение. Дух — это подлинное и вечное, материя — неподлинное и преходящее. Дух — это Господь, и человек — его образ и подобие, следовательно, человек не материален, а духовен». Понятно это? Нет. Тем лучше. Ибо как раз этого «credo quia absurdum»\* требует Мери Бекер от нас, от человечества. Как раз того,

---

\*Верую, ибо нет в этом смысла (лат.).

чтобы мы оставили в стороне проклятый свой, высокомерный земной рассудок. Вся наша нелепая «Knowledge», наша высокославная наука, двинула ли она вселенную хоть на шаг вперед? Нет, вся медицина, начиная от Асклепия, Гиппократы и Галена, создала ровным счетом нуль. «Physiology has not improved mankind»\*, диагностика и терапия ни на что не годны, к дьяволу их! «Physiology has never explained soul and had better done not to explain body».

Медицинская наука не дает никаких объяснений душевным явлениям, и даже телесным. Поэтому, по мнению Мери Бекер, врачи, эти «manufactures of disease», эти фабриканты болезней, как она насмешливо их именуется, не только бесполезные, ненужные люди, нет, они, наоборот, вредители человечества, так как (весьма сложный оборот!), претендуя лечить болезни, в то время как на самом деле никаких болезней нет, они зловредно увековечивают прилипчивое, пагубное заблуждение, «еггог» — будто бы существуют какие-то болезни. И — еще один оборот! — имея перед глазами всегдашнее напоминание о болезни в лице этих существующих целителей болезней, люди начинают верить, что могут заболеть, и благодаря ложной этой вере чувствуют себя действительно больными. Таким образом (еще раз — какой изумительно смелый оборот!) врачи, фактом своего существования, вызывают, собственно говоря, болезни, вместо того чтобы лечить их: «Doctors fasten disease».

В первой, начальной и чисто личной фазе Christian Science Мери Бекер-Эдди отвергает всех врачей, даже хирургов, как ни на что не нужных вредителей человеческого общества, и решительно объявляет им войну; лишь впоследствии, наученная кое-какими неудачами и тягостными судебными процессами, она умеряет свою строгость и допускает привлечение этих распространителей болезней в таких хирургического характера случаях, как перелом ноги, удаление зубов и тяжелые

---

\* Физиология не сделала человечество лучше (англ.).

роды. В первый же и решающий период она признает только одного врача и только один его метод, признает Христа, «the most scientific man of whom we have any record»\*, его, чудесного целителя, который излечивал кровоточащих и прокаженных без порошков, лекарств, пинцетов и без хирургического вмешательства, его, «который никогда не описывал болезней и только лечил их», его, который поднял расслабленного с одра болезни одним только словом: «Встань и иди!» Его методом было лечение без диагноза и терапии, единственно лишь верой.

С тех пор восемнадцать столетий осмеяли и отвергли это простейшее и самое естественное лечение, пока, наконец, она, Мери Бекер-Эдди, не сделала его вновь доступным пониманию и благоговейному признанию человечества. И потому-то и дает она своей науке горделивое наименование «Christian Science», что признает своим извечным повелителем и наставником только Христа и единственным исцеляющим средством — Бога. Чем больше воплотит в себе ученик ее, «healer», от этого Христова метода, чем меньше думает он о земной науке, тем более совершенной явится его целебная мощь. «To be Christ-like is to triumph over sickness and death». Достаточно, чтобы врачеватель внушил больному, как глубочайшее убеждение, основную мысль Christian Science о том, что не только его лично индивидуальной болезни, но и болезни вообще не существует в силу богоподобия человека, — это и есть начало и конец всей его работы. Удастся ему передать свою убежденность подлинно убедительно, тогда эта вера, подобно наркотическому средству, сразу же сделает тело больного нечувствительным ко всем страданиям и болям, внушение разрушит вместе с образом страдания и все его симптомы; «not to admit disease, is to conquer it» — «отрицать болезнь — значит преодолеть ее». Врачеватель, значит, ни в коем случае не должен, напоодо-

---

\*Самого ученого из людей, согласно имеющимся свидетельствам (англ.).

бие врача, исследовать симптомы и сколько-нибудь серьезно ими заниматься; наоборот, его единственная задача не видеть их, не принимать их всерьез, а рассматривать как плод заблуждения и добиться от пациента, чтобы и он точно так же не видел больше их и в них не верил. И тогда сразу, без всякого исследования, без всякого вмешательства, устранены туберкулез и сифилис, рак желудка и перелом ноги, золотуха и белокровие, все эти мнимые явления, порожденные заблуждением человеческим, — и все это единственно благодаря духовному наркозу Christian Science, этому непогрешимому универсальному средству, этому «great curative principle»\*.

Едва оправившись от страшного удара дубиной, — от вести об отсутствии у нас тела, о лживости наших чувств, об ошибочности нашего представления о болезни, старости и смерти, — поверженный в прах разум понемногу и робко приподнимается и начинает тереть воспаленные глаза. Как, спрашиваем мы, болезней нет? Все это «еггг» и «bad habit», дурная привычка, и все-таки каждый миг миллионы людей лежат в больницах и лазаретах, сотрясаемые лихорадкой, разъедаемые гноем, корчась от боли, глухие, слепые, измученные, расслабленные! И вот уже тысячи лет какая-то наивная наука, в глупом своем усердии, старается при помощи микроскопов, химического анализа и самых смелых операций облегчить и распознать эти вовсе несуществующие страдания, в то время как простой веры в их призрачность достаточно для моментального исцеления? Значит, совершенно зря одурачивают миллион людей операциями, всяческими курсами и медикаментами, в то время как все эти ужасы, будь то воспаление селезенки или желчные камни, спинная сухотка или кровоточивость, шутя можно уничтожить при помощи нового «principle»? Могут ли эти титанические нагромождения страданий, эта к небу вопиющая боль несчетного множества людей быть всего только плодом ослепления и ошибки? «Да, — отве-

---

\* Великому принципу врачевания (англ.).

чает ора, — все еще есть ужасающее множество мнимо больных, но только потому, что человечество все еще не прониклось истиной христианской науки, и потому, что опаснейшая из всех болезней, вера в болезнь, совращает, в качестве непреходящей заразы, все новых и новых людей в страдание и смерть». Ни одна из эпидемий не является будто бы столь роковой, как «еггог» о болезни и смерти, ибо всякий человек, мнящий себя больным и жалующийся на свое страдание, заражает другого этим роковым представлением, и мука передается, таким образом, от поколения к поколению. «Но (я цитирую дословно), подобно тому, как оспе поставлены были постепенно границы путем прививок, можно объявить войну и этому «злу», этой «дурной привычке» считаться с мнимыми болезнями и предстоящей якобы смертью». Стоит только привить всему человечеству сыворотку веры Christian Science, и пора недомоганий миновала, так как, чем меньше будет на свете глупцов, верящих в свою болезнь, тем меньше будет возникать на земле болезней. Но до тех пор, пока большинство придерживается еще этого пагубного заблуждения, человечество будет находиться под непрестанной угрозой болезни и смерти.

Еще раз изумляешься — как, значит, нет и смерти? «Нет, — решительно отвечает Мери Бекер-Эдди, — у нас нет никакого доказательства этого». Ведь верят же, аргументирует она, при получении телеграммы о смерти друга, в то, что он действительно умер, но эта телеграмма, это известие могут быть ошибочными. Так как наши чувства приводят только к «еггог», к заблуждению, то частное наше мнение об отмирании тела не является достоверным доказательством этого. И на самом деле, до сих пор еще церковь Christian Science никогда не говорит о мертвых, а только о «так называемых мертвых», «so called dead», и по ее представлению, умерший не умер, а только отошел от нас за пределы, где он был доступен восприятию наших чувств — «our opinions and recognitions». Так же точно нет у нас и поныне никакого доказательства

того, — вещает далее Мери Бекер с неумолимой последовательностью, — что пища и питье действительно необходимы для поддержания жизни; и никакие сострадательные улыбки физиологов не поколеблют ее упорства. Если подвести ее к покойнику, чтобы убедить в тленности жизни, то она будет утверждать, что видит всего только «going out of belief», что, очевидно, этот индивидуум недостаточно сильно верил в невозможность смерти. Действительно, вера в нашу духовную мощь слишком еще слаба, к сожалению, в наши дни, для того чтобы вытравить во всем человечестве это «эпидемическое» заблуждение о наличии болезней и возможности смерти. Но с течением времени дух человеческий, при помощи все более и более страстного приятия Christian Science, при помощи огромного напряжения заложенной в него веры, приобретет невообразимую пока еще власть над нашей плотью: «When immortality is better understood, there will follow an exercise of capacity unknown to mortals». Тогда только угаснет в человечестве эта пагубная мысль о болезни и смерти и будет восстановлено на земле божественное начало.

Этим столь же смелым, сколь и искусным поворотом в сторону утопического Мери Бекер незаметно приоткрывает дверь, через которую может выскользнуть, в некоторых неудобных случаях, из пределов своей теории: как и все религии, ее система скромно отодвигает свой идеал от настоящего к будущему, к царствию небесному. Бессмыслица, правда, мы сознаем это, но в этой бессмыслице есть, безусловно, свой метод, и ее кричащая нелогичность преподносится с такой логической твердолобостью, что в результате получается своего рода система.

Правда, система, которая в истории философии едва ли удостоится иного места, чем в кабинете курьезов, но которая конструктивно показала себя как нельзя более приспособленной для целей практики, для создания массового гипноза. В деле непосредственного воздействия психотехническая напряженность всякого учения имеет, к несчастью, более реша-

ющее значение, чем ее интеллектуальная ценность; и подобно тому, как при гипнозе не требуется бриллианта — достаточно блестящего стеклышка, чтобы вызвать полное оцепенение, — так и при массовых психических движениях первобытный, но интуитивный инстинкт с избытком восполняет недостаток истинности и разумности. В конце концов — не следует закрывать глаза на факты — аппарат религиозного внушения Мери Бекер-Эдди, несмотря на его логические изъяны, и поныне не превзойден по широте воздействия ни одним из позднейших вероучений; этого одного достаточно, чтобы признать за ее инстинктивной психологией безусловное значение.

Было бы грубой подтасовкой отрицать неоспоримый факт, что тысячам и тысячам верующих эта Christian Science помогла больше, чем дипломированные врачи, что, согласно документальным данным, женщины рожали под ее внушением без боли, что производились без всякого наркоза безболезненные операции, потому что верующие последователи Science становились нечувствительными не под влиянием хлороформа, а благодаря новому духовному наркотику «*irreality of evil*», и что гигантская энергия этого учения повысила жизнеспособность и жизнеощущение несказанного множества людей. При всех своих крайностях и преувеличениях эта гениальная, несмотря на путаницу в мыслях, женщина весьма правильно уразумела некоторые основные законы психики и применила их в своей практике, и прежде всего тот бесспорный факт, что всякое воображаемое чувство, а следовательно, и чувство боли, включает в себе тенденцию к проявлению в действительности, и что своевременное внушение нередко устраняет страх заболевания, который так же почти опасен, как сама болезнь.

«*The ills we fear, are the only one that conquer us*» — только та болезнь, которой мы боимся, берет над нами верх, — за этими словами, если даже они логически уязвимы и фактически тысячекратно могут быть опровергнуты, кроется все же проникновение в какие-то истины психической жизни, и по существу Мери Бекер предвосхищает учение Куэ о самовну-

шении, когда говорит: «Больные сами приносят себе вред, заявляя, что они больны». Поэтому и пользующиеся ее методом врачеватели никогда не должны соглашаться с пациентом, что он болен: «The physical affirmative should be met by a mental negative»; и сам больной не должен признаваться себе в том, что чувствует боль, так как, согласно опытным данным, излишне уделяемое боли внимание усиливает, путем внушения, уже имеющуюся боль.

Учение ее, подобно системам Куэ и Фрейда, возникло, несмотря на все их интеллектуальное различие, из того же чувства реакции: слишком уж долго современная медицина пренебрегала, на путях физико-химического развития, психическими факторами лечения, волей к здоровью, как пособником, в то время как наряду с мышьяком и камфарой могли быть вводимы в человеческий организм, в качестве жизненной инъекции, и чисто психические средства, как бодрость, вера в свои силы, вера в Бога, действенный оптимизм. Как бы ни противился внутренне наш разум бессмысленному с терапевтической точки зрения учению, которое стремится устранить бациллы «by mind», сифилис при помощи «truth» и поражение сосудов через «God», мы не имеем никакого права — иначе как объяснить успех этой системы? — пренебрегать тем коэффициентом мощности, который, как доказано уже, характеризует это учение; мы поступили бы недобросовестно и вопреки истине, если бы сознательно стали отрицать ту укрепляющую силу, которую сообщила Christian Science бесчисленному количеству людей в часы их отчаяния, благодаря ее вероупоенности. Пусть это дурман, лишь мимолетно оживляющий нервную систему, как камфара или кофеин, лишь временно преграждающий путь болезни, пожирающей тело, но ведь часто он приносит облегчение в качестве силы, идущей от психики и благотворно влияющей на тело. В общем итоге Christian Science должна была принести своим приверженцам больше пользы, чем вреда. И в конце концов она помогла и науке, потому что психология, по мере все более обстоятельного



и более серьезного ознакомления с поражающим воздействием Christian Science, может многому еще научиться на ее чудесах и достижениях; следовательно, и в духовном отношении эта удивительная жизнь прожита недаром.

Но самым своеобразным чудом Christian Science остается все же, вопреки всему, ее поразительно быстрое распространение, ее прямо непостижимый для трезвого рассудка, лавиной разросшийся успех. Как вышло, приходится спросить, что система единственного лечения, столь несуразная духовно, логически столь скудная и любительская, стала в течение десятка лет для сотен тысяч людей средоточием их вселенной? Какие предпосылки способствовали тому, что именно эта теория, в ряду бесчисленных других попыток толкования мира, разлетавшихся в течение нескольких мировых минут как мыльные пузыри, объединила вокруг себя миллионы? Как могла такая сумбурная, якобы пророческая книга стать евангелием для несчетного количества людей, в то время как самые мощные духовные движения ослабевали большей частью в своем напоре уже в первые десять лет? Вновь и вновь задает себе застигнутый врасплох рассудок, перед лицом такого сказочного явления, вопрос: какие особые приемы мирового воздействия положила, сознательно или бессознательно, в основу своего труда эта женщина, если только эта одна ее секта, среди тысяч других, по существу с ней сходных, развила столь победную мощь, равная которой едва ли найдется в истории культуры на протяжении истекшего столетия?

Я попытаюсь ответить: решающим техническим фактором распространения Christian Science является ее доступность. Первой предпосылкой быстрого и широкого воздействия идеи остается, как показывает опыт, требование, чтобы она нашла себе простейшее и приспособленное к простейшим своим последователям выражение, чтобы ее формула могла быть вбита, подобно гвоздю, одним ударом молотка, быстро и легко в каждую голову. В одной древнебиблейской легенде некий неверующий требует от пророка, в качестве мзды за свое обра-

щение, чтобы тот объяснил ему смысл своей религии в течение короткого срока, пока он, пророк, сможет устоять на одной ноге. Такому нетерпеливому требованию стенографически краткого вразумления превосходно отвечает учение Мери Бекер-Эдди. И Christian Science может быть, в существенной своей части, объяснена, пока стоишь на одной ноге: «Человек божественен, Бог это благо, следовательно, не может быть в действительности никакого зла, и все зло, болезнь, старость и смерть не действительность, а обманнный призрак, и кто познал однажды это, того уже не посетит никакая болезнь, никакая боль не одолеет». Этот экстракт содержит все, и такая всем понятная формула не претендует на интеллектуальность. Тем самым Science заранее был обеспечен удел массового фабриката; портативная, как «Кодак», как вечное перо, она является абсолютно демократическим продуктом духа. И удостоверено, что христианскую систему врачевания бесчисленные сапожники, агенты по сбыту шерсти и коммивояжеры изучили, действительно, за десять лекций по расписанию, то есть в меньший срок, чем требуется для того, чтобы стать приличным мозольным оператором, плетельщиком корзин или парикмахером. Каждый, независимо от духовного своего уровня, дорос до Christian Science, она не требует ни образования, ни интеллигентности, ни какой-либо вообще личной человеческой зрелости; благодаря этой грубой своей простоте, она заранее доступна широким массам, в качестве everypian-философии\*.

Сюда присоединяется второй психологически важный фактор: учение Мери Бекер-Эдди не требует от приверженцев, чтобы они хоть сколько-нибудь поступались личными удобствами. И — всякий день приносит нам доказательства этой заурядной истины — чем меньше моральных или материальных требований предъявляют та или иная вера, партия, религия к индивидууму, тем более широким кругам они же-

---

\*Философии для всех (англ.).

ланны. Стать последователем Christian Science не означает какой-либо жертвы; это просто ни к чему не обязывающее, ни в какой мере не обременительное решение. Ни одним словом, ни одной строчкой не требует эта догма от нового последователя, чтобы он изменил внешнюю свою жизнь: ему не надо соблюдать поста, молиться, ограничивать себя в чем-либо, даже благотворительности с него не спрашивают. Этой американской религией дозволено зарабатывать сколько угодно денег и богатеть: Christian Science предоставляет кесарю кесарево и доллару долларово; более того, среди всяческих восхвалений по адресу Christian Science можно найти и несколько странное, что эта «holy Science»\* улучшила баланс многих коммерческих предприятий: «Men of business have said, this science was of great advantage from a secular point of view». Даже жрецам своим и врачевателям эта снисходительная секта разрешает энергично зашибать деньгу. Так сильнейший из материальных инстинктов человека, погоня за деньгами, весьма рассудительно сочетается с его метафизическими склонностями. И право, я не возьму в толк, каким бы образом можно было стать мучеником во имя этой обладающей столь широким размахом секты, во имя Christian Science.

И в-третьих — last not least\*\* : если, с одной стороны, Christian Science, при помощи мудрого своего нейтралитета, исключает всякий повод к столкновению с государством и обществом, то, с другой, она получает сильнейшую поддержку живых источников христианства. Тем, что Мери Бекер-Эдди с гениальным провидением строит свою систему духовного врачевания на скале официально признанной церкви и связывает свой Science с магическим всегда и везде в Америке словом «Christian», она как бы прикрывает свой тыл. Ибо никто не отважится с такой уж легкостью назвать чепухой или шарлатанством систему, прообразом которой провозглашается Христос, а наглядным символом — воскрешение Лазаря.

---

\*Святая наука (англ.).

\*\*Последнее, но не самое малое (англ.).

Скептически отвергать столь благочестивую родословную не значило ли бы сомневаться в библейских исцелениях и в содеянных Спасителем чудесах? Уже одним этим гениальным приобщением своей религиозной системы к самому могущественному вероучению человечества, к христианству, свидетельствует эта ясновидящая в практических делах о своем в дальнейшем столь плодотворном превосходстве над всеми предшественниками, над Месмером и Квимби, которые, по присущей им честности, упустили случай объявить свои методы боговнушенными, между тем как Мери Бекер-Эдди одним уже названием удалось привлечь в свою секту все скрытые течения американского христианства.

Таким образом, это на асфальте взращенное мировоззрение не только удовлетворяет свойственной американцу потребности в материальной и моральной независимости, но и опирается на его религиозное чувство, всецело замкнувшееся в формулах официального церковного христианства. Но сверх всего этого одним прямым, направленным в самое сердце ударом Christian Science проникает вплоть до последних душевных глубин американского народа, затрагивая его исполненный светлой веры, наивный, с такой великолепной легкостью воспламеняющийся оптимизм. Этой нации, всего сто лет назад себя открывшей и затем в один прием обогнавшей в техническом отношении весь мир, нации, которая сама еще не перестала с подлинно юношеским жаром дивиться собственному своему неожиданному росту, такой победоносно реалистической нации никакое предприятие не может показаться слишком смелым, никакая вера в будущее — слишком странной. После того как силой воли столько чудес совершилось в течение двух столетий, почему бы считать невозможной (долой это слово!) победу воли над болезнью, почему бы не справиться и со смертью? Как раз эксцентричность такого рода вызова как нельзя лучше соответствовала инстинкту Америки, не переутомленному, наподобие европейского, двумя тысячелетиями сомнений и скепсиса; это учение, нимало не покушаю-

щеся на частную жизнь, деловые интересы и церковную веру демократически настроенного обывателя и вместе с тем окрыляющее его душу возвышенной надеждой, предъявило его энергии, его неукротимому боевому темпераменту вызов — сделать невероятное здесь, на земле, возможным. Самая смелая из гипотез нового времени нашла себе столь гостеприимное прибежище в новой части света именно потому, что была дерзновеннее, чем все предыдущие; церкви из мрамора и камня возникли на американской земле, чтобы вознести эту веру до небес. Ибо во все времена любимейшей игрой духа человеческого остается мыслить невозможное как возможность. И тот, кто пробудит в человечестве эту священнейшую его страсть, тот сам заранее выиграл игру.

## ПЕРЕХОД В ОТКРОВЕНИЕ

Фундамент учения заложен, отныне может начаться творческое строительство — новая церковь, башня, взмывающая ввысь, с далеко разносимым звоном колоколов. Но в каких крохотных масштабах, среди каких по-провинциальному смехотворных обстоятельств протекают первые, видеоопределяющие годы юной системы! Неверного Кеннеди сразу же заменила дюжина других учеников — часовые подмастерья, фабричные рабочие, две-три Spinsters, незамужние немолодые женщины, не знающие, куда девать свое время и свою жизнь. Напряженно сидят за партами широкоплечие, здоровые парни и, орудуя неповоротливыми мозолистыми пальцами, заносят в тетрадки, как в сельской школе, основные правила Science, которые диктует им, сидя за деревянным столом, высокая, прямая, властная женщина; восторженно, с поднятыми на нее глазами, с полуоткрытым ртом, прислушиваются они и напряженно силятся понять ее речь, горячо и порывисто льющуюся из уст. Забавная и вместе с тем трогательная картина: в тесной, затхлой комнате, пропитанной запахом поношенного платья, унылого труда и нищеты, в низком и умственно убогом окружении впервые передает миру свою «тайну» Мери

Бекер, и несколько жалких пролетариев, ничего другого не ищущих, как только променять свой изматывающий машинный труд на более легкую и доходную профессию, составляют сообщество ее первых последователей, зачаточную, мраком еще повитую ячейку, которая разовьется в одно из самых мощных духовных движений новой мировой эпохи.

Этим бесхитрым ребятам надо заплатить триста долларов за курс, прослушать двенадцать лекций, и потом они могут нахлобучить шляпу на голову и именовать ее докторской шляпой. После получения искомой степени каждый из них может заняться докторским ремеслом и уже не беспокоиться больше о Мери Бекер. Но происходит нечто неожиданное: ученики уже не отходят от своей учительницы. Впервые выявляется необычайное излучение, исходящее от этой потрясающей и насилующей души женщины, впервые обнаруживается ее таинственная способность подвигать на духовное служение даже самые ограниченные и тяжеловесные натуры и вызывать всегда и повсюду страсть — поклонение или отчаянную ненависть. Проходит всего лишь полмесяца, и ее ученики душой и телом в ее власти. Они не могут ни говорить, ни думать, ни действовать без своей душеправительницы, они приемлют как откровение всякое ее слово, мыслят, направляемые ее волей. Под влиянием встречи с Мери Бекер — неслышанная мощь! — меняется жизнь каждого человека; всегда и повсюду вносит она в чужое существование, от избытка своей жизненной силы, нежданную перенапряженность — влечение или отталкивание, при неизменном возбуждении. Вскоре между ее учениками начинается соревнование на почве самозабвенного служения ей, какое-то яростное растворение в ее воле. Желание этих отдавшихся ей людей — чтобы она была не только истолковательницей науки, но и наставницей их жизни; они навязывают ей не только духовное, но и духовническое руководство. И все это приводит к тому, что в июне 1875 года ученики собираются и протокольно закрепляют следующее свое решение:

«Имея в виду, что в недавнем времени в городе Линне объявилась открытая Мери Бекер-Глоуер наука врачевания, новая для наших дней и далеко превосходящая все другие способы,

и что многие наши друзья распространили по всему городу добрую весть и высоко держали знамя жизни и истины, освободившее множество людей от оков болезни и заблуждения,

и что в силу злостного и нарочитого непослушания одногоединственного, коему нет имени в царстве любви, премудрости и истины, свет учения затмился тучами превратного толкования и туманом тайны и слово божие сокрылось от мира и осмеяно на улицах,

мы, ученики и защитники этой философии, науки жизни, договорились с Мери Бекер-Глоуер, что она раз в неделю, по воскресеньям, будет читать нам проповедь и руководить нашими собраниями. И мы даем друг другу обет и заявляем и доводим до сведения всех, что согласились на протяжении года выплачивать суммы, указанные против нашей подписи, с оговоркой, однако, что наши взносы ни на что другое не должны быть обращаемы, как только на поддержку названной Мери Бекер-Глоуер, нашей учительницы и наставницы, а также на наем соответственного помещения».

Далее следуют подписи восьми учеников: Елизавета М. Ньюхелль — 1.50 доллара, Даниэль Х. Спиффорд — 2 доллара, большинство остальных всего только 1 доллар или 50 центов. Из этой суммы уплачивается Мери Бекер-Глоуер по 5 долларов за ее еженедельную проповедь.

Приятельская подписка собутыльников, хочется сказать с улыбкой по поводу мизерности этих взносов. Но день 6 июня 1875 года является поворотным в истории Мери Бекер, в истории Christian Science; с этого дня начинается перекраска личного мирозерцания в цвета религии. Из Moral Science разом возникла Christian Science, из школы — община, из бродячей врачевательницы — вестница божья. Отныне она не представительница природных методов лечения, случайно устроив-

шаяся в Линне, а промыслом божьим ниспосланная для врачевания душ. Еще раз сделала Мери Бекер гигантский шаг вперед, претворив свою дотоле духовную мощь в духовническую. Внешне на первых порах происходит нечто едва ли даже заметное: каждое воскресенье Мери Бекер-Глоуер читает в снятом для этой цели помещении проповедь своим ученикам, час или два; потом исполняется какой-нибудь благочестивый гимн на фисгармонии, — и скромное утреннее служение закончено. Кажется, таким образом, что дело ограничилось всего лишь тем, что ко многим тысячам крохотных американских сект прибавилась еще одна. В действительности же эта перекраска врачебного метода в религиозный культ опрокидывает вниз головой все наши обычные представления: за несколько месяцев и на глазах всех людей совершается процесс, требовавший у других религий десятилетий и столетий, а именно, некая земная вера сама себя утверждает в качестве божественной и, следовательно, непреложной догмы, человек еще при жизни превращается в миф, в пророчески-сверхземной образ. Ибо с того мгновения, как чистейшее Mind Cure, лечение путем внушения, соединяется с богослужением, как Мери Бекер из «*practitioner*», из телесного врача превращается в блюстительницу душ и акт врачевания становится религиозным обрядом, с этого мгновения все то земное и рациональное, что характеризует возникновение Christian Science, должно быть сознательно затушевано. Никогда никакая религия не должна казаться верующим придуманной отдельным разумом человеческим; ей во всех случаях подобает быть сошедшей свыше, из миров невидимых, быть «явленной»; в интересах веры она должна утверждать, что избранный общиной есть на самом деле избранник самого Господа Бога. Кристаллизация церкви, морфологическое превращение закона, задуманного первоначально как чисто гигиенический, в закон божий свершается в данном случае столь же явно и открыто, как в химической лаборатории. Шаг за шагом можем мы наблюдать, как легенда вытесняет документальную историю Мери Бекер, как Christian



Science измышляет свой день благовещения, свой Дамаск, Вифлеем и Иерусалим. На наших глазах «открытие» Мери Бекер становится «внушением божьим», составленная ею книга — священной, ее земной путь — странствием нового Спасителя по лицу земли.

Разумеется, столь внезапное обожествление требует основательной переработки биографии Мери Бекер в духе верующих. Сначала сознательно подмалевывается, в стиле «*legenda augea*»\*, детство будущей святой, при помощи двух-трех трогательных черточек. Что должна была слышать, уже ребенком, истинная избранница божья? Она должна была слышать голоса, как Жанна д'Арк, и ангельское вещание, как Мария. Само собой разумеется, Мери Бекер (согласно своей автобиографии) их слышала, а именно на восьмом году. Ночью доносится к ней из мирового пространства таинственный призыв по имени, и она отвечает — восьмилетний ребенок! — словами Самуила: «Говори, о Господи, твой раб тебе внемлет». Второй случай являет аналогию беседе Христа с книжниками: отвечая, на двенадцатом году жизни, на вопросы пастора, белокурая, бледная девочка повергает в трепет всю общину ранней своей мудростью. После столь осторожной подготовки прежнее научное «открытие» легко может быть переделано в «озарение».

Долгое время колебалась Мери Бекер, к какому сроку приноровить момент сошествия благодати, пока, наконец, не решилась приурочить это «озарение» к 1866 году (то есть осторожным образом, к тому времени, когда Квимби уже не было в живых): «В 1866 году я открыла христианскую науку, или божественные законы жизни, истины и любви, и назвала свое открытие Christian Science. Господь на протяжении целого ряда лет, в милосердии своем, подготовлял меня к восприятию этого решающего откровения, в коем явлен абсолютный и божественный принцип научного целения духом». «Озаре-

---

\*Золотая легенда (*лат.*).

ние», согласно задним числом придуманной версии, свершилось следующим образом: 3 февраля 1866 года Мери Бекер (тогда еще Паттерсон) падает, поскользнувшись на мостовой в Линне, и ее поднимают в бессознательном состоянии. Ее отвозят домой, где врач объявляет (будто бы), что случай безнадежный. На третий день, в отсутствие врача, она отказывается от лекарства и возносит (по ее собственным словам) «сердце к Богу». Дело происходит в воскресенье, она отсылает из комнаты присутствующих, берет Библию и раскрывает ее; взор ее останавливается на исцелении Христом расслабленного. Тотчас же она «внемлет утраченному голосу истины из глубин божественной гармонии» и благоговейно познает свой принцип на примере распятого Христа, когда он отверг уксус, смешанный с желчью, поднесенный ему для смягчения мук. Она познает Бога лицом к лицу, она «касается невидимых вещей и берет их в руки», она, как чадо божье, постигает это свое состояние, она слышит, как он вещает ей: «Встань, дочь моя!» И тотчас Мери Бекер встает, одевается, входит в общую комнату, где ждут уже священник и несколько друзей, трагически готовых принести ей последнее утешение на земле. И вот они останавливаются в оцепенении при виде воскресшего Лазаря. Лишь в этом лично ею пережитом чуде познала якобы она, Мери Бекер, под влиянием молниеносного внушения свыше, универсальный принцип творческой веры.

Этой легенде противоречит, к сожалению, данное под присягой показание врача, и еще более резко опровергает ее собственное письмо, написанное весной 1866 года, в котором она, спустя много недель, с отчаянием пишет преемнику Квимби, доктору Дрессеру, об этом падении и об ужасных его последствиях для нервной системы и в котором заклинает его (давно уже выздоровевшая, по последующей версии) помочь ей по методу Квимби. Но Квимби? Кто же такой Квимби? Имя это внезапно исчезло, одновременно с превращением Christian Science в сверхземное наитие. В первом издании «Science and Health» несколько вялых, случайных строк посвящены еще ее

благодетелю и наставнику, но в дальнейшем Мери Бекер, стиснув зубы, до последнего издыхания отрицает, что когда-либо восприняла от него какой-либо духовный толчок.

Напрасно ей указывают на ее панегирики в «Portland Courier», напрасно опубликовывают ее благодарственные письма и доказывают, при помощи фотографических снимков, что ее первые рукописные инструкции являются буквальными копиями его текстов, — на женщину, которая весь мир реальности объявляет «еггот'ом», заблуждением, ни один документ не производит впечатления. Сначала она отрицает, что вообще пользовалась когда-либо его рукописями, и, припертая, наконец, к стене, не задумываясь опрокидывает факты вверх ногами и утверждает, что не Квимби просветил ее относительно новой науки, а она его. Только Богу, только его милосердию обязана она своим открытием. И ни один верующий не заслуживает этого наименования, если он отваживается сомневаться в ее догме.

Проходят год, два года, и свершилось самое ошеломляющее из превращений: из светского метода, по поводу которого «изобретательница» еще несколько месяцев назад с честной наивностью хвалилась, что «при помощи его можно в короткий срок составить хорошее состояние», получилось в мгновение ока божественное наитие; та, которой принадлежала половина доходов доктора-картонажника Кеннеди, стала боговдохновенной пророчицей. Ее инстинкт единовластия ограждается отныне непроницаемым прикрытием: всякое свое желание она выдает за божественный глагол и требует, во имя небесной своей миссии, повиновения даже в случаях самых смелых претензий. Так, например, теперь уже учебный курс не просто стоит у нее триста долларов добрыми американскими банкнотами, но она поясняет (дословно!): «Когда Господь внушил мне назначить плату за мое наставничество в христиански-научном врачевании, то какое-то особенное прозрение привело меня к установлению этого взноса». Своей книгой (авторское право на которую она яростно отстаивает) она обя-

зана не собственному своему тленному разуму, но наитию божьему: «Никогда бы я не осмелилась утверждать, что книга написана мной». Всякое противодействие ей является поэтому непризнанием «божественного начала», коего она здесь, на земле, избранница. Благодаря такому приливу мощи, ее личное воздействие неизмеримо возрастает; отныне ее авторитет должен достигнуть гигантской высоты. Опьяненная новым ощущением своей избранности, она все пламеннее и пламеннее захватывает и слушателей. Веря в себя, как в некое чудо, она созидает веру; и через какой-нибудь десяток лет сотни тысяч людей подчинятся ее воле.

## ПОСЛЕДНИЙ КРИЗИС

Всякое религиозное движение рождается в судорогах и напряжении; грозная атмосфера неизменно сопутствует его проникновению в мир. И для Мери Бекер эти творческие часы первичного оформления веры не проходят без опасного потрясения нервной системы, опасного даже для ее жизни. Ибо слишком внезапно совершился фантастический переход от ничтожества к всемогуществу; вчера еще безнадежно больная, нищая, гонимая из одной мансарды в другую, она оказывается неожиданно в самом фокусе безудержного поклонения, она — целительница, почти святая. Ошеломленная, смятенная, в нервной лихорадке, испытывает теперь Мери Бекер то состояние, которое подмечено всеми врачами по нервным болезням и психологами, а именно, что при всяком психическом лечении пациенты сообщают поначалу свое собственное беспокойство, свои невроты и психозы нервной системе врача, и он должен проявить величайшее напряжение, чтобы его самого не захлестнули эти истерические состояния.

Внезапный напор создавшегося вокруг Мери Бекер возбуждения почти опрокидывает ее. Испуганная, застигнутая неожиданно слишком крупным, слишком бурным успехом, она убеждается, что нервы ее не в силах справиться с предъ-

являемыми к ним требованиями. И вот она просит, чтобы ей дали вздохнуть, одуматься хотя бы на миг. Она заклинает слушателей оставить ее в покое со своими признаниями, просьбами и вопросами, — ей не вынести этой назойливой близости, этого отчаянного цепляния за нее. Пусть они сжалятся над ней, умоляет она, — иначе она сама погибнет: «Those, who call on me mentally, are killing me». Но вызванный ею экстаз не знает удержу. Жаркими своими, пылающими устами ученики крепко к ней присасываются и обессиливают ее вконец. Напрасно она противится, спасается даже раз бегством из Линна, «driven into wilderness»\*, от этой неожиданной, непривычной ей любви, и пишет потом из своего убежища: «Если ученики и дальше будут обо мне думать и просить меня о помощи, мне в конце концов придется прибегнуть к самозащите, и притом так, что я начисто отделюсь от них неким духовным мостом, которого им не перейти». Подобно тому как изголодавшийся человек, вместо того чтобы проглотить предложенную пищу, извергает ее обратно, потому что его желудок, после длительных лишений, стал чрезмерно чувствителен и не усваивает пищи, так и в данном случае десятилетиями привыкшее к одиночеству чувство отвечает поначалу на столь неожиданное преклонение безудержным испугом, судорожным отталкиванием. Она сама еще не поняла чуда своего воздействия, а уже от нее требуют чуда. Она еще чувствует себя едва-едва исцелившейся, а уже хотят, чтобы она была святая и всецелительница. Такого неистового напора нервы ее не выдерживают: она лихорадочно озирается вокруг, выискивая человека, который бы помог ей самой.

К этому присоединяется еще и личная неустойчивость женщины в климактерическом возрасте. Более десяти лет жила она в стороне от мужского общества, вдовой или покинутой, и первый же молодой человек, к ней внешне приблизившийся, Кеннеди, при всем его равнодушии, вызвал в ней смятение. И

---

\*Бежит в пустыню (англ.).

вот она неожиданно оказывается целыми днями, с утра до ночи, в кругу мужчин, молодых людей, и все они проявляют по отношению к ней избыток преданности, покорности, обожения. Стрепещущим сердцем, с просветленным взором вскакивают они с места, как только она коснется порога платьем, всякое слово, которое она скажет, они воспринимают как истину, всякое желание — как приказ. Но — вопрос поставлен, может быть, только бессознательно — относится ли это мужское преклонение к ней как к духовной только руководительнице или, может быть, и как к женщине? Неразрешимый конфликт для этой жесткой, пуританской натуры, десятилетиями подавляющей в себе голос плоти! Еще, кажется, не вполне улеглась потревоженная Кеннеди кровь женщины за пятьдесят лет; во всяком случае ее отношение к студентам не вполне устойчивое, ее поведение характеризуется то жаром, то холодом, непрерывными переходами от товарищеской простоты к деспотической отчужденности. В сексуальной жизни Мери Бекер всегда были отклонения в сторону: равнодушие, можно сказать, почти отвращение к собственному ребенку, наряду с постоянно возобновляемыми попытками возместить этот изъян материнского чувства путем брака или близости с молодыми мужчинами, придают особую загадочность ее чувственной сфере. Всю жизнь она нуждалась в окружении молодых людей, и эта близость одновременно успокаивает и возбуждает ее. Все явственнее прорывается эта внутренняя неуравновешенность в ее втайне страстных призывах «отойти» от нее. В конце концов она пишет любимому своему ученику Споффорду, единственному, кого она с большой нежностью зовет по имени, Гарри, чрезвычайно экзальтированное и вместе с тем крайне неловкое письмо, полностью ее изобличающее, несмотря на отчаянное сопротивление. «Оставьте вы меня в покое или хотите убить меня? — обращается она к ничего не подозревающему слушателю. — Вы одни виновны в ухудшении моего здоровья, и оно никогда не поправится, если вы не возьмете себя в руки и не отворачите своих мыслей от меня.

Не возвращайтесь больше ко мне, я уже никогда не поверю мужчине».

«Я уже никогда не поверю мужчине», — пишет она, в избытке раздражения, Споффорду 30 декабря 1876 года. Но уже через двадцать четыре часа тот же самый Споффорд в изумлении читает другую записку, в которой Мери Бекер сообщает, что переменяла свои взгляды. Она завтра венчается с Аза Джильбертом Эдди, другим своим учеником. На протяжении суток Мери Бекер пришла к дикому решению; ужасаясь перспективе полного расстройтва своих нервов, она в отчаянии цепляется за первого человека, оказавшегося под рукой, только чтобы не впасть в безумие, и вырывает у него согласие. Она связывает себя прочными узами с одним из своих учеников, с человеком случайным, ибо до сих пор никто из ее общины — да и она сама, вероятно, — не замечал ни малейшего признака особого ее расположения к Аза Джильберту Эдди, слушателю на одиннадцать лет ее моложе, бывшему агенту по швейным машинам, славному, несколько болезненному парню, с прозрачными пустыми глазами и красивым лицом. Но теперь, стоя вплотную перед бездной, она резким порывом привлекает к себе этого скромного, незначительного человека, который, будучи сам ошеломлен непонятной стремительностью этого выбора, честно поясняет изумленному, в свою очередь, Споффорду: «I didn't know a thing about it myself until last night»\*. Но само собой понятно: каким образом решится слушатель отклонить отличие, которым удостоила его божественная наставница? Он слепо покоряется столь почетному выбору и в тот же день получает от властей разрешение на брак. И сутки спустя — как не узнать в этом неистовом темпе чудовищную целеустремленность Мери Бекер! — в первый день нового, 1877 года, заключается этот третий брак, и во время церемонии истине наскоро наносится некоторый ущерб: невеста и жених в один голос заявляют, что

---

\*Я сам ничего не знал об этом до последнего дня (англ.).

им по сорок лет, хотя Эдди уже исполнилось сорок пять, а Мери Бекер — не менее пятидесяти шести. Но что значит «chronology»\*, пустяковая, продиктованная кокетством ложь для женщины, которая с таким великолепным размахом распоряжается вечностями и зонами, которая презирает всю нашу земную действительность как нелепый обман чувств.

В третий раз стоит она, теоретически отвергающая в своей книге брак, перед алтарем; но на этот раз новое имя, ей присваиваемое, принадлежит не только ей, но и истории. В качестве Мери Глоуер, Мери Паттерсон никто не ценил и не знал этой дочери фермера из Виргинии; ее первые два мужа бесследно исчезли для истории современности. Но это новое имя, Мери Бекер-Эдди, она разносит по пяти частям нашего света; и в дар своему жениху, маленькому агенту по швейным машинам, она приносит половинную долю своей славы. Такие порывистые, такие молниеносные решения бесконечно характерны для подлинно роковых мгновений ее судьбы. Самые важные поступки в жизни Мери Бекер-Эдди вытекают отнюдь не из сознания, не из логической проработки, а из вулканических извержений ее энергии, из каких-то судорожных разрядов подсознательной сферы.

Ее перенапряженная нервная энергия, проявляющаяся по временам гениальностью, а по временам безумием, прорывается в столь неожиданных решениях, что ее сознательное «я» не может считаться за них ответственным. Что же удивительного в том, что она мнит себя озаренной свыше, что она смотрит на разрядку своей нервной энергии, как на вспышку от неземной искры, а на себя, как на избранницу, призванную к пророческой проповеди? Она ведь непрестанно переживает чудо претворения болезненных припадков нерешительности в озаряющую молнию прозрения, и большей частью с самым счастливым результатом. Ибо поступая импульсивно и неожиданно, она почти всегда попадает в цель; инстинкт Мери

---

\*Хронология (англ.).



Бекер в сто раз умнее ее рассудка, гений в тысячу раз выше разума. И в этом решающем ее женскую судьбу кризисе она, даже продумав самым тщательным образом, не могла бы найти более разумного, с терапевтической точки зрения, способа укрепить свои нервы, чем избрать себе, столь молниеносно, человека, правда, суховатого, но именно потому надежного, как прочная трость, на которую можно спокойно опереться. Без этого спокойного и успокоительно действующего Аза Джильберта Эдди, без этого надежного прикрытия тыла, она, вероятно, не вынесла бы напора критических лет своей жизни.

Ибо этим ближайшим годам ее учения, Christian Science, суждено быть критическими. Одно мгновение даже кажется, что с таким трудом созданная община на грани распада, что недостроенная башня истинной веры обрушится. В ответ на ее замужество задетый в своей гордости Споффорд, вернейший из верных, соавтор книги «Science and Health», покидает круг смиренных и открывает в Линне, как и Кеннеди, собственную торговлю Christian Science. Само собой разумеется, наставница, чья властная натура не терпит отступничества, мечет ему вслед громовые проклятия; она затевает тяжбу и с ним; так же, как и по отношению к Кеннеди, она пускает в ход против Споффорда маниакальное обвинение, что он телепатически зловредно влияет на расстоянии, что он отравляет ни в чем не повинным и ничего не подозревающим людям здоровье своим m. a. m., своим «malicious animal magnetism».

Как раз своих сбежавших учеников травит Мери Бекер всего яростнее, всеми псами своей ненависти, ибо, как и все основоположники церквей, она знает, что именно в первые мгновения созидания новой церкви всякий раскол, всякое отщепенчество грозят потрясением зданию в целом, — вспомним только ненависть Лютера к «свинскому» Цвингли, сожжение Сервета Кальвином из-за одного-единственного разногласия в области богословия. Но все эти исторические распри на первых церковных соборах могут показаться исполнен-

ными благодушия в сравнении с яростью, с бешеной энергией преследования, развиваемыми Мери Бекер-Эдди, ни в чем никогда не знающей меры. Недостигаемая и непостижимая в своей страстности, эта женщина, неизменно переходящая все границы в области чувства, не останавливается и перед открытой бессмыслицей, когда хочет уничтожить противника.

Происходит нечто невероятное, нелепость, вот уже сто лет не имевшая места в Америке: в современный суд поступает самое настоящее дело о колдовстве. Ибо сила психического воздействия Мери Бекер столь затуманивает разум ее сторонников, что 14 мая 1878 года, в разгаре девятнадцатого столетия, одна из преданных ей душой и телом и разделяющих ее ненависть учениц, последовательница Christian Science, мисс Лукреция Броун подает на Даниэля Х. Споффорда официальную жалобу в том, что «он, пользуясь своей силой и искусством, вот уже год как наслал на нее неправым и коварным образом, с намерением повредить ей, тяжкую болезнь, телесную и душевную, сильнейшие боли в области позвоночника и нервное, а также периодически повторяющееся умственное расстройство». Хотя, как доказано, Споффорд никогда не видел этой благочестивой Лукреции, никогда с ней не разговаривал и не подвергал ее врачебному освидетельствованию, и, следовательно, речь могла бы идти только о средневековых бреднях на темы телепатического колдовства при помощи «malocchio»\*, этот курьезнейший из всех процессов недавнего времени доходит все же до суда. Судья, разумеется, объявляет себя несостоятельным в таких кабалистических вопросах и со смехом бросает дело о колдовстве в корзину.

Казалось бы, после такой конфузной катастрофы атмосфера Линна, накаленная «духовной», богословской дискуссией, должна разрядиться приливом безграничной веселости. Но смешное ни в какой мере не доступно восприятию Мери Бе-

---

\* Дурного глаза (*ит.*).

кер-Эдди; она верует и ненавидит с отчаянной серьезностью. Она не идет на уступки. Споффорд и Кеннеди должны быть уничтожены. Неожиданно ее муж и второй ее любимец из учеников, Аренс (с которым она, впрочем, в дальнейшем тоже затеяла тяжбу), подвергаются аресту по обвинению в том, что подговорили двух безработных к покушению на Споффорда. Это темное дело никогда не разъяснилось до конца; во всяком случае, уже один факт официального обвинения в попытке убийства, непосредственно после колдовского процесса, свидетельствует, до какой смертельной неприязни дошли эти разногласия в вопросах веры. Одна жалоба опережает другую; что ни месяц, появляется в суде Мери Бекер-Эдди по новому делу. В конце концов и судья уже начинает улыбаться, когда худощавая седая женщина, волнуясь и кусая губы, излагает новую жалобу: то один из учеников не платит следуемых с него долларов и процентов по долгу, то какой-нибудь обманувшийся в ожиданиях требует деньги обратно, то «присвоили» какой-нибудь тезис ее учения. Сегодня слушательница заявляет, что ее учили сплошной чепухе и требует возмещения расходов, завтра Мери Бекер, в свою очередь, подает жалобу на какого-нибудь отступника Christian Science по поводу нанесенного «initiation»<sup>\*</sup> ущерба, — короче, в тесных пределах этого городишки необычайная по мощи энергия демонической властительницы душ разменивается на смехотворное сутяжничество и крючкотворство. И одно из самых примечательных духовных зрелищ недавней современности грозит снизойти до уровня простого шарлатанского фарса.

Это начинают, наконец, понимать и ученики. Они чувствуют то смехотворное, что заключается в этих колдовских процессах, в этой «демонофобии» их руководительницы. Постепенно начинает пробуждаться у них затуманенный с давних пор «common sense». Восемь вернейших дотоле учеников тайно собираются вместе и решают выразить свое несочувствие всем этим проникнутым ненавистью бредням о malicious

---

<sup>\*</sup> Учению (англ.).

animal magnetism, вклинившимся в их учение. Они утверждают согласованно, что примкнули к Science, потому что она явилась для них вестью о всеблагости и вездесущии божьем; и вот теперь Мери Бекер — по примеру всех религий — задним числом вселила в мир, вместе с Богом, и дьявола. И этого смехотворного дьявола, malicious animal magnetism, воплощенного в таких жалких фигурах, как Спиффорд и Кеннеди, они не согласны признать в богопроникновенном мире божием. И восемь ветеранов Science опубликовывают 21 октября следующее сообщение:

«Мы, нижеподписавшиеся, признавая и ценя, что наставница наша, Мери Бекер-Глоуер-Эдди, помогла нам в усвоении истины, подвинуты божественным внушением к тому, чтобы с сожалением отметить ее отход от прямого и тесного пути (каковой единственно ведет к преуспеянию в добродетелях Христовых): этот отход выразился в частых вспышках гнева, в любви к деньгам и в склонности к лицемерию. Посему мы не можем долее подчиняться такому руководству. На этом основании мы, без малейшего чувства неприязни, мести или мелочного недовольства, а единственно из сознания долга по отношению к ней, к нашему делу и к себе самим, почтительнейше уведомляем о нашем выходе из сообщества учеников и из церкви христианской науки».

Это сообщение как громом поражает Мери Бекер-Эдди. Тотчас же она бросается к каждому из отступников и требует отказа от заявления. Но так как все восемь человек остаются непреклонными, то она хочет отстоять по крайней мере права своей гордости. Ловким образом она выворачивает дело наизнанку и находит (как выражается, виляя, ало-розовая биография) «мастерское решение», оспаривая у ушедших право самовольно покинуть общину, и, таким образом, как бы кричит через улицу восьми ученикам, уже захлопнувшем за собой дверь, что она приказывает им покинуть дом. Но такой мелочный триумф ее правоты не может изменить решающего факта — игра Мери Бекер-Эдди проиграна в Линне. Община рас-

дается среди непрерывных распрей, газеты отвели Christian Science постоянную рубрику увеселительного свойства, дело ее рушилось. В качестве единственной возможности остается заново создать его в другом месте и на более прочном, широком фундаменте. И вот непризнанная пророчица поворачивается спиной к неблагодарному Вифлеему и перекочевывает в Бостон, этот Иерусалим американской религиозной мысли.

Еще раз — который раз в жизни? — Мери Бекер-Эдди проиграла игру. Но именно это последнее поражение становится ее величайшей победой, так как только вынужденное переселение пробивает ей дорогу. Учение ее не могло широко распространиться, имея исходной точкой Линн. Слишком уж нелепо было в этом узком кругу несоответствие между ее манерой величия и ничтожным сопротивлением. Воля такого масштаба, как у Мери Бекер, требует простора для своего действия; при такой вере, как у нее, нужна, в качестве почвы для посева, не кучка людей, а целая нация; никакой спаситель, сознает она, не в состоянии творить чудеса, если соседи целыми днями глазуют на его мастерскую; никто не может остаться пророком в привычной и буднично примелькавшейся обстановке. Тайна должна окутывать чудо; ореол может воссиять только в сумерках отдаления. Только в большом городе Мери Бекер может развернуться во всю свою величину.

Но еще решительнее требует у нее судьба последней жертвы. Еще раз, в последний раз старый жестокий рок пригибает к земле тяжелой своей дланью шестидесятилетнюю женщину. Едва только устраивается она в Бостоне, едва успевает заложить новый фундамент Christian Science на более прочном, стойком основании, как на нее обрушивается предательский удар. С давних времен Аза Джильберт Эдди, ее молодой супруг, страдал болями в груди; единственно эта слабость здоровья привела его когда-то к Споффорду и к Science; теперь сердечная болезнь быстро начинает развиваться. Напрасно

Мери Бекер-Эдди с большим жаром, чем когда-либо, практикует на этом самом нужном для нее человеке свою «науку», напрасно она применяет к нему свой «духовный» метод, испытанный на множестве людей, для нее безразличных, — усталое сердце и истощенные сосуды не поддаются никаким целебным молитвам. И на глазах у мнимой чародейки-целительницы он постепенно угасает. Та, кто принесла и возвестила здоровье тысячам и десяткам тысяч, сознает себя — трагический жребий — бессильной перед болезнью собственного мужа.

В этот исполненный драматизма миг Мери Бекер-Эдди совершает — самая, по-моему, человеческая секунда в ее жизни — предательство по отношению к своей науке. Ибо в безвыходном своем положении она делает то, что деспотически запрещает всем другим: она уже не пытается более спасти своего мужа «*by mind*»\*, но призывает к постели умирающего настоящего врача доктора Руфуса Нейеса, одного из «*confectioners of disease*»\*\*. Один-единственный раз склоняется эта неукротимая душа перед своим врагом, перед действительностью. Доктор Нейес устанавливает наличие сильно запущенной сердечной болезни, прописывает дигиталис и стрихнин. Но поздно. Вечный закон сильнее науки, сильнее веры. 3 июня 1882 года Аза Джильберт Эдди умирает в присутствии той самой женщины, которая перед лицом миллионов людей объявила болезнь и смерть невозможными.

В этот один-единственный раз, у смертного одра своего собственного мужа, Мери Бекер-Эдди отреклась от своей веры: она, вместо того чтобы довериться своей *Christian Science*, позвала врача. Один раз, лицом к лицу с сильнейшим из противников, со смертью, эта исполинская воля сложила оружие. Но лишь на секунду, не более. Как только оборвалось дыхание на устах у Аза Джильберта Эдди, вдова поднимает голову, более непреклонная, более упорствующая, чем когда-либо. Установленный вскрытием диагноз она именует лож-

---

\* Духом (англ.).

\*\* Фабрикантов смерти (англ.).

ным; нет, не от перерождения сердца скончался Аза Джильберт Эдди; он отравлен «metaphysical arsenic», «mental poison»\*, и она сама не могла его спасти при помощи Science только потому, что в то время ее собственные силы были надломлены месмерически-телепатическим воздействием Кеннеди и Споффорда. Чтобы ослабить впечатление, произведенное этой смертью на верующих, она пишет буквально следующее: «My husband's death was caused by malicious mesmerism... I know it was poison that killed him, but not material poison, but mesmeric poison... after a certain amount of mesmeric poison has been administered, it can not be averted. No power of mind can resist it»\*\*. Даже на могиле мужа воздвигает она знамя этой ужасающей бессмыслицы о магнетическом отравлении на расстоянии, смехотворно-величественная и величественно-нелепая, как всегда в решающие моменты своей жизни.

Но это было последним ее потрясением. Первого мужа она похоронила, второй ее покинул, теперь и третий под землей. С этого часа, ни с кем не связанная чувством любви, ни к чему на свете не прилепившаяся, живет она для одного-единственного — для своего дела. Ничего не осталось у нее после шестидесяти лет горестей, кроме этой непоколебимой, непреклонной, фанатической и фантастической веры в свою веру. И, вооружась этой своей несравненной мощью, она завоевывает теперь, в старческом возрасте, мир.

## ХРИСТОС И ДОЛЛАР

Шестьдесят один год насчитывает Мери Бекер-Эдди, когда возвращается с могилы третьего мужа. Шестьдесят один год, прародительский возраст, когда другие женщины надевают черный чепчик и тихонько усаживаются в темный уголок;

---

\* Метафизическим мышьяком, духовным ядом (англ.).

\*\* Смерть моего мужа произошла от зловредного месмеризма. Я знаю, его убил яд, но не материальный, а месмерический... после того как известное количество месмерического яда было пушено, нельзя было этого предотвратить. Никакая сила духа не могла этому помешать (англ.).

возраст, когда равнодушие и усталость впервые берут верх над человеком, ибо как долго можно еще действовать и во имя кого? Но у этой поразительной женщины другой счет мирового времени. В старческом возрасте еще более отважная, умная, проницательная и страстная, чем когда-либо, приступает Мери Бекер-Эдди, в шестьдесят один год, к настоящему своему делу.

Сопrotивление всегда было ее силой; единственно на противодействии строит она свою мощь. Отчаянию обязана она своим выздоровлением, болезни — смыслом жизни, бедности — упорным стремлением ввысь, неверию других — непреклонной верой в себя. То обстоятельство, что город, где она основала свою церковь, Линн, отверг ее, становится даже, в деле развития ее учения, решающим преимуществом. Ибо пределы этого городишки башмачников были слишком тесны для широких ее планов; тот гигантский рычаг, которым она хочет вывернуть мир из его основ, не мог быть слишком глубоко заложен в землю; там она была в стороне от великих факторов успеха.

В Бостоне, при взгляде на современный деловой город, ей сразу же становится ясным, что ее «духовную» идею нужно подкрепить всеми материальными и механизированными средствами техники, пропаганды, рекламы, прессы и производственной деловитости, что под духовный аппарат надо подвести как бы стальные колеса, чтобы он, как огненная колесница Ильи, поднял ввысь к небесам сердца человеческие. И вот она сразу же ставит дело в Бостоне на более крепкое основание. Убожество — она уже знает это — вредит в земном нашем мире; за человеком с виду незначительным не признают силы. Поэтому она уже не снимает, как в Линне, одноэтажный невзрачный деревянный сарайчик, а покупает в лучшей части города, на авеню Колумба, трехэтажный гранитный дом с приемными помещениями, картинами, коврами и красивым салоном. Аудитория не заставлена грубо сработанными скамьями, но отделана изящно, ибо ее учениками в Бостоне будут не почин-



щики каблуков, не тяжеловесные неуклюжие парни, а «refined people»; этих новых клиентов не следует отпугивать видом скудости. И снаружи новая вывеска с широкой серебряной доской знаменует повышение социального уровня. Такие слова, как «Teacher of Moral Science», преподаватель моральной науки, звучат для Бостона слишком жидко, слишком скромно и невнятно. Слишком легко можно угодить с ними в один ряд с карточными гадалками, телепатами и спиритуалистами. Поэтому школа высшего разряда сразу же присваивает себе и более высокое наименование: Christian Science преобразуется в университет, в «Massachusetts Metaphysic College»\*, где, как объявляет Мери Бекер, преподаются, с разрешения властей, патология, терапевтика, философия, метафизика и их практические приложения к болезням. В кратчайший срок, с чисто американской поспешностью, подпольная учительница превратилась в доцента университета, докторское ремесло стало профессурой, и ускоренные «духовные» курсы — утвержденной государством «высшей», якобы научной школой.

Но наряду с этим внешним превращением еще более разительной представляется внутренняя приспособляемость Мери Бекер-Эдди к ее собственному возвышению; по мере своего успеха она неизменно поднимается выше и выше, до духовного и социального уровня новой сферы. Здесь, где слушательницами ее будут дамы высшего общества, образованные или — скажем осторожнее — наполовину образованные люди, она уже ни секунды не ведет себя в лучшем «society» как особа «inferior» или провинциалка; уже на первой ступени проявляется ее поразительный дар самовывдвижения; она сразу же превращается в леди и производит впечатление даже на самых требовательных в смысле светскости. Та, которая сорок лет одевалась в дешевые тряпки, принимает в Бостоне, в своей гостиной, за чайным столом гостей, изящно одетая. Всякий разговор она умеет с успехом поддержать, и когда по воскре-

---

\*Массачусетский метафизический колледж (англ.).

сеньям она всходит в своей церкви на кафедру, в белом шелковом платье, с ясным и твердым взглядом, в ореоле постепенно седеющих волос, у всех захватывает дыхание, — так властно действует ее величественная фигура. Неизменно, с первых же ее слов, слушатели чувствуют себя захваченными ее красноречием. На протяжении десятка лет эта женщина преодолевает в речи и в письме, в учении и в жизни все препоны своего скромного происхождения, своего недостаточного образования; она учится не учась; все как-то само собой приходит к ней.

Вскоре вокруг ее личности создается ореол, исполненный шелеста крыльев; все более пламенным становится обожание окружающих; но по опыту Линна эта вдумчиво наблюдающая женщина знает, что только соблюдая дистанцию можно сохранить ореол. Теперь уже Мери Бекер-Эдди не подпускает ни одного чужого человека к своей жизни; она не терпит, чтобы в окна ее заглядывало любопытство. И тем сильнее действует появление ее в аудитории или на церковной кафедре по воскресеньям; кажется всякий раз, что она выступает из какого-то облака тайны, и отныне между ней самой и миром установлены живые буферы — личный секретарь и низшие служащие, которые избавляют ее от всех деловых и неприятных процедур. При такой недоступности ценят как выдающееся отличие, если она примет иной раз, в виде исключения, частным образом, ученика или пригласит в салон гостей.

В центре миллионного города, в грохоте городских дорог, под шум биржи и в круговороте людских потоков создается постепенно вокруг ее личности легенда. Уже в Бостоне Мери Бекер-Эдди становится из живой человеческой фигуры мифом. Но она сознает с полной ясностью, что если тишина и тайна повышают психическое воздействие имени, то само учение требует громкости, требует органа для звучания. Америка 1890 года — она убеждается в этом по шуму большого города — не из тех стран, где можно пробиваться незаметно, тихо, медленно. Если хочешь обеспечить там успех чему-либо,

нужно это «что-либо» вбивать в сознание масс тяжелым молотом, громкими, звучными, то и дело отдающимися в мозгу ударами рекламы. И новая секта также нуждается там в шумихе, в пропаганде, в плакатах, подобно новому мылу, вечно-му перу новой системы, новой марке виски. Слишком велик, слишком широк стал наш мир, чтобы весть могла переноситься из уст в уста, как в раннюю пору человечества. Здесь надо иметь в своем распоряжении для каждой вести микрофон, мегафон для того, чтобы она прогремела до другого края страны, до Кентукки и Калифорнии, вплоть до берегов Тихого океана.

Все новое нуждается в век типографских станков в газете; и так как наиболее крупные из них проявляют к ее учению равнодушие, то она решает основать, в качестве первого и главного средства пропаганды, собственный орган, «Christian Science journal». Тем самым впервые преодолено пространство, границы звучания слова раздвинуты до бесконечности. Основание «Christian Science journal» тотчас же решает победу Christian Science; впервые узнают в дальних провинциях больные, нигде не нашедшие себе исцеления, о новом бостонском универсальном медицинском методе, благодаря обстоятельно расписанным случаям чудесного выздоровления. А для отчаявшихся никакая дорога не кажется дальней. Вскоре первые больные отваживаются на приезд. Из Нью-Йорка, из Филадельфии прибывают пациенты; некоторые выздоравливают, и эти выздоровевшие разносят учение дальше. С другой стороны, «healer» из разных городов, первые евангелисты Мери Бекер-Эдди, печатают в «Journal» объявления со своими адресами, и вот колеса этого нового трактора успеха начинают работать все быстрее и быстрее. Ибо всякий «healer», чтобы расширить возможность заработка, настоятельнейшим образом заинтересован в том, чтобы максимально распространить учение и веру в это учение; всякий новый «доктор» действует как новый пропагандист «Christian Science journal», он вербует подписчиков, продает экземпляры

«Science and Health». От этого колесо вертится еще быстрее; вновь привлеченные читатели увеличивают число пациентов «Massachusetts College», некоторые из выздоровевших, в свою очередь, пользуются удобным случаем, чтобы самим стать «healer», эти новые целители вербуют опять новых подписчиков и новых пациентов — и так, наподобие снежного кома, нарастают, в силу взаимопритяжения интересов, тираж газеты, тираж книг, число верующих.

Стоит в каком-нибудь городе завестись первому стороннику, как через два-три месяца туда перекочевывает «healer», пациенты которого образуют общину, и так происходит повсюду; короче, питательный провод Christian Science подключен полностью к духовно-нервным путям Соединенных Штатов. Явственно можно измерить неудержимо быстрый расцвет Christian Science ростом цифр. В 1883 году в «Christian Science journal» печатают свои адреса четырнадцать «healer», в 1886 году — уже сто одиннадцать, в 1890-м — двести пятьдесят; кроме того, в том же году работают официально тридцать три академии, то есть филиалы, в Колорадо, Канзасе, Кентукки, во всех штатах Америки. В том же темпе растет и число изданий «библии»: в 1882 году выходит первая, а в 1886-м — шестнадцатая тысяча «Science and Health»; к концу столетия число экземпляров этой книги превышает, вероятно, триста тысяч. И от всех этих внезапно открывшихся источников — от книг, газеты, объявлений, университета и от практики — начинают притекать все более обильные денежные потоки, объединяемые кассовой книгой «mother Mary», цифры от десятилетия к десятилетию растут в кубической прогрессии. Тысячи и сотни тысяч гонорара, сотни тысяч в форме подарков и миллионы долларов как вклады на строительство церквей.

О том, чтобы поставить преграду этому нечаянному притоку маммоны, Мери Бекер-Эдди никогда и не думала; наоборот, с тех пор как ее костлявая, жесткая старческая рука однажды ухватила за рукоять насоса, она не перестает уже до последней капли выжимать золотую кровь из верующих.

Вместе с первыми нажитыми деньгами проснулась в Мери Бекер, наряду со многими другими дремавшими в ней способностями, прямо-таки гениальная деловая сметка, безграничное корыстолюбие. С той же жесткой непреклонностью, с которой она впитывает жаждущей своей душой всякую земную власть, загребает она теперь деньги, эту наиболее наглядную форму власти. Чем доходнее оказывается Christian Science, тем более коммерческий характер придает ей проявившая неожиданнный практический талант руководительница. Как в хорошем торговом доме, она открывает, по трестовской системе, один за другим, отделения своего предприятия. Едва только спрос на «Science and Health» бурно повышается, как Мери Бекер-Эдди поднимает продажную цену на пятьдесят центов, обеспечивая себе на каждом экземпляре доллар чистоганом «авторских». Кроме того, почти каждое издание видоизменяется, ибо верующие покупают вдобавок к прежним и новую, «окончательную» обработку; таким образом избегается какой бы то ни было застой в сбыте.

Все явственнее проглядывает за «делом веры» финансовая организация; возникает целая промышленность, обслуживающая Christian Science, — книги, брошюры, уставы, «автентичные фотографические снимки» Мери Бекер-Эдди по пять долларов за штуку, «Christian Science spoons» (ужасающе безвкусные серебряные ложки), с ее изображением на эмали. К доходам от промышленной продукции присоединяются благодарственные приношения верующих своей руководительнице, о которых обстоятельно сообщается в журнале на Рождество и Новый год, чтобы подвинуть к жертвам менее ревностных; большой бриллиантовый крест, горностаевый палантин, кружева и драгоценности — все это плоды кроткой настойчивости «mother Mary». Человечество не припомнит, чтобы когда-либо духовного порядка вера была удачнее и быстрее переделана в прибыльную статью, чем Christian Science — при помощи финансового гения ее основательницы; десять бостонских лет преобразуют метафизическое учение о нематериаль-

ности мира в одно из самых доходных в материальном смысле предприятий. И Мери Бекер-Эдди, недавно еще нищая, может в конце века с гордостью именовать себя миллионершей.

Но, неизбежным образом, чем шире распространяется какая-либо идея в массах, тем в большей степени улетучивается ее как бы радиоактивная сущность; всякая вера, которая служит денежным интересам или власти, берет грех на душу. Нажива во всех случаях снижает моральную ценность подвига; так и здесь: связавшись с рекламой, с деньгами, с пропагандой и придав, таким образом, Christian Science характер делового предприятия, Мери Бекер-Эдди протянула черту мизинец; скоро и вся она будет в его лапах. С момента этого своеобразного сочетания христианского будто бы метода с полновесными тысячедолларовыми чеками появляется изъян в фанатически прямолинейной доселе тактике Мери Бекер-Эдди: все труднее становится верить в ее веру, поскольку она при помощи этой веры делает неплохие деньги. Ибо для всякого искреннего чувства необходима неразрывная связь благочестия с самоотверженностью, с отказом от земного; Будда, покидающий свой царский дворец и несущий свое учение в мир в качестве нищего, Франциск, срывающий с себя одежды и раздающий их бедным, любой неприметный еврей-начетчик, презирающий деньги и наживу и корпящий над священными книгами, с коркой хлеба в руке, — все они убеждают жертвой, а не словом.

Путь всех религий к божеству вел до сих пор только через бедность и лишения. Но здесь, в этой новой американской религии, в догме Мери Бекер-Эдди, банковский счет, с текущими по нему процентами, впервые не являет собой огорчения для пророка, а ссылка на Христа не препятствует ему энергично хватать отовсюду доллары. В этом пункте теологической системы оказывается трещина, на которую энергично обрушивается великий американский сатирик Марк Твен с целью ниспровергнуть здание Мери Бекер-Эдди. В своей блестящей полемической статье он ставит ряд щекотливых воп-

росов новой пророчице, которая, презирая материю, загребает больше миллиона в год в высшей степени «материальными долларами». Раз ее книга «Science and Health», по собственному ее признанию, написана не ею самой, но продиктована свыше, почему, спрашивает он, ставит она чужую собственность под защиту закона об авторском праве и получает, таким образом, отчисления, причитающиеся, собственно говоря, Богу? И если в своем методе она ссылается на исцеления, которые совершал Христос, то пусть она Библией докажет и вторую половину своей аналогии, а именно, что Христос, подобно ей и ее ученикам, когда-либо требовал денег или иных ценностей за лечение духом. В забавной форме изображает он расхождение между теорией и практикой: бравый «healer» с пафосом внушает своему пациенту, что все нереально, опухоль на ноге нереальна, боль от опухоли нереальна, нога нереальна и самое тело, к которому привешена эта нога, нереально, человек вместе со своим телом нереален и мир нереален, — и все же, если больной тут же не выложит на стол за лечение столько-то реальных земных долларов наличными, «healer» обязательно бежит к ближайшему реальному окружному судье. Неумолимо разоблачает Марк Твен эту своеобразную, двойственную любовь Мери Бекер-Эдди к сиянию святости и к блеску золота и в конце концов называет сплошным лицемерием религию, которая набивает свои карманы деньгами, не помышляя о том, чтобы проповедовать и исполнять закон благотворительности. Даже его, прирожденного и истинного американца, сына страны, где деловитость не мешает гражданам быть добрыми христианами, коробит эта трестовски-деловая торговля предметами веры, эта слишком тесная связь между Христом и долларом, и он развивает всю силу своего художественного дара, чтобы динамитом сатиры взорвать, пока не поздно, здание ее могущества.

Но что может и кто может смутить такую женщину, как Мери Бекер-Эдди? Что она сказала — истина, что сделала, то правильно. В деспотическом своем великолепии она никогда

не станет считаться с чьими бы то ни было доводами против своих поступков и мыслей. Слух у нее тугой на возражения, так же, как тугая рука на власть и на деньги; она умеет, самым честным образом, не слушать того, чего не хочет слышать. В особенности двух вещей не позволяет она касаться в непоколебимом своем упорстве: своего капитала и своей веры. Поэтому она никогда не поступится ни йотой своих убеждений, ни одним центом из своих трех миллионов долларов. И от брошенной ей упрёка в наживании денег она легко отмахивается. Да, отвечает она, верно, последователи Science зарабатывают теперь много денег, но как раз это доказывает добротность учения. То, что его провозвестники и распространители не нуждаются так, как раньше, лучше всего свидетельствует о необходимости этой науки и о ее торжестве: «Now Christian Scientists are not indigent, and their comfortable fortunes are acquired by healing mankind morally, physically and spiritually». И если когда-то Господь повелел ей требовать плату за наставничество и лечение, то впоследствии она уразумела смысл этого веления божия: принося материальную жертву, пациент тем самым крепит, как показал опыт, свою волю к вере. Чем тяжелее для него жертва, тем благотворнее напрягает он внутренние свои силы для выздоровления.

Нет, деньги это сила, и ни одной крупницы силы не выпустит Мери Бекер добровольно из своих рук; глухая ко всем возражениям, подключает она мотор своей Science к электрической сети «publicity» (рекламы), которая питает все движения и начинания современности своей неистощимой энергией. И действительно, беспримерный успех как бы оправдывает ее систему насильственного улавливания душ. С тех пор как печатные станки в сотнях тысяч экземпляров распространяют ее книги, с тех пор как некий осведомительный центр повышает прежнее личное влияние до степени безличного, с тех пор как путем планомерной организации по всей нервной сети страны установлены переключающие контакты, учение начинает распространяться американскими темпами, и результат



превосходит самые смелые ее ожидания. С каждой неделей, с каждым днем радиус удлиняется; уже давно в круг влияния Мери Бекер-Эдди входят не только Бостон, не только один Массачусетс, но и вся огромная страна от Атлантического до Тихого океана.

Когда в 1888 году, через пять лет после открытия «университета», Мери Бекер-Эдди решается, наконец, устроить в Чикаго официальный смотр верующим, она впервые в жизни переживает мистическое головокружение от массового воодушевления, переживает полную, неоспоримую победу. Ожидали прибытия восьмисот делегатов Christian Science, но четыре тысячи человек ломятся в двери, чтобы воочию лицезреть «бостонскую пророчицу» (так ее теперь называют). Как только она появляется, все встают, как наэлектризованные, и овации длятся несколько минут. Такому бурному воодушевлению она не может противопоставить надменного молчания. Хотя это и не входило первоначально в ее намерения, она вынуждена сказать несколько слов о смысле своего учения этим четырем тысячам, судорожно напряженным, благоговейно ждущим. Нерешительно выходит она на эстраду, оглядывает своими серыми глазами, о чем-то думая, толпу и потом приступает к импровизированной речи; сначала она говорит медленно, но торжественность минуты увлекает ее, и речь льется столь страстно, столь вдохновенно и вдохновляюще, что журналисты, так же, как это было со знаменитой речью Линкольна в Блумингтоне, забывают ее стенографировать. Никогда, заверяют единодушно ее последователи, не говорила Мери Бекер-Эдди так горячо, так выразительно и прекрасно, как в этот раз, на первом своем смотре, когда впервые ощутила живое дыхание масс у самых своих уст. В глубочайшей тишине прислушиваются четыре тысячи человек к этой все более и более окрыляющейся, рвущейся ввысь речи, и едва она кончила, как возникает какой-то дифирамбический шум. Мужчины бросаются на эстраду, женщины протягивают свои подагрические руки и кричат: «Помоги», — взрослые люди целуют ей

руки, платье, ботинки, и требуются величайшие усилия, чтобы этот вихрь воодушевления и одержимости не сбил с ног и не смял Мери Бекер-Эдди. Положение, в силу чрезмерности экстаза, становится опасным: овации заглушаются временами пронзительными воплями боли, рвутся шелковые платья и кружева, пропадают драгоценности; словно в опьянении, рвутся к ней верующие, чтобы коснуться только ее руки или края, складки ее платья и от этого прикосновения выздороветь. И по официальному сообщению «*Christian Science Journal*» одиннадцать человек больных исцелились в этот день только благодаря ее присутствию.

Этот «праздник духа» в июне 1888 года приносит Мери Бекер решающую победу. Он завоевывает ей Америку. Но теперь верующие требуют уже памятника этому торжеству. Они хотят, чтобы отныне, когда незримая церковь столь величественно утвердилась в душах, она и внешне величаво вознеслась бы ввысь, в каменных глыбах. Такой проект претворения духовной системы в храм земной ставит *Christian Science* под угрозу новой опасности. И Мери Бекер-Эдди, с безошибочным своим инстинктом, некоторое время колеблется. В первом издании «*Science and Health*», в эпоху своего радикализма, она высказалась ясно и отчетливо против наглядно-зримых храмов божьих и даже признала ошибкой со стороны учеников Христа, что они ввели церковное устройство и церковные обряды. «*Churches' rites and Ceremonies draw us to material things*». «Церковность тянет нас книзу, к земле, и молитва в храме не настоящая молитва» — так писала она тогда, в 1875 году. Но теперь, когда ей предлагают соорудить собственное святилище, собственную церковь, «*mother Mary*» не в силах противиться попытке ее обожествления. После некоторых колебаний она дает свое согласие. Ученики поспешно собирают деньги на постройку, и, кажется, впервые со времен упадка Римской империи воздвигается святилище живому человеку.

Впервые можно на фронте христианской церкви, где

обычно высекаются надписи о посвящении Богу или какому-нибудь святому, прочитав имя частного лица: «A testimonial to Our Beloved Teacher, the Rev. Mary Baker-Eddy, Discoverer and Founder of Christian Science»\*. Внутри церковь украшена изречениями из двух священных книг, из Библии и из канонизированного уже евангелия Мери Бекер-Эдди. Но святая святых храма — невероятно, но на самом деле так — это «The mother's room»\*\*, выложенная драгоценным деревом, отделанная ониксом и мрамором часовня, которая предназначена для ее пребывания, когда она вздумает посетить церковь, и которой никто, кроме нее, не вправе пользоваться. Неугасимая лампада горит в этой комнате — символ непреходящего смысла Christian Science. И оконная мозаика — в других церквях цветное изображение событий из жизни святых — представляет Мери Бекер-Эдди в тесной мансарде, озаренную звездой Вифлеема. Начало опасному обожествлению положено. Впервые в новую эпоху верующие соорудили святилище живой женщине; неудивительно, что вскоре и ее самое будут именовать святой.

## ОТХОД В ОБЛАКА

На закате девятнадцатого столетия старая женщина с седыми, как снег, волосами, твердым еще шагом всходит вверх, по последним ступеням лестницы, ведущей к власти. На шестидесятом году фантастической ее жизни начался подъем; на семидесятом она достигает золотой ступени богатства и славы. Но вершина еще далеко; неутомимо, закалив сердце, устремляется она, в непомерном своем честолюбии, выше и выше. Когда она возвращается с первого своего публичного триумфа, с «праздника духа», из Чикаго, трепет благоговения пронизывает общину верующих. С изумлением собираются вокруг нее

---

\* Возлюбленной нашей наставнице, преподобной Мери Бекер-Эдди, открывшей и изобретшей христианскую науку (англ.).

\*\* Покой матери (англ.).

ученики, лихорадочное ожидание овладевает всеми: какие новые чудеса совершит еще эта необыкновенная женщина? Не покорит ли она теперь своим чарующим красноречием город за городом, предприняв триумфальную поездку по огромной Америке? Не возникнут ли по всей стране сотни академий, сотни общин, конгресс за конгрессом? Все возможности, они ясно чувствуют, у нее в руках. Ей стоит только простереть их, и вся Америка перейдет на ее сторону.

Но выдающийся психологический гений Мери Бекер-Эдди в том и заключается, что в решающий час она поступает самым неожиданным и всегда самым правильным образом. В миг, когда вся община ждет от нее нового подъема, как раз в этот напряженный миг она, величественно, как будто отрекаясь, добровольно слагает с себя власть; возвратясь победительницей, она неожиданно выпускает из рук покрытое славой оружие. Три эдикта издаются один за другим, ошеломляя друзей, смущая приверженцев, три приказа, представляющих ослепленному взору ей подвластных совершенно бессмысленными, даже нелепыми. Ибо разве не ставят они препоны делу, не грозят разрушением величаво вознесшейся постройке? Первый эдикт, от 1889 года, повелевает скрыть до основания крепчайший бастион Christian Science, закрыть Massachusetts Metaphysical College, «дабы дух Христов свободно веял среди учеников его». Одновременно упраздняется и внешняя, зримая организация церкви. Вторым эдиктом, от 1890 года, она прекращает свое вмешательство и всякое влияние на построение общины: «Не следует ни устно, ни письменно просить у меня советов о том, кого включать или не включать в списки иногородних представителей, о том, что подлежит опубликованию в журнале, о несогласиях, буде таковые возникнут в среде учеников христианской науки, относительно приема или исключения членов христианско-научной церкви, или относительно лечения больных. Я же буду любить все человечество и работать для его блага». Этим указом старая воительница торжественно слагает с себя доспехи. И третий эдикт

заявляет даже о том, что она окончательно покидает резиденцию и отказывается от всех должностей и привилегий. В мае 1889 года журнал ее, сообщавший до сих пор, подобно наполеоновскому «Moniteur», только о победах, обнародует великую весть об ее отходе в облака: «Так как дорогая наша мать во Христе удаляется из нашей среды в гору, дабы воспринять высшее посвящение и указать нам и грядущим поколениям путь истинной осознанности в Бога, то да осенит нас благоговейное безмолвие». И действительно, она ликвидирует свое домашнее хозяйство в Бостоне, покупает себе уединенный сельский дом близ Конкорда «Pleasant View»\* и исчезает.

Учеников охватывает благочестивый трепет перед лицом столь высокой премудрости и столь неожиданного смирения. Этим отречением, так чувствуют они, Мери Бекер-Эдди нагляднее, чем когда-либо, явила миру свое равнодушие ко всему земному; подобно тому как император Карл удалился в монастырь Св. Юста, дабы служить одному Богу, удаляется и она в затворничество; подобно тому как Игнатий Лойола кладет свой меч на алтарь Монсеррата, так и она отказывается от всякого видимого величия ради величия иного. Какой разительный удар клеветникам, дерзавшим именовать такую женщину, как Мери Бекер-Эдди, честолюбивой, падкой до денег и до власти! Теперь чистота ее доказана непреложно, и этим подвигом впервые истинно освящена ее вера.

Но какое заблуждение со стороны этих простодушных ее последователей! Никогда эта женщина с цепкой хваткой не помышляла серьезно о том, чтобы выпустить власть из рук, и менее всего — в эти минуты лицемерного отречения. На самом деле этот мнимый отход свидетельствует лишь о гениальных тактических способностях испытанной воительницы. Если она рушит теперь свое дело, то единственно потому, что оно слишком разрослось, слишком расширилось и не поддается уже, в таком виде, твердому и последовательному руководст-

---

\* «Приятный вид» (англ.).

ву. Она рушит только существующую его организацию, чтобы забрать ее в руки по-новому, еще более крепко и, прежде всего, еще более самовластно, чтобы стать, в еще большей степени, госпожой над ней и владычицей. Ибо по мере того, как церковь росла вширь, она все больше и больше освобождалась от ее авторитета; слишком свободным, слишком независимым образом, на расстоянии, недоступном личному воздействию, возникали отдельные общины и университеты в каждом отдельном случае под началом какого-нибудь случайного наставника или духовного руководителя. Как легко могло это кончиться отпадением отдельных общин! Подобно Кеннеди и Споффорду, и другие диадохи ее духовного, Александра царства могли дерзко восстать против ее владычества, ученики и врачеватели могли добиться самостоятельности!

И вот она решает, что лучше уж разрушить до основания прежний порядок и создать новый, более прочный и устойчивый во времени. Горизонтальная схема построения Christian Church\* заменяется в новом проекте как бы вертикальной, демократия в области веры — иерархией, пирамидой, где вершина власти олицетворяется ее личной волей. Все церкви, все общины Christian Science теряют, силой одного указа, свою самостоятельность; все они целиком подпадают власти наново созданной «материнской церкви», «Mother Church», и ее «pastor emeritus» (всего правильнее перевести: и ее папа), само собой разумеется, Мери Бекер-Эдди. Решения принимаются, правда, консисторией, но кто назначает ее членов? Мери Бекер-Эдди. Кто в любое время может исключить непокорных участников? Мери Бекер-Эдди. Кто может своим «veto» объявить выбор председателя недействительным? Опять-таки Мери Бекер-Эдди, которая за понятием «Mother Church» незаметным образом, но с удесятеренной силой воздействия прячет свою собственную личность.

Создается железный канон, который упраздняет отныне

---

\* Христианской церкви (англ.).

какую бы то ни было самостоятельность в пределах отдельных церквей, устраняет проповедников, имевших до сих пор возможность свободно и по собственному разумению изъяснять слушателям проблемы Christian Science, и заменяет их простыми «reader», чтецами; в церквях не могут продаваться никакие другие книги, кроме книг Мери Бекер-Эдди, и только собственные ее слова могут быть оглашаемы, с точным указанием текста, чем заранее исключается возможность ереси. Столь же планомерно видоизменяется и финансовая организация. Все денежные средства поступают отныне в фонд «материнской церкви», которым пожизненно распоряжается она одна и никто другой. Правда, и здесь pro forma\* имеется так называемый «board of directors», «совет директоров» с президентом и казначеем, но горе тому, кто пожелает действовать по-своему и не подчинится незримой и непреложной воле той, которая покинула будто бы мир! Тотчас же проклятие церкви упадет на его голову из того облака, за которое скрылась, недоступная и непостижимая, Мери Бекер-Эдди.

Совершенно ясно, какими образцами воспользовалась Мери Бекер-Эдди в этой полной перестройке своей церковной системы: англосаксонская проповедница в точности воспроизводит в своей «пирамиде власти» иерархию католической церкви. В соответствии с этим на ее долю достается в стране демократии больше власти, чем президенту Соединенных Штатов, периодически переизбираемому. Она добилась важнейших прерогатив папы, неизменяемости и непогрешимости. После столь успешного государственного переворота она уже не боится, что ее самодержавие может быть ослаблено отступничеством, потревожено мятежом, поколеблено какими-либо протестами. Она свободно может теперь выполнять внутренний свой закон: приказывать, вместо того чтобы наставлять. С громами опалы в руках, безответственная, не доступная никому, кроме благочестивых пилигримов или от-

---

\* Для формы (лат.).

дельных избранных, живет она в своем новом Ватикане, Pleasant View, в орсоле таинственности. Теперь она при жизни может стать в глазах верующих мифом, легендой, символом.

Этот исход из Бостона, за пределы будничной видимости и доступности, оказался, в психологическом смысле, безошибочным шагом. Ибо эта созданная ею самой завеса не только укрепляет ее власть, но и служит ей защитой в весьма трудных обстоятельствах. Дело в том, что за последние годы Мери Бекер-Эдди медленно и постепенно подошла к положению, своеобразию которого с трудом поддается представлению. В зените своего успеха она насчитывает от семидесяти до восьмидесяти лет, возраст, когда человек уже стар или становится старым — роковая неизбежность. И как ни поразительны ее бодрость и дееспособность воли и духа, тело врачевательницы постепенно подчиняется непреложному закону. Ноги начинают отказываться служить, зубы выпадают, изменяет слух, временами нападает, под влиянием внезапной усталости, нервное оцепенение — слабость, в которой всякая другая восьмидесятилетняя женщина признается открыто, как в естественном для ее возраста явлении. Но роковое обстоятельство, связанное со слишком громогласной проповедью ее учения! Одной женщине, одной-единственной на земле, именно ей, Мери Бекер-Эдди, изобретательнице Christian Science, ей одной среди несчетного множества миллионов других людей недозволено болеть когда-либо, явить когда-либо черты старости, ибо разве не учила она сама, что старость и умирание — это недостаток веры в Бога?

Если тридцать лет подряд человек проповедовал и трубил всем в уши, что очень легко «by mind» преодолеть все болезни, победоносно справиться, при помощи Christian Science, с заблуждением относительно старости, с «бессмыслицей смерти», то нельзя дать застигнуть себя самого в состоянии начавшейся дряхлости. Уже в последние годы некоторые смельчаки из слушателей, всякий раз когда она появлялась на кафедре в очках, задавали щекотливый вопрос, почему это представи-



тельница духовного метода исправляет свою дальнзоркость при помощи очков, то есть земными средствами, вместо того чтобы устранить ее «by mind». Насколько щекотливее был бы теперь вопрос, почему она при ходьбе пользуется палкой, почему, при ее отчаянной ненависти к докторам, она обращается к зубному врачу, а не к «mind», почему она облегчает свои боли и судороги морфием! Уже ради веры в ее собственную веру Мери Бекер-Эдди, великая изобретательница непогрешимой науки врачевания, не вправе дать повод другим к заведению: «Medica, cura te ipsam», врачевательница, исцелись сама! Поэтому Мери Бекер поступает, как всегда, наиболее умно и в данном случае, укрывая свою дряхлость за легендой о благочестивом бегстве из мира, в Pleasant View. Закрытые ставни, тщательно охраняемая садовая калитка оградят там ее личную жизнь от чужого, непосвященного взора!

Но за этими защитными ставнями Pleasant View, за очаровательно подстриженным газоном, за роскошной балюстрадой веранды, этим «любимым местом уединения», кроется на самом деле целый ад страстей. Ибо и в зените своего торжества этот непрестанно перенапрягаемый ум не находит себе успокоения; все еще мелькает по комнатам старый призрак — мания преследования; та, что лечила в своей жизни тысячи людей, все еще до конца не излечилась от ужасов воображаемого m. a. m., malicious animal magnetism. За длительными периодами душевного спокойствия следуют вновь и вновь нервные припадки особенной силы. Тогда, в самом разгаре ночи, испуганный дом сотрясается от звонков, сбегаются приближенные и пытаются ослабить бредовый экстаз или судороги Мери Бекер успокоительными речами или снимающими боль уколами.

Но в еще большей степени, чем от этих истерических припадков, страдает она в душе от своего полного и трагического одиночества. Всю свою жизнь эта жесткая, замкнувшаяся в себе натура тосковала по мужчине, к которому она могла бы приблизиться вплотную, на которого могла бы опереться, или

по меньшей мере по двум-трем духовно полноценным людям, приятным в общении. Но трагическая судьба всех деспотических натур: всегда хотят они иметь около себя людей, которых могли бы ценить, и все-таки способны выносить лишь рабов, угодливо им поддакивающих, которых они сами презирают. Так же и Мери Бекер-Эдди. Она чувствует себя чужой всем своим телохранителям и доверенным в Pleasant View: «I and my folks here are distinct, I never take them into counsel». Покорные рабы, они подчиняются ее властным и прихотливым распоряжениям, никогда не пытаюсь противоречить. Но втайне старая воительница тоскует по живому сопротивлению; ей противны эти подчиненные натуры; потрясенная, пишет она своей подруге, что отдала бы состояние за то, чтобы хоть однажды собрать вокруг себя несколько действительно интересных людей.

Но кто излучает холод, тот может ждать только холода; и стареющая женщина обречена на безнадежное одиночество. «I am alone in the world like a solitary star»\*, — она знает это, и все-таки вновь и вновь, до последнего биения своего сердца, ищет, не познав в жизни счастья, такого человека, которого могла бы любить. Трижды пыталась она осуществить это в супружестве; двое ее мужей умерли, один ее покинул. И вот, на семидесятом году жизни, вспоминает она вдруг, что где-то в мире есть у нее сын, рожденный от ее плоти. Может быть, в нем найдет она наследственного хранителя своей воли; она делает попытку и выписывает его. И тут-то грядет возмездие за старинную вину не знавшего любви материнства. На слишком долгие, преступно долгие годы отдалила она своего ребенка от себя, сдав его на руки необразованной служанке и ни разу не побеспокоившись о его воспитании; и вот стоит перед ней широкоплечий, тяжеловесный фермер с Запада, из незажиточных, и смущенно вертит в руках шляпу; необразованный, как рыба, без каких-либо духовных интересов, этот здо-

---

\*Я одна в мире, как одинокая звезда (англ.).

ровенный ком человеческого мяса благодушно, но совершенно бессмысленно вскидывает на нее свои тупые глаза, когда она заводит разговор о христианской науке. Ей противен его скверный английский язык, не то деревенский, не то извозчий, и уже через две-три недели она замечает, что он плевать хочет на ее метафизику и что ему ничего не требуется от объявившейся неожиданно матери, как только получить несколько сот долларов на ремонт своего домишки. Разом разлетается материнская греза; к ней вернулась трезвость, и она сознает, что ни одна мысль, ни одно чувство не связывают и никогда не свяжут их обоих. И мановением своей жесткой руки она спешно отправляет назад, на Запад, своего слишком поздно разысканного сына.

Всякий раз, когда он впоследствии пытается вновь повидаться со своей матерью-миллионершей, она неумолимо его отстраняет. «Я хочу иметь покой у себя в доме, — пишет она грубо в ответ, — тебе в Бостоне не понравится. Ты не такой, каким я надеялась тебя увидеть; тебе незачем приезжать». Но запоздалое материнское чувство или вытесненная, эротического характера, потребность иметь около себя мужчину помоложе, как когда-то Кеннеди и Эдди, дают еще себя знать в этой непостижимой, хладнокровной и вместе с тем чувственно раздираемой женщине. И так как в собственном сыне она разочаровалась, то ищет теперь другого.

Ко всеобщему изумлению, Мери Бекер-Эдди, в патриархальном возрасте семидесяти лет, усыновляет некоего врача, доктора Фостера, который отныне, в честь своей новой матери, именуется Фостер-Эдди; он вместе со своей венценосной матерью будет править новым королевством ее веры. Но и этот наскоро избранный наследный принц не в состоянии долго вынести гнета ее ревнивой властности; и он слишком уже любит «жизнь во плоти»; ему предъявляется обвинение в поступке довольно обыденном, — в том, что он сошелся с молодой женщиной. Тотчас же новая Елизавета, или новая Екатерина, отправляет от себя и этого последнего фаворита. И вот в

доме остается, в качестве единственного доверенного лица, некий Фрайе, покорный раб, безответный исполнитель, ведающий кассой, ведущий все ее дела; при выездах из дома он, как лакей, усаживается на козлы, а по ночам впрыскивает ей морфий — раб в ее вкусе, слепой, послушный автомат в ее руках, полностью ей преданный. Но в нем она, в свою очередь, презирает его ничтожество, его рабскую тупость и именует его «the most disagreeable man that can be found»\*.

Нет, Pleasant View никогда не был, как хочет уверить ало-розовая биография, мирным уголком; тень умершей Мери Бекер-Эдди и ныне не найдет там покоя. За его закрытыми ставнями, незримо и недоступно для мира, разыгрываются, как на безмолвном дне морском между полипами и мечом-рыбой, поразительнейшие бои. Внешне пристанище успокоения, храм тишины, священный центр паломничества, Pleasant View являет собой в действительности, как усадьба Толстого, ад человеческий, то пламенеющий страстями, то пронизанный холодом трагического одиночества, сопутствующего всякому стареющему деспоту.

Но как бы ни вибрировали в электрическом трепете ее нервы, ее величественная, титаническая воля к власти остается стальной и непоколебимой, и всякий успех служит лишь поводом к дальнейшему ее перенапряжению. После каждого извержения ее вулканического чувства кратер природного огня вздымается, в новых наслоениях, выше и выше; среди непрестанных припадков, в судорогах, созидает она невидимую свою мировую державу — гигантский труд, на протяжении восьмого десятка лет. К концу столетия движение Christian Science достигло исполинских размеров. Число учеников приближается уже к ста тысячам, состояние ее выражается миллионными цифрами, и все еще растет дело, начатое сорок лет назад в чердачной камерке башмачника; церкви из камня и мрамора возникают в городах, специальными поездами, сразу

---

\* Самым неприятным человеком, какого только можно встретить (англ.).

по десять тысяч человек, прибывают в Конкорд паломники, чтобы хоть секунду лицезреть, с балкона, глубокочтимую вчительницу. Новые общины шлют вести о своем возникновении из Англии, из Европы, из Африки; теперь уже ей лично ничего не нужно делать, все делает за нее ее ореол, механически работающее и засасывающее души внушение, столь далеко-видное организованное ее гением. Без какого-либо ее намека, без единого движения руки набирает ее ученица, Августа Стетсон, с какой-то фанатической энергией, миллион двести пятьдесят тысяч долларов, чтобы построить в Нью-Йорке, напротив Центрального парка, в самом дорогом месте города, гигантскую церковь Christian Science, вмещающую в своих мраморных стенах пять тысяч человек и, кроме того, имеющую двадцать пять приделов для целителей.

Но как раз то обстоятельство, что все произошло без ее помощи, что нью-йоркская церковь, этот величайший из видимых памятников ее триумфа, возникла без всякого ее участия, раздражающе действует на ее самолюбие. Неизменно недовольная слабыми способностями части своих учеников и друзей, неизменно ревнивая к дарованиям других, она не прощает Августе Стетсон ее успеха, не прощает того, что она превзошла свою руководительницу. Неужели этому величественному нью-йоркскому сооружению суждено затмить ее скромную бостонскую церковь, стоящую только пятьдесят тысяч долларов? Неужели вправе люди думать, что Августа Стетсон — руководительница, а она, Мери Бекер-Эдди, уже устала и на покое? Нет! Мери Бекер-Эдди не даст превзойти себя. Натура властная и деспотическая до последнего издыхания, она ни с кем не разделит славы и титула. Пусть еще раз познакомятся мир с мощью ее непреклонной воли.

И вот в 1902 году, на восемьдесят первом году жизни, Мери Бекер еще раз простирает руку. Твердой моисеевой дланью ударяет она о скалу и требует от конгресса верующих два миллиона долларов на постройку новой церкви в Бостоне. Два миллиона долларов требует женщина, которая сорок лет назад

не могла заплатить полтора доллара в неделю за комнату; два миллиона долларов, сумму, превышающую стоимость даров, когда-либо подносившихся народами этого мира королю или императору. И все же — чудо беспримерное! — Мери Бекер-Эдди приказала, и огромная сумма собрана в несколько недель. Ровно три месяца прошло с момента, как одна, отдельная женщина набросала на бумаге десять строк приказа, и уже тысячи рабочих приступают к возведению величественного сооружения.

Так же как мраморный флорентинский собор мощно пре-взошел высотой свой прообраз, прежний собор, нынешнюю Баптистерию, так и исполинский храм из белоснежного мрамора вознесся своим светозарным куполом не только над маленькой, как-то разом поблекшей «Mother Church», но и над всеми соседними зданиями и даже башнями города — красивейшее из зданий Бостона в ту пору и, несомненно, одно из самых величественных и в новейшие времена, и прежде всего замечательное как памятник духовной энергии, ибо создалось оно волей одной-единственной женщины на восемьдесят пятом году ее жизни.

В 1906 году, то есть именно на восемьдесят пятом году жизни Мери Бекер-Эдди, происходит освящение гигантского храма. Столь величественного торжества не переживал еще старый Бостон. Со всех сторон на кораблях и в скорых поездах прибывают верующие. Так как церковь вмещает только пять тысяч человек, а принять участие в священной церемонии хотят тридцать тысяч, то обряд освящения повторяется начина с пяти часов утра шесть раз. Со знаменами и хоругвями проходят делегаты из всех городов, из Гаваны, из Лондона, из Дрездена, из Парижа, из Калифорнии и Канады. Десятки ораторов всех стран сообщают на всех языках и наречиях о чудесных исцелениях Christian Science; неопровержимо свидетельствуется, какое множество людей издали с благоговением взирает на одну женщину, как на спасительницу во всех бедствиях телесных и душевных; тысячи верующих поют сно-

ва и снова сочиненный самой Мери Бекер-Эдди гимн: «Shepherd, show me how to go»\*, — детские звонкие голоса — вестники нового поколения — хором возносятся к небу, развешаются, как на празднике победы, знамена и штандарты. И действительно, со времен Елизаветы Английской и Екатерины II ни одна женщина не удостоивалась такого мирового триумфа, ни одна из них не воздвигла владычеству своему на земле столь зримого памятника, как Мери Бекер-Эдди, королева своей волей, владычица собственной державы, опирающаяся на собственную свою мощь.

## РАСПЯТИЕ

На восемьдесят пятом году Мери Бекер-Эдди достигает — подъем, ни с чем не сравнимый! — вершины власти. Гигантская церковь в Нью-Йорке, десяток церквей и университетов в Соединенных Штатах, одна в Европе, в центре Лондона, и вот теперь; вдобавок ко всему этому, двухмиллионный, затмивший своим сияющим куполом все другие здания собор-базилика в Бостоне, — какая другая женщина на земле за последние сто лет сумела стяжать себе, двумя дряхлыми руками, такую наполеоновскую мощь? Постройка этой новой церкви Св. Петра означает небывалый успех — но, может быть, слишком уж большой, слишком вызывающий успех. Ибо он привлекает к ней вдруг внимание и, прежде всего, недоверчивую настороженность страны.

До сих пор широкие общественные круги Америки сравнительно мало интересовались Мери Бекер-Эдди. Время от времени вспоминали о ее секте, но так же, как о сотне других, путали последователей Christian Science с методистами, баптистами и сторонниками других религиозных течений. Но перед этой гигантской мраморной постройкой, горделиво возвышающейся над всеми башнями и кровлями города, люди останавливаются с раскрытым ртом; ничто ведь не импониру-

---

\*Пастырь, укажи мне путь (англ.).

ет так в нашем мире чисел и цифр, как арифметическая мистика миллиона. Начинаются шепот и вопросы: что это за загадочная женщина, которой стоит только шевельнуть пальцем, написать воззвание, чтобы к ней в две-три недели притекли миллионы долларов? Кто эта волшебница, по мановению руки которой вырастают такие миллионные соборы на самых красивых и дорогих улицах Бостона и Нью-Йорка, кто она такая? Газеты чувствуют этот интерес и дают пространственные описания; тут же бьет в барабан и «Publicity office» христианской науки, чтобы использовать всеобщее любопытство в целях новых денежных сборов. Но одновременно с этим готовят свои орудия и враги, постигая опасность, грозящую им в случае дальнейшего распространения Christian Science. Марк Твен выпускает отдельной книгой свою сатиру, и наследники Квимби, привлеченные шумом, узнают, какие деньги нажила бывшая ученица их отца и деда на его инициативе. Они печатают в газетах обличающие письма и статьи, объявляют идею Christian Science плагиатом и богатство — узурпацией; одна статья следует за другой, нападки сменяются нападками. Прожектор общественности оказывается неожиданно направленным прямо на нее, и о Мери Бекер-Эдди говорят больше, чем о какой-либо другой женщине в Америке.

В день открытия бостонской базилики сто репортеров стоят наготове с вечными перьями, чтобы описать ее появление, два десятка фотографов наставили свои объективы, чтобы запечатлеть ее облик. Но увы, разочарование! В день своего высшего торжества Мери Бекер не появляется в своей церкви в Бостоне. Сначала удивляются, потом начинаются подозрительный шепот и разговоры о том, что Мери Бекер-Эдди, в честь которой выстроены все эти церкви, давно умерла, и что какая-то анонимная компания обделяет свои дела под вывеской ее фирмы. Упорное нежелание Мери Бекер-Эдди показаться миру усиливает это подозрение, ибо все, появляющиеся теперь в Pleasant View, чтобы взглянуть на нее, отсылаются под разными предложениями обратно, никому не удается проник-



нуть в ее святилище. То приближенные уверяют, что она слишком занята и не может принять, то — что у нее приезд; иной раз отказывают под тем видом, что великая наставница пребывает в состоянии религиозной углубленности и ее нельзя потревожить. Так как любопытство разгорается все неистовее, «Christian Science journal» обращается от ее имени к ее последователям с отчаянной мольбой «не заниматься ее личностью» — «to look away from personality and fix their eyes on truth». Трагическая перемена — семьдесят лет подряд хотела эта женщина только одного: чтобы мир занимался ее личностью; и вот когда ей восемьдесят пять лет, когда она устала, больна и разваливается, и впервые хочет укрыться от взоров, как раз теперь настаивает мир на том, чтобы ее увидеть.

С того дня как в Бостоне вознеслась базилика, Америка прониклась любопытством к Мери Бекер-Эдди. И подобно всем чувствам человека, любопытство имеет свой собственный орган: газету. Американский ежедневный листок масштаба «World» не потерпит, чтобы какой-то один человек в Америке сказал «нет» и отказывался принять его репортеров, в то время как полмиллиона читателей желают, наконец, знать, жива ли эта женщина, слабоумна она или владеет всеми чувствами. Редакция масштаба «World» не согласна ни от кого на свете слышать слово «невозможно»; и вот двум наиболее отчаянным и прожженным репортерам дается поручение взорвать, какой бы то ни было ценой, закрытые двери «святой святых», будь то посредством долларов или динамита, и дать точные сведения о Pleasant View и о Мери Бекер-Эдди. Оба раба, предназначенные для выполнения бичевания, уезжают, готовые на все. Сначала они обращаются к важнейшему лицу в доме, к управляющему ее финансами; тот в испуге отклоняет требование, но они наступают и грозят до тех пор, пока им не разрешают бегло ознакомиться по крайней мере с домом. Впрочем, им уже в первый день удалось установить пикантное обстоятельство, а именно, что закутанная в вуаль седая дама, совершающая каждый день в послеобеденное время прогулку

по аллеям Конкорда в экипаже Мери Бекер-Эдди, вовсе не миссис Эдди, а предназначенная для ее замены камеристка: великолепный материал! Как парни толковые, они раздувают несколько незначительных подробностей в огромную статью, где сообщают, что Мери Бекер-Эдди, верховная представительница непогрешимого метода врачевания, коей подвластна всякая болезнь, душевно и физически опустилась и является послушным орудием в руках окружающих.

Бомба взорвалась. В крайнем смущении собираются члены комитета Christian Science для обсуждения создавшегося положения. Они сразу же постигают, как тяжело пострадал бы авторитет Science, если бы действительно распространилась по всей Америке, посредством мегафона прессы, весть, что Мери Бекер-Эдди, отрицающая болезнь и старость, одряхла физически и проявляет слабость ума. И вот они умоляют руководительницу спасти веру и церковь — принять один только раз репортеров, с тем чтобы опровергнуть легенду о ее душевной расслабленности и телесном расстройстве. В этом 1906 году Мери Бекер-Эдди уже восьмидесятипятилетняя старуха. Она уплатила неизбежную дань возрасту, плохо видит, плохо слышит; во рту у нее нет ни одного зуба, ноги ей не повинуются; и для этой гордой и властной женщины нет мысли страшнее, чем явить свою дряхлость чужому, враждебному взору. Но в этой развалине жива еще в первоначальной полноте и цельности старая мощь, демоническая воля к самоутверждению. И так как дело идет о самом для нее важном, о вере в ее веру, она героически соглашается на пытку и в возрасте восьмидесяти пяти лет добровольно становится к мученическому столбу — принимает интервьюеров.

30 октября 1906 года она переживает потрясающий час. Журналисты сговорились с «board of directors» задать Мери Бекер-Эдди только четыре вопроса:

1. Совершенно ли вы здоровы?
2. Есть ли у вас другой врач, кроме Господа Бога?
3. Выезжаете ли вы ежедневно?

4. Управляете ли вы сами вашим имуществом или кто-нибудь другой ведает вашими делами?

В салон вводят девять репортеров. Там они ждут в некотором волнении. Неожиданно откидывается в сторону занавес, отделяющий соседнее помещение, и перед ними, держась за бархатную портьеру, стоит неподвижно миссис Эдди (постарались избежать зрелища ее мучительного передвижения). Ее ввалившись щеки нарумянены, пергаментная кожа напудрена, горностаевый палантин прикрывает блеклые плечи, бриллиантовое кольцо болтается на морщинистой шее. Всех бросает в дрожь перед этим взнузданным перед боем призраком, перед этим мертвым Сидом в снаряжении живого, перед разукрашенной и расцвеченной мумией. На один миг воцаряется в салоне тяжелое, почти участливое молчание. Потом выступает репортерша — выбрали из деликатности Сибил Вильбер, впоследствии составителницу ало-розовой биографии — и бичевание начинается вопросом:

— Совершенно ли вы здоровы, миссис Эдди?

Лицо восьмидесятипятилетней женщины напрягается. Звук не поколебал утратившую упругость барабанную перепонку. Она не поняла.

— What... what?\* — спрашивает она.

Еще раз, громче, почти крича, повторяет репортерша условленный вопрос. Теперь миссис Эдди поняла и отвечает:

— Да, да, я здорова.

При втором вопросе: «Есть ли у вас другой врач, кроме Господа Бога?» — слух опять изменяет. Приходится повторить вопрос громче. И она лепечет тихо, сопровождая ответ энергичным жестом отрицания (хотя в данное время ее пользует зубной врач):

— Нет, нет! Его всемогущая десница на мне!

На третий вопрос: выезжает ли она ежедневно, она, собравшись с последними силами, отвечает утвердительно (равным

---

\*Что... что? (англ.)

образом — неверно). Но на четвертый: управляет ли кто-либо ее имуществом, она не в силах ответить. Нервная дрожь пробегает по телу, шляпа с большими перьями начинает раскачиваться на голове из стороны в сторону, вся фигура колеблется, — еще миг, и она упадет без чувств. Разом подбегают друзья и уводят ее прочь. Этим мгновением пользуется один из беззастенчивых палачей, чтобы подступить к ней вплотную и заглянуть вблизи в одряхлевшее, напудренное и накрашенное лицо с остановившимся взором (лишних тридцать строчек!). Его торопливо отталкивают. Этим кончается интервью; Мери Бекер-Эдди прошла первую стадию пытки.

Но и от второй она не избавлена. Интервью «удалось». Мир знает теперь, что Мери Бекер-Эдди существует, и любопытство разгорается с новым неистовством. Тотчас же редакция требует для ненасытных своих гигантских столбцов добавочных порций этого лакомства — Мери Бекер-Эдди и *Christian Science*, — она требует материала, материала, интересных, возбуждающих подробностей, захватывающих анекдотов из жизни женщины, которая сама хочет только покоя и забвения. Десяток репортеров, вооруженных чековыми книжками, рассылаётся по стране, чтобы проследить, где только можно, прошлое Мери Бекер-Эдди. Прощупывают каждую квартиру, в которой она когда-либо жила, фотографируют бывших ее учеников в Линне, интервьюируют их, тащат к нотариусу, чтобы они протоколом подтвердили свои показания; снимают копии с запылившихся документов, спрашивают ее врагов и друзей, перепечатывают с торжеством газетные статьи стародавних времен Квимби.

При этих обстоятельных поисках один из посланцев открывает, неожиданно для себя, чрезвычайную сенсацию; он открывает, что у святой есть сын, родной сын, начисто забытый, покинутый и презираемый, Джордж Глоуер; он живет где-то на Западе, в самых стесненных обстоятельствах, в то время как его мать одними своими сочинениями зарабатывает четыреста тысяч долларов в год. Какая находка для газеты! Теперь придется Мери Бекер-Эдди уплатить свой материнский долг с

процентами и процентами на проценты; придется ответить за то, что она навязала его чужим людям и десятилетиями о нем не вспоминала. И вот у забывчивой матери налицо все поводы к тому, чтобы раскаяться в постоянных своих отказах в ответ на его скромные просьбы о деньгах. Ибо некий прожженный адвокат, сенатор Чендлер, спешно, экспрессом устремляется к сыну и натравливает его на мать, у которой миллионное состояние и которая, впад будто бы в слабоумие, находится в руках целой шайки. Он-де один имеет все права на ее деньги; пусть он подаст жалобу в суд, это ничего не будет стоить; пусть уж он положится на него, Чендлера. Для бедного Глоуера, который никогда не имел сколько-нибудь правильного представления о богатстве своей матери, эта весть звучит как ангельская музыка. Конечно, он покажет этим бандитам, преграждающим ему путь к родной матери! В прошлом году, когда он просил пятьсот долларов для больной своей жены, один из этих негодяев, конечно, припрятал его письмо. И тотчас же он пишет, под диктовку поверенного, спокойное и вежливое письмо, сообщая, что собирается посетить дорогую свою мать.

Это письмо производит в Pleasant View впечатление землетрясения. С первого же мгновения руководители комитета Christian Science постигают ту опасность, которая грозит всему религиозному тресту, если жестокосердие Mother Mary станет достоянием гласности и если оглашены будут на суде ее неприятные по содержанию, грубые письма к сыну. Черт возьми, от этого ореол святости основательно поколеблется; мать, которая несколько десятков лет не заботится о законном своем, в браке прижитом ребенке! Только не процесс! Лучше помириться, лучше заплатить! Тотчас же навстречу Джорджу Глоуеру посылается гонец, который должен отобрать у него письма, столь мало похожие на материнские. Но прожженный адвокат весьма осторожно припрятал эти письма в безопасном месте; нет, заявляет он яростно, теперь мы разоблачим эту шайку из Pleasant View. По шкале цифр можно проверить, какой лихорадочный страх трясет руководящую группу

Christian Science. Ибо тот самый правитель финансовых дел, Фрайе, который отказал Джорджу Глоуеру в жалких пятистах долларах для больной его жены, теперь вдруг согласен выложить ему на стол сто двадцать пять тысяч долларов, — да, 125 000 долларов, — если он оставит жалобу при себе.

Но уже поздно, газеты и поверенный не хотят упустить процесса. Еще раз трагическая перемена: тридцать лет подряд громоздила Мери Бекер-Эдди один процесс на другой, из дикого упрямства и болезненной уверенности в постоянной своей правоте; целые груды документов хранятся в Линне и в Эмсбери как свидетельство ее неукротимого, непреклонного сутяжничества; а теперь, когда она, смертельно усталая и больная, во что бы то ни стало хочет избежать открытой тяжбы, она навязывается ей насильно и частный иск раздувается в целый процесс против христианской науки. Готовится вторая стадия пытки. Сенатор Чендлер заявляет перед судом, что изобретательница Christian Science, «pastor emeritus», слабоумная женщина, и в качестве аргумента в пользу этой «dementia»\* не только ссылается с особой жестокостью на ее преклонный возраст, но и утверждает, что распространяемое ею учение само по себе является лучшим доказательством ее помешательства, «delusion».

«Мир, — так начинает мистер Чендлер свою аргументацию, — известен астрономам, геологам, физикам, химикам, естествоиспытателям и законодателям страны. А миссис Эдди между тем, под влиянием своего безумия (delusion), уверяет, что мира не существует». Эта бредовая мысль, продолжает он, ведет и к другим бессмыслицам, как-то: к утверждению, что она, чудесным и сверхъестественным образом, избрана Богом для того, чтобы воспринять его откровение и дать миру новый и непогрешимый способ лечения болезней. Он издевается и глумится над ее патологической верой в malicious animal magnetism, над ее смехотворной боязнью черта, и утверждает

---

\* Слабоумия (англ.).

ет, опираясь на множество частных, что эта «dementia» с годами прогрессирует. Впервые Мери Бекер-Эдди соприкасается со скальпелем правосудия и немилосердным образом подвергается вскрытию на глазах широкой общественности.

Суд не выносит определенного решения. Он вполне основательно воздерживается от того, чтобы предвзято трактовать учение Christian Science как знак «insanity»\*, а саму Мери Бекер-Эдди — как помешанную; он корректным образом постановляет произвести сначала судебнопсихиатрическое освидетельствование ее умственных способностей. Два члена суда командированы к миссис Эдди, два члена суда и — ужасающее оскорбление! — один врач-психиатр, который *ex officio*\*\* должен установить, страдает ли учредительница величайшей религиозной общины в Америке, изобретательница Christian Science паранойей или нет.

Теперь Мери Бекер-Эдди ждет третья, самая мучительная стадия пытки. В марте 1907 года восьмидесятишестилетняя женщина вынуждена принять у себя в доме психиатра и обоих членов суда. Но даже в состоянии упадка и разрушения эта стальная женщина являет себя величественной, коль скоро речь идет о ее вере, о деле ее жизни. Опасность неизменно извлекает из ее больного, надломленного тела последние неожиданные запасы энергии; и в этот решающий час она еще раз проявляет полную ясность и мощь. Целый час подряд задают ей вопросы, и притом не по поводу духовных и метафизических проблем; ей ставятся типично психиатрические вопросы — сколько деревьев у нее в саду, испытывают ее в отношении хронологических дат и чисел; ее, проповедницу нереальности всего земного, спрашивают, — ужасающая ирония! — как она помещает свои деньги, предпочитает ли она счет в банке, или городской заем, или государственные бумаги. Мери Бекер-Эдди собрала остатки сил, она отвечает твердо и ясно. Мучители застали ее в надлежащий миг, и сознание,

---

\*Сумасшествия (англ.).

\*\*Официально (лат.).

что от нее зависит спасение или гибель ее дела, заставляет сосредоточиться ее слабый и затуманенный рассудок. Врач и двое судей удаляются, не высказав своего заключения; их окончательное решение было бы, вероятно, в пользу отважной женщины.

Но друзья Мери Бекер-Эдди не хотят нового процесса, они настаивают на соглашении. И вот поверенные обеих сторон усаживаются в конце концов за стол и торгуются относительно суммы отступного в пользу Джорджа Глоуера. Представители миссис Эдди предлагают ее сыну двести пятьдесят тысяч долларов и приемному сыну доктору Фостеру — пятьдесят тысяч долларов, если они сразу же возьмут жалобу обратно. По счастью, Джордж Глоуер объявляет себя удовлетворенным суммой в четверть миллиона; единственно благодаря этому примирению в последний, двенадцатый час потомство не дождалось от американского суда курьезного решения на тему: является ли Christian Science боговнушенной или она — продукт паранойи.

После такого троекратного бичевания Мери Бекер-Эдди лишается последних сил. Нервы ее пылают, возобновляются старинные бредовые представления о malicious animal magnetism, ибо невозможно было, по ее мнению, естественным путем создать вокруг нее такую травлю. За этим преследованием скрывается ненависть месмерианцев, их зловредный магнетизм. Опять овладевает ею старый бред преследования, в патологической форме. Внезапно Мери Бекер-Эдди объявляет, что она и дня больше не может выдержать в Pleasant View, она не может ни дышать здесь, ни спать, ни жить, она должна уехать прочь отсюда, во что бы то ни стало, и сразу же прочь из этого отравленного магнетизмом дома. Если Мери Бекер-Эдди требует чего-либо, то и самое бессмысленное ее желание превращается для рабов в закон. Со страхом и втайне трепеща подчиняются они ее лихорадочному бреду.

Наскоро посланные агенты покупают за сто тысяч долларов новую виллу в Честнет-Гилле близ Бостона, и так как



Мери Бекер-Эдди ни дня больше не хочет оставаться в своем «отравленном» доме в Pleasant View, то нанимают семьсот рабочих, которые в сумасшедшем темпе работают день и ночь посменно, чтобы только двумя часами раньше предоставить возможность переселиться одержимой нервами женщине. Но как изменились времена! Этот исход из одной резиденции в другую совершается отнюдь не так, как некогда выезд из Линна, когда ее выгнали на улицу и бросили ей вслед ее деревянный чемодан; теперь в правлении дороги заказывается специальный поезд, и мало того, впереди этого поезда — только русский царь из всех монархов мира позволял себе эту предосторожность, эту роскошь! — впереди этого поезда следует отдельный паровоз. Позади следует другой, чтобы исключить всякую возможность крушения и сохранить для мира на возможно долгий срок эту драгоценную жизнь. Ибо в патологическом бреде по поводу жизненного магнетизма несчастная, даже в поезде, боится смертоносного воздействия своих врагов. К вечеру она прибывает в новое свое пристанище, в Честнет-Гилль. И начиная с этого дня, прежний Ватикан, Pleasant View, священное место, куда притекали сотни тысяч благоговейных паломников, покинут навсегда.

Но удивительное дело, в Честнет-Гилле туман еще один раз спадает с ее помраченных чувств, еще раз собирается воедино ее прежняя, несокрушимая сила. Одна страсть остается до последнего издыхания живой в этой женщине — гигантская воля к самоутверждению. Кто восстал против нее, должен склониться! Сила ополчилась на ее силу, воля — на ее волю: газета, ежедневная газета! А она не терпит никакой силы помимо себя и наравне с собой. Мечь должна свершиться над репортерами, мечь над редакторами и собственниками газет. Они должны почувствовать, что во всей стоимиллионной стране одна Мери Бекер-Эдди от них не зависит: она создаст свою собственную газету! 8 августа 1908 года выпускается булла на имя доверенных по управлению ее имуществом: «Я хочу, чтобы вы теперь же приступили к изданию ежедневной газеты и назвали ее «Christian Science Monitor». Не медлите».

Когда Мери Бекер-Эдди велит торопиться, все делается как по волшебству. 19 сентября сторонникам христианской науки предлагают открыть подписку, причем ни одним словом не поясняется, на что именно. Но призыва волшебницы достаточно. Тотчас же начинают притекать деньги.

В кратчайший срок сносятся жилые дома по соседству с базиликой, чтобы очистить место для новой постройки, будущего здания газеты; закутанные в непромокаемую парусину, чтобы никто преждевременно не догадался о тайне, подвозятся на место гигантской постройки ротационные машины. И потом, 25 ноября, совершенно неожиданно для всех, выходит первый номер ее ежедневной газеты «Christian Science Monitor», существующей и до сих пор; впрочем, чтобы воздать должное истине, нужно сказать, что это превосходная, блестяще осведомленная, в культурном отношении особенно высоко стоящая газета, которая дает беспристрастную информацию о всех областях жизни — о политике, литературе, спорте и биржевой сфере — и которая отмечает свою принадлежность к Christian Science только той симпатичной особенностью, что, в противоположность большинству газет, по возможности исключает из своего кругозора всякие отвратительные и отталкивающие явления, как-то: убийства, эпидемии, скандальные происшествия и преступления и вместе с тем подчеркивает все благотворное, все чистое и бодрящее — тенденция, счастливым образом воплощающая жизненные стороны Christian Science, без досадных крайностей ее догмы.

Держава, таким образом, утверждена. Оглядываясь назад, восьмидесятисемилетняя может быть довольна. Все ее противники побеждены или исчезли; Споффорд, и Кеннеди, и отступивший от нее муж Паттерсон живут где-то во мгле, безымянные и никому не ведомые, в то время как ее имя с каждым днем возносится ввысь в новом ореоле. Науке, с которой она боролась, она противопоставила свою собственную науку, университету — университет, церквам — свою церковь, газетам — свою газету; то, что весь мир считал бредом, личной ее нелепой фантазией, укоренилось, как неотторжимое убежде-

ние, в сотнях тысяч душ. Она всего достигла, чего только можно достигнуть: вся сила земной власти, власти над эпохой досталась ей. И один только вопрос тревожит еще женщину преклонных лет: что делать с этой властью? кто ее унаследует, кто будет править ею?

Взоры всех в общине давно уже обращены к одной, к вернейшей и преданнейшей из ее учениц, к Августе Стетсон, невероятная энергия которой покорила самый важный город, Нью-Йорк, и которая собрала на нужды святого дела больше миллионов, чем другие целители и ученики. Но Мери Бекер-Эдди ревнует даже и посмертное свое будущее. Как раз женщине, как раз одаренной женщине не согласна она оставить свое высокое наследие; ничье имя не должно иметь для Christian Science значения в настоящем и в будущем, кроме ее. И вот на восемьдесят девятом году своей жизни — да, на восемьдесят девятом! — она, только для того, чтобы на вечные времена не допустить избрания Августы Стетсон, только для того, чтобы та не могла стать наследницей, торопливо изгоняет из церкви, своими дряхлыми и расслабленными руками, вернейшую, способнейшую свою ученицу. За всю ее непреклонную жизнь ее самолюбие не выносило никого, кто стоял бы на одном уровне с ней, — так будет и во веки веков! Уж лучше она швырнет свое наследие какой-нибудь безымянной, чем свяжет его с чужим именем. И действительно, только одно-единственное имя признается отныне ее приверженцами — имя Мери Бекер-Эдди.

Вплоть до восемьдесят девятого года жизни всеяла борьба в эту неукротимую женщину новую и новую силу. Но теперь ей не с кем больше бороться. И тут берут над ней наконец верх старость, которую она тщетно отрицала, и непреодолимый закон действительности. Она уходит из мира, тело разрушается, или, выражаясь в ее стиле, «тленный сон о жизни, сущности и духе теряет в материи свою силу». И 4 декабря на подушках ее постели недвижно покоится «смертная оболочка, покинутая верой», труп Мери Бекер-Эдди. Единственно смерть могла сломить это стальное сердце.

Но для верующих ее общины всякая смерть означает не исчезновение, а переход в недоступное восприятию состояние. Без всякого пафоса и видимого волнения, как нечто незначительное и случайное, провозглашают в церквях Christian Science с кафедры, что Мери Бекер-Эдди, в возрасте девяноста лет, «сокрылась за пределы нашего кругозора». Не устраивают никакого официального поминовения, никакой пышной церемонии. И лишь небольшая кучка избранных принимает участие в простом, как бы безымянном погребении, которому стараются придать характер незаметности и незначительности, потому что для верующего последователя Science смерть не означает конца и разрушение тела не есть изменение по существу. Так называемую покойницу, «so called dead», кладут в стальной гроб, гроб опускают в землю, и могилу бетонируют. В продолжение двух дней, пока цемент не затвердел и стал непроницаемым, у могилы стоят на страже люди; вожди церкви сами поставили их в противовес чрезмерному фанатизму некоторых последователей Мери Бекер-Эдди, ожидающих, что она, как Христос, поднимет могильную плиту и воскреснет на третий день. Но не происходит никакого сверхъестественного знамения. Чуда больше не требуется. Ибо успех ее жизни и учения, необъяснимый до конца путем рассудочным, сам по себе принадлежит к чудеснейшим явлениям нашей бедной чудесами и потому утратившей веру эпохи.

## ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ

Под гнетущим впечатлением несравненного триумфа Christian Science Марк Твен обращается в конце столетия со своим отчаянным призывом ко всем американцам. Если не оказывать должного сопротивления, то в два-три года это лжеучение завоюет всю страну, весь мир, ибо, — справедливо, как всегда, аргументирует серьезно настроенный на этот раз юморист, — Christian Science это типичная наука для простаков, а так как четыре пятых человечества заведомо принадлежат к нищим духом, то этой метафизической чепухе обеспечена

победа. Само собой разумеется, несколько преждевременное предсказание Марка Твена оправдалось в столь же слабой степени, как и мессианская вера последователей Science в то, что учение их «откроет новую эру в мировом прогрессе». Christian Science не побеждена, но и не победила; она неприменно, с вложенным в ножны мечом, приспособилась к миру и к мировой науке; обычная судьба всех духовных революций!

Всякое движение в области веры, после периода начального избытка сил, переходит в более умеренную стадию, когда движения веры уже нет, когда она костенеет, обретая в творческом тумане очертания, превращаясь из живого организма в организацию; так было и с учением Мери Бекер-Эдди. До сих пор еще сотни тысяч разделяют это мировоззрение; число приверженцев Мери Бекер-Эдди, весьма вероятно, даже возросло после ее смерти. Но решающее значение имеет то обстоятельство, что наличие и непосредственная близость этих сотен тысяч не имеют ровно никакого влияния на миллионы остальных людей; тот буйный поток, что, неистово пенясь, грозил во времена Мери Бекер-Эдди опасностью пределам самой науки, течет ныне бесшумно в отведенных ему государством границах.

Все еще устраивают последователи Science свои благочестивые сборища, все еще читаются в тех же церквях те же тексты «Science and Health», ежедневная газета «Christian Science Monitor» все еще выходит в колоссальном числе экземпляров, но этот глашатай не зовет уже в бой против «physiology», он благородным образом уклоняется от всякой борьбы, всякой распри. Не слышно больше ничего о процессах, о шумных столкновениях, и громовый громкоговоритель publicity замолк, уступив место неслышной агитации из уст в уста; со смертью великого конкистадора учение ее полностью утратило боевые черты своего темперамента. Мирно орудует в наши дни «healer», врачеватель Christian Science бок о бок с дипломированным врачом; новый метод религиозного внушения проникает, без каких-либо трений, в систему современ-

ной психологии и психиатрии; подобно бесчисленным другим революционным теориям, и эта теория весьма благоразумно ограничила себя более узкими пределами. Она не пробилась дальше Christian Science и не иссякла; она застыла, претворилась из пламенеющей мощью формы в формулу. После первого, бурного извержения вулканической души Мери Бекер-Эдди лава затвердела, и у потухшего кратера мирно ютится община верующих.

Но никакая сила из тех, что создали когда-то массовое психическое движение, не пропадает бесследно для вселенной нашего духа; ни одна мысль человеческая, пусть она даже далеко ушла за пределы разумного, не теряет в веках своей творческой мощи. Идея Мери Бекер-Эдди не погибла полностью вместе с ее личностью. Уже давно полагали в Америке, что спор относительно Christian Science, относительно лечения верой, кончен навсегда, как вдруг возвращается откуда-то с дальних берегов Европы медленно докатившаяся туда волна; теория Куэ вновь ставит перед наукой проблему Мери Бекер-Эдди о возможности преодоления болезни верой.

Под несомненным влиянием идеи Christian Science аптекарь из Нанси вручает дело исцеления болезни самому человеку; он выключает даже требуемый Мери Бекер-Эдди промежуточный контакт — целителя, посредника между пациентом и его страданием: путем раздвоения личности он отводит одному и тому же индивидууму роль субъекта внушающего и роль воспринимающего внушение субъекта. Но, совмещая, подобно своей предшественнице, волю к исцелению с волей самого человека, он является, по отношению к этой отважной воительнице во имя свехрассудочного, глашатаем ее и последователем. И если даже односторонним положениям учения Мери Бекер-Эдди суждено в будущем претерпеть изменения или даже быть вовсе отвергнутыми, то решающим для ее мирового значения в области психологии остается одно: проблема лечения верой, столь резко поставленная этой женщиной перед человечеством, не может отойти в прошлое. Своей деятельностью эта ненавистница всяческой учености снискала

себе, вне зависимости от правильности или неправильности своих идей, прочное место в ряду провозвестников новых путей в психологии и еще раз доказала, что в пределах истории духа чуждое учености и выучки неистовство человека посвященного может иметь столь же важное значение для развития идей, как и всяческая ученость и премудрость. Ибо создать творческое беспокойство — это уже одно является первым испытанием для всякой заново оформившейся мысли. Тот, кто хватается через край, — и именно он, двигает дело вперед. Даже и заблуждение, в силу своей крайности, способствует успеху. Всякая вера, внушенная человеком человечеству силой его душевного напора, истинная или ложная, ведущая к победе или обреченная на неуспех, расширяет пределы духовного нашего мира и сдвигает в сторону отслужившие веки.





## ЗИГМУНД ФРЕЙД

Если тайная игра силы чувственного влечения кроется в тусклом свете обычных аффектов, то тем нагляднее, явственнее и огромнее проявляет она себя в состоянии бурной страсти; тонкий наблюдатель человеческой души, знающий, в какой мере можно, собственно, рассчитывать на механику обычной свободы воли и до какой степени дозволено мыслить аналогиями, извлечет из этой области немало опыта для своей науки и переработает его применительно к запросам нравственной жизни... Если бы явился, как в других областях природы, новый Линней, который бы стал классифицировать по влечениям и склонностям, как бы мы изумились...

*Шиллер*

## ПОЛОЖЕНИЕ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

Сколько истины может вынести дух, на какую степень истины он отваживается? Это становилось для меня все больше и больше мерилом ценности. Заблуждение (вера в идеал) не слепота, заблуждение — трусость. Всякое достижение, всякий шаг вперед в познании вытекают из мужества, из жесткости по отношению к себе, из чистоплотности по отношению к себе.

*Ницше*

**В**ернейшим мерилом всякой силы является сопротивление, которое она преодолевает. И труд Зигмунда Фрейда, труд разрушения и созидания заново, становится понятным лишь в его сопоставлении с предвоенной ситуацией в области психологии, с тогдашними взглядами — или, правильнее, с отсутствием всяких взглядов — на мир человеческих инстинктов. В наши дни



фрейдовские мысли — двадцать лет назад еще богохульные и еретические — свободно обращаются в крови эпохи и языка; отчеканенные им формулы кажутся сами собой понятными; требуется, собственно говоря, большее напряжение для того, чтобы мыслить вне их, чем для того, чтобы мыслить ими. Таким образом, именно потому, что нашему двадцатому столетию непонятно, почему это девятнадцатое так яростно противилось давно уже назревшему открытию движущих сил души, необходимо осветить установку тогдашнего поколения в вопросах психологии и потревожить в гробу смехотворную мумию предвоенной нравственности.

Презирать тогдашнюю мораль — а наша молодежь слишком жестоко за нее поплатилась, чтобы можно было не питать к ней искренней ненависти — не значит еще отрицать само понятие морали и ее необходимость. Всякое сообщество людей, связанных религиозными или гражданскими узами, считает себя вынужденным, ради самоутверждения, ограничивать агрессивные, сексуальные, анархические тенденции отдельных личностей, ставить им преграды и отводить их течение при помощи той плотины, которая именуется нравственным правилом или гражданским законом. Само собой разумеется, что каждая из этих групп создает для себя особые нормы и формы нравственности; начиная от первобытной орды и кончая веком электричества, каждое сообщество стремилось подавлять первобытные инстинкты при помощи своих, особых приемов. Жесткие цивилизации прибегали к жесткой силе: эпохи лакедемонская, древнеиудейская, кальвиновская и пуританская пытались выжечь извечный инстинкт сладострастия раскаленным железом. Но, жестокие в своих предписаниях и запрещениях, эти драконовские законы служили все какой-то логической идее. А всякая идея, всякая вера освящают до некоторой степени допущенное ради них насилие. Если Спарта требует нечеловеческой дисциплины, то лишь в интересах воспитания расы, мужественного, воинственного поколения; с точки зрения ее идеального «города»,

идеального общества, всякая свободно изливающаяся чувственность представляется хищением государственной мощи.

Христианство, в свою очередь, борется с плотскими устремлениями человека ради одухотворения, ради спасения вечно заблуждающегося человеческого рода. Именно потому, что церковь, обладающая высшей психологической мудростью, знает плотскую, адамову страстность в человеке, она насильственно противопоставляет ей, как идеал, страстность духовную; при помощи костров и темниц рушит она высокомерие своевольной человеческой природы, чтобы способствовать душе в обретении ее высшей, изначальной родины; жесткая логика, но все же — логика. Здесь и повсюду практика морального законодательства вытекает еще из твердого миро-созерцания. Нравственность является осязаемой формой неосязаемой идеи.

Но во имя чего, ради какой идеи требует девятнадцатое столетие, с давних пор только внешне благочестивое, вообще какой-либо узаконенной нравственности? Чувственное, грубо материалистическое и падкое до наживы, без тени религиозной воодушевленности, характерной для прежних благочестивых веков, провозглашающее начала демократии и права человеческие, оно не может даже сколько-нибудь серьезным образом оспаривать у своих граждан право на свободу чувственности. Кто начертал единожды на знамени культуры слово «терпимость», тот уже не имеет права вмешиваться в моральные воззрения индивидуума. В действительности и новейшее государство ничуть не беспокоится, как некогда церковь, о подданных; единственно закон общественности настаивает на соблюдении внешних приличий. И не требуется, таким образом, действительной морали, подлинно нравственного поведения, требуется только видимость морали, порядок, когда каждый на глазах у каждого поступает «словно бы». А в какой мере отдельный человек ведет себя, в дальнейшем, действительно нравственно, остается его частным делом; он не должен только дать себя застигнуть врасплох при нарушении благопристой-

ности. Может случиться всякое, и даже многое может случиться, но все это не должно вызывать никаких толков.

Можно, следовательно, в строгом смысле выразиться так: нравственность девятнадцатого столетия вовсе не касается существа проблемы. Она от этой проблемы уклоняется и все свои усилия сосредоточивает на ее обходе. Единственно благодаря безрассудной посылке «если что-либо прикрыть как следует, то оно не существует», мораль нашей цивилизации, в трех или четырех поколениях, противостояла всем нравственным и сексуальным проблемам или, вернее, уклонилась от них. И жестокая шутка нагляднее всего уясняет действительное положение: не Кант дал направление нравственности девятнадцатого века, а «cant»\*.

Но как могла такая трезвая, такая рассудочная эпоха запутаться в дебрях столь нежизненной и несостоятельной психологии? Как случилось, что век великих открытий, век технических достижений снизошел в своей морали до столь откровенного фокусничества? Ответ простой: именно в силу того, что он возгордился своим разумом, в силу высокомерия своей культуры, в силу избыточно оптимистичного отношения к цивилизации. Благодаря неожиданным успехам науки девятнадцатое столетие отличалось каким-то рассудочным головокружением. Все, казалось, рабски покоряется власти интеллекта. Каждый день, каждый час мировой истории приносили известия о новых завоеваниях научного духа; укрощались все новые и новые, непокорные дотоле стихии земного пространства и времени; высоты и бездны раскрывали свои тайны планомерно испытующему любопытству вооруженного взора человеческого; повсюду анархия уступала место организации, хаос — воле расчетливого рассудка.

Почему бы, при этих условиях, не взять было верх земному разуму над анархическими инстинктами в крови человека, не поставить на место разнузданные первобытные влечения?

---

\* Святошество, лицемерие.

Ведь вся главнейшая работа в этой области давно уже проделана, и если время от времени и вспыхивает еще что-то в крови современного, «образованного» человека, то это всего только бледные, немощные зарницы отгремевшей грозы, последние содрогания старого умирающего зверя. Еще два-три года, еще два-три десятка лет, и то человечество, которое столь величаво возвысилось от каннибализма к гуманности, к социальному чувству, очистится пламенем своей этики и освободится и от этих остаточных тусклых шлаков; поэтому нет никакой надобности даже вспоминать вообще об их существовании. Только не привлекать внимания людей к области пола, и они о ней забудут. Только не дразнить разговорами, не пичкать вопросами древнего, посаженного за железную решетку нравственности зверя, и тогда он станет ручным. Только проходить побыстрее, отвратив взоры, мимо всего щекотливого, поступать так, как будто ничего нет, — вот и весь кодекс нравственности девятнадцатого столетия.

В этот планомерный поход против искренности государство мобилизует, согласованным порядком, все зависящие от него силы. Все — искусство и наука, мораль, семья, церковь, начальная школа и университет — все получают одинаковую инструкцию относительно ведения войны: уклоняться от всякой схватки, не приближаться к противнику, но обходить его на далеком расстоянии, ни в каком случае не вступать в настоящую дискуссию. Борются отнюдь не при помощи аргументов, но молчанием, только бойкотировать и игнорировать. И чудесным образом послушные этой тактике, все духовные силы культуры, рабски ей преданные, отважно проделали лицемерный церемониал обхода проблемы. В течение целого столетия половой вопрос находился в Европе под карантином. Он не отрицается и не утверждает, не ставится и не разрешается, он потихоньку отставляется за ширмы. Организуется громадная армия надсмотрщиков, одетых в форму учителей, воспитателей, пасторов, цензоров и гувернанток, чтобы оградить юношество от всякой непосредственности и плотской ра-

дости. Ни одно дуновение свежего воздуха не должно коснуться их тела, никакой разговор, никакое разъяснение не должны потревожить их душевного целомудрия.

И в то время как раньше и повсюду, у всякого здорового народа, во всякую нормальную эпоху достигший зрелости отрок вступает в возраст возмужалости, как на праздник, в то время как в греческой, римской, иудейской цивилизациях и даже у всех нецивилизованных народов тринадцатилетний или четырнадцатилетний отрок открыто принимается в сообщество познавших жизнь — мужчина в ряду мужчин, воин в ряду воинов, — убогая педагогика девятнадцатого века, искусственным и противоестественным образом, преграждает ему доступы ко всякой искренности. Никто не говорит свободно в его присутствии и таким путем не освобождает его. То, что ему известно, он может знать только по уличным разговорам или из пересказа товарища постарше, шепотом, на ухо. И так как каждый, в свою очередь, решается передавать дальше эту натуральнейшую из наук опять-таки только шепотом, то всякий подрастающий, сам того не сознавая, служит, в качестве пособия, этому культурному лицемерию.

Следствием такого целое столетие упорно дльщегося заговора — прятать свое «я» и его замалчивать — является беспримерно низкий уровень психологической науки, наряду с чрезвычайно высокой культурой интеллекта. Ибо как могло бы развиться глубокое понимание душевных явлений без искренности и честности, как могла бы распространиться ясность, когда как раз те, кто призваны сообщать знание, — учителя, пасторы, художники и ученые — сами являются лицемерами от культуры или неучами? А невежественность всегда влечет за собой жестокость. И вот насылается на юношество безжалостное в силу своего непонимания поколение педагогов, причиняющее непоправимый вред детским душам вечными своими приказами быть «моральными» и «владеть собой». Мальчики-подростки, прибегающие, под гнетом полового созревания и в силу незнакомства с женщиной, к единственно возможно-

му для них способу облегчения своего физического состояния, получают от этих «просвещенных» менторов мудрые, но опасно ранящие душу указания, что они предаются ужасному, разрушительно действующему на здоровье «пороку»; таким образом, их насильственно отягощают чувством неполноценности, мистическим сознанием вины. Студенты в университете (я сам еще пережил это) получают от того сорта профессоров, которых любили в те времена обозначать эффектным словом «прирожденные педагоги», памятные записки, из которых они узнают, что всякое половое заболевание, без исключения, «неизлечимо».

Из таких орудий палит тогдашняя неистовая мораль, ничуть не задумываясь, по человеческим нервам. Таким мужицким, железом подкованным сапогом топчет педагогическая этика душевный мир подростка. Неудивительно, что благодаря этому планомерному насаждению чувства страха в нестойких еще душах что ни миг грохочет револьвер, неудивительно, что в результате этих насильственных оттеснений колеблется внутреннее равновесие несчетного числа людей и создается целыми сериями тип неврастеника, всю жизнь влачащего в себе свои отроческие страхи. Беспомощно блуждают тысячи таких пришибленных моралью лицемерия от одного врача к другому. Но так как в то время медики не умеют еще прощупать болезнь в ее корне, а именно в области пола, и психологическая наука дофрейдовской эпохи, в силу этической благовоспитанности, не решается проникать в эти таинственные, обреченные на замалчивание зоны, то и врачи оказываются в полной мере беспомощными перед лицом таких пограничных состояний. С чувством неловкости направляют они этих душевно расстроенных в водолечебницы, как еще не созревших для клиники или сумасшедшего дома. Пичкают их бромом, обрабатывают им кожу электровибрацией, но никто не решается доискиваться подлинных причин.

Еще больнее ранит это непонимание людей, ненормально предрасположенных. Заклейменные наукой как этически не-

полноценные, как отягченные наследственностью, трактуемые государством как преступники, влачат они за собой свою тайну, как незримое иго, всю жизнь, под постоянной угрозой вымогательства и тюрьмы. Ни у кого не находят они ни помощи, ни совета. Ибо если бы в дофрейдовские времена предрасположенный к гомосексуализму обратился к врачу, то господин медицинский советник возмущенно насупил бы брови по поводу того, что пациент дерзает лезть к нему с таким «свинством». Такого рода интимности не подходят для приемного кабинета. Куда же они подходят? Куда подходит человек с расстроенным жизнеощущением, человек, идущий неверным путем? Какая дверь раскроется перед миллионами этих людей, ждущих помощи и облегчения? Университеты уклоняются, судьи цепляются за статьи законов, философы (за исключением одного лишь отважного Шопенгауэра) предпочитают вовсе не замечать наличия в их благоустроенном мире этой формы эротического отклонения, которую, однако, безусловно понимали прежние культуры, общественность судорожно закрывает глаза и объявляет все щекотливое не подлежащим обсуждению. Только ни слова об этом в газетах, в литературе, никаких научных дискуссий: полиция осведомлена, и этого достаточно. А то обстоятельство, что в непроницаемой оболочке этого тайнодействия задыхаются сотни тысяч замурованных, столь же известно, сколь и безразлично высоконравственному и высокотерпимому веку, — важно только, чтобы ни один звук не вырвался наружу, чтобы сохранился нерушимым ореол святости, созданный для себя этой культурой, самой нравственной из культур.

Ибо видимость моральности важнее для этой эпохи, чем суть человеческого существования.

Целое столетие, ужасающе длинное столетие, владеет Европой этот малодушный заговор «нравственного» молчания. И вдруг это молчание нарушает один, единичный голос. Не помышляя о каком-либо перевороте, поднимается однажды с места молодой врач в кругу своих коллег и, исходя из резуль-

татов своих исследований сущности истерии, заводит речь о расстройствах и задержках наших инстинктов и о возможностях их высвобождения. Он обходится без всяких патетических жестов, он не заявляет возбужденно, что настала пора утвердить мораль на новых основаниях и подвергнуть свободному обсуждению вопросы пола, — нет, этот молодой, строго деловитый врач отнюдь не изображает проповедника новой культуры в академической среде. Он в своем докладе интересуется исключительно диагностикой психозов и их обусловленностью. Но та непринужденная уверенность, с которой он устанавливает, что многие невроты и, собственно говоря, даже все имеют источником подавленные сексуальные влечения, вызывает смертный ужас в кругу коллег. Не то, чтобы они признавали такую этиологию ложной, — наоборот, большинство из них давно уже чувствует это или это наблюдало; все они, частным образом, сознают важное значение половой сферы для общей конституции человека. Но все же, связанные чувством эпохи, покорные той морали, которая принята цивилизацией, они чувствуют себя до такой степени задетыми этим откровенным указанием на ясный как день факт, словно бы этот диагностический выпад сам по себе явился неприличным жестом. Они переглядываются смущенно: разве этому юному доценту неведомо неписаное соглашение, в силу которого о таких щекотливых вещах не говорят, по крайней мере на открытом заседании высокопочтенного Общества врачей? По части сексуальности — это бы должен знать и соблюдать новичок — устанавливается взаимное понимание между коллегами при помощи дружеского подмигивания, на эту тему шутят за карточным столом, но ведь не преподносят же таких тезисов в девятнадцатом столетии, в столь культурный век, академической коллегии. Уже первое официальное выступление Зигмунда Фрейда — а сцена эта действительно имела место — производит в кругу его товарищей по факультету впечатление выстрела в церкви. И наиболее благожелательные из его коллег тотчас же дают ему понять, что он, ради



своей академической карьеры, поступил бы правильнее, если бы в будущем отказался от столь щекотливых и нечистоплотных исследований. Это ни к чему не ведет, по крайней мере ни к чему такому, что могло бы быть предметом открытого обсуждения.

Но Фрейда интересуют не приличия, а истина. Он напал на след и идет по нему. И как раз раздражение, им вызванное, служит ему указанием, что он бессознательно дотронулся до больного места, что первое же прикосновение привело его вплотную к нервному узлу всей проблемы. Он держится цепко. Он не дает себя запугать ни старшим великодушно-благожелательным коллегам, его предостерегающим, ни оскорбленной морали, сетующей на него и не привыкшей к столь резким прикосновениям *in puncto puncti*\*. С тем упорным бесстрашием, с тем чисто человеческим мужеством и с той интуитивной мощью, которые в своей совокупности образуют его гений, он не перестает нажимать как раз на самое чувствительное место, все крепче и крепче, пока наконец нарыв молчания не лопается и не вскрывается рана, которую можно теперь начать лечить. В этом первом своем продвижении в область неведомого молодой врач не подозревает, как много обретет он в окружающей его тьме. Он только чувствует глубину, а глубина всегда магнетически влечет всякий творческий дух.

То обстоятельство, что первая же встреча Фрейда с современным ему поколением превратилась, при всей незначительности повода, в столкновение, является символом, а отнюдь не случайностью. Ибо здесь оказываются задетыми единичной теорией не просто оскорбленная стыдливость и вошедшая в привычку горделивая мораль; нет, здесь отживший метод замалчивания сразу же чует, с нервной пронизательностью, неизменно сопутствующей опасности, действительного противника. Не к а к касается Фрейд этой сферы, а то, ч т о он

---

\* В средоточии точки (*лат.*).

вообще ее касается и смеет касаться, является поводом к войне не на жизнь, а на смерть. Ибо здесь с первого же мгновения речь идет не об улучшениях, а о совершенно обратной установке. Не о частных, а об основных положениях. Не о единичных явлениях, а обо всем в целом. Лицом к лицу сталкиваются друг с другом две формы мышления, два метода, столь диаметрально противоположные, что между ними нет и не может быть взаимного понимания.

Старая, дофрейдовская психология, всецело покоившаяся на идее о первенстве мозга над кровью, требует от отдельного, от образованного и цивилизованного человека, чтобы он разумом подавлял свои инстинкты. Фрейд отвечает грубо и ясно: инстинкты вообще не дают подавлять себя, и крайне поверхностным является взгляд, что, будучи подавлены, они куда-то исчезают. В лучшем случае можно оттеснить их из сознательного в бессознательное. Но тогда они скопляются, потесненные, в этой области души и своим непрерывным брожением порождают беспокойство, расстройство, болезнь. Полностью чуждый иллюзий и веры в прогресс, решительный и радикальный в своих суждениях, Фрейд устанавливает незыблемо, что игнорируемые морально силы *libido*\* составляют неотъемлемую часть человека, заново рождающуюся с каждым новым эмбрионом, что они являются стихией, которую ни в каком случае нельзя устранить и, самое большое, можно переключить на безопасную для человека работу, путем перенесения их в сознание.

Таким образом, Фрейд рассматривает как нечто благотворное как раз то, что этика старого общества объявила коренной опасностью, а именно — процесс осознания; и то, что это общество признавало благотворным, — подавление инстинктов, — он именуется опасным. Там, где старый метод практиковал прикрытие, он требует раскрытия. Вместо игнорирования — идентификации. Вместо обхода — прямого пути. Вместо отвода

---

\* Похоть, страсть (лат.).

глаз — проникновения вглубь. Вместо вуалирования — обнаженности. Инстинкты может укротить лишь тот, кто познал их; взять верх над демонами — лишь тот, кто извлечет их из глубинного их обиталища и смело посмотрит им в глаза. Медицине столь же мало дела до морали и стыдливости, как до эстетики и филологии: ее важнейшая задача — заставить заговорить то таинственное, что есть в человеке, а не обрекать на молчание. Ничуть не считаясь с тенденциями девятнадцатого века к набрасыванию покровов, Фрейд в резкой форме ставит перед своими современниками проблему самопознания и осознания всего вытесненного и неосознанного. И тем самым он приступает к лечению не только несчетного числа отдельных лиц, но и всей морально нездоровой эпохи путем выявления ее основного, подавленного конфликта и перенесения его из области лицемерия в область науки.

Этот новый, навстречу жизни идущий метод Фрейда не только изменил взгляд на психику индивидуума, но дал другое направление всем основным вопросам культуры и ее генеалогии. И поэтому грубо недооценивает и крайне поверхностно судит тот, кто рассматривает, все еще с точки зрения 1890 года, заслугу Фрейда как чисто терапевтическое достижение, ибо в данном случае он сознательно или бессознательно смешивает исходную точку с конечной целью. То обстоятельство, что Фрейд случайным образом пробил брешь в китайской стене старой психологии именно с ее медицинской стороны, исторически, правда, важно, но не важно для его подвига. Ибо решающим для творческого ума является не то, откуда он исходит, но единственно — в каком направлении и как далеко он продвинулся.

Фрейд исходит из медицины не в большей степени, чем Паскаль из математики и Ницше из древнеклассической филологии. Несомненно, этот источник сообщает его работам известную окраску, но не определяет и не ограничивает их ценности. И как раз сейчас, на семьдесят пятом году его жизни, уместно подчеркнуть, что его труды и их ценность давно

уже не зависят от второстепенного вопроса о том, большее или меньшее число невротиков вылечится ежегодно с помощью психоанализа, а также от правильности отдельных пунктов и положений его вероучения. «Замещена» ли *libido* сексуально, или нет, заслуживают или не заслуживают канонизации кастрационный комплекс, нарцистическая установка и не знаю еще какие из сформулированных им тезисов, — все это давно стало предметом богословских споров приват-доцентов и не имеет никакого отношения к непреходящему культурно-историческому факту открытия им душевной динамики и новой технической постановке вопроса.

В данном случае одаренный творческим прозрением человек преобразовал всю внутреннюю нашу сферу, и то обстоятельство, что здесь действительно речь шла о перевороте, что его «садизм правдивости» вызвал революцию в воззрении мира на вопросы психики, — эту опасную сторону его учения (опасную именно для них) постигли первыми как раз представители отмирающего поколения; тотчас же все они, иллюзионисты, оптимисты, идеалисты, поборники стыдливости и доброй старой морали, со страхом отметили: тут взялся за дело человек, который проходит сквозь все запреты, которого не запугаешь никакими табу, не смутишь никаким противоречием, человек, у которого поистине нет ничего «святого». Они почувствовали инстинктивно, что непосредственно вслед за Ницше, за антихристом, явился в лице Фрейда второй великий разрушитель древних скрижалей, антииллюзионист, человек, который своим беспощадным рентгеновским взором проникает сквозь все прикрытия, который в *libido* прозревает *sexus*<sup>\*</sup>, в невинном ребенке — первобытного человека, в кругу мирной семьи — грозовую напряженность взаимоотношений отца и сына и в самых невинных снах — бурную игру крови.

С первого же мгновения их мучит жуткое предчувствие: не проникнет ли, со своим жестоким зондом, еще дальше этот

---

\* Пол (лат.).

человек, ничего кроме смутных вожделий не видящий в их величайших святынях — в культуре, цивилизации, гуманности, морали и прогрессе. Не обратится ли этот иконоборец со своей бесстыдной аналитической техникой от отдельной души в конце концов и к душе массовой? Не дойдет ли он до того, что станет постукивать своим молотком по фундаменту государственной морали и по налаженным с таким трудом комплексам семейственности? Не разложит ли он своими ужасающе едкими кислотами патриотическое чувство и, может быть, даже религиозное?

И действительно, инстинкт отмирающего довоенного мира не обманулся: безотчетное мужество, духовная неустрашимость Фрейда нигде и ни перед чем не остановились. Равнодушный к возражениям и к зависти, к шуму и замалчиванию, он с рассчитанным и непоколебимым терпением ремесленника работал над усовершенствованием своего архимедова рычага, пока не оказался в состоянии пустить его в ход против вселенной. На семидесятом году своей жизни Фрейд проделал и это — попытался применить свой испытанный на индивидууме метод по отношению ко всему человечеству и даже к Богу. У него достало мужества идти вперед и вперед, вплоть до последнего nihil\*, по ту сторону всяческих иллюзий, в величавую беспредельность, где нет уже ни веры, ни надежд, ни сновидений — даже сновидений о небе или о смысле и цели человеческого существования.

Зигмунд Фрейд — великий подвиг одного, отдельного человека! — сделал человечество более сознательным; я говорю более сознательным, а не более счастливым. Он углубил картину мира для целого поколения; я говорю углубил, а не украсил. Ибо радикальное никогда не дает счастья, оно несет с собой только определенность. Но в задачу науки не входит убаюкивать вечно младенческое человеческое сердце все новыми и новыми грезами; ее назначение в том, чтобы учить людей ходить по жесткой нашей земле прямо и с поднятой

---

\*Ничто (лат.).

головой. В неустанной работе своей жизни Фрейд явил прообраз этой идеи; в его научных трудах его твердость превратилась в силу, строгость — в непреклонный закон. Ни разу не указал Фрейд людям, утешения ради, выхода в уют, в эдемы земные или небесные, а всегда только путь к самим себе, опасный путь в собственные свои глубины. Его Прозрение было чуждо снисхождения; его мышление ни на йоту не сделало жизнь человека легче. Ворвавшись, подобно резкому и режущему северному ветру, в душную атмосферу человеческой психики, он разогнал немало золотых туманов и розовых облаков чувствительности, но горизонт очистился и область духа прояснилась.

Иными глазами, свободнее, сознательнее и пристальнее глядится новое поколение, благодаря Фрейду, в свою эпоху. Тем, что опасный психоз лицемерия, целое столетие терроризировавший европейскую мораль, рассеялся без остатка, что мы научились без ложного стыда вглядываться в свою жизнь, что такие слова, как «порок» и «вина», вызывают в нас трепет негодования, что судьи, знакомые с мощью человеческих инстинктов, иной раз задумываются над приговорами, что учителя в наши дни принимают естественное как естественное, а семья отвечает на искренность искренностью, что в системе нравственности все большее и большее место начинает занимать откровенность, а в среде юношества — товарищеские отношения, что женщины более непринужденно считаются со своей волей и с правами своего пола, что мы научились уважать индивидуальную ценность каждого существования и творчески воспринимать тайну нашего собственного существа, — всеми этими элементами более совершенного и более нравственного развития мы и новый наш мир обязаны в первую очередь этому человеку, имевшему мужество знать то, что он знал, и притом еще троекратное мужество — навязывать это свое знание негодующей и трусливо отвергающей его морали. Некоторые отдельные элементы его системы могут казаться спорными, но что значит «отдельное»! Идеи живы столь же их приятием, сколь и встречаемым ими противодей-

ствием, творческий труд — столь же любовью, сколь и ненавистью, им возбуждаемой. Претворение в жизнь — вот что единственно означает решающую победу идеи, единственную победу, которую мы готовы еще чтить. Ибо в наше время пошатнувшегося права ничто не поднимает так веру в мощь духовного начала, как пережитый живой пример — пример того, как один-единственный человек проявляет, в своей правдивости, мужество, достаточное для того, чтобы повысить меру правдивости во всей вселенной.

## ЗАРИСОВКА

Откровенность — источник всяческой гениальности.

*Бернс*

Строгая дверь одного из венских больших домов вот уже полвека скрывает частную жизнь Зигмунда Фрейда; хочется даже сказать, что у него никакой частной жизни и не было, в столь скромной отдаленности проходит его личное существование. Семьдесят лет в одном и том же городе, более сорока лет в одном и том же доме. А дома прием больных в том же самом кабинете, чтение в том же кресле, литературная работа за тем же письменным столом. Pater familias из шести человек детей, лично без всяких потребностей, не знающий иных увлечений, кроме увлечения своим призванием и своей призванностью. Ни секунды размеренного и вместе с тем щедро расточаемого времени на тщеславный показ своей личности, на титулы и отличия; ни малейшего, по-агитаторски, выпячивания себя самого, как творца, на первый план, помимо своего творчества; у этого человека жизненный ритм подчиняется, полностью и единственно, безостановочному, терпеливо и равномерно протекающему ритму работы. Каждая неделя из нескольких тысяч недель его семидесятипятилетней жизни замыкает тот же одинаковый круг его деятельности; каждый день — как двойник другого дня: в его академическом распо-

рядке времени раз в неделю лекция в университете, раз в неделю, по средам, духовное пиршество в кругу учеников, по примеру Сократа, раз в неделю, по субботам, после обеда, карты — а в остальное время, с утра до вечера, вернее далеко за полночь, каждая минута целиком уходит на анализ, лечение, разработку тех или иных вопросов, чтение и научное оформление. Этот неумолимый календарь не знает пустой странички; на протяжении полустолетия напряженный день Фрейда заполнен, час за часом, исключительно умственным трудом.

Непрестанная деятельность столь же естественно присуща этому работающему с точностью мотора мозгу, как регулирующее кровь биение — сердцу; работа является для Фрейда не вытекающим из веления воли действием, а естественной, постоянной и безостановочной функцией. Но именно эта безостановочность его бодрствующего ума и является самым поразительным в его духовном облике, норма воплощается в данном случае в жизнь. Сорок лет подряд Фрейд проделывает восемь, девять, десять, иной раз одиннадцать анализов в день, иначе говоря, девять, десять, одиннадцать раз сосредоточивается он, по целому часу, с крайним напряжением, можно сказать, с трепетом, на чужой личности, подстерегает и взвешивает каждое слово; и в то же время его память, никогда ему не изменяющая, сопоставляет данные этого анализа с результатами всех предыдущих. Он, таким образом, полностью сживается с этой чужой личностью, в то же время наблюдая ее извне, как психодиагност. И в один миг он должен, по истечении часа, переселиться из этого своего пациента в другого, следующего, восемь, девять раз в день, и, таким образом, хранить в себе обособленно, без всяких записей и мнемонических приемов, сотни судеб, наблюдая каждую в тончайших ее ответвлениях.

Такая рабочая установка, с постоянным переключением внимания, требует духовной настороженности, готовности душевной и нервного напряжения, которых не хватило бы у



другого и на два-три часа. Но поразительная жизненная энергия Фрейда, его духовная мощь не знают усталости и упадка. Как только кончена аналитическая работа, девяти-десятичасовое служение человеку, начинается творческое оформление результатов, та работа, которую мир считает его единственной. И весь этот гигантский, безостановочный труд, практически касающийся тысяч людей и передающийся затем миллионам, осуществляется полстолетия без помощников, без секретаря, без ассистентов; каждое письмо написано собственноручно, каждое исследование единолично доведено до конца, каждая работа единолично оформлена. Единственно эта грандиозная равномерность творческой мощи свидетельствует о наличии, где-то за будничной гладью существования, истинно демонического начала. Эта нормальная на первый взгляд жизнь проявляет свою единственность и ни с чем не сравнимое своеобразие лишь в области творчества.

Столь точный рабочий аппарат, никогда не изменяющий, десятилетиями не портящийся и не отказывающийся слушать, мыслим только при безукоризненном материале. Как у Генделя, у Рубенса и у Бальзака, столь же непрестанно творящих, духовный переизбыток имеет у Фрейда источником в корне здоровую натуру. Этот великий врач никогда не болел сколько-нибудь серьезно до семидесяти лет, этот тончайший наблюдатель игры человеческих нервов никогда не страдал нервами, этот проникновенный знаток ненормальной психики, этот нашумевший сексуалист был на протяжении всей своей жизни до жути прямолинеен и здоров во всем, что касалось его личных переживаний. По собственному опыту этот человек незнаком даже с самыми обыкновенными, самыми будничными помехами в умственной работе; он почти не знает головной боли и усталости. В течение нескольких десятков лет Фрейду ни разу не пришлось обратиться за помощью к товарищу по врачебной профессии, не пришлось ни разу отказать больному по нездоровью; лишь в патриархальном возрасте коварная болезнь пытается сломить это прямо-таки поликра-

товское здоровье. Но тщетно! Не успела еще зажить рана, а уже прежняя дееспособность возвращается, ни в какой степени не умаленная. Здоровье для Фрейда равносильно дыханию, бодрствование духа — работе, творчество — жизни. И подобно тому, как напряженна его дневная работа, совершенен и ночной отдых этого из стали откованного тела. Короткий, но крепкий, отрешенный от всего постороннего сон восстанавливает, что ни утро, творческие силы его духа, столь величественно нормального и вместе с тем столь величаво необычного. Когда Фрейд спит, он спит очень крепко, а когда бодрствует, то его дух бодр неслыханно.

Этой уравновешенности внутренних сил не противоречит и внешний образ. И здесь полнейшая пропорциональность всех черт, до конца гармоническое сочетание. Не слишком высокий и не слишком низкий рост, не слишком плотное, но и не хрупкое сложение. Годами оттачивают перо карикатуристы по поводу его лица, ибо в этом безукоризненно правильном овале не найти никакого указания для игры художественного преувеличения. Тщетно стали бы мы рассматривать, один за другим, его портреты поры молодости, чтобы подглядеть какую-нибудь преобладающую линию, что-либо по существу характеризующее. Черты лица тридцатилетнего, сорока- и пятидесятилетнего Фрейда говорят одно: красивый мужчина, мужественный человек с правильными, пожалуй, чересчур уж правильными чертами лица. Правда, сосредоточенный взор темных глаз вызывает представление о духовности, но при всем желании в этих поблекших фотографиях не откроешь больше того, что наблюдаем мы в излюбленных Ленбахом и Макартом портретах — обрамленное выхоленной бородой лицо врача, идеально мужественного склада, смуглое, мягкое, серьезное, но в конечном счете мало изъясняющее. Уже думаешь, что придется отказаться от какой бы то ни было попытки выявить характерное в этом замкнувшемся в своей гармонии лице. И тогда вдруг начинают говорить последние портреты. Лишь старость, обычно срывающаяся у боль-

шинства людей основные черты индивидуальности и размельчающая их в тусклую глину, лишь патриархальный возраст приступает к Фрейду с резцом художника; лишь болезнь и преклонные годы непреложно изваивают физиономию из лица как такового.

С тех пор как волосы поседели и борода, когда-то темная, не оттеняет так округло жесткого подбородка и резко сомкнутого рта, с тех пор как выступает наружу костисто-пластическое строение нижней части лица, обнаруживается нечто жесткое, агрессивное, обнаруживается неумолимость, чуть ли не неприязненность его волевого начала. Его взор, прежде взор простого наблюдателя, впивается теперь глубже, сумрачнее, упорнее, неотступнее, горькая складка недоверия прорезает, словно шрам от раны, его открытый, в морщинах, лоб. И напряженно, как бы отклоняя: «Нет!» или «Неправда!», смыкаются узкие губы. Впервые чувствуешь в этом лице упорство и строгость фрейдовской натуры; чуешь: нет, это не *good grey old man*<sup>\*</sup>, ставший к старости кротким и обходительным, но твердый, неумолимый исследователь, который не поддается обману и никогда не согласен обманываться. Человек, которому побоишься солгать, потому что он своим насторожившимся, как бы из темноты нацелившимся взором стрелка следит за каждой попыткой уклониться и заранее видит каждый потайной уголок; лицо, может быть, скорее гнетущее, чем сулящее облегчение, но великолепным образом оживленное напряжением проникновенности, лицо не простого наблюдателя, а беспощадного провидца.

Следует отказаться от всяких льстивых попыток отрицать этот налет ветхозаветной суровости, эту жесткую непримиримость, которые светятся почти угрожающе во взгляде старого борца. Ибо если бы не было у Фрейда этой остроотточенной, открыто и беспощадно выступающей решимости, то вместе с ней не стало бы и лучшего, самого решающего, что есть в его

---

<sup>\*</sup>Славный седой старичок (*англ.*).

подвиге. Если Ницше философствовал ударами молота, то Фрейд всю жизнь оперировал скальпелем; такие инструменты не созданы для руки мягкой и податливой. Условности, церемонии, жалость и снисходительность были бы ни в коей мере не совместимы с радикальными формами мышления, свойственными его творческой природе; ее смысл и назначение были исключительно в выявлении крайностей, а не в их смягчении.

Воинственная решимость Фрейда признает только «за» или «против», только «да» или «нет», никаких «с одной стороны» и «с другой стороны», «между тем» и «может быть». Там, где речь идет об истине, Фрейд ни с чем не считается, ни перед чем не останавливается, не мирится и не прощает; как Иегова, он отпустит вину скорее отступнику, чем наполовину усомнившемуся. Полувероятности не имеют для него цены, его влечет только чистая, стопроцентная истина. Всякая расплывчатость, как в личных отношениях одного человека к другому, так и в форме высокопарных туманностей человеческой мысли, именуемых иллюзиями, вызывает в нем неистовое и почти ожесточенное желание отделиться, отмежеваться, распорядиться самостоятельно до конца; взор его во что бы то ни стало должен созерцать всякое явление во всей остроте непреломленного света. Но эта ясность видения, мышления и созидания не означает для Фрейда какой-либо напряженности, какого-либо волевого акта; анализировать — это неизменно ему присущее, это врожденное и неистребимое влечение его природы. Там, где Фрейд сразу же и до конца не понимает, он уже не договорится о понимании; там, где он не видит ясно сам, никто ничего ему не разъяснит. Его взор, как и ум его, самовластен и непримирим; и как раз в военных действиях, в одинокой борьбе с подавляющими силами противника выявляется полностью агрессивность его мышления, природой выкованного наподобие острорежущей стали.

Но жесткий, строгий и неумолимый к другим, Фрейд проявляет те же жесткость и недоверие к самому себе. Привык-

ший к тому, чтобы угадывать самую замаскированную неоткровенность другого человека в тайных дебрях его бессознательного, открывать за одним пластом другой, более глубокий, за каждой истиной — другую, еще более достоверную, за каждым признанием — другое, еще более искреннее, проявляет он и по отношению к себе тот же бдительный контроль. Поэтому столь часто употребляемое выражение «отважный мыслитель» кажется мне, в отношении Фрейда, не слишком удачным. Идеи Фрейда не имеют ничего общего с импровизацией и едва ли обязаны многим интуиции. Чуждый в своих формулировках легкомыслия и поспешности, он часто целые годы колеблется, прежде чем открыто высказать как утверждение какое-либо свое предположение; его конструктивному гению совершенно несвойственны игра мысли и скороспелые построения. Опускаясь в глубины не иначе как ступенька за ступенькой, осторожный и отнюдь не восторженный, Фрейд первым замечает всякое шаткое положение, несчетное число раз встречаются в его сочинениях такие указания, как «возможно, это только гипотеза», или «я знаю, что в этом отношении мало могу сказать нового».

Истинное мужество Фрейда начинается позже, когда появляется уверенность. Только после того, как этот беспощадный разрушитель всяческих иллюзий убедит до конца самого себя и поборет свои собственные сомнения, излагает он свою систему, уверенный в том, что не прибавит к мировым иллюзиям еще одну грезу. Но как только он постиг и открыто признал какую-либо идею, она входит ему в плоть и кровь, становится органической частью его жизненного существования, и никакой Шейлок не в состоянии вырезать из его живого тела хоть частицу ее.

Это твердое отстаивание своих взглядов противники Фрейда с раздражением именуют догматизмом; порой даже его сторонники жалуются на это, громко или втихомолку. Но эта категоричность Фрейда неотделима, характерологически, от его природы; она вытекает не из волевой установки, а из

своеобразного, особого устройства его глаза. Когда Фрейд рассматривает что-либо творчески, он глядит так, как будто этого предмета никто до него не наблюдал. Когда он думает, он забывает все, что думали об этом до него другие. Он видит свою проблему так, как должен ее видеть по необходимости, по природе; и в каком бы месте он ни раскрыл Сивиллину книгу души человеческой, ему открывается новая страница; и прежде чем его мышление критически к ней отнесется, глаз его почерпнул все, что нужно. Можно поучать людей относительно ошибочности их мнения, но нельзя внушить того же глазу в отношении творческого его взора: видение находится по ту сторону всякой внушаемости, так же как творчество — по ту сторону воли. А что же именуем мы истинным творчеством, как не способность взглянуть на издревле установившееся так, как будто никогда не озаряло его сияние земного ока, высказать заново и в девственной форме то, что высказывалось уже тысячекратно, и притом так, словно бы никогда уста человеческие этого не произносили. Эта магия интуитивного прозрения, не поддаваясь выучке, не терпит и никаких наущений; упорство гения в отстаивании однажды и навсегда им увиденного — это не упрямство, а глубокая необходимость.

Поэтому и Фрейд никогда не пытается уговорить своего читателя, своего слушателя относительно правильности своих взглядов, не пытается заговорить его, его убедить. Он только излагает свои взгляды. Его безусловная честность не позволяет ему «подавать» даже самые важные для него мысли в поэтически внушающей форме и, таким образом, делать, при помощи примиряющих оборотов, некоторые жесткие и горькие блюда более приемлемыми для чувствительных умов. По сравнению с головокружительной прозой Ницше, рассыпающейся самыми отчаянными фейерверками искусства и художества, его проза кажется на первый взгляд трезвой, холодной и бесцветной. Фрейдовская проза не агитирует, не вербует приверженцев; она полностью отказывается от всякой поэтической подмалевки, от всякого музыкального ритма (к музы-

ке, как он сам признается, у него нет никакой внутренней склонности — очевидно, в понимании Платона, обвиняющего музыку в том, что она вносит расстройство в чистое мышление). А Фрейд только и стремится к чистому мышлению, он поступает по Стендалю: «Pour etre bon philosophe, il faut etre sec, clair, sans illusion»\*.

Ясность для него, как во всех человеческих отношениях, так и в области словесного выражения, — первое и последнее; этой максимальной озаренности и отчетливости он подчиняет, как нечто второстепенное, все художественные достоинства; единственно в результате достигаемой таким путем алмазной твердости очертаний его проза обретает свою несравненную *vis plastica*\*\* . Полностью безыскусственная, строго деловитая, подобная римской, латинской, эта проза не затуманивает поэтически изображенного предмета, но высказывает его резко и по существу. Она не приукрашивает, не нагромождает, не примешивает и не теснит избытком; она до крайности скупа на образы и сравнения. Но если уж встречается в ней сравнение, то оно действует, силой своей убедительной мощи, как выстрел. Некоторые образные формулировки Фрейда имеют в себе нечто от прозрачной четкости резных камней, и в составе его безупречно ясной прозы они действуют как оправленные в тяжелый хрусталь камни, незабываемые каждая в отдельности.

Но ни на минуту не покидает Фрейд в своих философских построениях прямого пути; отступления в области языка столь же ненавистны ему, как обходы в области мышления, и в составе его пространных трудов едва ли найдется положение, которое не было бы понятно, в его прямом и единственном смысле, даже и человеку необразованному. Его выражения, так же как и его мысли, неизменно рассчитаны на прямо-таки геометрическую точность определения; и поэтому его требо-

---

\*Чтобы быть хорошим философом, необходима сухость, ясность, отсутствие иллюзий (фр.).

\*\*Гластическую силу (ит.).

ваниям ясности мог служить лишь язык на взгляд неприглядный, но в действительности в высшей степени светоозаренный.

Всякий гений носит маску, говорит Ницше. Фрейд избрал для себя самую непроницаемую — маску неприметности. Его внешняя жизнь, за трезвой, почти филистерской будничностью, скрывает демонический подвиг труда; его лицо, за чертами равновесия и спокойствия, таит творческий гений. Его труд, более революционный и смелый, чем какой-либо другой, скромно ступшевывается вовне в качестве натуралистически точной разработки академического метода. И язык его холодом и бесцветностью прикрывает художественную мощь четкого образотворчества. Гений трезвости, он любит выявлять лишь то трезвое, что в нем заключено, а не гениальное. Только размеренность его доступна на первых порах взору, и лишь потом, на глубине — его чрезмерность. Во всех случаях Фрейд — больше, чем он дает о себе понять, и все же в каждый миг своего существования один и тот же. Ибо всякий раз, когда человеком творчески владеет закон высшего единства, он, этот закон, явственно и победно проявляет себя во всем его существе — в языке, в творчестве, во внешнем облике и в жизни.

## ИСХОД

«Особого влечения к карьере и деятельности врача я не чувствовал в молодости, а впрочем — не чувствовал и в дальнейшем», — откровенно признается в своем жизнеописании Фрейд, со столь характерной для него беспощадностью к себе самому. Но это признание сопровождается следующим многозначительным пояснением: «Скорее, мной двигала своего рода любознательность, направленная, однако, больше на область человеческих отношений, чем на объекты природы». Этой его глубочайшей склонности не соответствовала никакая, собственно, научная дисциплина, ибо в учебном плане медицинского факультета Венского университета такого научного



курса, как «Человеческие отношения», нет. И так как юный студент должен подумать о куске хлеба в будущем, то ему не приходится долго предаваться личной своей склонности, а нужно, вместе с другими медиками, терпеливо пройти путь предуказанных двенадцати семестров. Уже в качестве студента Фрейд серьезно работает над самостоятельными исследованиями, но, согласно своему собственному откровенному признанию, он «довольно небрежно» проделывает круг своих академических трудов, и лишь в 1881 году, в возрасте двадцати пяти лет, «с некоторым опозданием» удостоивается звания доктора медицины.

Судьба многих и многих: этому неуверенному в правильности избранного пути человеку предчувствие приуготовило уже призвание в его духе, а ему приходится променять его для начала на отнюдь не желанную для него практическую специальность. Ибо с первого же мгновения ремесленный, школьный, врачебно-технический элемент медицинской науки мало привлекает этот склонный к универсальности ум. В глубине души прирожденный психолог, сам того пока еще не знающий, он инстинктивно пытается наметить себе теоретическое поле деятельности по крайней мере в соседстве с областью психики. Он, таким образом, избирает себе специальностью психиатрию и занимается анатомией мозга, ибо психология с установкой на индивидуальность, эта давно уже ставшая для нас необходимостью психическая дисциплина, в то время не преподается и не практикуется в медицинских аудиториях; Фрейду придется изобрести ее для нас.

Всякая душевная неуравновешенность понимается механически мыслящей эпохой исключительно как перерождение нервов, как болезненное изменение; непоколебимо царит ложное представление о том, что путем все более и более точного познания соответственных органов и на основе опытов с животными удастся когда-нибудь в точности рассчитать автоматику «душевной области» и регулировать всякое отклонение. Поэтому наука о душевных явлениях имеет своим поприщем психологическую лабораторию: люди думают, что исчер-

пывающим образом знакомятся с этой наукой, если при помощи скальпеля и ланцета, микроскопа и чувствительного электрического аппарата отмечают содрогания и сокращения нервов.

И Фрейду, таким образом, приходится на первых порах присесть к анатомическому столу и при помощи всевозможной аппаратуры доискиваться причинности, которая в действительности никогда не проявляет себя в грубой форме чувственного восприятия. Несколько лет работает он в лаборатории у знаменитых анатомов Брюкке и Мейнерта, и оба мастера своей специальностью убеждаются вскоре во врожденном даре творческой изобретательности, присущем молодому ассистенту. Оба пытаются привлечь его как постоянного сотрудника в своей области; Мейнерт предлагает даже молодому врачу быть его заместителем по читаемому им курсу анатомии мозга. Но какая-то внутренняя настроенность, полностью бессознательно, этому противится. Может быть, уже в то время его инстинкт предчувствовал, как решится дело; во всяком случае он отклоняет лестное предложение. Однако сделанные им гистологические и клинические работы, выполненные с академической тщательностью, оказываются вполне достаточными для того, чтобы предоставить ему доцентуру по кафедре нервных болезней при Венском университете.

Доцент по неврологии — для двадцатидевятилетнего, молодого, не имеющего состояния врача это завидное в Вене по тем временам и притом доходное звание. Фрейду следовало теперь из года в год пользоваться, без усталы, своих пациентов по толково изученному, академически предудказанному методу, и он мог стать экстраординарным профессором и в конце концов даже гофратом. Но уже в то время проявляет себя характерный для него инстинкт самосохранения, который на протяжении всей жизни ведет его все дальше и все глубже. Ибо этот молодой доцент честно признает то, что боязливо замалчивают все другие неврологи друг перед другом и даже перед самим собой, а именно, что вся техника трактовки нервно-психических явлений, в той форме, в какой она преподается в

то время, около 1885 года, беспомощнейшим образом и без всякой пользы для других застряла в тупике. Но как практиковать другую, когда никакая другая в Вене не преподается? Все, что можно было заимствовать там, около 1885 года (и долгое время спустя), у профессоров, молодой доцент постиг до последних деталей — тщательную клиническую работу, безукоризненно точное знание анатомии, а к тому же еще и главные добродетели венской школы: строгую основательность и непреклонное усердие. Чему же учиться помимо этого у людей, знающих не больше, чем он сам?

Поэтому известие, что в течение нескольких лет психиатрия в Париже рассматривается с совершенно иной точки зрения, является для него могучим и непреодолимым искушением. Он узнает с изумлением и с недоверием, но в то же время испытывая соблазн, что Шарко, поначалу и сам специалист по анатомии мозга, проводит там своеобразные опыты при помощи того нашумевшего и преданного проклятию гипноза, который подвергся в Вене, со времени благополучного изгнания из города Франца Антона Месмера, семикратной опале. Издали, пользуясь только сообщениями медицинских журналов, нельзя получить отчетливого представления об опытах Шарко, это сразу понимает Фрейд; нужно самому их увидеть, чтобы судить о них. И тотчас же молодой ученый, с тем таинственным внутренним предчувствием, которое всегда указывает умам правильное направление, устремляется в Париж. Его патрон Брюкке поддерживает ходатайство молодого, не имеющего средств врача о командировочной стипендии. Стипендия ему присуждается. И молодой доцент уезжает в 1886 году в Париж, чтобы еще раз начать снова, чтобы поучиться, прежде чем учить.

Тут он сразу же попадает в другую атмосферу. Правда, и Шарко, как и Брюкке, исходит из патологической анатомии, но он ее преодолел. В своей знаменитой книге «*La foi qui guerit*»\* великий француз исследует, в отношении душевной

---

\* «Вера, которая исцеляет» (фр.).

их обусловленности, те чудеса религиозного исцеления, которые отрицались дотоле как недостоверные столь много о себе мнящей медицинской наукой, и устанавливает в этих явлениях определенную закономерность. Вместо того чтобы отвергать факты, он начал толковать их и столь же непосредственно подошел и ко всем другим чудесным методам врачевания, в том числе и к пользующемуся столь дурной славой месмеризму. Впервые встречается Фрейд с учением, которое не отмахивается презрительно, подобно венской школе, от истерии, как от симуляции, но доказывает, пользуясь этой интереснейшей, в силу ее выразительности, болезнью, что вызываемые ею припадки являются следствием внутренних потрясений и должны быть поэтому истолковываемы в их психической обусловленности. На примере загипнотизированных пациентов Шарко показывает в переполненных публикой аудиториях, что всем знакомые, типические состояния парализованности могут посредством внушения быть вызваны в гипнотическом сне и потом устранены, и что, следовательно, это рефлексы не грубо физиологические, но подчиненные воле.

Если отдельные элементы учения Шарко не всегда являются убедительными для молодого венского врача, то все же на него неотразимо действует тот факт, что в области неврологии в Париже признается и получает оценку не только чисто физическая, но и психическая и даже метафизическая причинность; он чувствует с удовлетворением, что психология снова приблизилась здесь к старой науке о душе, и этот психический метод влечет его больше, чем все до сих пор изученные.

И в новом кругу Фрейду выпадает счастье — впрочем, можно ли назвать счастьем то, что по существу является инстинктивным взаимопониманием высокоодаренных умов? — счастье вызвать особый интерес к себе со стороны своего наставника. Так же, как Брюкке, Мейнерт и Нотнагель в Вене, узнает сразу же и Шарко в Фрейде творчески мыслящую натуру и вступает с ним в личное общение. Он поручает ему перевод своих сочинений на немецкий язык и нередко отлича-

ет его своим доверием. Когда потом, через несколько месяцев, Фрейд возвращается в Вену, его мировосприятие изменилось. Правда, он чувствует смутно, что и путь Шарко не вполне его путь, что и этого исследователя слишком занимает физический эксперимент и слишком мало — то, что этот эксперимент доказывает в области психики. Но уже в течение этих немногих месяцев созрели в молодом ученом новое мужество и стремление к независимости. Теперь может начаться его самостоятельная творческая работа.

Перед тем, правда, нужно выполнить еще одну небольшую формальность. Всякий университетский стипендиат обязан, вернувшись, сделать сообщение о научных результатах своей заграничной командировки. Это проделывает и Фрейд в Обществе врачей. Он рассказывает о новых путях, которыми идет Шарко, и описывает гипнотические опыты в *Salpetriere*. Но со времен Франца Антона Месмера сохранилось еще в медицинском цехе города Вены яростное недоверие ко всяким методам, связанным с внушением. Утверждение Фрейда, что можно вызывать искусственно симптомы истерии, встречается со снисходительной улыбкой, а его сообщение о том, что бывают даже случаи мужской истерии, вызывает явную веселость в кругу коллег. Сперва его благожелательно похлопывают по плечу, — что за чушь навязали ему там, в Париже; но так как Фрейд не уступает, ему, как недостойному, преграждают за его отступничество вход в святилище лаборатории мозга, где, слава Богу, занимаются еще психологией «строго научно». С того времени Фрейд остался *bete noire*\* Венского университета, он не переступал уже порога Общества врачей, и только благодаря личной протекции одной влиятельной пациентки (как сам он, весело настроенный, признается) получает он через много лет звание экстраординарного профессора. Но величественный факультет в высшей степени неохотно вспоминает о его принадлежности к академическому составу.

---

\* Образное выражение: «существо ненавистное» (фр.).

В день его семидесятилетия он даже предпочитает определенно не вспоминать об этом и обходится без всякого приветствия и пожеланий счастья. Обыкновенным профессором Фрейд никогда не сделался, равно как гофратом и тайным советником; он остался тем, кем был там с самого начала: экстраординарным профессором среди обыкновенных.

Своим мятежом против механического подхода к невропатологии, выразившегося в применении к психически обусловленным заболеваниям исключительно таких средств, как раздражение кожи или назначение лекарств, Фрейд испортил себе не только академическую карьеру, но и врачебную практику. Отныне ему приходится идти своим, одиноким путем. И в начале этого пути он знает, пожалуй, только одно, чисто отрицательное, — а именно, что на решающие психологические открытия нельзя рассчитывать ни в лаборатории мозга, ни путем измерения нервной реакции особыми приборами. Только при помощи совершенно иного и с иной стороны подходящего метода можно приблизиться к таинственной области душевных сплетений; найти этот метод или, вернее, изобрести его — становится отныне страстной мечтой и страстным трудом его последующих пятидесяти лет. Некоторые указания относительно правильного пути дали ему Париж и Нанси. Но, так же как в искусстве, и в области науки одной мысли никогда не бывает достаточно для окончательного оформления; в деле исследования оплодотворение совершается путем скрещивания идеи с опытом. Еще один, самый ничтожный толчок, и творческая мощь разрешится от бремени.

Этот толчок получается — столь интенсивно уже напряжение! — в результате личного дружеского общения с более старшим товарищем, доктором Йозефом Брейером, с которым Фрейд встречался и раньше, в лаборатории Брюкке. Брейер, чрезвычайно занятый работой домашний врач, весьма деятельный и в научной области, без определенной, однако, творческой установки, еще раньше, до парижской поездки Фрейда, сообщал ему об одном случае истерии у молодой девушки,

при котором он достиг удачного результата совершенно особенным образом. У этой молодой девушки были налицо все обычные, зарегистрированные наукой явления истерии, этой наиболее выразительной из всех нервных болезней, то есть параличные состояния, извращения психики, задержки и помрачение сознания. И вот Брейер подметил, что молодая девушка чувствовала облегчение всякий раз, когда имела возможность порассказать о себе то или другое. Врач, человек неглупый, терпеливо слушал все, что говорит больная, так как убедился, что всякий раз, когда она изливала свою фантазию, наступало временное улучшение. Но среди всех этих отрывочных, лишенных внутренней связи признаний Брейер чувствовал, что больная искусно обходит молчанием наиболее существенное, решающее в деле возникновения ее истерии. Он заметил, что пациентка знает о себе кое-что такое, чего она отнюдь не желает знать и что она, по этой причине, в себе подавляет. Для того чтобы очистить путь к предшествующему ее переживанию, Брейер решает подвергнуть девушку систематическому гипнозу. Он надеется, что вне контроля воли будут устранены все задержки, препятствующие конечному установлению имевшего место факта (спрашивается, какое слово, вместо слова «задержки», применили бы мы, если бы психоанализ его не изобрел). И в самом деле, попытка его увенчивается успехом: в гипнотическом состоянии, когда чувство стыдливости как бы парализуется, девушка свободно признается в том, что она столь упорно замалчивала до сих пор перед лицом врача и что скрывала, прежде всего, от самой себя, а именно, что у постели больного отца она испытала известного рода ощущения и потом их подавила. Эти отнесенные по соображениям благопристойности чувства нашли себе или, вернее, изобрели для себя, в качестве отвлечения, определенные болезненные симптомы. Ибо всякий раз, когда в состоянии гипноза девушка признается в этих своих чувствах, сразу же исчезает их суррогат — симптомы истерии. И вот Брейер систематически продолжает лечение в намечен-

ном направлении. И поскольку он вносит ясность в самосознание больной, истерические явления ослабевают, — они становятся ненужными. Спустя несколько месяцев пациентку можно отпустить домой как излечившуюся до конца и совершенно здоровую.

Об этом своеобразном случае Брейер рассказывал как-то своему младшему коллеге, как о заслуживающем особого внимания. Его удовлетворил здесь, прежде всего, благополучный возврат нервнобольной к состоянию здоровья. Но Фрейд, со свойственным ему инстинктом глубины, сразу же чувствует за открытым Брейером терапевтическим средством закон значительно более общий, а именно, что «психическая энергия допускает перераспределение», что «подсознательное» (и этого слова тогда еще не существовало) подчиняется какой-то определенной динамике переключения, которая преобразует подавленные и не нашедшие себе естественного выхода чувства («неотреагированные», как мы теперь говорим) и претворяет их в другие, особые душевные или физические переживания. Констатированный Брейером случай освещает данные парижского опыта как бы с другой стороны; и друзья сообща берутся за работу, чтобы проследить открывшееся им явление на большей глубине.

Их совместные труды «О психическом механизме явлений истерии», от 1893 года, и «Очерки истерии», от 1895 года, представляют собой первый опыт изложения этих новых идей; в них встречаемся мы с первыми проблесками новой психологии. Этими совместными исследованиями устанавливается впервые, что истерия обусловлена не органическим заболеванием, как предполагалось до сих пор, но известного рода расстройством в результате внутреннего, не осознанного самим больным конфликта, гнет которого вызывает в конце концов эти «симптомы», болезненные изменения. Подобно тому как лихорадка возникает благодаря внутреннему воспалению, возникают, в силу скопления чувств, душевные расстройства. И подобно тому как спадает в теле жар, чуть только гной



найдет себе выход, прекращаются и судорожные явления истерии, если удастся создать выход подавленному и оттесненному чувству, «отвести энергию симптомообразующего аффекта, уклонившегося на ложные пути и там как бы защемленного, в правильном направлении, с тем чтобы он нашел себе исход».

В качестве инструмента для такого рода душевной разгрузки Брейер и Фрейд применяли сначала гипноз. Но в ту эпоху, доисторическую эпоху психоанализа, гипноз отнюдь не представляет собой целебного средства; он является лишь вспомогательным приспособлением. Его назначение исключительно в том, чтобы помочь разрядить судорогу чувства; он является как бы наркозом для предстоящей операции. Лишь после того как отпали задержки контролирующего сознания, больной свободно высказывает все затаенное; и уже благодаря одной только его исповеди гнет, обуславливающий расстройство психики, ослабевает. Создается выход стесненному чувству, наступает то состояние душевной облегченности, которое превозносилось еще в греческой трагедии как несущее свободу и блаженство; потому-то Брейер и Фрейд назвали поначалу свой метод «катартическим», в смысле аристотелевского катарсиса. Благодаря сознанию и самосознанию становится излишним искусственный, болезненно ложный акт, исчезают симптомы, имевшие только символический смысл. Выговориться означает, таким образом, до некоторой степени и прочувствовать; осознанность несет с собой освобождение.

Вплоть до этих существенно важных, можно сказать, решающих предпосылок Брейер и Фрейд продвигались вперед сообща. В дальнейшем пути их расходятся. Брейер, врач по призванию, обеспокоенный опасными моментами этого спуска в низины, снова обращается к области медицины; его, по существу, занимают возможности излечения истерии, устранение симптомов. Но Фрейда, который только теперь открыл в себе психолога, влекут как раз таинственность этого акта трансформации, происходящий в душе процесс. Впервые

установленный факт, что чувства поддаются оттеснению и замене их симптомами, подвигает его на все новые и новые вопросы; он угадывает, что в этой одной проблеме заключена вся проблематика душевного механизма. Ибо если чувства поддаются оттеснению, то кто их оттесняет? И прежде всего, куда они оттесняются? По каким законам происходит переключение сил психических на физические, и где именно совершаются эти непрестанные переустановки, о которых человек ничего не знает и которые он, с другой стороны, сразу же осознает, если его принудить к такому осознанию? Перед ним начинается смутно обрисовываться незнакомая область, куда не отваживалась вторгаться до сих пор наука; новый мир открывается ему издали, в неясных очертаниях — мир бессознательного. И отныне страстное устремление всей его жизни — «познать долю бессознательного в индивидуальной жизни души». Спуск в низины начался.

## МИР БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

Требуется всегда особое напряжение, чтобы забыть что-нибудь такое, что ты знаешь, чтобы с высшей ступени созерцания искусственно заставить себя спуститься на другую, более примитивную; так же трудно нам вернуть себя назад к тем представлениям, которые существовали в научном мире, около 1900 года, относительно понятия «бессознательное». То обстоятельство, что наша психическая деятельность отнюдь не исчерпывается сознательной работой разума, что за последней проявляет себя какая-то другая сила, как бы в теневой области нашего существования и мышления, было, само собой разумеется, известно и дофрейдовской психологии. Но суть в том, что она не знала, что ей делать с этим представлением; ей чужды были какие бы то ни было попытки претворить это понятие в науку и опыт. Философия той поры охватывает явления психики, лишь поскольку они проявляют себя в пределах сознания. Но ей кажется бессмысленным — *contractio*

in adjecto\* — пытаться сделать бессознательное объектом сознания. Чувство только тогда становится для нее чувством, когда оно отчетливо ощутимо, воля — только тогда, когда она проявляет себя в действии, а до тех пор, пока психические явления не проступают на поверхность сознательной жизни, психология исключает их из области науки как невесомые.

Фрейд в своем психоанализе пользуется техническим термином «бессознательное», но он придает ему значение совершенно иное, чем школьная философия. В представлении Фрейда сознательное не является исключительной категорией душевной деятельности, и, в соответствии с этим, бессознательное не кажется ему категорией совершенно особой или даже подчиненной; наоборот, он решительно подчеркивает, что все душевные процессы представляют собой поначалу бессознательные акты; те из них, которые осознаются, не являются какой-либо особой или подчиненной разновидностью, но их переход в сознание есть свойство, приводящее извне, как свет по отношению к какому-либо предмету. Стол остается таким же столом независимо от того, стоит ли он невидимым, в темном помещении, или его делает доступным зрению включенная электрическая лампочка. Свет всего только делает его существование чувственно постигаемым, но не обуславливает его существование. Несомненно, в этом состоянии повышенной доступности восприятию он может быть измерен точнее, чем впотьмах, хотя и в последнем случае возможно создать некоторые ограничивающие представления о нем, при помощи другого метода, путем ощупывания и осязания. Но, логически, невидимый впотьмах стол столь же принадлежит к физическому миру, как и видимый, и, по аналогии с этим, бессознательное в той же мере входит в область душевных явлений, как и сознательное. В соответствии с этим «бессознательное», по Фрейду, впервые не равнозначно непостижимому, и в этом новом понимании вводится им в терминологию

---

\* Противоречие в сопоставлении (лат.).

науки. Новое в науке требование Фрейда — вооружиться новым вниманием, прибегнуть к другой методологической аппаратуре, к водолазному колоколу глубинной психологии, опуститься ниже глади сознания и осветить психические процессы не только поверхностно, но и в последних глубинах — сделало, наконец, из школьной психологии подлинную науку о душе человеческой, применимую практически и даже несущую исцеление.

В этом открытии новой области для исследований, в этой полной перестановке душевных сил и расширении арены их деятельности до невероятных размеров и заключается, собственно, гений Фрейда. Одним приемом область доступного восприятию в сфере психики во много раз увеличилась, и к двум поверхностным измерениям прибавилось и третье — по глубине. Благодаря этому одному, незначительному на первый взгляд, переключению — ведь самые решающие мысли всегда представляются в дальнейшем простыми и сами собой понятными — меняются, в пределах душевной динамики, все нормы. И в истории культуры, в будущем, этот творческий миг психологии будет, вероятно, причислен к тем великим мировым мгновениям, которые, установкой на другой угол зрения, изменили все мышлеощущения эпохи, как то было с Кантом и Коперником. Ибо уже сейчас академические представления начала нашего века о человеческой психике кажутся нам столь же неуклюжими, ложными и ограниченными, как толмеева карта, именующая миром жалкую долю географической вселенной. В точности так же, как и наивные картографы той поры, дофрейдовские психологи обозначают все эти необследованные материи попросту словами «terra incognita»\*, бессознательное для них — замена понятий «недоступное познанию», «непостижимое». Они чувствуют смутно: где-то должен находиться таинственный резервуар, куда стекают, чтобы застаиваться там, неиспользованные нами воспоминания,

---

\* Неведомая земля (лат.).

помещение, где без всякого толку скопляется все забытое и ненужное, склад, откуда память время от времени переводит тот или иной предмет в сознание. Но основным положением дофрейдовской науки было и остается: этот мир бессознательного сам по себе до конца пассивен, полностью недеятелен; это — отжитая, отмершая уже жизнь, прошлое, с которым покончено; все это не имеет никакой силы, никакого влияния на наше психическое настоящее.

Такому толкованию Фрейд противопоставляет свое: бессознательное — это отнюдь не отходы душевной жизни, но изначальная душевная субстанция, и только крохотная ее доля всплывает на поверхность сознания. Однако главнейшая, не выступающая на свет часть, так называемое бессознательное, ни в коем случае от этого не мертва и не лишена динамичности. На самом деле она влияет на наше мышление и наше чувство столь же живо и активно; она, пожалуй, является даже наиболее жизнедеятельной частью душевной нашей субстанции. Поэтому тот, кто не учитывает участия во всех наших решениях бессознательной воли, смотрит ошибочно, ибо упускает из виду самый существенный фактор внутренней нашей напряженности; сила удара ледяной горы не угадывается по той ее части, которая выдается над поверхностью воды (главнейший упор скрыт под поверхностью); так и тот грубо обманывается, кто полагает, что только наши ясные нам порывы энергии определяют наши ощущения и поступки. Наша жизнь, во всей ее полноте, не развивается свободно на началах разумности, но испытывает непрестанное давление со стороны бессознательного; каждый миг новая волна из бездны позабытого якобы прошлого вторгается в живую нашу жизнь.

Вовсе не в той величественной мере, как полагаем мы ошибочно, подчиняется внешнее наше поведение бодрствующей воле и расчетам рассудка; молниеносные наши решения, внезапные подземные толчки, потрясающие нашу судьбу, исходят из темных туч бессознательного, из глубин инстинктивной нашей жизни. Там, внизу, теснится слепо и беспорядочно

то, что в сфере сознания разграничено ясными категориями пространства и времени; там бродят яростно желания давно заглохшего детства, которые мы считаем давно похороненными, и время от времени прорываются, жаждущие и алчущие, в нашу жизнь; страх и ужас, давно забытые сознанием, вздымают свои вопли ввысь, по проводам наших нервов; страсти и вожделения не только нашего личного прошлого, но и истлевших поколений, страсти и вожделения наших варваров-предков сплетаются корнями там, в глубине нашего существа. Оттуда, из глубины возникают наиболее личные наши поступки, из области таинственного исходят внезапные озарения; сила наша определяется иной, высшей силой. Там, в глубине неведомого нам, живет изначальное наше «я», которое наше цивилизованное «я» не знает больше или не желает знать; но внезапно оно выпрямляется во весь рост и прорывает тонкую оболочку культуры; и тогда его инстинкты, первобытные и неукротимые, грозно проникают в нашу кровь, ибо извечная воля бессознательного — воспрянуть к свету, претвориться в сознание и найти выход в действии: «Поскольку я существую, мне надлежит быть деятельным».

Всякий миг, какое бы слово мы ни произносили, какой бы ни совершали поступок, должны мы подавлять или, вернее, отеснять наши бессознательные влечения; нашему этическому или культурному чувству приходится неустанно противиться варварским вожделениям инстинктов. И — величественная картина, впервые вызванная к жизни Фрейдом — вся наша духовная жизнь представляется как непрестанная и страстная, никогда не приходящая к концу борьба между сознательной и бессознательной волей, между ответственностью за наши поступки и безответственностью наших инстинктов. Но и с виду бессознательное имеет во всех своих проявлениях, даже когда они нам непонятны, определенный смысл; сделать этот смысл, смысл бессознательных наших побуждений, постижимым для индивидуума — в этом видит Фрейд задачу новой и насущно необходимой психологии. Только по-

сле того, как мы осветили глубинный мир человека, можем мы судить о его чувствах; только спустившись к глубинам психики, можем мы понять, по существу, причину ее расстройств и потрясений. Психологу и психиатру незачем учить человека тому, что он постигает сознанием. Лишь там, где человеку неведомо бессознательное, может оказать ему действительную помощь врач по душевным болезням.

Но как проникнуть туда, в эти сумеречные области? Современная наука не знает пути. Она категорически отрицает возможность постигнуть явления бессознательного при помощи аппаратуры, рассчитанной на точность механического порядка. И только при свете дня, только в области сознательного могла производить свои наблюдения старая психология. А мимо всего безмолвного или говорящего смутно она проходила равнодушно, не глядя. И вот Фрейд ломает это воззрение, как прогнивший кусок дерева, и швыряет его от себя прочь. По его убеждению, бессознательное не безмолвно. Оно говорит, но, правда, при помощи иных знаков и символов, чем язык сознания. Поэтому тот, кто с поверхности своего «я» хочет спуститься в глубины, должен изучить сначала язык этого нового мира. Подобно тому как египтологи использовали таблицу Розетты, начинает и Фрейд наносить значок за значком, начинает разрабатывать для себя слова и грамматику языка бессознательного, чтобы уразуметь те голоса, которые звучат за нашими словами и за нашим сознанием предостерегающе или зовуще и под власть которых мы в большинстве случаев подпадаем более роковым образом, чем подчиняемся велениям сознательной нашей воли. А кто уразумел новый язык, уразумел и новый смысл. Таким образом, новый подход Фрейда к глубинной психологии открывает неведомый до того мир; только благодаря ему научная психология из системы простых, теоретически умозрительных наблюдений над актами сознания становится тем, чем она всегда должна была быть, — наукой о душевных явлениях. Одно из полушарий внутреннего нашего мира не пребывает уже более затененным и недо-

ступным для науки. И в той мере, как обозначаются первые контуры бессознательного, все более непреложным становится новое понимание чудесно осмысленной структуры духовного нашего мира.

## ТОЛКОВАНИЕ СНОВ

Comment les hommes ont-ils si peu réfléchi jusqu'alors aux accidents du sommeil, qui accusent en l'homme une double vie! N'y aurait-il pas une nouvelle science dans ce phénomène?.. il annonce au moins la désunion fréquente de nos deux natures. J'ai donc enfin un témoignage de la supériorité qui distingue nos sens latents de nos sens apparents.

*Balzac, Louis Lambert, 1883\**

Бессознательное — глубочайшая тайна всякого человека; психоанализ ставит себе задачей помочь ему в раскрытии этой тайны. Но как раскрывается тайна? Тройким образом. Можно силой исторгнуть у человека то, что он утаивает; столетия пыток показали наглядно, каким способом можно разжать и упрямо стиснутые губы. Далее, можно путем различных сопоставлений угадать скрытое, пользуясь короткими мгновениями, когда смутный абрис тайны — подобно спине дельфина над непроницаемой гладью моря — на секунду всплывает из мглы. И можно, наконец, дожидаться с величайшим терпением случая, когда, в состоянии ослабленной настороженности, высказано будет то, что скрывалось.

Всеми этими тремя техническими приемами пользуется попеременно психоанализ. На первых порах он пытался насильственно заставить заговорить бессознательное, подавляя волю гипнотическим внушением. Психологам давно уже было

---

\*Как это люди до сих пор так мало раздумывали о содержании наших снов, свидетельствующем о наличии двойной жизни в человеке? Разве в этом явлении не заключена целая новая наука?.. Оно по меньшей мере подтверждает факт постоянного разрыва между двумя сторонами нашей природы. Я в конце концов вынес из этого убеждение в преимущественной мощи скрытых наших чувств над явными. (Бальзак, Луи Ламбер, 1883 г.)



известно, что человек знает о себе больше, чем он сознательно признает перед самим собой и другими, но они не умели подойти к этому подсознательному. Только месмеризм показал впервые, что в состоянии искусственного сна из человека нередко можно извлечь больше, чем в состоянии бодрствования. Тот, чья воля парализована, кто пребывает в трансе, не знает, что он говорит в присутствии других; он полагает, что находится в мировом пространстве наедине с самим собой, и выбалтывает, не смущаясь, сокровеннейшие свои желания и тайны. Поэтому гипноз казался поначалу самым многообещающим методом; но вскоре (по соображениям, которые завели бы нас слишком далеко в детали дела) Фрейд отказывается от насильственного вторжения в бессознательное, как от способа неэтического и малопродуктивного; подобно тому как судопроизводство, на более гуманной ступени, добровольно отказывается от пытки, заменяя ее более сложным искусством допроса и косвенных улик, так и психоанализ вступает в эпоху комбинирования и догадок из эпохи насильственно добытых признаний.

Всякая дичь, как бы ни была она проворна и легка на ходу, оставляет следы. И в точности так же, как охотник по самым слабым следам угадывает поступь и породу зверя, как археолог по осколку вазы устанавливает принадлежность к той или иной эпохе целого города, погребенного под землей, практикует, в этой последующей стадии развития, и психоанализ свое искусство тайного розыска, пользуясь малейшими указаниями, при посредстве которых бессознательное проявляет себя в данный момент в пределах сознательной жизни. Уже при первых своих наблюдениях в направлении этих указаний Фрейд обнаружил поразительные следы, а именно так называемые ошибочные действия.

Под ошибочными действиями (для каждого нового понятия Фрейд неизменно находит особо меткое слово) глубинная психология понимает совокупность всех тех своеобразных явлений, которые человеческая речь, величайшая и старейшая

представительница психологического опыта, давно уже объединила в одну целостную группу и обозначила одинаковым начальным слогом «о», как-то: о-говориться, о-писаться, о-ступиться, о-слышаться. Пустяк, без сомнения: человек оговаривается, произносит одно слово вместо другого, принимает один предмет за другой, описывается, пишет, вместо одного, другое слово, — с каждым случается такая ошибка десять раз на дню. Но откуда берутся эти опечатки в книге жизни? В чем причина того, что материя противится нашей воле? Ни в чем — случай или усталость, отвечала старая психология, поскольку она вообще удостаивала своим вниманием столь незначительные изъяны повседневной жизни. Отсутствие всякой мысли, рассеянность, невнимательность.

Но Фрейд берется за дело вплотную: что значит отсутствие мысли, как не то, что наши мысли не там, где надлежало бы им, в согласии с нашей волей, быть? И если, в результате, не осуществляется диктуемое волей намерение, то откуда выскакивает другое, волей не продиктованное? Почему вместо того слова, которое мы хотим произнести, мы произносим другое? Так как при ошибочных действиях вместо действия преднамеренного совершается другое, то кто-то должен был вмешаться и это действие воспроизвести. Кто-то такой должен быть, кто добывает это неправильное слово вместо правильного, кто прячет предмет, который мы ищем, кто коварно подсовывает вместо сознательно разыскиваемого другой предмет. И вот Фрейд приходит к убеждению (и эта идея становится главенствующей в его методике), что на всем пространстве психики нет ничего бессмысленного, случайного. Для него всякий душевный процесс имеет определенный смысл, всякий поступок — своего вдохновителя; и так как в этих ошибочных действиях сознательная сфера человека не участвует, но оттесняется, то что же такое эта оттесняющая сила, как не бессознательное, столь долго и безуспешно разыскиваемое? Таким образом, ошибочное действие означает для Фрейда не отсутствие мысли, но проникновение во вне некоей оттеснен-

ной мысли. Что-то такое высказывает себя в о-говорке, в о-писке, чему не давала выхода в речи наша сознательная воля. И это что-то говорит неведомым и подлежащим еще изучению языком бессознательного.

Этим самым объяснено нечто основное: во-первых, в каждом ошибочном действии, во всем якобы неправильно проделанном, выражается какое-то тайное намерение. И во-вторых: в области сознательной воли должно было быть налицо сопротивление этому проявлению бессознательного. Когда, например (я беру примеры самого Фрейда), профессор говорит на конгрессе о работе своего товарища: «Мы не в состоянии дать достаточно низкой оценки этому открытию», то сознательным его намерением было, правда, сказать «высокой», но в глубине своей души он думал «низкой». Это ошибочное действие выдает его истинную установку, оно, к его собственному ужасу, выбалтывает его тайну, состоящую в том, что он охотнее недооценил бы работу своего товарища, чем переоценил ее. Или если некая искушенная в туризме дама жалуется во время экскурсии, что у нее намокли от жары блуза и рубашка, и потом продолжает: «Если бы только скорее добраться до панталон\* и сбросить все!» — то кто же не поймет того, что поначалу она хотела высказаться полнее и сообщить наивно, что у нее намокли блуза, рубашка и панталоны. Понятие «панталоны» было близко к тому, чтобы соскочить с языка, но в последний момент является сознание непристойности положения; это сознание преграждает путь слову и оттесняет его; но подавленное намерение не до конца вытеснено, и вот роковое слово выскакивает, пользуясь мигом растерянности, в следующей фразе, в качестве «ошибочного действия». При обмолвке высказывают то, чего, собственно, не хотели сказать, но что думали в действительности. Забывают то, что в глубине души хотели забыть. Теряют то, что хотели потерять. Оши-

---

\* Не поддающаяся переводу обмолвка: в подлиннике «nach Hose» вместо «nach Hause». Hose — панталоны, nach Hause — домой.

бочное действие почти всегда означает признание и улику против самого себя.

Это психологическое открытие Фрейда, незначительное по сравнению с основными его творческими мыслями, встретило, из всех его наблюдений, наиболее единодушное признание со стороны, как самое забавное и безобидное; в пределах же его системы ему принадлежит только промежуточная роль. Ибо такие ошибочные действия имеют место сравнительно редко, они являются лишь мельчайшими осколками бессознательно-го, слишком малочисленными и слишком рассеянными во времени, чтобы можно было составить из них мозаику целого. Но Фрейд, с присущей ему жаждой наблюдательности, нащупывает, конечно, исходя из этого, всю нашу душевную жизнь по ее поверхности: нет ли налицо и других столь же «бессмысленных» явлений и нельзя ли их растолковать в том же смысле. Ему не приходится долго искать, чтобы столкнуться с наиболее постоянным явлением душевной нашей жизни, которое точно так же слывет бессмысленным и считается даже типичной бессмыслицей.

Даже в разговорном языке сон, этот повседневный наш гость, характеризуется как назойливый пришелец и фантастический бродяга по логически безупречным путям нашей мозговой системы: «сновидений — пена». В глазах людей это — ничто, расцвеченная, как мыльный пузырь, пустота без цели и без смысла, мираж в крови; содержание снов ничего не «означает». Человеку нечего делать со своими снами, он не повинен в этой своенравной, колдовской игре своей фантазии, — так аргументирует старая психология и отказывается от всякого осмысленного их толкования; пускаться в серьезные разговоры с этими лживыми и бестолковыми созданиями не представляет для науки никакого смысла, никакой ценности.

Но кто же говорит, показывает, живописует, действует и создает образы в наших сновидениях? Уже прежняя эпоха подозревала, что здесь говорит, действует и проявляет свою

волю не наше бодрствующее «я», а кто-то другой. Уже древность поясняла относительно сновидений, что они нам «даны», вложены в нас какой-то высшей силой. Здесь проявляет себя какая-то сверхземная воля. А для всякой внечеловеческой воли древний мир мифов знал только одно толкование: боги! — ибо кто же, кроме них, обладал даром превращения и высшей силой? Это были они, обычно незримые; в символических сновидениях приближались они к людям, нашептывали им вести, наполняли их ужасом или надеждой и рисовали на черной завесе сна красочные свои картины, предостерегая и заклиная. Уверенные, что внемлют в этих ночных откровениях священным, более того, божеским голосам, все первобытные народы с величайшим жаром пытались уразуметь человеческим своим умом божественный язык «сновидений», чтобы постигнуть в нем волю божества.

Так на заре человечества, в качестве одной из самых ранних наук, возникло толкование снов; перед каждой битвой, перед каждым решающим событием, по прошествии ночи, исполненной сновидений, жрецы и прорицатели вникают в сны и толкуют их содержание как символ грядущего блага или угрожающего зла. Ибо древнее искусство толкования снов, в противоположность психоанализу, раскрывающему с их помощью человеческое прошлое, полагает, что в этих фантазмагориях бессмертные возвещают смертным их будущее. И вот тысячелетиями царит в храмах фараонов, в акрополях Греции, в святилищах Рима и под палящим небом Палестины эта мистическая наука. Для сотен и тысяч поколений сновидение было наиболее достоверным толкованием судьбы.

Новая эмпирическая наука, само собой разумеется, резко порывает с этим воззрением, как с суеверным и до крайности наивным. Так как она не признает никаких богов и едва ли признает божество, то не видит в снах ни указания свыше, ни какого-либо смысла вообще. Для нее сны — это хаос, по моему мнению смысла не имеющий никакой цены, голый физиологический акт, лишенный тональности, дисгармоническое после-

действие нервных возбуждений, красочный мираж переполненного кровью мозга, последний, не имеющий значения отголосок не переваренных за день впечатлений, который уносится мутной волной сна. В таком беспорядочном нагромождении образов нет, разумеется, никакого логического или психического смысла. Поэтому наука не усматривает в чередовании сновидений ни достоверности, ни цели, отрицая какое бы то ни было их значение или закономерность; психология того времени не делает даже попыток осмыслить бессмысленное, истолковать не поддающееся толкованию.

Только с появлением Фрейда — по прошествии двух-трех тысячелетий — сновидение получает опять объективную ценность, как некий указующий на судьбу человека акт. Там, где другие видели только хаос, беспорядочное движение, глубинная психология вновь постигает закономерное действие сил; то, что казалось ее предшественникам запутанным лабиринтом без выхода и без смысла, представляется ей *via regia*<sup>\*</sup>, большой дорогой, связывающей подсознательную жизнь с сознательной. Сновидение является посредником между миром наших потайных чувств и миром чувств, подчиненных нашему сознанию; благодаря ему мы можем знать многое такое, что в состоянии бодрствования соглашаемся знать неохотно. Ни один сон, утверждает Фрейд, не является до конца бессмысленным, каждому из них, как полноценному душевному акту, присущ определенный смысл. В каждом проявляет себя не высшая правда, не божественная, не внечеловеческая воля, но зачастую самая затаенная, самая глубокая воля человека. Правда, этот вестник не говорит языком обыкновенной нашей речи, языком поверхностным, — он говорит языком глубины, языком бессознательного. Поэтому мы не сразу постигаем его смысл и его назначение; мы должны сперва научиться истолковывать этот язык.

Новая, подлежащая еще разработке наука должна научить

---

<sup>\*</sup>Царская дорога (*лат.*).

нас закреплять, постигать, переводить на понятный нам язык то, что с кинематографической быстротой мелькает на черной завесе сна. Ибо подобно всем первобытным языкам человечества, подобно языку египтян, халдеян и мексиканцев, язык сновидений пользуется исключительно образами, и всякий раз мы стоим перед задачей претворить его символы в понятия. Эту задачу — преобразовать язык сновидений в язык мысли — берет на себя Фрейд, имея в виду нечто новое и характерное для его метода. Если старая, пророческая система толкования снов пыталась познать будущее человека, то вновь возникшая психологическая система прежде всего хочет вскрыть его психобиологическое прошлое, а с ним вместе и подлинное его настоящее. Ибо только по видимости наше выступающее в сновидениях «я» идентично нашему «я» бодрствующему. Так как времени во сне не существует (не случайно мы говорим: «с быстротой сновидения»), то во сне мы представляем совокупность всего, чем были когда-либо и что мы теперь; наше «я» одновременно и младенец и отрок, человек вчерашнего дня и человек сегодняшней, суммарное «я», итог не только текущей, но и прожитой жизни, между тем как наяву мы воспринимаем единственно наше мгновенное «я».

Всякая жизнь двойственна. В глубине, в бессознательном, мы являем собой совокупность нашей личности, былое и настоящее, первобытного человека и человека культурного в их нагромождении чувств, архаические остатки некоего пространного, с природой связанного «я», а вверху, в ясном, режущем свете дня, — только сознательное, преходящее «я». И эта универсальная, но смутная жизнь сообщается с нашим преходящим существованием почти исключительно ночью, при посредстве таинственного гонца во тьме — сновидения; самое существенное, что мы в себе постигаем, узнаем мы от него. Потому-то подслушать его, понять его назначение и значит ознакомиться с самым существом своей сущности. Только тот, кто знает свою волю не только в пределах сознания, но и в глубине своих сновидений, догадывается поистине

о том итоге пережитой и преходящей жизни, который мы именуем нашей личностью.

Но как опустить грузило в столь непроницаемые и безмерные глубины? Как познать отчетливо то, что никогда ясно не сказывается, что мелькает голько смутными личинами в затененных переходах нашего сна, что вещает только, вместо того чтобы говорить? Найти для этого ключ, найти расколдовывающий шифр, который бы выразил непонятный язык сновидений языком яви, — это требует своего рода магии, какой-то провидческой интуиции. Но Фрейд в своей психологической мастерской обладает отмычкой, которая раскрывает все двери, он пользуется почти безошибочной механикой; во всех случаях, когда он хочет достигнуть самых сложных результатов, он исходит из самого примитивного. Неизменно ставит он изначальную форму на один уровень с конечной; всегда и повсюду нащупывает он корни, чтобы ознакомиться с цветком. Поэтому Фрейд в своей психологии сна начинает не с высококультурного, сознательного человека, а с ребенка. Ибо в детском сознании, в пределах наличных представлений, мало имеется смежных, соприкасающихся понятий, круг мышления ограничен, ассоциации слабы, и потому материал сновидений доступен обозрению. В отношении детских снов достаточно минимальной дозы искусства толкования, чтобы сквозь тонкую оболочку мышления проникнуть в область затаенных чувственных восприятий. Ребенок прошел мимо кондитерской, родители не согласились купить ему что-либо, и вот ребенок видит во сне шоколад. Полностью неотстоявшимися, полностью неокрашенными претворяются в детском мозгу вождедение в образ, желание — в сновидение. Нет еще налицо каких бы то ни было душевных, моральных, сексуальных, интеллектуальных задержек, какой-либо предусмотрительности или оглядки. С той же непосредственностью, с какой ребенок демонстрирует себя, свое голое и чуждое стыдливости тело всякому постороннему, раскрывает он и во сне свои подлинные желания.



Этим самым проделана уже некоторая подготовительная работа в целях будущего толкования. Оказывается, что за символическими образами сна скрываются по большей части неисполнившиеся, подавленные желания, которые не могли осуществиться днем и вот устремляются теперь обратно в жизнь путями сновидений. То, что по каким-либо причинам не могло воплотиться днем в слово или в действие, выявляет себя там в красочных фантазиях, при посредстве образов и очертаний; в ускользающем от контроля потоке сна все вожеления и устремления нашего внутреннего «я» могут свободно и во всей наготе вести беспорядочную свою игру. С виду как будто без всяких задержек — вскоре Фрейд исправит эту ошибку — изживается там все то, что не могло воплотиться в реальной жизни, самые темные желания, опаснейшие и запретнейшие помыслы; в этой свободной от постороннего контроля области душа, изо дня в день стесняемая преградами, может, наконец, освободиться от бремени всех своих сексуальных и агрессивных вожелений; во сне мужчина может обнять и силой овладеть женщиной, которая наяву ему противится, нищий может разбогатеть, урод — обзавестись красивой внешностью, старик — помолодеть, отчаявшийся в жизни — стать счастливым, всеми забытый — снискать славу, слабый — обрести силу. Только здесь человек может убить своего врага, поработить своего начальника, экстатически изжить, наконец, в обладании божественной свободой, свои затаеннейшие чувственные вожеления. Всякое сновидение означает, таким образом, не что иное, как изо дня в день подавляемое человеком и даже от самого себя скрываемое желание; так, по-видимому, гласит первичная формула.

Это первое в ряду других положение Фрейда не произвело сколько-нибудь определенного впечатления на широкую общественность, так как формула «сновидение — это как бы неизжитое желание» столь доступна в обращении и удобна, что ею можно играть, как стеклянным шариком. И действительно, в некоторых кругах полагают, что серьезно занимают-

ся анализом сновидений, развлекаясь забавной салонной игрой, выражающейся в толковании того или иного сна с точки зрения символики желаний или даже сексуальной символики. В действительности никто благоговейнее Фрейда не взирал на многосложность той ткани, из которой сотканы сновидения, и на высокохудожественную мистику ее хитросплетений; никто не подчеркивал этого вновь и вновь так, как Фрейд. При его недоверчивом отношении к слишком быстрым выводам не потребовалось много времени, чтобы заметить, что вся эта доступность и быстрота восприятия относятся только к детским снам, ибо у взрослых фантазия образотворчества пользуется уже необъятным символическим материалом ассоциаций и воспоминаний. И тот образный словарь, который в детском мозгу насчитывает каких-нибудь двести — триста обособленных представлений, сплетает здесь, с непостижимым проворством и быстротой, миллионы и, может быть, миллиарды пережитых мгновений в непомерно запутанную ткань.

Миновали в сновидениях взрослого бессознательное бесстыдство и неприкрытость детской души, свободно выявлявшей свои желания, миновала болтливая непринужденность прежней поры ночных видений: сон взрослого не только дифференцированнее, но и тоньше, затаеннее, неискреннее, лицемернее, чем сон ребенка; он стал уже наполовину моральным. Даже в этом призрачном личном своем мире изначально сущий в человеке Адам утратил рай непосредственности, он различает добро и зло даже в глубоком сне. Доступ к социальному, к этическому сознанию даже во сне не до конца прегражден, и в то время как глаза сомкнуты и затуманены все чувства, душа человеческая испытывает страх: как бы не застигла ее, с ее непристойными желаниями, с преступными ее намерениями, ее укротительница, совесть, «сверх-я», как именует ее Фрейд. Не свободными путями, открыто и без утайки, шлет сновидение свою весть ввысь из области бессознательного, но проводит ее контрабандным путем, потайными дорогами, в самой затейливой маскировке. Поэтому Фрейд

настоятельно предостерегает против того, чтобы рассматривать структуру сна как его истинное содержание. В сновидении взрослого чувство хочет высказаться, но не решается высказаться свободно. Оно высказывается, из страха перед «цензором», намеренно извращенно и чрезвычайно тонко, оно неизменно выдвигает на первый план бессмыслицу, чтобы не дать возможности разгадать подлинный смысл: как и всякий сочинитель, сновидение создает вымышленную правду, иначе говоря, оно признается «sub rosa», оно раскрывает тайное переживание только в символах. Следует поэтому тщательно разграничивать две категории: то, что «вымышлено» во сне ради утайки, так называемую «продукцию сна», и те подлинные элементы переживаний, которые скрываются за этой красочной завесой — «содержание сна». Задачей психоанализа является, таким образом, разобраться в запутанной сети искажений и высвободить из загадочного романа — всякое сновидение ведь «вымысел и правда» — правду, действительное признание, и вместе с ним ключ к разгадке. Не то, что говорит сон, а то, что он, собственно, хотел сказать, вводит нас в область бессознательных душевных переживаний. Только здесь обретаем мы глубину, к которой стремится глубинная психология.

Если Фрейд придает анализу сновидений особое значение в деле распознавания личности, то этим он ни в коем случае не толкает нас на смутные, произвольные толкования. Фрейд требует научно-кропотливого метода исследования, подобного тому, который применяется литературоведами при подходе к поэтическому произведению. Так же, как германист пытается отграничить подлинный мотив переживания от фантастических прикрас и спрашивает себя, что, собственно, побудило автора к этому именно образу — как, например, в эпизоде с Гретхен усматривает он, в качестве импульса, подмену переживания с Фридерикой, так и психоаналитик ищет в измышленных своим пациентом сновидениях побудительно-го аффекта. Образ данного лица обрисовывается перед ним всего явственнее в создаваемых этой личностью образах; здесь, как и

всегда, Фрейд глубже всего познает человека в состоянии продуктивности. Но так как познание личности является, собственно, основной целью психоаналитики, то ему приходится крайне осмотрительно пользоваться творческими тенденциями человека, материалом его сновидений; если он остерегается увлечений, противится соблазну измыслить и вложить в чужое сновидение свой собственный смысл, то во многих случаях он способен отвоевать позиции, весьма важные для ориентировки во внутреннем мире личности.

Несомненно, антропология обязана Фрейду, столь плодотворно установившему психическую осмысленность ряда сновидений, ценными моментами в своем развитии; но помимо этого в процессе его работы ему удалось достигнуть и большего, а именно впервые истолковать биологический смысл сновидений как некой душевной необходимости. Наука уже давно постигла, что значит сон в хозяйственном обиходе мироздания; он восстанавливает истощившиеся за день силы, возобновляет израсходованную нервную энергию, устанавливает перерыв и отдых в сознательной работе мозга. В соответствии с этим казалось бы, что совершеннейшей с гигиенической точки зрения формой сна должна быть, собственно, абсолютная, черная пустота, родственное смерти погружение в небытие, приостановка работы мозга, утрата зрения, понимания, мыслительной способности. Почему же природа не наделила человека такой с виду наиболее целесообразной формой отдохновения? Почему, при неизменной осмысленности всех ее явлений, она оживила черную завесу сна колдовской игрой видений? Почему еженощно тревожит она эту пустоту, этот путь в нирвану столь соблазнительным для души мельканием мнимой яви? К чему сновидения? Разве они не связывают, не смущают, не расстраивают, не противодействуют столь мудро задуманному отдохновению? С виду бессмысленные, разве они не опорочивают идей целесообразности и плановости природных явлений? На этот вполне естественный вопрос биология ничего до сих пор не могла ответить. И лишь Фрейд установ-

ливаает впервые, что сновидения необходимы для утверждения душевного нашего равновесия.

Сновидение — это клапан для нашего чувства. Ибо в слабое и брeнное наше тело вложено слишком много могучих страстей, непомерное жизнелюбие и непомерная жажда утех, и как мало желаний, из миллиарда имеющихся налицо, может удовлетворить рядовой человек в пределах мещански размеренного дня! Едва ли тысячная доля наших вожделений воплощается в жизнь; и вот неутоленная и неутомимая, в бесконечность простирающаяся жажда томит каждого, вплоть до мелкого рантье, поденщика и призреваемого в богадельне. Каждого из нас обуревают темные влечения, бессильное властолюбие, подавленные и трусливо притаившиеся анархические помыслы, извращенное тщеславие, позы к жизни, зависть. Из несчетного числа проходящих мимо нас женщин каждая в отдельности вызывает в нас мгновенную страсть, и все эти неизжитые порывы, позы к обладанию змеиным, ядовитым клубком скопляются в подсознании, с раннего утра и до поздней ночи. Если бы ночные видения не давали исхода всем этим подавленным желаниям, могла ли бы душа не разлететься под таким атмосферным давлением или не прорвать себе выхода в преступление и убийство?

Выпуская наши вожделения, непрестанно сдерживаемые в пределах дня, на свободу, в безобидные области сновидений, мы снимаем тяжкое бремя с нашего чувства, мы освобождаем, путем такого самоотвлечения, нашу душу от яда угнетенности, подобно тому как наше тело освобождается во сне от яда усталости. В этом нам одним доступном воображенном мире мы изживаем все наши социально преступные помыслы в форме безответственных, мнимых действий, вместо того чтобы изживать их как действия, влекущие кару. Сновидение означает суррогат, замену действия; и в высшей степени поучительно изречение Платона: «Хорошие люди — это такие, которые довольствуются снами, в то время как другие действуют». Не в качестве помехи жизни, помехи сна, а в качестве

стража сна посещает нас сновидение; в спасительной его фантастике душа освобождается, галлюцинируя, от избытка своей напряженности («Что скопилось в сердце, расчихал во сне», — гласит выразительная китайская поговорка), так что по утрам наше посвежевшее тело обретает в себе, вместо переполненной души, душу очистившуюся и легко дышащую.

Это облегчающее, катартическое действие сновидения является, по Фрейду, тем самым его смыслом, который так долго искали и который так упорно отрицался; и этим спасительным свойством обладает не только ночной пришелец, сон, но и высшая форма фантастики и грез наяву, а стало быть, и художественное творчество, и мифотворчество. Ибо какую же цель преследует творчество, как не избавить, символически, человека от томительных внутренних перенапряжений, перенести гнетущую его силу в другую, безопасную для его духа область! В каждом истинно художественном произведении образотворчество является творчеством самовысвобождения, и если Гете говорит, что Вертер покончил самоубийством вместо него, то этим он с необычайной выразительностью поясняет, что спас свою собственную жизнь, осуществив задуманное им самоубийство на другом, вымышленном образе, двойнике; выражаясь психоаналитически, он «отреагировал» свое самоубийство в самоубийстве Вертера. И подобно тому, как отдельные личности освобождаются от гнета и от вождения во сне, так и народы в целом высвобождают томящий их страх и присущие им страсти в мифах и религиях; на жертвенных алтарях освящается их инстинкт кровопролития, маскирующийся в символ, душевный гнет претворяется молитвой и покаянием в целительное слово утешения. Душа человечества выявляла себя от начала веков лишь в художественной фантастике, — иначе что бы мы о ней знали! Ее творческая мощь постигается нами только в ее сновидениях, воплощенных в религии, мифы и произведения искусства. Никакая психология поэтому не в состоянии — это прочно внушил нашей эпохе Фрейд — доискаться до подлинно личного в че-

ловеке, если она рассматривает только его сознательные и ответственные действия; ей приходится спуститься вглубь, туда, где существо человека становится мифом и создает неподлиннейшую картину его жизни, в творчески-стремительном потоке стихийно-бессознательного.

## ТЕХНИКА ПСИХОАНАЛИЗА

Странно, что так мало занимались внутренним миром человека и что подходили к нему так бездушно. Как мало использованы средства физики для духа, и дух для внешнего мира.

*Новалис*

В некоторых отдельных местах многообразной нашей земной коры начинает бить внезапно, неожиданным фонтаном драгоценная нефть, в некоторых разбросано в речном песке золото, в некоторых скопляется на поверхности уголь. Но техника человеческая не ждет, пока там и сям милостиво соизволят объявиться эти недостаточные по количеству сокровища. Она не надеется на случай, но сама разрывает землю, чтобы превратить источники в потоки, она пробивает ходы в глубине, и тысячи из них — без всякой пользы, с тем, чтобы хоть один только раз добраться до драгоценной руды. Так и сколько-нибудь активная психология не должна довольствоваться случайными, всегда недостаточными показаниями сновидений и ошибочных действий; и ей приходится, чтобы добраться до основного пласта бессознательного, пользоваться психотехникой, сложными подземными сооружениями, открывающими доступ в глубины в результате систематической, преследующей определенную цель работы. Такой метод изобретен Фрейдом и назван им психоанализом.

Этот метод ни в чем не напоминает какой-нибудь из прежних, применявшихся в медицине или психологии. Он совершенно своеобразен и нов — способ, полностью независимый

от других, психологическая система в ряду других систем, и вместе с тем глубже их проникающая, почему Фрейд и назвал ее глубинной психологией. Врач, желающий пользоваться этим методом, нуждается в своих в высшей школе добытых познаниях в столь ограниченной степени, что вскоре, естественно, возник вопрос, требуется ли вообще для психоаналитика специальное медицинское образование; и на самом деле, после длительных колебаний Фрейд признал допустимым и «анализ непрофессионалов», иначе говоря, лечение у людей, не обладающих дипломом врача. Ибо врачеватель души, во фрейдовском смысле этого слова, предоставляет анатомическое исследование физиологам, он стремится только к тому, чтобы сделать видимым невидимое. Так как в этих случаях не ищут ничего, доступного механическому восприятию или осязанию, то всякая аппаратура становится для него излишней; кресло, в котором сидит врач, составляет так же, как в Christian Science, все врачебное оборудование этой терапии. Но Christian Science применяла все же духовные наркотики и анестезирующие средства: для облегчения страдания пациента она укрепляла тревожный дух его такими словами, как Бог и вера. В противоположность этому психоанализ избегает всякого вмешательства, как психического, так и физического. Ибо в его намерения входит не ввести что-либо новое в человека, будь то лекарство или вера, но извлечь из него нечто, в нем пребывающее. Только познание, активное самопознание дает исцеление, в психоаналитическом смысле; лишь после того как человек возвращен самому себе, своей подлинной личности (а не к вере в свое выздоровление, всегда сомнительной и многообразной), становится он господином над своей болезнью. Таким образом, работа совершается, собственно говоря, не извне, над личностью пациента, но всецело внутри него, в пределах его душевной стихии.

Врач ничего от себя не привносит в это лечение, кроме своего контролирующего опыта, незаметным образом влияющего на направление работы. Он не имеет при себе наготове,



подобно практикующему врачу, каких-либо целебных снадобий или механической формулы, подобно последователю Christian Science; его умение является не заранее предписанным и готовым, но накапливается, капля за каплей, только по мере ознакомления с переживаниями больного. Пациент, со своей стороны, не вносит в процесс лечения ничего, кроме своего конфликта. Но он преподносит его не в раскрытом виде, не с разумением его свойств, а в самых своеобразных и обманчивых проявлениях, искаженно и замаскировано, так что на первых порах существо расстройства недоступно ни его пониманию, ни пониманию врача. То, что являет собой невротик и в чем он признается, только симптом. А симптомы в области психики никогда не указывают ясно на болезнь, наоборот, они укрывают ее, ибо, по мысли Фрейда (крайне своеобразной и новой), невроты не имеют никакого содержания: каждый из них имеет только свою причину.

Невротик не знает, чем вызвано его расстройство, или не хочет этого знать, или не постигает этого сознанием. Много лет подряд он претворяет свой внутренний конфликт в столь разнообразные навязчивые действия и симптомы, что в конце концов сам перестает понимать, что с ним происходит. И вот тут-то вступает в дело психоаналитик. Его назначением является помочь невротiku разгадать загадку, ключ к которой он сам. В «деятельной работе вдвоем» он, сообщая с больным, доискивается в зеркальном экране симптомов до истинных, первичных образов расстройства; шаг за шагом проникают они, путями психической жизни больного, в обратном направлении, вплоть до того момента, когда окончательно прояснится и станет понятным внутренний разлад.

Этот технический прием психоанализа ближе на первых порах к области криминальной, чем к сфере врачебной деятельности. Всякий невротик, всякий неврастеник должен был, по мысли Фрейда, испытать когда-либо в прошлом взлом и покушение на целостность своей личности, и первой же мерой является возможно точное ознакомление с обстоятельствами дела; в памяти сознания должны быть с максимальной точно-

стью восстановлены место, время и все подробности позабытого или вытесненного происшествия. Но уже при первом же этом шаге психоаналитический метод наталкивается на трудность, которая неизвестна судопроизводству. Ибо в психоанализе пациент до известной степени совмещает в себе все. Он лицо пострадавшее от преступления и в то же время сам преступник. Он, при посредстве своих симптомов, является обвинителем и свидетелем обвинения, и вместе с тем он самый яростный укрыватель и самая большая помеха процессу. Где-то в глубине души он догадывается о происшествии и вместе с тем ничего о нем не знает; все, что он показывает о причинах, не причины; он не хочет знать того, что знает, и все-таки знает каким-то образом то, чего будто бы не знает. И — еще фантастичнее! — этот процесс начинается вовсе не с момента вступления в дело врача, он, собственно говоря, много лет уже длится без перерыва в душе невротика, не приходя ни к какому концу. И психоаналитическое вмешательство имеет своей задачей, в качестве последней инстанции, положить конец процессу; к такому завершению, к такому разрешению больной бессознательно толкает врача.

Но психоанализ не пытается сразу же, посредством какой-либо поспешной формулировки, вывести невротика, человека, заблудившегося в душевном своем лабиринте, из его конфликта. Наоборот, на первых порах он оттесняет пациента, заманивает его, ходами и обходами его собственных переживаний, назад, в обратном направлении, до того рокового пункта, где имело место первоначальное, чреватое опасностью отклонение от прямого пути. Ибо для того, чтобы выправить изъязн в ткани и заново прикрепить нить, ткач всякий раз должен устанавливать челнок на то именно место, где нить порвалась. Точно так же и врач неизбежным образом (тут не может быть никаких поспешных интуитивных решений, никакого ясновидения) должен, для того чтобы полностью восстановить непрерывность жизненной ткани, вновь и вновь возвращаться к тому месту, где произошел, в результате таинственного насилия, надлом или перелом.

Уже Шопенгауэр, в смежной области науки, высказал предположение, что можно было бы рассчитывать на полное выздоровление при душевных расстройствах, если бы мы были в состоянии проникнуть до того пункта, в котором имело место решающее потрясение психики; чтобы понять причину увядания цветка, нужно проследить ее вплоть до корней, до бессознательного. А это путь дальний, обходный и запутанный, грозящий ответственностью и опасностями; подобно тому как хирург становится во время операции все осторожнее и осмотрительнее по мере того, как приближается к тонкой нервной ткани, так и психоанализ мучительно медленно нащупывает себе, сквозь эту тончайшую из материй, пути от одного пласта переживаний к другому. Процесс психоанализа длится в каждом отдельной случае не дни и не недели, а месяцы, иногда и годы, и требует от врача длительной душевной сосредоточенности, доселе даже приблизительно незнакомой медицине, устойчивого самообладания, с которым могут, пожалуй, сравниться только упражнения иезуитов в волевой закалке.

Все происходит на этих сеансах психоанализа без всякой записи, без каких бы то ни было вспомогательных средств, единственно путем напряженного внимания, рассчитанного, однако, на длительный период времени. Пациент ложится на кушетку и притом так, что не может видеть сидящего позади него врача (с тем чтобы парализовать задержки стыдливости или сознания), и рассказывает. Но, в отличие от ошибочных представлений большинства, он не ведет рассказа в связной форме, не исповедуется; если подглядывать в замочную скважину, то зрелище психоанализа может показаться высококомичным, ибо в течение нескольких месяцев внешне как будто только то и происходит, что из двух человек один говорит, а другой прислушивается. Психоаналитик настоятельно внушает своему пациенту, чтобы он в этих своих высказываниях отсекся от какого бы то ни было обдумывания и не вмешивался в происходящий процесс в качестве поверенного, обвинителя или судьи, — чтобы он вообще ничего не желал, но поддавал-

ся, только без всякой мысли, всему, что придет ему непреднамеренно в голову (ибо приходит это не откуда-то свыше, а проступает из глубины, из бессознательного). Он не должен доискиваться до того, что, по его мнению, относится к делу, ибо, что означает, по существу, его душевное расстройство, как не то, что этот человек не знает, в чем его «дело», его болезнь? Если бы он знал это, он был бы психически нормален, не стал бы создавать для себя каких бы то ни было симптомов и ему незачем было бы обращаться к врачу.

Психоанализ отвергает поэтому все заранее подготовленные сообщения, все писанное от руки и уговаривает только пациента излагать по памяти, в свободной форме как можно больше своих душевных переживаний. Невротик должен наговориться, выговорить себя самого, изъясняться монологами, вкривь и вкось, рассказывать всякую всячину, что бы ни пришло ему в голову, самое с виду незначительное, ибо как раз неожиданные, непреднамеренные, случайные его высказывания важнее всего для врача. Только через посредство таких «мало относящихся к делу» подробностей врач может приблизиться к сути дела. Поэтому главной обязанностью пациента является побольше рассказывать — правду или неправду, важное или неважное, театрально или искренне, но главное, раздобыть и преподнести как можно больше материала переживаний, то есть субстанцию биографическую и обрисовывающую душевный склад.

Теперь начинается, собственно, работа аналитика. Из груды постепенно подвезенного и сваленного в кучу износившегося жизненного материала, из многих и многих тысяч воспоминаний, замечаний и пересказанных сновидений врач должен, при помощи жесткого решета психологии, отделить пустой шлак и в процессе утомительной переплавки добыть чистый металл психологических выводов — психоаналитическую субстанцию из первичного сырья. Ни в коем случае не вправе он признавать полноценным сырой материал рассказа: он неизменно должен помнить, что «сообщения и высказыва-

ния больного являются лишь извращенной картиной искомого конфликта, как бы намеками, по которым приходится разгадывать, что за ними скрывается». Ибо для познания болезни важно не пережитое пациентом (это бремя давно уже свалилось с его души), но еще не изжитое, элементы чувства, пребывающие в нем непретворенными, подобно непереваренному куску в желудке, и, так же как этот кусок, пробивающиеся и проталкивающиеся к выходу вовне, но всякий раз останавливаемые в своем продвижении судорогой какого-то противодействия. Этого противодействия и создаваемых им задержек должен доискиваться врач «с равномерным вниманием», в пределах отдельных проявлений психики пациента, с тем чтобы постепенно напасть на подозрение и от подозрения перейти к уверенности.

Такое наблюдение, спокойное, деловитое, как бы извне осуществляемое, одновременно и облегчается и затрудняется для врача поведением пациента, особенно в начале лечения, благодаря той едва ли не неизбежной установке чувств со стороны больного, которую Фрейд именуется «перенесением». Невротик, прежде чем прийти к врачу, долгое время носит в себе избыток своего неиспользованного, неизжитого чувства, не будучи в состоянии от него отделаться. Он, при помощи десятка симптомов, перекачивает его из стороны в сторону, он разыгрывает свой бессознательный конфликт, в самой причудливой игре, перед самим собой; но сразу же, как только он видит перед собой, в лице психоаналитика, внимательного, профессионального слушателя и соучастника в игре, швыряет он свое бремя, как мяч, в него: он пытается перенести свои неподдающиеся воплощению аффекты на врача. Будь то чувство любви или ненависти, он, во всяком случае, вступает в определенное «отношение» с ним, устанавливая какое-то напряженное взаимодействие чувств. Впервые то, что до сих пор бессмысленно обрывалось в мире пустоты и никогда не могло до конца высвободиться, проявляется здесь как на фотографической пластинке. Только с момента такого «перенесения»

создается должная психоаналитическая интуиция; всякого больного, который на такое перенесение не способен, следует рассматривать как неподходящего для психоанализа. Ибо для того, чтобы распознать конфликт, врач должен созерцать его развитие в эмоциональной жизненной форме; пациент и врач должны сообща пережить его.

Эта общность психоаналитической работы состоит в том, что больной создает или, вернее, воспроизводит свой конфликт, а врач толкует его смысл. Но при таком толковании смысла он ни в коем случае не должен (как можно было бы, с излишней поспешностью, предположить) рассчитывать на помощь больного: в области психики всегда имеют место разлад, двойственность чувств. Тот же самый пациент, который идет к психоаналитику, чтобы освободиться от своей болезни, зная только ее симптомы, вместе с тем бессознательно цепляется за нее, ибо эта его болезнь не постороннее для него тело, но нечто, им самим созданное, его продукция, деятельная и характерная частица его «я», которую он вовсе не желает отдать. И вот он крепко держится за болезнь, потому что примирится охотнее с ее тяжелыми симптомами, чем с истиной, которой он боится и которую врач хочет ему (собственно, против его воли) объяснить. Так как он чувствует и аргументирует двойственно, — в одном случае исходя из сознания, а в другом из подсознания, — то он сразу и охотник, и преследуемая им дичь; лишь одна часть его существа помогает врачу, другая является его яростным противником, и в то время как одной рукой пациент протягивает врачу будто бы добровольное признание, другая его рука запутывает дело и накидывает покров на истинное его положение.

Таким образом, сознательный невротик ничем не может помочь своему целителю; он не в состоянии сказать ему «правду» потому, что незнание правды или нежелание ее знать и есть то самое, что вывело его из равновесия и привело к расстройству. И даже в моменты искренней готовности к прямодушью он лжет относительно себя. За каждой правдой скры-

вается другая, более глубокая правда, и если человек признается, то часто только с тем, чтобы за этим признанием утаить другое, еще более сокровенное. Порывы откровенности и чувство стыда ведут здесь друг с другом и друг против друга таинственную игру; рассказчик временами выдает себя своими словами, а временами за этими словами прячется; в разгаре добровольной откровенности воля к признанию неожиданно подавляется. В каждом человеке, чуть только кто-либо захочет приблизиться к его сокровеннейшей тайне, что-то судорожно напрягается; всякий психоанализ в действительности борьба!

Но гений Фрейда всякий раз умеет обратить даже самого заклятого врага в незаменимого союзника. Как раз это сопротивление и выдает нередко человека, вырывая у него признание. Ибо для всякого обладающего тонким слухом наблюдателя человек выдает себя в беседе двояким образом: с одной стороны, тем, что он говорит, и, с другой стороны, тем, о чем он умалчивает; и фрейдовское искусство тайного розыска чует близость решающей тайны там, где хочет и не может заговорить сила противодействия; задержка предательски становится союзником, она дает указания относительно правильного пути. Там, где больной говорит слишком громко или слишком тихо, где он ускоряет темп речи или вдруг останавливается, там хочет заговорить само бессознательное. И эти многочисленные мелкие сопротивления, эти еле заметные колебания, паузы, слишком громкая или слишком тихая речь, которые наступают всякий раз при приближении определенного комплекса, указывают, наконец, явственно, наряду с задержкой, на задерживающий фактор и объект задержки, короче говоря, на предмет розыска — затаенный и замаскированный конфликт.

Ибо в процессе психоанализа дело неизменно идет о бесконечно малых догадках, об осколках переживаний, из которых мозаически составляется затем картина внутренней жизни. Нет ничего наивнее столь укоренившихся в гостиных и в кафе

представлений, будто бы человек опускает в мозги психоаналитика, как в автомат, свои сны и свои признания, повертывает рукоятку механизма при помощи двух-трех вопросов, и сразу же выпадает оттуда диагноз. На самом деле всякий психоаналитический курс представляет собой невероятно сложный, отнюдь не механический и даже высокохудожественный процесс, более всего сходный, пожалуй, с реставрированием, в прежнем ее стиле, старой загрязненной картины, заново размалеванной поверх оригинала чьей-нибудь неуклюжей рукой; с изумительным терпением, слой за слоем, по миллиметрам, приходится обновлять ее и облекать новой жизнью, оперируя тонким и драгоценным материалом, пока, наконец, не проступит, после снятия размалевки, первоначальный образ в естественной своей расцветке.

Внешне поглощаемый исключительно единичными подробностями, труд психоаналитического созидания неизменно имеет в виду целое, восстановление личности во всей ее полноте; поэтому в настоящем анализе отнюдь не следует выхватывать какой-либо один комплекс; всякий раз приходится восстанавливать, начиная с фундамента, всю душевную жизнь человека. Таким образом, терпение — это качество, которого требует психоанализ, деятельное терпение, при непрестанной и все же не бросающейся в глаза наблюдательности, — ибо врач, не давая того заметить, должен бесстрастно распределять свое непредвзятое внимание между тем, что пациент рассказывает и что он не рассказывает, и сверх того не упускать из виду оттенков рассказа. Он должен сопоставлять данные каждого сеанса со всеми предшествующими, чтобы подметить, какие эпизоды больной повторяет, в силу внутреннего противодействия, подозрительно часто, в каких пунктах его рассказ вступает в противоречие с самим собой, и при этом он не вправе обнаружить нарочитое свое любопытство. Ибо как только пациент замечает, что за ним следят, он теряет свою непосредственность — ту самую непосредственность, которая одна ведет к мгновенным озарениям бессознательного и



дает возможность врачу созерцать контуры незнакомого пейзажа чужой психики. Но и это свое собственное толкование он не должен навязывать затем пациенту, ибо смысл психоанализа как раз в том, чтобы самосознание пришло к больному изнутри, чтобы переживание было изжито. Излечение в идеальной форме наступает лишь тогда, когда пациент признает, наконец, свои невротические симптомы излишними и станет претворять энергию своего чувства не в ложные представления и образы, а в жизнь и в жизненный труд. Только тогда анализ отпускает больного.

Но часто ли — опасный вопрос! — удастся психоанализу добиться столь совершенного результата? Боюсь, что не слишком часто. Ибо искусство выспрашивать и выслушивать требует исключительной тонкости душевного слуха, высокой проникновенности чувства, одновременного наличия стольких драгоценных духовных качеств, что только человек, судьбой к этому предназначенный, истинный психолог по призванию может действовать здесь в качестве посредника. Christian Science и метод Куэ могут себе позволить готовить простых механиков по этим специальностям. Там достаточно заучить наизусть несколько универсальных формул: «Никаких болезней нет», «Я чувствую себя с каждым днем лучше»; такими грубо сработанными понятиями даже и неловкие руки могут без особого риска молотить по слабым человеческим душам до тех пор, пока пессимистическая мысль о болезни не будет выколочена начисто.

Но психоаналитический метод возлагает на сознающего свою ответственность врача долг разрабатывать для себя, в каждом индивидуальном случае, особую систему, а такого рода творческая способность к приспособлению не дается одним усердием и здравым смыслом. Она требует прирожденного и искушенного знатока душ человеческих, способного вдумываться в чужие судьбы и чувствовать их, в соединении с человеческим тактом и терпеливой, незаметной наблюдательностью; но сверх всего этого от творчески одаренного психоана-

литика должна бы исходить и еще некая магическая сила, поток симпатии и уверенности, которому могла бы доверчиво и со страстной готовностью подчиниться чужая душа, — качество, не поддающееся выучке и сочетающееся в лице одного человека лишь по особой милости неба.

В крайней малочисленности таких истинных знатоков души человеческой склонен я видеть причину того, что возможности применения психоанализа ограничены и что в будущем он может стать призванием единиц, но не рядовой профессией и карьерой, — что слишком часто встречается, к сожалению, в наши дни. Но в данном случае Фрейд смотрит странно снисходительно, и когда он заявляет, что успешная работа при помощи его метода хотя и требует такта и опыта, но «легко поддается изучению», то позволительно поставить здесь жирный и почти яростный вопросительный знак. Ибо уже выражение «работа» кажется мне неудачным для процесса, требующего напряжения высших духовных сил в человеке, а указание на всеобщую доступность явно, по-моему, опасно. Ибо самое усердное занятие психотехникой столь же мало способно создать истинного психолога, как знание стихосложения — поэта; а между тем только истинному психологу, ему одному, прирожденному, владеющему даром прочувствования провидцу душ человеческих может быть разрешен доступ к самому тонкому, самому хрупкому и чувствительному из всех наших органов.

Нельзя без ужаса подумать о том, какую опасность может представить в неуклюжих руках своего рода инквизиторский метод, задуманный в высшей степени тонко и с сознанием ответственности таким творческим умом, как Фрейд. Ничто, вероятно, так не повредило репутации психоанализа, как то обстоятельство, что он не ограничился узким, избранным кругом лиц, а ввел в состав школьной науки то, что не поддается изучению. Ибо в процессе поспешного и непродуманного перехода из рук в руки многие его понятия огрубели и отнюдь не стали чистоплотнее; то, что слывет в наши дня в Старом и тем

более в Новом Свете за психоаналитический метод, в профессиональном или дилетантском его применении, часто имеет с первоначальной практикой Зигмунда Фрейда, взявшего установку на гений и выдержку, лишь печальное сходство пародии. Как раз те, кто хотят судить независимо, должны признать, что только в результате упомянутых школьных анализов нет в настоящее время никакой возможности проверить, что, собственно, дает психоанализ в смысле терапии и будет ли он когда-либо в состоянии, в силу захвата его сомнительными дилетантами, удержать за собой абсолютное значение клинически точного метода; решение принадлежит здесь не нам, а будущему.

Одно только ясно: психоаналитическая техника Фрейда далеко еще не является последним и решающим словом в науке психотерапии. Но заслуга ее на вечные времена в том, что она составила первую страницу этой слишком долго пребывавшей за семью печатями книги, явилась первой методологической попыткой постигнуть индивидуум и излечить его на основе материала его личности. С гениальным инстинктом один, отдельный человек осознал пустоту в средоточии современной врачебной науки; непостижимый факт: в то время как установлен тщательный уход за такими деталями человеческого организма, как зубы, кожа, волосы, — душевные страдания не нашли отзвука у науки. Педагоги помогали человеку до наступления зрелости, а потом равнодушно оставляли его одного. И в полном пренебрежении пребывали те, кто еще в школе не справились с собой, не выполнили урока и беспомощно влачили за собой свои неизжитые конфликты. Для этих ушедших в себя и отставших, для невротиков, психастеников, для узников своего внутреннего мира целое поколение не нашло пристанища, не нашло участия; больная душа беспомощно блуждала по улицам, в тщетных поисках помощи. Такую инстанцию создал Фрейд. Он указал новой, современной нам науке место, где в античные времена стояли психагог, врачеватель душ и наставник в премудрости, а во времена благоче-

ствия — жрец. Науке предстоит еще отвоевать себе границы, но задача поставлена во всем ее величии, дверь раскрыта. А там, где дух человеческий чувствует новые миры и не изведенные еще глубины, он не успокаивается, но в мощном порыве расправляет свои не знающие устали крылья.

## ОБЛАСТЬ ПОЛА

И неестественное — тоже природа. Кто не видит ее во всем, тот нигде не видит ее как должно.

*Гете*

То, что Зигмунд Фрейд стал основателем сексуальной науки, без которой отныне уже не обойтись, произошло, собственно, без всякого с его стороны умысла. Но таинственная закономерность его жизненного пути в том, по-видимому, что путь этот всякий раз ведет его дальше, за пределы искомого, и открывает ему области, куда он по собственной воле никогда бы не отважился вступить. В тридцать лет он, вероятно, улыбнулся бы недоверчиво, если бы кто-нибудь предсказал, что ему, неврологу, предстоит поднять толкование снов и биологическую трактовку половой жизни до высоты науки, ибо ничто не предрекает ни в личных его, ни в научных склонностях ни малейшего интереса к столь отдаленным и обходным дисциплинам. То, что Фрейд занялся проблемой пола, произошло не потому, что он к этому стремился; эта проблема сама собой стала на пути его научного мышления.

Она стала на его пути, к собственному его изумлению, совершенно неожиданно, возникнув из тех глубин, в которые заглянул он с Брейером. Они, исходя из истерии, сообща установили новое положение, что неврозы и большая часть всякого рода душевных расстройств возникают тогда, когда какое-либо влечение встречает препятствие на пути к естественному своему исходу и, не получив удовлетворения, оттесняется вглубь, в подсознание. Какого же рода те влечения, которые главным образом подавляет культурный человек, которые он

скрывает от мира и даже от самого себя в качестве наиболее интимных и для самого себя тягостных? Проходит немного времени, и Фрейд дает сам себе ответ, от которого не уйти. Первый случай психоаналитического лечения невроза указывает на подавление эротического аффекта. Второй и третий точно так же. И вскоре Фрейд убеждается: всегда или почти всегда невроз обуславливается сексуальным влечением, которое, не будучи в состоянии овладеть своим объектом, претворяется в задержки и давит на психику.

Первым ощущением Фрейда при этом непреднамеренном открытии было, вероятно, изумление по поводу того, что столь очевидный факт ускользнул от внимания всех его предшественников. Неужели, действительно, никому не бросилась в глаза эта прямая обусловленность? Нет, об этом нет ни слова в учебниках. Но потом Фрейд вспоминает вдруг о некоторых намеках и разговорах своих знаменитых учителей. Когда Хробак передал ему для лечения одну истеричку, он тут же сообщил ему, что эта женщина, несмотря на восемнадцатилетнее супружество, осталась девственницей, потому что муж ее был импотент; при этом он пошутил довольно грубо, пояснив лично от себя, какое, по его мнению, в высшей степени физиологическое и угодное Богу вмешательство могло бы лучше всего ее исцелить. Точно так же и его учитель Шарко в Париже в подобных же обстоятельствах высказался в разговоре относительно причины одного нервного расстройства: «*Mais c'est toujours la chose sexuelle, toujours!*»\* Фрейд поражен. Значит, они это знали, его учителя и, вероятно, бесчисленное количество выдающихся врачей и до них! Но, — возмущается в нем его наивная добросовестность, — если они знали, почему держали они это в секрете и высказывались только в разговоре, никогда не заявляя об этом публично?

Вскоре молодой врач на себе узнает, почему эти искушенные мужи утаивали от мира свои знания. Ибо едва только

---

\* Всегда, всегда что-нибудь сексуальное! (фр.)

сообщает Фрейд, спокойно и деловито, результаты своих наблюдений в формуле: «Неврозы возникают там, где в силу внешних или внутренних препятствий нет реального удовлетворения эротических потребностей», как со всех сторон встречает он яростный отпор. Наука, в то время еще непреклонная хоругвеносица морали, не согласна официально признать такого рода сексуальную этиологию; даже его друг, Брейер, который сам содействовал ему в обнаружении тайны, поспешно отходит от психоанализа, как только начинает понимать, что помог ему открыть своего рода ящик Пандоры. Проходит немного времени, и Фрейду приходится удостовериться, что в 1900 году такие формулировки затрагивают пункт, где душа, равно как и тело, отличается наибольшей чувствительностью и щекотливостью; он убеждается, что тщеславие современной ему цивилизации охотнее примирится с любым уроном, чем услышит лишний раз, что инстинкт полового влечения все еще распоряжается каждым в отдельности и является решающим моментом в создании высших культурных ценностей: «Общество ни в чем не усматривает такой угрозы культуре, как в высвобождении полового инстинкта и в согласовании его с его прямыми, первоначальными целями. Общество не любит, чтобы ему напоминали об этом щекотливом обстоятельстве, лежащем в его основе. Оно ничуть не заинтересовано в том, чтобы мощь полового инстинкта была признана и чтобы разъяснено было значение половой жизни для каждого в отдельности. Наоборот, оно, в целях педагогических, избрало путь отвлечения внимания от всей этой области. Поэтому научные результаты психоанализа в целом ему не по вкусу, и охотнее всего оно заклеило бы их как эстетически отталкивающие, морально неприемлемые и опасные для человечества».

Таким образом, все современное Фрейду мирозерцание становится ему поперек дороги с первых же его шагов. И к чести его, как человека добросовестного, нужно сказать, что он не только с решимостью принял вызов, но даже затруднил

для себя борьбу благодаря врожденной своей прямолинейности. Ибо Фрейд мог бы высказать все, что он сказал, или почти все, не вызвав особого раздражения, если бы он нашел в себе готовность формулировать свою генеалогию половой жизни более осторожным образом, путем обходов, никого не задевая. Ему следовало только накинуть словесный покров на свои убеждения, приукрасить их слегка поэтически, и они контр-абандой проникли бы в общество, никому особенно не бросаясь в глаза. Достаточно было бы, пожалуй, назвать то неистовое фаллическое влечение, чью мощь и силу он хотел показать во всей наготе, не *libido*, а более изысканно — эросом или любовью. Ибо утверждение, что душевная наша жизнь находится под знаком эроса, звучало бы во всяком случае по-платоновски.

Но Фрейд, человек без лоска и противник всякой половинчатости, выбирает слова жесткие, угловатые, прямо бьющие в цель, он не упускает случая быть ясным; он так и говорит: *libido*, похоть, сексуальность, половое влечение, вместо «эрос» и «любовь». Фрейд слишком честен, чтобы, когда он пишет, выражаться описательно. «*Il appelle un chat un chat*»\*, он пользуется как терминами, в области пола и всяческих от него отклонений, обычными немецкими наименованиями с тем же бесстрашием, с каким географ перечисляет города и горы или ботаник — растения и травы. С клиническим хладнокровием подвергает он исследованию все проявления сексуальности, не исключая и тех, которые заклеены в качестве пороков и извращений, равнодушный к выпадам возмущенной морали и к воплям перепуганной стыдливости; заткнув себе, в известном смысле, уши, он спокойно и терпеливо внедряется в неожиданно открывшуюся проблему и приступает к систематическому, первому за все время психогеологическому обследованию мира человеческих инстинктов.

Ибо в человеческом инстинкте Фрейд, этот сознательно

---

\* Он называет кошку кошкой (*нем.*).

посюсторонний и глубоко антирелигиозный мыслитель, видит самый последний, огненно текущий слой внутреннего нашего подземного мира. Не вечности хочет человек, не жизни в духе жаждет, как высшего блага, душа; она жаждет слепо-инстинктивно. Беспредельное вожделение — это начало и основа всякой психической жизни. Так же, как тело к пище, стремится душа к наслаждению, *libido*, этот извечный позыв к сладострастию, этот неутолимый душевный голод, гонит ее в мир. Но — в этом, собственно, основа фрейдовского открытия в сексуальной науке — *libido* не имеет поначалу никакого определенного содержания, ее смысл только в том, чтобы исходить влечением и влечением растекаться. И так как, по творческой установке Фрейда, душевная энергия всегда допускает перенесение, то *libido* может быть обращена то на один, то на другой объект.

Таким образом, не всегда вожделение возникает, в игре взаимного влечения, между мужчиной и женщиной; оно стремится только к удовлетворению, оно — как напряжение лука, который не знает еще, куда полетит стрела, как сила устремления потока, которому неизвестно то устье, куда оно вольется. Оно гонит человека к удовлетворению, не зная, в чем оно выразится. Оно может найти исход и выход в обыкновенном, нормальном половом акте и может точно так же духовно претвориться в сублимированный акт художественного или религиозного творчества. Оно может найти себе неверный исход и перейти в отклонение, «замещая», в своем порыве, самые неожиданные объекты вне сексуальной сферы, и полностью вывести половой поначалу инстинкт из области плоти путем бесчисленных промежуточных переключений. От животной похоти до тончайших проявлений человеческого духа способно оно претворяться во все формы, не обладая само по себе никакой формой, не будучи осязаемо и в то же время неотступно участвуя в игре. Но неизменно и в низших своих проявлениях, и в высших достижениях оно воплощает единую и изначальную волю человека к сладострастию.



После такой переоценки со стороны Фрейда установка в области половой проблемы разом изменилась. Так как прежняя психология, не подозревавшая о способности душевной энергии подвергаться превращениям, грубо отождествляла все половое с функциями половых органов, то в глазах науки сексуальность являлась развитием темы о функциях нижней части тела и представлялась поэтому делом щекотливым и нечистоплотным. Отделяя понятие сексуальности от физиологической половой деятельности, Фрейд вместе с тем расширяет это понятие и опровергает ложное о нем представление, как о «низшем» психофизическом акте; исполненные предчувствия слова Ницше: «Степень и характер сексуальности человека отражаются во всем его существе, вплоть до вершин его духа», — подтверждаются Фрейдом в качестве биологической истины. На бесчисленных единичных примерах он показывает, как эта мощно напрягающая человека сила, путями таинственного проникновения вдаль, находит, на протяжении десятилетий, разрядку в совершенно неожиданных проявлениях его душевной жизни, как сказывается вновь и вновь особый склад его в бесчисленных превращениях и искажениях, в самых удивительных формах вожделения и подменяющих его действиях.

Таким образом, во всех случаях, где имеются налицо бросающаяся в глаза особенность душевного склада, угнетенность, невроз, навязчивые действия, врач, в силу сказанного выше, может по большей части уверенно судить о наличии особого склада сексуальной жизни или о ее отклонении от нормы; в дальнейшем, в соответствии с методом глубинной психологии, его обязанностью является довести больного до той первоначальной точки его внутренней жизни, где в силу какого-либо переживания последовало отклонение от нормальной линии развития его инстинкта. Этот новый диагностический прием опять-таки приводит Фрейда к неожиданному открытию.

Уже данные первых произведенных им психоанализов сде-

дали для него ясным, что сексуальные переживания невротика, обуславливающие его расстройство, лежат где-то далеко позади, и наиболее естественным представлялось искать их в ранних годах индивидуума, в ту пору, когда формируется душа; ибо единственное, что отпечатывается, к моменту созревания личности, на мягкой и потому отчетливо воспроизводящей пластинке возникающего сознания, это, собственно, то, что предопределяет дальнейшую судьбу человека и чего нельзя уже стереть: «Пусть никто не думает, что может преодолеть первые впечатления своей юности» (Гете). Поэтому в каждом отдельном случае Фрейд неизменно идет ощупью в обратном направлении, вплоть до момента половой зрелости, — для него на первых порах нет еще вопроса о годах более ранних; ибо каким образом могут возникнуть впечатления пола до того, как установилась половая способность? В то время ему кажется полностью бессмысленной самая мысль — пытаться проследить жизнь полового инстинкта за пределами этой зоны, в раннем детстве, ничего не подозревающим, пребывающем в блаженном неведении, о томительных, порывающихся вовне соках. В своих первых исследованиях Фрейд остановился, таким образом, на моменте возмужания.

Но вскоре Фрейду приходится, в результате некоторых удивительных признаний, убедиться, что у многих его больных возникают в процессе психоанализа неоспоримо отчетливые воспоминания о более ранних, как бы доисторических сексуальных переживаниях. Вполне ясные высказывания его пациентов внушили ему подозрение, что и в периоде, предшествующем возмужалости, то есть в детстве, должен уже быть налицо половой инстинкт или определенные о нем представления. Подозрение, по мере дальнейших изысканий, становится все более настойчивым; Фрейд вспоминает, что могут порассказать бонны и школьные учителя о такого рода ранних проявлениях полового любопытства, и вдруг его собственное открытие относительно различия между сознательной и бессознательной душевной жизнью разъясняет ему положение.

Фрейд убеждается, что половое сознание не проникает неожиданно в организм в период возмужания — откуда было бы ему взяться? — но что половой инстинкт — как давно уже выразил это наш язык в тысячу раз психологичнее, чем все психологи — лишь «пробуждается» в наполовину созревшей человеке, и что он давно уже содержался в детском организме в состоянии дремоты (то есть в скрытом состоянии). Подобно тому как способность ходить заключена уже потенциально в ногах ребенка, прежде чем он научится ходить, и позыв к речи — прежде чем научится говорить, имеется налицо у ребенка и сексуальность, разумеется, без всякой мысли о ее действительном предназначении. Ребенок догадывается — решающая формула! — о своей сексуальности. Он только не понимает ее.

Но вот — я только высказываю предположение, а не говорю уверенно — это открытие должно было, кажется мне, испугать в первый миг самого Фрейда. Ибо оно рушит, почти кощунственным образом, все обычные представления. Если требовалась большая смелость для того, чтобы подчеркнуть психическое значение сексуальности в жизни взрослого и даже, как утверждают другие, переоценить это значение, то каким вызовом общественной морали является эта революционная теория: искать следы полового чувства в ребенке, с которым человечество связывает представление об абсолютной чистоте, ангелоподобности и отсутствии всяких страстей! Как, неужели и этому нежному, улыбчивому, цветущему существу знакомо уже вожделение, хотя бы и бессознательное? Эта мысль кажется поначалу нелепой, бессмысленной, преступной, почти нелогичной, ибо раз организм ребенка не способен к продолжению рода, то должна оказаться верной формула: «Если вообще у ребенка есть сексуальная жизнь, то она может быть только извращенной».

Произнести вслух такие слова в 1900 году было, в области науки, равносильно самоубийству. Но Фрейд их произносит. Там, где этот непреклонный ум чувствует твердую почву, он неудержимо устремляется, со свойственной ему мощью,

вглубь, вплоть до последних пластов, ввинчиваясь последовательно, шаг за шагом. И к своему собственному изумлению, он открывает, что именно в пору наибольшей бессознательности, в грудном возрасте, наиболее явственно обнаруживает себя интересующая его первичная и универсальная форма вождения. Как раз потому, что на этой ступени человеческой жизни ни единый отсвет морального сознания не проникает еще в чуждую задержек область инстинктивных влечений, это крошечное существо, грудной младенец, являет собой наиболее выразительную форму *libido*: всасывать в себя наслаждение, отталкивать от себя горечь.

Отовсюду впитывает в себя этот крохотный зверек в человеческом образе усладу: из собственного своего тела и из окружающего мира, из материнской груди, из пальцев и пяток, из дерева и материи, из плоти и одежды; в блаженном, чуждом всяких задержек опьянении, он стремится ввести в свое маленькое, мягкое тельце все, что доставляет ему удовольствие. В этой первичной форме вождения ребенок, существо со смутно намечающимся сознанием, не различает еще понятий «твое» и «мое», которые внушат ему впоследствии, он не чувствует еще тех преград, как физических, так и моральных, которые воздвигнет для него в дальнейшем система воспитания; существо анархическое, вселенское, пытающееся, в неудержимой похоти, впитать в свое «я» весь мир, он подносит все, что может захватить своими крохотными пальцами, к единственно ему знакомому источнику услады, к своему рту (почему Фрейд и именует этот период «оральным»). Безмятежно играет он со своими членами, весь уйдя в бормочущие, присасывающие вождения и яростно протестуя против всего, что мешает ему в этом блаженно-неистовом посасывании. В грудном младенце, в этом еще не «я», в этом смутном «оно» — и только в нем одном, — универсальная человеческая *libido* изживает себя вне всякой цели и вне объекта. Здесь бессознательное «я» жадно пьет еще усладу из всех сосцов вселенной.

Но эта первоначальная автоэротическая стадия длится непродолжительное время. Вскоре ребенок начинает догадываться, что его тело имеет границы; в крохотном мозгу мелькает искра сознания, возникает первое представление о различии между внешним и внутренним. Впервые чувствует ребенок сопротивление мира и на опыте узнает, что это окружающее — сила, с которой приходится считаться. Боль от наказания знакомит его с непостижимым для него законом, в силу коего не дозволено черпать наслаждение из всех без различия источников; ему запрещают оголять свое тело, трогать свои испражнения и забавляться ими; немилосердным образом принуждают его отказаться от единства чувства, чуждого всякой морали, и рассматривать одни вещи как дозволенные, другие как недозволенные. Культурная среда начинает вселять в маленького дикаря социальную эстетическую совесть, некий контролирующий аппарат, при помощи которого он может осознавать свои поступки, как хорошие и дурные. И с возникновением этого сознания юный Адам оказывается изгнанным из эдема безответственности.

И одновременно возникает как бы обратный процесс в развитии инстинкта сладострастия; этот инстинкт отходит в подрастающем ребенке на задний план, уступая место новому инстинкту самоосознания. Из некоего «оно», инстинктивно-бессознательного, образуется «я», и открытие этого «я» связано с таким напряжением мозга и такой его работой, что первоначальное космическое вожделение оказывается в забросе и переходит в скрытое состояние. Но и этот процесс самонаблюдения не проходит полностью бесследно и нередко оставляет у взрослого ряд воспоминаний; в некоторых он сохраняется в качестве нарцисстической тенденции (выражение Фрейда), то есть опасной склонности к эгоцентризму, занятию самим собой, без всякого чувства связи с миром. Вожделение, являющееся в ребенке свою изначальную, космическую форму, становится в эти промежуточные годы незримым, оно замыкается в некой оболочке. Автоэротическую, панэротическую фор-

му вожделения ребенка и половую эротику возмужания отделяет период зимней спячки чувств, сумеречное состояние, когда силы и соки готовятся, накапливаясь, к осмысленному разряжению.

Когда затем в этот второй период, опять-таки сексуально окрашенный, период возмужания, дремлющий инстинкт постепенно просыпается, *libido* вновь обращается к миру и ищет вновь «замещения», объекта, на который она может перенести напряжение своего чувства, в этот решающий миг биологическое веление природы недвусмысленно указывает новичку естественный выход — продолжение рода. Совершенно определенные изменения физической структуры в период полового созревания дают знать юноше и девушке-подростку, что природа их для чего-то готовит. И эти указания относятся, с полной несомненностью, к половой сфере. Ими как бы определяется тот путь, которым надлежит следовать человеку, чтобы выполнить тайную и изначальную волю природы — продолжение рода. Уже не играючи, как в пору младенчества, должна излиться сама в себе *libido*, но ей предстоит слепо подчиниться мировому замыслу, вновь и вновь исполняющемуся в каждом зачинающем и в каждом зачатом человеке. Если индивидуум постигнет этот указующий перст природы и покорится ему, если мужчина, в творческом соитии, прилепится к женщине, как и женщина к мужчине, если удалось ему позабыть о всех других возможностях, лежавших когда-то на пути к удовлетворению его космического вожделения, то половое развитие этого человеческого существа прошло правильным и закономерным путем, и его индивидуальный инстинкт изживает себя в нормальном, естественном направлении.

Этот «двукратный ритм» определяет собой развитие половой жизни всего человеческого рода, и у сотен миллионов людей половое влечение подчиняется, без всяких задержек, указанной закономерной схеме: вожделение и самовожделение в детстве, стремление к зачатию в состоянии возмужало-

сти. Каждый нормальный человек служит, совершенно естественным образом, замыслу природы, использующей его, в метафизических своих конечных целях, для продолжения рода. Но в некоторых, сравнительно редких случаях, и, однако, как раз в тех, которые интересуют врача по нервным болезням, обнаруживается роковое отклонение от этого прямого и нормального пути. Некоторая часть людей не в состоянии, в силу причин, которые в каждом случае подлежат индивидуальному установлению, решиться безостановочно изжить свое влечение в предуказанной природой форме; у них половая энергия непрестанно ищет, для полноты удовлетворения, какого-то иного пути вместо нормального. У этих утративших верное направление невротиков, в результате ложной установки в период какого-либо переживания, половое влечение стало не на тот путь и не может с этого пути сдвинуться.

«Первертированные», обладающие иной установкой, не являются, в понимании Фрейда, людьми, отягченными наследственностью или болезнями, или тем более преступниками в душе; они страдают лишь, в большинстве случаев, тем, что хранят, роковым образом, прочное воспоминание о какой-либо другой форме удовлетворения из раннего, дополового периода, о каком-либо эротическом переживании из времен своего начального развития, и в дальнейшем, в силу трагической повторности влечения, ищут исхода единственно в этом направлении. И вот, уже в зрелом возрасте, эти несчастные оказываются вынужденными жить с инфантильными, по существу, формами вожделения и, в результате навязчивого воспоминания, не находят никакого удовольствия в нормальной для их возраста половой деятельности, признанной обществом абсолютно естественной; вновь и вновь хотят они испытать прежнее (большей частью давно уже перешедшее в подсознательную сферу) переживание и ищут для этого воспоминания реального замещения.

Жан-Жак Руссо, в своей беспощадной исповеди, давно уже дал в литературе классический образец такого извращения,

явившегося следствием одного детского переживания. Его строгая и втайне обожаемая учительница часто и жестоко наказывала его розгами, но, к собственному своему изумлению, мальчик испытывал во время этого наказания, несмотря на боль, определенное наслаждение. В промежуточной, сумеречной стадии своего развития (столь великолепно очерченной Фрейдом) он совершенно забывает об этом эпизоде, но его тело, его душа, его бессознательная сфера не в состоянии забыть этого переживания. И в дальнейшем, когда, достигнув зрелости, он ищет удовлетворения в нормальном общении с женщинами, он всякий раз не в силах осуществить его физически. Для того чтобы он мог соединиться с женщиной, необходимо, чтобы она воссоздала знаменитый эпизод с розгами; и вот Жан-Жаку Руссо приходится в течение всей жизни расплачиваться за раннее, необычное и роковое для него пробуждение полового чувства неизлечимым мазохизмом, который, вопреки его внутренним протестам, толкает его все к той же, единственно ему доступной форме удовлетворения.

Таким образом, первертированные (под этим словом Фрейд понимает всех тех, которые ищут удовлетворения полового чувства иными путями, чем путь, служащий продолжению рода) — это люди не больные и не анархически настроенные, переступающие, сознательно и дерзко, законы общества, но против своей воли попавшие в плен и пригвожденные к переживанию детства, пребывающие в состоянии инфантильности; а стремление во что бы то ни стало освободиться от своей ненормальной установки делает их невротиками и психотиками. Парализовать эту навязчивую установку не могут поэтому ни юстиция, своими угрозами создающая еще большую запутанность в психике больного, ни мораль, взывающая к «рассудку», этого может добиться только проникнутый участием врач, тем, что, высвободив это переживание, сделает его доступным пониманию больного. Ибо только путем осознания внутреннего конфликта — аксиома фрейдовской психологии — можно его изжить; чтобы излечиться, нужно постигнуть прежде всего смысл болезни.



Итак, по Фрейду, всякое расстройство психики основано на каком-либо, большей частью эротически обусловленном, личном переживании, и даже то, что мы называем предрасположением и наследственностью, является всего лишь зарубцевавшимся в нервной системе переживанием предшествующих поколений; поэтому переживание определяет для психоанализа форму всяческой душевной настроенности, и он стремится понять каждого человека в отдельности, исходя из его личных переживаний. Для Фрейда существует только индивидуальная психология и индивидуальная патология; в пределах человеческой психики нельзя рассматривать что бы то ни было с точки зрения общего правила или схемы; в каждом отдельном случае должна быть вскрыта причинность во всем ее своеобразии. Этим не исключается, конечно, тот факт, что большинство ранних сексуальных переживаний отдельных лиц, невзирая на их личную окраску, обнаруживает известную типичную форму подобия; в соответствии с тем, что бесчисленное количество людей нередко видит сны одного и того же порядка, например полет в воздухе, экзамены, погоню за собой, Фрейд полагает, что некоторые типичные установки чувственного восприятия должны быть признаны, в пору ранней сексуальной жизни, почти неизбежными; он посвятил немало энергии и страсти раскрытию и популяризации этих типичных форм, «комплексов».

Наибольшую известность среди них — а также и наибольшие нападки — стяжал так называемый комплекс Эдипа, который сам Фрейд признает даже одним из основных устоев своей психоаналитики (в то время как, с моей точки зрения, это не более чем временная опора, которую без всякого риска можно убрать по окончании постройки). За истекшее время этот комплекс стяжал себе столь шумную популярность, что едва ли есть надобность излагать его содержание сколько-нибудь обстоятельно. Фрейд исходит из того, что роковая установка чувств, трагически воплотившаяся, согласно греческому мифу, в Эдипе, — сын убивает отца и овладевает ма-

терью, — что эта варварская, на наш взгляд, ситуация имеется и сейчас налицо в каждой детской душе в качестве подсознательного желания; ибо — предпосылка Фрейда, наиболее часто оспариваемая! — первая эротическая установка ребенка обращена всегда на мать, а первая агрессивная — на отца. Фрейд полагает, что в психике каждого ребенка можно проследить наличие этого параллелограмма сил, слагающегося из любви к матери и ненависти к отцу и представляющего собой первую наиболее естественную и неизбежную группировку детских чувств; бок о бок с ним он располагает ряд других подсознательных чувств, таких, как боязнь кастрации, влечение к инцесту, — чувств, которые также нашли себе художественное воплощение в древних мифах (ибо, согласно культурно-биологической концепции Фрейда, мифы и легенды всех народов являются не чем иным, как «отреагированными» грезами ранней поры их существования).

Таким образом, все, что давно уже отвергнуто человечеством как чуждое культуре, — жажда убийства, кровосмешительство и насилие, все эти темные заблуждения кочевой эпохи — все это вспыхивает еще раз в детстве, как бы на первобытной ступени человеческого существования; каждому отдельному индивидууму суждено символически воспроизвести, в процессе своего нравственного развития, всю историю человеческой культуры. Все мы влачим за собой, в своей крови, незримо и бессознательно, древние варварские инстинкты, и никакая культура до конца не может оградить человека от неожиданной вспышки этих ему самому чуждых инстинктов и вожелений; в бессознательной нашей сфере существуют тайные течения, влекущие нас обратно, в первобытные эпохи, вне оседлости и нравственности. И как бы мы ни напрягали силы, чтобы оградить себя, в сознательных своих поступках, от мира инстинктов, мы, в лучшем случае, можем только направить эти инстинкты на путь создания духовных и моральных ценностей, но не в состоянии полностью от них освободиться.

Противники Фрейда, имея в виду именно это воззрение,

якобы «враждебное цивилизации», признающее в известном смысле тщетными тысячелетние усилия человечества побороть до конца свои инстинкты и постоянно подчеркивающее непобедимость libido, назвали все его учение о поле пансексуализмом. Он переоценил будто бы, в качестве психолога, значение полового инстинкта тем, что признал за ним такое решающее влияние на душевную нашу жизнь; а в качестве врача он чрезмерно увлекся, пытаясь свести всякое психическое расстройство единственно к этому пункту и, исходя из него, лечить это расстройство.

В этом упреке, мне кажется, доля истины перемешана, крайне запутывающим образом, с неправдоподобием. Ибо на самом деле Фрейд никогда не выдвигал монистически вождения, как единственную, движущую мир душевную силу. Ему хорошо известно, что всякое напряжение и всякое движение — а что же иное представляет собой жизнь? — возникают единственно из борьбы, из сопротивления. Поэтому он с самого начала теоретически противопоставил libido, центробежному, вожделеющему за пределы «я», ищущему соития влечению, другое влечение, которое он именуется сперва инстинктом «я», затем агрессивным инстинктом и, наконец, инстинктом смерти — то влечение, которое вместо зачатия стремится к уничтожению, вместо творчества — к разрушению, вместо вселенной — к пустоте. Но Фрейду не удалось — и только в этом смысле его противники не до конца неправы — отобразить это противовлечение с такой убедительной и художественной силой, как влечение сексуальное; царство так называемых инстинктов «я» осталось, в его философии мира, достаточно туманным и сумеречным; там, где Фрейд видит не до конца ясно, а следовательно, и в области чистого умозрения, ему изменяет дар великолепной выразительности, характеризующий его точное изложение.

Возможно поэтому, что в творчестве его и в его практике действительно имеет место некоторая переоценка сексуального, но это усиленное подчеркивание было исторически обуслов-

лено предшествовавшей, десятилетиями практиковавшейся системой замалчивания и недооценки полового чувства. Крайность была необходима, чтобы привлечь к идее внимание современности; и насильно прорвав преграду молчания, Фрейд тем самым положил только начало дискуссии. В действительности это столь прошумевшее подчеркивание сексуальности никогда не означало реальной опасности, и те крайности, которые были налицо в первых попытках, давно уже преодолены при помощи вечного регулятора всех ценностей — времени. В наши дни, спустя двадцать пять лет после первых формулировок Фрейда, даже самые боязливые могут быть спокойны: благодаря нашему новому, добросовестному, лучшему и более научному ознакомлению с проблемой сексуальности мир отнюдь не стал сексуальнее, неистовее в половом смысле, аморальнее; наоборот, учение Фрейда отвоевало лишь то душевное богатство, что расточили предшествующие поколения в силу ложной своей стыдливости, а именно трезвость духа перед лицом всего плотского.

Целое новое поколение научилось — и теперь этому уже учат в школах — не уклоняться от решающих вопросов внутренней жизни, не утаивать важнейших, наиболее затрагивающих личность проблем, но с возможной ясностью осознавать именно то опасное и таинственное, что заключено во внутренних кризисах. А всякое сознание означает уже свободу по отношению к себе, и несомненно эта новая, более свободная мораль окажется более творческим, в нравственном смысле, фактором грядущего товарищеского общения полов, чем старая мораль умолчания; то, что окончательная гибель этой старой морали ускорена и облечена в более пристойные формы, составляет неоспоримую заслугу этого отважного и свободного человека. Всегда бывает так, что целое поколение обязано своей внешней свободой внутренней свободе одного, отдельного человека; всякая новая наука неизменно начинается с одного, с первого, который ставит проблему перед сознанием прочих.

## ПРЕДЗАКАТНЫЕ ДАЛИ

Всякое созерцание переходит в наблюдение, всякое наблюдение — в соображение, всякое соображение — в установление взаимной связи, и можно сказать, таким образом, что всякий раз, когда мы внимательно всматриваемся в мир, мы теоретизируем.

*Гете*

Осень — благословенная пора для подведения итогов. Жатва собрана, труд свершился; под чистым и прозрачным небом, в сверкании далей, отдыхает жизненный пейзаж. Оглядываясь назад, на созданное, семидесятилетний Фрейд не может сам не изумиться, как далеко завел его творческий путь. Молодой врач по нервным болезням занялся изучением одной из проблем неврологии, истолкованием истерии. Проблема эта, скорее, чем он ожидал, увлекает его в самую глубь вопроса. Но там, на дне колодца, — новая проблема, проблема бессознательного. Он хватается за нее, и что же? — она оказывается своего рода магическим зеркалом. На какой бы предмет духовного порядка ни направишь его лучи, предмет этот озаряется иным пониманием. И вот, вооружась непревзойденной силой толкования, руководимый сознанием тайного своего предназначения, Фрейд идет от одного постижения к другому, неизменно к высшему и более пространному — *una parte nasce dall'altra successivamente*\*, по выражению Леонардо, — и каждый из кругов этой спирали являет цельную картину душевной жизни. Давно уже пройдены области неврологии, психоанализа, толкования снов, сексуальных теорий, а все новые и новые науки встают на пути исследования, требуя обновленного подхода. Педагогика, история религий, мифология, поэзия и все области искусства обязаны своим обогащением его творческим мыслям; с высоты своего преклонного возраста

---

\* Одна часть последовательно возникает из другой (*ит.*).

великий старец с трудом может обозреть сам, в какие дали грядущего ведут его нечаянные свершения. Как Моисей с горы, видит Фрейд много и много невозделанной и плодородной земли для посева своих мыслей.

Пятьдесят долгих лет пребывает этот пытливый ум на стезе войны, в погоне за тайной и в поисках истины; добыча его неисчислима. Как много рассчитывал он, предугадывал, созерцал, творил и помогал человечеству, — кто сосчитает все эти подвиги во всех областях духовной жизни? Теперь он вправе был бы и отдохнуть, на закате дней своих. И действительно, что-то такое тянется в нем к более мирному, не столь ответственному созерцанию. Взор его, строго и испытующе заглядывавший во многие, слишком многие сумрачные души, не прочь был бы теперь объять неторопливо всю картину мира, в некоем духовном видении. Тот, кто неизменно проникал в глубины, жаждет окинуть теперь взором возвышенности и дали земного существования. Кто всю жизнь свою неотступно пытал и выспрашивал в качестве психолога, хотел бы теперь, как философ, дать ответ самому себе. Кто несчетное число раз анализировал души отдельных людей, хотел бы отважиться постигнуть смысл общественности и испытать свое искусство на психоанализе эпохи.

Не ново это вождение — подойти к мировой тайне путями чистого созерцания, вооружась только мыслью. Но, в сознании суровой своей миссии, Фрейд всю жизнь подавлял в себе склонность к умозрению; нужно было сначала проверить законы созидания духа на бесчисленных отдельных единицах, чтобы решиться потом применить их к целому. И пока длился день, все еще казалось ему, исполненному сознания ответственности, что еще рано браться за эту задачу. Но теперь, когда вечерет, когда полвека неустанного труда дают ему право поддаться творческой мечте и заглянуть за пределы индивидуального, он решается переступить эти пределы, чтобы окинуть взором даль и испытать на человечестве в целом тот метод, который он с успехом применил к тысячам.

С некоторой робостью, со страхом приступает этот обычно уверенный в себе мастер к своему начинанию. Можно сказать, с не совсем чистой совестью отваживается он выйти за пределы точной науки и вступить в область недоказуемого, ибо как раз он, разоблачитель всяческих иллюзий, знает, как легко подпасть обаянию философских своих чаяний. До сих пор он решительно высказывался против всяких обобщений умозрительного свойства: «Я не сторонник фабрикации миросозерцаний». Таким образом, не с легким сердцем и не с прежней непоколебимой уверенностью обращается он к метафизике — или, как он именует ее несколько осторожнее, — к метапсихологии, — и сам в своих глазах извиняет эту позднюю решимость: «Условия моей работы до известной степени изменились, и вытекающих отсюда последствий я не стану отрицать. Прежде я не принадлежал к числу тех, которые способны хоть на миг оставаться при каком-либо сомнительном взгляде, если он не нашел себе подтверждения... Но в то время впереди у меня было необозримо много времени, oceans of time\*, по прекрасному выражению поэта, и материалы притекали ко мне в таком изобилии, что я едва мог справиться с полученным опытом... Теперь все это изменилось. Время впереди меня ограничено, оно не используется полностью для работы, и, таким образом, не так часто представляется случай приобрести новый опыт. Когда я вижу что-нибудь, на мой взгляд, новое, я не уверен, вправе ли я дожидаться обоснования этого нового». Мы видим, как этот мыслящий строго научно человек наперед знает, что ставит перед собой задачу рискованную. И как бы в монологах, словно сам с собой мысленно разговаривая, обсуждает он гнетущие его вопросы, не требуя на них ответа и не отвечая определенно. Поздние его труды «Будущее одной иллюзии» и «Беспокойство в культуре» не так, может быть, насыщены содержанием, как прежние, но они поэтичнее. В них меньше научно доказуемого, но больше мудрости.

---

\* Океаны времени (англ.).

Вместо неумолимого аналитика выявляет себя, наконец, синтетически, широко мыслящий ум, вместо представителя точной науки врачевания — так давно чувствовавшийся художник. И кажется, будто за испытующим взором мыслителя впервые распознаем мы и столь долго таившегося человека — Зигмунда Фрейда.

Но сумрачен этот взор, всматривающийся теперь в лицо человечества; он потемнел, потому что видел слишком много темного. На протяжении полувека люди безостановочно шли к нему со своими заботами, нуждами, мучениями и расстройствами, жалуясь, задавая вопросы, спеша, истерически-возбужденные и неистовствующие, — сплошь больные, подавленные, измученные, сумасшедшие; только меланхолической своей, недееспособной стороной безжалостно поворачивалось к нему человечество в течение всей его жизни. Замурованный в вечном подземелье своего труда, он редко видел другое, светлое, радостное, верующее лицо человечества — людей участливых, беззаботных, веселых, легких сердцем, благодушных, счастливых и здоровых; сплошь больные души, унылые, расстроенные, сумрачные. Он слишком долго был врачом, Зигмунд Фрейд, чтобы не начать взирать постепенно на все человечество в целом, как на больного. И уже первое его впечатление, при взгляде на мир с порога рабочей комнаты, заранее ставит ужасающе пессимистический диагноз: «Как для отдельных людей, так и для всего человечества в целом жизнь нелегко переносима».

Жуткие и мрачные слова, мало оставляющие надежды, — скорее, тяжкий вздох душевный, чем бесстрастная формулировка! Словно к постели больного, подходит Фрейд к своей культурно-биологической задаче. И, привыкнув созерцать окружающее глазами психиатра, он усматривает в современности ясные симптомы душевного расстройства. Так как всякая радость чужда его взору, он видит в нашей культуре только безрадостное и приступает, путями анализа, к изучению невроза эпохи. Как это вышло, задает он себе вопрос, что так



мало мира и уюта в нашей цивилизации, той цивилизации, что вознесла человечество на высоту и не снисходящую прежним поколениям? Разве мы тысячекратно не преодолели в себе ветхого Адама, не отошли от него и не приблизились к богоподобию? Разве слух наш при помощи мембраны не сообщается с отдаленнейшими материками, разве взор не глядит, благодаря телескопу, на мириады звездных миров, не наблюдает в капле воды целую вселенную с помощью микроскопа? Разве наш голос не преодолевает в секунду и пространство и время, не глумится над вечностью, вновь и вновь возникая из пластинки граммофона? Разве аэроплан не несет нас уверенно сквозь недоступную смертным в тысячелетиях стихию? Почему же, при всем этом богоподобии, нет подлинного чувства победы в душе человека, а лишь гнетущее состояние того, что все это подвластное нам великолепие непрочное, что мы только «боги на протезах» (сокрушающее выражение!) и что ни одно из этих технических достижений не дает удовлетворения и счастья нашему глубочайшему «я»? В чем источник этой подавленности, этого расстройств, где корни этой душевной болезни? — спрашивает себя вслух Фрейд. И серьезно, строго и деловито, как если бы речь шла об отдельном случае из его практики, Фрейд берется за задачу выяснения тех причин, которые привели к беспокойству цивилизации, к неврозу современного человечества.

Всякий психоанализ начинается у Фрейда с раскрытия прошлого; так и к психоанализу душевнобольной культуры приступает он с того, что бросает ретроспективный взгляд на первичные формы человеческого общества. В представлении Фрейда, первобытный человек (в некотором смысле представитель младенческой поры культуры) пребывает в состоянии звериной свободы; чуждый сознания какой бы то ни было нравственности и законности, он не знает, что такое психические задержки. Сильный силой своей эгоистической цельности, он дает выход своим агрессивным инстинктам в убийстве и пожирании себе подобных, а выход своему половому влече-

нию — в пансексуализме и кровосмесительстве. Но едва только этот в одиночку живущий человек собрался в кочующую орду или в племя, он неизбежно убеждается, что его вождельные встречает преграду в противovoждельнии жизненных спутников; всякое социальное устройство, даже на низших ступенях, требует ограничений. Отдельный человек должен уступать, проникнуться сознанием запретности некоторых вещей; устанавливается право и обычай, взаимная договоренность; за каждый проступок грозит кара. Это сознание запретности, этот страх наказания оттесняются вскоре вовнутрь и создают в по-звериному темном доселе мозгу новую инстанцию, своего рода сверх-«я», как бы контрольный аппарат, своевременно сигнализирующий об опасности кары, связанной с обходом закона.

С возникновением этого сверх-«я», то есть совести, начинается культура, а с ней и религиозная идея. Ибо в понимании слепо дрожащей от страха первобытной твари мироздания всякие границы, воздвигаемые природой человеческим вождельниям, как-то: холод, болезнь, смерть ниспосланы некоей незримой противоборствующей силой, богом-отцом, который волен карать и награждать и которому, в гневе его, надлежит служить и покорствоваться. Мнимое наличие этого всевидящего, всемогущего бога-отца — одновременно и прообраза «я», в силу его символической мощи, и прообраза и источника всяческого ужаса загоняет непокорного человека, при помощи надсмотрщика-совести, в отведенные ему границы; благодаря этому самоограничению, этому смирению, этому контролю и самоконтролю, варварски-дикое существование приобретает постепенно черты цивилизованности.

Но по мере того, как буйные поначалу силы человеческие, вместо того, чтобы истощать себя во взаимном убийстве и кровопролитии, начинают объединяться для совместной творческой деятельности, повышается уровень умственных, моральных и технических способностей человечества, и постепенно оно отвоевывает у своего идеала, у бога, добрую долю его мощи. Молния берется в плен, теряет свою силу стужа,

преодолевается расстояние, оружием приобретается безопасность от нападений хищников; постепенно все стихии — вода, огонь и воздух — покоряются культуре человеческого сообщества. Все выше и выше поднимается человечество, творчески организуя свою собственную мощь, по ступенькам лестницы, ведущей ввысь, к божеству; паря над высотами и безднами, преодолевая пространство, владея знанием и близкое к всезнанию, вправе оно, преодолевшее в себе зверя, ощущать свое богоподобие.

Но почему же, спрашивает Фрейд, неисправимый разоблачитель иллюзий, — точно так же, как спрашивал более полутора столетия лет тому назад Жан-Жак Руссо, — почему не стало человечество, при всем своем богоподобии, счастливее и радостнее? Почему наше истинное «я» не чувствует себя, в результате всех этих триумфов цивилизации, богаче, легче, свободнее? И он сам отвечает на это со свойственной ему жестокостью и беспощадностью: потому, что все это изобилие культуры досталось нам не даром, но оплачено невероятным ограничением нашей свободы в области инстинктов. Обратной стороной всякого прироста культурных ценностей в пределах рода является убыль счастья у отдельных лиц (а Фрейд всегда на стороне индивидуума). Прогресс в области человеческой цивилизации связан с ущербом для свободы, с умалением жизненного чувства каждой человеческой души в отдельности: «Современное чувство «я» — это лишь крайне ограниченная часть пространного, можно сказать, всеобъемлющего чувства, отвечающего более прочной и живой связи личности с окружающим миром». Мы слишком много отдали обществу и общежитию от цельности своей силы, чтобы изначальные наши инстинкты, сексуальный и агрессивный, могли являть прежнюю целостную мощь. По мере того как душевная наша жизнь дробится, растекаясь по тончайшим и разветвленнейшим каналам, теряет она свою стремительность и стихийность.

Социальные ограничения, с каждым столетием делающи-

еся все строже и строже, стесняют и извращают нашу чувственную мощь, и в особенности «потерпела ущерб сексуальная жизнь культурной личности. Порой кажется, что она находится в стадии обратного развития, подобно другим нашим органам, например, челюстям и растительности на голове». Но, каким-то таинственным образом, душа человека не обманывается относительно того, что за несчетное множество новых, высших форм удовлетворенности, какие вытекают для нее что ни день из искусства, науки, техники, власти над природой и других жизненных удобств, она платит утратой других наслаждений, более полных, первобытных и более согласующихся с ее природой.

Что-то такое в нас, биологически таящееся, может быть, в отдаленном уголке мозговых извилин и обращающееся в нашей крови, помнит еще мистически о состоянии первобытной, высшей свободы, не знавшей задержек; давно преодоленные культурой инстинкты кровосмешательства, отцеубийства, всесексуальности призрачно мелькают еще в наших желаниях и сновидениях. И даже в заботливо оберегаемом ребенке, родившемся на свет наиболее деликатным и безболезненным образом от высококультурной матери в обеззараженном, залитом электрическим светом и хорошо проветренном помещении роскошной частной клиники, пробуждается еще раз древний, первобытный человек; он еще раз должен пройти все ступени, от изначальных космических инстинктов до тысячами отделенной от них стадии самоограничения, и еще раз пережить на своем маленьком подрастающем теле и перестрадать всю подготовительную к культуре работу. Так воспоминание о былом нашем самодовлеющем величии нерушимо пребывает во всех нас, и порой наше моральное «я» неистово рвется назад, в анархию, в кочевническую свободу, глубинность первобытной нашей поры. Неизменно колеблются в нашем жизнеощущении, на чашах весов, урон и прибыль, и чем заметнее становится разрыв между вынужденной социальной связанностью и первоначальной непринужденностью, тем

большее сомнение овладевает каждой человеческой душой в отдельности, — не является ли она, в сущности, в результате этого прогресса ограбленной и не подменила ли социализация «я» ее «я» подлинного?

Удастся когда-либо человечеству, — спрашивает Фрейд, напряженно всматриваясь в будущее, — побороть до конца это беспокойство, эту душевную надорванность? Найдет ли оно, беспомощно кидающееся от страха божия к звериной похоти, дергаемое запретами, угнетаемое навязчивым неврозом религиозности, какой-либо самостоятельный выход из этой дилеммы? Не подчинятся ли добровольно обе изначальные силы, агрессивный инстинкт и инстинкт пола, морали разума, так что мы получим в конце концов возможность отбросить «рабочую гипотезу» о боге, карающем и творящем суд, как ненужную? Преодолеет ли — выражаясь психоаналитически — будущее свой сокровеннейший внутренний конфликт полностью, в результате его осознания, выздоровеет ли оно до конца? Опасный вопрос! Ибо, спрашивая себя, не окажется ли разум в состоянии взять когда-либо верх над нашей инстинктивной жизнью, Фрейд впадает в трагический разлад с самим собой. С одной стороны, психоанализ отрицает власть разума над бессознательным: «Люди не поддаются доводам рассудка, ими движут инстинктивные желания», и вместе с тем он утверждает, что «у нас нет никакого другого средства к овладению нашими инстинктами, кроме интеллекта». В качестве теоретической системы психоанализ отстаивает первенство инстинктов и бессознательного, а в качестве практического метода он рассматривает разум как единственное спасительное для человека и всего человечества средство.

Здесь с давних пор кроется какое-то тайное противоречие в системе психоанализа, и в соответствии с новым охватом оно разрастается до огромных размеров; теперь, собственно, Фрейду следовало бы принять окончательное решение, признать, именно в философском разрезе, первенство разума или инстинкта в сфере человеческой психики. Но это решение

оказывается для него, никогда не прибегающего ко лжи и неспособного лгать самому себе, страшно трудным. Ибо как решить? Только что этот старый человек убедился, что его учение о первенстве инстинкта над разумом потрясающе подтвердилось массовым психозом мировой войны; никогда с такой ужасающей ясностью, как в эти четыре апокалиптических года, не обнаруживалось, какой тонкий слой гуманности отделяет человечество от самого разнузданного, самого ожесточенного кровопролития, и что одного толчка из области бессознательного достаточно, чтобы рушились самые смелые построения человеческого духа и святости нравственности. Он убедился, что в этот миг в жертву неистовому и первобытному инстинкту разрушения принесены были и религия и культура — все, что облагораживает и возвышает человеческое сознание; все священные и освященные веками силы человечества еще раз обнаружили свою младенческую беспомощность по отношению к смутному и кровожадному инстинкту первобытности. Все-таки что-то такое в Фрейте колеблется, не решаясь признать моральное поражение человечества в мировой войне показательным. Ибо если, при всем доступном человечеству сознании, оно бессильно в конце концов против бессознательного, к чему тогда разум и собственное его полувековое служение истине и науке?

Неподкупно честный, Фрейд не решается отрицать ни силу воздействия разума, ни темную силу инстинктов. И в конце концов он отделяется от ответа на им же поставленный вопрос осторожным «может быть» или «когда-нибудь может быть», ссылкой на отдаленное третье царство психики, ибо ему не хотелось бы вернуться к себе самому из позднего этого странствия без всякого утешения. И как-то трогательно мягко и примиряюще звучит, по-моему, его строгий обычно голос теперь, когда на закате жизни ему хочется осветить хоть лучом надежды последний путь человечества: «Мы и впредь можем столь же настойчиво подчеркивать, что интеллект человека бессилён в сравнении с инстинктивной его жизнью, и

быть при этом правыми. Но есть что-то особенное в этой слабости; голос интеллекта не громок, но он не успокаивается, пока не заставит себя слушать. В конце концов, несмотря на непрестанно повторяющиеся неудачи, он, может быть, и добьется своего. Это один из немногих пунктов, в которые человечество вправе смотреть оптимистически, но сам по себе он значит немало. Первенство интеллекта где-то еще далеко, но не недостижимо далеко».

Поистине чудесные слова. Но этот огонек во тьме мерцает в слишком большом отдалении и слишком неустойчиво, чтобы душа человеческая, вопрошающая и стынувшая среди действительности, могла бы согреться. Все «вероятное» — весьма слабое утешение, и никакое «может быть» не утолит нестерпимой жажды души, чающей высших уверенностей. Но здесь мы оказываемся у подлинного, последнего предела психоанализа: там, где начинается царство внутренней убежденности, творческого упования, там кончается его мощь, — в эти высшие области нет доступа ему, сознательно разрушающему иллюзии и враждующему со всяким заблуждением. Являясь исключительно наукой об индивидууме, о единичной душе, он не знает и не хочет ничего знать о коллективном смысле или метафизической миссии человечества; он только проливает свет поэтому на душевные процессы, но не согревает души человеческой. Он может дать только здоровье, но одного здоровья недостаточно. Для счастья, для творческого бытия человечество нуждается в непрестанном подкреплении своей веры в смысл существования. Но у психоанализа нет никаких наркотиков, как у Christian Science, никаких пьянящих экстазов, подобных дифирамбическим обетованиям Ницше; он ничего не сулит и не обещает; не имея возможности утешить, он предпочитает молчать. Эта его правдивость, целиком возникающая из сурового и честного мышления Зигмунда Фрейда, поразительна в моральном смысле.

Но все только правдивое неизбежно таит в себе зерно горечи и скепсиса, над всем рассудочно-изъясняющим и анализи-

рующим витает тень какой-то трагичности. Что-то обезбоживающее неотъемлемо присуще психоанализу, что-то отдающее землей и тлением, не вселяющее в душу радости и свободы, как и все только человеческое; честность мысли может безмерно обогатить ум, но никогда не заполнит до конца чувства, никогда не внушит человечеству порыва вонне, за пределы своего существования — этой его неразумной и все же необходимой ему улады. А человек, даже в физическом смысле слова, не в состоянии — кто более блестяще, чем Фрейд, доказал это? — жить без сновидений, его немощное тело не выдержало бы напора неизжитых чувств, — как же вынесет душа человеческая существование без высшего смысла, без видений веры? Пусть наука вновь и вновь доказывает человечеству бессмысленность его игры в боготворчество, — в своем творческом устремлении оно вновь и вновь будет изощряться в осмыслении мира, чтобы не впасть в нигилизм, ибо этот дар изощрения сам по себе составляет подлиннейший смысл всякой духовной жизни.

Для утоления этого душевного голода в распоряжении сурового, строго деловитого, трезвого в своей холодной ясности психоанализа нет никакой пищи. Он дает познание, и только, и так как ему чуждо исповедание какой бы то ни было веры, то он навсегда останется только созерцанием действительности и никогда не станет мирозозерцанием. Здесь его предел. Он оказался в состоянии, в большей степени, чем какой-либо иной духовный метод, приблизить человека к его собственному «я», но не мог вывести его дальше, за пределы этого «я», что является необходимым условием цельности чувства. Он раскрывает, дробит и отделяет, он указывает личный смысл каждой отдельной жизни, но он не в состоянии объединить единым смыслом это тысячекратно разрозненное. Поэтому, в интересах подлинно творческой цельности, наряду со свойственной ему формой мышления должна была бы возникнуть и другая; психоанализ, разделяющий и разъясняющий, должен был бы пополниться психосинтезом, связывающим и сплавливающим



воедино; такое пополнение явится в науке, быть может, вопросом завтрашнего дня. Каковы бы ни были достижения Фрейда, за пределами их остаются необъятные просторы для исследования. И после того, как он истолковал и изъяснил душе ее сокровенные узы, другие вправе просветить ее относительно ее свободы, ее тяготения к вселенной и устремления в эту вселенную из пределов своего существования.

## ЗНАЧЕНИЕ ВО ВРЕМЕНИ

Индивидууму, который состоит из единого и из многого и от рождения несет в себе определенное и неопределенное, мы дадим растечься в беспредельности не прежде, чем рассмотрим всю цепь его представлений, связующих единое со многими.

*Платон*

Два открытия, символически совпавшие во времени, имели место в последнем десятилетии девятнадцатого века: в Вюрцбурге малоизвестный дотоле физик, по имени Вильгельм Рентген, доказывает на опыте возможность просвечивания человеческого тела, считавшегося ранее непроницаемым для зрения. В Вене столь же неизвестный врач, Зигмунд Фрейд, открывает подобную же возможность в отношении души. Тот и другой методы не только вносят коренные изменения в основы обеих научных дисциплин, но и плодотворно влияют на все соприкасающиеся области; странно перекрещивающимся образом как раз медицина извлекает выгоду из открытия физика, а из творческой мысли представителя медицины — психофизика, наука о движущих силах души.

Благодаря замечательному и все еще не использованному во всех его возможностях открытию Фрейда, научная психология порывает, наконец, со своей академической и теоретической замкнутостью и вступает в прямую связь с практической жизнью. Через Фрейда психология впервые получает, в

качестве науки, применение ко всем явлениям творческого духа. Ибо чем была прежняя психология? Школьной специальностью, теоретической дисциплиной, загнанной в университеты, замурованной в семинариях, поставляющей книги на неудобочитаемом и неудобоваримом языке формул. Тот, кто ее изучал, знал о себе и законах своей индивидуальности не больше, чем если бы он изучил санскрит или астрономию, и в широких кругах общества не придавали никакого значения результатам ее лабораторной работы, как полностью абстрактной. Перенеся центр тяжести этой науки с теоретических домыслов на индивидуальность и сделав предметом изучения кристаллизацию личности, Фрейд проталкивает психологию из семинария в реальность и утверждает за ней жизненно важное значение, в силу ее применимости к человеку. Только теперь может она деятельно служить созданию новой личности в педагогике, лечению больных в медицине, оценке человеческих заблуждений в судопроизводстве, пониманию творческих начал в искусстве; занимаясь истолкованием неповторимой индивидуальности каждого отдельного человека, в его собственных интересах, она помогает одновременно и другим. Ибо тот, кто научился понимать в себе человека, понимает его и в других.

Этим поворотом психологии в сторону отдельной человеческой личности Фрейд, сам того не сознавая, выполнил сокровеннейшую волю эпохи. Никогда не проявлял человек такого любопытства к своему истинному «я», к своей личности, как в наш век прогрессирующей монотонности внешней жизни. Все больше и больше обезличивает обывателя техника современности, создавая из него бесцветный и однообразный тип: разделенные на те же имущественные классы, проживая в тех же домах, одетые в те же платья, отрабатывая те же положенные часы за такими же машинами и потом устремляясь к тем же удовольствиям, к тому же радио, к той же граммофонной пластинке, к тому же спорту, все мы внешне приближаемся к ужасающему сходству друг с другом; города с

теми же улицами становятся все более и более неинтересными, народы — все более и более однородными; в исполинской печи рационализации переплавляются все видимые различия.

Но по мере того как все больше и больше отшлифовывают нас внешне, и люди, в процессе возрастающего обезличивания внешних форм жизни, целыми сериями приобретают массовую физиономию, каждому в отдельности все более и более важной становится единственная недоступная внешнему воздействию форма переживания — собственная, своя, неповторимая индивидуальность. Она стала высшим и почти единственным мерилом человека, и нельзя считать случайностью, что все виды искусства и науки столь страстно увлечены элементами характерологии. Учение о типах, теория деградации и наследственности, исследования периодичности индивидуальных свойств стремятся к тому, чтобы разграничить личное и родовое в наиболее систематическом порядке; в литературе биографический жанр расширяет пределы познания личности, и такие давно уже отмершие якобы методы проникновения во внутреннюю структуру человека, как астрология, хиромантия, графология, достигают в наши дни неожиданного расцвета. Из всех загадок существования ни одна не представляет для современного человека такой важности, как загадка собственного бытия и установления своей особой, личной обусловленности и исключительности.

К этому средоточию внутренней жизни человека Фрейд еще раз приблизил психологию, ставшую к тому времени абстрактной наукой. Он впервые развил с почти художественной мощью заложенные в человеке драматические элементы — эту судорожную игру мельканий в сумеречном свете подсознательного, где ничтожный толчок отдается отдаленнейшими последствиями и в самых изумительных сочетаниях сплетаются прошлое с настоящим — поистине целый мир в тесном кругообороте человеческого тела, необозримый в своей цельности и все же обаятельный как зрелище в непостижимой

своей закономерности. А закономерное в человеке, — в этом решающая установка фрейдовского учения, — никоим образом не поддается академической схематизации, но может быть только пережито, изжито совместно с ним и познано в процессе этого изживания, в качестве единственно ему свойственно. Личность человека постигается не с помощью застывших формул, но исключительно по отпечаткам посланных судьбой переживаний; поэтому всякое врачевание в точном смысле этого слова, всякая помощь в смысле моральном предполагают, по Фрейду, познание личности, но познание утверждающее, сочувствующее и в силу этого действительно полное. Поэтому уважение к личности, к этой, в гетевском смысле, «явленной тайне» есть для него непреложное начало всякой психологии и всякого душевного врачевания, и Фрейд, как никто другой, научил нас хранить это уважение как некий моральный закон.

Лишь благодаря ему тысячи и сотни тысяч узнали об уязвимости души, в особенности детской, и перед лицом вскрытых им изъявлений начали понимать, что всякое грубое касание, всякое бесцеремонное залезание (часто при посредстве одного лишь слова!) в эту сверхчувствительную, одаренную роковой силой припоминания материю может разрушить судьбу и что, следовательно, всякие необдуманные наказания, запреты, угрозы и меры принуждения возлагают на наказываемого неведомую до того ответственность. Он неизменно внедрял в сознание современности — школы, церкви, зала суда — уважение к личности, даже на путях ее отклонения от нормы, и этим более глубоким проникновением в душу насадил в мире больше предусмотрительности и снисходительности.

Искусство взаимного понимания, это наиболее важное в человеческих отношениях искусство и наиболее необходимое в интересах народов, единственное искусство, которое может способствовать возникновению высшей гуманности, в развитии своем обязано учению Фрейда о личности много больше,

чем какому-либо другому методу современности. Лишь благодаря ему стали понятными нашей эпохе, в новом и действительном понимании, значение индивидуума, неповторимая ценность всякой человеческой души. Нет в Европе в какой бы то ни было области искусства — естествознания или философии — ни одного человека с именем, чьи взгляды не подверглись бы, прямо или косвенно, творческому воздействию круга его мыслей, в форме притяжения или отталкивания; идя своим, сторонним путем, он неизменно попадал в средоточие жизни — в область человеческого. И в то время как специалисты все еще не могут примириться с тем, что его творчество не выдержано в строго академических формах медицины, естествознания или философии, в то время как тайные советники и ученые все еще яростно спорят об отдельных пунктах и о конечной ценности его труда, учение Фрейда давно уже вывилось как непреложно-истинное — истинное в том смысле, который запечатлен в незабываемых словах Гете: «Что плодотворно, то единственно истинно».





ЖОЗЕФ  
ФУШЕ





## ПОРТРЕТ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ

### ПРЕДИСЛОВИЕ

**Ж**озеф Фуше, один из могущественнейших людей своего времени, один из самых замечательных людей всех времен, был мало любим современниками и еще менее того был оценен потомками. Наполеон на острове Св. Елены, якобинец Робеспьер, Карно, Баррас, Талейран в своих мемуарах, все французские историки в своих трудах — будь они роялисты, республиканцы или бонапартисты — начинают писать желчью, как только доходят до его имени. Предатель по натуре, жалкий интриган, пресмыкающийся льстец, профессиональный перебежчик, подлая полицейская душонка, презренный, безнравственный человек, — нет гнусного эпитета, которым бы его не наградили; ни Ламартин, ни Мишле, ни Луи Блан не делают серьезной попытки изучить его характер или, вернее, упорное, достойное удивления отсутствие характера. Подлинные очертания его облика встают впервые в монументальной биографии Луи Мадлена (которой эта, как и многие другие, характеристика обязана большой долей фактического материала); история же до сих пор совершенно спокойно отодвигала этого человека в задние ряды незначительных статистов — человека, руководившего в эпоху мирового переворота всеми партиями и единственного их пережившего, человека, победившего в психологическом поединке таких людей, как Наполеон и Робеспьер. Иногда его образ мелькает в пьесе или оперетке из наполеоновской эпохи, большей частью в затасканной схематической маске хитрого министра полиции, предтечи



Шерлока Холмса; при плоском изображении роль заднего плана всегда смешивается с ролью второстепенного значения.

Только один человек увидел все своеобразное величие этой единственной в своем роде фигуры, и притом человек незаурядный: Бальзак. Этот большой и вместе с тем пронизательный ум, не скользивший по видимой поверхности эпохи, а заглядывавший за кулисы, откровенно признал Фуше самым интересным в психологическом отношении типом своего века. Привыкший рассматривать в своей химии чувств все страсти, как бы они ни назывались, — героическими или низменными, — как совершенно равноценные элементы, подходить к закоренелому преступнику, к низкому негодяю с той же почтительностью, что и к гению нравственности, вроде Луи Ламбера, никогда не делая различия между моральным и аморальным, всегда взвешивая только волевою ценностью человека и напряженность его страсти, Бальзак заметил и вывел на свет из нарочно созданной тени именно эту, самую презренную, самую заплеванную фигуру эпохи революции и империи.

«Единственным настоящим министром Наполеона» называет он этого «*singulier génie*»\*, потом — «*la plus forte tête, que je connaisse*»\*\*, в другом месте — «одной из тех личностей, у которых под поверхностью скрыта такая глубина, что они остаются непроницаемыми для своей эпохи и могут быть поняты только впоследствии». Это совсем не похоже на моралистические презрительные отзывы историков. И в своем романе «*Une ténébreuse affaire*»\*\*\* он посвящает этому «сумеречному, глубокому, необычайному, не постигнутому уму» особую страницу. «Его своеобразный гений, — пишет он, — вызывавший некоторый страх у Наполеона, обнаружился не сразу. Этот незаметный член Конвента, один из самых замечательных и вместе с тем неправильно оцененных людей своей эпохи, только в критические мгновения становился тем, кем был

---

\* Своеобразного гения (фр.).

\*\* Самым умным человеком, которого я знаю (фр.).

\*\*\* «Темное дело» (фр.).

впоследствии. В эпоху Директории он поднялся на ту высоту, с которой люди глубокого ума предугадывают будущее, правильно оценивая прошлое; потом, подобно иным посредственным актерам, которые под влиянием вдохновения способны создавать превосходные образы, он во время государственного переворота 18 брюмера внезапно дал доказательства своей ловкости. Этот человек с бледным лицом, воспитанный в монастырской дисциплине, знавший все тайны «Горы», к которой он сперва принадлежал, и роялистов, к которым он в конце концов перешел, медленно и молчаливо изучал людей, аксессуары и приемы политической арены; он угадывал тайны Бонапарта, давал ему полезные советы и драгоценные сведения; ни новые, ни прежние товарищи не подозревали в ту пору размаха его гения, — в сущности, подлинного государственного гения, меткого в предсказаниях и исключительно проницательного».

Так говорит Бальзак. Его похвалы привлекли мое внимание к Фуше, и много лет я не упускал возможности следить за человеком, которым восхищался Бальзак, говоря, что «он имел большую власть над людьми, чем сам Наполеон». Но Фуше как в жизни, так и в истории умел оставаться на заднем плане: он нелегко позволял заглянуть себе в глаза и в карты. Почти всегда он в центре событий, в центре партии; он незримо действует под анонимным покровом своей должности, скрытый, как механизм в часах; лишь изредка удается в смятении событий, на самых крутых поворотах его пути уловить его мимолетный мелькающий профиль. И вот что еще более странно. На первый взгляд ни один из этих схваченных на лету профилей Фуше не похож на другой. С некоторым трудом представляешь себе, что тот же самый человек, с той же кожей и с теми же волосами, был в 1790 году учителем монастырской школы, в 1792 году уже реквизирует церковное имущество, в 1793 году был коммунистом, еще через пять лет — миллионером и через десять лет — герцогом Отрантским. Но чем отважнее становился он в своих превращениях, тем интереснее был для меня характер или, вернее, бесхарактерность

этого совершеннейшего макиавеллиста нового времени, тем замечательнее его скрытая на заднем плане и окутанная тайной политическая жизнь, тем своеобразнее, демоничнее его образ. Так совершенно неожиданно, из чисто психологической любознательности, взялся я писать историю Жозефа Фуше, надеясь этим сделать вклад в еще не существующую и в то же время совершенно необходимую биологию дипломатов, этой еще почти не исследованной, опаснейшей духовной расы современности.

Жизнеописание такой насквозь аморальной природы, хотя бы и такой своеобразной и значительной, как Жозеф Фуше, — я сознаю это, — не ко времени. Наша эпоха требует и любит героические биографии; недостаток творческих натур среди политических вождей заставляет искать их в прошлом. Я вовсе не умаляю вдохновляющего, укрепляющего, возвышающего влияния героических биографий. Они со времени Плутарха необходимы для каждого подрастающего поколения и юношества всех эпох. Но как раз в политическом отношении они таят опасность искажения истории, внушая, что в то время, да и во все времена, подлинно властные натуры на самом деле распоряжались судьбой мира. Без сомнения, героическая натура уже самым фактом своего существования владычествует десятки и сотни лет над духовной жизнью людей, но только над духовной жизнью. В реальной, в действительной жизни, в сфере политики и власти решающее значение имеют — и это необходимо подчеркнуть, чтобы предостеречь от доверия к политике — не выдающиеся умы, не чисто идейные люди, а гораздо более ничтожная, но более ловкая порода: фигуры, стоящие на заднем плане. В 1914 и в 1918 годах мы были свидетелями того, как решение вопросов всемирного значения, вопросов войны и мира, исходило не от разума и сознания ответственности, а от людей, скрывавшихся за кулисами, людей сомнительного достоинства и невысокого ума. И ежедневно мы снова убеждаемся, что в неверной и часто коварной политической игре, которой народы все еще верноподданно

доверяют своих детей и свою будущность, верховодят не нравственно дальновидные люди, не люди непоколебимых убеждений, а профессиональные азартные игроки, которых мы называем дипломатами, эти мастера ловкости рук, пусторечия и хладнокровия. Если же в самом деле, как сто лет тому назад сказал Наполеон, политика стала «*l' fatalité moderne*», современным роком, то мы, в целях самообороны, попытаемся разглядеть за этой силой людей и тем самым понять опасную тайну их могущества. Пусть предлагаемая биография Жозефа Фуше будет вкладом в типологию политического деятеля.

*Зальцбург  
Осень 1929*

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### ВЗЛЕТ

1759—1793

31 мая 1759 года Жозеф Фуше — еще далеко не герцог Отрантский! — родился в портовом городе Нанте. Родители его — моряки, коммерсанты; моряки и его предки; казалось поэтому само собой разумеющимся, что и наследник их будет мореплавателем, негоциантом или капитаном. Но уже в ранние годы обнаруживается, что этот худой, высокий, малокровный, нервный, некрасивый мальчик не приспособлен к такой тяжелой, а в ту пору даже еще героической профессии. Стоит ему на две мили отдалиться от берега — и он начинает страдать морской болезнью, стоит ему четверть часа побегать или порезвиться с товарищами — и он устает. Что предпринять с такой нежной натурой, озабоченно спрашивают себя родители, ибо в 1770 году духовно пробудившаяся и нетерпеливо пробивающая себе дорогу буржуазия еще не завоевала во Франции надлежащего места. В судах, в учреждениях, при каждом служебном назначении самые жирные куски достаются дворянству; для придворной службы нужен графский герб или крупное поместье; даже в армии поседевший на службе буржуа не продвигается дальше капральского чина. Третье сословие еще никуда не допускается в плохо управляемом, исковерканном королевстве; неудивительно, что оно четверть века спустя кулаками добивается того, в чем ему слишком долго отказывали, пока оно покорно протягивало руку.

Остается только церковь. Эта тысячелетняя держава, бесконечно превосходящая все династии в понимании мирских

дел, рассуждает умнее, демократичнее и шире. Она всегда находит место для способных и даже смердов принимает в свое незримое царство. Так как Жозеф, еще мальчиком, на школьной скамье ораторианцев\* отличается прилежанием, они охотно предоставляют ему, когда он заканчивает образование, кафедру преподавателя математики и физики, должность надзирателя и инспектора школ. Едва достигнув двадцати лет, он получает в этом ордене, руководящем со времени изгнания иезуитов католическим воспитанием по всей Франции, должность, правда жалкую, без особых надежд и видов на повышение, но все же в школе, где он сам является школьником, где обучая — он учится.

Он мог бы пойти дальше, стать патером, быть может, когда-нибудь даже епископом или кардиналом, если бы дал монашеский обет. Но для Жозефа Фуше типично, что уже на первой, низшей ступени карьеры обнаруживается характерная черта его натуры — нежелание бесповоротно, всецело связать себя с кем-нибудь или с чем-нибудь. Он носит священническое облачение и тонзуру, он соблюдает монастырский режим с остальными патерами, он в течение десяти лет своей деятельности у ораторианцев ничем не отличается от священнослужителя, ни внешне, ни внутри. Но он не принимает пострижения, не дает обета. Как всегда, во всех положениях, он не закрывает путей к возврату, сохраняет возможность преобразования и превращения. И церкви он отдается лишь временно, не целиком, так же как впоследствии — революции, директории, консульству, империи или королевству; даже Богу, а тем более человеку, не дает Жозеф Фуше обета верности на всю жизнь.

Десять долгих лет, от двадцатого до тридцатого года жизни, бродит этот бледный необщительный полусвященник по монастырским коридорам и тихим трапезным. Он преподает в Ниоре, Сомюре, Вандоме, Париже, едва ощущая перемену

---

\*Католический монашеский орден. — *Примеч. пер.*

места, ибо жизнь монастырского учителя протекает одинаково тихо, бедно и незаметно во всех городах, — всегда за безмолвными стенами, в стороне от жизни. Двадцать, тридцать, сорок школьников, обучаемых латыни, математике и физике, бледные, одетые в черное одеяние мальчишки, которых водят к обедне и стерегут в дортуаре, — чтение научных книг в одиночестве, скудные трапезы, жалкое вознаграждение, черное поношенное платье, тихое монашеское существование. Слово в оцепенении, в бездействии, вне времени и пространства, бесследно, бесстрастно прошли эти десять тихих, затененных лет.

Однако эти десять лет монастырской школы научили Жозефа Фуше вещам, оказавшимся полезными для будущего дипломата, — главным образом технике молчания, искусству скрывать, мастерству познания душевного мира и психологии. Тем, что всю жизнь, даже в минуты страстных порывов, он владеет каждым нервом своего лица, тем, что никогда не удастся обнаружить признаков гнева, озлобления, волнения в его неподвижном, словно окаменевшем в молчании лице, что он одинаково беззвучным голосом спокойно произносит самые обыденные и самые ужасные слова, и одинаково бесшумными шагами проходит в покой императора и в неистовствующее народное собрание, — этой бесподобной науке самообладания он обязан годам пребывания в монастырских трапезных; еще задолго до появления на подмостках мировой сцены его воля дисциплинирована упражнениями Лойолы и его речь отшлифована тысячелетним искусством проповедей и религиозных дискуссий. Быть может, не случайно все три великих дипломата французской революции, — Талейран, Сийес и Фуше — вышли из монастырской школы мастерами жизненного искусства, задолго до появления на трибуне. Извечная, общая, стоящая над ними традиция кладет в решительные минуты отпечаток известного сходства на их обычно несхожие характеры. К тому же у Фуше проявляется железная, спартанская самодисциплина, отвращение к роскоши и блеску, умение скры-

вать личные переживания и чувства; нет, годы, проведенные Фуше в сумраке монастырских коридоров, не потеряны даром, он бесконечно многому научился, пока был учителем.

За монастырскими стенами, в самой строгой изоляции, воспитывается и развивается, приближаясь к психологическому мастерству, этот своеобразный, гибкий и беспокойный дух. Долгие годы он осужден незаметно работать в тесном церковном кругу, но начавшийся во Франции уже в 1778 году социальный ураган проникает за пределы монастырских стен. В монашеских кельях ораторианцев спорят о человеческих правах не меньше, чем в масонских клубах, любопытство влечет молодое духовенство навстречу буржуазии, влечет преподавателя физики и математики к удивительным открытиям того времени, к Монгольфьерам, первым летательным машинам, к замечательным изобретениям в области электричества и медицины. Духовенство стремится к контакту с образованным обществом и находит его в Аррасе в совершенно особенном кружке, называемом «Розати», нечто вроде «Шлараффия»\*, где интеллигенция города собирается для приятного времяпрепровождения. Нет ничего замечательного в этих собраниях, где невзрачные мелкие буржуа декламируют стихи или произносят речи на литературные темы, где военные смешиваются со штатскими и где охотно принимают монастырского учителя Жозефа Фуше, так как он может подробно рассказать о последних достижениях физики. Он часто проводит там время в товарищеском кругу и слушает, как, например, полковник инженерных войск Лазарь Карно\*\* читает свои сатирические стихи или бледный тонкогубый адвокат Максимилиан де Робеспьер (он тогда еще гордился своим дворянством) держит за столом цве-

---

\* «Шлараффия» (Schlaraffia) — общественная организация, поставившая своей задачей развитие искусства и юмора на основе культа дружбы. Первое собрание этого общества происходило в Праге в 1859 году. — *Примеч. пер.*

\*\* Впоследствии видный деятель революции, президент Директории и министр Наполеона. — *Примеч. пер.*



тистую речь в честь общества «Розати». Ибо в провинции еще наслаждаются последним дыханием философствующего восемнадцатого века: господин де Робеспьер вместо смертных приговоров спокойно пописывает изящные стишки, швейцарский врач Марат сочиняет не суровые коммунистические манифесты, а сладкий и sentimentalный роман, и маленький лейтенант Бонапарт где-то в провинции трудится над новеллой — подражанием «Вертеру»; грозы еще незримы за чертой горизонта.

Какая игра судьбы: именно с этим бледным, нервным, безудержно честолюбивым адвокатом де Робеспьером больше всего подружился монах-учитель; им как будто бы предстоит даже породниться, ибо Шарлотта Робеспьер, сестра Максимилиана, собирается отвлечь учителя ораторианцев от мысли о духовном сане, — носятся уже слухи об их помолвке. Отчего в конце концов не состоялся этот брак, остается тайной, но, быть может, здесь скрыт корень ужасной, имеющей всемирно-историческое значение ненависти между этими некогда связанными узами дружбы людьми, вступившими впоследствии в борьбу не на жизнь, а на смерть. Но в ту пору они еще не знали ни о якобинцах, ни о ненависти. Напротив того: когда Максимилиана де Робеспьера посылают в Версаль депутатом в Генеральные штаты, чтобы принять участие в составлении проекта нового государственного строя Франции, монах Жозеф Фуше ссужает малокровного адвоката де Робеспьера деньгами на дорогу и на новый костюм. Характерно и то, что Фуше держит ему, как после многим другим, стремя, когда тот готовится к скачку в мировую историю, и то, что он в решительный момент предает своего прежнего друга и свергает его.

Вскоре после отъезда Робеспьера на собрание Генеральных штатов, которое потрясло все основы Франции, ораторианцы, в свою очередь, устраивают маленькую революцию в Аррасе. Политика проникает в монастырские трапезные, и умный

Жозеф Фуше, предугадывающий всякую перемену ветра, развертывает паруса. По его предложению посылается депутация в Национальное собрание, чтобы выразить третьему сословию симпатии духовенства. Но обычно столь осторожный Фуше на этот раз несколько поторопился. Начальство переводит его в виде наказания, не решаясь, впрочем, наказать его серьезней, в Нант, туда, где он в юности учился наукам и искусству жить. Но теперь он опытен и зрел, его уже не привлекает перспектива преподавания отрокам таблицы умножения, геометрии и физики. По направлению ветра он угадал, что стране грозит социальный ураган, что политика властвует над миром; итак — с головой в политику!

Одним движением он сбрасывает сутану, дает зарости тонзуре и произносит политические проповеди уже не школьникам, а честным нантским буржуа. Учреждается клуб, — карьера политических деятелей всегда начинается на такой пробной трибуне ораторского искусства, — и уже через несколько недель Фуше — президент общества «Amis de la constitution»\* в Нанте. Он хвалит прогрессистов, но очень осторожно, ибо стрелка политического барометра в этом купеческом городе стоит на «умеренно»: в Нанте не любят радикализма, потому что опасаются за кредиты и прежде всего заботятся о хорошей торговле. Кроме того, там получают жирную прибыль от колоний и потому не сочувствуют фантастическим проектам, вроде освобождения рабов; поэтому Жозеф Фуше сочиняет патетическую декларацию против уничтожения торгова невольниками, что влечет, правда, за собой резкий выговор со стороны Бриссо, но не умаляет его значения в более тесных буржуазных кругах. Чтобы своевременно укрепить свою политическую позицию среди буржуазии (будущих избирателей), он торопится взять в жены дочь состоятельного купца — безобразную девицу, но с хорошим приданым: он стремится быстро и всецело стать буржуа в эпоху, когда — он это предвидит — третье сословие будет господствующим.

---

\* Друзей Конституции (фр.).

Все это — уже подготовка к определенной цели. Едва успели составить избирательные списки, как бывший монастырский преподаватель уже выставляет свою кандидатуру. Как поступает каждый кандидат? Он прежде всего сообщает своим добрым избирателям все, что они хотели бы слышать. Итак, Фуше клянется заботиться о торговле, защищать собственность, уважать законы; он гораздо многословнее обрушивается на мятежников (ибо ветер в Нанте справа сильнее, чем слева), чем на старый режим. И действительно, аппо 1792 его избирают депутатом Конвента, и трехцветная кокарда депутата заменяет спрятанную тонзуру.

Ко времени выборов Жозефу Фуше минуло тридцать два года. Его никак нельзя назвать красивым мужчиной. Худое, высохшее, почти бесплотное тело, узкое лицо с резкими чертами, безобразное и неприятное. Острый нос, острые и тонкие, всегда сжатые губы, холодные рыбы глаза под тяжелыми сонными веками, серые, кошачьи зрачки, похожие на круглые стекляшки. В этом лице, в этом человеке как бы не хватает жизненной материи: так выглядит человек при свете газа — блеклый, с зеленоватым оттенком. Нет блеска в глазах, нет чувственной силы в движениях, нет металла в голосе. Тонкие пряди волос, рыжеватые, еле заметные брови, пепельно-серые щеки. Кажется, что не хватило красок, чтобы оттенить здоровьем его лицо; этот крепкий, необычайно работоспособный человек всегда производит впечатление усталого, больного, немогущего.

Каждому, кто смотрит на него, представляется, что в его жилах не течет горячая, красная, струящаяся кровь. В самом деле: он и душевно принадлежит к породе хладнокровных. Ему неведомы грубые завлекающие порывы страсти, его не влекут ни женщины, ни игра, он не пьет вина, не любит мотовства, не забавляется спортом; он живет в комнатах — среди актов и бумаг. Никогда он не приходит в ярость, никогда не дрогнет ни один нерв в его лице. Лишь еле заметная улыбка, иногда вежливая, иногда насмешливая, играет на этих тонких,

бескровных губах; никто не заметит на этой глинисто-серой сонной маске признаков действительного волнения, никогда спрятанные под тяжелыми воспаленными веками глаза не выдают его намерений или хода мыслей.

В этом непоколебимом хладнокровии — подлинная сила Фуше. Нервы не властны над ним, чувства его не соблазняют, заряды и разряды страстей свершаются за непроницаемой стеной его лба. Он маневрирует своей силой и зорко следит при этом за ошибками других; он дает истощиться их запасу страстности и терпеливо ждет, пока они истощатся или, потеряв самообладание, не выдадут себя: тогда лишь он выступает, вооруженный своей неумолимостью. Ужасно это превосходство его равнодушного терпения: кто так умеет выжидать и скрывать, тот проведет и самого искушенного человека. Фуше служит спокойно; не моргнув глазом, с холодной улыбкой выслушивает он самые грубые оскорбления, переносит отвратительнейшие унижения; его хладнокровия не могут поколебать ни угрозы, ни гнев. Робеспьер и Наполеон — оба разбиваются об это каменное спокойствие, как волна о скалу; три смены правительства, целое поколение бушует и разливается в страстных порывах, а он хладнокровно и гордо стоит неподвижно, единственный среди них лишенный страстей.

В этом спокойствии крови — подлинный гений Фуше. Плоть не удерживает и не увлекает его, для него не существуют также никакие дерзкие порывы духа. Кровь, чувства, душа, — все эти спутанные элементы переживаний живого человека не имеют никакой связи с этим скрытным азартным игроком, у которого страстность втиснута в мозг. Этот сухой кабинетный человек до порочности любит приключения, и его главная страсть — интрига. Но эту страсть он утоляет только игрой ума; нет маски, которая гениальнее и лучше скрыла бы его жуткое наслаждение смятением и кознями, чем спокойная внешность добросовестного и честного человека, которой он прикрывается всю жизнь. Прясть в своей комнате нити, скрытые за актами и ведомостями, нападать коварно, неожиданно

и незаметно — в этом его тактика. Нужно глубоко заглянуть в историю, чтобы в пламени революции, за легендарным сиянием Наполеона разглядеть его присутствие, на первый взгляд скромное и незаметное, а на самом деле оказывающееся действенным и определяющим эпоху. Всю жизнь он остается в тени, но зато три смены правительства переживает хитроумный Одиссей, в то время как пали Патрокл, Гектор и Ахилл. Его талант перехитрил гения, его хладнокровие пережило все порывы страстей.

Утром 21 сентября члены нового Конвента вступают в зал. Уже не так торжествен, не так пышен прием, как три года тому назад на первом законодательном собрании. Тогда стояло еще посреди зала роскошное кресло, крытое шелком, расшитое белыми лилиями, — место короля. Когда он вошел, все собрание, почтительно встав, приветствовало появление помазанника. Теперь его замки, Бастилия и Тюильри, разрушены, нет больше короля во Франции; тучный господин — Людовик Капе, как его называют грубые тюремные надзиратели и судьи, томится в качестве простого гражданина в Тампле\* и ждет приговора. Вместо него теперь властвуют в стране 750 человек, поселившихся в его собственном доме. Позади председательского стола висит новая скрижаль с гигантскими буквами — текст конституции; стены зала украшены вещами символами — ликторским пучком розог и смертоносным топором.

На галереях собирается народ и с любопытством рассматривает своих представителей. Семьсот пятьдесят членов Конвента постепенно заполняют королевский дом; странная смесь всех сословий и профессий: бывшие адвокаты рядом с известными философами, беглые священнослужители рядом с заслуженными воинами, потерпевшие крушение авантюристы рядом со знаменитыми математиками и галантными поэтами; словно сильно встряхнули бутылку — так после революции

---

\*Парижская тюрьма. — *Примеч. пер.*

поднялось на поверхность все прежде покоившееся на дне. Теперь настала пора разобраться в хаосе.

Размещение депутатов похоже на первую попытку водворить порядок. В амфитеатре, столь тесном, что лбами сталкиваются враждебные речи, внизу сидят спокойные, осторожные депутаты, — «tagais», — болото, как их насмешливо называют, — сохраняющие умеренность во всех решениях. Бурные, нетерпеливые радикалы занимают места на верхних скамьях, на «горе», последние ряды которой примыкают к галерее, словно символизируя этим, что за их спиной стоят массы, народ, пролетариат.

Эти две силы не уступают друг другу. Между ними, в приливах и отливах, бушует революция. Для буржуазии, для умеренных создание республики уже завершено завоеванием конституции, устранением короля и дворянства, передачей прав третьему сословию они охотно запрудили и остановили бы подгоняемое низами течение, чтобы уберечь свои завоевания. Представители духовенства и среднего сословия — Кондорсе, Ролан, жирондисты — вот их лидеры. Но те — на «горе» — стремятся еще раз поднять могучую революционную волну, чтобы смести все отсталое, все сохранившееся от старого строя; они хотят видеть Марата, Дантона, Робеспьера вождями пролетариата, стремятся к «révolution intégrale», полной радикальной революции, к атеизму и коммунизму. Низложив короля, они хотят низложить и остальные силы государства — деньги и Бога. Чаши весов колеблются. Если победят жирондисты, умеренные, революция постепенно вырождается в либеральную, а потом в консервативную реакцию. Если победят радикалы, они ринутся в глубины и водовороты анархии. Торжественная гармония первого часа не обманывает никого из присутствующих в роковом зале; каждый знает, что здесь скоро начнется борьба не на жизнь, а на смерть, борьба ума и силы. И место, которое занимает депутат — внизу, в «долине», или наверху, на «горе», — определяет заранее его решение.

В числе семисот пятидесяти, торжественно вступающих в

зал развенчанного короля, входит молча, с трехцветной повязкой поперек груди, народный представитель Жозеф Фуше, депутат от города Нанта. Тонзура уже заросла, духовное облачение давно сброшено: как и все здесь, он надел гражданское платье без всяких украшений.

Какое место займет Жозеф Фуше? Среди радикалов, на «горе», или с умеренными, в «долине»? Жозеф Фуше не долго медлит; он признает только одну партию, которой остается верным до конца: ту, которая сильнее, партию большинства. И на этот раз он взвешивает и подсчитывает про себя голоса; он видит — в данный момент сила еще на стороне жирондистов, на стороне умеренных. И вот он садится на их скамьи, рядом с Кондорсе, Роланом, Серваном, с теми, кто держит в своих руках министерские посты, влияет на все назначения и распределяет прибыли. В их среде он чувствует себя уверенным, там занимает он место.

Но когда он случайно обращает взоры вверх, где заняли места их противники, радикалы, он встречает строгий недоброжелательный взгляд. Его друг, Максимилиан Робеспьер, адвокат из Арраса, собрал там своих соратников и, гордясь своей стойкостью, никому не прощающий колебаний и слабости, холодно и насмешливо лорнирует оппортуниста. В этот миг испарился остаток их дружбы. С тех пор при каждом жесте, при каждом поступке чувствует Фуше за спиной этот немилосердно испытующий, строго наблюдающий взор вечного обвинителя, неумолимого пуританина — и твердо помнит, что следует быть осторожным.

Осторожным: едва ли кто-нибудь осторожен в большей мере, чем он. В протоколах заседаний первых месяцев почти не встречается имя Жозефа Фуше. Пока все члены Конвента безудержно и тщеславно теснятся к ораторской трибуне, делают предложения, произносят речи, обвиняют друг друга и враждуют, депутат от Нанта ни разу не поднимается на это возвышение. Слабый голос, мешающий ему выступить публично, — достаточное извинение в глазах друзей и избирате-

лей. Молчание этого мнимо скромного депутата рядом с другими, жадно и нетерпеливо перебивающими друг друга, вызывает симпатию. На самом же деле его скромность вызвана особым расчетом. Бывший физик вычисляет параллелограмм сил, он наблюдает, он медлит с решением вопроса, видя, что чаши весов все еще колеблются. Он предусмотрительно медлит с окончательным решением, ожидая, пока выяснится перевес той или иной стороны. Главное — не расточать себя, не выяснять преждевременно свою позицию, не связывать себя навсегда! Ведь еще не ясно — двинется ли революция вперед или отхлынет назад: истинный сын моряка, он ждет попутного ветра, чтобы оказаться на гребне волны, и до времени задерживает свой корабль в гавани.

Кроме того: еще в Аррасе, за монастырской стеной, он наблюдал, как быстро изнашивается популярность в эпоху революции, как быстро голос народа переходит от «осанны» к «распни его». Все или почти все, кто в эпоху Генеральных штатов и Законодательного собрания были выдвинуты на первый план, сегодня забыты народом или ненавистны ему. Прах Мирабо, вчера еще покоившийся в Пантеоне, сегодня с позором удален оттуда; Лафайет, несколько недель тому назад торжественно провозглашенный отцом отечества, сегодня уже слышит предателем; Кюстин, Петийон, несколько недель тому назад окруженные ликующей толпой, теперь боязливо прячутся в тени. Нет, только бы не слишком рано выдвинуться, не слишком быстро обосноваться, дать прежде остальным истощиться и распылиться! Революция — он, зоркий наблюдатель, знает это — подчиняется не первому, не зачинщику, а последнему, полагающему ей конец и завладевающему ею как добычей.

Так, преднамеренно, прячется в тени этот мудрец. Он приближается к власти имущим, но избегает всякой общественной, зримой власти. Вместо того чтобы поднимать шум с трибуны или в газетах, он позволяет выбрать себя в комитеты и комиссии, где можно быть в курсе дел и влиять на события,



оставаясь в тени, избегая контроля и ненависти. И в самом деле, упорная, стремительная работоспособность делает его всеобщим любимцем, незаметность уберегает его от зависти. Из своего кабинета он может, выжидая, спокойно наблюдать, как растерзывают друг друга тигры «горы» и барсы жиронды, как великие в своей страстности, выдающиеся люди вроде Верньо, Кондорсе, Демулена, Дантона, Марата и Робеспьера наносят друг другу смертельные раны. Он смотрит и ждет, ибо он знает: лишь когда подвластные порывам страсти деятели уничтожат друг друга, настанет час появления на арене сдержанных и благоразумных. Только тогда, когда предreshен исход битвы, принимает Фуше окончательное решение.

Эта затененность всю жизнь является позицией Фуше. Никогда не быть открытым носителем власти и все же обладать ею, держать все нити в своих руках и никогда не нести ответственности. Постоянно стоять за спиной властителя, прикрываться им, подгонять его и, если он заходит слишком далеко, покидать его в решительную минуту, — это его излюбленная роль. Он играет ее, этот совершеннейший интриган политической арены, с одинаковой виртуозностью в двадцати вариантах, в бесчисленных эпизодах, среди республиканцев, королей и императоров.

Иногда представляется случай и вместе с тем соблазн взять на себя основную, заглавную роль в мировой игре. Но он слишком умен, чтобы всерьез стремиться к этому. Он помнит о своем безобразном, отталкивающем лице, которое ни в малейшей степени не подходит для медалей и эмблем, для блеска и популярности и которому вряд ли придаст что-нибудь героическое лавровый венок на челе. Он помнит о своем пискливом, слабом голосе, который достаточно отчетлив, чтобы нашептывать, внушать и навлекать подозрение, но не способен пламенной речью зажечь массы. Он помнит, что сильнее всего он в кабинете за письменным столом, за запертой дверью, в тени. Оттуда он может следить и изучать, наблюдать и убеждать, протягивать нити и снова их спутывать, а сам — оставаться непроницаемым и неуловимым.

В этом — последняя тайна могущества Жозефа Фуше; он всегда стремится к власти, более того — к самой высшей власти, но, в противоположность другим, удовлетворяется сознанием обладания ею: ему не нужны ее ордена и мантии. Фуше в высокой, высшей степени честолюбив, но не тщеславен; он стремится к власти, но не соблазняется мелочами. Как истинный и тонкий любитель умственной игры, он ценит только напряжение, порождаемое властью, а не ее отличительные знаки. Ликторский жезл, королевский скипетр, императорскую корону пусть спокойно носит другой; будь то сильный человек или марионетка, — это ему безразлично: Фуше охотно уступает другим блеск и сомнительное счастье быть любимцем народа. Он удовлетворяется тем, что знает положение дел, влияет на людей, руководит мнимым повелителем мира и, не рискуя собой, ведет самую азартную игру — грандиозную игру с политикой.

Другие связаны своими убеждениями, своими публичными речами и жестами, а он, скрытый от света, в своем тайнике сохраняет внутреннюю свободу и остается постоянной осью в беге событий. Жирондистов свергли — Фуше остается, якобинцев прогнали — Фуше остается, директория, консульство, империя, королевство и снова империя исчезают и гибнут; один он, Фуше, остается, благодаря своей изумительной сдержанности, благодаря своему дерзкому мужеству, с которым он сохраняет свою бесхарактерность, благодаря непоколебимости в отсутствии убеждений.

Но настает в мировом движении революции день, единственный день, не терпящий колебаний, день, когда каждый должен подать свой голос за или против, чет или нечет, — это 16 января 1793 года. Часовая стрелка революции подошла к полудню, пройдено полдороги, дюйм за дюймом отнята власть у королевства. Но еще жив Людовик XVI; он заключен в Тампль, но жив. Не удалось (как надеялись умеренные) устроить его побег, не удалось (как втайне желали радикалы) дать ему погибнуть от ярости народа при штурме дворца. Его

унизили, лишили свободы, имени и звания, но он еще дышит, он король по наследственному праву крови, он внук Людовика XIV, хотя и прозванный теперь презрительно Луи Капе, он все еще опасен для молодой республики. И вот Конвент, после приговора 15 января, ставит вопрос о жизни или смерти. Тщетно нерешительные, трусливые, осторожные люди, подобные Жозефу Фуше, надеялись тайным голосованием избежать открытого, ответственного выступления: Робеспьер безжалостно настаивает, чтобы каждый представитель французской нации высказал перед собранием свое за или против, жизнь или смерть, чтобы народ и потомство знали, куда причислять каждого: к правым или левым, к приливу или к отливу революции.

Позиция Фуше уже 15 января вполне ясна. Принадлежность к жирондистам, стремления его чрезвычайно умеренных избирателей обязывают просить о помиловании короля. Он расспрашивает друзей, прежде всего Кондорсе, и видит, что они единогласно склоняются к тому, чтобы избежать этого неотвратимого приговора — смертной казни. И так как большинство принципиально против смертного приговора, Фуше, разумеется, на их стороне: еще накануне, 15 января, он читает одному из своих друзей речь с обоснованием просьбы о помиловании, которую он собирается произнести в Конвенте. Скамья умеренных, на которой сидит он, обязывает к умеренности, и так как большинство восстанет против радикализма, то и Жозеф Фуше, не слишком обремененный убеждениями, презирает его.

Но между вечером 15 января и утром 16-го была еще ночь — беспокойная и тревожная. Радикалы не бездействовали, они привели в движение механизм народного возмущения, которым они превосходно умели руководить. В предместьях раздается грохот сигнальной пушки, барабанным боем собирают народ, — нестройные батальоны мятежников, всегда вызываемые остающимися в тени террористами, чтобы выну-

дить то или иное политическое решение; пивовар Сантер\* одним нажимом пальца за несколько часов ставит их на ноги. Они известны, эти батальоны агитаторов предместий, торговых и авантюристов, еще со времени славного взятия Бастилии, их знают со времени гнусных сентябрьских убийств. Всякий раз, когда нужно прорвать плотину законов, насильно вздымают эту громадную народную волну, и всегда она неодолимо уносит с собой все — и последними тех, кого она вынесла на поверхность из собственной глубины.

Уже в полдень тысячи, десятки тысяч окружают манеж и Тюильри, мужчины с обнаженной грудью и грозными пиками в руках, издевающиеся, галдящие бабы в огненно-алых карманьолах, добровольцы национальной гвардии и уличная толпа. Из их среды появляются зачинщики мятежей — Фурье-американец, Гуцман-испанец, Теруань де Мерикур — истерическая карикатура на Жанну д'Арк. Когда проходят мимо депутаты, которых подозревают в готовности голосовать за помилование, их обливают, словно из ушата, потоком ругательств; народным представителям грозят кулаками, бросают им предостережения: все средства террора и грубого насилия пускаются в ход, чтобы запугать, заставить депутатов отправиться на плаху короля.

И это запугивание смущает малодушных. При свете мерцающих свечей проводят испуганные жирондисты этот длинный серый зимний вечер. Еще вчера они были готовы голосовать против казни короля, чтобы избежать по возможности войны со всей Европой, а теперь, под страшным давлением народного восстания, они охвачены тревогой и не единодушны. Наконец, поздно вечером, начинается поименное голосование, и по иронии судьбы первым должен сказать свое слово вождь жирондистов Верньо, чей голос обычно, в его южнотемпераментных речах, молотом обрушивается на сотрясающееся дерево стен. В этот миг он, вождь республики, боится быть

---

\*Главнокомандующий национальной гвардией. — *Примеч. пер.*

недостаточно республиканцем, высказываясь за помилование. И вот, обычно такой порывистый и бурный, он, стыдливо опустив большую голову, медленно, тяжелыми шагами поднимается на трибуну и тихо произносит «La mort» — смерть.

Это слово камертоном звучит в зале. Первый среди жирондистов отступил. Большинство остальных верны себе; триста голосов из семисот поданы за помилование, хотя депутаты сознают, что теперь умеренность требует гораздо большей смелости, чем мнимая решительность. Долго колеблются чаши весов: несколько голосов могут все решить. Наконец вызывают Жозефа Фуше, депутата из Нанта, того самого, который накануне настойчиво уверял друзей, что зажигательной речью защитит жизнь короля, который еще десять часов тому назад играл роль самого решительного среди решительных. Но тем временем бывший учитель математики, хороший калькулятор Фуше подсчитал голоса и увидел, что он рискует очутиться в невыгодной партии, в единственной партии, которую он не желает признавать: в партии меньшинства. Бесшумными шагами поспешно поднимается он на трибуну, и с его бледных уст тихо слетает слово «La mort» — смерть.

Герцог Отрантский впоследствии произнесет и напишет сто тысяч слов, чтобы признать, что одно слово, сделавшее Жозефа Фуше «régicide», убийцей короля, было ошибкой. Но слово сказано публично и запечатлено в «Moniteur»<sup>\*</sup>; его не вычеркнуть из истории, оно останется навеки памятным и в истории его жизни. Ибо это — первое публичное падение Жозефа Фуше. Он, наверно, напал сзади на своих друзей, Кондорсе и Дону, и их одурачил и обманул. Но перед лицом истории им краснеть за это не придется, ибо и другие, более сильные — Робеспьер и Карно, Лафайет, Баррас и Наполеон — самые могучие люди своей эпохи, разделят их участь: в минуту неудачи он предаст их.

В это мгновение, кроме того, обнаруживается впервые в

---

\* Официальный правительственный орган. — *Примеч. пер.*

характере Жозефа Фуше еще другая, ярко выраженная черта: его бесстыдство. Предательски бросая свою партию, он не прибегает к осторожным и медленным приемам, он не крадется смущенно из ее рядов. Среди белого дня, с холодной усмешкой, с поразительной, уничтожающей естественностью он переходит к противнику и усваивает все его слова и аргументы. Что думают и говорят о нем прежние товарищи по партии, что думает толпа и общественность, это ему совершенно все равно. Ему важно только одно: быть всегда в числе победителей, а не побежденных. В молниеносности его превращения, в безграничном цинизме его измен проявляется дерзость, невольно ошеломляющая, вызывающая удивление. Ему достаточно двадцати четырех часов, иногда одного часа, иногда всего лишь мгновения, чтобы на глазах у всех бросить в сторону знамя своих убеждений и с шумом развернуть другое. Он идет нога в ногу не с идеей, а со временем, и чем быстрее оно мчится, тем проворнее он его догоняет.

Он знает, — нантские избиратели будут возмущены, прочитав завтра в «Moniteur» о результатах голосования. Значит, надо их перегнуть: это вернее, чем убеждать. И с той же ослепляющей смелостью, с той же наглостью, освещающей его в такие мгновения лучами величия, он не выжидает взрыва возмущения, а атакой предупреждает нападение. Через день после голосования Фуше выпускает манифест, в котором он с треском выдает за свое внутреннее убеждение то, что в действительности ему внушил страх перед недоброжелательством парламента: он не оставляет своим избирателям времени для размышлений и подсчетов, а немедленно, грубо и сурово терроризирует и запугивает их.

Ни Марат, ни самые ярые якобинцы не сумели бы кроважее написать своим буржуазным избирателям, чем этот вчера еще умеренный депутат: «Преступления деспота стали очевидными и преисполнили все сердца возмущением. Если его голова не падет тотчас же под ножом гильотины, все разбойники и убийцы смогут свободно расхаживать по улицам, и

нам будет грозить ужаснейший хаос. Время за нас и против всех королей земного шара». Так прокламирует необходимость и неизбежность казни тот, кто еще накануне носил в кармане сюртука столь же убедительный манифест против казни.

И действительно, умный математик вычислил правильно. Он оппортунист, и потому прекрасно знает всеокрушающую силу трусости; он знает, что, когда на политическую арену выступают массы, смелость является решающим знаменателем во всех вычислениях. Он прав: честные консервативные буржуа боязливо склоняются перед этим наглым, неожиданным манифестом; сбитые с толку и смущенные, они торопятся санкционировать решение, которому в душе нимало не сочувствуют. Никто не осмеливается противоречить. И с того дня Жозеф Фуше держит в руках жестокий, холодный рычаг, который дает ему власть над всеми кризисами: презрение к людям.

С этого дня, с 16 января, хамелеон Жозеф Фуше одевается (до поры до времени) в красный цвет; в один день умеренный становится архинеприимимым радикалом и сверхтеррористом. Одним прыжком он попадает к своим противникам и даже в их рядах оказывается на крайнем, самом левом, самом радикальном фланге. С жуткой поспешностью — лишь бы не отстать от других — усваивает этот холодный ум, этот трезвый кабинетный человек кровожадный жаргон террористов. Он требует решительных мер против эмигрантов, против духовенства; он возбуждает, он гремит, он неистовствует, он убивает словами и жестами. Собственно говоря, он мог бы опять подружиться с Робеспьером и сесть с ним рядом. Но этот неподкупный, с протестантски-суровой совестью человек не любит ренегатов; с удвоенной подозрительностью отворачивается он от перебежчика; шумный радикализм Фуше кажется ему подозрительнее его прежнего хладнокровия.

Фуше своим обостренным чутьем угадывает опасность этого надзора, он предвидит приближение критических дней. Не

рассеялась еще гроза над собранием, на политическом горизонте уже обрисовывается борьба между вождями революции, между Дантоном и Робеспьером, между Эбером и Демуленом; следовало бы и здесь, в среде радикалов, принять окончательное решение, но Фуше не любит связывать себя, пока признание не станет безопасным и выгодным. Он знает, что в роковые эпохи мудрость дипломата в том, чтобы быть подальше от иных ситуаций. И вот он предпочитает покинуть политическую арену Конвента на все время борьбы, чтобы вернуться, когда спор будет закончен. Для такого отступления, к счастью, представляется почетный предлог, ибо Конвент избирает двести делегатов из своей среды, чтобы поддержать порядок в округах. Чувствуя себя неважно в вулканической атмосфере зала собраний, Фуше прилагает все старания, чтобы попасть в число этих двухсот, — и его избирают. Ему дали передышку. Пусть тем временем другие борются, уничтожают друг друга, пусть они, страстные натуры, расчищают место для честолюбца! Лишь бы не присутствовать при этом, не стать партией среди партий! Несколько месяцев, несколько недель немало значат в эпоху бешеного бега мировых часов. Когда он вернется, решение уже будет принято, и он сможет тогда спокойно и безнаказанно присоединиться к победителю, к своей неизменной партии: к большинству.

Историки французской революции уделяют не слишком много внимания событиям в провинции. Все описания словно прикованы к парижскому циферблату, к единственным часам, за которыми легко следить. Но маятник, регулирующий их ход, надо искать в стране и в армиях. Париж является лишь словом, инициативой, стимулом, а гигантская страна — действием и решающей силой.

Своевременно понял Конвент, что темпы революции в городе и в деревне не совпадают: люди в селах, в деревушках и горах соображают не так быстро, как в столице, они воспринимают идеи гораздо медленнее и осторожнее и перерабатывают их по собственному разумению. То, что в Конвенте на



протяжении часа становится законом, медленно и по каплям просачивается на равнину, большей частью уже фальсифицированным и разжиженным стараниями провинциальных чиновников-роялистов и духовенства, — людей старого порядка. Поэтому окружные часы всегда отстают от Парижа на мировой час. Когда в Конвенте господствуют жирондисты, в провинции еще раздаются голоса в защиту короля; когда торжествуют якобинцы, провинция только начинает приближаться к жиронде. Тщетны поэтому все патетические декреты, ибо печатное слово в ту пору медленно и нерешительно пробивает себе дорогу в Овернь и Вандею.

Это заставило Конвент направить в провинцию действенных носителей живого слова, чтобы ускорить ритм революции по всей Франции, победить почти сопротивляющийся революции темп округов. Он избирает из своей среды двести депутатов, обязанных вершить его волю, и дает им почти неограниченную власть. Кто носит трехцветный шарф и красную шляпу с перьями, тот обладает и диктаторскими правами. Он может взимать налоги, выносить приговоры, набирать рекрутов, смещать генералов: ни одно ведомство не смеет сопротивляться тому, кто своей священной персоной символически представляет волю Конвента. Его права неограниченны, как некогда в Риме права проконсулов, вершивших в завоеванных странах волю сената; каждый из них диктатор, самодержавный повелитель; на его решения нельзя жаловаться, против них нельзя возражать.

Могущество этих выборных посланцев огромно, но огромна и ответственность. Каждый из них в пределах переданной ему области является как бы королем, императором, неограниченным самодержцем. Но за спиной каждого высится гильотина, ибо Комитет общественного спасения следит за всякой жалобой и требует от каждого немилосердно точного отчета в распоряжении денежными суммами. Кто недостаточно суров, с тем сурово поступят; кто, наоборот, слишком неистовствовал, того ждет возмездие. Если властвует террор — террори-

стические мероприятия оказываются правильными; если чаша весов склоняется к милости, они оказываются ошибкой. Кажущиеся хозяева целой страны — они на самом деле рабы Комитета общественного спасения, подвластные капризам часа: поэтому они беспрестанно поглядывают в сторону Парижа, прислушиваются к его голосу, чтобы, властвуя над жизнью и смертью других, сохранить свою жизнь. Нелегкую должность они взяли на себя. Так же, как генералы революции перед лицом врага, они знают, что только одно может их извинить и спасти от обнаженного меча: успех.

Час, когда Фуше назначен проконсулом, — это час радикалов. Поэтому Фуше неистово радикален в своем департаменте Нижней Луары — в Нанте, Невере и Мулене. Он громит умеренных, он наводняет провинцию потоком манифестов, он грозит суровыми карами богатым, робким, нерешительным, он сколачивает в деревнях, применяя моральное и физическое принуждение, целые полки добровольцев и направляет их против врага. В организационной мощи, в быстром охвате ситуации он вполне достоин своих товарищей, в отважных речах он превосходит их всех.

Ибо — и это следует запомнить — Жозеф Фуше не соблюдает осторожности в вопросах религии и частной собственности, идя в этом дальше передовых борцов революции Робеспьера и Дантона, которые еще почтительно объявляют их «неприкосновенными»; он составляет смелую радикально-социалистическую, большевистскую программу. Первый коммунистический манифест нового времени это не известный манифест Карла Маркса или «Hessische Landbot»\* Георга Бюхнера, а почти не отмеченная в социалистической летописи лионская «Инструкция», подписанная Колло д'Эрбуа и Фуше, но сочиненная, несомненно, одним Фуше. Этот энергичный, опередивший на сто лет запросы времени документ — один из удивительнейших документов революции — достоин того, чтобы

---

\* «Гессенский депутат» — памфлет, изданный Г. Бюхнером в Гессене в 1834 году, с эпиграфом: «Мир хижинам, война дворцам». — *Примеч. пер.*

извлечь его из мрака забвения; пусть его историческая ценность умаляется тем, что впоследствии герцог Отрантский отчаянно отмежевывался от всего, когда-то провозглашенного гражданином Жозефом Фуше, — все же, с современной точки зрения, этот манифест заставляет считать Фуше первым социалистом и коммунистом революции. Не Марат и не Шомет формулировали самые смелые требования французской революции, а Жозеф Фуше; этот документ ярче и резче любого описания освещает его вечно затененный образ.

«Инструкция» смело начинается с декларирования непогрешимости всех дерзаний: «Все позволено тем, кто действует в духе революции. Для республиканца нет опасности, кроме опасности плестись в хвосте законов республики. Кто перешагнет через них, кто, казалось бы, явно залетает дальше цели, тот часто еще далек от завершения. Пока существует хоть один несчастный на земле, свобода должна идти вперед».

После этого энергичного, казалось бы уже максималистского, введения Фуше поясняет сущность революционного духа: «Революция совершена для народа, но под этим именем не следует подразумевать привилегированный благодаря своему богатству класс, присвоивший все радости жизни и все имущество общества. Народ — это совокупность французских граждан и прежде всего грандиозный класс бедняков, защищающих границы нашего отечества и кормящий своим трудом общество. Революция была бы политическим и моральным бесчинством, если бы она заботилась о благополучии нескольких сотен людей и терпела нищету двадцати четырех миллионов. Она была бы оскорбительным обманом человечества, если бы, действуя всегда во имя равенства, примирилась с громадным расстоянием между благополучием одного человека и другого».

После этих вступительных слов Фуше развивает свою любимую теорию, что богатый, «*mauvais riche*», никогда не может быть настоящим революционером, не может быть настоящим искренним республиканцем, что, следовательно,

всякая буржуазная революция, сохраняющая разницу состояний, должна неизбежно выродиться в новую тиранию, «ибо богачи всегда считают себя особой породой людей». Поэтому Фуше требует от народа проявления величайшей энергии и совершенной, «интегральной» революции. «Не обманывайте себя: чтобы быть действительно республиканцем, каждый гражданин должен в самом себе произвести революцию, подобно той, которая преобразила лик Франции. Не должно остаться ничего общего между подданными тиранов и населением свободной страны. Все их действия, их чувства, их привычки должны быть изменены. Вас притесняют — значит, вы должны уничтожить ваших притеснителей, вы были рабами церковных суеверий, — теперь вашим единственным культом пусть будет культ свободы... Каждый, кому чужд этот энтузиазм, кто знает иные радости, иные заботы, кроме счастья народа, кто открывает свою душу холодным интересам, кто подсчитывает, какую прибыль ему даст его звание, его положение и талант, и тем самым отделяется на миг от общего дела, чья кровь не кипит при виде притеснений и роскоши, кто проливает слезы сочувствия над бедствиями врагов народа и не сохраняет всей своей чувствительности для мучеников свободы, тот лжет, если он осмеливается называть себя республиканцем. Пусть он покинет нашу страну, иначе его узнают, его нечистая кровь прольется на свободную землю. Республика хочет видеть в своих пределах лишь свободных людей, она решила истребить всех других, и она называет своими детьми лишь тех, кто хочет жить, бороться и умирать за нее».

В третьем параграфе революционная декларация становится обнаженным, откровенным коммунистическим манифестом (первым достаточно ясным — 1793 года): «Каждого, имеющего больше самого необходимого, надо заставить принять участие в этом исключительной важности деле оказания помощи, и такса должна находиться в соответствии с великими требованиями отечества; поэтому вы должны в самых широких размерах, подлинно революционным способом установить, сколько каждый в отдельности должен вносить на общее

дело. Тут идет речь не о математическом определении и не о боязливо осторожном методе, обычно применяемом при составлении налоговых списков; это особое мероприятие должно соответствовать характеру обстоятельств. Действуйте поэтому широко и смело, возьмите у каждого гражданина все, в чем он не нуждается, ибо всякий излишек (*le superflu*) — открытое поругание народных прав. Единичная личность может лишь во зло употребить свои излишки. Поэтому оставляйте лишь безусловно необходимое, все остальное во время войны принадлежит республике и ее армиям».

Особенно подчеркивает Фуше в этом манифесте, что нельзя удовлетворяться только деньгами. «Все предметы, — продолжает он, — которыми они обладают в излишке и которые могут быть полезны защитникам отечества, принадлежат отныне отечеству. Есть люди, которые обладают громадными количествами полотна и рубах, платков и сапог. Все эти вещи должны стать предметом революционной реквизиции». Таким же образом он требует, чтобы в национальную казну было отдано золото и серебро, «*métaux vils et corrupteurs*»<sup>\*</sup>; презренные для истинного республиканца, «украшенные эмблемой республики, очищенные огнем, они станут полезным достоянием общества. Для торжества республики нам нужны лишь сталь и железо».

Его воззвание заканчивается ужасным призывом к беспощадности. «Мы со всей строгостью будем охранять врученные нам полномочия, мы будем наказывать как злостное намерение все, что при других обстоятельствах означало бы упущение, слабость и медлительность. Время половинчатых мероприятий и пощады миновало. Помогите нам наносить мощные удары, иначе они обрушатся на вас самих. Свобода или смерть! — выбирайте».

Этот принципиальный документ дает возможность угадать методы деятельности Жозефа Фуше в роли проконсула. В департаменте Нижней Луары, в Нанте, Невере и Мулене он

---

\* Презренные и развращающие металлы (*фр.*).

осмеливается вступать в борьбу с самыми могучими силами Франции, перед которыми осторожно отступают даже Робеспьер и Дантон, — с частной собственностью и церковью. Он действует быстро и решительно в направлении «Egalisation des fortunes»\*, изобретя так называемые «филантропические комитеты», которым состоятельные люди обязаны преподнести дары, устанавливая их размеры по своему усмотрению. Чтобы быть достаточно хорошо понятым, он сразу же делает мягкое указание: «Если богатый не использует своего права сделать достойным любви режим свободы, — республика оставляет за собой право завладеть его состоянием». Он не терпит излишков, энергично искореняет самое понятие «superflu»\*\*.

Республиканцу нужно только оружие, хлеб и сорок экю дохода. Фуше извлекает лошадей из конюшен, муку из мешков, арендаторы отвечают жизнью за неисполнение данных им предписаний, он предписывает употребление хлеба определенного образца, хлеба мировой войны, и запрещает всякое печенье из белой муки. Каждую неделю он таким образом выставляет пятьсот рекрутов, снабженных лошадьми, сапогами, обмундированием и ружьями, он заставляет работать фабрики, и все подчиняются его железной энергии. Деньги стекаются, — налоги, подати и дары, поставки и работа; два месяца спустя он гордо пишет Конвенту: «On rougit ici d'être riche» — «Здесь стыдятся прослыть богатым». Но в действительности он должен был бы сказать: «Здесь боятся прослыть богатым».

Выступая как радикал и коммунист, Жозеф Фуше, впоследствии миллионер и герцог Отрантский, набожно венчающийся в церкви с благословения короля, выступает в это время в роли свирепого, страстного гонителя христианства. «Этот лицемерный культ должен быть заменен верой в республику и мораль», — гремит он в своем зажигательном послании, и, как удары молнии, обрушиваются первые мероприятия на

---

\*Уравнивания состояний (фр.).

\*\*Излишек (фр.).

церкви и соборы. Закон за законом, декрет за декретом: «Духовенство имеет право носить свое облачение только при исполнении обрядов», все преимущества у него отнимаются, ибо «пора, — поясняет он, — возвратить этот высокомерный класс к чистоте древнего христианства и обратить его в граждан государства».

Скоро Жозефа Фуше перестает удовлетворять положение высшей военной власти, высшего вершителя правосудия, неограниченного диктатора; он забирает себе и все права церкви. Он уничтожает безбрачие духовенства, приказывает священнослужителям в течение месяца обзавестись женами или усыновить ребенка, он на рыночных площадях заключает браки и расторгает их, он поднимается на амвон (откуда старательно вынесены кресты и религиозные украшения) и произносит атеистические проповеди, в которых отрицает бессмертие и существование Бога. Христианские обряды при похоронах отменяются, и в утешение на кладбищенских церквях высекается надпись: «Смерть — это вечный сон». В Невере новоявленный папа впервые в стране совершает обряд гражданского крещения своей дочери, названной в честь департамента — Ниевр. Национальная гвардия выступает с барабанным боем и музыкой, и на рыночной площади он без участия церкви дает ребенку имя.

В Мулене он верхом во главе целого кортежа разъезжает по городу с молотком в руке и разбивает кресты, распятия и религиозные изображения, «постыдные» свидетельства фанатизма. Похищенные митры и на престольные покровы складываются на костер, и, пока вздымается пламя этого аутодафе, народ кружится в танце. Но неистовствовать, разбивая мертвые предметы, беззащитные каменные фигуры и хрупкие кресты, было бы для Фуше только частичным торжеством. Настоящее торжество доставил ему архиепископ Франсуа Лоран, сорвавший с себя после его речей облачение и надевший красную шапку; тридцать священнослужителей с восторгом последовали его примеру, — этот успех охватил пожаром всю

Францию. И гордо хвастается Фуше перед своими менее удачливыми коллегами-атеистами, что он уничтожил фанатизм, вытравил христианство во вверенной ему области, так же как богатство.

Казалось бы, все это — сумасбродные деяния иступленно-го, страстного фанатика и фантазера. Но в действительности Жозеф Фуше даже в мнимой страстности остается трезвым калькулятором и реалистом. Он знает, что обязан отчитаться перед Конвентом, знает, что курс патриотических фраз и чисел падает так же быстро, как и курс ассигнаций, и если хочешь возбудить удивление, нужно найти железные слова. И, отправляя набранные им полки к границе, всю прибыль от грабежа церковей он отправляет в Париж. Ящик за ящиком с золотыми дароносицами, сломанными и расплавленными серебряными подсвечниками, тяжеловесными распятиями и драгоценными камнями втаскивают в Конвент. Он знает: республике нужны прежде всего наличные деньги, и он первый, он единственный посылает депутатам из провинции свою красноречивую добычу. Сперва они поражены этой небывалой энергией, потом приветствуют ее громовыми аплодисментами. С этого часа знают и повторяют в Конvente имя Фуше — железного человека, самого неустрашимого, могущественного республиканца республики.

Когда Фуше, исполнив свою миссию, возвращается в Конвент, он уже не похож на того неизвестного ничтожного депутата, каким был в 1792 году. Человеку, который выставил десять тысяч рекрутов, который выжал сто тысяч марок золотом, тысячу двести фунтов наличных денег, тысячу слитков серебра, ни разу не прибегнув к «*gasoir national*»\*, к гильотине, Конвент поистине не может за его усердие, «*pour sa vigilance*», отказать в уважении. Ультрарякобинец Шомет публикует гимн в честь его деяний. «Гражданин Фуше, — пишет он, — сотворил те чудеса, о которых я рассказал. Он почтил старых,

---

\*Национальная бритва (фр.).



поддержал слабых, разрушил фанатизм, уважил несчастных, уничтожил протекционизм. Он восстановил производство железа, арестовал подозрительных граждан, примерно наказал каждое преступление, преследовал и сажал в тюрьмы эксплуататоров». Спустя год после того, как он осторожно и робко сел на скамью умеренных, Фуше слывет самым радикальным в среде радикалов, и когда восстание в Лионе потребовало назначения особенно энергичного человека, беспощадного, не знающего колебаний, — кто мог показаться более подходящим для проведения самого ужасного эдикта, когда-либо созданного этой или какой-либо другой революцией? «Услуги, оказанные тобой революции, — предписывает ему на своем великолепном жаргоне Конвент, — служат залогом тех, которые ты еще окажешь. Ты должен в Villt Affranchie (Lyon)\* снова разжечь потухающий факел гражданского духа. Доверши революцию, положи конец войне аристократов, и да обрушатся на них развалины, которые упавшая власть стремится восстановить».

В этом образе мстителя и разрушителя, «Mitrailleur de Lyon», вступает теперь Жозеф Фуше, будущий миллионер, впоследствии герцог Отрантский, в мировую историю.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### «MITRAILLEUR DE LYON»

1793

В истории французской революции редко замечают одну из самых кровавых ее страниц — Лионское восстание. И все же ни в одном городе, даже в Париже, социальные противоречия не проявились так остро, как в этом первом индустриальном городе, родине шелкового производства, тогда еще мелкобуржуазной и аграрной Франции. Там рабочие еще в разгар буржу-

---

\* Освобожденном городе (фр.).

азной революции 1792 года впервые образуют отчетливо пролетарскую массу, резко отмежевывающуюся от роялистически и капиталистически настроенных предпринимателей. Нет ничего удивительного, что как раз на этой раскаленной почве конфликты выливаются в самые кровавые и фанатические формы, — реакция так же, как и революция.

Приверженцы якобинцев, толпы рабочих и безработных группируются вокруг одного из тех чудачков, которых внезапно выносит на поверхность всякий мировой переворот, одного из тех кристально чистых идеалистов, которые, однако, своей верой и своим идеализмом навлекают больше невзгод и вызывают больше кровопролития, чем самые грубые реалисты-политики и самые свирепые террористы. Обычно как раз искренне верующие, религиозные, экстатичные натуры, стремящиеся пересоздать, исправить мир, дают, несмотря на свои лучшие намерения, повод к отвратительным для них самих убийствам и несчастьям.

В Лионе таким человеком был Шалье, расстрига-священник и бывший купец, для которого революция стала истинным, настоящим христианством; он был предан ей с любовью, суеверной и самозабвенной. Взлет человечества к разуму и к равенству означает для этого страстного почитателя Жан-Жака Руссо осуществление тысячелетнего царства, его пылкое и фанатическое человеколюбие видит в мировом пожаре зарю новой нескончаемой человечности. Трогательный фантазер: когда Бастилия пала, он собственными руками относит камень из стены замка в Лион, шесть дней и шесть ночей проведя в пути, и делает из него алтарь. Он обожает пламенного, язвительного памфлетиста Марата, как Бога, как новую Пифию; он знает наизусть его речи и статьи и сильнее любого оратора воспаляет своими мистическими и наивными речами лионских рабочих. Инстинктивно чувствует в нем народ горячего сострадательного человеколюбца, а лионские реакционеры понимают, что этот чистый духом, одержимый человеколюбием человек опаснее зачинщиков мятежей — якобин-

цев. К нему привлечены все сердца, против него направлена вся ненависть. И когда в городе вспыхивают первые волнения, в тюрьму бросают, как зачинщика, этого неврастеничного, немного смешного фантазера. С трудом, прибегнув к помощи подложного письма, выкапывают против него какое-то обвинение и в назидание другим радикалам, делая тем самым вызов парижскому Конвенту, приговаривают его к смертной казни.

Тщетно возмущенный Конвент посылает в Лион гонца за гонцом, чтобы спасти Шалье. Он увещевает, он требует, он угрожает карами непослушному магистрату. Но решившись, наконец, показать когти парижским террористам, городская дума самовластно отвергает все протесты. Нехотя выписали в свое время лионцы инструмент террора — гильотину — и поставили ее в сарай; теперь они решили дать урок поклонникам террора, впервые испытав это так называемое гуманное орудие революции на революционере. И так как машина не испробована, палач неопытен, казнь Шалье превращается в жестокую, гнусную пытку. Трижды опускается тупой нож, не отсекая головы осужденного. С ужасом смотрит народ, как законное, обливающееся кровью, еще живое тело его вождя корчится в мучениях постыдной пытки, пока палач милосердным ударом сабли не отделяет голову несчастного от туловища.

Но эта голова мученика, трижды раздробленная, скоро становится палладиумом мести для революции и головой Медузы для убийц.

Конвент встревожен известием об этом преступлении. Неужели французский город осмеливается открыто выступить против Конвента! Этот наглый вызов должен быть потоплен в крови. Но и лионские правители понимают, что им предстоит. Они переходят от сопротивления к открытому мятежу; они готовят войско, готовят орудия защиты против сограждан, против французов, и открыто сопротивляются республиканской армии. Теперь оружие должно решить спор между Лионом и Парижем, между реакцией и революцией.

С логической точки зрения гражданская война в такой момент должна казаться самоубийством молодой республики. Ибо никогда ее положение не было опаснее, отчаяннее, безвыходнее. Англичане заняли Тулон, завладели арсеналом и флотом, угрожают Дюнкирхену; пруссаки и австрийцы продвигаются вдоль берегов Рейна и в Арденнах, а вся Вандея охвачена пожаром. Битвы и мятежи сотрясают республику от одной границы до другой. Но эти дни — поистине героические дни Конвента. Следуя жуткому роковому инстинкту, вожди решают победить опасность, послав ей вызов; после казни Шалье они отвергают всякое соглашение с его палачами. «*Potius mori quam feodari*», «лучше погибель, чем союз», лучше прибавить к семи войнам еще одну, чем заключить мир, свидетельствующий о слабости. И этот неистовый порыв отчаяния, эта нелогичная бешеная страстность спасли в момент величайшей опасности французскую революцию, так же как впоследствии — русскую (одновременно теснимую с запада, востока, юга и севера англичанами и наемниками всего мира, а внутри страны — полками Врангеля, Деникина и Колчака). Не помогает и то, что напуганная лионская буржуазия открыто бросается в объятия роялистов и доверяет свои отряды королевскому генералу, — из деревень, из предместий стекаются пролетарские солдаты, и 9 октября республиканские полки штурмом берут охваченную мятежом вторую столицу Франции.

Этот день — быть может, самая большая гордость французской революции. Когда председатель Конвента торжественно поднимается со своего места и заявляет о капитуляции Лиона, депутаты вскакивают со своих мест, ликуя и обнимая друг друга; на мгновение кажется, что улажены все споры. Республика спасена, всей стране, всему миру дано величественное доказательство неотразимой мощи, силы гнева и напора республиканской народной армии. Но гордость перед лицом этого подвига фатально влечет победителей к заносчивости, к жгучей жажде обратить свое торжество в террор. Столь же грозной, как и порыв к победе, должна быть месть победителей: «Надо показать на этом примере, как сурово наказывает француз-

ская республика, молодая революция тех, кто восстает против трехцветного знамени». Так перед всем миром позорит себя Конвент, поборник гуманности, декретом, для которого историческим фоном могут служить варварское нападение Барбароссы на Милан или подвиги калифов. 12 октября председатель Конвента берет в руки ужасный лист, содержащий всего только предложение разрушить вторую столицу Франции. Вот этот мало известный декрет:

1. Национальный Конвент назначает по предложению Комитета общественного спасения чрезвычайную комиссию из пяти членов, чтобы немедленно наказать лионскую контрреволюцию по законам военного времени.

2. Все жители Лиона должны разоружиться и сдать свое оружие защитникам республики.

3. Часть его будет передана патриотам, угнетаемым богачами и контрреволюционерами.

4. Город Лион должен быть разрушен. Все дома, где жили состоятельные люди, — уничтожить; должны быть сохранены лишь дома бедноты, квартиры убитых или осужденных патриотов и сооружения, служащие промышленным, благотворительным и педагогическим целям.

5. Название Лион вычеркивается из списка городов республики. С этих пор название, объединяющее оставшиеся дома, будет: *Ville Affranchie*\*.

6. На развалинах Лиона возвести колонну, которая будет вещать грядущим поколениям о преступлениях и наказании роялистского города следующей надписью: «Лион боролся против свободы — Лиона больше нет».

Никто не осмеливается возражать против безумного предложения — превратить второй по величине город Франции в груды развалин. Мужество испарилось во французском Конвенте с тех пор, как нож гильотины зловеще сверкает над головой каждого, осмеливающегося хотя бы шепотом произнести слова «милость» или «сострадание». Напуганный собст-

---

\* Освобожденный город (*фр.*).

венным страхом, Конвент единогласно одобряет варварское деяние, и Кутону, другу Робеспьера, дается поручение привести его в исполнение.

Кутон, предшественник Фуше, сразу постигает безумные, убийственные для республики последствия умышленного уничтожения, острастки ради, самого большого промышленного города страны со всеми его памятниками искусства. И с первого же мгновения он решает саботировать постановление Конвента. Чтобы осуществить это, нужно пустить в ход лукавое притворство. Поэтому свое тайное намерение пощадить Лион Кутон прячет за хитростью, — он чрезмерно восхваляет безумный декрет. «Граждане-коллеги, — восклицает он, — мы пришли в восхищение, прочитав ваш декрет. Да, необходимо разрушить город, и пусть это послужит великим уроком для всех, кто мог бы осмелиться восстать против отечества. Из всего запаса великих и могущественных мер воздействия, применявшихся Национальным Конвентом, от нас до этих пор ускользала лишь одна: полное разрушение... но будьте спокойны, граждане-коллеги, и заверьте Конвент, что мы разделяем его воззрения и точно исполним его декреты». Однако, приветствуя гимном возложенное на него поручение, Кутон и не думает приводить его в исполнение, удовлетворяясь театральными мероприятиями. Ранний паралич лишил его ног, но не упрямой отваги; он приказывает отнести себя в носилках на лионскую рыночную площадь, ударом серебряного молота символически отмечает дома, подлежащие разрушению, и уведомляет трибунал об ужасной мести. Этим он успокаивает разгоряченные умы. В действительности же под предлогом недостатка рабочих рук он лишь для проформы посылает несколько женщин и детей, ограничивающихся десятком вялых ударов заступа возле домов, и приводит в исполнение лишь несколько смертных приговоров.

Город уже облегченно вздыхает, пораженный неожиданной милостью после грозных объявлений. Но и террористы не дремлют, они начинают догадываться о снисходительных намерениях Кутона и силой принуждают Конвент к насилию.

Окровавленный, раздробленный череп Шалье как святыню привозят в Париж, с пышной торжественностью показывают Конвенту и, подстрекая народ, выставляют его в Нотрдам. Все нетерпеливее бросают они обвинения кунктатору Кутону: он вял, ленив, труслив, недостаточно мужествен, чтобы привести в исполнение примерную месть. Здесь нужен беспощадный, надежный и искренний революционер, не боящийся крови, способный на крайние меры, — железный и закаленный человек. В конце концов Конвент уступает их требованиям и шлет в злосчастный город на место слишком милостивого Кутона новых палачей: самых решительных своих трибунов — порывистого Колло д'Эрбуа (о котором легенда повествует, что его в бытность артистом освистали в Лионе и потому он самый подходящий человек, чтобы проучить граждан этого города), а с ним радикальнейшего проконсула, прославленного якобинца и крайнего террориста — Жозефа Фуше.

Действительно ли неожиданно призванный для свершения кровавого дела Жозеф Фуше был палачом, «кровопийцей», как в то время называли передовых бойцов террора? Судя по его словам — безусловно. Едва ли кто-нибудь из проконсулов вел себя в порученной ему провинции решительнее, энергичнее, радикальнее, революционнее, чем Жозеф Фуше; он беспощадно реквизировал, грабил церкви, захватывал богатства и душил всякое сопротивление. Однако — и это чрезвычайно характерно для него! — только в словах, приказах и запугиваниях проявляется его террор, ибо за все время его власти ни в Невере, ни в Кламеси не пролилось ни одной капли крови. Пока в Париже гильотина работает, как швейная машина, пока Карье в Нанте сотнями топит «подозрительных» в Луаре, пока по всей стране идут расстрелы, убийства, травли, Фуше в своем округе не свершает ни единой политической казни. Он знает — это лейтмотив его психологии — трусость большинства людей, он знает, что бурный, сильный террористический жест большей частью заменяет террор. И когда впоследствии, в эпоху пышного расцвета реакции, все провинции обвиняют своих былых повелителей, его округ может засвидетельство-

вать только то, что он все время грозил казнями, но никто не обвиняет его в том, что свои угрозы он приводил в исполнение.

Итак: мы видим, что Фуше, назначенный палачом Лиона, не любит крови. Этот холодный, бесчувственный калькулятор и игрок — скорее лисица, чем тигр — не нуждается в запахе крови для возбуждения нервов. Он неистовствует (без внутренней лихорадки) на словах и в угрозах, но никогда не требует казней ради наслаждения убийством, ради бешенства власти. Инстинкт и благоразумие (а не гуманность) заставляют его уважать человеческую жизнь, пока его собственная жизнь в безопасности; он угрожает жизни и судьбе человека лишь тогда, когда ставится под угрозу его собственная жизнь или выгода.

В этом тайна почти всех революций и трагическая судьба их вождей: все они не любят крови и все же насильно вынуждены ее проливать. Демулен, сидя за письменным столом, требует с пеной у рта суда над жирондистами, но когда он в зале суда услышал смертный приговор двадцати двум людям, которых сам привлек к ответственности, он вскочил дрожащий, бледный как смерть и выбежал в смятении: нет, этого он не хотел! Робеспьер, поставивший свою подпись под тысячами роковых декретов, за два года до этого в Национальном собрании восставал против смертной казни и клеймил войну как преступление. У Дантона, хотя он был создателем трибунала смерти, вырвалось из глубины смущенной души изречение: «Лучше самому быть казненным, чем казнить других». Даже Марат, требовавший в своей газете триста тысяч голов, старался спасти каждого приговоренного в отдельности. Вина французских революционеров не в том, что они опьянялись запахом крови, а в их кровожадных речах: они сделали глупость, создав ради воодушевления народа, ради засвидетельствования своего радикализма кровавый жаргон и постоянно фантазируя об изменниках и эшафоте. И когда народ, опьяненный, одурманенный, одержимый этими безумными возбуждающими речами, действительно требует провозглашенных обязательными «энергичных мер», у вождей не хватает мужества ока-



зять сопротивление: они обязаны гильотинировать, чтобы избежать обвинения в лживости разговоров о гильотине.

Их деяния вынуждены мчаться за их бурными речами, и вот начинается жуткое соревнование, — ибо никто не осмеливается отстать от другого в погоне за народным благоволением. В силу неудержимого закона тяготения одна казнь влечет за собой другую: игра кровавыми словами превращается в бешенство казней; приносить в жертву тысячи жизней заставляет не наслаждение, даже не страсть, и меньше всего решительность, — а как раз нерешительность, даже трусость политиков, партийных деятелей, не имеющих мужества сопротивляться народу.

К сожалению, мировая история — история не только человеческого мужества, как ее чаще всего изображают, но и история человеческой трусости, политика — не руководство общественным мнением, как хотят нам внушить, а рабское преклонение вождей перед той инстанцией, которую они сами создали и подготовили. Так всегда возникают войны: из игры опасными словами, из возбуждения национальных страстей; так возникают и политические преступления. Ни один порок, ни одна жестокость не вызвали столько кровопролития, сколько человеческая трусость. Поэтому, если Жозеф Фуше в Лионе становится палачом, то причина этого кроется не в его республиканской страстности (он ее не знает), а лишь в боязни прослыть умеренным. Но не мысли являются решающими в истории, а деяния, и хотя он тысячу раз возражал против этого слова, но за ним все-таки утвердилось прозвище: «*La Mitrailleur de Lyon*». И даже герцогская мантия впоследствии не сможет скрыть следов крови на его руках.

7 ноября Колло д'Эрбуа прибывает в Лион, 10-го является туда Фуше. Они тотчас же приступают к делу. Но прежде чем начать настоящую трагедию, экс-комедиант и его помощник — бывший священнослужитель — разыгрывают маленькую сатирическую пьеску, пожалуй, самую вызывающую и наглую за все время французской революции: нечто вроде черной мессы среди белого дня. Поминки по мученику Шалье

служат предлогом для этой оргии атеистического экстаза. Пролог разыгрывается в восемь часов утра: из всех церквей выносят остатки предметов культа, распятия срываются с алтарей, покровы и облачения выбрасываются; громадный кортеж проходит по всему городу к площади Терро. Четыре прибывших из Парижа якобинца несут на носилках, покрытых трехцветными коврами, бюст Шалье, украшенный грудями цветов, урну с его прахом и голубя в маленькой клетке, который будто бы служил утешением мученику в тюрьме. Торжественно и важно шествуют за носилками три проконсула для совершения нового обряда, который должен засвидетельствовать перед лионским населением божественность мученика свободы Шалье, «Dieu sauveur mort pour eux»\*.

Но оскорбительность этой уже самой по себе неприятной патетической церемонии усугубляется чрезвычайно неудачной, глупой, безвкусной выдумкой: шумная толпа торжественно, с дикими танцами несет похищенную церковную утварь, чаши, дароносицы и религиозные изображения, за ней бежит осел, которому искусно напялили на уши епископскую митру. К хвосту бедного животного привязали распятие и Библию, и на потеху воющей толпе волочится по уличной грязи привязанное к ослиному хвосту Евангелие.

Наконец военные фанфары призывают народ остановиться. На большой площади, соорудив алтарь из травы, торжественно устанавливают бюст Шалье и урну. Три народных представителя благоговейно склоняются перед новоявленной святыней. Первым берет слово бывший актер Колло д'Эрбуа, за ним Фуше. Он, упорно молчавший в Конвенте, овладел своим голосом и в экстазе, обратив взор к бюсту, взывает: «Шалье, Шалье, тебя нет с нами! Преступники принесли в жертву тебя, мученика свободы, и пусть кровь этих преступников будет искупительной жертвой, которая успокоит твою разгневанную тень. Шалье, Шалье! Перед твоим изображением клянемся мы отомстить за пытки, и пусть кровь аристократов

---

\* Бога-спасителя, умершего за вас (фр.).

будет тебе ладаном». Третий народный представитель менее красноречив, чем будущий аристократ, герцог Отрантский. Он лишь касается устами бюста и восклицает громовым голосом: «Смерть аристократам!»

После этих трех торжественных молитв зажигается большой костер. Важно смотрят недавний монах Жозеф Фуше и его коллеги, как отвязывают Евангелие от ослиного хвоста и бросают его в костер, чтобы там оно сгорело вместе с церковным облачением, трепниками, святыми дарами и деревянными изображениями. Этого мало: ослу, в награду за его богохульные заслуги, дают пить из священной чаши и, по окончании этой явной нелепости, четверо якобинцев на плечах несут обратно бюст Шалье в церковь, где его торжественно ставят на алтарь вместо разбитого изображения Христа.

Для вящей памяти об этом доблестном торжестве в следующие за ним дни чеканят медаль; но теперь ее не достать, вероятно, потому, что будущий герцог Отрантский скупил все экземпляры и уничтожил их, так же как и книги, слишком подробно описывающие эти яркие героические выступления ультраякобинского и атеистического периода его деятельности.

Он сам обладал хорошей памятью, но для *Son Excellence Monseigneur le sénateur ministre\** христианнейшего короля неудобно и неприятно, чтобы другие помнили об этой лионской черной мессе.

Как ни отвратителен первый день пребывания Жозефа Фуше в Лионе, это всего лишь спектакль и нелепый маскарад, кровопролития еще нет. Но уже на следующее утро консулы становятся недоступными, они запираются в уединенном доме; вооруженная стража охраняет его от незваных гостей, символически преграждая доступ всякой милости, всякой просьбе, всякому снисхождению. Организуется революционный трибунал, и зловещее письмо Конвенту возвещает, какую ужасную Варфоломеевскую ночь задумали народные короли

---

\*Его свеглости господина министра и сенатора (*фр.*).

Фуше и Колло: «Мы исполняем нашу миссию с энергией стойких республиканцев и не намерены спускаться с той высоты, на которую нас возвел народ, ради соблюдения жалких интересов более или менее виновных людей. Мы отстранили от себя всех, ибо не хотим ни терять времени, ни оказывать милости. Мы видим только республику, повелевающую нам дать лионцам примерный и памятный урок. Мы слышим только крик народа, требующего быстрой и страшной мести за кровь патриотов, чтобы человечеству не пришлось впредь проливать потоки крови. Уверенные, что в этом подлом городе нет невинных, кроме угнетенного убицами народа и брошенных в тюрьмы людей, мы относимся недоверчиво к слезам раскаяния. Ничто не может обезоружить нашу суровость. Мы должны вам сознаться, граждане коллеги, что на снисходительность мы смотрим, как на опасную слабость, способную вновь воспламенить преступные надежды в тот момент, когда их нужно погасить навсегда. Оказать снисхождение одному человеку — значит оказать его всем подобным ему, и тогда воздействие вашего правосудия окажется недействительным. Разрушение подвигается слишком медленно, республиканское нетерпение требует решительных мер: лишь взрыв мин, пожирающая работа пламени могут выразить гнев народа. Исполнение его воли не должно задерживаться, как исполнение воли тиранов, оно должно быть разрушительным, как буря».

Эта буря происходит по намеченной программе 4 декабря, и ее отзвук грозно раздается по всей Франции. Рано утром выводят из тюрьмы шестьдесят юношей, связанных по двое. Но их ведут не к гильотине, работающей «слишком медленно», по выражению Фуше, а на равнину Бротто, по ту сторону Роны. Две параллельные наспех вырытые канавы дают жертвам понять ожидающую их судьбу, а поставленные в десяти шагах от них пушки указывают на метод этой массовой бойни. Беззащитных людей собирают, связывают в кричащий, трепещущий, воющий, неистовствующий, тщетно сопротивляющийся клубок человеческого отчаяния. Раздается команда, — и из угрожающих смертью, совсем близких пушечных жерл в

объятую ужасом человеческую массу летит раздробленный свинец. Этот первый выстрел не убивает всех жертв, у некоторых только оторваны руки или ноги, у других разорваны внутренности, некоторые даже случайно уцелели. Но пока кровь широким струящимся потоком стекает в канавы, кавалеристы, по новой команде, набрасываются с саблями и пистолетами на уцелевших, рубят и расстреливают дрожащее, стонущее, вопящее, незащитное человеческое стадо, пока не замирает последний хрип. В награду за убой палачам разрешается снять платье и сапоги с еще теплых шестидесяти трупов, прежде чем закопать в канавах эти обезображенные, разорванные тела.

Это первый из знаменитых расстрелов Жозефа Фуше, в будущем министра христианнейшего короля, и он гордо хвастает им на следующий день в пламенной прокламации: «Народные представители останутся твердыми в исполнении доверенной им миссии, народ вложил в их руки гром своей мести, и они сохранят его, пока не уничтожены все враги свободы. У них хватит мужества спокойно миновать широкие ряды могил заговорщиков, чтобы через развалины пробраться к счастью нации и обновлению мира». В тот же день это печальное «мужество» еще раз злодейски подтверждается пушками равнины Бротто, и на этот раз перед ними еще большее стадо. Двести десять голов убойного скота, выведенных со связанными за спиной руками и через несколько минут осыпанных картечью и залпами пехоты. Процедура остается той же, только на этот раз мясникам облегчают неприятную работу — их освобождают после столь утомительной резни от обязанностей могильщиков. Зачем этим негодьям могилы? Сняв окровавленные сапоги со сведенных судорогой ног, их обнаженные, подчас еще корчащиеся тела просто бросают в текущую могилу Роны.

Но и это жуткое деяние, перед которым содрогаются с отвращением страна и мировая история, Жозеф Фуше окутывает успокаивающим покровом восторженных слов. Заразив воды Роны нагими трупами, он возводит это в политический

подвиг: «Ибо, — говорит он, — плывя до Тулона, они дают наглядный пример неумолимой страшной мести республиканцев». «Необходимо, — пишет он, — чтобы окровавленные тела, брошенные в Рону, доплыли вдоль обоих берегов до устья, до подлого Тулона: они возбуждают ужас у трусливых и жестоких англичан и покажут силу народного могущества». Лиону такое запугивание не нужно, ибо казнь продолжает следовать за казнью, — гекатомба за гекатомбой. Взятие Тулона Фуше приветствует «слезами радости» и орудийным расстрелом, ради торжественного дня, двухсот мятежников. Тщетны все мольбы о пощаде.

Две женщины, слишком страстно молившие кровавое судилище освободить их мужей, поставлены связанные у гильотины; никого не подпускают к дому народных представителей для просьб о снисхождении.

Но чем безумнее становится грохот орудий, тем громче раздаются слова проконсулов: «Да, мы осмеливаемся это утверждать, — мы пролили немало нечистой крови, но лишь во имя человечества и исполнения долга... Мы не выпустим из рук молнию, которую вы доверили нашим рукам, пока вы нам не прикажете этого. До тех пор мы будем непрерывно продолжать убивать наших врагов, мы их вытравим совершенным, ужаснейшим, быстрейшим способом».

И тысяча шестьсот казней в течение нескольких недель подтверждают, что на этот раз, в виде исключения, Жозеф Фуше сказал правду.

За организацией этой бойни и за восторженными донесениями Жозеф Фуше и его коллеги не забывают о другом печальном поручении Конвента. В первый же день они посылают в Париж жалобу, утверждая, что предписанное разрушение города «слишком медленно» совершалось их предшественником: «Теперь мины должны ускорить дело разрушения; саперы уже приступили к работе, и в течение двух дней здания Белькура\* будут взорваны». Эти знаменитые фасады, начатые

---

\* Площадь в Лионе.

в царствование Людовика XIV, построенные учеником Мансарда\*, были, как самые лучшие, предназначены к уничтожению первыми. Грубо изгоняются жители из домов, и сотни безработных, женщины и мужчины, за несколько недель бессмысленно разрушительной работы уничтожают великолепные художественные произведения. Несчастный город вопит и стонет от пушечных выстрелов и рушащихся зданий, пока комитет «de justice»\*\* сметает людей, а комитет «de démolition»\*\*\* — дома, комитет «des substances»\*\*\*\* проводит беспощадную реквизицию съестных припасов, материй и ценных вещей.

Каждый дом обыскивается от погреба до чердака в поисках притаившихся людей и спрятанных драгоценностей; везде царит террор двух — Фуше и Колло, незримых и недоступных, прячущихся в доме, оберегаемом стражей. Лучшие замки уже сметены, тюрьмы, хотя и наполняющиеся заново, почти пусты, магазины очищены, и поля Бротто пропитались кровью тысяч казненных; в конце концов несколько граждан решаются (пусть это будет им стоить жизни!) отправиться в Париж и подать Конвенту прошение о сохранении оставшейся части города. Конечно, текст этого прошения очень осторожен, даже раболопен; они трусливо начинают с восхваления достойного Герострата декрета, «словно продиктованного гением римского сената». В дальнейшем они просят о «пощаде для искренне раскаявшихся, для заблудших, о пощаде — мы осмеливаемся так выразиться — для несправедливо осужденных».

Но консулы своевременно узнали о тайной жалобе, и Колло д'Эрбуа, самый красноречивый из них, летит курьерской почтой, чтобы своевременно отпарировать удар. На следующий день у него хватает смелости в Конвенте и среди якобинцев восхвалять как особую «гуманность» массовые казни, вме-

---

\* Знаменитый французский архитектор.

\*\* Правосудия (фр.).

\*\*\* Разрушения (фр.).

\*\*\*\* Имуществ (фр.).

сто того чтобы оправдывать их. «Мы хотели, — говорит он, — освободить человечество от ужасного зрелища слишком быстро сменяющих друг друга казней, поэтому комиссары решили уничтожить в один день осужденных и предателей; это желание вызвано подлинной чувствительностью (*véritable sensibilité*)». И у якобинцев он еще пламеннее, чем в Конвенте, восторгается этой «гуманной» системой: «Да, мы уничтожили двести осужденных одним залпом, и нас упрекают за это. Разве не понятно само собой, что это было актом гуманности! Когда гильотинируют двадцать человек, то осужденные переживают казнь двадцать раз, в то время как таким путем двадцать предателей погибают одновременно». И действительно, эти избитые фразы, поспешно выуженные из кровавой чернильницы революционного жаргона, производят впечатление: Конвент и якобинцы одобряют объяснения Колло и этим самым дают проконсулам благословение на дальнейшее истребление. В тот же день Париж чествует перенос праха Шалье в Пантеон, — честь, оказанная до сих пор только Жан-Жаку Руссо и Марату, — и его возлюбленной так же, как и возлюбленной Марата, назначают пенсию. Таким образом, этот мученик публично объявлен национальным святым, и все насилия Фуше и Колло одобрены как справедливая месть.

И все же: некоторая неуверенность овладела обоими деятелями, ибо опасная ситуация в Конвенте, колебание чашек весов между Дантоном и Робеспьером, между умеренностью и террором, требует удвоенной осторожности. И вот они решают поделить роли: Колло д'Эрбуа остается в Париже, чтобы следить за настроениями Комитета и Конвента, чтобы заранее со своей напористой ораторской страстностью разгромить всякое возможное нападение, продолжение же убийств представляется «энергии» Фуше. Важно установить, что в то время Жозеф Фуше был неограниченным самодержцем, ибо впоследствии ловким приемом он пытается приписать все насилия своему более правдивому коллеге; но факты показывают, что и в то время, когда он повелевал единолично, коса смерти бушевала не менее убийственно. Расстреливают пятьдесят



четыре, шестьдесят, сто человек в день; и в отсутствии Колло, как и прежде, рушатся стены, отбираются дома и опустошаются казнями тюрьмы, и все еще Жозеф Фуше старается перекричать свои собственные деяния восторженными кровавыми словами: «Приговоры этого суда внушают преступникам страх, но они успокаивают и утешают народ, внемлющий им и их одобряющий. Не правы те, кто предполагают, что мы хоть раз оказали кому-нибудь честь помилования: мы повинны в этом!»

Но внезапно — что же произошло? — Фуше меняет тон. Своим тонким чутьем он издали уловил, что ветер в Конвенте изменил направление, ибо с некоторых пор его резкие смертоносные фанфары не дают ясного отзвука. Его якобинские друзья, его атеистические товарищи по убеждениям, Эбер, Шомет, Ронсен, вдруг умолкли, — умолкли навсегда, — ибо беспощадная рука Робеспьера неожиданно схватила их за горло. Ловко балансируя между слишком бурными и слишком благосклонными и прокладывая себе дорогу то вправо, то влево, этот добродушный тигр внезапно накинулся из мрака на ультрарадикалов. Он настоял, чтобы Карье, который так же радикально топил нантцев, как Фуше расстреливал лионцев, был вызван в Конвент для личного отчета; он через верного своего слугу Сен-Жюста отправил в Страсбурге на гильотину буйного Евлогия Шнейдера; он публично заклеил, назвав нелепостью, атеистические народные праздники, устроенные Фуше в провинции и в Лионе, и отменил их в Париже. Как всегда, робко и послушно следуют его указаниям встревоженные депутаты.

Снова обуял Фуше обычный его страх: вдруг он окажется не в большинстве. Террористы побеждены — зачем оставаться террористом? Лучше быстро перебраться к умеренным, к Дантону и Демулену, требующим теперь «милостивого трибунала», быстро приспособиться к новому направлению ветра. Внезапно, 6 февраля, он приказывает прекратить картечные расстрелы, и только гильотина (о которой он писал в своих памф-

летах, что она работает слишком медленно) нерешительно продолжает свое дело — каких-нибудь две, три головы в день, не больше, — это, конечно, пустяки в сравнении с прежними национальными торжествами на равнине Бротто. Вместо этого он сразу направляет всю свою энергию против радикалов, против устроителей его оргий и исполнителей его приказов; революционный Савл превращается в гуманного Павла. Он попросту переходит на сторону противников, объявляет друзей Шалье «средоточием анархии и мятежей» и скоропалительно распускает десяток-другой революционных комитетов. И вот происходит что-то чрезвычайно странное: встревоженное, до смерти напуганное население Лиона вдруг видит в герое картечных расстрелов Фуше своего спасителя. А лионские революционеры пишут одно свирепое послание за другим, обвиняя его в снисходительности, в предательстве и «угнетении патриотов».

В этих отважных превращениях, в этих наглых переходах среди бела дня в другой лагерь, в этих перебежках к победителю — секрет методов борьбы Фуше. Только они спасли ему жизнь. Если в Париже его обвинят в слишком большой снисходительности, он укажет на тысячи могил и на разрушенные лионские здания. Если его обвинят в кровожадности — он сошлется на жалобы якобинцев, обвиняющих его в «модернизме»\*, в излишней снисходительности; он может, в зависимости от направления ветра, вытащить из правого кармана доказательство своей неумолимости, или из левого — гуманности; он может выступить в роли палача Лиона и в роли его спасителя. И действительно, этот ловкий фокус дал ему возможность свалить всю ответственность за бойню на шею своего более искреннего, прямолинейного коллеги Колло д'Эрбуа.

Однако ему удается обмануть лишь более поздние поколения: неумолимо бодрствует в Париже враг — Робеспьер, не

---

\*Термин, которым деятели «горы» обозначали требования умеренности в терроре, выставляемые жирондистами и сторонниками Дантона. — *Примеч. пер.*

простивший Фуше того, что он вытеснил из Лиона его ставленника Кутона. Он знает по Конвенту этого двуязычного депутата, зорко следит за всеми превращениями и перебежками Фуше, торопящегося теперь укрыться от грозы. Но у недоверия Робеспьера — железные когти: от них не спрячешься. Двенадцатого жерминаля он заставляет Комитет общественного спасения выпустить грозный декрет, повелевающий Фуше немедленно явиться в Париж и дать отчет о лионских происшествиях. Творивший в течение трех месяцев суд и расправу должен теперь сам предстать перед судом.

Перед судом? За что? За то, что он за три месяца казнил две тысячи французов? Быть может, его будут судить как коллегу Карьера и других массовых палачей? Только в этот момент можно познать политическую гениальность последнего, поражающе наглого поворота Фуше: нет, он должен оправдаться в том, что подавил «*Société populaire*», что преследовал якобинских патриотов. «*Mitrailleur de Lyon*», палач двух тысяч жертв, обвиняется — незабываемый исторический фарс! — в самом благородном преступлении, известном человечеству: в излишней гуманности.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

## БОРЬБА С РОБЕСПЬЕРОМ

1794

3 апреля Жозеф Фуше узнает, что Комитет общественного спасения требует его для отчета в Париж, 5-го — он садится в дорожную карету. Шестнадцать глухих ударов сопровождают его отъезд, шестнадцать ударов гильотины, в последний раз работающей по его приказанию. И еще два самых последних приговора торопливо приводятся в исполнение в этот день, два очень странных приговора, ибо кто же эти спасшиеся от великого избиения граждане, которые (по шутливому выражению

эпохи) «выплюнут в тот день свои головы в корзину», кто же они? Лионский палач и его помощник. Те самые, которые с одинаковым равнодушием гильотинировали по приказу реакции Шалье и его друзей, а по приказу революции сотни реакционеров, теперь дождались и своей очереди попасть под нож. При самом искреннем желании из судебных протоколов не выяснить, в чем они обвинялись: вероятно, они были принесены в жертву, чтобы некому было рассказать преемникам Фуше и грядущим поколениям о лионских событиях. Мертвые хранят молчание.

Карета помчалась. У Фуше есть о чем поразмыслить по дороге в Париж. Все же, — утешает он себя, — еще ничего не потеряно: у него много влиятельных друзей в Конвенте, прежде всего Дантон — великий противник Робеспьера: быть может, все же удастся держать это страшилище в постоянном страхе. Но откуда знать ему, что в эти роковые часы революции события катятся намного быстрее колес почтовой кареты? Что вот уже два дня, как его близкий друг Шомет сидит в тюрьме, что громадная львиная голова Дантона вчера положена Робеспьером на плаху, что в тот же день Кондорсе, духовный вождь правых, бродит голодный в окрестностях Парижа и на следующий день принимает яд, чтобы избежать суда. Всех их свалил один-единственный человек, и как раз этот единственный — его злейший политический противник. Только 8-го числа вечером, добравшись, наконец, до Парижа, он узнает размеры опасности, в объятия которой попал. Бог свидетель, сколь краток был сон проконсула Жозефа Фуше в эту первую ночь в Париже.

На следующее утро Фуше прежде всего отправляется в Конвент и с нетерпением ожидает начала заседания. Но странно, — большой зал не наполняется; половина, если не больше, скамей пуста. Разумеется, многие депутаты могли отправиться исполнять поручения Конвента или по каким-либо другим делам, но все же — какая зияющая пустота там, справа, где сидели вожди жирондистов, блестящие ораторы революции!

Куда они исчезли? Двадцать два самых отважных, среди них — Верньо, Бриссо, Петсион — погибли на эшафоте, покончили самоубийством или растерзаны волками во время бегства. Шестьдесят три соратника, осмелившиеся их защищать, изгнаны большинством голосов, — одним ударом Робеспьер освободился от сотни своих противников справа. Но не менее энергично его рука поднялась на собственные ряды, на «гору»: Дантон, Демулен, Шабо, Эбер, Фабр д'Энглантин, Шомет и десятка два других — все, восставшие против его воли, против его догматического тщеславия, отправлены им в могилу.

Всех устранил этот невзрачный человек, этот маленький, тощий мужчина с желчным лицом, низким нависшим лбом, маленькими, бесцветными близорукими глазами, долго оставшийся незамеченным за гигантскими фигурами своих предшественников. Но коса времени расчистила ему путь: с тех пор как устранены Мирабо, Марат, Дантон, Демулен, Верньо, Кондорсе, другими словами — трибун, мятежник, вождь, писатель, оратор и мыслитель молодой республики, он, объединив их всех в своем лице, стал Pontifex maximus\*, диктатором и триумфатором. С тревогой смотрит Фуше на своего противника; угодливые депутаты толпятся вокруг него, назойливо выказывая ему знаки почтения, а он с невозмутимым равнодушием принимает их заверения в преданности; защищенный своей «добродетелью», как панцирем, неприступный, непроницаемый, оглядывает этот неподкупный муж своим близоруким взором арену, в гордом сознании, что никто не осмелится восстать против его воли.

Но один все же осмеливается — единственный, которому нечего терять: Жозеф Фуше; он требует слова для оправдания своих лионских мероприятий.

Это желание оправдаться перед Конвентом — вызов Комитету общественного спасения, ибо не Конвент, а Комитет потребовал от него объяснений. Но он обращается к высшей, к

---

\* Верховный жрец (лат.).

надлежащей инстанции, к собранию нации. Смелость этого требования очевидна. Однако президент дает ему слово. Ведь Фуше не первый попавшийся: слишком часто произносили его имя в этом зале, еще не забыты его заслуги, его донесения, его деяния. Фуше поднимается на трибуну и делает обстоятельный доклад. Собрание выслушивает, не прерывая его, не выказывая ни одобрения, ни порицания. Но кончилась речь, и никто не пошевелился. Ибо Конвент напуган. Год работы гильотины лишил этих людей мужества. Некогда свободно отдававшиеся своим убеждениям, как порывам страсти, смело бросающиеся в битву слов и мнений, — все они теперь не любят высказываться. С тех пор как палач, словно Полифем, вторгся в их ряды, хватая людей и справа и слева, с тех пор как гильотина мрачной тенью стоит за каждым их словом, они предпочитают молчать. Каждый прячется за другого, каждый бросает взгляды то направо, то налево, прежде чем сделать малейшее движение, страх, подобно гнетущему туману, кладет серый отпечаток на их лица; ничто так не унижает людей, в особенности толпу людей, как страх перед незримым.

И на этот раз они не осмеливаются высказать своего мнения. Лишь бы не вторгаться во владения Комитета, этого незримого трибунала! Оправдательная речь Фуше не принимается, но она и не отвергается — ее пересылают на рассмотрение Комитету. Другими словами, она причаливает к тому берегу, который Фуше так тщательно старался обойти. Его первая битва проиграна.

Теперь и его обуял страх. Он слишком далеко забрел, не зная местности: лучше быстро пуститься в обратный путь. Лучше капитулировать, чем вступать в единоборство с могущественным вождем. И вот Фуше в раскаянии преклоняет колени, склоняет голову. В тот же вечер он отправляется на квартиру Робеспьера, чтобы высказаться или, говоря откровенно, просить прощения. Никто не присутствовал при этом разговоре. Известен лишь его результат, но по аналогичному посещению, с жуткой выпуклостью описанному в мемуарах

Барраса, можно его вообразить. Прежде чем подняться по деревянной лестнице маленького дома на улице Сент-Оноре, где Робеспьер выставляет напоказ свою добродетель и свою нищету, Фуше должен подвергнуться допросу хозяев, оберегающих своего бога и жильца, как священную добычу. Вероятно, Робеспьер принял его, как и Барраса, в тесной, тщеславно украшенной лишь его собственными портретами комнате, не пригласив сесть, стоя, холодно, с нарочито оскорбительным высокомерием, как жалкого преступника. Ибо этот муж, страстно влюбленный в добродетель, столь же страстно и порочно влюбленный в собственную добродетель, не знает пощады и прощения для человека, когда-то державшегося иных взглядов, чем он. Нетерпимый и фанатичный, Савонарола разума и «добродетели», он отвергает всякое соглашение, не признает даже капитуляции своего противника; даже там, где политика властно требует соглашения, ненавистное упорство и догматическая гордость не позволяют ему уступить. Что бы ни говорил тогда Фуше Робеспьеру и что бы ни ответил ему судья, одно несомненно: его встретили не добром, а уничтожающим, беспощадным выговором, неприкрытой холодной угрозой, смертным приговором *en effigie*. И возвращаясь по улице Сент-Оноре, дрожа от гнева, униженный, отвергнутый, обреченный, Жозеф Фуше понял, что с этой поры есть лишь одно спасенье для его головы: голова Робеспьера должна раньше свалиться в корзину, чем его собственная. Война не на жизнь, а на смерть объявлена. Поединок между Робеспьером и Фуше начался.

Этот поединок Робеспьера и Фуше — один из самых интересных, самых волнующих психологических эпизодов в истории революции. Оба незаурядно умные, оба политики, они все же оба — вызванный и вызывающий — впадают в общую ошибку: они недооценивают друг друга, полагаясь на старое знакомство. Для Фуше Робеспьер все еще измученный, тощий провинциальный адвокат, забавлявшийся с ним вместе шутками в арасском клубе, фабриковавший слащавые стишки в

духе Грекура\* и впоследствии утомлявший Национальное собрание 1789 года своим пустословием. Фуше слишком поздно заметил или, быть может, вовсе не заметил, как в результате упорной, непрерывной работы над собой и воодушевления своей задачей Робеспьер из демагога превратился в государственного деятеля, из ловкого интригана — в прозорливого политика, из краснбая — в оратора. Ответственность большей частью возвышает человека, и Робеспьер вырос от сознания важности своей миссии, ибо среди жадных барышников и крикунов он чувствует, что судьба сделала спасение республики задачей его жизни. Осуществление своего представления о республике, о революции, нравственности и даже божестве считает он своей святой миссией перед человечеством. Эта непреклонность Робеспьера является и красотой и слабостью его характера. Ибо, опьяненный собственной неподкупностью, околдованный своей догматической твердостью, он всякое инакомыслие считает не разногласием, а предательством, и ледяной рукой инквизитора отправляет каждого противника, как еретика, на современный костер — гильотину. Нет сомнения: великая, чистая идея воодушевляет Робеспьера 1794 года. Вернее сказать, она его не воодушевляет, она застыла в нем. Она не может покинуть его, так же как и он ее (судьба всех догматических душ), и это отсутствие заражающей теплоты, увлекающей человечности лишает его поступки истинно созидательной силы. Его мощь только в упорстве, его сила — в непреклонности: диктатура стала для него смыслом и формой жизни. Он должен наложить на революцию отпечаток своей личности или погибнуть.

Такой человек не терпит противоречий, не терпит несогласия, не терпит даже соратников, а тем более противников. Он выносит лишь людей, отражающих его собственные воззрения, пока они остаются рабами его духа, как Сен-Жюст и Кутон; всех остальных неумолимо вытесняет его перенасы-

---

\* Французский поэт начала XVIII века, известный преимущественно своими фривольными стихами. — *Примеч. пер.*



щенный щелочью желчный темперамент. Но горе тем, кто не только не разделял его воззрений (он и этих преследовал), но и сопротивлялся его воле или же сомневался в его непогрешимости. Именно этим и провинился Жозеф Фуше. Он никогда не спрашивал у него совета, никогда не сгибал спины перед бывшим другом, он сидел на скамьях его врагов, смело перешагнул поставленные Робеспьером границы среднего, осторожного социализма, проповедуя коммунизм и атеизм. Но до сих пор Робеспьер не интересовался им всерьез, Фуше казался ему слишком незначительным. В его глазах этот депутат остался скромным монастырским преподавателем, которого он помнил еще в сутане, знал как жениха своей сестры, как ничтожного мелкого честолюбца, изменившего Богу, невесте и всем убеждениям. Он ненавидит его, как может непоколебимость ненавидеть гибкость, непреложность — погоню за успехом, религиозная натура — богохульника; но эта ненависть была направлена до сих пор не на личность Фуше, а лишь на породу, представителем которой он был. Робеспьер высокомерно пренебрегал им до этих пор: зачем трудиться из-за интригана, которого можно раздавить каждую минуту? Робеспьер до сих пор наблюдал за Фуше, но не боролся с ним всерьез лишь потому, что так долго его презирал.

Только теперь оба замечают, как недооценивали они друг друга. Фуше видит огромную силу, приобретенную Робеспьером за время его отсутствия; все подвластно ему: армия, полиция, суд, комитеты, Конвент и якобинцы. Побороть его невозможно. Но Робеспьер принудил его к борьбе, и Фуше знает, что погибнет, если не победит. Всегда великое отчаяние порождает великую силу, и вот он, в двух шагах от пропасти, с мужеством отчаяния набрасывается на преследователя, как затравленный олень на охотника.

Первые враждебные шаги делает Робеспьер. Пока он собирается лишь проучить выскочку, предостеречь, дать пинок ногой. Как предлогом, он воспользовался своей знаменитой речью 6 мая, призывавшей все духовенство республики «при-

знать высшее существо и бессмертие как основу вселенной». Никогда Робеспьер не произносил речи прекраснее, вдохновеннее той, которую он будто бы написал на вилле Жан-Жака Руссо: здесь догматик становится почти поэтом, туманный идеалист — мыслителем. Отделить веру от неверия и в то же время от суеверия, создать религию, возвышающуюся, с одной стороны, над обычным для христианства обоготворением изображений и, с другой — над пустым материализмом и атеизмом, сохранить таким образом середину, которой он всегда пытается придерживаться в духовных вопросах, — вот основная идея его обращения, обнаруживающего, несмотря на напыщенную фразеологию, искреннюю нравственность и страстное стремление возвысить человечество. Но даже витая в высоких сферах, этот идеолог не сумел освободиться от политики, даже в эти вневременные мысли его желчная, угрюмая злоба привносит личные нотки. Враждебно вспоминает он о мертвых, которых сам толкнул на гильотину, и издевается над жертвами своей политики, Дантоном и Шометом, как над презренными образцами безнравственности и богохульства. И вдруг он обрушивает сокрушительный удар на единственного проповедника атеизма, пережившего его гнев, — на Жозефа Фуше: «Поведай нам, кто дал тебе миссию возвестить народу, что Бога нет! Чего хочешь ты достигнуть, убеждая людей, что слепая сила определяет их судьбу, случайно карая то добродетель, то порок, и что душа не что иное, как слабое дыхание, угасающее у врат могилы! Несчастный софист, кто дает тебе право вырвать у невинности скипетр разума, чтобы доверить его рукам порока? Набросить траурное покрывало на природу, сделать несчастье еще отчаяннее, преступление — безвинным, затемнить добродетель и унижить человечество!.. Только преступник, презренный для самого себя и отвратительный для всех других, способен верить тому, что лучшее, чем может нас одарить природа, — это ничто».

Бесконечные аплодисменты награждают блестящую речь Робеспьера. Конвент сразу чувствует себя освобожденным от

мелочности повседневных споров и единогласно принимает решение устроить предложенное Робеспьером торжество в честь высшего существа. Один Жозеф Фуше хранит молчание и кусает губы. Такой триумф противника вынуждает к молчанию. Он знает, что публично не может состязаться с этим мастером риторики. Безмолвный, бледный, он принимает в открытом собрании эту пощечину, внутренне решая отомстить, отплатить за нее.

Несколько дней, несколько недель о Фуше ничего не слышно. Робеспьер полагает, что он устранен: пинка ногой было достаточно для наглеца. Но если Фуше незрим, если его голос не слышен, значит, он ведет подпольную работу, упорно, планомерно, как крот. Он посещает комитеты, заводит новые знакомства среди депутатов, он любезен, обязателен с каждым в отдельности и каждого старается перетянуть на свою сторону. Больше всего он вращается среди якобинцев, где ловкое, гибкое слово имеет большое значение и где милостиво относятся к его лионским подвигам. Никто не знает точно, к чему он стремится, какие у него намерения, что предпримет этот суетливый, шныряющий, повсюду протягивающий нити невзрачный человек.

И внезапно все разъясняется, — неожиданно для всех и неожиданнее всего для Робеспьера: ибо 18 прериаля громадным большинством голосов Жозеф Фуше избирается президентом Якобинского клуба.

Робеспьер насторожился: этого ни он, ни кто-либо другой не ожидал. Теперь лишь он дает себе отчет, сколь хитрого, сколь смелого противника он обрел в лице Фуше. Вот уже два года не было случая, чтобы человек, публично им задетый, отважился защищать свои права. Все они быстро исчезали, лишь только его взор останавливался на них; Дантон скрылся в своем имении, жирондисты рассеялись по провинциям, остальные сидели дома и не подавали голоса. И этот наглец, которого он в открытом собрании заклеил как нечистоплотного человека, теперь спасается в алтаре, в святыне револю-

ции, в Якобинском клубе, и добивается там самого высокого назначения, которое может получить патриот? Ведь не следует забывать в самом деле, какую громадную моральную мощь приобрел этот клуб как раз в последний год революции. Пробу самой высокой, самой чистой полноценности патриота ставит Якобинский клуб, удостаивая званием члена клуба, но кого он изгоняет, кого он порицает, — тот заклеивает, как кандидат на плаху. Генералы, народные вожди, политики, — все они склоняют голову перед этим судом, как перед высшей, непогрешимой инстанцией гражданского чувства. Члены клуба являются как бы преторианцами революции, лейб-гвардией, стражей храма. И эти преторианцы, эти строжайшие, честнейшие, непреклоннейшие республиканцы избрали Жозефа Фуше своим вождем! Гнев Робеспьера безграничен. Ибо среди бела дня этот негодяй ворвался в его царство, в его владения, туда, где он сам обвиняет своих врагов, где он закаляет собственную силу в избранном кругу. И теперь, собираясь произнести речь, он должен будет просить разрешения у Жозефа Фуше, он, Максимилиан Робеспьер, должен будет подчиниться хорошему или дурному настроению Жозефа Фуше?

Тотчас же он напрягает все свои силы. Это поражение требует кровавого возмездия. Долой его немедленно, — не только с кресла президента, но и из общества патриотов! Он сейчас же натравливает на Фуше нескольких лионских граждан, возбуждающих против него обвинение, и когда застигнутый врасплох, всегда беспомощный в открытой ораторской борьбе Фуше неловко защищается, он сам берет слово и угоривает якобинцев, чтобы они «не дали обмануть себя жуликам». Этим первым ударом ему почти удастся свалить Фуше. Но пока он все же обладает полномочиями президента и благодаря этому может своевременно прекратить дебаты. Бесславно обрывает он прения и возвращается во мрак, чтобы подготовить новое нападение.

Теперь Робеспьер осведомлен. Он понял метод борьбы Фуше; он знает, что этот человек не вступает в поединок, но

всегда обращается в бегство и тайно, в тени, подготавливает нападение с тыла. Недостаточно отразить и отбить нападение такого упорного интригана; его нужно преследовать до последнего прикрытия и раздавить ногой. Необходимо его задуть, обезвредить окончательно и навсегда.

Поэтому Робеспьер нападает вторично. Он повторяет свое обвинение перед якобинцами и требует присутствия Фуше на следующем заседании для объяснений. Фуше, разумеется, избегает этого. Он знает свою силу, знает и свою слабость, он не желает доставить Робеспьеру радость публичного торжества, не желает перенести открытое унижение в присутствии трех тысяч человек. Лучше пока скрываться в темноте, лучше быть пока побежденным и выиграть время, драгоценное время! Поэтому он вежливо пишет якобинцам, что, к сожалению, должен уклониться от публичных объяснений; он просит якобинцев отложить суд, пока оба комитета не придут к соглашению в оценке его поступков.

На это письмо Робеспьер набрасывается, как на добычу. Именно теперь необходимо схватить, окончательно уничтожить Жозефа Фуше. Речь против Жозефа Фуше, произнесенная им 23 мессидора (11 июня), — это самое ожесточенное, самое грозное и желчное нападение Робеспьера на своего противника.

Первые же слова показывают, что Робеспьер стремится не только поразить своего врага, но и сразить его, не только унижить, но и уничтожить. Он начинает с притворным спокойствием. Вступление еще довольно снисходительно, он говорит, что «индивидуум» Фуше его не интересует:

«Я, быть может, когда-то был с ним до известной степени связан, так как считал его патриотом, и не его былые преступления заставляют меня теперь выступить с обвинением, а опасение, что он скрывается для совершения новых, и уверенность, что он является главой заговора, который мы должны уничтожить. Вдумавшись в только что оглашенное письмо, я должен сказать, что оно написано человеком, не желающим

оправдаться перед своими согражданами, когда ему предъявлено обвинение. Этим положено начало системе тирании, ибо кто не желает оправдаться перед народным собранием, членом которого он состоит, тот оскорбляет авторитет этого народного собрания. Удивительно, что тот, кто прежде домогался одобрения нашего общества, теперь перед лицом обвинения пренебрегает им и чуть ли не обращается в Конвент за помощью против якобинцев». И вот внезапно прорывается личная ненависть Робеспьера, даже внешнее уродство Фуше он использует как желанный повод к уничтожению врага. «Неужели он боится, — продолжает издеваться Робеспьер, — глаз, ушей народа, боится, что жалкий вид явно будет свидетельствовать о его преступлениях? Что шесть тысяч обращенных на него глаз прочтут в его взоре всю душу, хотя природа и наделила его коварной скрытностью? Не боится ли он, что его речь обнаружит смущение и противоречиями выдаст виновного? Всякий благоразумный человек должен признать, что страх — единственное основание его поведения; каждый избегающий взоров своих сограждан — виновен. Я призываю Фуше к ответу. Пусть он защищается и скажет, кто из нас достойнее пользовался правами народного представителя и кто из нас мужественнее уничтожал партийные раздоры». Он называет Фуше «низким и презренным обманщиком», поведение которого равнозначно признанию вины, коварно намекает на «тех, чьи руки полны добычей и преступлениями», и кончает грозными словами: «Фуше достаточно охарактеризовал себя, я высказал эти замечания лишь для того, чтобы раз навсегда дать понять заговорщикам, что они не ускользнут от бдительности народа». Хотя эти слова предвещают смертный приговор, но собрание все же слушается Робеспьера. И без промедления оно изгоняет своего прежнего президента, как недостойного, из клуба якобинцев.

Теперь Фуше отмечен для гильотины, как дерево для рубки. Исключение из клуба якобинцев — это клеймо; обвинение Робеспьера, и к тому же столь озлобленное, — это приговор.

Фуше среди белого дня завернут в саван. Каждый ежечасно ждет его ареста, и больше всех он сам. Уже давно он не ночует в своей постели, опасаясь, что за ним, как за Дантоном, как за Демуленом, явятся ночью жандармы. Он прячется у некоторых храбрых друзей — ибо надо обладать мужеством, чтобы дать убежище опальному, мужеством даже для того, чтобы открыто с ним разговаривать. За каждым его шагом следит руководимая Робеспьером полиция Комитета общественного спасения и доносит о его знакомствах, его свиданиях. Он незримо окружен, все его движения связаны, он уже положен под нож.

В самом деле: ни один из семисот депутатов не находится в такой опасности, как Фуше; у него нет пути к спасению. Он еще раз попробовал кое-где найти помощь: прежде всего у якобинцев, — но суровый кулак Робеспьера лишил его этой поддержки, теперь голова точно чужая сидит на его плечах. Ибо чего он может ждать от Конвента, от этого трусливого, запуганного стада овец, терпеливо блеющего свое «да», когда Комитет хочет отправить на гильотину кого-нибудь из их среды? Они без сопротивления выдали революционному трибуналу всех вождей — Дантона, Демулена, Верньо, лишь бы сопротивлением не привлечь к себе излишнего внимания. Почему же Фуше должен избежать этой участи? Безмолвно, боязливо, смущенно сидят на своих скамьях эти некогда столь храбрые и страстные депутаты. Отвратительный, разрушающий нервы, разлагающий душу яд страха парализует их волю.

Но — это остается вечной тайной яда, — он обладает и целебными свойствами, если искусно очистить и соединить воедино скрытые в нем силы. И здесь — как это ни парадоксально — именно страх перед Робеспьером может стать спасением от Робеспьера. Нельзя простить человека, непрерывно, неделями, месяцами заставляющего трепетать от страха, терзающего душу неизвестностью и парализующего волю: никогда человечество или часть его — отдельная группа — не могут долго выносить диктатуру одного человека, не проникаясь

ненавистью к нему. И эта ненависть укрощенных сказывается подземным брожением во всех кругах. Пятьдесят, шестьдесят депутатов, не осмеливающихся, подобно Фуше, ночевать дома, кусают губы, когда Робеспьер проходит мимо них, многие сжимают кулаки за его спиной, аплодируя его речам. Чем беспощаднее, чем дольше властвует «Неподкупный», тем больше растет возмущение против его сверхмощной воли.

Все мало-помалу оказываются задетыми и обиженными, — правое крыло тем, что он бросил в корзину головы крайних радикалов, Комитет общественного спасения тем, что он навязывает ему свою волю, купцы тем, что он угрожал их благосостоянию, честолюбцы тем, что он им закрывал дорогу, завистливые тем, что он властвует, и миролюбивые тем, что он не заключает с ними союза. Если бы удалось собрать в единую волю эту стоглавую ненависть, их разливающийся всюду страх превратить в кинжал, острие которого пронзило бы грудь Робеспьера, они были бы все спасены — Фуше, Баррас, Тальен и Карно, — все его тайные враги. Но чтобы добиться этого, нужно прежде всего внушить большинству этих слабохарактерных людей, что Робеспьер угрожает их жизни; нужно внушить еще больший ужас и большее недоверие, искусственно повысить напряжение, порожденное его деятельностью. Нужно, чтобы остальные еще сильнее ощутили удушающее своей неопределенностью впечатление от мрачных речей Робеспьера, нужно еще увеличить ужас и страх, — тогда, быть может, масса обрела бы достаточно мужества для нападения на этого человека.

Тут начинается настоящая деятельность Фуше. С раннего утра до поздней ночи он крадется от одного депутата к другому, нашептывает о новых тайных проскрипционных списках, подготовливаемых Робеспьером. И каждому в отдельности он поверяет: «Ты в списке», или: «Ты назначен в следующую партию». И действительно, постепенно распространяется незримый панический страх, ибо в глазах этого Катона, в глазах его абсолютной неподкупности, немногие депутаты имеют



вполне чистую совесть. Быть может, один из них был несколько неосторожен в обращении с деньгами, другой когда-нибудь противоречил Робеспьеру, третий слишком много времени посвящал женщинам (все это преступления в глазах республиканского пуританина), четвертый, быть может, когда-то был дружен с Дантоном или с кем-нибудь другим из ста пятидесяти осужденных, пятый приютил у себя отмеченного печатью смерти, шестой, пожалуй, получил письмо от эмигранта. Короче говоря, каждый трепещет, каждый считает нападение на него возможным, все чувствуют себя недостаточно чистыми, чтобы вполне удовлетворить чрезмерно строгим требованиям, предъявляемым Робеспьером к гражданской добродетели. И Фуше продолжает перебегать, как шпулька веретена, от одного к другому, протягивая новые нити, завязывая новые петли, все больше захватывая, обволакивая депутатов этой паутиной недоверия и подозрительности. Но затеянная им игра опасна, ибо он плетет лишь паутину — и одно резкое движение Робеспьера, одно предательское слово может разорвать всю сеть.

Эта таинственная, отчаянная, опасная и закулисная роль Фуше в заговоре против Робеспьера недостаточно подчеркнута в большинстве работ, посвященных изображению этой эпохи, а в поверхностных работах имя Фуше даже не упоминается. История почти всегда пишется только на основании внешних фактов, и изобразители тех тревожных дней описывают обычно только драматический патетичный жест Тальена, размахивающего на трибуне мечом, который он собирается вонзить в свою грудь, резкую энергию Барраса, организующего отряды, обвинительную речь Бурдона; они, короче говоря, описывая действующих лиц, актеров большой драмы, разыгравшейся 9 термидора, не замечают Фуше. И действительно, в этот день он не появлялся на сцене Конвента; его работа, более трудная, протекала за кулисами, — это была работа режиссера, руководителя актеров в этой смелой, опасной игре. Он распределил сцены, разучил с актерами роли, где-то в тени прорепетировал

их и, оставаясь во тьме, в своей родной сфере, подавал реплики. Но если позднейшие историки не заметили его роли, все же один человек уже тогда ощутил его действительное присутствие, — то был Робеспьер, назвавший его среди белого дня настоящим именем: «*Chef de la conspiration*» — главой заговора.

Этот недоверчивый, подозрительный ум отгадывает, что в тиши составляется заговор против него. Он замечает это по внезапно вспыхнувшему сопротивлению комитетов и еще яснее, быть может, по чрезмерной вежливости и покорности иных депутатов — его несомненных врагов. Робеспьер чувствует, что готовится какой-то удар в спину, он знает руку, которая его нанесет, руку *Chef de la conspiration*, и принимает меры. Осторожно он выпускает свои щупальца: собственная полиция, частные шпионы доносят Робеспьеру шаг за шагом каждый выход, каждую встречу, каждый разговор Тальена, Фуше и других заговорщиков; анонимные письма предостерегают его или советуют немедленно объявить себя диктатором и уничтожить врагов, раньше чем они объединятся. Для того чтобы их смутить и обмануть, он вдруг надевает личину равнодушия к политической власти.

Он больше не появляется ни в Конвенте, ни в Комитете. Сжав губы, он одиноко бродит со своим ньюфаундлендом и с книгой в руках; его встречают на улицах или в окрестных лесах, увлеченного своими излюбленными философами, по видимому равнодушного к власти и могуществу. Но вечером, возвращаясь в свою комнату, он работает часами над подготовкой большой речи. Бесконечно долго работает он над ней, — по рукописи видно, сколько он сделал изменений и добавлений, — эта большая, решающая речь, которой он хочет сразу уничтожить всех своих врагов, должна быть неожиданной и острой как нож, она должна быть плодом ораторского вдохновения, сверкать умом и отточенной ненавистью. С этим оружием в руках он хочет застать врагов врасплох, прежде чем они соберутся и сговорятся. Но лезвие все еще кажется ему недостаточно острым, недостаточно ядовитым, и долгие, драгоценные дни проходят за этой жуткой работой.

Но больше нельзя терять времени, ибо все шпионы доносят о тайных собраниях. 5 термидора в руки Робеспьера попадает письмо Фуше, адресованное его сестре и содержащее таинственные слова: «Мне нечего бояться клеветы Максимилиана Робеспьера... скоро ты услышишь об исходе этого дела, которое, как я надеюсь, кончится в пользу республики». Итак — скоро: Робеспьер предупрежден. Он призывает к себе своего друга Сен-Жюста и запирается с ним в тесной мансарде на улице Сент-Оноре. Там выбирается день и способ нападения, 8 термидора Робеспьер должен изумить и разбить Конвент своей речью. А 9-го Сен-Жюст выступит с требованием казни его врагов, казни строптивых членов Комитета, а главное — казни Жозефа Фуше.

Напряжение становится почти невыносимым, заговорщики также чувствуют сверкание молний за тучами. Но они все еще медлят напасть на сильнейшего мужа Франции, на могущественнейшего человека, завладевшего всей мощью, сосредоточившего в своих руках управление городом и армией, якобинцами и народом и обладающего славой и силой незапятнанного имени. Они все еще не чувствуют в себе достаточной уверенности, они все еще недостаточно многочисленны, недостаточно решительны, недостаточно смелы, чтобы в открытой борьбе схватиться с этим гигантом революции; иные уже осторожно поговаривают об отступлении и примирении. Заговор, с трудом склеенный, грозит развалиться.

В этот миг судьба — самый гениальный поэт — бросает решающую гирию на колеблющуюся чашу весов. Именно Фуше предопределено взорвать мину. Ибо в эти дни, отчаянно затравленный всеми гончими, ежечасно чувствующий угрозу гильотины, он, помимо своих политических невзгод, переживает еще одно великое несчастье. Суровый, холодный, коварный и замкнутый в делах общественных и в политике, этот удивительный человек превращается дома в трогательнейшего супруга, нежного семьянина. Он страстно любит свою исключительно некрасивую жену и особенно маленькую дочку,

родившуюся в период проконсульства, которую он сам окрестил на рыночной площади Невера, дав ей имя Ниевр. Это маленькое, нежное, бледное дитя, его любимица, внезапно тяжело заболевает в эти дни термидора, и к заботе о собственной жизни присоединяется новая грозная забота о жизни дочери. Суровое испытание: он знает, как опасна болезнь для немощного, слабогрудого ребенка, оставшегося на попечении матери, и не может из-за преследований Робеспьера проводить ночи у постели смертельно больной девочки, он должен прятаться в чужих квартирах и мансардах. Вместо того чтобы ухаживать за ней, прислушиваясь к ее прерывистому дыханию, он должен поспешно перебежать от одного депутата к другому, лгать, умолять, угрожать, защищая собственную жизнь. Измученный душой, с разбитым сердцем, без устали бродит несчастный в эти знойные июльские дни (много лет не было таких жарких) по политическим задворкам и не может быть свидетелем страданий своего угасающего любимого ребенка.

5 или 6 термидора этому испытанию положен конец. Фуше провожает на кладбище маленький гробик: ребенок умер. Такие испытания ожесточают. После смерти ребенка ему не страшна собственная смерть. Новая, порожденная отчаянием отвага укрепляет его волю. И пока заговорщики еще медлят и стараются отложить борьбу, Фуше, которому больше нечего терять на земле, кроме собственной жизни, произносит решительные слова: «Завтра должен быть нанесен удар». Это слово сказано 7 термидора.

И вот наступает утро 8 термидора — великого исторического дня. Уже с раннего утра безоблачный июльский зной давящей тяжестью ложится на спокойный город. Только в Конвенте царит раннее и необычное волнение: депутаты шепчутся по углам; в кулуарах и на трибунах невиданное множество чужих и любопытных лиц. Таинственность и напряжение призраком бродят по залу, ибо неведомым путем распространилась весть, что сегодня Робеспьер будет разделяться со своими

врагами. Может быть, кто-нибудь подслушал и подсмотрел, как Сен-Жюст вечером выходил из запертой на ключ комнаты, а Конвент слишком хорошо знает последствия этих тайных совещаний. Или Робеспьер узнал каким-нибудь другим образом о военных планах своих противников?

Все заговорщики, все, стоящие под угрозой, боязливо вглядываются в лица своих коллег: выдал ли кто-нибудь опасную тайну и кто именно мог это сделать? Предупредит ли их Робеспьер, или они раздавят его раньше, чем он заговорит? Обречет их или защитит «болото», — это неустойчивое, трусливое большинство? Каждый колеблется и трепещет. И беспокойство, как духота свинцового неба над городом, зловещей тяжестью ложится на собрание.

И действительно: едва открылось заседание, Робеспьер просит слова. Торжественно, как в день прославления верховного существа, облачился он в исторический небесно-голубой костюм и белые шелковые чулки; медленно, с нарочитой торжественностью, он поднимается на трибуну. На этот раз, однако, он держит в руках не факел, а сжимает — словно ликтор рукоятку топора — объемистый сверток: свою речь. Найти в этих свернутых листках свое имя — означает гибель для каждого; поэтому мгновенно прекращается болтовня и шепот на скамьях. Из сада и кулуаров торопятся депутаты занять свои места. Каждый со страхом вглядывается в слишком хорошо знакомое худое лицо. Но ледяной, замкнутый, непроницаемый для любопытных взглядов Робеспьер медленно разворачивает свою речь. Прежде чем опустить на бумагу свои близорукие глаза, он, чтобы усилить напряжение, оглядывает словно загипнотизированное собрание справа налево и слева направо, снизу доверху и сверху донизу, медленно, холодно и грозно. Вот они сидят, — его немногочисленные друзья, целый ряд колеблющихся и трусливая свора заговорщиков, ожидающая своей гибели. Он смотрит им в глаза! Только одного он не видит. Единственный человек отсутствует в этот решающий час: Жозеф Фуше.

Но удивительно: только имя отсутствующего, только имя Жозефа Фуше упоминается в прениях. И как раз в связи с его именем разгорается последняя решительная битва.

Робеспьер говорит долго, растянуто и утомительно: по старой привычке он размахивает ножом гильотины, не называя имен, упоминает о заговорах и конспирациях, о недостойных и преступниках, о предателях и кознях, но имен он не называет. Он удовлетворяется тем, что гипнотизирует собрание: смертельный удар должен на следующий день нанести Сен-Жюст. На три часа он растягивает свою неопределенную, местами пустословную речь, и когда он ее заканчивает, собрание скорее утомлено, чем испугано.

Сначала никто не шевелится. Недоумение овладевает всеми. Непонятно — означает ли это молчание поражение или победу: только прения могут решить вопрос.

Наконец один из приверженцев Робеспьера требует, чтобы Конвент постановил отпечатать его речь и тем самым одобрил ее. Никто не возражает. Большинство соглашается — трусливо, рабски, словно облегченно вздыхая, что сегодня не требуют от него большего, не потребуют новых жизней, новых арестов, новых самоограничений. Но вот, в последнюю минуту, встает один из заговорщиков (его имя достойно упоминания — Бурдон де л'Уаз) и возражает против печатания речи. И этот единственный голос развязывает языки другим. Трусость постепенно нарастает и сгущается в мужество отчаяния; один за другим обвиняют депутаты Робеспьера в недостаточно ясной формулировке своих обвинений и угроз, — пусть, наконец, выскажется ясно, кого он обвиняет. За четверть часа сцена преобразилась. Обвинитель Робеспьер должен защищаться, он ослабляет впечатление от своей речи вместо того, чтобы усилить его; он поясняет, что никого не обвинял, никого не обличал.

В этот момент вдруг раздается голос, голос одного маленького, незначительного депутата: «Et Fuché?» — «А Фуше?» Имя произнесено, имя человека, которого Робеспьер уже

клеймил однажды как руководителя заговора, предателя революции. Теперь Робеспьер мог бы, должен был бы нанести удар. Но странно, непостижимо странно, — Робеспьер уклоняется: «Я теперь не хочу им заниматься, я подчиняюсь лишь голосу своего долга».

Этот уклончивый ответ Робеспьера — одна из тайн, унесенных им с собой в могилу. Почему он щадит своего злейшего врага, сознавая, что речь идет о жизни и смерти? Почему он не поражает его, почему не нападает на отсутствующего, на единственного отсутствующего? Почему не дает облегченно вздохнуть другим, напуганным, которые, без сомнения, охотно пожертвовали бы Фуше ради собственного спасения? В тот же вечер — так утверждает Сен-Жюст — Фуше еще раз пытался приблизиться к Робеспьеру. Хитрость это или правда? Некоторые очевидцы утверждают, что видели его в эти дни на скамейке в обществе Шарлотты Робеспьер, его бывшей невесты: действительно ли пытался он побудить стареющую девушку замолвить слово за него? Действительно ли, отчаявшись, он для спасения собственной жизни хотел предать заговорщиков? Или он хотел обезвредить Робеспьера и прикрыть заговор видом раскаяния и покорности? Играл ли он, великий сеятель раздоров, и на этот раз, как в тысяче других случаев, крапленными картами? Был ли неподкупный, на этот раз сам стоявший под угрозой, Робеспьер в тот час склонен пощадить самого ненавистного врага ради сохранения своего превосходства? Была ли эта уклончивость в обвинении Фуше признаком тайного соглашения или только уверткой?

Все это неизвестно. Над образом Робеспьера еще теперь, по прошествии стольких лет, витает тень таинственности; никогда история не разгадает до конца этого непроницаемого мужа. Никогда не узнают его последних мыслей: жаждал ли он диктатуры для себя или республики для всех, хотел ли он спасти революцию или стать ее наследником, как Наполеон. Никто не узнал его затаенных мыслей, мыслей его последней ночи — с 8 на 9 термидора.

Ибо это его последняя ночь: в эту ночь назревает решение. В лунном свете душной июльской ночи призрачно отсвечивает гильотина. Чье тело затрепешет завтра под ее холодным лезвием: триумvirата Тальен — Баррас — Фуше или Робеспьера? Никто из шестисот депутатов не ложится в эту ночь, обе партии готовятся к решительной битве. Робеспьер из Конвента бросился к якобинцам; при мерцающем свете восковых свечей, в трепетном волнении он читает им свою отвергнутую Конвентом речь. Еще раз — в последний раз — радуют его бурные рукоплескания, но, полный горьких предчувствий, он не поддается обману, несмотря на то, что три тысячи человек шумно толпятся вокруг него, называя эту речь своим завещанием. Тем временем его хранитель печати Сен-Жюст до зари отчаянно борется с Колло, Карно и другими заговорщиками в Комитете, а в кулуарах Конвента плетется сеть, которая завтра опутает Робеспьера. Дважды, трижды, словно шпулькой в веретене, протягиваются нити справа налево, от партии «горы» к прежней реакционной партии, пока не сплетаются, наконец, в прочный, неразрывный союз. Здесь снова внезапно выплывает Фуше, ибо ночь — его стихия, интрига — его настоящая сфера. Его свинцовое, от страха ставшее белым, как известь, лицо призрачно выделяется в полусвете зал. Он нашептывает, льстит, обещает, он пугает, страшит, грозит одному за другим и не успокаивается, пока союз не заключен. В два часа утра все противники, наконец, сошлись на том, чтобы общими усилиями покончить с Робеспьером. Теперь Фуше может, наконец, отдохнуть.

На заседании 9 термидора Жозеф Фуше тоже не присутствует, но он может отдыхать, ибо дело его сделано, сеть сплетена, и большинство решило не позволить ускользнуть от смерти слишком сильному и опасному противнику. Едва начинается Сен-Жюст, оруженосец Робеспьера, заранее приготовленную смертоносную речь против заговорщиков, как Тальен прерывает его, ибо они сговорились накануне не давать слова ни одному из могучих ораторов, ни Сен-Жюсту, ни



Робеспьеру. Оба должны быть задушены, прежде чем возведут обвинения, и вот, при ловкой поддержке услужливого президента, поднимается на трибуну один оратор за другим, и, когда Робеспьер собирается защищаться, они кричат, орут, стучат, заглушая его голос, — подавленная трусость шестисот нетвердых душ, ненависть и зависть, копившиеся неделями и месяцами, направлены теперь на человека, перед которым каждый из них трепетал. В шесть часов вечера все решено, Робеспьер в опале и отправлен в тюрьму; напрасно его друзья, искренние революционеры, уважающие в нем суровую и страстную душу республики, освобождают его и спасают в ратуше; ночью отряды Конвента штурмуют эту крепость революции, и в два часа утра, через двадцать четыре часа после того, как Фуше и его приверженцы подписали соглашение о его гибели, Максимилиан Робеспьер, враг Фуше, вчера еще могущественнейший муж Франции, лежит окровавленный, с раздробленной челюстью, поперек двух кресел в вестибюле Конвента. Крупная дичь затравлена, Фуше спасен. На следующий день после обеда колесница с грохотом катит к месту казни. Террор пришел к концу, но угас и пламенный дух революции, прошла ее героическая эра. Настает час наследников — авантюристов и любителей наживы, двурушников, спекулянтов, генералов и капиталистов — час нового сословия. Теперь, надо полагать, настанет и час Жозефа Фуше.

Пока колесница везет Максимилиана Робеспьера и его приверженцев по улице Сент-Оноре, по трагической дороге Людовика XVI, Дантона, Демулена и шести тысяч других жертв, собирается ликующая, воодушевленная толпа любопытных. Еще раз казнь стала народным празднеством; флаги развеваются на крышах, радостные приветствия посылаются из окон, волна веселья заливает Париж. Когда падает в корзину голова Робеспьера, гигантская площадь сотрясается от дружного, восторженного ликования. Заговорщики изумлены: почему народ так страстно ликует по поводу казни человека, которому Париж, Франция еще вчера поклонялись, как

Богу? Изумление Тальена и Барраса растет, когда у входа в Конвент бурная толпа народа встречает их восторженными возгласами, как убийц тиранов, как борцов против террора. Они изумлены. Уничтожая этого замечательного человека, они стремились лишь освободиться от неудобного моралиста, слишком зорко следившего за ними, но дать заржаветь гильотине, покончить с террором они не собирались. Видя, однако, что народ теперь не расположен к массовым казням и что они могут снискать себе популярность, украсив месть гуманными мотивами, они быстро решают использовать это недоразумение. Они намерены утверждать, что все насилия революции лежат на совести Робеспьера (ибо он не будет возражать из могилы), что они всегда восставали против суровости и преувеличений, всегда были апостолами милости.

Не казнь Робеспьера, а эта трусливая и лживая позиция его преемников делает день 9 термидора историческим событием мировой важности. Ибо до этого дня революция требовала для себя всех прав, спокойно брала на себя всю ответственность, — с этого же дня робко начинает допускаться возможность ошибок, и вожди отрекаются от нее. Но внутренняя мощь всякой духовной веры, каждого мировоззрения оказывается надломленной в момент отречения от безусловности своих прав, от своей непогрешимости. Жалкие победители Тальен и Баррас, посрамляя трупы своих великих предшественников, Дантона и Робеспьера, как трупы убийц, и робко сядя на скамьи правых, к умеренным, к тайным врагам революции, предают не только историю и дух революции, но и самих себя.

Каждый хочет видеть рядом с собой Фуше — главного заговорщика, злейшего врага Робеспьера. Он, больше всех рисковавший головой, как «*Chef de la Conspiration*», имел бы право на самый сочный кусок добычи. Но удивительно, — Фуше садится не с остальными заговорщиками на скамьи правых, а на свое старое место на «горе», к радикалам — и хранит там молчание. В первый раз (все удивлены) он не на стороне большинства.

Почему так странно поступил Фуше? — спрашивали многие и тогда и позднее. Ответ прост. Потому, что он умнее и дальновиднее других, потому, что он своим превосходным политическим чутьем лучше улавливает положение дел, чем неумные Тальен и Баррас, которых лишь сознание опасности заставило проявить краткосрочную энергию. Фуше, бывший преподаватель физики, знает закон движения, по которому волна не может застыть в неподвижности. Она должна непременно нестись вперед или назад. Если начнется отлив, настанет реакция, она так же не остановится в своем беге, как не останавливалась революция; она так же дойдет до конца, до крайности, до насилия. Тогда наспех сотканный союз порвется, и если реакция победит, то все бойцы революции погибнут. Ибо, когда приходят новые идеи, зловеще меняется оценка деяний вчерашнего дня. То, что вчера считалось республиканским долгом и добродетелью, например, расстрел шестисот человек, ограбление церквей, — будет потом, несомненно, считаться преступлением: вчерашние обвинители завтра превратятся в обвиняемых. Фуше — у него немало грехов на совести — не хочет прослыть участником огромных ошибок других термидорианцев (так называют себя убийцы Робеспьера), боязливо цепляющихся за колесо реакции; он знает — им ничто не поможет: если двинется вперед реакция, она всех унесет с собой. Только ум и предусмотрительность заставляют Фуше остаться левым, остаться верным радикалом, ибо он чувствует, что скоро будут схвачены за горло как раз самые смелые.

И Фуше не ошибся. Чтобы стать любимцами толпы, чтобы доказать свое никогда не существовавшее человеколюбие, термидорианцы приносят в жертву самых энергичных проконсулов, они приговаривают к смертной казни Карье, потопившего шесть тысяч человек в Луаре, Жозефа Лебона, аррасского трибуна, и Фукье-Тенвиля. В угоду правым они возвращают в Конвент семьдесят три исключенных члена жиронды и слишком поздно замечают, что, подкрепляя реакцию, попа-

дают сами в зависимость от нее. Они покорно должны обвинять своих помощников в борьбе против Робеспьера — Бильо-Варрена и Колло д'Эрбуа, коллегу Фуше по Лиону. Все больше угрожает реакция жизни Фуше. На этот раз ему еще удастся спастись трусливым отрицанием своего участия в лионских событиях (хотя он подписывал вместе с Колло каждый декрет) и таким же лживым утверждением, что тиран Робеспьер его преследовал за излишнюю снисходительность. Таким образом этому хитрецу удастся пока обмануть Конвент. Он остается невредимым, в то время как Колло д'Эрбуа отправляется на «сухую гильотину», — иначе говоря, на зараженные лихорадкой острова Вест-Индии, где он погибает через несколько месяцев.

Но Фуше слишком умен, чтобы чувствовать себя спасенным после преодоления этой первой опасности; ему знакома неумолимость политических страстей, он знает, что реакция так же ненасытно пожирает людей, как и революция, пока ей не подпилишь зубы; она не остановится в своей жажде мести, пока последний якобинец не пойдет под суд и не будет разрушена республика. И он видит только одно средство к спасению революции, с которой он неразрывно связан всеми свершенными кровопролитиями: возобновление ее. И он видит один путь к спасению своей жизни: падение правительства. Снова, как шесть месяцев тому назад, он, под давлением угрозы, вступает в отчаянную борьбу против большинства, борьбу за свою жизнь. Всякий раз, когда речь идет о завоевании власти или спасении жизни, Фуше развивает удивительную деятельность. Он понимает, что прямыми путями нельзя удержать Конвент от преследований бывших террористов и остается единственным средством, достаточно испытанное во время революции: террор.

При осуждении жирондистов, при осуждении короля уже применяли запугивание трусливых и осторожных депутатов (среди них был в ту пору еще консервативный Фуше), мобилизуя улицу против парламента, стягивая из предместий ра-

бочие батальоны с их пролетарской силой, с их могущественным воодушевлением и поднимая на ратуше знамя восстания. Почему эту старую гвардию революции, штурмовавшую Бастилию, этих героев 10 августа не использовать в борьбе со струсившим Конвентом, почему не разнести их кулаками превосходные силы противника? Лишь бешеный страх перед мятежом, перед пролетарской злобой мог бы напугать термидорианцев, и Фуше решает разжечь парижское население, разжечь широкие массы и направить их на своих врагов, на своих обвинителей.

Конечно, Фуше слишком осторожен, чтобы лично появиться в предместьях, чтобы говорить там зажигательные речи или, подобно Марату, рискуя жизнью, разбрасывать подстрекательные брошюры среди народа. Он не любит подвергать себя опасности, он избегает ответственности; его мастерство не в громких увлекательных речах, а в нашептывании, в работе исподтишка. И на этот раз он находит подходящего человека, который выступает смело и решительно, прикрывая его своей тенью.

По Парижу бродит в ту пору опальный, угнетенный человек и честный, страстный республиканец, Франсуа Бабеф, именующий себя Гракхом Бабефом. Порывистое сердце, средний ум. Истинный пролетарий, бывший землемер и типограф, он располагает лишь ограниченным запасом примитивных идей, но пропитывает их мужественной страстью и воспламеняет огнем истинно республиканских и социалистических убеждений. Буржуазные республиканцы и даже Робеспьер осторожно обходили социалистические идеи Марата об уравнении имущества; они предпочитали говорить много о свободе, о братстве и гораздо меньше о равенстве, ибо это касалось денег и имущества. Бабеф подхватывает полузабытые мысли Марата, согревает их своим дыханием и выносит, как факел, в пролетарские кварталы Парижа. Это пламя может внезапно вспыхнуть, может за несколько часов поглотить весь Париж, всю страну, ибо народ начинает постигать, что термидорианцы

ради собственных выгод предали их интересы — интересы пролетарской революции.

За спиной Гракха Бабефа действует теперь Фуше. Он не показывается с ним публично рука об руку, но втайне нашептывает ему планы народного восстания. Он подговаривает Бабефа писать зажигательные брошюры и сам корректирует их, ибо он полагает, что трусливый Конвент опомнится, если выступят рабочие, если опять предместья с оружием и барабанным боем двинутся к городу. Только террором, только страхом, только запугиванием можно спасти республику, только энергичным толчком слева можно уравновесить это опасное стремление вправо. И этот отважный, действительно грозный удар он нанесет рукой порядочного, честного, добросовестного, прямодушного человека: можно надежно укрыться за его широкой пролетарской спиной. Бабеф, именующий себя Гракхом и народным трибуном, в свою очередь, чувствует себя польщенным тем, что известный депутат Фуше дает ему советы. Да, это еще последний честный республиканец, — думает Бабеф, — один из тех, кто не покинул скамьи «горы», не заключил союза с *jeunesse dorée*\* и поставщиками армии. Он охотно пользуется советами Фуше и, подталкиваемый в спину его ловкой рукой, набрасывается на Тальена, термидорианцев и правительство.

Но Фуше удается обмануть только этого добродушного и прямолинейного человека. Правительство быстро узнает руку, направившую против него дуло, и в открытом заседании Тальен обвиняет Фуше в том, что он стоит за спиной Бабефа. По обыкновению, Фуше сейчас же отрекается от своего союзника (так же как от Шомета у якобинцев, как от Колло д'Эрбуа в лионских событиях), — Бабефа он знает мало, осуждает его преувеличения, — одним словом, Фуше поспешно отступает. И снова это отречение приносит гибель передовому бойцу. Бабефа арестовывают и расстреливают во дворе казармы

---

\* Золотой молодежью (фр.).

(всегда другой расплачивается жизнью за слова и политику Фуше).

Этот смелый отпор не удался Фуше; он достиг только того, что снова обратил на себя внимание, а это нехорошо. Опять начинают вспоминать Лион и кровавые поля Бротто. Снова с удвоенной энергией реакция ищет обвинителей из провинций, в которых он властвовал. Едва удалось ему с трудом опровергнуть обвинения по поводу Лиона, как заговорили Невер и Кламесси. Все громче, все настойчивее проникают в зал Конвента обвинения Жозефа Фуше в терроре. Он защищается хитро, энергично и довольно успешно; даже Тальен, его противник, старается теперь выгородить Фуше, потому что его тоже начинает пугать перевес реакции и он начинает опасаться за свою жизнь. Но поздно: 22 термидора 1795 года, через год и двенадцать дней после падения Робеспьера, после длительных прений возбуждается обвинение против Фуше в совершении террористических актов. И 23 термидора выносятся решение о его аресте. Как тень Дантона витает над Робеспьером, так тень Робеспьера — над Фуше.

Но на документе помечают — умный политик верно учел это — термидор четвертого года республики, а не третьего. В 1793 году обвинение означало приказ об аресте, арест обозначал смерть. Забрав человека вечером в Консьержери, на следующий день его допрашивали, а к вечеру уже везли на колеснице к гильотине. В 1794 году у руки правосудия уже нет стальной хватки «Неподкупного»; законы стали мягче, и, обладая некоторой ловкостью, можно их обойти. И Фуше не был бы самим собой, если бы, после всех пережитых им опасностей, он не сумел освободиться от пут такой некрепкой сети. Он хитростью и уловками добивается того, что постановление об аресте не приводится в исполнение немедленно, ему дают срок для возражения, для ответа, для оправдания, а срок в ту пору — это все. Если стоять в тени, можно заставить забыть о себе; если соблюдать спокойствие, пока другие кричат, — можно остаться незамеченным. Следуя знаменитому рецепту

Спейса, просидевшего все годы в Конvente, не открыв рта, и впоследствии гениально ответившего на вопрос, чем он все время был занят: «J'ai vécu» — «Я жил», — Фуше, подобно иным животным, прикидывается мертвым, чтобы его не умертвили. Спасти свою жизнь на этот короткий переходный промежуток, — и он спасен. Ибо с обычной опытностью в распознавании он чувствует, что ветер меняет направление, что величие и сила Конвента продолжатся еще лишь несколько недель, может быть, месяцев.

Так Фуше спасает свою жизнь, а это много значит в то время. Правда, он спасает только жизнь, не имя и не положение, ибо его больше не избирают в собрание — тщетным оказалось громадное напряжение, напрасно растрочены потоки страсти и хитрости, отваги и предательства: он спасает всего лишь жизнь. Он уже не Жозеф Фуше из Нанта, представитель народа, не учитель ораторианцев, он всего лишь забытый, презренный человек, без положения, без состояния, без значения, жалкий призрак, спасшийся во тьме.

Три года ни один человек во Франции не произносит его имени.

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### МИНИСТР ДИРЕКТОРИИ И КОНСУЛЬСТВА

1799—1802

Создал ли кто-нибудь гимн изгнанию, силе, пересоздающей судьбу, в самом падении возвышающей человека, в суровом вынужденном одиночестве заново восстанавливающей и изменяющей поколебленную мощь души? Художники всегда лишь сетовали на изгнание, казавшееся им помехой на пути к вершине, бесполезным промежуток, жестоким перерывом. Но ритм природы любит такие насильственные цезуры. Ибо лишь тот познал всецело жизнь, кто проник во все ее глубины.



Лишь ответный удар заставляет человека собрать всю свою наступательную силу.

Именно творческий гений больше всего нуждается в этом временном вынужденном одиночестве, чтобы из глубины отчаяния, из дали ссылки измерить пространство и высоту своей подлинной миссии. Самые значительные вести посылались человечеству из далекого изгнания; творцы великих религий — Моисей, Христос, Магомет, Будда — все они должны были удалиться в безмолвие пустыни, в одиночество, прежде чем возвысить голос для вещания решающих слов. Слепота Мильтона, глухота Бетховена, тюрьма Достоевского, темница Сервантеса, заключение Лютера в Вартбургском замке, ссылка Данте и добровольное изгнание Ницше в ледяные зоны Энгадина, все это — тайные требования их гения, предъявленные бодрствующей воле человека.

Но и в низменном, более земном мире — в мире политики — временное отсутствие дает государственному деятелю новую зоркость взгляда, лучший охват событий и расчет сил в политической игре. Временный перерыв течения жизненного потока — это счастливый случай, ибо кто смотрит на мир сверху, с высоты императорского величия, с башни из слоновой кости, тот знает лишь улыбку подчиненных и их опасную покорность: кто сам держит в руках весы, тот забывает свой собственный вес. Ничто не обессиливает художника, полководца, носителя власти больше, чем постоянный успех; художник только в неудаче познает свое истинное отношение к произведению, а полководец только в поражении — свои ошибки; лишь в немилости государственный деятель верно оценивает политическое положение. Постоянное обилие денег изнеживает, вечное одобрение притупляет; лишь перерыв наполняет холостой ритм новым напряжением и созидающей эластичностью. Только несчастье углубляет и расширяет взгляд на действительность. Суровый урок, но всякое изгнание — это урок и учение: оно заново формирует волю; изнеженного, робкого оно делает решительным, могущественного —

еще могущественнее. Изгнание всегда укрепляет, а не ослабляет силу подлинно могучих людей.

Изгнание Жозефа Фуше продолжалось более трех лет, и одинокий, негостеприимный остров, на который он сослан, называется нищетой. Вчера еще проконсул и один из вершителей судеб революции, он падает с самых высоких ступеней могущества в такой мрак, в такую грязь и тину, что не найти его следов. Единственный, кто его видел тогда, Баррас, рисует потрясающую картину жалкой мансарды, где живет Фуше со своей некрасивой женой и двумя маленькими, больными, рыжими детьми, на редкость безобразными альбиносами. На пятом этаже, в грязном, тусклом, раскаленном от солнечных лучей помещении прячется свергнутый вождь, перед словом которого трепетали десятки тысяч людей, который через несколько лет снова окажется у кормила европейских судеб в роли герцога Отрантского; но теперь он не знает, на какие деньги купить завтра детям молока и чем заплатить за квартиру; вместе с тем он вынужден защищать свою несчастную жизнь от нападения незримых, бесчисленных врагов, от мстителей за Лион.

Никто, даже его достовернейший, точнейший биограф Мадлен, не может рассказать достаточно полно, чем поддерживал эти годы свое нищенское существование Жозеф Фуше. Он не получает жалованья как депутат, свое личное состояние он потерял при восстании в Сан-Доминго, никто не осмеливается дать «Mitrailleur de Lyon» место или работу, все друзья его покинули, все сторонятся его. Он берется за самые странные, самые грязные дела: в самом деле, это не басня, что будущий герцог Отрантский занимается откармливанием свиней. Но скоро он принимается за еще более нечистоплотную работу: он берет на себя обязанности шпиона Барраса, единственного представителя новой власти, который с удивительным сочувствием продолжает его принимать. Правда, не в приемной министерства, а где-нибудь в полумраке; там он подбрасывает время от времени неутомимому нищему маленькое грязное

дельце, поставку в армию или инспекционную поездку, — дает ему какой-нибудь ничтожный заработок, который обеспечивает докучливого просителя недели на две.

Однако в этих разнообразных поручениях обнаруживается подлинный талант Фуше. Баррас уже в ту пору строил разные политические планы, он не доверяет коллегам, и для него будет не лишним обзавестись личным сыщиком, подпольным доносчиком и осведомителем, не принадлежащим к официальной полиции, чем-то вроде частного детектива. Для этой роли Фуше прекрасно подходит. Он слушает и подслушивает, проникает на черные лестницы домов, ревностно собирает у всех знакомых сплетни дня и тайно передает эти грязные выделения общественной жизни Баррасу. И чем честолюбивее становится Баррас, чем стремительнее строит он планы государственного переворота, тем нужнее становится ему Фуше. Давно уже мешают ему в директории (Совете Пяти, властвующем теперь над Францией) два порядочных человека, — прежде всего Карно, самый прямодушный деятель всей французской революции, — и он обдумывает, как бы избавиться от них. Но кто замышляет государственные перевороты и заговоры, тот нуждается, прежде всего, в бессовестных пронырах, людях à tout faire\*, — брави, как их называют итальянцы, людях бесхарактерных и в то же время пригодных благодаря своей бесхарактерности: Фуше словно специально создан для этого. Изгнание становится школой для его карьеры, и тут он начинает развивать свой талант будущего мастера полицейских дел.

Наконец, наконец, после долгой, долгой ночи, проведенной в жизненной стуже, после мрака нищеты, Фуше почувал зарю. Предвидится новый победитель, новая власть, и он решает ей служить. Эта новая власть — деньги. Едва положили Робеспьера и его приверженцев на твердые доски плахи, как воскресли всемогущие деньги и снова приобрели тысячи льстецов и рабов. Экипажи с холеными лошадьми, с новой

---

\* Годных для всего (фр.).

упряжью катятся по улицам, и в них сидят восхитительные, полуобнаженные, подобно греческим богиням, женщины в драгоценных шелках и легких тканях. По Булонскому лесу катается верхом *jeunesse dorée* в туго облегающих ноги белых нанковых штанах и желтых, коричневых, красных фраках. В руках, украшенных кольцами, они держат элегантные хлысты с золотыми набалдашниками, охотно пуская их в ход против бывших террористов; парфюмерные и ювелирные магазины торгуют прекрасно, внезапно появляются пятьсот, шестьсот, тысяча танцевальных залов и кафе, строят виллы, приобретают дома, посещают театры, спекулируют, держат пари, покупают, продают и ставят на карту тысячи за спущенными камчатными занавесями Пале-Рояля. Деньги снова явились на свет, самодержавные, наглые и отважные.

Но где они были во Франции, эти деньги, между 1791 и 1795 годами? Они продолжали существовать, но были спрятаны. Как это было в Германии и Австрии в период страха перед коммунизмом, в 1919 году, богатые люди внезапно прикинулись мертвыми и, надев поношенное платье, жаловались на свою бедность, ибо кто в эпоху Робеспьера окружал себя малейшей роскошью, даже тот, кто лишь издали приближался к ней, слыл за «*mauvais riche*» (пользуясь выражением Фуше), считался подозрительным: было неудобно считаться богатым. Теперь опять силен только тот, кто богат. И, к счастью, наступает великолепное время (как всегда в дни хаоса) для приобретения денег. Богатства перемещаются; имения продаются: на этом можно заработать. Собственность эмигрантов продается с аукциона: на этом можно заработать. Состояние осужденных конфискуется: на этом можно заработать. Курс ассигнаций понижается изо дня в день, дикая лихорадка инфляции потрясает страну: на этом можно заработать. На всем можно заработать, имея проворные, наглые руки и связь с правительством. Но открывается новый, несравненный, блестящий ис-

точник: война. Уже в 1791 году несколько человек сразу же сообразили (как и в 1914 году), что из пожирающей людей и разрушающей ценности войны можно тоже извлечь выгоду, но тогда Робеспьер и Сен-Жюст, неподкупные, жестоко схватили за горло всех «ассаранжеров»\*.

Теперь, когда эти Катоны, слава Богу, убраны и гильотина ржавеет в сарае, спекулянты и поставщики для армии чуют приближение золотых денечков. Теперь спокойно можно за громадные деньги поставлять негодные сапоги, авансами и реквизициями плотно набивать карманы. Конечно, подразумевается, что будут заказы на поставки. Поэтому такого рода дельцам нужен подходящий посредник, обладающий достаточным влиянием и в то же время сговорчивый помощник, который с заднего хода пустил бы спекулянтов в конюшню к яслям, наполненным государственным и военным имуществом.

Для таких грязных дел Жозеф Фуше — идеальный исполнитель. Нищета основательно потрепала его республиканскую совесть, он спокойно простился с ненавистью к деньгам, теперь можно дешево купить этого полуголодного человека. В то же время он имеет превосходные «связи», ведь он вхож (как шпион) в переднюю Барраса, президента директории. Таким образом, в одну ночь радикальный коммунист 1793 года, который во что бы то ни стало хотел заставить печь «хлеб равенства», становится своим человеком среди новоиспеченных банкиров республики, за хорошие проценты исполняет все их пожелания и устраивает их дела. Например, спекулянт Гэнгерло, один из самых наглых и бессовестных дельцов республики (Наполеон его ненавидел), стоит перед неприятным обвинением: он чересчур нагло спекулировал и, снабжая армию, с излишней заботливостью снабжал свои карманы. Теперь у него на шее процесс, который может стоить много денег и, пожалуй, даже жизни. Как поступают в таких случаях (тогда

---

\* Спекулянтов (фр.).

так же, как и сегодня)? Обращаются к человеку, имеющему связи «в высших сферах», имеющему политическое или закулисное влияние, способному «направить» неприятное дело в нужную сторону. Обращаются к Фуше, осведомителю Барраса, который сейчас же стремглав бежит к всемогущему (письмо напечатано в его мемуарах), и, действительно, нечистоплотное дело оказывается тихо и безболезненно замятым. В благодарность за услугу Гэнгерло не забывает его при поставках для армии, при биржевых сделках и — «l'appétit vient en mangeant».

Фуше в 1797 году открывает, что деньги пахнут гораздо лучше, чем кровь в 1793-м, и — пользуясь своими новоприобретенными «связями» в финансовом мире и в продажном правительстве — основывает компанию для поставок в армию Шерера. Солдаты храброго генерала получают скверные сапоги и будут мерзнуть в тонких шинелях, они будут побеждены на полях Италии, но гораздо важнее то, что компания Фуше — Гэнгерло, а вероятно и сам Баррас, извлечет солидную прибыль. Исчезло отвращение к «презренному и губительному металлу», о котором так красноречиво трубил всего три года тому назад ультраякобинец и сверхкоммунист Фуше; забыта ненависть к «злым богачам», забыто, что «хорошему республиканцу не нужно ничего, кроме хлеба, оружия и сорока экю в день»; теперь настало время, наконец, самому стать богатым. В изгнании Фуше понял власть денег и готов служить ей, как всякой власти. Слишком томительно, слишком горестно было это дно, это ужасное дно, покрытое тиной презрения и лишения, — он напрягает все силы, чтобы всплыть, чтобы подняться в те выси, в тот мир, где за деньги покупают власть и из власти чеканят деньги. Первая штольня проложена в этом богатейшем руднике, первый шаг сделан на фантастическом пути от мансарды на пятом этаже к герцогской резиденции, от нищеты к состоянию в двадцать миллионов франков.

Теперь Фуше, окончательно сбросив с плеч неприятный груз революционных принципов, приобрел подвижность: че-

рез день он уже снова во всеоружии. Его друг Баррас занят не только темными денежными сделками, но и грязными политическими делами. Он склонен потихоньку продать республику Людовику XVIII за герцогский титул и порядочный денежный куш. В этом предприятии ему мешает только присутствие порядочных коллег — республиканцев вроде Карно, все еще верующих в республику и не понимающих, что идеалы существуют лишь для того, чтобы на них наживаться. И в государственном перевороте Барраса 18 фруктидора, освободившем его от этой неприятной стражи, Фуше, без сомнения, основательно помог своему компаньону тайными подкопами, ибо едва его покровитель Баррас стал неограниченным властелином в Совете Пяти, в обновленной директории, как этот избегающий дневного света человек смело выступает и требует вознаграждения. Пусть Баррас, требует он, использует его в политике, при армии или в каком-нибудь другом месте, для того или иного поручения, позволяющего набить себе карманы и оправиться от долгих лет нищеты. Баррас, нуждающийся в нем, не может отказать своему помощнику в темных делах, но все-таки имя Фуше, лионского *Mitraillere*'а, еще слишком отдает запахом пролитой крови, и в медовый месяц реакции видеться с ним открыто в Париже значило бы компрометировать себя. Поэтому Баррас отправляет его прежде всего в Италию, к армии, в качестве представителя правительства, потом в Батавскую республику, в Голландию, для секретных переговоров. Баррас на опыте убедился, что Фуше отличный мастер подпольных интриг: скоро ему придется еще основательнее проверить это на самом себе.

Итак, в 1798 году Фуше — посол Французской республики: он снова во всеоружии. Он развивает такую же холодную энергию при исполнении своей нынешней дипломатической миссии, как некогда при исполнении миссии кровавой. Особенно больших успехов добывается он в Голландии. Умудренный трагическим опытом, созревший в бурях времени, с выкованной в суровом горниле нищеты гибкостью, Фуше прояв-

ляет свою прежнюю энергию, соединяя ее с новой осторожностью. Скоро новые властители — там наверху — начинают понимать, что это полезный человек, который всегда держит нос по ветру и чует, где пахнет деньгами. Угодливый с высшими, грубый с низшими, этот искусный и ловкий мореплаватель как бы создан для бурь. И так как корабль правительства зловеще наклоняется, а неуверенный курс грозит ему аварией, директория принимает 3 термидора 1799 года неожиданное решение: Жозеф Фуше, посланный по секретному делу в Голландию, внезапно назначается министром полиции Французской республики.

Жозеф Фуше — министр! Париж вздрогнул как от пушечного выстрела. Неужели снова начинается террор, раз они спускают с цепи этого кровожадного пса, лионского *Mitrailleur*'а, осквернителя религии, грабителя церквей, друга анархиста Бабефа? Неужели — упаси Бог! — вернут из малярной Гвианы Колло д'Эрбуа и Билью и снова на площади Республики поставят гильотину? Неужели снова начнут печь «хлеб равенства», введут филантропические комитеты, выманивающие деньги у богачей? Париж, давно успокоенный, со своими полутора тысячами танцевальных залов и блестящими магазинами, со своей *jeunesse dorée*, приходит в ужас — богачи и буржуа трепещут, как в 1792 году. Довольны лишь якобинцы — последние республиканцы. Наконец, после ужасных преследований, один из их рядов снова у власти — самый смелый, самый радикальный, самый непреклонный; наконец реакция под угрозой, республика будет очищена от роялистов и заговорщиков.

Но странно, и те и другие спрашивают себя через несколько дней: в самом ли деле этого министра полиции зовут Жозеф Фуше? Снова оправдалось мудрое слово Мирабо (и в наши дни применимое к социалистам), что якобинцы в должности министра уже не якобинские министры: ибо уста, прежде требовавшие крови, теперь источают примирительный елей. Порядок, спокойствие, безопасность — эти слова непрерывно по-



вторяются в полицейских объявлениях бывшего террориста, и расправа с анархией — его девиз. Свобода должна быть ограничена, возбуждающим речам должен быть положен конец. Порядок, спокойствие, безопасность — ни Меттерних, ни Сельдницкий, ни один ультрареакционер Австрийской империи не издавал более консервативных декретов, чем Жозеф Фуше, *Mitrailleur de Lyon*.

Буржуа свободно вздыхают: Савл превратился в Павла! Но действительные республиканцы неистовствуют от гнева на своих собраниях. Их этот год научил немногому: они все продолжают произносить злобные речи, речи и речи, они грозят директории, министрам и конституции цитатами из Плутарха. Они буйствуют, словно еще живы Дантон и Марат, словно набат, как прежде, мог бы собрать стотысячную толпу из предместий. Их утомительные приставания выводят, наконец, из терпения директорию. «Как быть с этим?» — настойчиво спрашивают коллеги новоиспеченного министра полиции.

«Закреть клуб», — отвечает он невозмутимо. Недоверчиво смотрят на него министры и спрашивают, когда он думает осуществить эту смелую меру. «Завтра», — спокойно отвечает Фуше.

И в самом деле, на другой день Фуше, бывший президент якобинцев, отправляется вечером в радикальный клуб на улице Бак. Здесь все эти годы билось сердце революции. Там те же люди, перед которыми выступали Робеспьер, Дантон и Марат, перед которыми он сам выступал со страстными речами; после падения Робеспьера, после поражения Бабефа только в клубе de Manège живет воспоминание о бурных днях революции.

Но сентиментальность несвойственна Фуше; он может, при желании, с потрясающей быстротой забыть о прошлом. Бывший учитель математики ораторианцев принимает во внимание только параллелограмм реальных сил. Он считает республиканские идеи погибшими, лучшие вожди и деятели покоятся в земле; таким образом, клубы давно потеряли свое

значение, стали сборищем болтунов, где один перебивает другого. В 1799 году курс цитат из Плутарха и патриотических слов упал не меньше, чем курс ассигнаций: сказано слишком много фраз и напечатано слишком много бумажных денег. Франция (кто осведомлен об этом лучше министра полиции, контролирующего общественное мнение!) устала от ораторов, адвокатов и новаторов, устала от законов и декретов, она жаждет лишь покоя, порядка, мира и ясности финансового положения; как после нескольких лет войны, так и после нескольких лет революции, после каждого порыва общественного воодушевления, предъявляет свои права неудержимый эгоизм единичной личности и семьи.

Как раз в тот момент, когда один из давно отживших свой век республиканцев произносит пламенную речь, открывается дверь, и входит Фуше в форме министра, сопровождаемый жандармами. Он удивленно обводит холодным взором вскочивших со своих мест членов клуба: какие жалкие противники! Давно перевелись люди дела, вдохновители революции и ее герои: остались лишь болтуны, а чтобы справиться с болтунами, достаточно уверенного жеста. Он немедленно поднимается на трибуну, впервые после шести лет слышат якобинцы его ледяной, трезвый голос: но этот худосочный человек поднимает его не для призыва к свободе, к свержению деспотов, как некогда, а для того, чтобы спокойно, кратко и ясно объявить клуб закрытым. Собравшиеся так ошеломлены неожиданностью, что никто не оказывает сопротивления. Они не возмущаются, не бросаются, как обзывает их клятва, с мечами на душителя свободы. Они лишь что-то бормочут, тихо отступая, и в смятении покидают помещение. Фуше рассчитал верно: с настоящими мужами надо бороться, для болтунов достаточно угрожающего жеста.

Зал пуст; он спокойно направляется к двери, запирает ее и прячет ключ в карман. И этим поворотом ключа, собственно говоря, положен конец революции.

Из всякой должности человек может сделать то, что ему

хочется. Принимая министерство полиции, Жозеф Фуше, в сущности, получает второстепенную роль, что-то вроде подотдела министерства внутренних дел. Он обязан быть блюстителем и информатором, подвозить, как возница, материалы для внутренней и внешней политики, из которых члены директории, как короли, возводят строения. Но едва прошло три месяца, как Фуше получил в свои руки власть, его покровители с ужасом, с изумлением и уже беспомощно замечают, что он следит не только за низами, но и за верхами, что министр полиции контролирует остальных министров, директорию, генералов, всю политику. Его сеть протянута ко всем должностям, ко всем обязанностям, в его руки стекаются все известия, он создает политику вокруг политики, войну рядом с войной, повсюду тянутся щупальца его власти, пока, наконец, возмущенный Талейран не берется разъяснить ему обязанности министра полиции: «Министр полиции — это человек, который в первую очередь заботится о делах, его касающихся, и только на втором плане стоят у него дела, его не касающиеся».

Превосходно построена эта сложная машина, этот универсальный контрольный аппарат для целой страны. Тысячи известий стекаются ежедневно в дом на набережной Вольтера, ибо за несколько месяцев этот мастер наводнил всю страну шпионами, тайными агентами и доносчиками. Но его сыщики не только обычные, неуклюжие, мелкие детективы, которые подслушивают у дворников, в кабаках, публичных домах и церквях повседневные сплетни: агенты Фуше носят галуны и сюртуки дипломатов или легкие кружевные платья, они ведут беседы в салонах предместья Сен-Жермен\* и, притворившись патриотами, присутствуют на тайных совещаниях якобинцев. В списке его наемников есть маркизы и герцогини, носители самых громких имен Франции, — да, он может похвастать (фантастический факт!) тем, что у него служит самая высоко-

---

\* Предместье Парижа, в котором были сосредоточены особняки богачей и знати. — *Примеч. пер.*

поставленная женщина страны — Жозефина Бонапарт, будущая императрица. Он оплачивает секретаря своего будущего повелителя и императора, в Гартуэле, в Англии, он подкупил повара короля Людовика XVIII. В армии, среди купечества, у депутатов, в кабаках и на собраниях незримо присутствует министр полиции; тысячи известий стекаются ежедневно на его письменный стол. Там рассматриваются, фильтруются и сравниваются эти отчасти правдивые и важные, отчасти пустословные доносы, пока из тысячи шифров не будут извлечены точные сведения.

Ибо сведения — это главное; на войне так же, как в мирное время; в политике так же, как в финансовых делах. Уже не в терроре, а в осведомленности могущество Франции 1799 года. Сведения о каждом несчастном термидорианце: сколько денег он получает, кто ему дает взятки, за сколько его можно купить, чтобы держать под вечной угрозой и обратить начальника в подчиненного; сведения о заговорах, — отчасти, чтобы их побороть, отчасти, чтобы поддержать их и тем повернуть вправо руль политики; своевременно полученные сведения о военных действиях или мирных переговорах, дающие возможность заключать на бирже сделки с услужливыми финансистами и положить, наконец, начало своему состоянию. Таким образом, эта осведомительная машина в руках Фуше непрерывно доставляет ему деньги, и, в свою очередь, деньги являются маслом, заставляющим ее двигаться бесшумно. Игорные и публичные дома так же, как банки, платят ему миллионную дань, превращающуюся в его руках во взятки, а взятки — в информацию; так, никогда не останавливаясь, без отказа работает это огромное сложное сооружение, созданное за несколько месяцев громадной работоспособностью, психологической гениальностью одного человека.

Но самое гениальное в этом бесподобном сооружении Фуше — то, что оно подчиняется управлению лишь одной определенной руки. Где-то там укреплен винт: если его удалить, машина тотчас же остановится. Фуше с первого мгновения

принимает меры предосторожности на случай немилости. Он знает: если ему придется покинуть свой пост, достаточно одного поворота руки, чтобы остановить созданную им машину. Ибо не для государства, не для директории, не для Наполеона создает этот могучий человек свое произведение, он создает его лишь для себя. Он и не думает добросовестно передавать своему начальству продукты химического перегона всех сведений, произведенного в его лаборатории; он с откровенным эгоизмом переправляет лишь то, что он считает нужным переправить: зачем учить разуму болванов директории, открывать им свои карты? Лишь то, что ему полезно, что безусловно принесет ему выгоду, выпускает он из своей лаборатории, все остальные стрелы и яды он тщательно бережет в своем частном арсенале для личной мести и политических убийств.

Фуше всегда осведомлен лучше, чем предполагает директория, и поэтому он для каждого опасен и вместе с тем необходим. Он знает о переговорах Барраса с роялистами, о стремлении Бонапарта сесть на престол, о проделках якобинцев и реакционеров, но он выдает эти секреты не в тот момент, когда они становятся ему известны, а лишь когда ему покажется выгодным их открыть. Иногда он поощряет заговоры, иногда он их тормозит, иногда искусно их затевает, иногда с шумом разоблачает (и вместе с тем своевременно предостерегает участников, чтобы они могли спастись); всегда он играет двойную, тройную, четверную игру; обманывать и одурачивать на всех фронтах, за всеми столами становится его страстью. Для этого, конечно, нужно затратить все время и силы: Фуше, работающий десять часов в день, не экономит ни того, ни другого. Он предпочитает сидеть с утра до вечера в своем бюро, лично просматривать все бумаги и отвечать на каждую из них, чем позволить другому заглянуть в полицейские секреты. Каждого важного преступника он допрашивает сам при закрытых дверях в своем кабинете, так, чтобы все подробности знал он, только он и никто из его подчиненных; таким образом постепенно он, в качестве добровольного исповедника целой

страны, держит в руках тайны всех людей. Снова, как некогда в Лионе, он применяет террор, но теперь уже его орудие не тяжелый, сокрушающий топор, а душевный яд страха, сознания вины, гнета слежки, которым он убивает тысячи людей. Машина 1792 года, гильотина, изобретенная, чтобы подавить всякое сопротивление государству, неуклюжее орудие по сравнению со сложным сооружением, созданным духовным превосходством Жозефа Фуше 1799 года.

На этом инструменте, который он собственными силами создал, Фуше играет, как подлинный артист. Он знает высшую тайну власти: втайне наслаждаться ею, бережно ею пользоваться. Прошли лионские времена, когда свирепая революционная гвардия со штыками наперевес закрывала доступ в покои всемогущего проконсула. Теперь в его приемной толпятся дамы из предместья Сен-Жермен, и их охотно пропускают в кабинет. Он знает, что им нужно. Одна просит вычеркнуть своего родственника из списка эмигрантов, другая хотела бы получить хорошее место для кузена, третья — избежать неприятного процесса. Фуше одинаково любезен со всеми. Зачем восстанавливать против себя какую-нибудь партию, — якобинцев или роялистов, умеренных или бонапартистов, — пока еще неизвестно, кто из них будет завтра у руля. Поэтому страшный террорист превращается в чарующе любезного человека; публично, в своих речах и прокламациях, он жестоко громит роялистов и анархистов, но под шумок он тайно предостерегает или подкупает их. Он избегает громких процессов, жестоких приговоров: он довольствуется властным жестом вместо самой власти, предпочитает подлинную, хотя и незаметную силу ничтожным кокардам, которыми украшены шляпы Барраса и его коллег.

Случилось так, что через несколько месяцев отщепенец Фуше сделался всеобщим любимцем. И в самом деле, какой же министр и государственный деятель не приобретет всеобщих симпатий, если он доступен для всех, смотрит сквозь пальцы на обогащение людей, содействует получению теплых

местечек, всем уступает, любезно закрывает глаза, где нужно, разумеется, лишь до тех пор, пока публика не начнет слишком вмешиваться в политику или препятствовать его собственным планам? Разве не лучше заставить при помощи лести или выгодных предложений отказаться от своих убеждений, чем направлять на них пушки? Разве не достаточно пригласить беспокойного человека в свой частный кабинет и там вынуть из ящика стола заготовленный для него смертный приговор, чем действительно привести этот приговор в исполнение? Конечно, там, где обнаруживаются признаки действительного возмущения, он по-старому беспощадно подавляет их своей тяжелой рукой. К тем же, кто ведет себя скромно и не зазнается, бывший террорист применяет свою давнюю монастырскую терпимость.

Он знает, как люди падки на роскошь, на мелкие пороки и тайные наслаждения, — прекрасно, *habeant*\*! — лишь бы они были спокойны! Крупные банкиры, которых до сих пор, в дни республики, беспощадно травили, могут теперь спокойно спекулировать и наживаться, Фуше дает им сведения, а они ему — долю в барышах. Печать, — во времена Марата и Демулена свирепый, кровожадный пес, — смотрите, как ласково она теперь виляет хвостом; она тоже предпочитает сладкую булочку ударам плетки. Скоро шумиха, которую подняли привилегированные патриоты, сменяется тишиной, нарушаемой лишь чавканьем, — Фуше бросил каждому кость или несколькими крепкими ударами загнал их в угол. Его коллеги поняли, поняли и все партии, что быть другом Фуше столь же удобно и выгодно, сколь неприятно познакомиться с когтями, скрытыми в его бархатных лапках. Так этот презируемый всеми человек, пользуясь тем, что он все знает, что каждый должен ему быть благодарен за молчание, приобретает внезапно бесчисленное множество друзей. Еще не восстановлен разрушенный город на Роне, а бомбардировка Лиона уже забыта, Жозеф Фуше — общий любимец.

---

\*Пусть имеют (*лат.*).

Обо всем, что происходит в государстве, самые свежие, самые достоверные сведения получает Жозеф Фуше: никто не имеет возможности так глубоко заглянуть во все извилины событий, как он, вооруженный тысячеголовой, тысячеухою бдительностью; никто не знает силы или бессилия партий и людей лучше этого холодного расчетливого наблюдателя, с его аппаратом, регистрирующим малейшие колебания политики.

Так проходит несколько недель, несколько месяцев, наконец, наступает день, когда Жозеф Фуше ясно видит, что директория погибла. Все пять руководителей в ссоре, один подставляет ножку другому и не может дожидаться минуты, когда удастся спихнуть его. Армии разбиты, в финансовых делах хаос, в стране неспокойно, — так дальше не может продолжаться. Фуше чувствует приближение перемены ветра. Агенты доносят ему, что Баррас тайком ведет переговоры с Людовиком XVIII и продает республику бурбонской династии за герцогскую корону. Его коллеги, в свою очередь, любезничают с герцогом Орлеанским или мечтают о восстановлении Конвента. Но все, все они знают, что так дальше продолжаться не может. Ибо нация потрясена восстаниями внутри страны, ассигнации превращаются в ничего не стоящие бумажки, солдаты отказываются воевать; если новая власть не соберет рассеянные силы, республика неминуемо должна будет пасть.

Лишь диктатор может спасти положение, и все оглядываются в поисках подходящего человека. «Нам нужны голова на плечах и сабля», — так Баррас говорит Фуше, втайне считая себя этой головой и подыскивая подходящую саблю. Но Гош и Жубер, эти победители, погибли не вовремя для своей карьеры, Бернадот все еще ведет себя якобинцем, а единственного, о ком знают, что он обладает и саблей и головой, — Бонапарта, героя Арколя и Риволи, из страха отправили подальше, — он без толку маневрирует в песках египетской пустыни. Он так далеко, что на него рассчитывать, по-видимому, не приходится.

Из всех министров только Фуше уже тогда знал, что этот



генерал Бонапарт, который, как все думают, пребывает в тени пирамид, на самом деле не так далеко и скоро приблизится к берегам Франции. Они отправили этого слишком популярного и властного человека за тысячи миль от Парижа; они, пожалуй, даже свободно вздохнули исподтишка, когда Нельсон уничтожил флот при Абукире, ибо какое значение имеют для интриганов и политиков тысячи погибших, если вместе с ними устранен конкурент. Теперь они спокойно спят, они знают, что он пригвожден к армии, и не собираются его возвращать. Ни на одну минуту не допускают они мысли, что Бонапарт может решиться самовольно передать командование другому генералу и нарушить их покой: все возможности они предусматривают, не предусматривают лишь одной — возвращения Бонапарта.

Фуше, однако, знает больше и получает сведения из лучших, более достоверных источников. Ибо все передающий ему, доносящий о каждом письме, о каждом мероприятии, самый лучший, осведомленный и преданный из оплачиваемых Фуше шпионов — это жена Бонапарта, Жозефина Богарне. Подкупить эту легкомысленную креолку было, пожалуй, не очень большим подвигом, ибо, вследствие своей сумасбродной расточительности, она вечно нуждалась в деньгах, и сотни тысяч, которые щедро выдавал ей Наполеон из государственной кассы, исчезали, как капля в море, у женщины, приобретающей ежегодно триста шляп и семьсот платьев, не умеющей беречь ни своих денег, ни своего тела, ни своей репутации, и к тому же в ту пору находившейся в дурном настроении. Дело в том, что пока маленький пылкий генерал, собиравшийся взять ее с собой в скучную страну мамелюков, пребывал на поле брани, она проводила ночи с красивым, милым Шарлем, а может быть, и с двумя-тремя другими, вероятно, даже со своим прежним любовником Баррасом. Этим она оскорбила глупых братьев-интриганов Жозефа и Люсьена, и они поторопились донести об этом ее вспыльчивому, ревнивому, как турок, мужу. Ей нужен поэтому человек, который помог бы ей следить за этими братьями-шпионами и контролировать их

корреспонденцию. Это обстоятельство, а заодно и некоторое количество дукатов — Фуше в своих мемуарах откровенно называет цифру в тысячу лудоров — заставляют будущую императрицу выдавать Фуше все секреты, и в первую очередь самый важный и самый грозный секрет — о предстоящем возвращении Бонапарта.

Фуше удовлетворяется тем, что он осведомлен. Разумеется, гражданин министр полиции и не думает информировать свое начальство. Прежде всего он укрепляет свою дружбу с супругой претендента, в тиши извлекает пользу из полученных им сведений и, по обыкновению, хорошо подготовленный, идет навстречу решению, которое, как он отлично понимает, не заставит себя долго ждать.

11 октября 1799 года директория поспешно призывает Фуше. Зеркальный телеграф\* передал невероятную весть: Бонапарт самовольно, без вызова директории, вернулся из Египта и прибыл во Фрежюс. Что делать? Арестовать ли тотчас же генерала, который, не получив приказа, как дезертир, покинул свою армию, или принять его вежливо? Фуше, представляясь еще более пораженным, чем искренне пораженные члены директории, советует им быть снисходительными. Выждать! Выждать! Ибо Фуше еще не решил, будет ли он на стороне Бонапарта или против него, — он предпочитает дать развернуться событиям. Но пока потерявшие голову главы директории спорят, помиловать ли Бонапарта, несмотря на его бегство, или арестовать его, народ сказал свое слово. Авиньон, Лион, Париж встречают его как триумфатора, во всех городах на его пути устраивают иллюминации, и публика в театрах, когда со сцены сообщается о его возвращении, встречает эту весть ликованием: не подчиненным он возвращается, а повелителем, мощным властелином.

Едва он прибыл в Париж, в свою квартиру на улице Шан-

---

\*Изобретенный и установленный во Франции в эпоху революции телеграф, передававший световые сигналы посредством системы зеркал, отражающих солнечные лучи. — *Примеч. пер.*

терен (вскоре названной в его честь улицей Победы), как его окружает толпа друзей и людей, полагающих, что полезно прослыть его другом. Генералы, депутаты, министры, даже Талейран, почтительно расшаркиваются перед героем, и наконец, к нему отправляется сам министр полиции собственной персоной. Он едет на улицу Шантерен и велит доложить о себе Бонапарту. Но Бонапарту этот господин Фуше представляется безразличным и незначительным посетителем. И он заставляет его ждать добрый час в передней, как надоедливого просителя. Фуше — это имя ему мало говорит: лично с ним он незнаком, а, может быть, только вспоминает, что человек с таким именем сыграл довольно печальную роль в Лионе в годы террора; быть может, он встречал в приемной своего друга Барраса этого оборванного, опустившегося, мелкого полицейского шпика. Во всяком случае, это человек, не имеющий большого значения, какой-то мелкий делец, пронырливостью раздобывший себе теперь маленькое министерство. Такого можно заставить посидеть в передней. И в самом деле, Жозеф Фуше битый час терпеливо ждет в передней генерала, и ему, быть может, пришлось бы и второй, и третий час просидеть там в кресле, сердобольно предложенном ему лакеем, если бы случайно Реаль, один из участников затеваемого Бонапартом государственного переворота, не увидел всемогущего министра, у которого домогается аудиенции весь Париж, в столь жалком положении. Испуганный этим злополучным промахом, он вбегает в комнату генерала, взволнованно сообщая ему об ужасной ошибке: как можно так оскорбительно заставить ждать человека, который одним движением может, как бомба, взорвать всю их затею. Бонапарт поспешно выходит к нему и два часа разговаривает с ним с глаза на глаз.

Впервые встретились Бонапарт и Фуше лицом к лицу: они тщательно рассматривают, оценивают друг друга, соображая, насколько один может быть полезен другому в достижении его личных целей. Мигом эти выдающиеся люди разгадали друг друга. Фуше сразу узнает в неслыханной динамике этого мо-

гущественного человека непреодолимый гений владычества, Бонапарт острым хищным взором сразу узнает в Фуше полезного, годного на все, быстро соображающего и энергично действующего помощника. Никто, — рассказывает он на острове Святой Елены, — не дал ему такого сжатого и в то же время наглядного обзора положения Франции и директории, как Фуше в этой первой двухчасовой беседе. И если Фуше — среди добродетелей которого откровенность занимает последнее место — немедленно открывает претенденту на трон всю правду, значит, он решил отдать себя в его распоряжение. В первый же час распределяются роли, — господин и слуга, строитель мира и политик эпохи: их совместная игра может начаться.

Фуше уже при первой встрече с необыкновенной готовностью доверяет Бонапарту свои мысли. Но все же: он еще не отдаст себя всецело в его распоряжение. Он не принимает открытого участия в заговоре, который должен вызвать падение директории и сделать Бонапарта самодержцем: он слишком осторожен для такого шага. Он слишком строго, слишком убежденно придерживается своего жизненного принципа: никогда не принимать окончательного решения, пока не определится, на чьей стороне победа. Но происходит нечто странное: обладающего столь тонким слухом, столь острым зрением французского министра полиции поражает в ближайшие дни неприятный недуг: он внезапно становится буквально слепым и глухим. До него не доносится ни один из распространяющихся по городу слухов о предстоящем государственном перевороте, он не видит бесчисленных писем, которые суют ему в руки. Все его обычно безукоризненно достоверные источники информации словно магически иссякли, и в то время, как из пяти членов директории двое уже участвуют в заговоре, а третий наполовину к нему примкнул, министр полиции не подозревает о грядущем военном перевороте — или, вернее, делает вид, что не подозревает.

В его ежедневных донесениях нет ни строчки о генерале Бонапарте и о нетерпеливо бряцающей оружием клике; прав-

да, и другой стороне — стороне Бонапарта он не доставляет никаких сведений, не передает ни одной записки. Только молчанием предаёт он директорию, только молчанием он связан с Бонапартом и — выжидает, выжидает, выжидает. В эти мгновения крайнего напряжения, за две минуты до взрыва, эта амфибия чувствует себя превосходно.

Держать в страхе обе партии, быть человеком, перед которым обе партии заискивают, чувствовать в своей руке колебание весов — вот величайшее наслаждение для этого страстного интригана. Самая чудесная игра, вызывающая несравнимо большее напряжение, чем зелёный стол или любовные забавы, — эти мгновения, когда мировая игра подходит к развязке! Сознать в такие минуты, что властен ускорить или затормозить ход событий, и, несмотря на это сознание, держать себя в руках, не вмешиваться ни во что, как бы ни хотелось вступить в бой, лишь наблюдать с волнующим, возбуждающим, почти порочным любопытством психолога — вот единственное наслаждение, воспламеняющее его холодный ум; только оно возбуждает эту мутную жидкую, водянистую кровь. Лишь такое психологическое извращение, такая духовная сладострастная услада может опьянить трезвого, лишённого нервов Жозефа Фуше. И в эти мгновения острого напряжения перед решающим выстрелом его обычно угрюмую серьёзность охватывает какая-то жестокая, циничная веселость. Духовное сладострастие может разрядиться только в веселости, в добродушной или злой насмешке. И поэтому Фуше любит шутить именно тогда, когда другие находятся в величайшей опасности; как следователь в «Преступлении и наказании», он выдумывает самые остроумные и поистине дьявольские шутки именно тогда, когда виновный трепещет от ужаса. В такие мгновения он любит мистифицировать; на этот раз он в самый зловещий момент ставит веселую комедию: можно сказать, что подмости, на которых она разыгрывается, положены прямо на бочку с порохом.

За несколько дней до государственного переворота (конеч-

но, он заранее знает этот день) он зовет к себе гостей. Бонапарт, Реаль и другие заговорщики приглашены на этот интимный вечер, и вдруг, сидя за столом, они замечают, что их компания здесь в полном составе; министр полиции директории пригласил к себе всю камарилью, всех без исключения участников заговора против директории. Что это значит? Тревожным взглядом обменивается Бонапарт со своими приверженцами. Неужели за дверью уже стоят жандармы, чтобы одним ударом разрушить все гнездо государственного переворота? Некоторые из заговорщиков, может быть, припоминают нечто подобное в истории — роковую трапезу, устроенную Петром Великим для стрельцов, когда палач подал к десерту их головы. Однако люди, подобные Фуше, не прибегают к такого рода жестокостям, напротив того, когда, к общему удивлению заговорщиков, является еще один гость (и в самом деле это дьявольская затея!), а именно — президент Гойэ, против которого направлен их заговор, они становятся свидетелями следующего изумительного диалога. Президент спрашивает у министра полиции про последние события. «О, все одно и то же, — отвечает Фуше, лениво поднимая веки и устремив взор в пространство. — Все та же болтовня про заговоры. Но я знаю, как к этому относиться. Если бы действительно существовал заговор, мы бы уже имели доказательство этого на площади Революции».

Этот тонкий намек на гильотину действует на заговорщиков, как прикосновение холодного лезвия. Они недоумевают: подтрунивает ли он над Гойэ или над ними? Дурачит ли он их или президента директории? Они не знают этого, не знает, вероятно, и сам Фуше, ибо для него существует лишь одно наслаждение на свете: сладострастие двойственности, жгучая прелесть и острая опасность двойной игры.

После этой веселой шутки министр полиции впадает опять в странную летаргию до самого решительного удара; он слеп и глух, в то время как половина сената подкуплена, армия на стороне заговорщиков. И удивительно — Жозеф Фуше, кото-

рый, как всем известно, встает очень рано и всегда первый появляется у себя в министерстве, как раз 18 брюмера, как раз в день наполеоновского переворота охвачен изумительным, глубочайшим сном. Он охотно проспал бы весь день, но два посланца из директории поднимают его с постели и сообщают изумительно изумленному министру о странных происшествиях в сенате, о сборе отрядов и уже явном перевороте. Жозеф Фуше протирает глаза и прикидывается, как полагается, пораженным (несмотря на то, что он накануне вечером совещался с Бонапартом). Но, к сожалению, продолжать спать или притворяться спящим уже невозможно. Министру полиции приходится одеться и пойти в директорию, где его грубо встречает президент Гойэ, который не дает ему разыгрывать перед собой комедию изумления. «Ваш долг был, — обращается он властно к нему, — оповестить нас об этом заговоре, и, без сомнения, ваша полиция могла своевременно знать о нем». Фуше спокойно проглатывает этот выговор и, как самый преданный исполнитель, просит дальнейших распоряжений. Но Гойэ резко прерывает его словами: «Если директория пожелает дать приказания, она сообщит их людям достойным ее доверия». Фуше смеется в душе: этот глупец, думает он, еще не знает, что его директория давно уже бессильна приказывать, что из пяти ее членов двое уже изменили, а третий подкуплен! Но зачем учить глупцов? Он холодно откланивается и отправляется на свое место.

Но где это место, Фуше, собственно говоря, еще не знает, — министр полиции старого или нового правительства, в зависимости от победы одного или другого. Лишь следующие сутки сделают выбор между директорией и Бонапартом. Первый день начался для Бонапарта удачно: сенат, крепко подвинченный обещаниями и хорошо смазанный взятками, механически исполняет все желания Бонапарта: делает его начальником отрядов и переносит заседание нижней палаты, Совета Пятисот, в Сен-Клу, где нет ни рабочих батальонов, ни общественного мнения, ни «народа», а лишь прекрасный парк, который

можно герметически закупорить двумя отрядами гренадеров. Но этим партия еще не выиграна, ибо среди «пятисот» есть десяток-другой несносных парней, которых не удастся ни подкупить, ни напугать; найдутся, пожалуй, даже и такие, которые будут с мечом или пистолетом в руках защищать республику от претендента на престол. При таком положении надо держать в порядке свои нервы, не давать себя увлечь ни симпатиям, ни тем более таким пустяком, как присяга, а сохранять спокойствие, выжидать, быть настороже, пока не придет решительный час.

И Фуше держит свои нервы в порядке. Едва Бонапарт выступил во главе конницы по направлению к Сен-Клу, едва последовали за ним в экипажах главные заговорщики, Талейран, Сийес и десятка два других, как вдруг по приказанию министра опускаются на парижских заставах шлагбаумы. Никто не смеет покинуть города, никто не смеет входить в него, кроме курьеров министра полиции. Никто из восьмисот тысяч жителей, кроме этого энергичного человека, не должен знать, удался или не удался переворот. Каждые полчаса доносит ему курьер о ходе событий, а он все еще не принимает решения. Если одержит верх Бонапарт, то, разумеется, Фуше сегодня же вечером будет его министром и верным слугой; если он потерпит неудачу, Фуше останется верным слугой директории, готовый спокойно арестовать «мятежника». Известия, которые он получает, достаточно противоречивы, ибо в то время, как Фуше величественно сохраняет самообладание, превосходящий его в гениальности Бонапарт теряет всякое самообладание: это 18 брюмера, подарившее Бонапарту европейское самодержавие, остается, словно в насмешку, пожалуй, самым жалким днем в личной жизни этого великого человека. Решительный в обращении с пушками, Бонапарт всегда теряется, когда ему приходится привлекать людей на свою сторону словами: долготелая привычка командовать заставила его забыть искусство вербовки соратников. Он умеет, схватив знамя, мчаться впереди своих гренадеров, он умеет разбивать



армии. Не напугать с трибуны нескольких республиканских адвокатов этому закаленному солдату не удастся.

Много раз описывали, как не знающий поражений полководец, выведенный из равновесия презрительными возгласами депутатов, бормочет наивные и пустые фразы вроде: «Бог войны за меня», — и так позорно сбивается, что друзья торопятся убрать его с трибуны. Только штыки его солдат спасают героя Арколя и Риволи от жалкого поражения, которое готовы были ему нанести несколько крикливых адвокатов. Он становится опять повелителем и диктатором только тогда, когда садится на коня и приказывает солдатам разогнать собрание: рукоять сабли служит источником новых сил, вливающих в его смятенную душу.

В семь часов вечера все решено: Бонапарт — консул и самодержец Франции. Будь он побежден или отвергнут, Фуше тотчас бы велел расклеить на всех стенах Парчжа патетическую прокламацию: «Подлый заговор раскрыт» и т. д. Но так как победил Бонапарт, то он считает эту победу своим достоянием. Не от Бонапарта, а от господина министра полиции Фуше узнает на следующий день Париж об окончательном падении республики, о начале наполеоновской диктатуры. «Министр полиции дает знать своим согражданам, — говорится в этом лживом оповещении, — что совет собрался в Сен-Клу для обсуждения дел республики и что генерал Бонапарт, явившийся в Совет Пятисот, чтобы разоблачить революционные козни, едва не стал жертвой убийцы. Но гений республики спас генерала. Пусть республиканцы сохраняют спокойствие... ибо их желания теперь сбудутся... пусть успокоятся слабые, они находятся под защитой сильных... и только те должны бояться, кто нарушает спокойствие, смущает общественное мнение и подготавливает беспорядки. Приняты все меры, чтобы их подавить».

Снова Фуше чрезвычайно удачно приспособливается к обстоятельствам. И так нагло, так открыто среди бела дня совершается его переход к победителю, что постепенно в самых

широких кругах начинают понимать политику Фуше. Спустя несколько недель театр одного из предместий Парижа ставит веселую комедию «Флюгер из Сен-Клу»; в этой всеми понятой и восторженно принятой комедии, слегка изменив имена, самым забавным образом высмеивали его изменчивый и все же осторожный нрав. Фуше в качестве цензора имел бы, конечно, возможность запретить подобное высмеивание его личности, но он обладал, к счастью, достаточным умом, чтобы не прибегать к этому. Он вовсе не скрывает своего характера или, вернее, его отсутствие; напротив того, афиширует свое непостоянство и свою загадочность, потому что это окружает его своеобразным ореолом. Пусть над ним смеются, но пусть ему подчиняются, пусть его боятся.

Бонапарт — победитель, Фуше — тайный помощник и перебежчик, а Баррас, повелитель директории, — жертва. Ему этот день дает, пожалуй, самый замечательный в мировой истории урок неблагодарности. Они оба, соединенными силами свалившие его и теперь, как назойливому просителю, швырнувшие миллионную подачку, были два года тому назад его кредиторами, обязанными ему благодарностью созданиями, которых он вывел из ничтожества.

Добродушный, легкомысленный любитель наслаждений, *bon homme*, никому не мешающий жить, он, в прямом смысле этого слова, на улице подобрал маленького смуглого, попавшего в опалу, почти сосланного артиллерийского офицера Наполеона Бонапарта и украсил его разорванную, еще не оплаченную военную шинель генеральскими нашивками; в один день он сделал его, обойдя всех других, комендантом Парижа, подсунул ему свою любовницу, наполнил карманы деньгами, выхлопотал главное командование итальянской армией и тем построил для него мост к бессмертию. Таким же образом он извлек Фуше из грязной мансарды на пятом этаже и спас его от гильотины; он единственный избавил Фуше от голода в дни, когда все о нем забыли, а потом дал ему положение и набил карманы золотом. И эти два человека, обязанные ему всем,

спустя два года соединяются, чтобы швырнуть его в ту грязь, из которой он их вытащил, — действительно, мировая история, имеющая, конечно, мало общего с кодексом нравственности, не знает более яркого примера неблагодарности, чем поведение Наполеона и Фуше в отношении Барраса 18 брюмера.

Однако неблагодарность Наполеона к своему покровителю находит, по крайней мере, оправдание в его гении. Великая мощь дает ему особые права, ибо гений, стремящийся к звездам, может, в случае надобности, и не замечать на своем пути людей, может злоупотреблять эфемерными явлениями, чтобы следовать более глубокому смыслу, незримому велению истории. Но поведение Фуше — это самая обычная неблагодарность абсолютно безнравственного человека, с совершенной наивностью обращающего внимание лишь на себя и свои выгоды. Фуше, если это ему нужно, может с ошеломляющей быстротой забыть все свое прошлое; дальнейшая его карьера даст еще более удивительные образцы этого своеобразного мастерства. Две недели спустя он посылает Баррасу, человеку, спасшему его от сухой гильотины и от ссылки, формальный приказ об изгнании, предварительно отобрав у него все бумаги: вероятно, среди них были и его собственные письма с унижительными просьбами и доносами.

Баррас, смертельно обиженный, стискивает зубы; еще теперь слышен в его мемуарах их скрежет, когда он произносит имена Бонапарта и Фуше. Единственное его утешение — мысль, что Бонапарт оставляет Фуше при себе. Баррас предчувствует: один отомстит за него другому. Они не долго останутся друзьями.

Правда, в начале, в первые месяцы их совместной деятельности, гражданин министр полиции предоставляет себя преданнейшим образом в распоряжение гражданина консула («гражданин» продолжают еще тогда писать в официальных документах). Честолюбие Бонапарта пока удовлетворено званием первого гражданина республики. В те годы, взявшись за решение грандиозной задачи, с которой, вне всякого сомнения,

не смог бы справиться никто, кроме него, он обнаруживает во всей полноте и многогранности свой юношеский гений; никогда образ Наполеона не предстал перед нами величественнее, созидательнее и гуманнее, чем в эпоху нового порядка. Ввести революцию в рамки закона, сохранить ее достижения и вместе с тем смягчить ее излишества, закончить войну победой и сделать победу осмысленной заключением достойного, честного мира — вот возвышенная идея, которую осуществляет новый герой с увлечением, с дальновзоркостью пронизательного ума и упорной, прилежной энергией страстного работника.

Не годы, воспетые в легендах, считающих его деяниями лишь кавалерийские атаки, а подвигами — завоевания стран, не годы Аустерлица, Эйлау и Вальядолида знаменуют геркулесовскую работу Наполеона Бонапарта, а годы, когда потрясенная, истерзанная партийными распрями Франция снова превращается в жизнеспособную страну, когда обесцененные ассигнации приобретают действительную ценность и заново выработанный наполеоновский кодекс придает закону и обычаю железные, но все же человеческие формы, когда этот государственный гений с одинаковым совершенством оздоравливает все органы государственного управления и заключает мир с Европой. Эти годы — а не годы военных действий — являются истинно творческими, и никогда его министры не работали бок о бок с ним честнее, энергичнее и преданнее, чем в эту эпоху. И в Фуше он находит безукоризненного слугу, вполне разделяющего его убеждение, что лучше прекратить гражданскую войну переговорами и уступками, чем насилиями и кознями. За несколько месяцев Фуше восстанавливает в стране полное спокойствие; он уничтожает последние гнезда как террористов, так и роялистов, очищает улицы от грабителей, и его бюрократическая энергия, точная в мелочах и единичных мероприятиях, с готовностью подчиняется обширным государственным планам Бонапарта. Большие и благотворные дела всегда объединяют людей; слуга нашел своего господина, а господин — подходящего слугу.

С точностью до одного дня, до одного часа можно установить, когда впервые у Бонапарта появляется недоверие к Фуше, хотя этот эпизод и оставался обычно незамеченным в изобилии событий, насыщающих те годы: его открыл только орлиный взор Бальзака, умевший в незаметном прозревать существенное и в «*petit détail*»<sup>\*</sup> — толчок к дальнейшим событиям; конечно, он несколько опоэтизировал и разукрасил его. Эта сценка разыгрывается во время итальянского похода, который должен решить победу Австрии или Франции. В Париже 20 января 1800 года собрались взволнованные министры и советники. Курьер привез неблагоприятные известия с фронта при Маренго; он доносит, что Бонапарт совершенно разбит, французская армия отступает по всей линии. Каждый из собравшихся уже думает о том, что невозможно побежденного генерала оставить в должности первого консула; все уже занято мыслями о его преемнике. Насколько ясно были выражены эти мысли, осталось неизвестным, но меры к подготовке переворота, несомненно, обсуждались, и братья Наполеона заметили это. Дальше всех зашел, вероятно, Карно, который хотел было тотчас восстановить старый Комитет общественного спасения; что касается Фуше, то он, верный своему нраву, вероятно, хранил молчание и не отстаивал мнимо побежденного консула, чтобы иметь возможность остаться, если будет нужно, у старого хозяина, в противном же случае перейти к новому. Но на следующий день прибывает другой курьер, с противоположными известиями, — о блестящей победе при Маренго: в последний час на помощь Бонапарту подоспел, благодаря своей гениальной военной интуиции, генерал Дезе и превратил поражение в победу. Во сто раз более сильный, чем при выступлении, совершенно уверенный теперь в своем могуществе, возвращается через несколько дней в Париж первый консул — Бонапарт. Без сомнения, он тотчас же узнал, что все министры и лица, пользующиеся его доверием, готовы были

---

<sup>\*</sup>Мелкой детали ( фр. ).

при первом известии о поражении немедленно же выкинуть его за борт, и первой жертвой падает слишком далеко зашедший Карно: его лишают министерства. Остальные, и Фуше в том числе, остаются на своих местах; этого чересчур осторожного человека не уличить в неверности, хотя он не повинен и в верности. Он себя не компрометировал, но и не отличился, показав себя таким же, каким был всегда: надежным в счастье и ненадежным в несчастье. Бонапарт его не увольняет, не упрекает, не наказывает. Но с этого дня он ему больше не доверяет.

Этот маленький, почти забытый историей эпизод пускает ростки многообразных психологических узоров. Он очень ясно напоминает о том, что правление, основанное только на оружии и победе, неминуемо падает после первого же поражения и что каждый властелин, лишенный естественных прав на престол, должен непременно и своевременно позаботиться о создании другого, законного основания. Сам Бонапарт, сознающий свою силу, наделенный непоколебимым оптимизмом, свойственным гениальным натурам в дни их расцвета, был, пожалуй, склонен не замечать этого тонкого обстоятельства; он — но не его братья.

Наполсон — это слишком часто забывают все его историки — пришел во Францию не один: он был окружен голодным, жаждущим власти семейным кланом. Прежде его матери и четверем братьям, не имевшим службы, казалось достаточным, что их поддержка, их Наполсон женится на богатой дочери фабриканта, чтобы дать возможность своим сестрам купить несколько платьев. Но когда он так неожиданно достиг власти, они все торопливо цепляются за него, чтобы он тащил за собой всю семью; они тоже жаждут величия, они хотят всю Францию, а впоследствии и весь мир, сделать семейной вотчиной Бонапартов; их нечистоплотная, ненасытная, не оправданная ни малейшей долей гениальности грубая жадность обрушивается на брата с требованием, чтобы он принял меры к превращению его власти, зависящей от благоволения народа,

в независимую и постоянную, в наследственное королевство. Они требуют, каждый для себя, владений, требуют, чтобы он стал королем или императором; они хотят, чтобы он развелся с Жозефиной и женился на баденской принцессе — не осмеливаясь еще допустить мысли о браке с сестрой царя или одной из дочерей Габсбургов. Своими непрерывными интригами они разлучают его со старыми товарищами, со старыми идеями, толкают его от республики к реакции, от свободы к деспотизму.

Этому вечно подкапывающемуся, ненасытному, неприятному клану одиноко и довольно беспомощно противостоит Жозефина, супруга консула. Она знает, что каждый шаг к величию, к самодержавию удаляет ее от Бонапарта, ибо она не может дать королю или императору то, что совершенно необходимо для поддержания династической идеи: наследника, а с ним и прочную власть. Только немногие из советников Бонапарта стоят на ее стороне (денег для раздачи у нее нет, она кругом в долгах), и тут-то самым верным ее другом оказывается Фуше. Уже давно он с недоверием наблюдает, до каких неожиданных размеров, благодаря неожиданным успехам, вырастает честолюбие Бонапарта, с каким упорством он освобождается от каждого искреннего республиканца и заставляет его преследовать, как анархиста и террориста. Своим острым, недоверчивым взором он видит, что, говоря словами Виктора Гюго: «*Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte*»\*, что из-за облика генерала зловеще выглядывает император, за гражданином стоит самодержавный властелин. Для него, навсегда связанного с республикой голосованием против короля, сохранение республики, республиканской формы правления — вопрос жизни и смерти. Поэтому он боится монархии, поэтому борется тайно и явно бок о бок с Жозефиной.

Этого клан не может ему простить. И с корсиканской ненавистью они следят за каждым его шагом, чтобы, едва он спот-

---

\*За Бонапартом уже выглядывал Наполеон (фр.).

кнется, толкнуть в пропасть неудобного человека, мешающего процветанию их дел.

Они ждут долго и нетерпеливо. Внезапно является возможность подставить ножку Фуше. 24 декабря 1800 года Бонапарт отправляется в оперу, чтобы присутствовать на премьере оратории Гайдна «Сотворение мира»; вдруг, на узкой улице Никез, за его каретой взлетает огромный фонтан осколков, пороха и мелких пуль, покушение, знаменитая адская машина. Только бешеная быстрота его, как говорят, пьяного кучера спасла первого консула, но сорок человек лежат окровавленные на улице, а карета, как раненый зверь, вздымается на дыбы и подбрасывается вверх напором воздуха. Бледный, с окаменевшим лицом, продолжает Бонапарт свой путь в оперу, чтобы продемонстрировать восторженной публике свое хладнокровие. С равнодушным, непроницаемым видом внемлет он нежным мелодиям старика Гайдна и с притворным спокойствием благодарит за шумные приветствия, в то время как сидящая рядом с ним Жозефина дрожит от нервного потрясения и еле сдерживает слезы.

Но что это хладнокровие было лишь искусно разыгранной комедией, почувствовали все министры и государственные советники, как только он вернулся из оперы в Тюильри. Его гнев обрушивается главным образом на Фуше; Наполсон неистово набрасывается на бледного, онемевшего министра: он, как министр полиции, давно должен был проследить такой заговор, а он с преступной снисходительностью шадит своих друзей, своих бывших товарищей по якобинским преступлениям. Фуше спокойно возражает, указывая, что не выяснено, подготовлено ли это покушение якобинцами; по его личному убеждению, в этом деле играют главную роль роялистские заговорщики и английские деньги. Но спокойный тон его возражений еще сильнее озлобляет первого консула: «Это якобинцы, террористы, мятежные негодяи, сплоченной массой действующие против всех правительств. Они — эти злодеи — готовы принести в жертву тысячи жизней, чтобы убить меня.



Но я расправлюсь с ними так, что это послужит уроком для всех им подобных». Фуше осмеливается еще раз высказать свои сомнения. Тут вспыльчивый корсиканец готов уже прямо наброситься на министра, так что Жозефине приходится вмешаться и схватить его за руку. Но Бонапарт вырывает руку и в быстром потоке слов высчитывает Фуше все убийства и преступления якобинцев, — декабрьские дни в Париже, республиканские кровавые ночи в Нанте, резню заключенных в Версале, — явный намек на лионского «Mitrailleur'a», на его собственное прошлое.

Но чем больше повышает голос Бонапарт, тем упорнее молчит Фуше. Ни один мускул не дрожит на его непроницаемом лице, пока сыплются обвинения, пока братья Наполеона и придворные насмешливо перемигиваются, глядя на министра полиции, который наконец попался. С ледяным спокойствием отвергает он все подозрения, с ледяным спокойствием покидает он Тюильри. Его падение кажется неизбежным. Наполеон остается глухим к просьбе Жозефины, защищающей Фуше. «Разве он сам не был одним из их вождей? Разве мне не известны его проделки в Лионе и на Луаре? После Лиона и Луары меня не удивляет поведение Фуше», — гневно восклицает он. Уже стараются угадать имя нового министра полиции, уже придворные третируют Фуше, уже кажется (как часто бывало), что он окончательно устранен.

В последующие дни положение не улучшается. Бонапарт продолжает утверждать, что это покушение — дело рук якобинцев, он требует решительных мер, строгого наказания. И когда Фуше намекает ему и другим, что имеет иные подозрения, его встречают насмешками и презрением. Все глупцы смеются и издеваются над простодушным министром полиции, не желающим расследовать это ясное дело; все его враги торжествуют, что он так упорно настаивает на своей ошибке. Фуше никому не отвечает. Он не спорит, он молчит. Он молчит две недели, молчит и беспрекословно повинуетя даже тогда, когда ему приказывают составить список ста тридцати

радикалов и бывших якобинцев, подлежащих изгнанию, отправке в Гвиану, на «сухую гильотину». Не моргнув глазом, он составляет декрет, которым предает суду последних монтаньяров, последних деятелей «горы», последователей его друга Бабефа — Топино и Арена, единственное преступление которых состоит в том, что они публично сказали про Наполеона, будто он украл в Италии несколько миллионов и с их помощью хочет купить самодержавие.

Против своего убеждения он позволяет изгонять одних, казнить других; он молчит, как священник, связанный тайной исповеди, с замкнутыми устами присутствующий при осуждении невинного. Ибо Фуше давно уже попал на след, и пока другие насмеяются над ним, а сам Бонапарт ежедневно иронически упрекает его за глупое упорство, он собирает в своем доступном для немногих кабинете неоспоримые доказательства того, что покушение действительно подготовлено шуанами — королевской партией. И, принимая в государственном совете и в приемных Тюильри, в ответ на все нападки, холодный, вялый, равнодушный вид, он лихорадочно работает с лучшими агентами в своей секретной комнате. Обещаны громадные награды, все шпионы и сыщики Франции подняты на ноги, весь город привлекается в качестве свидетелей. Уже опознана разорванная на куски кобыла, привезшая адскую машину, и установлен ее бывший хозяин, уже подробно описаны люди, купившие ее, уже установлены, благодаря мастерски составленной «*biographie chouannique*»\* (собранный Фуше словарь эмигрантов и роялистов, всех шуанов, содержащий сведения о них и их жизнеописания), имена преступников, а Фуше все еще продолжает хранить молчание. Все еще стоически разрешает он издеваться над собой, и враги его торжествуют. Все быстрее ткутся последние нити, образующие неразрывную сеть; еще несколько дней — и ядовитый паук будет пойман. Еще несколько дней! Ибо Фуше, когда задето его

---

\*Биографии шуанов (фр.).

честолюбие, унижена его гордость, стремится не к маленькой или посредственной победе над Бонапартом и всеми, кто упрекает его в неосведомленности, — он стремится к полному, потрясающему триумфу, он хочет создать свое Маренго.

И вот спустя две недели он внезапно наносит удар. Заговор окончательно открыт, все следы отчетливо выяснены. Зачинщиком был, как и предполагал Фуше, самый грозный из всех шуанов — Кадудаль, и непримиримые роялисты, купленные на английские деньги, были его подручными. Как удар молнии поражает это сообщение его врагов. Они видят: напрасно и несправедливо осуждены сто тридцать человек, слишком рано, слишком нагло они издевались над этим непроницаемым человеком; еще более сильным, более уважаемым и более грозным для общества стал непогрешимый министр полиции. С гневом и удивлением глядит Бонапарт на железного калькулятора, лишний раз доказавшего правильность своих хладнокровных расчетов. Он должен нехотя согласиться: «Фуше рассудил лучше многих других. Он прав. Нужно зорко следить за вернувшимися эмигрантами, за шуанами и всеми, принадлежащими к этой партии». Фуше, благодаря этому делу, приобрел в глазах Наполеона большой вес, но не любовь. Никогда самодержцы не бывают благодарны человеку, обнаружившему их ошибку или несправедливость, и бессмертным остается рассказ Плутарха о солдате, который спас жизнь королю во время сражения и, вместо того чтобы бежать, как правильно советовал ему мудрец, остался, рассчитывая на благодарность короля; он поплатился за это головой. Короли не любят тех, кто был свидетелем их бесчестья, и деспотические натуры не терпят советников, которые хоть раз оказались умнее их.

В такой узкой области, как полицейская деятельность, Фуше достиг высшего триумфа. Но как ничтожен этот триумф по сравнению с триумфами Бонапарта в последние два года консульства! Ряд своих побед этот диктатор увенчал прекраснейшей победой — заключением мира с Англией, конкордатом с церковью: эти самые могущественные владыки мира благода-

ря его энергии, его творческому превосходству — ныне уже не враги Франции. Страна умиротворена, финансы приведены в порядок, положен конец партийным распрям, все противоречия изжиты: в стране появляется изобилие, индустрия заново развивается, искусства оживают, настал век Августа, и уже недалек час, когда Август сможет именоваться Цезарем. Фуше, который знает каждое побуждение и каждую мысль Бонапарта, ясно видит, куда метит честолюбие корсиканца: его уже не удовлетворяет роль главы республики, и он стремится на всю жизнь, навеки сделать личной собственностью и собственностью своей семьи спасенную им страну. Консул республики, конечно, никогда не выказывает публично своего противоречащего республиканскому духу честолюбия, но при случае он дает понять своим наперсникам, что хотел бы получить от сената выражение благодарности в форме особого акта доверия — «*témoignage éclatant*»\*. В глубине души он жаждет иметь своего Марка Антония, — положительного, верного слугу, готового потребовать для него императорской короны, и Фуше, хитроумный и гибкий, мог бы теперь заслужить его вечную благодарность.

Но Фуше отказывается от этой роли — или, вернее, он не отказывается от нее открыто, а с притворной услужливостью старается исподтишка пресечь эти намерения. Он противник братьев Наполеона, противник бонапартистского клана, он на стороне Жозефины, объятай страхом и беспокойством перед этим последним шагом ее мужа на пути к престолу; она знает, что недолго ей тогда придется оставаться его супругой. Фуше предостерегает ее от открытого сопротивления. «Сохраняйте спокойствие, — советует он ей, — вы напрасно становитесь поперек дороги вашему супругу. Ваши заботы ему надоедают, а мои советы он принял бы за оскорбление».

Фуше, верный своим привычкам, пытается подпольным путем помешать исполнению честолюбивых желаний; поль-

---

\*Неопровержимого доказательства (фр.).

зуюсь тем, что Бонапарт, побуждаемый притворной скромностью, не высказывается откровенно, он, так же как и некоторые другие, когда сенат собирается предложить Бонапарту «*témoignage élatant*», нашептывает сенаторам, что великий человек, будучи верным республиканцем, не желает ничего, кроме продления срока консульства на десять лет. Сенаторы, убежденные, что почтят и обрадуют этим Бонапарта, торжественно принимают соответствующее решение. Но Бонапарт, понимая эту коварную игру и прекрасно зная, кто ею руководит, приходит в ярость, когда ему приносят этот нежеланный нищенский дар. Депутация встречена полным равнодушием. Когда мысленно уже ощущаешь вокруг чела холодок золотой короны, тогда эти десять ничтожных лет представляются пустым орехом, который с презрением давишь ногой.

Наконец Бонапарт сбрасывает личину скромности и ясно выражает свою волю: пожизненное консульство! И под этим жалким покровом просвечивает видная каждому зрячему будущая императорская корона. И так велика в эту эпоху сила Бонапарта, что народ миллионным большинством голосов претворяет его желание в закон и избирает его (как они и он полагают) пожизненным властелином. Конец республике — нарождается монархия.

Клика братьев и сестер, корсиканский семейный клан, не забывает, что Жозеф Фуше препятствовал исполнению желания нетерпеливого претендента на престол. И, теряя терпение, они торопят Бонапарта избавиться от неприятного стремянного — ведь он теперь достаточно крепко сидит в седле. К чему, говорят они, когда страна единогласно согласилась признать его пожизненным консулом, когда изжиты противоречия, улажены споры, — к чему держать при себе этого ревностного сторожа, который следит не только за страной, но и за их собственными проделками? Долой его! Покончить с ним, устранить этого вечного интригана и врага! Беспрестанно, нетерпеливо, упорно и настойчиво они уговаривают еще колеблющегося брата.

Бонапарт в глубине души разделяет их взгляды. И ему мешает этот слишком осведомленный и постоянно пополняющий свою осведомленность человек, эта серая, ползущая за его сиянием тень. Но нужен предлог, чтобы отстранить министра, который так отличился, который пользуется в стране неограниченным уважением. Кроме того, этот человек приобрел за это время силу, и потому лучше не делать из него открытого противника. Он посвящен во все секреты, он до ужаса хорошо знает все, подчас нечистоплотные, интимные дела корсиканского клана, поэтому не следует его грубо оскорблять. И вот придумывают ловкий, тонкий предлог, который дает возможность не придавать уходу Фуше характера немилости: министра Жозефа Фуше вовсе не увольняют, но он так мастерски исполнял свои обязанности, что ныне должность наблюдателя за гражданами является лишней, и министерство полиции можно упразднить. Итак, упраздняют не министра, а министерство, то есть место, которое занимал Фуше, а тем самым, естественно, и его самого.

Чтобы избавить этого чувствительного человека от жестокого удара, которым его выставляют за дверь, отставку преподносят в осторожной форме. Потерю поста заменяют назначением в сенаторы, и письмо, в котором Бонапарт сообщает об этом повышении в должности, гласит следующее: «Гражданин Фуше, исполняя должность министра полиции в самые тяжелые годы, своим талантом и энергией, своей преданностью государству всегда соответствовал требованиям, выставляемым событиями. И предоставляя ему место в сенате, правительство помнит, что, если настанет время, когда снова понадобится министр полиции, оно не найдет человека, более достойного его доверия». Кроме того, заметив, как прочно примирился бывший коммунист со своим прежним врагом — деньгами, Бонапарт строит ему великолепный золотой мост к отставке. Когда министр представляет при передаче дел два миллиона четыреста тысяч франков как ликвидационный остаток сумм полиции, Бонапарт попросту дарит ему половину, другими сло-

вами — миллион двести тысяч франков. Кроме того, обращенный враг денег, иступленно громивший десять лет тому назад «грязный и развращающий металл», получает в качестве прибавки к сенаторскому титулу майорат Экс, маленькое княжество, простирающееся от Марселя до Тулона и оцененное в десять миллионов франков. Бонапарт изучил его: он знает беспокойные руки азартного интригана, и так как их трудно связать, он предпочитает их нагрузить золотом. История знает немного случаев, когда министра увольняли с большими почестями, а главное, с большими предосторожностями, чем Жозефа Фуше.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### МИНИСТР ИМПЕРАТОРА

1804 — 1811

В 1804 году Жозеф Фуше, или, вернее, его превосходительство господин сенатор Жозеф Фуше, по настойчивому, хотя и мягко выраженному желанию первого консула удаляется опять в частную жизнь, из которой он вышел десять лет тому назад. Это было невероятное десятилетие, смертоносное и роковое, преобразившее мир и грозное для жизни, но Жозеф Фуше сумел прекрасно его использовать. Он не скрывается, как в 1794 году, в нетопленной, жалкой мансарде под самой крышей, а покупает себе красивый, хорошо обставленный дом на улице Черутти, принадлежавший, вероятно, некогда одному из «подлых аристократов» или «гнусных богачей». В Ферьере, будущей резиденции Ротшильдов, он устраивает себе великолепное летнее местопребывание, получая аккуратно высланные ему доходы из своего княжества в Провансе, майората Экс. Да и вообще он образцово владеет благородным искусством алхимиков делать из всего золото. Его протезе на бирже предоставляют ему участие в своих делах, он выгодно расширяет свое имение, — еще несколько лет, и человек,

подписавший первый коммунистический манифест, станет вторым по богатству гражданином Франции, самым крупным землевладельцем в стране! Лионский тигр превратился в настоящего запасливого хомяка, умного, бережливого капиталиста и процентщика.

Это фантастическое богатство политического выскочки не меняет его врожденной нетребовательности, еще возросшей благодаря суровой монастырской дисциплине. Имея пятнадцать миллионов, Жозеф Фуше живет едва ли иначе, чем в то время, когда он с трудом мог наскрести в своей мансарде необходимые ему ежедневно пятнадцать су; он не курит, не пьет, не играет в карты, не тратит денег на женщин и на удовольствия. Совсем как обыкновенный сельский дворянин, прогуливается он мирно по своим лугам со своими детьми, — после двух первых, погибших от лишений, у него родилось еще трое детей, — устраивает время от времени маленькие приемы, слушает музыку, которой друзья развлекают его жену, читает книжки и с удовольствием ведет умные разговоры; глубоко внутри, совершенно незаметно, таится в этом рассудительном ширококостном мещанине дьявольская страсть к азартной игре в политике, к напряженной и опасной игре в мировом масштабе. Его соседи этого не замечают, они видят только честного помещика, прекрасного отца семейства, нежного супруга. И никто из тех, кто не знал его по службе, не подозревает, что скрывающаяся под этой приветливой молчаливостью и с трудом подавляемая страсть стремится снова вырваться и во все вмешаться.

О, власть с ее взглядом Медузы! Кто однажды заглянул ей в лицо, тот не может более отвести от нее взора: он остается зачарованным и неподвижным. Кто раз испытал пьянящее наслаждение господства и власти, не в состоянии более от нее отказаться. Перелистайте мировую историю, найдите пример добровольного отказа: кроме Суллы и Карла V, среди тысяч и десятков тысяч едва ли найдется какой-нибудь десяток людей, которые, пресытившись и сохранив полное сознание, отказа-



лись от почти преступной страсти играть судьбой миллионов. Так же точно, как игрок не может отказаться от игры, пьяница от питья, браконьер от охоты, Жозеф Фуше не может отойти от политики. Покой тяготит его, и в то время, как он весело, с хорошо разыгранным равнодушием, подражает Цинциннату у плуга, у него уже горят пальцы и трепещут нервы от желания вновь схватить политические карты.

Хотя и уволенный, он продолжает добровольно нести политическую службу, и для упражнения в письме, для того, чтобы не быть окончательно забытым, посылает еженедельно первому консулу тайные информации. Это забавляет его, занимает его ум интригана, ни к чему не обязывая, но не дает ему действительного удовлетворения. Его мнимое удаление от дел есть не что иное, как лихорадочное ожидание минуты, когда можно будет, наконец, вновь схватить узду в свои руки, почувствовать власть над людьми, над судьбой мира, власть!

Бонапарт видит по многим признакам, как нетерпеливо рвется вперед Фуше, но ему угодно не замечать этого. Пока он может держать вдали от себя этого человека с неприятным умом, неприятным трудолюбием, он его оставит в тени, с тех пор как поняли, сколько упорства и силы в этом скрытном человеке, Фуше более не принимают на службу, разве только для неотложного и опасного дела. Консул оказывает ему всевозможные милости, пользуется им для различных дел, благодарит его за хорошую информацию, приглашает его время от времени в государственный совет, а главное, дает ему возможность заработать и обогатиться, только бы он держал себя спокойно; одному он упорно противится, пока есть возможность: дать ему снова назначение и возродить министерство полиции. Пока Бонапарт силен, пока он не делает ошибок, он не нуждается в таком сомнительном и слишком умном слуге.

К счастью для Фуше, Бонапарт совершает ошибки. Прежде всего всемирно-историческую и непростительную ошибку: ему уже недостаточно быть Бонапартом; кроме уверенности в

себе самом, кроме торжества своей исключительности, он жаждет еще тусклого блеска легитимности, пышности титула. Тот, кому некого было бояться, благодаря его силе, его единственной могучей личности, пугается тени прошлого, бессильного нчмба изгнанных Бурбонов. И побуждаемый Талейраном, нарушая международное право, он отдает приказ вывезти с помощью жандармов из нейтральной области герцога Энгийенского и расстрелять его, — поступок, для которого Фуше придумал знаменитые слова: «Это было более чем преступление, это была ошибка». Эта казнь создает вокруг Бонапарта безвоздушное пространство, наполненное страхом и ужасом, негодованием и ненавистью. И вскоре ему покажется нужным снова укрыться под покров тысячеголового Аргуса, под защиту полиции.

И затем, и это самое важное: в 1804 году консул Бонапарт снова нуждается в ловком и беззастенчивом помощнике для своего наивысшего взлета. Ему опять нужен стремянный. То, что два года тому назад носилось пред ним как крайний предел честолюбивых мечтаний — пожизненное консульство — представляется ему, высоко вознесшемуся на крыльях успеха, уже снова недостаточным. Он уже не хочет быть только первым гражданином среди других граждан, а хочет быть господином и владыкой над подданными; он страстно желает освежить горячее чело золотым обручем императорской короны. Но тот, кто хочет сделаться Цезарем, нуждается в Антонии, и хотя Фуше долго играл роль Брута (а раньше даже роль Катилины), однако, проголодавшись после двух лет политического поста, он, оказывается, охотно готов выудить эту корону у сената, превратившегося в стоячее болото. Приманкой служат деньги и добрые обещания.

И вот мир видит удивительное зрелище, как бывший председатель Якобинского клуба, а в настоящее время — его превосходительство обменивается в коридорах сената подозрительными рукопожатиями, как он настаивает и нашептывает до тех пор, пока несколько услужливых византийцев не вносят предложение: «Создать такое учреждение, которое навсег-

да бы разрушило надежды заговорщиков, гарантируя непрерывность правления за пределами жизни носителя власти». Если вскрыть напыщенность этой фразы, то обнаруживается ее ядро — намерение превратить пожизненного консула Бонапарта в наследственного императора Наполеона. Вероятно, перу Фуше (которое одинаково хорошо пишет и маслом и кровью) принадлежит та раболепная, покорная петиция сената, которая приглашает Бонапарта «завершить дело его жизни, придав ему бессмертие». Немногие более усердно содействовали окончательной гибели республики, чем Жозеф Фуше из Нанта, бывший депутат Конвента, бывший председатель Якобинского клуба, *Mitrailleur de Lyon*, боровшийся с тиранами, и некогда самый республиканский из республиканцев.

За наградой дело не стало. В 1804 году, после двух лет золотого изгнания, его величество император Наполеон назначает опять министром его превосходительство господина сенатора Фуше так же, как раньше гражданин Фуше получил это назначение от гражданина консула Бонапарта. В пятый раз Жозеф Фуше приносит присягу на верность: первая присяга была принесена еще королевскому правительству, вторая — республике, третья — директории, четвертая — консульству. Но Фуше только сорок пять лет; как много времени остается еще для новых присяг, новой верности и новых измен! И со свежими силами бросается он снова в бурные волны излюбленной им стихии, верный присяге новому императору, но, в сущности, подчиняясь только собственному беспокойному духу.

Десять лет стоят на сцене мировой истории — или, вернее, на заднем ее плане — обе эти фигуры друг против друга, Наполеон и Фуше. Судьба связала их, вопреки обоюдному инстинктивному сопротивлению. Наполеон не любит Фуше, Фуше не любит Наполеона. Несмотря на взаимное тайное отвращение, они пользуются друг другом, связанные единственно притяжением противоположных полюсов. Фуше хорошо знает великий и опасный демонический дух Наполеона; он

знает, что еще в течение десятков лет мир не создаст более гения, столь достойного того, чтобы ему служить. Наполеон, со своей стороны, знает, что никто так быстро не понимает его, как этот трезвый, светлый, ясно все отражающий, зеркальный взгляд шпиона, как этот трудолюбивый, одинаково пригодный для злых и для добрых дел талант, которому недостает только одного, чтобы быть вполне совершенным слугой: безусловной преданности, верности.

Ибо Фуше никогда не будет ничьим слугой и еще менее лакеем. Никогда не поступится он своей духовной независимостью, собственной волей ради чужого дела. Наоборот: чем более бывшие республиканцы, превратившиеся в новое дворянство, подчиняются сиянию, исходящему от императора, чем быстрее они превращаются из советников в льстецов и прихлебателей, тем более выпрямляется спина у Фуше. Конечно, невозможно выступить с открытым возражением, с определенно противоположным мнением перед неуступчивым императором, все более приобретающим кесарские замашки. В Тюильрийском дворце уже давно отменены товарищеские откровенность, свободное выражение мнений между гражданами; император Наполеон, к которому его старые боевые товарищи, даже его собственные братья (как, должно быть, они улыбаются!), должны обращаться не иначе, как «Sire»\*, которому ни один смертный, за исключением его жены, не смеет говорить «ты», не желает больше выслушивать советов своих министров. Бывало, с растрепанным жабо и расстегнутым воротом гражданин министр Фуше входил к гражданину консулу Бонапарту; теперь не то, теперь министр Жозеф Фуше отправляется на своего рода аудиенцию к императору Наполеону, затянутый в пышный придворный мундир, с вышитым золотом высоким воротом, туго облегающим шею, в черных шелковых чулках и блестящих башмаках, увешанный орденами, с шляпой в руке. «Господин» Фуше должен

---

\* Государь (фр.).

сперва почтительно склониться перед бывшим товарищем, соучастником в заговоре, прежде чем обратиться к нему со словами «Ваше величество». С поклоном он должен войти, с поклоном — выйти, а вместо интимной беседы должен без возражений выслушивать отрывисто даваемые приказания. Не может быть никакого несогласия с мнением этой бурной волевой натуры.

По крайней мере, никакого открытого. Фуше слишком хорошо знает Наполеона, чтобы в случае различия мнений и желаний навязывать ему свои. Он допускает, чтобы ему приказывали, командовали им, как другими льстецами и низкопоклонными министрами императорской эпохи, но с той только маленькой разницей, что он не всегда повинуется этим приказаниям. Если он получает приказание произвести аресты, которых сам не одобряет, то он либо тихонько предупреждает лиц, которым угрожает арест, либо, если уж необходимо их наказать, повсюду указывает, что это произошло не по его собственному желанию, а по определенно выраженному приказу императора. Наоборот, одолжения и любезности он расточает как исходящие от него милости. Чем более властно держит себя Наполеон, — и действительно, достойно изумления, как этот от природы властолюбивый темперамент по мере расширения своего могущества становится все неудержимее и авторитарнее, — тем более любезно, примирительно держит себя Фуше. И таким образом, не произнося ни одного слова против императора, а действуя одними легкими намеками, улыбками, умолчаниями, он один образует ясную и вместе с тем неуловимую оппозицию против нового правления божьей милостью.

Он уже давно не берет на себя опасного труда навязывать то, что он считает истиной; он знает, что у императоров и королей, даже если они раньше назывались Бонапартами, подобные вещи не в ходу. Только иногда, между прочим, вроде контрабанды, он зло подсовывает ему в своих ежедневных донесениях истинные сведения. Вместо того чтобы сказать «я

думаю», «я полагаю» и получить нагоняй за эту самостоятельность мнения и мысли, он в своих рапортах пишет «говорят» или «один посланник сказал»; таким способом в ежедневный трюфельный паштет пикантных новостей ему удастся воткнуть несколько зернышек перца по поводу императорской семьи. С побелевшими губами должен Наполеон читать о позорных и грязных похождениях своих сестер, похождениях, записанных в виде «зловредных слухов»; а затем еще едкие и злые шутки о себе самом, меткие, острые замечания, которыми ловкое перо Фуше намеренно приправляет бюллетень. Сам не произнося ни слова, дерзкий слуга преподносит время от времени своему неприветливому господину неприятные истины и следит, вежливо и бесстрастно присутствуя при чтении, как суровый господин корчится, читая их. Это маленькая месть Фуше лейтенанту Бонапарту, который, надевши императорский мундир, желает, чтобы его прежние советники стояли перед ним, дрожа и согнув спину.

Совершенно ясно: эти два человека мало симпатизируют друг другу. Как Фуше слуга не слишком приятный для Наполеона, так и Наполеон не слишком приятный господин для Фуше. Не было случая, чтобы к полицейским донесениям, которые кладут ему на стол, он отнесся небрежно или доверчиво. Он исследует своим орлиным взором каждую строку, подмечая малейшую неувязку, пустейшую ошибку; тут он обрушивается на своего министра и бранит его, как школьника, в порыве своего неудержимого корсиканского темперамента. Коллеги из совета министров, подслушивающие у дверей, заглядывающие в замочную скважину, согласно утверждают, что именно хладнокровие, с которым Фуше возражал, раздражало своей противоположностью императора. Но даже помимо их свидетельств (все мемуары того времени следует читать с лупой в руках) это совершенно ясно, потому что даже в письмах слышно, как гремит его суровый, резкий, начальнический голос: «Я нахожу, что полиция недостаточно строго следит за прессой», — поучает он старого испытанного мини-

стра, или дает ему нахлобучку: «Можно подумать, что в министерстве полиции не умеют читать, там ни о чем не заботятся». Или: «Я ставлю вам на вид, чтобы вы держались в рамках вашей деятельности и не вмешивались во внешние дела». Наполеон беспощадно пробирает его (об этом мы знаем из сотни показаний) даже в присутствии свидетелей, перед адъютантами и государственным советом, а когда найдет на него припадок гнева, то он не останавливается даже перед тем, чтобы напомнить ему о Лионе, о его террористической деятельности, называет его убийцей короля, изменником.

Но Фуше, холодный, как лед, наблюдатель, который за десять лет в совершенстве изучил весь механизм этих гневных вспышек, Фуше знает, что иногда они закипают непроизвольно в крови этого горячего человека, но что, с другой стороны, иногда Наполеон вызывает их, как актер, вполне сознательно, и Фуше не пугается ни перед истинными, ни перед театральными бурями, не так, как австрийский министр Кобенцль, который задрожал от страха, когда император бросил к его ногам ценную фарфоровую вазу; Фуше не смутит ни искусственно разыгрываемый гнев, ни действительное бешенство императора. Он спокойно стоит со своим бесцветным, похожим на маску, белым, как известь, лицом, не моргая, не выдавая своего волнения ни одним нервом, в то время как на него обрушивается целый поток слов; только разве, когда он выходит из комнаты, на его тонких губах змеится ироническая или злая улыбка. Он не дрожит даже тогда, когда император кричит ему: «Вы изменник, я должен был бы велеть расстрелять вас», а отвечает обычным деловым тоном, не меняя голоса: «Я другого мнения, Sire». Сотни раз слышит он, как ему отказывают, грозят изгнанием, снятием со службы, и тем не менее уходит совершенно спокойно, вполне уверенный в том, что на следующий день император опять позовет его. И всегда он оказывается прав. Потому что, несмотря на свое недоверие, свой гнев и свою тайную ненависть, Наполеон, в течение целого десятилетия, до последнего часа не может совершенно избавиться от Фуше.

Эта власть Фуше над императором, составлявшая загадку для всех современников, не заключает в себе, однако, ничего магического и гипнотического. Это приобретенная власть, выработанная и рассчитанная благодаря упорству, ловкости и систематическому наблюдению. Фуше много знает, он знает даже слишком много. Он знает все тайны императора не только вследствие общительности последнего, но и против его желания, и держит в руках как все государство, так и своего господина благодаря безграничной и почти магической своей осведомленности. Через собственную жену императора, Жозефину, известны ему самые интимные детали его супружеского ложа, через Барраса — каждый его шаг, когда он поднимается по винтовой лестнице успеха; благодаря своим собственным связям с денежными людьми, он контролирует все частные денежные дела императора, от него не укрываются ни грязные подробности семьи Бонапартов, ни игорные проделки его братьев, ни мессалинские приключения Полины. Так же точно для него не составляют тайны супружеские измены его господина. Когда Наполеон в одиннадцать часов ночи, завернувшись в чужой плащ и почти замаскированный, пробирается через потайную боковую дверь Тюильрийского дворца к своей возлюбленной, то на следующее утро Фуше знает, куда поехал экипаж, сколько времени пробыл император в том доме, когда он вернулся; он даже имеет возможность однажды пристыдить властелина мира, сообщив ему, что эта избранница обманывает его, самого Наполеона, с каким-то безвестным актеришкой. Каждое важное письмо из кабинета императора, благодаря подкупленному секретарю, попадает в копии к Фуше, и некоторые из высших и низших лакеев получают ежемесячные добавки к жалованью из тайной кассы министра полиции за надежные сообщения обо всех дворцовых разговорах; днем и ночью, за столом и в постели, Наполеон находится под наблюдением своего слишком ревностного слуги. Невозможно скрыть от него ни одной тайны, и таким образом император вынужден доверяться ему, хочется ли ему этого или нет. Вот



это-то знание всего и обо всем создает Фуше ту власть над людьми, которая так поражала Бальзака.

С тем же старанием, с каким Фуше следит за всеми делами, планами, мыслями и словами императора, он старается скрыть от него свои собственные. Фуше не доверяет никогда ни императору, ни вообще кому бы то ни было своих действительных намерений и работ; из своего колоссального материала он показывает лишь те сведения, которые ему хочется показать. Все остальное находится под замком в ящике письменного стола министра полиции. В эту последнюю цитадель Фуше не разрешает никому заглядывать: его единственная страсть, его высокое наслаждение — оставаться неразгаданным, непроницаемым, непонятым, качеством, которым никто не обладал в такой мере, как он. Поэтому совершенно напрасно приставляет к нему Наполеон нескольких шпионов: Фуше дурачит их или даже пользуется ими, чтобы передать через них обманутому патрону совершенно лживые, неправдоподобные сведения. С годами эта игра в шпионаж и контршпионаж становится все более коварной и полной ненависти, а их отношения совершенно откровенно неискренними. Нет, действительно, атмосфера чрезвычайно сгущена вокруг этих двух людей, из которых один имеет слишком много желания быть господином, а другой — слишком мало желания быть слугой. Чем сильнее становится Наполеон, тем более тягостным становится для него Фуше. Чем сильнее становится Фуше, тем более ненавистен становится ему Наполеон.

Фоном этому частному соперничеству двух различных духовных организаций служит постоянно возрастающее общее напряженное состояние эпохи. С каждым годом все яснее обнаруживается внутри Франции существование двух противоположных стремлений: страна желает, наконец, мира, а Наполеон — все новых и новых войн. В 1800 году Бонапарт, получивший в наследство революцию и упорядочивший ее, составлял еще одно целое со своей страной, со своим народом и своими министрами. Наполеон 1804 года, император нового

десятилетия, уже давно не думает более о своей стране, о своем народе, а единственно только о Европе, о мире, о бессмертии. После того как он мастерски разрешил порученную ему задачу, он ставит перед собой, благодаря избытку сил, новые, все более трудные задачи, и тот, кто превратил хаос в порядок, разрушает свое собственное дело, ввергая порядок обратно в хаос.

Мы этим вовсе не хотим сказать, что его светлый, как алмаз, и острый, как алмаз, разум потускнел, отнюдь нет: интеллект Наполеона, при всем своем демонизме математически точный и ясный, остается нетронутым до последней секунды, когда умирающий пишет дрожащей рукой свое завещание, лучшее из своих произведений. Но этот разум уже давно утратил сознание обычной меры, да иначе и не могло быть после того, как невероятное исполнилось в такой степени! После таких неслыханных выигрышей, вопреки всем правилам всемирной игры, как могло не возникнуть желание в душе, приученной к столь непомерным ставкам, превзойти невероятное еще более невероятным! Наполеон так же мало душевно расстроен, даже во время своих самых безумных приключений, как Александр, Карл XII или Кортес. Он только так же, как и они, при своих неслыханных победах утратил реальную меру возможного; это безумие при совершенно ясном разуме представляет величественное природное явление духа, столь же прекрасное, как мистральная буря при ясном небе. Оно-то и произвело те деяния, которые представляют собой одновременно преступление единичного человека перед сотнями тысяч и в то же время — легендарное обогащение человечества.

Поход Александра из Греции до Индии, представляющийся еще и сейчас сказочным, когда следишь за ним, проводя пальцем по карте, поход Кортеса, марш Карла XII из Стокгольма до Полтавы, караван в шестьсот тысяч человек, который Наполеон тащит от Испании до Москвы, — все эти великие проявления мужества и в то же время высокомерия пред-

ставляют в новой истории то же, что битва Прометея и титанов с богами в греческой мифологии: это — уродство и геройство, но во всяком случае это — почти кощунственный максимум всех достижений на земле.

И Наполеон неудержимо стремится к этому крайнему пределу, как только он чувствует у себя на челе императорскую корону. Вместе с успехами растут его цели, с победами, — его дерзость, с торжеством над судьбой — желание бросать ей все более и более дерзкие вызовы. Поэтому вполне естественно, что окружающие его, поскольку они не оглушены фанфарами бюллетеней о победах и не ослеплены успехами, такие умные и рассудительные люди, как Талейран и Фуше, приходят в ужас. Они думают о своей эпохе, о настоящем, о Франции, а Наполеон — единственно о будущем, о легенде, об истории.

Этот контраст между разумом и страстью, между логическим и демоническим характерами, вечно повторяющийся в истории, ясно проявляется во Франции при наступлении нового столетия, как фон за фигурами действующих лиц. Война возвеличила Наполеона, вознесла его из ничтожества на императорский трон. Естественно, что он постоянно стремится к войне и ищет все больших, все сильнейших соперников. Даже только численно его ставки растут совершенно фантастично. При Маренго в 1800 году он победил с 30 000 человек, пять лет спустя выставляет он уже 300 000 человек, а еще через пять лет он вырывает почти миллион бойцов из обескровленной, уставшей от войны страны. Последнему погонщику из его войска, глупейшему крестьянину, можно было доказать, как дважды два четыре, что подобная *Guergomanie* и *Couurgomanie*\* (Стендаль ввел это слово) должна привести в конце концов к катастрофе. В разговоре с Меттернихом, за пять лет до московского похода, Фуше пророчески сказал: «Когда он вас разобьет, останутся еще только Россия и Китай».

---

\**La guerre* — война, *cougir* — бежать; мания войны и походов (фр.).

Только один человек не понимает этого или умышленно закрывает глаза: Наполеон. Для того, кто пережил минуты Аустерлица, затем Маренго и Эйлау, — мировую историю, втиснутую в два часа, — для того уже более не представляет интереса и не дает удовлетворения принимать на придворных балах лизоблюдов в мундирах, сидеть в празднично разукрашенном оперном театре, выслушивать скучные речи депутатов, — нет, уже давно чувствует он нервный подъем лишь тогда, когда он пробегает ускоренными маршами во главе своих войск целые страны, разбивает армии, небрежным движением пальца сдвигает, как фигуры в шахматах, королей с их тронов и ставит на их место других, когда площадь Инвалидов превращается в шумящий лес знамен, а основанное военное казначейство наполняется ценной добычей со всей Европы. Он мыслит только полками, корпусами, армиями; он уже давно рассматривает Францию, всю страну, весь мир только как свою ставку, как безраздельно принадлежащую ему собственность: «*La France c'est moi*»\*.

Но некоторые из его близких придерживаются в глубине души того мнения, что Франция принадлежит прежде всего себе самой, что ее люди, ее граждане не могут служить для того, чтобы делать королями корсиканскую родню, а всю Европу обращать в Бонапартову вотчину. Со все возрастающим неудовольствием видят они, как из года в год к воротам городов прибывают списки рекрутов, как отрывают от дома восемнадцатилетних, девятнадцатилетних для того, чтобы на границах Португалии или в снежных пустынях Польши и России они бессмысленно погибли или погибали за дело, смысл которого нельзя более понять. Таким образом, возникает все более ожесточенный контраст между ним, который следит только за своими путеводными звездами, и людьми с ясным взглядом, видящими усталость и нетерпение своей страны. А так как эта властная, авторитарная натура не желает выслушивать

---

\* Франция — это я (фр.).

советов даже от близких, то последние начинают тайно раздумывать над тем, как бы остановить это безумно катящееся колесо и спасти его от неизбежного падения в пропасть. Ибо должна наступить та минута, когда разум и страсть окончательно разойдутся и сделаются открытыми врагами, когда вспыхнет борьба между Наполеоном и умнейшими из его слуг.

Это тайное противодействие безграничной страсти Наполеона к войнам объединяет, наконец, самых ожесточенных противников среди его советников: Фуше и Талейрана. Эти два наиболее способных министра Наполеона, психологически самые интересные люди эпохи, не любят друг друга, вероятно, оттого, что они слишком похожи друг на друга. Оба они трезвые, реалистичные, ясные умы, циники и бесстыдные ученики Макиавелли. Оба они прошли школу церкви и раскаленную высшую школу революции, у обоих одинаково бессовестное хладнокровие в денежных вопросах и вопросах чести, оба они служили одинаково неверно и с одинаковой беззащитностью республике, директории, консульству, империи и королю. Беспреданно встречаются на одной и той же сцене всемирной истории эти два актера на характерные роли неустойчивых людей, одетые в костюмы революционеров, сенаторов, министров, королевских слуг, и именно оттого, что они люди одной и той же духовной расы и исполняют одинаковые дипломатические роли, они ненавидят друг друга с холодностью знатоков и крепкой злобой соперников.

Они принадлежат к одному и тому же безнравственному типу, но как их сходство вытекает из их характеров, так их различие обуславливается их происхождением. В то время как Талейран, герцог Перигорский, архиепископ Отенский (Autun), природный, кровный аристократ и князь, уже носит, как владыка целой французской провинции, фиолетовую мантию, маленький невзрачный купеческий сын Жозеф Фуше — еще только презренный, ничтожный священник, преподающий дюжине монастырских учеников за несколько су в месяц математику и латынь. Один — уже уполномоченный по делам

Французской республики в Лондоне и знаменитый оратор Генеральных штатов, в то время как другой еще только упорно выживает в клубах, при помощи лести, свой мандат. Талейран сходит в революцию сверху вниз, он выходит, как господин из своей кареты, почтительно приветствуемый восклицаниями, спускаясь на несколько ступенек к третьему сословию, в то время как Фуше с трудом добирается до него при помощи интриг.

Вследствие этого различия их происхождения одинаковые, основные свойства приобретают различную окраску. Талейран, человек с тонкими манерами, служит с холодной и равнодушной снисходительностью большого барина, Фуше с ревностным старанием хитрого и честолюбивого чиновника. Там, где они сходны друг с другом, они в то же время и различны. Если они оба любят деньги, то Талейран любит их по-дворянски швырять за карточным столом или растрачивать с женщинами, меж тем как Фуше, купеческий сын, любит превращать деньги в капитал, получать барыши и бережливо накапливать. Для Талейрана власть есть средство к наслаждению, она представляет ему лучшую и благороднейшую возможность пользоваться всеми материальными благами мира — роскошью, женщинами, искусством, изысканным столом, между тем как Фуше, будучи многократным миллионером, остается спартанцем и скрягой. Оба они никогда не могут окончательно стряхнуть с себя отпечатка своего социального происхождения: никогда, даже в дни самого разнузданного террора, Талейран, герцог Перигорский, не может стать истинным сыном народа и республиканцем; никогда Жозеф Фуше, новоиспеченный герцог Отрантский, несмотря на сверкающий золотом мундир, не может стать истинным аристократом.

Из них более ослепительным, более очаровательным, может быть, и более значительным является Талейран. Воспитанный на изящной, древней культуре, пропитанный духом восемнадцатого века, он любит дипломатическую игру как одно из многих умственных наслаждений, но ненавидит рабо-

ту. Он неохотно пишет собственноручно письмо; как истый сластолюбец, утонченный сибарит, он поручает всю черную работу другому, чтобы потом небрежно забрать своей узкой, покрытой перстнями рукой добытые результаты. Ему достаточно его интуиции, которая молниеносно проникает в сущность самой запутанной ситуации. Прирожденный и вышколенный психолог, он, по словам Наполеона, проникает не задумываясь в мысли другого и уясняет каждому то, к чему тот внутренне стремится. Смелые обороты, быстрое понимание, ловкие повороты в опасные минуты — вот его призвание: презрительно отворачивается он от деталей, от кропотливой, пахнущей потом работы. Из этого пристрастия к минимуму, к самому концентрированному виду умственных решений вытекает его ослепительная способность к каламбуру, к афоризмам. Он никогда не пишет длинных донесений, одним-единственным остро отточенным словом характеризует он ситуацию, человека.

У Фуше, наоборот, совершенно отсутствует эта способность быстрого понимания; как пчела, собирает он бесчисленные мелкие черточки, сотни тысяч наблюдений, по деловому разбирая все «за» и «против», затем сопоставляет, добросовестно комбинирует и приходит к неопровержимым выводам. У него метод аналитический, у Талейрана метод визионера, его сила — трудолюбие, сила Талейрана — быстрота ума. Ни одному художнику не придумать более разительных противоположностей, чем это сделала история, поставив эти две фигуры, ленивого и гениального импровизатора Талейрана и тысячеглазого бдительного калькулятора Фуше, рядом с совершенным гением, в котором соединились дарования обоих: дальнзоркость одного и кропотливый анализ другого, страсть и трудолюбие, знание и ясновидение.

Но нигде не бывает такой ожесточенной ненависти, как среди различных видов одной и той же породы. Из внутреннего инстинкта, из глубокого кровного понимания происходит их презрение друг к другу. С первого же дня большому барину противен этот трудолюбивый, мелочный работник, собира-

тель доносов, сплетен, холодный соглядатай Фуше, а Фуше, с другой стороны, раздражает легкомыслие, мотовство, презрительно-дворянская и женственно-ленивая небрежность Талейрана. Их отзывы друг о друге полны яда. Талейран говорит с улыбкой: «Фуше оттого так сильно презирает людей, что он слишком хорошо знает самого себя». Фуше, со своей стороны, шутит, когда Талейрана назначают вице-канцлером: «Il ne lui manquait que ce vice-là!»\*

Если возможно, они очень охотно причиняют друг другу неприятности, а где представляется возможность навредить, там они хватаются за малейший к этому повод. То, что они, один быстрый, другой трудолюбивый, так хорошо дополняют друг друга, это обстоятельство делает их подходящими министрами для Наполеона, а то, что они так бешено ненавидят друг друга, это ему также очень кстати, потому что они лучше следят друг за другом, чем сотня бдительных шпионов. Фуше старательно доносит ему о каждом новом проявлении подкупности, распущенности и небрежности Талейрана, который, в свою очередь, спешит донести о всех проделках и новых интригах Фуше. Эта странная пара одновременно обслуживает и охраняет Наполеона. Превосходный психолог, Наполеон пользуется самым лучшим образом соперничеством своих министров, поощряя и в то же время сдерживая их.

Весь Париж долгие годы забавляется этой упорной враждой двух соперников. Он следит за бесконечными вариантами этой комедии у ступеней трона, будто за сценами из Мольера, и наслаждается тем, как эти двое слуг владыки насмехаются друг над другом, преследуют один другого колкими словечками, между тем как их господин с олимпийским величием прислушивается к этим выгодным ему спорам. Но вот вместо вселой игры в кошку и собаку, которой от них все ожидают, эти оба утонченных артиста вдруг меняют свои роли и берутся за серьезную игру. Впервые общее для них обоих раздражение

---

\*Ему недоставало только этого порока! Игра слов: vice — вице, vice — порок (*фр.*).



против господина берет верх над их соперничеством. Наступает 1808 год, и Наполеон опять начинает войну, самую бесполезную, бессмысленную из своих войн, поход против Испании. В 1805 году он победил Австрию и Россию, в 1807 году разгромил Пруссию, подчинил себе немецкие и итальянские государства, но для вражды с Испанией нет ни малейшего повода. Его недалекий брат Жозеф (через несколько лет Наполеон сам признает, что «принес себя в жертву дуракам») тоже желает получить корону, и ввиду того, что не имеется свободной, решают, с нарушением международного права, просто отнять ее у испанской династии.

Снова бьют барабаны, маршируют батальоны, снова плывут из касс с трудом собранные деньги, и снова опьяняется Наполеон опасной страстью к победам. Эта необузданная военная ярость мало-помалу представляется слишком безумной даже самым толстокожим; как Фуше, так и Талейран не одобряют ни с того ни с сего свалившуюся войну, от которой Франция будет в течение семи лет истекать кровью, а так как император не слушает ни того, ни другого, то оба незаметно сближаются. Они знают, что император швыряет с раздражением в угол их письма, их донесения; они уже давно не могут справиться с генералами, маршалами, военщиной и в особенности с корсиканской родней, каждый член которой желал бы скрыть свое жалкое прошлое под мантией из горностая. Они пытаются заявить протест перед общественным мнением, но, не имея возможности выразить его словами, затевают политическую пантомиму, настоящий театральный трюк: они демонстративно делают союзниками.

Кому принадлежала эта превосходная театральная инсценировка, Талейрану или Фуше, неизвестно. Дело происходило таким образом: пока Наполеон воюет в Испании, в Париже непрерывные празднества и веселье: к ежегодным войнам привыкли, как к снегу зимой или к грозам летом; на улице Сен-Флорентен, в доме канцлера, в один декабрьский вечер 1808 года (в то время, когда Наполеон в какой-нибудь грязной

квартире, в Вальядолиде, пишет приказы по армии) горят сотни свечей и гремит музыка. Красивые женщины, которых Талейран так любит, блестящее общество, высшие государственные чины и иностранные послы собрались здесь. Все весело болтают, танцуют и забавляются. Внезапно раздается легкий шепот во всех углах, танец прерывается, гости изумленно толпятся: вошел человек, которого здесь никто не мог ожидать, — Фуше, тощий Кассио, которого, как всем было известно, Талейран ожесточенно презирал и ненавидел и нога которого еще никогда не была в этом доме. Но, о чудо, министр иностранных дел с изысканной вежливостью идет навстречу министру полиции, приветствует его, как своего дорогого гостя и друга, дружелюбно берет его под руку. На виду у всех, совершенно открыто ухаживая за ним, ведет он его через весь зал в соседнюю комнату; там они садятся в шезлонги и тихим голосом беседуют, вызывая безграничное любопытство у всех присутствующих.

На следующее утро всему Парижу известна эта крупная сенсация. Повсюду только и говорят об этом внезапном и так открыто афишированном примирении, и каждый понимает смысл его. Когда между кошкой и собакой такая пламенная дружба, то повару надо опасаться: дружба между Фуше и Талейраном означает открытое неодобрение министров своего господина, Наполеона. Тотчас забегали все шпионы, чтобы узнать, что означает этот заговор. Во всех посольствах скрипят перья, составляются немедленные донесения, Меттерних сообщает спешной почтой в Вену: «Этот союз соответствует желаниям крайне утомленной нации», но и братья и сестры императора тоже бьют тревогу и посылают со своей стороны курьеров с сумасшедшей новостью к императору.

Нарочный мчится с вестью в Испанию, но еще быстрее, насколько это возможно, несется Наполеон, словно подгоняемый ударами бича, назад в Париж. Получив известие, он удаляется в свою комнату, не приглашая никого из приближенных. Кусая губы, он немедленно делает распоряжения о

возвращении; сближение Талейрана и Фуше действует на него сильнее, чем проигрыш сражения. Обратная поездка совершается с безумной быстротой: 17-го он выезжает из Вальядолида, 18-го он в Бургосе, 19-го в Байонне, нигде не делают остановок, повсюду поспешно меняют загнанных, усталых лошадей, 22-го врывается он, как вихрь, в Тюильри, а 23-го отвечает на остроумную комедию Талейрана столь же драматической сценой. Вся расшитая золотом толпа придворных, министры и генералы старательно расставлены в качестве статистов: общество должно знать, что император сокрушает силой малейшее сопротивление его воле.

Еще накануне он вызывает к себе Фуше и с глазу на глаз задает ему головомойку, которую тот, привыкший к подобным душам, спокойно выдерживает, приводя искусные и льстивые оправдания и вовремя отвешивая поклоны. Этому раболепному человеку, думал император, достаточно дать мимоходом несколько пинков, но Талейран, как более сильный и могущественный, должен быть публично наказан. Эту сцену часто описывали, и, действительно, это одна из наиболее драматических сцен в истории. Сперва император высказывается в общих чертах неодобрительно о коварстве нескольких лиц во время его отсутствия, но затем, раздраженный равнодушием Талейрана, обращается прямо к нему, стоящему неподвижно, в небрежной позе, у мраморного камина, опершись рукой о косяк. И вот, вместо задуманного сначала комического урока в присутствии целого двора, император вдруг приходит в настоящее бешенство, кричит на старшего, опытного человека, бросая ему в лицо самые низкие ругательства; он называет его вором, клятвопреступником, изменником, продажным человеком, способным за деньги продать собственного отца, обвиняет его в убийстве герцога Энгиенского, называет зачинщиком испанской войны. Ни одна прачка не станет так безудержно осыпать ругательствами во дворе свою соседку, как осыпает Наполеон герцога Перигорского, ветерана революции, первого дипломата Франции.

Слушатели окаменели. Всем неловко, каждый чувствует, что император ведет себя неправильно. Только Талейран, столь равнодушный и нечувствительный к оскорблениям (рассказывают, будто он однажды заснул во время чтения направленного против него памфлета), стоит с высокомерным видом, не меняясь в лице, не считая оскорблением подобную брань. По окончании бури он, прихрамывая, молча проходит по гладкому паркету, направляясь в переднюю, и там бросает одно из своих ядовитых словечек, которые поражают сильнее, чем грубые удары кулаком. «Как жаль, что такой великий человек так дурно воспитан», — говорит он спокойно, в то время как лакей набрасывает на него плащ.

В тот же вечер Талейран лишается звания камергера; все недоброжелатели с любопытством просматривают в следующие дни «Moniteur», чтобы найти среди государственных сообщений известие об отставке Фуше. Но они ошибаются. Фуше остается. Как всегда, он спрятался во время опасности за спину более сильного, который служит ему громоотводом. Колло, его товарищ по лионским расстрелам, отправлен в ссылку на лихорадочный остров, а Фуше остался; Бабеф, его сообщник по борьбе против директории, расстрелян, а Фуше остался. Его покровитель Баррас должен был бежать, а Фуше остался. И на этот раз падает только впереди стоящий, Талейран, а Фуше остается. Правительства, государственные формы, мнения, люди — все меняется, все рушится, все исчезает в этом бешеном водовороте, при смене одного столетия другим; на своем месте, при всех переменах лиц и настроений, остается только один: Жозеф Фуше.

Фуше остается у власти, даже больше: именно то обстоятельство, что самый умный, ловкий и независимый советник Наполеона получил шелковый шнурок\* и одним росчерком пера был смещен, именно это усиливает влияние Фуше. Но, что еще важнее, кроме соперника Талейрана удаляется на

---

\*Китайский обычай посылать отставленным любимцам шелковый шнурок для того, чтобы они удавились. — *Примеч. пер.*

некоторое время и сам грозный властелин. Наступает 1809 год, и Наполеон начинает, как ежегодно, новую войну, на этот раз против Австрии. Лучше всего чувствует себя Фуше в те периоды, когда Наполеон уезжает из Парижа и удаляется от дел. И чем дальше, тем лучше, чем на более длительный срок, тем приятнее, — в Австрию, Испанию, Польшу; всего лучше было бы, если бы он уехал опять в Египет. Излучаемый им слишком сильный свет бросает на все кругом тень; его творчески-деятельная личность возвышается над всеми и парализует своим властным превосходством волю каждого. Когда же он находится вдали за сотни миль, командует битвами, составляет планы походов, Фуше может время от времени сам разыгрывать роль всемогущего владыки, а не быть только марионеткой в этой жесткой, энергичной руке.

Наконец представляется для Фуше эта возможность, — наконец и впервые! — 1809 год был роковым для Наполеона. Никогда еще, невзирая на очевидные внешние успехи, его военное положение не подвергалось подобной опасности. В сокрушенной Пруссии, в недостаточно укрощенной Германии находятся в некоторых гарнизонах почти беззащитные десятки тысяч французов, являющиеся сторожами сотен тысяч немцев, ждущих только сигнала, чтобы взяться за оружие. В случае второй победы австрийцев, подобной победе при Асперне, от Эльбы до Роны вспыхнет возмущение, восстание целого народа. И в Италии дела обстоят не лучше: грубое оскорбление папы задело всю Италию так же точно, как унижение Пруссии — всю Германию, к тому же сама Франция утомлена. Еще один удар по императорской армии, растянувшейся по всей Европе, от Эбро до Вислы, и — кто знает? — может быть, он и сокрушит сильно пошатнувшегося железного колосса. Заклятые враги Наполеона, англичане уже обдумывают этот удар. Пока войска императора разделены, находясь частью у Асперна, частью у Рима и частью у Лиссабона, англичане намерены вторгнуться прямо в сердце Франции, овладев сперва гаванью Дюнкирхена, завоевав Антверпен и подняв

возмущение в Бельгии. Они рассчитывают, что Наполеон далеко со своими закаленными в боях армиями, со своими маршалами и пушками; перед ними лежит беззащитная страна.

Но Фуше на месте; тот самый Фуше, который в 1793 году при Конвенте научился, как можно собрать в несколько недель десять тысяч рекрутов. Его энергия с тех пор не уменьшилась; она только истощалась в мелких происках и кознях. Страстно берется он за это дело, чтобы показать нации и целому миру, что Фуше не только марионетка в руках Наполеона, а может, в случае необходимости, действовать так же решительно и целесообразно, как сам император. Наконец настал чудесный случай — прямо точно с неба свалившийся, — доказать раз навсегда, что не вся моральная и военная сила сосредоточена в руках этого одного человека. С вызывающей смелостью подчеркивает он в своих прокламациях эту ненужность Наполеона. «Докажем Европе, что, хотя гений Наполеона сообщает блеск Франции, нет необходимости в его присутствии, чтобы отогнать врага», — пишет он бургомистрам и подтверждает эти смелые, властные слова на деле. Как только 31 августа получил он известие о высадке англичан на острове Вальхерен\*, он требует в качестве министра полиции и министра внутренних дел (пост которого он временно занимает) созыва национальных гвардейцев, которые со времени революции мирно проживали в своих деревнях как портные, слесари, сапожники и хлебопашцы.

Другие министры в ужасе. Возможно ли, без разрешения императора, взять на собственную ответственность такое важное мероприятие? В особенности военный министр, возмущенный тем, что штатский, без всякого права, вторгается в его священную область, противится всеми силами, утверждая, что нужно сперва в Шенбрунне испросить разрешение на мобилизацию. Нужно подождать приказаний императора, прежде чем сеять тревогу в стране. Но император, как обычно, нахо-

---

\* Остров в Северном море, принадлежащий Голландии. — *Примеч. ред.*

дится на расстоянии четырнадцати дней почтовой езды туда и обратно, и Фуше не опасается волнений в стране. Разве Наполеон не делает того же самого? В глубине души он хочет вызвать беспокойство, возмущение и поэтому решительно берет все под свою ответственность. С барабанным боем все жители провинций, которым угрожает враг, именем императора призываются к немедленной защите, — именем императора, который ничего не знает об этих распоряжениях. Затем вторая дерзость: Фуше назначает главнокомандующим этой импровизированной северной армией Бернадота, человека, которого Наполеон, хотя он и приходится шурином его брату, ненавидит более всех генералов, которого он наказал и отправил в ссылку. Фуше возвращает его из ссылки назло императору, министрам и всем его врагам. Ему все равно, будут ли его меры одобрены императором. Самое важное, чтобы успех оправдал его перед всеми.

Подобная отвага в решительные минуты придает Фуше, действительно, некоторое величие. Этот нервный, трудолюбивый человек рвется к большим заданиям, а ему всегда приходится делать пустяки, с которыми он справляется шутя. Вполне естественно, что излишек силы ищет выхода, проявляясь в злых и по большей части бессмысленных интригах. Но в те минуты, когда этот человек, как в Лионе, а затем после падения Наполеона в Париже, получает действительно всемирно-историческое задание, соответствующее его силе, он справляется с ним мастерски. Спустя несколько дней город Флиссинген\*, который сам Наполеон называет в своих письмах неприступным, попадает, как предсказывал Фуше, в руки англичан. Но в то же время сформированная Фуше без разрешения армия имела время укрепить Антверпен, и таким образом, это вторжение англичан кончилось полнейшим и очень дорогим стоившим их поражением. Впервые, с тех пор как Наполеон стоит у кормила правления, осмелился министр само-

---

\*Город в Голландии. — *Примеч. ред.*

стоятельно поднять знамя войны, распустить паруса и взять собственный курс, и именно эта самостоятельность спасла Францию в роковую минуту. С этого дня Фуше повышается в ранге и в собственном самомнении.

Между тем в Шенбрунн прибыли письма канцлера и военного министра с обвинениями против Фуше, жалобы за жалобами посыпались на дерзость этого штатского министра. Он созвал национальную гвардию, перевел страну на военное положение! Все надеются, что Наполеон накажет Фуше за превышение власти и сместит его. Однако, к удивлению, император еще раньше, чем ему стал известен блестящий успех распоряжений Фуше, обрушивается со всей свойственной ему энергией на других. Канцлер остается с носом: «Я очень раздражен тем, что вы при таких исключительных обстоятельствах так мало использовали свои полномочия; вы должны были при первом известии призвать двадцать, сорок, пятьдесят тысяч национальных гвардейцев», а военному министру он пишет буквально следующее: «Я вижу одного только господина Фуше, который сделал все, что мог, который понял опасность позорной бездеятельности». Таким образом, неспособные, осторожные и робкие коллеги Фуше были им посрамлены, что подтвердил сам император. Вопреки стараниям Талейрана и канцлера, Фуше стоит на первом месте во Франции. Один он сумел показать, что умеет не только повиноваться, но и повелевать.

И в дальнейшем мы увидим, что Фуше умеет прекрасно действовать в минуту опасности. Поставьте его перед труднейшей ситуацией, он сумеет ею овладеть, благодаря смелой находчивости и энергии. Дайте ему самый запутанный узел, он его распутает. Но как ни великолепно умеет он взяться за дело, ему недоступно другое, родственное искусство, наивысшее политическое искусство: своевременно отойти. Если он куда запустил руку, он ее уже больше не вытащит. И едва ему удастся распутать какой-нибудь узел, какая-то дьявольская страсть к игре толкает его вновь запутать его. Так случилось и на этот раз. Благодаря его быстроте, умению поспешно собрать силы и отразить удар, коварное фланговое нападение



отбито. Понеся страшные потери людей и припасов, и еще больший ущерб для своего престижа, англичане погрузили вновь на суда свои войска и уехали. Теперь можно спокойно вздохнуть, а национальных гвардейцев с благодарностью отпустить по домам, наградив их Почетным легионом.

Но честолюбие Фуше еще не удовлетворено. Так прекрасно было разыгрывать императора, поставить на ноги три провинции, отдавать приказы, составлять воззвания, произносить речи, позорить своих бесхарактерных коллег. И все это должно теперь окончиться? И именно теперь, когда, в упоении своей силой, он чувствует ее ежедневно, ежечасно? Нет, Фуше этого не сделает. Нужно продолжать играть в нападение и защиту, даже если бы пришлось для этого выдумать врага. Только бы продолжать бить в барабаны, возбуждать население, создавать тревогу, бурное движение.

И вот он отдает приказ о новой мобилизации ввиду мнимо предполагаемой высадки англичан в Марселе. Созывается, ко всеобщему изумлению, национальная гвардия во всем Пьемонте, Провансе, даже Париже, хотя нигде, ни внутри страны, ни на побережье, не видно ни одного врага, и совершается это единственно оттого, что Фуше охвачен давно не испытанной страстью к организации и мобилизации, оттого, что долго сдерживаемая, долго подавляемая страсть к действию может, наконец, благодаря отсутствию императора, проявить себя.

Но против кого же все эти армии? — спрашивает себя, все более удивляясь, вся страна. Англичане не показываются. Постепенно недоверие охватывает даже самых доброжелательных из его коллег: чего, собственно, добивается своими неистовыми мобилизациями этот непроницаемый человек? Они не понимают того, что у Фуше бурно играют страсти, требующие проявления его сил. А так как они не видят кругом ни одного вражеского штыка, ни одного неприятеля, против которого с каждым днем все более и более вооружается это огромное ополчение, то они невольно начинают подозревать у Фуше высоко залетающие планы. Одни думают, что он подготавливает восстание, другие — что он желает восстановить старую

республику и ждет случая, когда император потерпит снова такое же поражение, как при Асперне, или когда покушение нового Фридриха Штапса\* будет более удачным.

И вот донесение за донесением летят в главную квартиру в Шенбрунн о том, что Фуше сошел с ума или замышляет заговор. На этот раз Наполеон, при всем своем доброжелательстве, озадачен. Он видит, что Фуше зарвался, его нужно осадить; он делает это в своих письмах, очень резких. Он обрушивается на него, называет его «Дон Кихотом, который сражается с ветряными мельницами», и пишет своим прежним суровым тоном: «Во всех получаемых мною известиях говорится о национальной гвардии, созываемой в Пьемонте, Лангедоке, Провансе, Дофине. На кой черт это делается, безо всякой надобности, помимо приказа с моей стороны!» Фуше, с сокрушенным сердцем, должен перестать разыгрывать господина, уйти из министерства внутренних дел, снова стать только министром полиции своего увенчанного славой, увы, слишком рано возвращающегося повелителя:

Был ты веник грязный,  
Им ты снова стань! \*\*

Во всяком случае, хотя он и пересолил, Фуше был единственным, который среди всеобщего смятения, в весьма критический момент, выступил своевременно и разумно для спасения отечества. И Наполеон не может отказать ему в почести, которую он оказал уже столь многим. Теперь, когда на французской земле, обильно удобренной кровью, выросло новое дворянство, когда были облагорожены имена всех генералов, министров и носильщиков, настала очередь и Фуше, старого врага аристократии, самому вступить в ее ряды. Графский титул был ему втихомолку обещан еще раньше. Но старый якобинец поднимется еще выше по этой воздушной лестнице

---

\* Фридрих Штапс, 17-летний юноша, пытался в 1809 году в Шенбрунне осуществить покушение на Наполеона и был расстрелян. — *Примеч. ред.*

\*\* Гете. «Ученик чародея», пер. Холодковского.

рангов: 15 августа 1809 года во дворце его апостольского величества императора австрийского, в парадном зале Шенбрунна, бывший маленький корсиканский лейтенант ставит свою подпись и печать на ослиной коже, и этим пергаментом бывшему коммунисту и беглому монастырскому учителю Жозефу Фуше отныне всемилостивейше присваивается титул — внимание! — герцога Отрантского. Он, правда, никогда не сражался у Отранто, вообще не видел никогда этого южно-итальянского города, но такое звучное, чужестранное дворянское имя чрезвычайно удобно, чтобы замаскировать бывшего архиревolucionонера, и, если произнести его должным образом, можно забыть, что за этим герцогом скрывается палач Лиона, старый Фуше времен распределения хлеба и конфискации имущества. Для того чтобы он чувствовал себя вполне рыцарем, ему жалуются еще знак его достоинства: новый, блестящий герб.

Одно только странно: сам ли Наполеон имел в виду этот едкий, характерный намек, или это была собственная психологическая шуточка чиновника-геральдика? Во всяком случае, в центре герба герцога Отрантского изображена золотая колонна — очень подходящий символ для этого страстного любителя золота. Вокруг колонны обвивается змея, по всей вероятности, также легкое указание на дипломатическую изворотливость нового герцога. Надо думать, что у Наполеона имелись на службе ученые геральдики, потому что трудно придумать для Жозефа Фуше более характерный герб.

## *ГЛАВА ШЕСТАЯ*

### **БОРЬБА С ИМПЕРАТОРОМ**

*1810*

Великий пример всегда либо развращает, либо возвышает целое поколение. Когда появляется человек, подобный Наполеону Бонапарте, людям, находящимся в его окружении, пре-

доставляется выбор: стусеваться и дать себя затмить его величием или, следуя его примеру, напрячь свои силы до крайних пределов. Люди, связанные с Наполеоном, неминуемо должны стать его рабами или его соперниками: такой великий современник не терпит рядом с собой никакой посредственности.

Фуше был одним из тех, кого Наполеон вывел из равновесия. Он отравил ему душу опасным примером ненасытности, демонической воли к постоянному возвышению: Фуше тоже, подобно своему господину, вечно стремится расширить границы могущества, он тоже не способен к мирному существованию, к сытому довольству. Великое разочарование приносят ему дни, когда Наполеон возвращается триумфатором из Шенбрунна и берет в свои руки бразды правления! Чудесное было время, когда по собственному усмотрению он мог распоряжаться, набирать армию, выпускать прокламации и, не считаясь с нерешительными коллегами, принимать смелые решения, властвовать над целой страной, играть за большим столом мировой судьбы! А теперь Жозеф Фуше должен снова вернуться к исполнению обязанностей министра полиции, должен следить за недовольными, за газетными болтунами, составлять ежедневные скучные бюллетени из шпионских донесений, интересоваться пустяками — выяснять, например, с какой женщиной вступил в связь Талейран или кто был вчера виновником падения курса ренты на бирже. Нет, после того, как он прикоснулся к мировым событиям, подержал в руках руль большой политики, все это стало для его мятежного, жаждущего волнений ума мелочью, презренным бумагомаранием. Кто вел большую игру, тот не сможет удовлетвориться такими пустяками. Надо показать, что и в соседстве с Наполеоном можно совершать подвиги, — вот мысль, которая навсегда лишает его покоя.

Но чего, казалось бы, можно достигнуть рядом с тем, кто достиг всего, — кто победил Россию, Германию, Австрию, Испанию и Италию, кому император из старейшей династии Европы дает в супруги эрцгерцогиню, кто низвергнул папу и

тысячелетиями не поколебленную власть Рима, кто, сделав Париж центром, создал европейское мировое государство? Нервно, лихорадочно, ревниво озирается честолюбие Фуше в поисках достойной задачи, и действительно: недостает еще одного камня, чтобы закончить здание мирового государства, — недостает мира с Англией. И этот последний европейский подвиг хочет совершить Жозеф Фуше один, без Наполеона и против Наполеона.

Англия — в 1809 году, как и в 1795-м, — самый лютой враг, опаснейший противник Франции. Перед воротами Аккона, перед укреплениями Лиссабона, во всех концах мира воля Наполеона наталкивалась на спокойную, обдуманную, методическую силу англосаксов, и пока Наполеон завоевал всю европейскую сушу, англичане захватили другую половину мира — моря. Они не могут поймать друг друга; двадцать лет они трудятся, возобновляя время от времени свои старания, чтобы уничтожить друг друга. И тот и другие потеряли в этой бессмысленной борьбе много сил, и тот и другие, не признаваясь в этом, немного устали. Банки во Франции, Антверпене и Гамбурге прекратили платежи с тех пор, как англичане начали душить их торговлю; и на Темзе, в свою очередь, скопляются корабли с непроданным товаром, все больше падают в цене английские и французские товары, и в обеих странах коммерсанты, банкиры и умные дельцы побуждают правительство прийти к соглашению и робко вступают в предварительные переговоры. Но Наполеону кажется более важным, чтобы его глупый брат Жозеф сохранил корону Испании, а сестра Каролина — Неаполь; он прерывает с трудом завязанные мирные переговоры о Голландии и направляет свой железный кулак на союзников, чтобы заставить их закрыть вход в гавани английским кораблям, бросить английские товары в море; и вот уже отправляются в Россию грозные письма с требованием подчинения континентальной системе. Снова страстность берет верх над разумом, и война грозит затянуться, если в последний час у партии мира не хватит мужества выступить энергично.

В этих преждевременно прерванных переговорах с Англией принял участие и Фуше. Он нашел для императора и голландского короля посредника — французского финансиста. Этот финансист устроил назначение голландского, а последний, со своей стороны, английского посредника; по испытанному золотому мосту от правительства к правительству переходили — как во время каждой войны и во все эпохи — тайные попытки соглашения. Но теперь император резко приказал прекратить переговоры. Фуше этим недоволен. Зачем прекращать их? Вести переговоры, торговаться, обещать, обманывать — его главная страсть. И Фуше составляет смелый план. Он решает на свой риск продолжать переговоры, — как бы по поручению императора, — оставляя своих агентов и английское министерство в убеждении, что через них о мире хлопочет император, в действительности же пружину приводит в действие герцог Отрантский. Это — сумасшедшая затея, дерзкое злоупотребление именем императора и собственным положением, беспримерная в истории наглость. Но такие секреты, такая двусмысленная и запутанная игра, мистификация не одного, а одновременно двоих или троих — это исконная страсть прирожденного, неисправимого интригана. Подобно школьнику, высывающему язык за спиной учителя, он проказничает за плечами императора, и, как смелый мальчуган, он рискует возможностью наказания или выговора лишь ради удовольствия, доставляемого дерзостью или капризом. Сотни раз, как мы видели, он забавлялся такими политическими прыжками, но никогда он не позволял себе такого смелого, такого своевольного, такого опасного поступка, как переговоры, которые он ведет с английским министерством иностранных дел о мире между Францией и Англией, против воли императора, но под прикрытием его имени.

Затея гениально подготовлена. Он привлек для осуществления ее одного из своих темных дельцов, банкира Увара, уже несколько раз рисковавшего попасть в тюрьму. Наполеон презирает этого неприятного человека за его скверную репу-

тацию, но это мало трогает Фуше, работающего с ним на бирже. В этом человеке он уверен, ибо неоднократно вытаскивал его из болота и крепко держит его в руках. Он посылает Уврара к влиятельному голландскому банкиру де Лабушер, который обращается к своему тестю, банкиру Берингу, в Лондоне, а этот последний сводит Уврара с английским кабинетом. И вот начинается бешеная карусель: Уврар, разумеется, полагает, что Фуше действует по поручению императора, и официально передает свое поручение голландскому правительству. Это представляется англичанам достаточным основанием, чтобы всерьез отнестись к переговорам. Англия, полагая, что ведет переговоры с Наполеоном, общается с Фуше, который, разумеется, тщательно скрывает от императора ход совещаний. Он хочет дать созреть делу, сгладить трудности, чтобы внезапно, как *deus ex machina*, предстать перед императором и французским народом и гордо сказать: «Вот мир с Англией! То, к чему вы стремились, что не удалось ни одному из ваших дипломатов, сделал я, герцог Отрантский».

Какая досада! Маленькая глупая случайность прерывает эту великодушную волнующую партию в шахматы. Наполеон отправляется со своей молодой женой Марией-Луизой в Голландию навестить своего брата, короля Людовика. Шумный прием заставил его забыть о политике. Но однажды, в случайном разговоре, Людовик, не сомневаясь, как и все, что тайные переговоры ведутся с согласия императора, справляется об их успешности. Наполеон насторожился. Он сейчас же вспомнил, что встретил в Антверпене этого ненавистного Уврара. Что тут происходит? Что значит это общение между Англией и Голландией? Но он не выдает своего удивления: мимоходом просит он брата показать при случае переписку голландского банкира. Тот сейчас же исполняет просьбу императора, и на обратном пути из Голландии в Париж Наполеон находит время ее прочесть: и действительно — это переговоры, о которых он не имел никакого представления.

Придя в ярость, он быстро разгадывает браконьерскую про-

делку герцога Отрантского, опять охотящегося на чужой земле. Но, усвоив сам хитрые приемы этого хитреца, он скрывает свое подозрение за сдержанной вежливостью, чтобы не возбудить подозрения у ловкого противника и не дать ему улизнуть. Только командиру своей жандармерии, Савари, герцогу Ровиго, он сообщает обо всем и приказывает быстро и незаметно арестовать банкира Уврара и завладеть его бумагами. Только тогда, 2 июня, через три часа после этого приказания, он вызывает своих министров в Сен-Клу; грубо и без обиняков он обращается к герцогу Отрантскому с вопросом, знает ли он что-нибудь о поездках Уврара и не сам ли он послал Уврара в Амстердам. Фуше удивлен, но еще не подозревает, в какую западню он попал; он действует как всегда, когда его в чем-нибудь уличают; так же как во время революции в деле с Шометом и в эпоху директории с Бабефом, он старается отделаться, просто-напросто отрекаясь от своего сообщника. О, Уврал, поясняет он, это навязчивый человек, готовый вмешиваться во все дела, это дело к тому же не имеет никакого значения, это просто забава, ребячество.

Но у Наполеона крепкая хватка, и отделаться от него не так легко. «Нет, это не пустые затеи, — бросает в ответ Наполеон. — Это неслыханное превышение власти — вести за спиной своего государя переговоры с врагами, на условиях, которые ему неизвестны и на которые он вряд ли когда-нибудь согласится. Это нарушение долга, которое не может допустить даже самое снисходительное правительство. Необходимо немедленно арестовать Уврара». Фуше стало не по себе. Этого только не хватало, арестовать Уврара! Он может выдать! Фуше всевозможными увертками старается заставить императора отказаться от этой меры. Но император, зная, что его личная охрана уже позаботилась об аресте Уврара, с насмешкой выслушивает разоблаченного министра. Он теперь знает настоящего зачинщика этой отважной затеи, и отнятые у Уврара бумаги быстро разоблачают затеянную Фуше игру.

И вот сверкнула молния из постепенно сгущавшихся туч



недоверия. На следующий день, в воскресенье, Наполеон после обедни (он, несколько лет тому назад арестовавший папу, теперь в качестве зятя сего апостольского величества снова стал религиозным) приглашает всех министров и сановников на утренний прием. Не хватает лишь одного: герцога Отрантского. Он не приглашен, хотя и занимает министерский пост. Император предлагает своим советникам занять места за столом и без предупреждений обращается к ним с вопросом: «Какого вы мнения о министре, который злоупотребляет своим положением и без ведома своего государя завязывает сношения с иностранной державой? О министре, который ведет переговоры на выдуманных им основах и таким образом предает гласности политику страны? Какое наказание предусматривает наш кодекс для подобного нарушения долга?» Поставив этот суровый вопрос, император оглядывается, ожидая, без сомнения, от своих приближенных и креатур немедленных предложений об изгнании или о других столь же позорных мерах. Но, увы! министры, угадывая, в кого направлена стрела, хранят неловкое молчание. В душе они солидарны с Фуше, энергично стремящимся к заключению мира, и, как истинно честные слуги, они рады смелому удару, нанесенному самодержцу. Талейран (уже не министр, а призванный для разбора этого дела как высший сановник) усмехается втихомолку; он вспоминает о собственном унижении, перенесенном два года тому назад, и ему доставляет удовольствие затруднительное положение, в котором очутились, с одной стороны, Наполеон, а с другой — Фуше; он не питает симпатии к обоим. Наконец канцлер Камбасерес нарушает молчание и высказывается в примирительном духе: «Это безусловная ошибка, заслуживающая строгой кары, простительная лишь в том случае, если виновный совершил ее из чрезмерного усердия к служебным обязанностям». — «Чрезмерное усердие к служебным обязанностям!» — гневно восклицает Наполеон, — этот ответ ему не нравится, он не желает оправдания, он желает дать серьезный урок, сурово наказать за самовольные действия. Взволнован-

но он сообщает ход событий и требует от присутствующих назначения пресмника Фуше.

И снова: ни один министр не торопится вмешаться в это неприятное дело, — страх перед Наполеоном всегда уступает место страху перед Фуше. Наконец Талейран, как всегда в затруднительном положении, прибегает к своему излюбленному приему, — шутке. Обращаясь к соседу, он говорит вполголоса: «Несомненно, господин Фуше сделал ошибку, но если б мне пришлось назначать ему пресмника, я назначил бы того же самого Фуше». Недовольный своими министрами, из которых он сам сделал автоматов и робких мамелюков, Наполеон закрывает заседание и призывает канцлера к себе в кабинет. «Право, не стоит труда обращаться за советом к этим господам. Вы видите, какие полезные предложения они делают. Но, надеюсь, вы не думаете, что я хотел спросить у них совета прежде, чем не решил сам этого вопроса. Я сделал свой выбор, — герцог Ровиго будет министром полиции». И не дав герцогу Ровиго возможности высказаться, чувствует ли он влечение к столь неприятной миссии, император уже в тот же вечер встречает его резким приказанием: «Вы министр полиции. Присягните и возьмитесь за дело!»

Увольнение Фуше становится злобой дня, и сразу же все симпатии общества переходят на его сторону. Ничто не могло привлечь к этому двуликому министру таких симпатий, как сопротивление этому безграничному и ставшему в тягость, для привыкшего к свободе поколения, самодержавию человека, выдвинутого революцией. И никто не хочет понять, что стремление к миру с Англией даже против воли воинственного императора является преступлением, заслуживающим кары. Все партии: роялисты, республиканцы и якобинцы, а также и иностранные послы единодушно видят в падении последнего прямодушного министра Наполеона явное поражение идеи мира, и даже в собственной опочивальне Наполеон выслушивает от второй своей жены, Марии Луизы, так же как некогда выслушивал от первой жены Жозефины, слова заступничества

ва за Жозефа Фуше. Единственный человек при дворе, на которого ее отец, австрийский император, указал как на достойного доверия, теперь уволен, — смущенно заявляет она. Что может ярче выразить настроение французской общественности в ту минуту, чем то, что недовольство императора возвысило человека в глазах общества, а новый министр полиции Савари характеризует ошеломляющее впечатление, произведенное увольнением Фуше, следующими словами: «Я полагаю, что весть о появлении чумы не могла бы вызвать большего испуга, чем мое назначение министром полиции». Действительно, Жозеф Фуше вырос вместе с императором за эти десять лет.

Непонятно, как могла эта мера рикошетом задеть Наполеона. Но во всяком случае, устранив Фуше, он поспешно принимает меры предосторожности. Задним числом пиллюля золотится, так же как раньше, в 1802 году, и маскируется новым назначением. Герцогу Отрантскому потеря министерского поста компенсируется почетным титулом государственного советника, и его назначают послом империи в Риме. Письмо об отставке, адресованное Фуше, как нельзя лучше характеризует колебания императора между страхом и гневом, между упреками и благодарностью, между злобой и примирением. «Господин герцог Отрантский, — пишет он, — я ценю услуги, которые вы мне оказали, верю в преданность мне и в ваше усердие к службе. Все же я не имею возможности оставить вас на посту министра, — я уронил бы этим свое достоинство. Пост министра полиции требует полного, неограниченного доверия, а это доверие не может иметь место с тех пор, как вы поставили на карту мое спокойствие и спокойствие государства; в моих глазах это не находит себе оправдания даже в похвальных побуждениях. Ваше странное представление об обязанностях министра полиции не согласуется с благом государства. Не сомневаясь в вашей преданности и верности, я все же был бы вынужден прибегнуть к постоянному утомительному надзору, на который я не способен. Наблюдение за вами

стало бы необходимым следствием многих шагов, которые вы предпринимаете по собственному побуждению, не зная, соответствуют ли они моей воле, моим намерениям... Я не могу надеяться, что вы измените ваш образ действий, так как уже в течение нескольких лет выражения моего недовольства не могли ничего изменить. Опираясь на чистоту своих намерений, вы не хотели понять, что добрые побуждения могут породить немало невзгод. Моя вера в ваши способности и вашу преданность непоколебима. Я надеюсь, что скоро вам представится случай применить первое и доказать второе на моей службе». Это письмо, как секретный замок, открывает тайные чувства Наполеона к Фуше, и стоит второй раз перечитать это маленькое мастерское произведение, чтобы ощутить, как желание и осторожность, признание и антипатия, страх и скрытое уважение пронизывают каждую фразу. Самодержец хочет иметь раба и озлоблен, что наталкивается на самостоятельного человека. Он стремится от него отделаться, но боится обратиться к врагу. Ему жаль его терять и вместе с тем он счастлив, что освобождается от опасного человека.

Но по мере роста наполеоновского самомнения выросло до гигантских размеров и самомнение его министра, а всеобщая симпатия заставляет Жозефа Фуше проявлять еще большую непоколебимость. Нет, герцог Отрантский не позволит так просто себя отстранить. Пусть Наполеон полюбуется, какой вид примет министерство полиции, когда Жозефа Фуше выставят за дверь, и пусть почувствует его преемник, что он сел в осиное гнездо, а не на министерское кресло, взяв на себя смелость его заменить. Не для неловких пальцев старого воина, подобного Савари, совершенного новичка в дипломатическом мире, трудился он десять лет над сооружением превосходно настроенного инструмента, не для того, чтобы глупый неуч продолжал его работу и выдавал за свои достижения все, придуманное его предшественником за дни и ночи тяжкого труда. Нет, им не дадут его увольнение так легко, как они оба себе это представляют. Оба они узнают, и Наполеон и Савари, что

Жозеф Фуше умеет не только гнуть спину, как все приспешники, но и показывать когти.

Фуше решил не уходить с покорно склоненной головой. Он не желает худого мира, не желает спокойной капитуляции. Он, конечно, не так глуп, чтобы оказывать открытое сопротивление, — это не в его натуре. Он позволит себе только небольшую шуточку, остроумную, веселую шуточку, над которой посмеется Париж и которая покажет Савари, что в лесах герцога Отрантского расставлены превосходные капканы. Не надо забывать об удивительной сатанинской черте характера Жозефа Фуше: сильная злоба вызывает у него потребность в жестокой шутке, его мужество, вырастая, превращается не в доблесть, а в грубую, опасную надменность. Тех, кто приближается к нему, он в своем озлоблении никогда не ударяет кулаком, но всегда — шутовским бичом, и притом так, что в шутах остается его противник. Вспениваются и шипят все страстные побуждения, скрытые в этом замкнутом человеке, и эти мгновения гневного веселья обнажают затаенную страстность и демонизм его натуры.

Итак, нужно сыграть славную шутку с его преемником! Ее нетрудно придумать, особенно если имешь дело с таким наивным болваном. Герцог Отрантский облачается в парадный мундир и надевает маску исключительной вежливости для встречи своего преемника, когда тот является к нему с визитом. И действительно, едва входит Савари, герцог Ровиго, как Фуше осыпает его потоком любезностей. Он не только поздравляет его со столь почетным назначением, но и благодарит его за то, что Савари освобождает его от этой утомительной и обременительной должности. Он уверяет, что счастлив получить, наконец, возможность отдохнуть от огромного труда. Ибо управлять этим министерством, говорит он, не только огромная, но и неблагодарная работа, — в чем герцог быстро убедится, — в особенности для человека, не привыкшего к ней. Во всяком случае, он выражает готовность быть ему полезным, чтобы немного запутанные дела министерства — ведь

увольнение застало его врасплох — быстро привести в порядок. Конечно, прибавляет он, это потребует некоторого времени, но если герцог Ровиго согласен, он, Фуше, охотно возьмет на себя небольшой труд, пока герцогиня Отрантская не переберется на новую квартиру. Добродушный Савари, герцог Ровиго, не замечает ложки дегтя в бочке меда. Он приятно поражен исключительной любезностью человека, которого все считают злобным и хитрым, и даже вежливо благодарит герцога Отрантского за его исключительную услужливость. Конечно, пусть Фуше остается, пока это ему нужно; откланиваясь, он растроганно жмет руку честного, неоцененного человека.

Как жаль, что нельзя было видеть и зарисовать лицо Жозефа Фуше в тот миг, когда дверь закрылась за его обманутым преемником. Глупец, неужели ты думаешь, рассуждает он, что я наведу порядок в министерстве и, аккуратно разложив по папкам, передам в твои неуклюжие плавники все тайны, собранные за десять лет кропотливого труда? Неужели стану для тебя смазывать и чистить эту машину, мной чудесно придуманную, совершенно бесшумно всасывающую и перерабатывающую своими зубцами и колесами сведения, поступающие со всей страны? Глупец, тебе еще придется разинуть рот!

Сейчас же начинается бешеная работа. Верный друг призван на помощь. Тщательно запирается дверь в кабинет, и все важные и секретные бумаги поспешно вытаскиваются из дел. Те, которые еще смогут когда-нибудь быть ему полезными, обвинительные и предательские документы, Жозеф Фуше откладывает для личного употребления, остальные беспощадно сжигаются. Зачем господину Савари знать, кто из представителей знати предместья Сен-Жермен, кто из военных, кто из придворных оказывал шпионские услуги? Это слишком облегчит ему работу. Итак — в огонь эти списки! Пусть останутся имена совершенно незначительных шпионов и доносчиков, дворников и проституток, от которых он все равно ничего важного не узнает. С молниеносной быстротой опустошаются

папки. Исчезают важные списки и имена заграничных роялистов и тайных корреспондентов, искусно все приводится в беспорядок, уничтожается регистратура, дела снабжаются неверной нумерацией, цифры переставляются и вместе с тем важнейшие служащие будущего министра привлекаются в качестве шпионов для тайных услуг, чтобы тайно осведомлять прежнего и действительного хозяина.

Винт за винтом разбирает и ломает Фуше громадную машину, чтобы не сходились зубцы и развалилось все сооружение в руках доверчивого преемника. Как русские сжигали свой священный город Москву перед вступлением Наполеона, чтобы лишить его удобной базы, так разрушает Фуше любимое произведение своей жизни. Четыре дня и четыре ночи дымится камин, четыре дня и четыре ночи продолжается эта дьявольская работа. И никто не догадывается, что государственные тайны переносятся в шкафы Ферьера — или рассеиваются вместе с дымом. И потом снова — исключительно вежливый, исключительно любезный реверанс перед доверчивым преемником: прошу вас, садитесь! Рукопожатие и принятая с улыбкой благодарность. Собственно говоря, герцогу Отрантскому следовало бы теперь в курьерской карете мчаться в Рим на свой посольский пост. Но он хочет еще побывать в своем замке — Ферьере. И там, трепеща от нетерпения и радости, он ждет первых признаков гнева своего обманутого преемника, когда тот раскусит шуточку, сыгранную с ним Фуше.

Не правда ли, пьеска прекрасно придумана, тонко разыграна и смело доведена до конца? К сожалению, одну маленькую оплошность допустил Жозеф Фуше в этой веселой мистификации. Он полагал, что потешается над неопытным, свежее испеченным герцогом, этим министерским младенцем, но забыл, что его преемник назначен властелином, который шутить с собой не позволяет. И без того Наполеон недоверчиво следит за поведением Фуше. Ему не нравится эта медлительность в передаче дел и откладывание поездки в Рим. Кроме того, расследование, предпринятое в отношении деятельности

Уввара, главного помощника Фуше, дало неожиданные результаты: выяснилось, что Фуше еще раньше, через другого посредника, передавал документы для английского кабинета. Шутить с Наполеоном пока никому не удавалось. Вдруг, 17 июня, приходит в Ферьер резкое, как удар хлыста, послание: «Господин герцог Отрантский, прошу вас переслать мне донесение, переданное вами некоему господину Фаган для переговоров с лордом Уэлсли, и привезенный им ответ, о которых я ничего не знал». Эти грозные фанфары могли бы разбудить и мертвого. Но Фуше, опьяненный самомнением и задором, не торопится с ответом. Тем временем в Тюильри подливается масло в огонь. Савари обнаруживает ограбление министерства полиции и смущенно сообщает об этом императору. Сейчас же летят второе и третье послания, с приказанием немедленно переслать «весь министерский портфель». Секретарь кабинета лично передает приказание и поручение отобрать у герцога Отрантского противозаконно присвоенные им бумаги. Шутка кончена, начинается борьба.

Действительно, шутка кончена: пора бы Фуше понять это. Но он, словно подгоняемый дьяволом, собирается всерьез померяться силами с Наполеоном, с самым сильным человеком мира. Он выражает посланнику свое крайнее сожаление о том, что не имеет этих бумаг. Он все сжег. Этому не верит ни один человек, и меньше всех Наполеон. Вторично он шлет Фуше напоминание, суровее, настойчивее: его нетерпение известно. Но необдуманность становится упорством, упорство — наглостью, наглость — вызовом. Фуше повторяет, что у него нет ни одного листочка и приводит почти шантажное объяснение мотивов мнимого уничтожения частных бумаг императора. Император, говорит он извиняясь, удостоил его столь большим доверием, что поручил напоминать его братьям об их обязанностях, когда им случалось вызывать недовольство его величества. И так как каждый из братьев, в свою очередь, поверял ему свои жалобы, то он считал долгом не хранить таких писем. Сестры его величества также не были ограждены от клеветы,



и император сам достаивал сообщать ему о всех слухах и поручал допытываться, какие именно неблагоприятные поступки августейших сестер могли их вызвать. Это ясно, совершенно ясно: Фуше намекает императору, что он многое знает и не позволит обращаться с собой, как с лакеем. Посланец понимает шантажный характер угрозы и, конечно, затрудняется решить, в какой форме можно передать повелителю такой дерзкий ответ. Тут император выходит из терпения. Он так неистовствует, что герцог Масса вынужден его успокаивать и, желая положить конец неприятному делу, предлагает лично побудить строптивного министра выдать утаенные бумаги. Вторичное требование исходит от нового министра полиции герцога Ровиго. Но Фуше на все отвечает с одинаковой вежливостью и решительностью: очень, очень жаль, но чрезмерная осторожность побудила его сжечь бумаги. Впервые во Франции позволяет себе человек открыто оказать сопротивление императору.

Но это уж слишком. Так же, как Наполеон за десять лет не оценил Фуше, так и Фуше не оценил Наполеона, допуская мысль, что его можно напугать разглашением нескольких тайн. Сопротивляться перед лицом всех министров человеку, которому царь Александр, австрийский император, саксонский король предлагали в жены своих дочерей, перед которым трепещут, как школьники, все немецкие и итальянские короли! Эта высохшая мумия, этот жалкий интриган, еще не снискивший герцогской мантии, не желает подчиниться человеку, против которого не могли устоять все армии Европы? Нет, с Наполеоном нельзя себе позволять таких шуток. Он немедленно призывает шефа своей личной полиции, Дюбуа, и громит в самых яростных выражениях «мерзкого, подлого Фуше». Твердыми шагами ходит он гневно взад и вперед и вдруг восклицает: «Пусть он не надеется, что ему удастся проделать со мной то, что он сделал с богом, Конвентом и директорией, которых он подло предал и продал. У меня более зоркий взгляд, чем у Барраса; со мной игра не будет так легка, я

советую ему быть настороже. Я знаю, что у него есть документы и инструкции, переданные ему мною, я настаиваю, чтобы он их вернул. Если он откажется, передайте его немедленно десятку жандармов, пусть его отправят в тюрьму, и, клянусь, я ему покажу, как быстро я умею расправляться».

В воздухе запахло гарью. Даже нечувствительный нос Фуше не мог этого не заметить. Когда Дюбуа является, Фуше вынужден допустить, чтобы у него, у герцога Отрантского, у бывшего министра полиции, его бывший подчиненный опечатал бумаги, — мера, которая могла бы оказаться опасной, если бы осторожный министр не спрятал заранее самые существенные и важные документы. Но все же он начинает понимать, что ударился головой о стенку. Он быстро пишет теперь письмо за письмом, одно императору, другие отдельным министрам, чтобы пожаловаться на недоверие, которое оказывают ему, самому честному, самому искреннему, самому выдержанному, самому верноподданному министру, и в одном из этих писем особенно очаровательна фраза: «Il n'est pas dans mon caractère — de changer»\*, в самом деле, эти слова собственноручно, черным по белому, написал этот хамелеон Фуше. И так же, как пятнадцать лет тому назад в столкновении с Робеспьером, он надеется и здесь быстрым примирением отвести несчастье. Он велит запрячь карету и едет в Париж, чтобы лично представить императору свои объяснения или, вернее, извинения.

Но уже поздно. Он слишком долго забавлялся, слишком долго шутил, — теперь примирение невозможно, невозможно и соглашение; кто смел сделать публичный вызов Наполеону, тот должен быть публично унижен. Он получает письмо, такое суровое, такое резкое, какого, вероятно, Наполеон не писал ни одному из своих министров. Оно очень кратко, это письмо, этот пинок ногой: «Господин герцог Отрантский, ваши услуги мне больше не угодны. В течение двадцати четырех часов вы

---

\* Не в моем характере изменять (*фр.*).

обязаны выехать в свое поместье». Никакого упоминания о назначении послом в Рим уже нет; откровенное, грубое увольнение — и к тому же изгнание. Одновременно министр полиции получает приказание проследить за немедленным исполнением эдикта.

Напряжение было слишком велико, игра слишком отважна, — и кончается она неожиданно: Фуше сломлен; он подобен лунатику, который смело гуляет по крышам, но, разбуженный громким окриком, приходит в ужас от своей безумной смелости и падает в пропасть. Тот самый человек, который не терял ясности и спокойствия мысли почти у подножия гильотины, съезживается самым жалким образом под ударами Наполеона.

Это 3 июля 1810 года — Ватерлоо для Фуше. Нервы не выдерживают, — он бросается к министру за заграничным паспортом, он мчится без остановок, меняя на каждой станции лошадей, в Италию. Там он бежит, как отравленная крыса по горячей плите, вдоль и поперек, — с места на место. То он в Парме, то во Флоренции, то в Пизе, то в Ливорно, вместо того чтобы отправиться, согласно предписанию, в свое поместье. Он охвачен отчаянной паникой. Лишь бы только быть вне досягаемости Наполеона — там, куда не дотянется его рука. Даже Италия кажется ему недостаточно верной защитой, — это все же Европа, а вся Европа подчинена этому ужасному человеку. И вот в Ливорно он нанимает корабль, чтобы перебраться в Америку, в страну безопасности, в страну свободы, но буря, морская болезнь и страх перед английскими крейсерами гонят его обратно, и, снова обезумев, несется он в карете зигзагами из порта в порт, из города в город, молит о помощи у сестер Наполеона, у князей, у приятелей, исчезает, появляется снова на поверхности, к огорчению полицейских чиновников, нападающих на его след и снова теряющих его, — словом, он ведет себя как сумасшедший, как обезумевший от страха человек, и впервые он, человек, лишенный нервов, может служить клиническим примером полного нервного потрясения. Никогда Наполеон одним движением, одним уда-

ром кулака не разбивал противника так решительно, как этого самого смелого и хладнокровного из своих слуг.

Это ныряние в безвестность, это появление на поверхности, это лихорадочное скитание продолжается дни, недели, и нельзя понять (даже его превосходный биограф Мадлен не знает этого, да, вероятно, и он сам не знал), чего он хотел и куда стремился. По-видимому, лишь в карете он чувствует себя в безопасности от мнимой мести Наполеона, который давно уже не думает серьезно посягать на жизнь своего неукротимого слуги. Наполеон хотел только настоять на своем, вернуть свои бумаги, и этого он достиг. Ибо пока обезумевший истерик гоняет почтовых лошадей по всей Италии, его жена в Париже поступает значительно благоразумнее. Она капитулирует вместо него. Нет сомнения, что герцогиня Отрантская, чтобы спасти своего мужа, тайно вручила Наполеону коварно скрытые бумаги, ибо никогда не был опубликован ни один из тех интимных листков, на которые намекал Фуше, шантажируя Наполеона. Документы, касавшиеся лично Наполеона, исчезли бесследно так же, как бумаги Барраса, откупленные императором, и бумаги других неудобных поверенных периода его взлета. Быть может, сам Наполеон, а быть может, Наполеон III окончательно уничтожил документы, которые могли не соответствовать канонизированному изображению Наполеона.

Наконец Фуше получает милостивое разрешение отправиться в свое поместье в Экс. Гроза рассеялась, молния поразила лишь нервы, пощадив мозг. 25 сентября прибывает загнанный Фуше в свое поместье, «бледный, усталый, бессвязностью мысли и речи обнаруживая нервное расстройство». Но у него будет достаточно времени, чтобы привести свои нервы в порядок, ибо кто раз оказал сопротивление Наполеону, тот надолго освободился от всех общественных дел. Честолюбивый министр должен расплачиваться за свою злую шутку: снова волна опрокинула его и бросила на дно. На три года лишился Жозеф Фуше положения и должности: началось его третье изгнание.

## ВЫНУЖДЕННОЕ ИНТЕРМЕЦЦО

1810 — 1815

Началось третье изгнание Жозефа Фуше. Отставленный от службы министр, герцог Отрантский, живет в своем великолепном замке Экс как суверенный государь. Ему пятьдесят два года, он познал до конца все трудности и радости, все успехи и неудачи политической жизни, вечную смену прилива и отлива бурного моря судьбы. Он испытал милость могущественных людей и отчаяние покинутого человека, он знал заботы о насущной корке хлеба и был безмерно богат, его любили и ненавидели, его прославляли и изгоняли, — теперь он, герцог, сенатор, превосходительство, министр, государственный советник, миллионер, ни от кого не зависящий, кроме собственной воли, может, наконец, отдохнуть на золотом берегу. Спокойно выезжает он в своей пышной карете на прогулку, делает визиты местному дворянству, пользуется высшими почестями в своей провинции и получает тайные выражения симпатии из Парижа; он избавлен от раздражающей работы с глупыми чиновниками и деспотическим повелителем. Если судить по его довольному виду, герцог Отрантский чувствует себя прекрасно *procul negotiis*\*.

Но как обманчив этот довольный вид, ясно из следующего места (без сомнения, достоверного) его (вообще мало достоверных) мемуаров: «Въезжая в меня привычка знать обо всем не оставляла меня и мучила во время скучного и однообразного, хотя и приятного изгнания»\*\*. По его собственному

---

\* Вдали от дел (*лат.*).

\*\* Я никогда не ссылаюсь в этой работе на вышедшие в 1824 году мемуары герцога Отрантского, потому что они написаны чужой рукой, хотя в них и попадаетея подлинный материал. Насколько сам двуличный Фуше участвовал в их составлении, вопрос до сих пор еще не разрешенный наукой. Пока еще остается в силе остроумное замечание Генриха Гейне, который, говоря об «известной лживости» Фуше, прибавляет: «Его лживость заходила так далеко, что он и после смерти издал лживые мемуары». — *Примеч. авт.*

признанию, «le charme de sa retraite» (прелесть его уединения) придает нежный пейзаж Прованса, а собрание известий и доносов из столицы: «С помощью верных друзей и надежных посланцев я организовал тайную переписку с Парижем, получая регулярно известия, взаимно друг друга дополнявшие. Одним словом, я имел в Экс свою частную полицию». Неутомимый человек занимается теперь ради спортивного интереса тем, чем ему не дозволено заниматься по службе. Если он уже не может более бывать в министерствах, то ему хочется, по крайней мере, заглядывать чужими глазами в замочные скважины, чужими ушами подслушивать совещания, а более всего выведывать, нет ли, наконец, возможности вновь предложить свои услуги, вновь протолкаться к игорному столу современности.

Но герцогу Отрантскому придется еще долго дожидаться в стороне, потому что Наполеон в нем не нуждается. Он стоит на вершине могущества, он покорил Европу, он зять австрийского императора, самое пламенное его желание исполнилось — он отец римского короля. Покорно виляют перед ним все немецкие и итальянские государи, благодарные за милость, за то, что ему угодно было оставить им их короны и коронки; уже пошатнулся его последний и единственный враг — Англия. Этот человек так силен, что он может с улыбкой отказаться от таких ловких, но мало надежных помощников, как Фуше, а сам господин герцог имеет теперь впервые достаточно свободного времени, чтобы спокойно размышлять о безумной заносчивости, толкавшей его состязаться с этим самым могущественным из всех людей. Император не удостоивает его даже чести показать свою ненависть, — с той огромной высоты, на которую судьба его вознесла, он не замечает маленького, злого насекомого, жившего некогда в его шубе, которое он вытряхнул одним сильным взмахом. Он не замечает ни его навязчивости, ни его отсутствия, Фуше для него более не существует. Ничто яснее не указывает павшему министру, как мало Наполеон его уважает и боится, как данное ему

разрешение опять переехать в его замок в Ферьере, в двух часах езды от Парижа. Ближе, правда, император его не допускает. Париж и Тюильри закрыты для человека, который осмелился ему противодействовать.

Только единственный раз в течение этих двух пустых лет Жозеф Фуше был приглашен во дворец. Наполеон подготавливает войну против России, все отговаривают его, и ему хочется, чтобы Фуше высказал на этот раз свое мнение. Фуше, если только можно верить ему, страстно предостерегает, передает (если только он его не сфабриковал *post factum*) тот меморандум, о котором говорится в его воспоминаниях; но Наполеон уже давно может выслушивать лишь тех, кто подтверждает его собственное мнение, он нуждается только в слепом согласии с его словами. Ему кажется, что те, кто отговаривает его от войны, сомневаются в его величии. Поэтому Фуше холодно отсылают обратно в его замок, в праздное изгнание, между тем как император с шестьюстами тысячами человек предпринимает самое смелое и самое безумное из своих дел — поход на Москву.

В удивительной и переменчивой жизни Жозефа Фуше наблюдается странная ритмичность. Когда он поднимается, все ему удается; когда он падает, счастье поворачивается к нему спиной. Теперь, когда он огорчен и озлоблен, находится в тени, в немилости, в бездеятельности, выжидая вдали от города в своем отдаленном замке, именно теперь, когда он разочарован и нуждается в душевной поддержке, сочувствии и нежном утешении, теряет он верную спутницу, единственного человека, в течение двадцати лет поддерживавшего его с любовью и терпением на его опасном пути, — он теряет жену. Во время первого изгнания в мансарде умерли первые двое детей, которых он больше всего любил, во время третьего изгнания покидает его спутница жизни. Эта потеря потрясает его, казавшегося бесчувственным, до глубины души. Хотя этот непроницаемый человек изменял всем партиям, не был устойчив ни в одной идее, но своей некрасивой жене он был нежно предан, был

внимательнейшим мужем, заботливым отцом. Так точно, как под маской сухого бюрократа скрывается нервный интриган и игрок, так сквозь его коварство и низость робко и незаметно проступает французский провинциал, верный мещанин-супруг, человек, чувствующий себя спокойно и хорошо только в узком кругу своей семьи.

Весь запас доброты и прямоты, который имелся в этом лукавом дипломате, он любовно и молчаливо отдал своей спутнице, жившей только для него, никогда не принимавшей участия в придворных празднествах, банкетах и приемах, никогда не вмешивавшейся в его опасную игру. Здесь, в недоступном убежище его частной жизни, скрывалась противодействующая сила, уравновешивавшая все беспокойное, рискованное, неустойчивое его политического существования. И вот рухнула эта опора теперь, когда он в ней более всего нуждается. Впервые чувствуется, что этот каменный человек действительно потрясен, впервые слышится в его письмах теплый, правдивый, искренний человеческий тон. Друзья советуют ему опять добиваться поста министра полиции, после того как его преемник герцог де Ровиго сделался посмешищем всего Парижа, попав, благодаря комичной проделке какого-то полупомешанного субъекта, под арест, но Фуше отказывается от всякого возвращения к политической жизни: «Мое сердце закрыто для всей этой человеческой суеты. Власть не привлекает меня, в моем теперешнем состоянии мне нужен только покой. Общественные дела представляются мне сумбуром, смятением, полным опасностей». Впервые кажется, что этот умный человек научился мудрости в школе страдания. Глубокая потребность в отдыхе, во внутреннем успокоении овладела стариком после двадцати лет бессмысленной погони за почестями, когда он потерял спутницу этих страшных лет. Кажется, в нем угасла навсегда страсть к интригам, и воля к власти наконец-то окончательно сломлена в этой коварной, вечно стремившейся к стяжанию душе.

Но какая трагическая ирония! В первый и единственный



раз, когда беспокойный Фуше, наконец, желает только покоя и отказывается от службы, его противник Наполеон насильно навязывает ему ее.

Не любовь, не привязанность, не доверие заставляют Наполеона опять призвать Фуше на службу, а недоверие, внезапное сомнение в своих силах... Впервые возвращается император побежденным. Не во главе своей армии, высоко на коне, окруженный развевающимися знаменами, въезжает он через триумфальную арку в Париж, а, словно беглец, возвращается ночью, закрыв лицо шубой, чтобы не быть узнанным. Лучшая из всех созданных им армия замерзла в русских снегах, ореол непобедимости утрачен, и с ним исчезли все друзья. Все императоры и короли, которые еще вчера и позавчера стояли перед ним, согнув спины, внезапно вспоминают о своем достоинстве при виде побежденного императора. Весь мир выступает с оружием в руках против своего сурового повелителя. Из России идут казаки, из Швеции выступает старый соперник Бернадот, его собственный тесть император Франц вооружается в Богемии, поработанная Пруссия поднимается, горя мщением, — бесчисленные, легкомысленные войны, как зубы дракона\*, как страшный посев, брошенный в изрытую, опустошенную, истерзанную почву Европы, приносят свои плоды, и жатва этой осенью будет собрана на полях Лейпцига. Повсюду колеблется и трещит гигантское здание, сооруженное в течение десяти лет этой мировой волей. Из Испании, Вестфалии, Голландии и Италии бегут прогнанные братья Бонапарта.

От Наполеона требуется теперь наивысшее напряжение сил. С удивительным проникновением и предусмотрительностью, с десятикратной энергией подготавливает он все для последнего, решительного боя. Из Франции вызывают всех, кто еще в состоянии носить ранец или сидеть на коне, отовсюду, из Италии, из Испании, стягиваются испытанные войска, чтобы восстановить то, что раздробила русская зима своим

---

\*Греческий миф о золотом руне. Из брошенных в землю зубов дракона выросли воины. — *Примеч. пер.*

ледяным молотом. День и ночь тысячи людей куют сабли, отливают пушки, из скрытых золотых запасов чеканят монету, из тайников Тюильри добывают запрятанные сокровища, крепости приводятся в боевую готовность, с востока и запада тяжелой поступью движутся к Лейпцигу войска, и в то же время во всех направлениях раскидываются дипломатические сети. Франция окружена железной колючей проволокой, в которой не должно быть ни одного слабого и ненадежного места, ни одного прорыва, ни одной трещины, каждая возможность должна быть учтена, фронт и тыл надежно защищены. Нельзя допустить, чтобы глупость или злоба вторично, как во время русского похода, потрясли или смутили доверие народа к Наполеону. Все сомнительные люди должны быть выброшены, все подозрительные должны быть под строгим наблюдением.

Перед этим решительным боем император хочет учесть все шансы и предусмотреть каждую возможность, предупредить каждую возможную опасность. И вот он вспоминает о том, кто может стать опасным, о Жозефе Фуше. Мы видим, он о нем не забыл, он только не обращал на него внимания, пока сам был силен. Но теперь, чувствуя неуверенность, он хочет обезопасить себя. Нельзя оставлять у себя за спиной в Париже ни одного возможного врага. Он не может считать Фуше в числе своих друзей и решает, что он должен быть удален из Парижа.

Конечно, еще нет никаких осязательных поводов для того, чтобы арестовать и упрятать в крепость этого беспокойного человека, для ограждения себя от его интриг и козней. Но на свободе его тоже нельзя оставлять. Лучше всего связать руки этого страстного игрока какой-нибудь службой, — если возможно, вдали от Парижа. Но напрасно посреди сумятицы дел и военных приготовлений ищут в главной квартире в Дрездене подобного назначения, которое было бы почетным и ограждало бы от его козней; найти его не так легко. Но Наполеон горит нетерпением удалить из Парижа эту темную личность. Если для Фуше нельзя найти подходящей должности, надо

придумать ее. И вот он получает совершенно фантастическое назначение: правителя занятых в Пруссии областей. Прекрасная должность, первоклассная, без сомнения почетная, но с одним маленьким недостатком; она зависит от одного «если»: ее можно занять, если Наполеон завоюет Пруссию. А между тем военные события до сих пор дают мало оснований на это рассчитывать: Блюхер серьезно теснит императора на его саксонском фланге, таким образом, назначение является какой-то шуткой, чем-то висящим в воздухе.

10 мая император пишет герцогу Отрантскому: «Я приказал сообщить вам о своем намерении вызвать вас ко мне немедленно после того, как я вторгнусь во владения прусского короля, чтобы поставить вас во главе правительства этой страны. Об этом в Париже не должно быть ничего известно. Все должно иметь вид, будто вы отправляетесь в свое имение, и в то время, когда вы будете уже здесь, все должны думать, что вы дома. Одной только императрице известно о вашем отъезде. Я рад возможности воспользоваться вашими услугами и получить доказательства вашей преданности». Так пишет император Жозефу Фуше именно потому, что он совершенно не верит в его «преданность». И угадав тотчас сокровенное намерение своего повелителя, Фуше недоверчиво и неохотно собирается в путь в Дрезден. «Мне было сразу ясно, — пишет он в своих мемуарах, — что император, боясь, чтоб я оставался в Париже, хотел иметь меня в качестве заложника в своих руках и единственно для этого вызвал меня к себе». Поэтому будущий правитель Пруссии не очень торопится в государственный совет в Дрезден, потому что он знает, что в действительности не столько нуждаются в его советах, сколько желают связать ему руки. Он приезжает только 29 мая, и первые слова, с которыми император обращается к нему, следующие: «Вы приехали слишком поздно, господин герцог».

О смехотворном намерении поручить ему управление Пруссией, само собой понятно, в Дрездене не говорят больше ни слова; момент слишком серьезный для подобных шуток. Но

его теперь держат крепко в руках, и к счастью, находится другой великолепный пост для того, чтобы удалить его от места событий, правда, не столь призрачный пост, как прежний, где-то в воздухе или на луне, но все же за сотни километров от Парижа, а именно — наместничество Иллирии. Старый товарищ Наполеона, генерал Жюно, управлявший этой провинцией, сошел с ума, таким образом освободилось помещение для непокорных. С едва скрываемой иронией вручает император это недолговечное полномочие Жозефу Фуше, который, как всегда, не противится, почтительно кланяется и выражает готовность немедленно отправиться в путь.

Название Иллирия звучит несколько по-опереточному, и действительно, какое пестрое государство было выкроено по последнему насильственному мирному договору из обрывков Фриуля, Каринтии, Далмации, Истрии и Триеста! Государство без объединяющей идеи, без смысла и цели, с маленькой крестьянской столицей Лаубах, какая-то уродливая, нежизнеспособная нелепость, порождение опьяненного самовластия и близорукой дипломатии. Фуше находит там только полупустые кассы, несколько десятков скучающих чиновников, очень мало солдат и недоверчивое население, с нетерпением ожидающее ухода французов. Это искусственное, наспех созданное государство трещит уже по всем швам, несколько пушечных выстрелов, — и шаткое здание рухнет. Эти выстрелы сделает в скором времени собственный тесть Наполеона, император Франц, и тогда всему иллирийскому величию наступит конец.

Фуше и думать не может о серьезном противодействии, имея всего несколько полков, составленных главным образом из кроатов, готовых при первом выстреле перейти на сторону своих старых товарищей. Поэтому с первого же дня он начинает готовиться к отступлению и, с целью лучше замаскировать его, сохраняет внешне вид беззаботного правителя, дает балы, устраивает приемы, парады своим войскам, а ночью тайно отправляет деньги и документы в Триест. Все, что он

может сделать в качестве правителя, ограничивается тем, чтобы осторожно, шаг за шагом, с возможно меньшими потерями эвакуироваться. При этом стратегическом отступлении блестяще обнаруживаются снова его обычное хладнокровие, решительность и энергия. Он отступает шаг за шагом и без потерь из Лаубаха в Герц, из Герца в Триест, из Триеста в Венецию; ему удается вывезти из своей недолговечной Иллирии почти всех своих чиновников, кассу и много ценных материалов. Но что составляет потеря этой жалкой провинции! В эти самые дни теряет Наполеон самое важное и последнее в этой войне большое сражение, он проигрывает битву народов при Лейпциге и вместе с тем господство над миром.

Фуше безупречно, наилучшим образом справился со своей задачей. Теперь уже не приходится больше управлять Иллирией, он свободен и, разумеется, желает вернуться в Париж. Но Наполеон иного мнения. Ни под каким видом нельзя допустить, именно теперь, людям, подобным Фуше, вернуться в Париж. Еще в Дрездене император сказал: «Фуше такой человек, которого нельзя оставлять в Париже», а теперь, после Лейпцига, эти слова приобретают в двадцать раз большее значение. Его нужно убрать куда-нибудь, куда-нибудь подальше, во что бы то ни стало. Посреди тяжелых забот об отражении коалиции пяти держав император поспешно придумывает другую миссию для неудобного человека и опять такую, которая сделала бы его безвредным на все время похода. Нужно дать ему возможность заняться дипломатическими интригами и не пускать в Париж этого человека с вечным зудом в руках. Наполеон посылает его в Неаполь (Неаполь далеко), чтобы напомнить Мюрату, неаполитанскому королю и шурина императора, занятому больше своим королевством, чем делами империи, о его обязанностях и побудить его идти с армией на помощь императору.

Неизвестно, как Фуше исполнил свое поручение: убеждал ли он старого генерала наполеоновской кавалерии оставаться верным последнему или, наоборот, поддерживал его в измене,

историками не выяснено. Во всяком случае, цель императора достигнута — Фуше по ту сторону Альп, за тысячи миль, в течение четырех месяцев занят бесконечными переговорами. В то время как австрийцы, пруссаки и англичане уже идут на Париж, он непрерывно и довольно бесцельно должен мотаться взад и вперед между Римом, Флоренцией и Неаполем, между Генуей и Луккой и тратить время и силы на неразрешимую задачу. Даже сюда неудержимо продвигаются австрийцы; после Иллирии ему приходится терять Италию, второе порученное ему государство. В результате император Наполеон в начале марта не имеет ни одного государства, куда бы он мог отослать этого неудобного человека, да и, кроме того, в собственной Франции он уже не может ни приказывать, ни запрещать. Таким образом, 11 марта Жозеф Фуше, отстраненный благодаря гениальной предусмотрительности императора от всяких политических махинаций во Франции, возвращается после четырехмесячного отсутствия через Альпы на родину. А когда он, наконец, сбрасывает с себя цепи, оказывается, что он опоздал на четыре дня.

В Лионе Фуше узнает, что войска трех императоров движутся на Париж. Итак, через несколько дней падет Наполеон и будет образовано новое правительство. Само собой разумеется, что он снедаем честолюбием и горит нетерпением «d'avoir la main dans la pâte», присоединиться к общественному пирогу и урвать себе лучший кусок. Но прямой путь в Париж уже прегражден наступающими войсками, он должен ехать скучными окольными путями через Тулузу и Лимож; наконец, 8 апреля его почтовая карета въезжает в Париж. С первого взгляда он понял, что приехал слишком поздно. А кто опаздывает, тот виноват. Наполеон сумел отплатить ему за все козни и шутки, предусмотрительно удалив его от дел на то время, когда можно было ловить рыбу в мутной воде. Теперь Париж уже сдался, Наполеон смещен, королем избран Людовик XVIII, и образовано в полном составе новое правительство с Талейраном во главе. Этот проклятый хромым был своевременно на

месте и быстрее переменял фронт, чем это удалось сделать Фуше. Уже русский царь живет в доме Талейрана, новый король осыпает его знаками своего доверия, все министерские посты роздал он согласно собственным соображениям и простер свою низость так далеко, что не оставил ни одного для герцога Отрантского, который между тем бессмысленно и бесцельно управлял Иллирией и занимался дипломатией в Италии. Никто его не ждал, никто им не интересуется, никто не хочет знать его, никто не ищет у него совета и помощи. И снова Фуше, как это часто случалось в его жизни, конченный человек.

Долго не верится ему, что все так равнодушно к его падению, его, великого противника Наполеона. Он явно и тайно предлагает свои услуги; его встречают в передней Талейрана, у брата короля, у английского посланника, на заседаниях сената, повсюду. Но никто не обращает на него внимания. Он пишет письма, в том числе Наполеону, советуя ему отправиться в Америку, и одновременно посылает копию этого письма Людовику XVIII, чтобы выслужиться перед ним. Однако он не получает ответа. Он подает просьбы министрам о достойном его назначении, — его принимают вежливо, но не дают ходу. Он старается выдвинуться при помощи женщин, но все напрасно — он совершил самую непростительную ошибку в политике: он прибыл слишком поздно. Все места уже заняты, и никто из сановников не желает добровольно встать, чтобы любезно уступить свое место герцогу Отрантскому. Честолюбцу не остается ничего больше, как вновь уложить свои чемоданы и отправиться в свой замок Ферьер. Со смертью его жены у него остается один помощник: время. До сих пор оно всегда ему помогало, оно ему поможет и на этот раз.

И в самом деле, оно ему и на этот раз помогает. Фуше скоро начинает чувствовать, что в воздухе опять пахнет порохом. Человек, имеющий тонкий слух, может услышать, даже будучи в Ферьере, как скрипит и трещит трон. Новый повелитель, Людовик XVIII, совершает ошибку за ошибкой. Ему угодно игнорировать революцию и забывать, что после двадцати лет

гражданского равенства Франция не захочет вновь гнуть спину перед двадцатью дворянскими родами. Он недооценивает всей опасности, которую представляет преторианская клика генералов и офицеров, переведенная на половинное жалование, недовольная и ворчащая на низкую скарденность огуречного короля. Да, если б вернулся Наполеон, тогда началась бы опять хорошая, отличная война. Тогда можно было бы опять отправиться в поход, грабить земли, делать карьеру и быстро захватить поводья в свои руки! Уже наблюдаются подозрительные сношения между отдельными гарнизонами, в армии готовится заговор, и Фуше, который никогда и ни при каких обстоятельствах не терял окончательно связи со своим детищем — полицией, прислушивается и узнает нечто такое, что наводит его на размышления. Он спокойно усмехается: да, добрый король узнал бы интересные вещи, если бы он сделал герцога Отрантского министром полиции. Но к чему предупреждать этих придворных льстецов? До сих пор только перевороты возвышали Фуше, только менявший направление ветер. Поэтому он спокоен, замкнут, неподвижен; он медленно и глубоко дышит, как борец перед боем.

5 марта 1815 года примчался в Тюильри гонец с поразительной новостью: Наполеон покинул Эльбу и высадился с шестьюстами соратниками 1 марта в Фрежюсе. Королевские придворные выслушивают новость с улыбкой презрения. Они ведь всегда говорили, что этот Наполеон Бонапарте, которого так превозносили, не в своем уме. *Parbleu*, ведь это смешно! — с шестьюстами человек этот глупец хочет сражаться с королем, за которым стоят целая армия и вся Европа! Нечего волноваться и беспокоиться: кучкой жандармов можно будет укротить этого жалкого авантюриста. Маршал Ней, старый боевой товарищ Наполеона, получает приказ схватить его. Хвастливо обещает он королю не только схватить нарушителя спокойствия, но даже «в железной клетке возить его по стране». В течение первой недели Людовик XVIII и его приближенные беззаботно, ничего не подозревая, гуляют по Парижу, а



«Moniteur» уверенно описывает всю эту историю в шутливой форме. Но скоро распространяются неприятные известия. Наполеон нигде не встречает сопротивления, каждый высылаемый против него полк не уменьшает, а увеличивает его крохотную армию, а тот самый маршал Ней, который обещал развезить его в железной клетке, переходит с развернутыми знаменами на сторону своего бывшего повелителя. Наполеон уже в Гренобле, уже в Лионе, еще неделя, и его пророчество исполнится: императорские орлы будут снова развеяться на башнях собора Нотр-Дам.

Королевским двором овладевает паника. Что делать? Какие преграды противопоставить этой лавине? Слишком поздно сознают король и его графские и княжеские советники, какое это было безумие — чуждаться народа и стараться забыть, что между 1792 и 1815 годами произошло во Франции нечто вроде революции. Надо принять меры к тому, чтобы немедленно же приобрести любовь народа! Каким-нибудь образом показать этому глупому народу, что его действительно любят, что уважают его желания и права; надобно немедленно править по-республикански, по-демократически! Всегда, когда уже слишком поздно, короли и императоры торопятся выказать себя истыми демократами. Но как приобрести любовь республиканцев? Очень просто: одного из них пригласить в министерство, какого-нибудь настоящего радикала, который тотчас же наденет на белые лилии красные украшения! Но где его найти? Тогда внезапно вспоминают о некоем Жозефе Фуше, который несколько недель тому назад являлся во все приемные и засыпал своими предложениями короля и его министров. Да, это и есть нужный человек, единственный, которого можно использовать всегда и для всяких дел. Поскорей же вытащить его из забвения! Всегда, когда какое-нибудь правительство испытывает затруднения, будь это директория, консульство, империя или королевство, всегда, когда нужен настоящий посредник, способный сгладить отношения, навести порядок, обращаются к человеку с красным знаменем, к само-

му ненадежному по своему характеру человеку, но весьма надежному дипломату, к Жозефу Фуше.

Герцог Отрантский удовлетворен тем, что те самые графы и князья, которые еще совсем недавно холодно отклоняли его услуги и поворачивались к нему спиной, теперь обращаются к нему с почтительной настойчивостью, предлагают министерский портфель, даже, можно сказать, желают втиснуть его ему в руки. Но старый министр полиции слишком хорошо понимает действительное политическое положение и не желает теперь, в решающий час, компрометировать себя ради Бурбонов. Он чувствует, что агония уже наступила, если его так настоятельно приглашают в качестве врача. Поэтому он вежливо отклоняет предложение под различными предлогами, давая понять, что следовало к нему обратиться раньше. Но чем ближе продвигаются войска Наполеона, тем быстрее исчезает заносчивость при королевском дворе. Все настойчивее убеждают и упрашивают Фуше взять на себя управление, даже собственный брат Людовика XVIII приглашает его на тайное совещание. Но на этот раз Фуше сохраняет твердость не из убеждения, а оттого, что его мало воодушевляет гнилое дело Бурбонов, и он отлично чувствует себя, качаясь на качелях между Людовиком XVIII и Наполеоном. Теперь уже слишком поздно, успокаивает он брата короля; пусть только сам король укроется в безопасном месте, а авантюра Наполеона недолговечна, и он со своей стороны обещает сделать все, чтобы помешать императору. Пусть только доверятся ему. Таким образом он заручается расположением Бурбонов и может, в случае победы короля, выдавать себя за их приверженца. С другой стороны, если победит Наполеон, он может гордо ссылаться на то, что отклонил предложение Бурбонов. Слишком часто применял он испытанную систему двойного страхования и не отказывается от нее и на этот раз: он будет считаться верным слугой двух господ, императора и короля.

Но на этот раз дело принимает еще более веселый оборот: как и всегда в решительные моменты жизни Фуше, трагическая

сцена превращается в комическую. Бурбоны за это время кое-чему уже научились у Наполеона и знают, что в опасные минуты нельзя оставлять у себя за спиной такого человека, как Фуше. За три дня до отъезда короля, в то время, когда Наполеон уже близко от Парижа, полиция получает приказание арестовать Фуше и выслать из Парижа как подозрительного человека, отказывающегося принять министерский портфель.

Министром полиции, которому приходится выполнять это неприятное поручение, был тогда — история любит неожиданные эффекты — Бурьенн, интимнейший друг юности Наполеона, его товарищ по военной школе, его спутник в Египте, долголетний секретарь, знавший всех его приближенных и прекрасно знавший, конечно, Фуше. Он несколько испуган, когда король дает ему поручение арестовать герцога Отрантского. «Благоразумно ли это?» — позволяет он себе заметить. Король настойчиво подтверждает свое приказание. Бурьенн качает головой: это не так-то легко исполнить. Фуше стреляный воробей, его не поймашь просто силками среди бела дня; для поимки такой крупной дичи нужно больше времени и нужна исключительная ловкость. Но ничего не поделаешь, он отдает приказание. Действительно, 16 марта 1815 года в 11 часов утра полицейские окружают на улице экипаж герцога Отрантского и объявляют его, согласно приказу Бурьенна, арестованным. Фуше, никогда не терявший хладнокровия, презрительно улыбается, говоря: «Нельзя арестовать посреди улицы бывшего сенатора». И прежде чем агенты, в течение долгого времени его подчиненные, успели опомниться, он велел кучеру гнать быстрее, и вот карета уже катится по направлению к его квартире. Полицейские стоят смущенные, с открытыми ртами посреди улицы и глотают пыль от отъезжающего экипажа. Бурьенн был прав: не так легко поймать человека, который сумел уйти целым и невредимым от Робеспьера, Конвента и Наполеона.

Когда одураченные полицейские докладывают Бурьенну,

что Фуше от них ускользнул, министр полиции решает принять строгие меры: речь идет теперь о его авторитете; он не может допустить с собой подобных шуток. Он немедленно приказывает окружить со всех сторон дом на улице Черутти и охранять ворота. Вооруженный отряд поднимается по лестнице, чтобы поймать беглеца. Но Фуше приготовил для них другую шутку, одну из тех великолепных и единственных в своем роде уловок, которые ему почти всегда удавались именно в самых трудных, напряженных ситуациях. Неоднократно было замечено, что в минуты опасности у него появлялось безумное желание шутить и вводить людей в заблуждение. Продувной мистификатор вежливо встречает чиновников, которые хотят арестовать его, и рассматривает приказ об аресте. Да, он правильный. Разумеется, он не думает противиться приказу его величества короля. Он просит чиновников посидеть здесь в салоне, пока он не отдаст несколько мелких распоряжений, а затем немедленно последует за ними. Фуше говорит это самым вежливым тоном и направляется в соседнюю комнату.

Чиновники почтительно ждут, пока он не кончит своего туалета, — нельзя же, в самом деле, схватить сенатора, бывшего министра и сановника, как воришку, за шиворот и надеть на него ручные кандалы. Они почтительно ожидают некоторое время, но наконец им кажется, что оно длится подозрительно долго. Так как он все еще не возвращается, чиновники идут в соседнюю комнату и здесь открывают, — какая комическая сцена в такое тревожное время, — что Фуше от них удрал. Совсем как в кино, тогда еще не существовавшем, пятидесятишестилетний старик приставил в саду лестницу к стене и, пока полицейские почтительно дожидались его в салоне, с удивительной для его возраста ловкостью просто спустился по ней в соседний сад королевы Гортензии, а оттуда благополучно скрылся. Вечером весь Париж смеется над ловкой шуткой. Конечно, долго это не может продолжаться, — герцог Отрантский слишком известен и не может окончательно скрыться.

Но Фуше и на этот раз правильно рассчитал. Ему важно было выиграть несколько часов, потому что король и его приближенные должны теперь думать, как бы самим спастись от приближающейся кавалерии Наполеона.

Поспешно укладывают чемоданы в Тюильри, и король добился своим суровым приказом лишь того, что Фуше имеет публичное доказательство своей никогда не существовавшей преданности Наполеону, в которую сам император, без сомнения, не верит. Но когда он слышит об удавшемся трюке этого политического акробата, то, смеясь и против воли удивляясь, говорит: «Il est décidément plus malin, qu'eux tous» («Он, конечно, самый продвунной из них всех»).

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### ПОСЛЕДНЯЯ БОРЬБА С НАПОЛЕОНОМ

#### 1815 — «Сто дней»

В полночь 19 марта 1815 года темно и безлюдно на громадной площади; двенадцать карет въезжают во двор Тюильри. Открывается потайная дверь, из нее выходит лакей, держа в поднятой руке факел, и за ним с трудом тащится, опираясь на руки двух верных дворян, тучный человек с астматическим дыханием — Людовик XVIII. Всех охватывает жалость при взгляде на немощного короля, только что вернувшегося после пятнадцатилетнего изгнания и теперь снова вынужденного темной ночью бежать из своей страны. Большинство присутствующих преклоняют колена, когда сажают в карету этого старика, потерявшего в своей дряхлости последние признаки величия и вызывающего сострадание трагичностью своей судьбы. Лошади двинулись, остальные кареты последовали за первой, еще несколько минут слышен топот лошадей сопровождающей его стражи. И снова громадное здание погрузилось в тишину до утра — до утра 20 марта,

первого из ста дней вернувшегося с Эльбы императора Наполеона.

Прежде всего появляется любопытство. Дрожащими сладострастными ноздрями оно обнюхивает дворец, чтобы узнать, спаслась ли вспугнутая королевская дичь от императора: купцы, бездельники, фланеры. Одни со страхом, другие с радостью — каждый по темпераменту и убеждениям — шепчут друг другу новости. К десяти часам стекаются густые толпы. И так как лишь масса придает мужество отдельным людям, то начинают раздаваться первые отчетливые возгласы: «Vive l'Empereur!» и «A bas le Roi!» Внезапно приближается кавалерия, офицеры, получавшие в дни королевства половинное жалованье. Они чувствуют, что вместе с императором возвращаются война, работа, полный оклад, отличия, звания; с шумными возгласами радости они под командой Эксельмана беспрепятственно занимают Тюильри, и так как переход из рук в руки совершается спокойно, бескровно, то бумаги на бирже поднимаются. В полдень на старинном королевском замке водружен без единого выстрела трехцветный флаг.

Уже появляются сотни любителей наживы, «верных слуг» императорского двора: придворные дамы, прислуга, стольники, повара, старшего государственные советники и церемониймейстеры, все, кто лишился работы и заработка под властью белой лилии, все новое дворянство, которое Наполеон извлек из обломков революции и которому дал придворные чины. Все в парадных костюмах, генералы, офицеры, дамы: снова сверкают бриллианты, сабли и ордена. Покои открываются и подготавливаются к приему нового повелителя; поспешно убираются королевские эмблемы — на шелку кресел опять сияет вместо королевских лилий наполеоновская пчела. Каждый торопится быть вовремя на месте, быть сразу отмеченным в качестве «верноподданного». Тем временем наступает вечер. Как для бала или большого приема, зажигают ливрейные лакеи канделябры и свечи; далеко, до самой триумфальной арки, виден свет из окон — снова императорского — дворца, привлекающий громадные толпы любопытных в сады Тюильри.

Наконец, в девять часов вечера, появляется мчащаяся галопом карета; справа, слева, спереди, сзади ее не то защищают, не то сопровождают всадники самых разнообразных чинов, рангов, восторженно размахивающие саблями (они их скоро пустят в ход против европейских армий). Из густой толпы раздаются взрывы возгласов: «Vive l'Empereur!», отдаваясь в просторном четырехугольнике дребезжащих окон. Единой бешеной волной прибоя ударяется толпа о карету; солдаты вынуждены, обнажив сабли, защищать императора от угрожающих его жизни выражений восторга. Они поднимают его на руки и благоговейно несут святую добычу, великого бога войны, сквозь неистовствующую толпу вверх по лестнице, в старый дворец. На плечах своих солдат, с закрытыми от избытка счастья глазами, со странной улыбкой лунатика на устах, поднимается на императорский трон Франции изгнанник, двадцать дней тому назад покинувший Эльбу. Это последний триумф Наполеона Бонапарте. В последний раз он переживает такой необычайный подъем, такой сказочный перелет из мрака изгнания к высочайшим вершинам могущества. В последний раз раздается в ушах, подобно шуму волнующегося моря, любимый возглас «император». Минуту, десять минут наслаждается он, с закрытыми глазами и смятенной душой, этим пьянящим хмелем власти. Затем он велит закрыть двери дворца, велит офицерам удалиться и призвать министров: работа закипает. Он должен быть достоин подарка судьбы.

Густая толпа, наполнившая зал, ждет выхода вернувшегося императора. Но первый же взгляд приносит ему разочарование: ему остались верны не самые лучшие, не самые умные, не самые значительные люди. Он видит придворных и приспешников, жадно ожидающих мест и событий — много мундиров и мало умов. Не явились без объяснений причины почти все великие маршалы, подлинные спутники его полета; они остались в своих замках или перешли к королю, причислив себя, в лучшем случае, к нейтральным, если не к его врагам. Из министров отсутствует самый умный, самый ловкий —

Талейран, из новосозданных королей — его родные братья и сестры, и даже жена и сын. Среди собравшихся он видит много просителей и мало достойных; ликующие возгласы тысячной толпы еще волнуют его кровь, но сквозь триумф его ясный, дальновидный ум уже трепещет от предчувствия опасности.

Вдруг из передних зал доносится шепот, все возрастающий шепот удивления и радости, и люди в мундирах и расшитых фраках почтительно отступают, образуя проход. Подъехала карета, правда с опозданием, и из нее выходит худая, бесцветная, хорошо известная всем фигура герцога Отрантского, — он явился, но ничего не требует, он предлагает свои услуги, но не так назойливо, как эти мелкие придворные. Медленно, равнодушно, с полузакрытыми, непроницаемыми глазами, шествует он, не отвечая на приветствия, по образовавшемуся проходу, и именно это всем хорошо известное, естественное спокойствие вызывает восторг. «Дорогу герцогу Отрантскому!» — выкликают лакеи. Люди, знающие его ближе, изменяют этот возглас: «Дорогу Фуше. Вот человек, который больше всего теперь нужен императору!» Он избран, назначен, выдвинут общественным мнением, прежде чем император принял решение. Он является не просителем, а властью, величественный и важный; и действительно, Наполеон не заставляет его ждать, тотчас же подзывает он старейшего своего министра, вернейшего своего врага. Об их беседе известно так же мало, как о беседе, происходившей тогда, когда Фуше помог бежавшему из Египта генералу стать консулом и заключил с ним союз неверной верности. Но когда час спустя Фуше вышел из покоев Наполеона, он был снова его министром, — в третий раз министром полиции.

Еще не высохла типографская краска на листах «Moniteur», извещавшего о назначении герцога Отрантского министром Наполеона, как уже оба, император и министр, втайне жалеют, что связались друг с другом. Фуше разочарован: он ждал большего. Уже давно холодное пламя его честолюбия не удовлетворяется невзрачной должностью министра полиции. Назначение,



представлявшее собой в 1796 году спасение и отличие для изголодавшегося, опального бывшего якобинца Жозефа Фуше, теперь, в 1815 году, представляется миллионеру, популярному герцогу Отрантскому жалкой синекурой. Его самознание росло по мере успехов; его увлекает только большая мировая игра, волнующий азарт европейской дипломатии, где игорным столом является Европа, а ставкой — судьба всех стран. Десять лет ему загоразивал путь единственный равноценный ему дипломат — Талейран; теперь, когда его опаснейший соперник делает тройную ставку против Наполеона, собирая в Вене штыки всей Европы для борьбы с императором, Фуше считает себя вправе рассчитывать на должность министра иностранных дел как единственный способный занять его человек.

Но Наполеон, не доверяя ему, и не без оснований, отказывается поручить этот самый важный портфель ловким, слишком ловким и потому ненадежным рукам. Только министерство полиции сует он Фуше, и то против желания; он знает: чтобы обезвредить его опасное честолюбие, надо бросить ему хоть крохи власти. Но и в пределах этого скромного ведомства Наполеон сажает шпиона, который должен следить за ненадежным министром, а злейшего врага Фуше, герцога Ровиго, назначает шефом жандармерии. И вот в первый день их возобновленного союза возобновляется старая игра: Наполеон назначает свою собственную полицию для слежки за министром полиции. А Фуше по-прежнему, за спиной Наполеона, рядом с ним ведет свою собственную политику. Оба обманывают друг друга, не пряча карт: опять должно решиться, кто одержит верх: более сильный или более ловкий, пылкость или хладнокровие.

Неохотно Фуше принимает управление министерством. Однако он его все-таки принимает. У этого великолепного и страстного игрока есть трагический дефект: он не может оставаться в стороне, не может ни одного часа быть только зрителем мировой игры. Он постоянно должен держать в руках

карты, должен играть, тасовать, передергивать, блефовать, крыть карты противника и козырять. Он должен всегда сидеть за столом — все равно за каким, за королевским, императорским или республиканским: лишь бы участвовать в игре, лишь бы «avoir la main dans la pâte», быть поближе к пирогу, все равно где, лишь бы быть министром, правым, левым, императорским, королевским, лишь бы грызть кость могущества. У него не хватит ни нравственной, ни этической силы, ни гордости, ни даже нервной выдержки, чтобы отказаться отброшенных ему объедков власти. Он всегда согласится принять должность, которую ему дают; ни человек, ни дело не имеют для него значения — весь интерес в игре.

Неохотно и Наполеон принимает Фуше обратно на службу. Он знает этого пробирающегося темными путями человека десять лет и уверен, что он никому не служит, а только отдастся своей страсти к азарту. Он знает, что этот человек бросит его, как труп дохлой кошки, покинет его в самый опасный момент, так же, как покинул и предал жирондистов, террористов, Робеспьера и термидорианцев, так же, как своего спасителя Барраса, директорию, республику, консульство. Однако он ему нужен, или ему кажется, что он нужен — так же, как Наполеон пленил Фуше своей гениальностью, так Фуше пленил Наполеона своими способностями. Отвергнуть его было бы опасно для жизни; сделать Фуше врагом в такой тревожный момент не решается даже Наполеон. Он избирает поэтому меньшее зло, — занять его работой, при помощи прав и должностей не дать ему быть неверным слугой. «Только от предателей я слышал истину», — говорит впоследствии на острове Святой Елены побежденный император, вспоминая Фуше. Даже в минуты крайнего озлобления не тухнет огонек уважения к необыкновенным способностям этого дьявольского человека, ибо гений нетерпимее всего к посредственности; и Наполеон, заведомо обманутый Фуше, вместе с тем сознает, что тот понимал его. Как умирающий от жажды протягивает руку за отравленной водой, так и Наполеон предпочитает услуги ум-

ного и ненадежного министра услугам министра верного и недалекого. Десять лет озлобленной вражды подчас таинственнее связывают людей, чем рядовая дружба.

Больше десяти лет служил Фуше Наполеону — властелину, гению, десять лет он был в числе покоренных Наполеоном. В 1815 году, в последней борьбе, Наполеон с самого начала оказывается слабейшим. Еще раз, в последний раз, он испытал опьянение славой; неожиданно, словно на орлиных крыльях, судьба перенесла его с чужого острова на императорский трон. Посланные против него полки, в сотни раз превышающие численностью армию Наполеона, бросают оружие, увидев его плащ. Начав свой поход с шестью сотнями людей, изгнанник за двадцать дней добирается до Парижа, предводительствуя уже целой армией, и под гром ликований снова ложится в постель королей Франции. Но какое жестокое пробуждение в последующие дни! Как быстро бледнеет фантастический сон под наплывом разочарований, принесенных действительностью! Он снова император, но лишь по имени, ибо мир, некогда поработанный и ползавший у его ног, не признает больше своего господина. Он пишет письма и прокламации, страстные обещания мира; их читают и улыбаются, пожимая плечами, не достаивая их ответом.

Посланцы к императору, королям и великим князьям задерживаются на границах, как контрабандисты, и вынуждены бездействовать. Одно-единственное письмо окольными путями доходит до Вены, — Меттерних бросает его нераспечатанным на стол в зале заседаний. Редуют ряды его соратников, старые друзья и товарищи рассеялись по всем направлениям: Бертье, Бурьенн, Мюрат, Евгений Богарне, Бернадот, Ожеро, Талейран сидят и восседают в своих имениях или находятся в свите его врагов. Тщетно он пытается обмануть себя и других; он велит великолепно обставить покои императрицы и римского короля, словно они собираются вернуться на следующий день; в действительности же Мария Луиза флиртует со своим чичисбеем Нейпертом, а его сын играет в Шенбрунне австрий-

скими оловянными солдатиками, под строгим надзором императора Франца. Даже собственная страна не признает трехцветного знамени. Восстания на юге, на западе: крестьяне устали от постоянного набора рекрутов и стреляют в жандармов, собирающихся забрать у них лошадей для пушек.

На улицах расклеены издевательские плакаты, пародирующие декреты Наполеона: «Пункт I. Ежегодно мне должны приносить триста тысяч жертв. Пункт II. Если понадобится, я повышу эту цифру до трех миллионов. Пункт III. Все эти жертвы посылаются почтой на главную бойню». Нет сомнения, все стремятся к миру, и благоразумные люди готовы послать к дьяволу нежеланного властелина, если он не гарантирует мира и — как трагична его судьба — теперь, когда воинственный император впервые действительно хочет покоя, при условии, что мир оставит ему власть, теперь ему никто не верит. Честные буржуа, трепещущие за свою ренту, не разделяют воодушевления офицеров, получающих половинный оклад, и профессиональных вояк, для которых мир является застоем в делах, и едва Наполеон — вынужденный к этому — дарует им избирательные права, как они дают ему пощечину, избирая именно тех, кого он пятнадцать лет преследовал и держал в тени — революционеров 1792 года Лафайета и Ланжине.

Нигде нет союзников, в самой Франции мало приверженцев, он едва находит человека, с которым может посоветоваться в более интимном кругу. Недовольный и смущенный, блуждает император по пустому дворцу. Нервы и сила сопротивления изменяют ему; то, теряя самообладание, он повышает голос, то впадает в тупую летаргию. Часто ложится он спать среди белого дня: не физическая, а душевная усталость, словно свинцовой тяжестью, приковывает его на целые часы к постели. Однажды Карно застает его в слезах перед портретом римского короля, его сына; окружающие слышат жалобы на закат его счастливой звезды. Внутренний компас указывает, что зенит успеха достигнут, и беспокойно колеблется стрелка его

воли от полюса к полюсу. Против желания, не надеясь на успех, готовый к любым соглашениям, вступает наконец избалованный победами император в войну. Но дух победы не витает больше над покорно поникшим челом.

Таков Наполеон в 1815 году, — мнимый властелин, мнимый император, кругом в долгу у судьбы, облеченный в призрачный плащ могущества. Бок о бок стоящий с ним Фуше достиг тогда, наоборот, расцвета своих сил. Ум закаленный, вооруженный коварством, сдается не так быстро, как ум, пребывающий в вечном круговороте страстей. Никогда Фуше не был так ловок, так пронырлив, так изворотлив и смел, как в эти сто дней, в период воссоздания и падения империи; не к Наполеону, а к нему обращены полные ожидания взоры, от него ждут спасения. Все партии (необычайное явление) оказывают этому министру больше доверия, чем сам император. Людовик XVIII, республиканцы, роялисты, Лондон, Вена — все видят в Фуше единственного человека, с которым можно действительно вести переговоры, и его расчетливый холодный ум внушает усталому, жаждущему мира человечеству больше доверия, чем вспышка мятущегося гения Наполеона.

Все те, кто отказывает «генералу Бонапарту» в титуле императора, все они с уважением относятся к личному кредиту Фуше. Те самые границы, на которых беспощадно задерживаются и арестовываются государственные агенты императорской Франции, словно по мановению волшебного жезла открываются для тайных агентов герцога Отрантского. Веллингтон, Меттерних, Талейран, герцог Орлеанский, царь и короли, — все они охотно и с величайшей вежливостью принимают его эмиссаров, и тот, кто до сих пор всех обманывал, вдруг становится единственным честным игроком в мировой игре. Достаточно ему двинуть пальцем, чтобы вершилась его воля. Вандея восстала, предстоит кровавая борьба, — но достаточно Фуше отправить гонца, и он одними переговорами предотвращает гражданскую войну. «Для чего, — говорит он с откровенной расчетливостью, — проливать сейчас французскую кровь? Еще

несколько месяцев — и император либо победит, либо погибнет; зачем бороться за то, что, вероятно, без борьбы станет вашим достоянием? Сложите оружие и ждите!» И тотчас же роялистские генералы, убежденные этими трезвыми, отнюдь не сентиментальными доводами, заключают желанный договор.

Все — за рубежом и внутри страны — прежде всего обращаются к Фуше, ни одно парламентское решение не принимается помимо него, — беспомощно смотрит Наполеон, как слуга парализует его руку везде, где ему хотелось бы нанести удар, как он направляет против него выборы и с помощью республикански настроенного парламента ставит преграды его деспотической воле. Тщетно хочет Наполеон освободиться от него; миновало время, когда от герцога Отрантского, как от неудобного слуги, можно было самодержавно отделаться несколькими миллионами, дав ему отставку; теперь министр может скорее столкнуть с трона императора, чем император герцога Отрантского с его министерского кресла.

Эти недели своевольной и вместе с тем обдуманной, двойственной и все же ясной политики составляют самые совершенные страницы истории мировой дипломатии. Даже личный противник, идеалистически настроенный Ламартин, вынужден воздать дань уважения макиавеллистическому гению Фуше. «Нужно признать, — пишет он, — что Фуше проявил редкую смелость и стойкую неустрашимость в своей роли. Он ежедневно рисковал головой из-за своих козней, он мог бы немедленно пасть жертвой гордости или гнева, пробудившегося в груди Наполеона. Из всех уцелевших со времени Конвента он один сохранил и не умалил свою отвагу. Зажатый благодаря своей смелой игре в жестокие тиски между нарождающейся тиранией и воскресающей свободой, с одной стороны, и между Наполеоном, приносящим отечество в жертву своим личным интересам, и Францией, не желающей идти на гибель ради одного человека, с другой стороны, Фуше вселял страх в императора, льстил республиканцам, успокаивал Францию, подмигивал Европе,

улыбался Людовику XVIII, вел переговоры с дворами, обменивался жестами с господином Талейраном и поддерживал своим поведением равновесие; это была необычайно трудная, столь же низкая, сколь и возвышенная, но во всяком случае грандиозная роль, которой история поныне не оказала должного внимания. Роль, не отличающаяся благородством души, но не лишенная любви к отечеству и героизма, в которой подданный поднялся до положения повелителя, министр превзошел властелина, в которой Фуше стал посредником между империей, реставрацией и свободой, посредником — благодаря своему двуязычию. История, осуждая Фуше, должна будет признать его смелость в эпоху ста дней, превосходное ведение переговоров с партиями, величие его интриг, которые должны были бы поставить его в ряд с самыми выдающимися государственными деятелями века, если бы существовали подлинные государственные деятели, лишенные характера и добродетелей».

Так пронизательно судит Ламартин, поэт и государственный деятель, работавший в эпоху, непосредственно примыкавшую к этим событиям. Легенда о Наполеоне, сотворенная пятьдесят лет спустя, когда тела десяти миллионов убитых уже обратились в прах, инвалиды погребены, раны, нанесенные Европе, давно зажили, относится к Фуше, конечно, несправедливее и строже. Каждая героическая легенда представляет собой что-то вроде духовного фона для истории; она, как каждый фон, очень легко оперирует всем тем, в чем ей не надо принимать участия: бесчисленными человеческими жертвами, безудержным увлечением, даже безумствами героя, бессмысленной верностью ему. Наполеоновская легенда, с ее техникой черных и белых пятен, знает лишь «верных» и «предателей» своего героя; она не желает разницы между Наполеоном-консулом, который благоразумием и энергией водворил мир и порядок в своей стране, и позднейшим безумцем Наполеоном-кесарем, для которого война стала манией, который, ради удовлетворения своей жажды власти, беспощадно втяги-

вал мир в кровопролитные авантюры и сказал Меттерниху слова, достойные Тамерлана: «Такому человеку, как я, наплевать на миллион жизней». Каждый благоразумный француз, пытавшийся умеренностью оказать сопротивление этому безумному честолюбию одержимого демоном императора, слепо бросающегося навстречу своей гибели, каждый, кто не цеплялся раболепно и бесстыдно, забыв обо всем на свете, за его Джаггернаутову колесницу\* — Талейран, Бурьенн, Мюрат, — всех их легенда с истинно дантовской жестокостью бросает в ад, и Фуше в ее глазах является предателем среди предателей, *advocatus diaboli*\*\*.

В ее изображении Фуше в 1815 году снова вступил в министерство будто бы для того, чтобы приблизиться к императору и улучшить момент, когда нанести ему удар в спину, заранее продавшись Людовику XVIII и европейским державам. Утверждают, будто он уже 20 марта, при отъезде короля, велел передать монархистам: «Спасайте короля, уж я берусь спасти монархию», и, принимая министерский портфель, доверился своему Санчо Панса: «Мой главный долг — противодействовать всем планам императора; через три месяца я буду сильнее его, и если до тех пор он не прикажет расстрелять меня, я поставлю его на колени», — это предсказание датировано настолько точно, что кажется придуманным *a posteriori*\*\*\*.

Предположить, что Фуше вступил в министерство, будучи приверженцем Людовика XVIII, как подкупленный им шпион, значило бы недооценить его, не понять его великолепно в своей психологической сложности и таинственного демонического характера. Не в том дело, что Фуше, абсолютный

---

\* Джаггернаут — индуское божество, одно из воплощений Вишну. Во время ежегодного праздника в его честь изображение вывозят на шестнадцатиколесной, роскошно убранной колеснице, которую тащат на длинном канате толпы богомольцев; нередко изуверы бросаются под колесницу и погибают, раздавленные ею. — *Примеч. пер.*

\*\* «Адвокат дьявола» (*лат.*) — лицо, назначаемое католической церковью при канонизации святого, которое должно доказывать, что данный святой не достоин канонизации. — *Примеч. пер.*

\*\*\* Впоследствии (*лат.*).



аморалист и макиавеллист, не был способен при случае совершить подобное — как и всякое вообще — предательство, нет, такая подлость была слишком проста, слишком малопривлекательна для сладострастного и отважного игрока. Просто обманывать одного человека, хотя бы и Наполеона, — это не в его натуре: обманывать всех — вот его единственное наслаждение, не хранить верности никому, каждого завлекать, играть одновременно заодно со всеми партиями и против всех партий, поступать не по предначертанному плану, а по интуиции, быть Протеем, богом превращений; воодушевить этого страстного дипломата может не роль Франца Моора или Ричарда III, прямолинейного интригана, а только двуличность, изумляющая даже его самого. Он любит препятствия ради препятствий, он искусственно создает их, удваивая, учетверяя свою роль; это не однократный, а многократный всесторонний прирожденный предатель. И действительно, Наполеон, знавший его лучше всех, вспоминая о нем на острове Святой Елены, высказывал глубокую мысль: «Я знал только одного действительно совершенного предателя: это был Фуше».

Совершенный, не случайный предатель — гений предательства — вот кем он был; его предательство не столько политика, тактика, сколько его подлинная натура. И лучше всего его натуру можно понять, сравнив его с прославившимися во время войны двойными шпионами, передававшими чужим державам одни тайны с целью выведать у них другие, более ценные. При этой двусторонней передаче сведений они в конце концов сами перестают понимать, какой державе служат; оплакиваемые обеими сторонами и ни одной не служившие верой и правдой, преданные лишь игре, двуязычной игре перехода с одной стороны на другую, сидя на двух стульях, они находятся во власти почти неуловимой, дьявольской услады. Лишь когда чаша весов окончательно перевешивает в одну сторону, страсть к игре уступает место благоразумию, которое озабочено получением барыша: лишь когда предрешена побе-

да, Фуше определяет свою позицию, — так было в Конвенте, так было в эпоху директории, консульства и империи. Пока идет борьба, он не переходит ни на чью сторону; когда борьба кончается, он всегда на стороне победителя. Если бы Груши пришел вовремя, Фуше был бы по крайней мере в течение некоторого времени преданным министром Наполеона. Так как Наполеон проиграл сражение, Фуше не мешает его падению и отпадает от него. И не оправдываясь, он с обычным цинизмом высказался по поводу своей позиции в период ста дней: «Не я предал Наполеона, а Ватерлоо».

Конечно, нетрудно себе представить, что Наполеона приводит в бешенство эта двойная игра его министра. Он знает, что теперь дело идет о его жизни. В течение десяти с лишним лет каждое утро этот худощавый, сухопарый человек с бесцветным и бескровным лицом над темным, расшитым пальмовыми ветвями сюртуком входит в кабинет Наполеона, делает доклад, — великолепный, ясный, неопровержимый доклад о положении дел. Никто не охватывает с такой полнотой события, никто не может яснее изобразить ход мировой политики, во все проникнуть, все прозреть. И вместе с тем Наполеон чувствует, что Фуше не говорит ему всего, что он знает. Ему известно: к герцогу Отрантскому являются гонцы от государств, утром, в полдень и ночью принимает его собственный министр за запертой на ключ дверью подозрительных роялистских агентов, ведет переговоры, заводит связи, о которых он ему, императору, не докладывает. Делается ли это, как хочет заставить его поверить Фуше, действительно ради информации или завязываются тайные интриги? Отвратительна эта неуверенность для затравленного императора, окруженного сотней врагов! Тщетно он то дружелюбно расспрашивает Фуше, то осыпает его оскорбительными выражениями: по-прежнему непоколебимо сжаты его тонкие уста, ничего не выражают стеклянные глаза. К Фуше не подойдешь близко, у него не вырвешь тайны. И Наполеон лихорадочно обсуждает: как его поймать? Как узнать, предаст ли его человек, который может

заглянуть во все карты мировой игры, или он предает его врагов? Как поймать неуловимого, как проникнуть в непроницаемого?

Наконец — спасение! — след, намек, почти доказательство. В апреле тайная полиция, которой император специально поручил следить за его министром полиции, узнает, что из Вены прибыл неизвестный, под видом служащего венской банкирской конторы, и прямо отправился к герцогу Отрантскому. Посланного выслеживают, арестовывают, — конечно, без ведома министра полиции Фуше, — приводят в один из елисейских павильонов к Наполеону. Там уже угрожают немедленным расстрелом и продолжают его запугивать, пока он наконец не сознается, что привез для Фуше послание от Меттерниха, написанное секретными чернилами, с поручением организовать в Базеле совещание посредников.

Наполеон в бешенстве: письма с такими предложениями от вражеского министра к министру его собственному, это равнозначно государственной измене. Первая его мысль естественна: сейчас же арестовать неверного слугу и опечатать его бумаги. Но приближенные отговаривают его, так как доказательств пока еще нет, и, зная неоднократно испытанную осторожность герцога Отрантского, можно быть уверенным, что в бумагах не найдется и следа его проделок. И император решает прежде всего испытать покорность Фуше. Он приглашает его к себе, говорит с непривычным притворством, перенятым у собственного министра, о создавшемся положении и спрашивается о возможности вступить в переговоры с Австрией. Фуше, не подозревая, что его посланец давно все выболтал, ни одним словом не упоминает о письме Меттерниха; притворяясь равнодушным, император его отпускает, совершенно убежденный в подлости своего министра. Но, чтобы его обличить окончательно, он — несмотря на свое возмущение — инсценирует тонко придуманную комедию со всеми кви про кво мольеровской пьесы. Через агента разузнали пароль для встречи с посредником Меттерниха. Император посылает до-

веренное лицо, которое должно выступить в роли посланного Фуше, — ему австрийский агент, несомненно, выдаст тайны, и, наконец, император узнает достоверно, предал ли его Фуше и в какой мере предал. В тот же вечер посланец Наполеона уезжает: через два дня Фуше будет обличен и пойман в собственный капкан.

Однако, как быстро ни протянешь руку за угрем или змеей, — поймать невооруженной рукой холоднокровное животное невозможно. Комедия, которую ставит император, имеет, как каждая настоящая пьеса, побочное действие, как бы двойное дно. Так же как Наполеон держит тайную полицию за спиной Фуше, так Фуше имеет подкупленных писцов и тайных доносчиков за спиной Наполеона: его лазутчики работают не менее проворно, чем шпионы императора. В тот самый день, когда агент Наполеона отправился на маскарад в Базель, в гостиницу «Трех королей», Фуше уже узнал о грозящей ему опасности: кто-то из «верноподданных» Наполеона донес ему об этой комедии. И на другое утро при своем обычном докладе Фуше, которого хотели застать врасплох, сам поражает своего повелителя. Посреди разговора он, проводя рукой по лбу, с миной человека, вспомнившего еще об одной незначительной мелочи, сообщает: «Ах да, сир, за более важными делами я забыл вам сказать, что получил письмо от Меттерниха. Но его посланец не передал мне порошка, чтобы расшифровать послание, и я предполагал сначала, что это какая-то мистификация. Поэтому только сегодня могу вам об этом доложить».

Тут император не выдержал. «Вы предатель, Фуше! — восклицает он. — Я должен был бы приказать вас повесить».

«Я не разделяю вашего мнения, ваше величество», — хладнокровно отвечает невозмутимейший, спокойнейший министр.

Наполеон дрожит от гнева. При помощи этого преждевременного признания снова выскользнул из его рук этот Фра-Дьяволо. Агент, принесший ему через два дня сведения о пе-

реговорах в Базеле, сообщил мало определенного и много неприятного. Мало определенного: ибо из слов австрийского агента вытекает, что осторожный Фуше слишком хитер, чтобы явно связаться с врагами; он лишь вел за спиной своего повелителя свою излюбленную игру: сохранять за собой все возможности. Но и много неприятных вестей привез посланец: державы согласны на любое правительство, кроме одного — правительства Наполеона Бонапарте. Яростно кусает император губы. Сила его кулака сломлена. Он хотел тайно поразить с тыла скрывающегося в тени врага, и в этой дуэли, из тьмы, ему самому нанесена смертельная рана.

Решительный момент, благодаря приемам Фуше, пропущен, Наполеон это знает. «Его предательство — как на ладони, — говорит он своим приближенным, — я жалею, что не выгнал его, прежде чем он мне сообщил о своей переписке с Меттернихом. Теперь момент упущен, и нет предложения. Он повсюду распространил бы, что я тиран, жертвующий всем во имя своей подозрительности». С совершенной пронизательностью сознает император свое поражение, но он продолжает бороться до последней минуты, в надежде, что удастся перетянуть дуликого на свою сторону или заставить его наконец врасплох и погубить. Он натягивает все струны. Пускает в ход доверчивость, любезность, снисходительность и осторожность, но его воля беспомощно отскакивает от граней этого холодного, превосходно обточенного камня: алмаз можно расколотить или выбросить, но не пронизать.

Наконец, истерзанный подозрениями император теряет терпение; Карно рассказывает о сцене, в которой драматически проявляется бессилие императора в борьбе со своим мучителем. «Вы меня предаете, герцог Отрантский, у меня есть доказательства», — выкрикивает Наполеон однажды на совете министров, обращаясь к невозмутимому герцогу и, схватив нож из слоновой кости, лежавший на столе, кричит: «Возьмите этот нож и вонзите его в мою грудь, — это будет честнее того, что вы проделываете. Я мог бы расстрелять вас, и весь

мир одобрил бы этот поступок. А если вы спросите, почему я этого не делаю, я отвечу, что слишком презираю вас, что на моих весах вы не весите и унции». Ясно, что его подозрительность перешла в бешенство, его страдание — в ненависть. Он никогда не забудет, что этот человек осмелился его так провоцировать, и Фуше это знает. Но он спокойно высчитывает скудные надежды императора на власть. «Через месяц с этим безумцем будет покончено», — уверенно и презрительно говорит он своему другу. Поэтому он и не помышляет теперь о союзе; после этого решительного сражения один из них должен уйти с дороги: Наполеон или Фуше. Он знает (Наполеон объявил об этом), что первое же известие о победе на поле сражения принесет ему увольнение, а может, и приказ об аресте. И вот стрелки часов возвращаются на двадцать лет назад, к 1793 году, когда самый могущественный муж своей эпохи, Робеспьер, решительно заявил, что через две недели должна пасть чья-нибудь голова, его или Фуше. Но герцог Отрантский приобрел за это время самоуверенность. В сознании своего превосходства он напоминает другу, предостерегающему его от гнева Наполеона, былую угрозу и, улыбаясь, присовокупляет: «Но пала его голова».

18 июня внезапно загремели пушки перед Домом Инвалидов. Население Парижа восторженно встрепенулось. За последние пятнадцать лет оно научилось узнавать этот металлический голос. Победа достигнута, успешно закончено сражение, — полное поражение армии Блюхера и Веллингтона — как передает «Moniteur». Восторженные толпы народа наводняют бульвары, настроение, еще не устойчивое несколько дней тому назад, проявляется вдруг в выражении верноподданнических чувств императору и во всеобщем восторге. Только чувствительнейший термометр — рента — падает на четыре пункта, ибо каждая победа Наполеона обозначает продление войны. И лишь один человек, быть может, трепещет в глубине души от страха при этом медном звуке — это Фуше. Ему победа деспота может стоить жизни.

Но трагическая ирония: в тот же час, когда салютуют в Париже французские пушки, английские пушки давно уже разбили при Ватерлоо пехоту и гвардию, и в то время как столица, ничего не подозревая, устраивает иллюминацию, кони прусской кавалерии, подымая вихри пыли, гонят перед собой последние жалкие остатки бегущей армии.

Еще день длится упоение не подозревающего правды Парижа. Только двадцатого просачиваются в город страшные вести. Бледные, дрожащими губами шептывают парижане друг другу тревожные слухи. В комнатах, на улице, на бирже, в казармах шепчутся и разговаривают люди о катастрофе, несмотря на упорное молчание газет. Все население внезапно оробевшей столицы говорит, колеблется, негодует, жалуется и надеется.

И только один действует: Фуше. Едва получив (конечно, раньше других) весть о Ватерлоо, он уже смотрит на Наполеона, как на ненужный труп, который необходимо как можно скорее убрать. И он тотчас же берется за лопату, чтобы вырыть ему могилу. Немедленно пишет он герцогу Веллингтону, чтобы сразу установить контакт с победителем: одновременно, с беспрецедентной психологической предусмотрительностью, он предупреждает депутатов, что Наполеон в первую очередь попытается всех их отправить домой: «Он вернется рассвирепевшим и потребует немедленной диктатуры». Необходимо ему сейчас же поставить палки в колеса! К вечеру парламент уже подготовлен, совет министров восстановлен против императора, последняя возможность захватить снова власть выбита из рук Наполеона, — и все это прежде, чем он успел ступить ногой в Париж. Повелитель часа теперь не Наполеон Бонапарте, а наконец, наконец, наконец — Жозеф Фуше.

Незадолго до зари, покрытая черной мантией ночи, как траурным покрывалом, плохонькая коляска (его собственную Блюхер захватил вместе с императорскими ценностями, саблей и бумагами) проезжает через парижскую заставу на Елисейские поля. Тот, кто шесть дней тому назад в своем приказе

по армии патетически писал: «Для каждого француза, обладающего мужеством, настал час победить или умереть», сам не победил и не умер, но за него при Ватерлоо и Линьи погибло еще шестьдесят тысяч человек. Теперь он поспешно вернулся домой, как некогда из Египта, из России, чтобы спасти власть: он нарочно велел замедлить шаг лошадей, чтобы прибыть тайно, в темноте. И вместо того, чтобы прямо направиться в Тюильри, в свой императорский дворец, и предстать перед народными депутатами Франции, он спасает свои разбитые нервы в маленьком, отдаленном Елисейском дворце.

Усталый, разбитый человек выходит из коляски, бормоча бессвязные, спутанные слова, подыскивая запоздалые объяснения и извинения неизбежным событиям. Горячая ванна приводит его в себя; тогда он созывает совет. Беспокойно, колеблясь между гневом и состраданием, почтительно, но без внутреннего почтения, слушают они несвязные и лихорадочные речи побежденного императора, снова фантазирующего о стотысячной армии, которую он хочет набрать, о реквизиции лошадей, высчитывающего им (прекрасно знающим, что и ста человек не выжать больше из страны), что через две недели он противопоставит союзным державам двухсоттысячное войско. Министры, среди них и Фуше, стоят с поникшими головами. Они знают, что эти лихорадочные речи — последние судороги грандиозной жажды власти, все еще не угасшей в этом гиганте. Он требует именно того, что предсказал Фуше: диктатуры, соединения всей военной и политической власти в одних, в его руках, — и он требует ее, быть может, только для того, чтобы министры ему в ней отказали, чтобы впоследствии, перед историей, можно было свалить на них вину, можно было сказать, что у него отняли последнюю возможность одержать победу (современность знает аналогичные случаи таких оборотов!).

Но все министры высказываются осторожно, каждый боится резкими словами причинить боль страдающему человеку, лихорадочно бредящему императору. Только Фуше незачем



говорить. Он молчит, он давно сделал свое дело, он уже давно принял меры, чтобы отразить последнюю атаку Наполеона на власть. С объективным любопытством, с любопытством врача, наблюдающего последние отчаянные судороги умирающего, заранее высчитавшего, когда остановится пульс, когда будет сломлено сопротивление, он без сожалений слушает эти тщетные судорожные речи: ни одного слова не сходит с его тонких бескровных уст. *Moribundus* — погивший, приговоренный к смерти, — какое значение могут иметь его речи, продиктованные отчаянием! Он знает, — пока император здесь опьяняется, стараясь опьянить и других навязчивыми фантазиями, в тысяче шагах отсюда, в Тюильри, собрание совета с немилосердной логикой вершит, наконец, беспрепятственно его — Фуше — волю и желание.

Он сам, правда, так же как и 9 термидора и 21 июня, не появляется в собрании депутатов. Он — этого достаточно — в тени расставил свои батареи, составил план сражения, выбрал подходящую минуту для атаки и подходящего человека: трагического, почти гротескного противника Наполсона — Лафайета. Вернувшись четверть века тому назад героем американской освободительной войны, этот молодой дворянин, увенчанный, несмотря на свой возраст, славой в двух частях света, знаменосец революции, пионер новых идей, любимец своего народа, Лафайет познал рано, слишком рано экстаз могущества. И потом, вдруг, из ничтожества, из спальни Барраса, явился маленький корсиканец, какой-то лейтенант в заплатанной шинели и стоптанных сапогах, и в течение двух лет завладел всем, что он построил и чему положил начало, похищая у него место и славу; подобные вещи не забываются. Рассерженный, обиженный дворянин остается в своем имении, в то время как корсиканец в расшитой мантии императора принимает поклонение европейских князей и вводит новый деспотизм, — более суровый, — деспотизм гения вместо бывшего деспотизма дворянства. Ни одного луча благоволения не бросает это восходящее солнце на отдаленное поместье; и когда маркиз Лафайет

в своем простом костюме приезжает в Париж, этот выскочка едва обращает на него внимание; расшитые золотом сюртуки генералов, мундиры новоиспеченных маршалов сверкают ярче, чем его уже покрывшаяся пылью слава. Лафайет забыт, никто за двадцать лет не называет его имени. Волосы его седеют, похудел и высох его мужественный стан, и никто не призывает его ни в армию, ни в сенат; ему презрительно позволяют сажать розы и картофель в Лагранже. Нет, такие вещи не забываются честолюбцем. И когда народ, вспоминая о революции, в 1815 году снова избирает бывшего любимца своим представителем, и Наполеон вынужден к нему обратиться с речью, Лафайет отвечает холодно и уклончиво —слишком гордый, слишком честный, слишком искренний, чтобы скрыть свою вражду.

Но теперь, подталкиваемый Фуше, он выступает вперед; подавленная ненависть находит себе выход в благоразумии и силе. Впервые раздается опять с трибуны голос старого знаменосца: «Впервые за многие годы подымая голос, который узнают старые друзья свободы, я вынужден напомнить вам об опасностях, грозящих родине, спасение которой всецело в вашей власти». Впервые прозвучало опять слово свободы, и в этот миг оно значит: освобождение от Наполеона. Лафайет предлагает заранее отвергнуть всякую попытку распустить палату, еще раз произвести переворот; восторженно принимают решение объявить народное представительство несменяемым и считать предателем отечества всякого, кто будет повинен в содействии его роспуску.

Кому адресовано это суровое послание, нетрудно отгадать; едва узнав о решении, Наполеон ощутил удар, направленный ему в лицо. «Я должен был разогнать этих людей перед отъездом, — говорил он в бешенстве. — Теперь кончено». На самом же деле еще не все кончено и еще не поздно. Своевременным отречением он мог бы еще спасти для своего сына императорскую корону, а для себя — свободу; он мог бы, с другой стороны, сделать тысячу шагов, отделяющих Елисейский дворец от

зала заседаний, и там своим личным присутствием воздействовать на это стадо баранов; но в мировой истории всегда повторяется одно поразительное явление: как раз самые энергичные люди в наиболее ответственную минуту впадают в странную нерешительность, похожую на духовный паралич. Валленштейн перед своим падением, Робеспьер в ночь на 9 термидора — и в такой же мере вожди последней войны — все они именно тогда, когда даже излишняя поспешность была бы меньшей ошибкой, обнаруживают роковую нерешительность.

Наполеон ведет переговоры, спорит с несколькими министрами, которые его равнодушно выслушивают, он бесполезно осуждает ошибки прошлого как раз в тот час, который должен решить его будущее, он обвиняет, он фантазирует, он выжимает из себя пафос — настоящий и театральный, — но не обнаруживает ни малейшего мужества. Он разговаривает, но не действует. И точно так же, как 18 брюмера, — словно история когда-нибудь повторялась в пределах одного жизненного круга, словно аналогия не была всегда самой опасной ошибкой в политике, — он посылает ораторствовать своего брата Люсьена вместо того, чтобы лично явиться и перетянуть на свою сторону депутатов. Но тогда Люсьен имел на своей стороне, в качестве красноречивого защитника, победы брата и могучие руки гренадеров, а его сообщниками были энергичные генералы. Кроме того (об этом Наполеон роковым образом забыл), за эти пятнадцать лет погибло десять миллионов человек. И потому, когда Люсьен теперь поднимается на трибуну и обвиняет французский народ в неблагодарности, в нежелании защищать дело его брата, в Лафайете внезапно прорывается сдерживаемый гнев разочарованной нации против ее палача, и он произносит незабываемые слова, которые, подобно искре, брошенной в пороховой погреб, сразу разрушают все надежды Наполеона. «Как, — обрушивается он на Люсьена, — вы осмеливаетесь бросить нам упрек, что мы недостаточно сделали для вашего брата? Разве вы забыли, что кости

наших сыновей, наших братьев повсюду свидетельствуют о нашей верности? В песчаных степях Африки, на берегах Гвадалквивира и Тахо, на берегах Вислы и на ледяных полях Москвы за эти десять с лишком лет погибло ради одного человека три миллиона французов! Ради человека, который еще и сейчас хочет проливать нашу кровь в борьбе с Европой. Этого достаточно, слишком достаточно для одного человека! Теперь наш долг — спасти отечество». Громовое одобрение, по-видимому всеобщее, могло бы убедить Наполеона, что наступил крайний срок добровольно отречься. Но, по-видимому, на земле нет ничего более трудного, как отречься от власти. Наполеон медлит. Это промедление стоило его сыну империи, а ему свободы.

Фуше теряет, наконец, терпение. Если неудобный человек не хочет уйти добровольно, то долой его! Надо только немедленно и хорошенько приладить рычаг, — и тогда рухнет даже колоссальное обаяние. Ночью он обрабатывает преданных ему депутатов, и на следующее же утро палата повелительно требует отречения. Но и это кажется недостаточно ясным для того, чью кровь волнует жажда могущества. Наполеон все еще ведет переговоры, пока, по настоянию Фуше, Лафайет не произносит решающих слов: «Если не последует отречения от престола, я предложу свержение».

Они дают повелителю мира час времени для почетного ухода, для окончательного отречения; но он использует его не как политик, а как актер — так же, как в 1814 году в Фонтенебло, перед своими генералами. «Как, — восклицает он возмущенно — насилие? В таком случае я не отрекусь. Палата есть только шайка якобинцев и честолюбцев, которых я должен был бы обличить перед нацией и разогнать. Но потерянное время можно наверстать». В действительности же он хочет, чтобы его просили еще настойчивее, чтобы, таким образом, жертва казалась еще значительнее; и в самом деле, министры почтительно уговаривают его, как в 1814 году уговаривали его генералы. Один Фуше молчит. Известие приходит за извести-

ем, стрелка часов неумолимо подвигается вперед по циферблату. Наконец император бросает взгляд на Фуше, взгляд, как рассказывают свидетели, полный насмешки и страстной ненависти. «Напишите этим господам, — приказывает он ему презрительно, — чтобы они успокоились, — я их удовлетворю». Фуше тотчас набрасывает карандашом несколько строк своим подручным — о том, что сильный удар больше не нужен, а Наполеон уходит в отдельную комнату, чтобы продиктовать своему брату Люсьену текст отречения.

Через несколько минут он возвращается в главный кабинет. Кому передать документ такого серьезного содержания? Какая страшная ирония! Именно тому, кто заставил его писать и кто стоит теперь неподвижно, как Гермес, неумолимый вестник. Император безмолвно вручает ему бумагу. Фуше безмолвно принимает с трудом добытый документ. И делает низкий поклон.

Но это был его последний поклон.

На заседании палаты Фуше отсутствовал. Теперь, когда победа одержана, он входит и медленно поднимается по ступеням, держа в руках исторический документ. Его узкая, жесткая рука интригана, вероятно, дрожала в эту минуту от гордости, потому что он вторично победил сильнейшего человека Франции. Это 22 июня для него так же важно, как 9 термидора. При всеобщем потрясающем молчании бросает он, холодный и неподвижный, несколько прощальных слов своему бывшему повелителю, словно бумажные цветы на свежую могилу. И больше никаких сентиментальностей! Не для того вышиблена власть из рук этого гиганта, чтобы, валяясь на земле, она могла бы сделаться добычей каждого, кто сумеет ее ловко поднять. Теперь нужно самому овладеть ею, нужно использовать минуту, к которой он стремился много лет. Он вносит предложение немедленно избрать временное правительство, директорию из пяти человек, уверенный, что теперь, наконец, он сам будет избран. Однако еще раз ему угрожает опасность, что самостоятельность, к которой он так долго

стремился, ускользнет из его рук; правда, ему удастся при выборах коварно подставить ножку опаснейшему конкуренту, Лафайету, который, именно своей прямоотой и республиканской убежденностью, оказал ему незаменимые услуги.

Однако при первом голосовании Карно получил 324 голоса, а он сам, Фуше, только 293, так что председательство в новом временном правительстве принадлежит несомненно Карно. Но в эту решительную минуту, отделенный всего одним дюймом от цели своих стремлений, Фуше, как опытный азартный игрок, делает еще раз один из своих самых поразительных и подлых ходов. В результате выборов место председателя принадлежит Карно, а ему, Фуше, приходится и в этом правительстве быть только вторым, между тем как он жаждет быть, наконец, первым, неограниченным повелителем. Тогда он прибегает к утонченной хитрости: едва только собрался совет пяти, и Карно готовится занять принадлежащее ему по праву председательское кресло, Фуше, делая вид, что это в порядке вещей, предлагает своим коллегам организовать. «Что вы под этим подразумеваете?» — спрашивает изумленный Карно. «Это значит, — наивно отвечает Фуше, — избрать председателя и секретаря». И с лживой скромностью прибавляет: «Я даю вам мой голос для председательского места». Карно, не замечая, что его хотят провести, вежливо говорит: «А я вам свой». Но два члена втихомолку уже завербованы в пользу Фуше; он имеет, таким образом, три голоса против двух, и прежде чем Карно понял, как его одурачили, сидит уже на председательском кресле. После Наполеона и Лафайета ему удалось перехитрить и Карно, и вместо этого популярнейшего человека властителем судеб Франции оказывается пройдоха Жозеф Фуше.

В течение пяти дней, с 13 по 18 июня, император потерял свою власть; в течение пяти дней, с 17 по 22 июня, Фуше ее приобрел; он теперь уже не слуга, а впервые — неограниченный повелитель Франции, свободный, божественно свободный в своей любимой, сложной игре в мировую политику.

Его первое мероприятие: долой императора! Даже тень Наполеона подавляет Фуше, и совершенно так же, как Наполеон, когда был у власти, плохо себя чувствовал, пока этот непостижимый Фуше находился в Париже, так и Фуше не может спокойно дышать, пока пространство в несколько тысяч миль не будет отделять его от серого плаща. Он избегает говорить с ним лично, — к чему сентиментальности? — он диктует ему письма, подернутые легким розовым флером благожелательства. Но скоро срывает он и этот бледный покров вежливости и беспощадно дает почувствовать сверженному императору его бессилие. Политическая прокламация, с которой Наполеон хотел на прощанье обратиться к своей армии, просто-напросто брошена под стол; напрасно на другой день утром Наполеон с недоумением ищет свои слова в «Moniteur». Фуше запрещает их печатать. Фуше запрещает императору! Ему еще кажется невероятной безграничная дерзость, с которой обращается с ним его бывший слуга, но с каждым часом толчки, получаемые им от этой жесткой руки, становятся все настойчивее и определеннее, пока он наконец не переезжает в Мальмезон. Забравшись туда, он упорно сопротивляется. Он хочет двигаться дальше, хотя уже приближаются драгуны армии Блюхера, хотя Фуше непрерывно и все суровее вынуждает его быть благоразумным и уезжать. Чем яснее чувствует Наполеон свое падение, тем судорожнее цепляется за власть. В конце концов, когда дорожная карета уже стоит наготове во дворе, у него появляется мысль сделать еще один величественный жест; он, император, просит разрешения, в качестве простого генерала, стать во главе войск, чтобы снова победить или умереть. Но Фуше, трезвый Фуше, не может серьезно отнестись к такому романтическому предложению. «Шутит, что ли, этот человек с нами? — восклицает он гневно. — Его присутствие во главе армии явилось бы только новым вызовом Европе, и не таков его характер, чтобы можно было поверить в его равнодушие к власти».

Фуше грубо выговаривает генералу за то, что тот вообще

осмеливается обратиться к нему с подобным поручением вместо того, чтобы отправить императора, и приказывает ему несмеленно позаботиться об отъезде этого человека. Самого Наполеона он вообще не удостоивает ответом. Победенные в глазах Фуше не стоят капли чернил.

Наконец он свободен, наконец он у цели: устранив Наполеона, пятидесятишестилетний Фуше, герцог Отрантский, стоит один, никем не ограниченный, на вершине власти. Какой бесконечно извилистый путь пройден им через житейский лабиринт в течение четверти века: от маленького, бледного купеческого сына к печальному монастырскому учителю с тонзурой на голове, потом народный трибун и проконсул, затем герцог Отрантский, слуга императора, и, наконец, — ничей слуга, а единственный повелитель Франции. Интрига восторжествовала над идеей, судьба над гением. Вокруг него целое поколение бессмертных отошло в вечность: Мирабо умер, Марат умерщвлен, Робеспьер, Демулен, Дантон гильотинированы, его сотоварищ по консульству Колло изгнан на малярийный остров Гвианы, Лафайет устранен, все, все его товарищи по революции ушли, исчезли. В то время как он, свободно избранный доверием всех партий, распоряжается судьбами Франции, Наполсон, повелитель мира, в бедной одежде, с фальшивым паспортом, едет в изгнание в качестве секретаря какого-то незначительного генерала; Мюрат и Ней ожидают расстрела, родственники Наполеона, ничтожные короли по его милости, бродят с места на место, без земли, с пустыми карманами, в поисках убежища.

Все славные деятели этой единственной, поворотной эпохи мира пали, он один возвысился благодаря тому настойчивому терпению, с каким он составлял свои планы, роясь во мраке под землей. Министерство, сенат и народное собрание покорно гнутся, как мягкий воск, в его искусных руках, некогда высокомерные генералы, дрожа за свои пенсии, с овечьей кротостью подчиняются новому президенту; все граждане и весь народ ждут его решений. Людовик XVIII шлет к нему гонцов,



Талейран шлет поклоны, Веллингтон, победитель при Ватерлоо, посылает ему дружеские известия, — впервые все нити мировых судеб проходят совершенно открыто и свободно через его руки.

Перед ним стоит неизмеримая задача: охранить разбитую, побежденную страну от приближающихся врагов, помешать бесполезному, патетическому сопротивлению, добиться хороших условий мира, найти подходящую государственную форму, подходящего государя, создать из хаоса новые нормы, прочный порядок. Это требует мастерского умения, крайней изворотливости ума, и действительно, в этот час, когда все сбито с толку и теряют присутствие духа, распоряжения Фуше обнаруживают величайшую энергию, а его замыслы, идущие по двум или даже четырем направлениям, поразительную уверенность. Он со всеми дружен, но только для того, чтобы всех дурачить и делать лишь то, что ему лично кажется правильным и полезным. Хотя он делает вид перед парламентом, что стоит за сына Наполеона, перед Карно — что он приверженец республики, перед союзниками выдает себя за сторонника герцога Орлеанского, на самом деле он незаметно, тихонько подталкивает кормило правления к прежнему королю Людовику XVIII.

Совершенно незаметно, делая легкие, искусные повороты, не открывая даже ближайшим товарищам своих действительных намерений, переходит он через целое болото подкупов на сторону роялистов и ведет переговоры о передаче правительства Бурбонам, в то время как в совете министров и в аппарате он непоколебимо играет роль бонапартиста и республиканца. С психологической точки зрения такое решение задачи было единственно правильным. Только немедленная капитуляция перед королем может обеспечить пощаду истекающей кровью, разоренной, наводненной чужими войсками Франции, создать безболезненный переход. Фуше, единственный из всех, благодаря своему чутью действительности, сразу понимает необходимость этого и проводит в жизнь свой замысел собст-

венной волей и собственными силами, несмотря на противодействие совета, народа, армии, палаты и сената.

Фуше, действительно, обнаруживает в эти дни много замечательных качеств, но — в этом его трагедия! — ему недостает только одного, последнего, самого высшего и чистого качества: умения забыть себя, свою выгоду ради дела. Того последнего качества, которое подсказало бы, что ему, пятидесятишестилетнему старику, стоящему на вершине славы, обладающему десяти- или двадцатимиллионным состоянием, пользующемуся почетом и уважением современников и истории, по окончании столь мастерски исполненной задачи надо отойти в сторону. Но тот, кто двадцать лет так жадно стремился к власти, кто двадцать лет наслаждался ею и все еще не насытился, тот не способен отойти, — совершенно так же, как Наполеон, Фуше не способен уйти от власти хотя бы минутой прежде, чем его оттолкнут от нее. И так как у него уже нет господина, которого он мог бы предать, ему ничего более не остается, как предать самого себя, свое прошлое.

Возвратить теперь побежденную Францию ее прежнему повелителю — вот истинное дело данного момента, правильная и смелая политика. Но требовать награды за такое решение, получить «на водку» пост королевского министра — это уже низко, это более чем преступно: это глупо. И бешеный честолюбец Фуше совершает эту глупость, чтобы хоть еще в течение нескольких мировых часов «avoir la main dans la pâte», пить из источника власти. Это его первая и самая большая, неизгладимая глупость, навеки заклеившая его перед историей. Ловко, умно и упорно взбирался он на тысячу ступенек, но на последней неловко и совершенно ненужно опустился на колени и полетел стремглав вниз.

Как произошла эта продажа трона Людовику XVIII в награду за министерский пост, об этом свидетельствует сохранившийся характерный документ, один из немногих дословно воспроизводящий дипломатический разговор обычно столь осторожного Фуше. Во время ста дней единственный мужест-

венный приверженец короля, барон де Витроль в Тулузе, собрал армию и сразился с возвращающимся Наполеоном. Его схватили в плен, привезли в Париж, и император хотел немедленно приказать расстрелять его, но вмешался Фуше; он всегда стоял за пощаду, в особенности по отношению к тем врагам, которые, во всяком случае, могли еще пригодиться. Итак, довольствовались тем, что заключили его в военную тюрьму до окончания судебного разбирательства. Но как только 23 июня Фуше становится повелителем Франции, жена арестованного спешит к нему и умоляет об освобождении Витроля, и Фуше немедленно изъявляет согласие, потому что для него очень важно заручиться расположением Бурбонов. На другой же день барон Витроль, освобожденный предводитель роялистов, является к герцогу Отрантскому, чтобы выразить свою благодарность. Между избранным республиканскими голосами главой страны и непримиримым архироялистом происходит следующий разговор. Фуше говорит ему: «Что предполагаете вы теперь делать?» — «Я думаю ехать в Гент, почтовая карета уже ждет у ворот». — «Это самое разумное, что вы можете сделать, потому что здесь для вас не безопасно». — «Не хотите ли вы что-нибудь передать через меня королю?» — «Ах, Боже мой, нет. Совершенно ничего. Скажите только, пожалуйста, его величеству, что он может рассчитывать на мою преданность, но, к сожалению, не от меня зависит, чтобы он в скором времени приехал в Тюильри». — «Но мне кажется, что это зависит только от вас». — «Меньше, чем вы предполагаете. Трудности очень велики. Во всяком случае, палата упростила ситуацию. Вы ведь знаете, — и при этом Фуше улыбается, — что она провозгласила королем Наполеона Второго». — «Как Наполеона Второго?» — «Конечно, с этого надо было начать». — «Но я полагаю, что к этому нельзя серьезно относиться?» — «Да, конечно. Чем больше я размышляю, тем больше убеждаюсь в том, что это провозглашение совершенно бессмысленно. Но вы не можете себе представить, как много есть еще людей, преданных этому имени. Некоторые из моих

коллег, и прежде всего Карно, убеждены, что с избранием Наполеона Второго все будет спасено». — «А сколько времени будет продолжаться еще эта шутка?» — «По всей вероятности, столько, сколько нам потребуется, чтобы избавиться от Наполеона Первого». — «И что же тогда произойдет?» — «Почем я знаю? В такие минуты, как теперь, трудно предсказать, что будет на следующий день». — «Но если господин Карно, ваш коллега, так привязан к Наполеону, вам будет, вероятно, трудно отклонить эту комбинацию?» — «Ба, вы не знаете Карно! Чтобы его от этого отвлечь, достаточно провозгласить правительство французского народа. Французский народ, подумайте только, что он скажет, когда услышит эти слова!» И оба смеются: избранный республиканцами герцог Отрантский, высмеивающий своего коллегу, и представитель роялистов. Они начинают понимать друг друга. «Это правильно, так дело пойдет на лад, — возобновляет разговор барон Витроль. — Но я надеюсь, что после Наполеона Второго и «французского народа» вы вспомните, наконец, о Бурбонах». — «Разумеется, — говорит Фуше, — очередь за герцогом Орлеанским». — «Как за герцогом Орлеанским? — восклицает изумленный барон Витроль. — Неужели вы думаете, что король согласится принять корону, которую столько раз выставляли на продажу и предлагали всему свету?» Фуше молчит и улыбается.

Но барон де Витроль уже понял. Фуше показал ему свои намерения этим лукаво-ироническим, как будто небрежным разговором. Он дал ему ясно почувствовать, что, пожалуй, трудностей достаточно, что вместо Людовика XVIII могут провозгласить власть либо Наполеона Второго, либо французского народа, либо герцога Орлеанского, но что лично он, Фуше, не сочувствует особенно ни одной из этих возможностей и готов спокойно вычеркнуть их все три в пользу Людовика XVIII, если... Это условие не высказано, но барон Витроль понял его, быть может, по улыбке во взгляде, быть может, по какому-нибудь жесту. Во всяком случае, он принимает внезапное решение отказаться от поездки и остаться в Париже у

Фуше, конечно, при условии, что ему будет предоставлена свобода переписки с королем. Он ставит условия: прежде всего для его агентов двадцать пять паспортов в Гент, в главную квартиру короля. «Пятьдесят, сто, сколько вы хотите», — отвечает весело настроенный республиканский министр полиции представителю противников республики. «Затем прошу вас разрешить мне один раз в день с вами разговаривать». Снова весело отвечает герцог: «Один раз недостаточно! Два раза, один раз утром, другой раз вечером». Теперь барон де Витроль может спокойно оставаться в Париже и под защитой герцога Отрантского вести переговоры с королем и сообщить ему, что ворота Парижа для него открыты, если... если Людовик XVIII готов купить герцога Отрантского в качестве министра нового королевского правительства.

Когда Людовику XVIII предложили подарить Фуше министерский пост, чтобы таким способом открыть себе ворота Парижа, Бурбон, обычно флегматичный, вскипел. «Никогда!» — крикнул он тем, которые хотели поставить в списке это ненавистное имя. И действительно, какое нелепое предложение: принять в кабинет убийцу короля, одного из тех, кто подписал смертный приговор его родному брату, беглого священника, бешеного атеиста и слугу Наполеона! «Никогда!» — кричит он в возмущении. Но ведь известно из истории, что означают эти «никогда» королей, политиков и генералов: почти всегда они являются началом капитуляции. Разве Париж не стоит обедни?\* Разве со времени Генриха IV короли, его предки, не приносили подобных *sacrifici dell'intelletto*, жертв ума и совести ради обладания властью?

Под влиянием настойчивых усилий со стороны придворных генералов, Веллингтона и более всего Талейрана (ему, женатому епископу, нужно иметь среди придворных еще более хитрого человека) король начинает постепенно колебаться. Все уверяют его, что только один человек может беспрепятст-

---

\* Выражение Генриха IV, принявшего в 1593 году католичество, отказавшись от протестантизма для того, чтобы получить французский престол. — *Примеч. пер.*

венно открыть ему ворота Парижа: только Фуше! Только он, человек, принадлежащий ко всем партиям и разделяющий мнения всех, являющийся лучшим вечным стремянным всех претендентов на корону, только он может предотвратить кровопролитие. Кроме того, этот старый якобинец уже давно сделался отличным консерватором, раскаялся и наилучшим образом предал Наполеона. В конце концов король, чтобы облегчить свою совесть, исповедуется — говорят, что он воскликнул: «Бедный брат, если бы ты мог видеть меня в эту минуту!» — и изъявляет готовность принять Фуше тайно в Нельи — тайно, потому что в Париже никто не должен подозревать, что избранный вождь народа продает свою страну ради министерского поста, а претендент на престол — свою честь ради королевской короны. Во мраке, в присутствии одного только свидетеля, беглого епископа, заключается это позорнейшее дело новой истории между бывшим якобинцем и будущим королем.

Там, в Нельи, разыгрывается жуткая и фантастическая сцена, достойная Шекспира или Аретино\*: король Людовик XVIII, потомок Людовика Святого, принимает одного из убийц своего брата, семикратного клятвопреступника Фуше, министра Конвента, императора и республики, для принесения присяги, восьмой присяги на верность. Талейран, бывший епископ, затем республиканец, затем слуга императора, вводит своего компаньона. Чтобы лучше ступать, хромой Талейран кладет свою руку на плечо Фуше, — «порок, опирающийся на предательство», по язвительному замечанию Шатобриана, — и таким образом эти два атеиста, оппортуниста приближаются, как братья, к наследнику Людовика Святого. Сперва низкий поклон. Затем Талейран принимает на себя тяжелую обязанность представить королю в качестве министра убийцу его брата. Худощавый человек делается бледнее обыкновенного, когда он преклоняет колени перед «тираном», «деспотом» для принесения присяги, целует руку, в которой течет та

---

\* Знаменитый итальянский сатирик XVI века. — *Примеч. пер.*

самая кровь, которую он некогда помог пролить, и приносит присягу во имя того Бога, чьи церкви он разграбил и осквернил вместе со своей шайкой в Лионе. Во всяком случае, это слишком сильно, даже для такого человека, как Фуше.

Поэтому, покидая комнату, где происходила аудиенция, он все еще бледен и должен опираться на хромого Талейрана. Он не говорит ни слова. Даже иронические замечания этого прожженного циника-епископа, который, служа обедню, играл в карты, не могут вывести его из смущенного молчания. Ночью, имея в кармане подписанный декрет о своем назначении министром, возвращается он в Париж к своим ничего не подозревающим коллегам в Тюильри, которых он завтра выгонит, а послезавтра отправит в ссылку: ему, вероятно, не очень уютно среди них. Наконец-то этот неверный слуга стал свободным, но — удивительные контрасты судьбы — измененные души никогда не выносят свободы, а бегут, как бы по принуждению, обратно в рабство. И вот Фуше, вчера еще сильный и независимый, вновь унижается перед господином, вновь приковывает свои свободные руки к галере власти (предполагая, что находится у руля судьбы). Скоро он будет носить и клеймо, знак своей галеры.

На следующее утро вступают войска союзников. Согласно тайному уговору они занимают Тюильри и просто-напросто запирают двери перед депутатами. Это дает удобный повод мнимо изумленному Фуше предложить своим коллегам, в виде протеста против штыков, низложить правительство. Одураченные министры поддаются его патетическим жестам. Согласно уговору престол внезапно оказывается незанятым, и в течение одного дня в Париже нет правительства. Людовику XVIII достаточно приблизиться к воротам Парижа — и его восторженно принимают, как спасителя, под шумные возгласы ликования, подготовленные за деньги новым министром полиции: отныне Франция опять королевство.

Теперь только коллеги Фуше поняли, как утонченно он их провел. Теперь из «Moniteur» они узнают, за какую цену

был куплен Фуше. В эту минуту в благовоспитанном честном незапятнанном (хотя несколько ограниченном) Карно вспыхивает бешенство: «Куда же мне теперь идти, предатель?» — обрушивается он с презрением на новоиспеченного роялистского министра полиции.

Но Фуше отвечает ему так же презрительно: «Куда тебе угодно, дурак».

Этим лаконичным диалогом, характеризующим обоих старых якобинцев, последних термидорианцев, завершается удивительнейшая драма нового времени — Революция с ее ослепительной фантазмагорией — шествием Наполеона через мировую историю. Эпоха героических приключений угасла, начинается буржуазная эпоха.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### НИЗЛОЖЕН И ЗАБЫТ

1815 — 1820

28 июля 1815 года — сто дней наполеоновского интермеццо уже позади — король Людовик XVIII, в пышной парадной карете, запряженной белыми иноходцами, вторично въезжает в свой город Париж. Прием великолепен, Фуше поработал на славу. Ликующие толпы окружают карету, над домами веют белые флаги, а там, где их не нашлось, привязали наскоро к палкам платки и скатерти и высунули в окна. Вечером город сверкает тысячами огней, от избытка радости дамы танцуют даже с офицерами английских и прусских гарнизонных войск. Не раздается ни одного враждебного выкрика, предусмотрительно заготовленная жандармерия оказывается излишней; да, новый министр полиции христианнейшего короля, Жозеф Фуше, превосходно позаботился о своем новом суверене. В Тюильри, том самом дворце, где еще месяц назад он почтительно держал себя наивернейшим слугой своего императора Наполеона, герцог Отрантский ожидает короля, Людовика



XVIII, брата того «тирана», которого он двадцать два года тому назад, в этом же доме, приговорил к смерти. Теперь, однако, он глубоко и подобострастно склоняется перед потомком Людовика Святого и подписывается в своих письмах: «с почтением Вашего Величества наивернейший и наипреданнейший подданный» (эти слова, буквально, можно прочесть под дюжиной собственноручно написанных Фуше бумаг). Из всех бешеных прыжков его акробатического характера этот был самым дерзким, но он будет и последним на политическом канате. Поначалу кажется, что все великолепно пойдет на лад. Пока король некрепко сидит на троне, он не пренебрегает услугами господина Фуше. И потом, он еще нуждается в этом Фигаро, который умеет так блестяще жонглировать во всех направлениях. Прежде всего — для выборов, так как при дворе хотят обеспечить надежное большинство в народном парламенте; «испытанным» республиканцем и человеком, вышедшим из народа, пользуются в этом случае, как непревзойденным погонщиком. Кроме того, нужно позаботиться еще о всякого рода неприятных кровавых делах: почему не использовать эти истасканные перчатки? Ведь их можно после этого выбросить, даже не запачкав королевских рук.

Такое грязное дело представляется в первые же дни. Правда, в изгнании король торжественно обещал предоставить амнистию и не преследовать никого, кто в течение «ста дней» служил возвратившемуся узурпатору. Но после обеда рассуждаешь иначе\*; в очень редких случаях короли считают себя обязанными сдерживать то, что они обещали, пока были претендентами на корону. Злобные роялисты, гордые собственной верностью, требуют, чтобы теперь, когда король крепко сидит в седле, были наказаны все те, кто за «сто дней» отвернулись от знамени, расшитого лилиями. Побуждаемый роялистами, которые всегда настроены более роялистично, чем сам король, Людовик XVIII наконец сдается. И на долю мини-

---

\*Немецкая поговорка. — *Примеч. пер.*

стра полиции выпадает тяжелая обязанность составить список осужденных.

Герцогу Отрантскому это поручение неприятно. Можно ли действительно наказывать людей из-за такой мелочи, из-за того только, что они оказались наиболее благоразумными и перешли на сторону сильнейшего, на сторону победителя? И потом он, министр полиции христианнейшего короля, помнит, что первое место в таком опальном списке по всем правам должно, собственно, принадлежать герцогу Отрантскому, министру полиции при Наполеоне, то есть ему самому. Мучительное положение — Бог свидетель! Прежде всего, Фуше пытается хитростью избежать неприятного поручения. Вместо списка, который должен был содержать тридцать или сорок главных виновников, он приносит, ко всеобщему удивлению, несколько больших листов с тремя или четырьмястами, а как утверждают некоторые, даже с тысячью имен, и требует либо наказания их всех, либо никого. Он надеется, что у короля не хватит для этого мужества и, таким образом, с неприятным делом будет покончено; но, к сожалению, в министерстве председательствует Талейран, такая же лиса, как он сам. Он тотчас же замечает, что пилюля не пришлась по вкусу его приятелю Фуше; тем более стремится он заставить его ее проглотить. Он безжалостно велит сократить список Фуше, в нем остаются лишь четыре дюжины имен, и оставляет на его долю мучительную обязанность подписать своим именем эти приговоры к смерти и изгнанию.

Самое разумное для Фуше было бы надеть шляпу и закрыть за собой дверь дворца снаружи. Но уже не раз указывалось здесь на слабое место Фуше: его честолюбие обладает всеми качествами ума, за исключением одного — вовремя отойти. Он лучше навлечет на себя немилость, ненависть и гнев, нежели добровольно покинет министерское кресло. Так появляется, вызывая всеобщее возмущение, опальный список, содержащий самые известные и благородные имена Франции, скрепленный подписью старого якобинца. Среди имен: Карно «l'organisateur

de la victoire»\*, создатель республики, и маршал Ней, победитель в бесчисленных битвах, спаситель остатков восточной армии, — все его товарищи по Конвенту, его товарищи по революции. Все имена находятся в этом ужасном списке, который осуждает на смерть или изгнание, все имена, которые за два последних десятилетия покрыли Францию славой. Только единственное имя отсутствует в нем — имя Жозефа Фуше, герцога Отрантского.

Или, вернее, — оно не отсутствует. Имя герцога Отрантского значится на листе. Но не в тексте, среди обвиняемых и осужденных министров Наполеона. А как королевского министра, который отправляет всех товарищей на смерть или в изгнание, — как имя палача.

За такой удар, который старый якобинец этим самоунижением нанес своей совести, король не может отказать ему в известной благодарности. Жозефу Фуше, герцогу Отрантскому, воздается теперь наивысшая и последняя честь. После пяти лет вдовства он решил опять жениться, и тот самый человек, который когда-то так злобно жаждал «крови аристократов», задумал теперь сам соединиться с «голубой кровью» брачными узами — жениться на графине Каstellян, аристократке высшего ранга, тем самым, значит, члене «той преступной банды, которая должна погибнуть под мечом закона», как проповедовал он в свое время в Невере. Но с тех пор — мы видели это на многочисленных примерах — прежний якобинец, кровавый Жозеф Фуше, основательно изменил свои взгляды; когда теперь, 1 августа 1815 года, он едет в церковь, то это происходит не как в 1793 году для того, чтобы молотком разбивать «позорные свидетельства фанатизма», распятия и алтари, а для того, чтобы со своей благородной невестой смиренно принять благословение человека в той митре, которую он, как помнит читатель, в 1793 году нахлобучил ради шутки на уши ослу. По старому дворянскому обы-

---

\* Организатор победы (фр.).

чаю, — герцог Отрантский знает, что приличествует, когда он берет в жены графиню де Кастеллян, — брачный контракт подписывается первыми людьми двора и знати. И первым подписывает этот в своем роде единственный документ в мировой истории Людовик XVIII *manu propria*\* — подписывает убийце своего брата, как самый достойный и самый недостойный свидетель.

Это много, без сомнения, много. И даже слишком много. Эта высшая дерзость со стороны «régicide», цареубийцы, просить в свидетели венчания брата гильотинированного короля, возбуждает в дворянских кругах невероятное раздражение. Этот жалкий перебежчик, этот роялист с позавчерашнего дня, — так ворчат они, — ведет себя так, как будто он действительно принадлежит ко двору и к благородному сословию. Кому, собственно говоря, нужен еще этот человек, «le plus dégoûtant reste de la Révolution», этот последний грязный отброс революции, который оскверняет министерство своим презренным присутствием? Конечно, он помогал привезти короля обратно в Париж, он дал свою продажную руку, чтобы подписать осуждение лучшим людям Франции. Но теперь довольно! Те же аристократы, которые настаивали, пока король в нетерпении ожидал перед воротами Парижа, на том, что он непременно должен произвести в министры герцога Отрантского, они упрямо помнят только некоего Жозефа Фуше, который в Лионе расстрелял из пушек сотни священников и дворян и требовал смерти Людовика XVI. Внезапно герцог Отрантский замечает, что, когда он проходит приемную короля, целый ряд дворян больше не раскланивается с ним или поворачивается к нему спиной с вызывающей пренебрежительностью. Внезапно выплывают и переходят из рук в руки прокламации против «Mitrailleur de Lyon», новое патриотическое общество «Francs régénérés»\*\*, предки

---

\* Собственноручно (лат.).

\*\* Освобожденные франки (фр.).

«camelots du roi» и «Пробуждающейся Венгрии», устраивает собрания и требует коротко и ясно, чтобы знамя, расши-  
тое лилиями, было, наконец, очищено от этого позорного  
пятна.

Но Фуше не сдается так легко, когда речь идет о власти: он крепко цепляется за нее зубами. В секретном донесении одного шпиона того времени можно прочесть о том, как он пытается уцепиться со всех сторон. В конце концов, в стране еще находятся враждебные властители: они смогут защитить его от ультракоролевских слуг короля. Он наносит визит русскому царю, ежедневно часами ведет переговоры с Веллингтоном и английским посланником; он пускает в ход все дипломатические средства, пытаясь, с одной стороны, завоевать расположение народа жалобой против введенных войск и в то же время напугать короля преувеличенными донесениями. Он шлет победителя при Ватерлоо к королю Людовику XVIII, как своего заступника, он мобилизует банковских дельцов, женщин и последних друзей. Нет, он не хочет уходить: слишком дорого обошелся этот пост его совести, чтобы не защищаться до иступления. И действительно, еще несколько недель ему, как опытному пловцу, который то ложится на бок, то поворачивается на спину, удается продержаться на поверхности политических вод. В продолжение всего этого времени, как сообщает шпион, он бравирует оказываемым ему доверием, а возможно, что он и действительно им пользовался. Недаром все эти двадцать пять лет он неизменно выплывал.

И стоит ли тревожиться из-за каких-то дворянчиков тому, кто справился с Наполеоном и Робеспьером! Старый циник давно уже не боится людей, он — который перехитрил и пережил величайших в мировой истории людей.

Но одного искусства не изучил этот старый кондотьер, этот утонченный знаток людей, да и никто не может его изучить: искусства бороться с призраками. Он забыл одно, что при дворе короля, как символ мести, бродит призрак прошлого: герцогиня Ангулемская, родная дочь Людовика XVI и Марии Антуанетты, единственная из всей семьи, избежавшая вели-

кого избиения. Король Людовик XVIII еще мог простить Фуше; в конце концов, этому якобинцу он обязан своим королевским тронном, а такое наследство утишает иногда (история может это доказать) братскую скорбь и в высших кругах. Ему было легко прощать потому, что он не пережил лично ничего из того ужасного времени. У герцогини же Ангулемской, дочери Людовика XVI и Марии Антуанетты, остались в душе потрясающие картины ее детства. У нее есть воспоминания, которые не забываются, и чувство ненависти, которое ничем не может быть смягчено; слишком много испытало ее тело и ее душа, чтобы она могла когда-нибудь простить этого якобинца, этого страшного человека.

Ребенком она присутствовала в замке Сен-Клу в тот ужасный вечер, когда народные толпы санкюлотов убили привратника и в окровавленных сапогах предстали перед ее матерью и отцом. Она потом пережила вечер, когда ее, отца, мать и брата, «булочника, булочницу и детей булочника», стиснутых в телеге, каждый час ожидающих смерти, волочила кричащая и неистовствующая толпа обратно в Париж, в Тюильри. Она пережила десятое августа, когда толпа, выломав двери, ввалилась в покои ее матери, когда ее отцу, насмехаясь, надели красную шапку на голову и приставили пику к груди; она пережила жуткие дни в тюрьме Тампля и ужасные минуты, когда к ним в окно подняли на пике окровавленную голову подруги ее матери, герцогини Ламбальской, с распущенными, склеившимися от крови волосами. Как может она забыть вечер прощания со своим отцом, которого тащили на гильотину, со своим маленьким братом, которого заморили и сгноили в темнице? Как не вспоминать о соратниках Фуше в красных шапках, которые так долго мучили ее и заставляли показывать в процессе против королевы о разврате ее матери Марии Антуанетты с ее маленьким сыном? И как изгнать из памяти то мгновение, когда она была вырвана из объятий своей матери и внизу по мостовой загромыхала телега, которая везла мать на гильотину? Нет, она, дочь Людовика XVI и Марии Антуа-

нетты, узница Тампля, знает об этих ужасах не как Людовик XVIII, понаслышке или из газет, они неизгладимо выжжены в ее напуганной, омраченной, измученной и истерзанной детской душе. И ненависть к убийцам ее отца, к мучителям ее матери, к ужасным картинам ее детства, к якобинцам и революционерам далеко еще не утихла в ней, далеко еще не отощана.

Такие воспоминания не забываются. И она поклялась нигде и никогда не подавать руки министру ее дяди, соучастнику убийства ее отца, Жозефу Фуше; никогда не дышать с ним одним воздухом, в одном и том же помещении. Открыто и вызывающе показывает она министру, перед всем двором, свое презрение и ненависть. Она не посещает ни одного праздника, ни одного собрания, где принимает участие этот убийца короля, этот предатель собственных убеждений; и ее открытое, насмешливое, фанатически подчеркиваемое презрение к перебежчику постепенно подстегивает у всех остальных чувство чести. В конце концов все члены королевской фамилии единодушно требуют от Людовика XVIII, чтобы теперь, когда его власть достаточно крепка, он с позором изгнал из Тюильри убийцу своего брата.

Неохотно, как помнит читатель, и потому лишь, что он не мог без него обойтись, назначил Людовик XVIII министром Жозефа Фуше. Охотно, и даже радостно, дает он ему теперь, когда в нем больше не нуждается, отставку. «Бедную герцогиню надо избавить от встреч с этим отвратительным типом», — улыбаясь, говорит он о человеке, который, еще ничего не подозревая, подписывается как его «наивернейший слуга». И Талейран, другой перебежчик, получает королевское поручение — разъяснить своему приятелю из Конвента и наполеоновского времени, что его присутствие в Тюильри не является более желательным. Талейран охотно принимает это поручение. Ему уже становится трудно держать паруса по крепкому роялистскому ветру. И он рассчитывает еще продержаться свой счастливый корабль на воде, выбросив излишний балласт. А

самый тяжелый балласт в его министерстве — это убийца короля, его старый сообщник Фуше; эту, казалось бы, тяжелую обязанность — выкинуть его за борт — выполняет он с очаровательной светской ловкостью. Не грубо или торжественно сообщает он ему о его отставке, — нет; как старый мастер формы, как природный дворянин, он выбирает изумительный способ дать Фуше понять, что теперь для него пробил последний час. Все время продолжает этот последний аристократ восемнадцатого века разыгрывать свои комедии и интриги за кулисами салона; и в этот раз он облакает грубое прощанье в тончайшую из всех форм.

14 декабря Талейран и Фуше встречаются на одном вечере. Ужинают, разговаривают, болтают; Талейран в прекрасном настроении. Вокруг него собирается большой круг: красивые женщины, сановники и молодежь, все жадно теснятся, чтобы послушать этого мастера речи. И действительно, в этот раз он особенно *charmant*\*. Он рассказывает о давно прошедших днях, когда ему пришлось, чтобы предупредить приказ Конвента о его аресте, бежать в Америку, и восторженно восхваляет эту великолепную страну. Ах, как там чудесно: непроходимые леса, где обитают первобытные племена краснокожих, неисследованные реки, мощный Потомак и огромное озеро Эри; а среди этой героической и романтической страны — новая порода людей, закаленная, крепкая и сильная, опытная в битвах, преданная свободе, образцовая в своих законах, не ограниченная в своих возможностях. Да, там еще можно поучиться, там чувствуется новое, лучшее будущее, в тысячу раз более живое, чем в нашей отжившей Европе! Там следовало бы жить, там надо было бы действовать, — восторженно восклицает он, — и ни один пост не казался бы ему более заманчивым, чем должность посла в Соединенных Штатах...

Внезапно он перебивает себя в своем, как бы случайном, вдохновении и обращается к Фуше: «Не хотелось ли бы вам, герцог Отрантский, получить такое назначение?»

---

\* Очарователен (фр.).



Фуше бледнеет. Он понял. Внутренне он дрожит от ярости, как умело и ловко, перед всеми людьми, перед всем двором, выставила старая лиса за дверь его министерское кресло. Он не отвечает. Но через несколько минут он раскланивается, идет домой и пишет прошение об отставке. Талейран радостно остается и на обратном пути сообщает своим друзьям, криво усмехаясь: «На этот раз я ему окончательно свернул шею».

Для того чтобы слегка замаскировать перед светом это явное изгнание Фуше, оставленному министру предлагают для проформы другую маленькую должность. Таким образом, в «*Moniteur*» не значит, что убийца короля, «*tégicide*» Жозеф Фуше отставлен от своего поста министра полиции, но там можно прочесть, что Его Величество, Людовик XVIII, соблаговолил назначить Его Светлость герцога Отрантского послом к дрезденскому двору. Естественно, все ждут, что он откажется от этого ничтожного назначения, которое не соответствует ни его рангу, ни его уже всемирно-историческому положению. Но не тут-то было! Не тратя много размышлений, Фуше должен был понять, что он, убийца короля, окончательно и бесповоротно низложен со службы реакционному королевству, что через несколько месяцев у него вырвут из зубов и эту жалкую кость. Но безумная жажда власти превратила эту в былое время такую отважную волчью душу — в собачью. Точно так же, как Наполеон до последнего момента неутомимо цеплялся не только за свое положение, но и за обманчивый звук имени своего императорского достоинства, точно так же и еще более неблагородно хватается его слуга Фуше за последний, маленький титул призрачного министерства. Клейко, как слизь, липнет он к власти; полный горечи, покоряется этот вечный слуга и на этот раз своему повелителю. «Я принимаю, *Sire*, с благодарностью должность посла, которую Ваше Величество соблаговолило предложить мне», — смиренно пишет этот пятидесятилетний старик, этот обладатель двадцати миллионов — человеку, который полгода тому назад вернулся на трон благодаря его милости. Он укладывает свои чемоданы и

переезжает со своей семьей к маленькому дворику в Дрезден, устраивается по-княжески и ведет себя так, как будто собирается провести там остаток своей жизни в роли королевского посланника.

Но то, чего он так долго страшился, скоро исполняется. Почти двадцать пять лет Фуше неистово боролся против возвращения Бурбонов, инстинктивно чувствуя, что они должны будут все же, в конце концов, потребовать отчета за те два слова «La mort», с которыми он отправил на гильотину Людовика XVI. Но он наивно надеялся обмануть их, прокравшись в их ряды и замаскировавшись под верного слугу короля. Однако на этот раз он обманул не других, а лишь самого себя. Едва только успел он обклеить новыми обоями свою комнату в Дрездене, едва успел запастись столом и кроватью, как во французском парламенте уже разражается гром. Никто не говорит больше о герцоге Отрантском, все забыли, что достойный носитель этого имени с триумфом ввел в Париж их нового короля, Людовика XVIII; речь идет только о господине Фуше, «régicide» Жозефе Фуше из Нанта, который в 1792 году приговорил к смерти короля, о «Mitrailleur de Lyon», и подавляющим большинством — 334 голоса против 32 — человек, «который поднял руку на помазанника», лишается какой бы то ни было амнистии и на всю жизнь изгоняется из Франции. Само собой разумеется, что это означает также и постыдное снятие его с должности посланника.

Безжалостно, насмешливо и презрительно «господин Фуше» выгнан на улицу; он уже больше не именуется светлостью, он больше не комтур Почетного легиона, больше не сенатор, больше не министр, больше не носитель знаков отличия; кроме того, саксонскому королю дается понять, что и личное пребывание этого субъекта, Фуше, в Дрездене более нежелательно. Тот, кто сам отправил тысячи в изгнание, следует за ними теперь, двадцать лет спустя, как последний из борющихся в Конвенте, без пристанища, проклинаемый, изгнанный. И теперь, когда он лишен власти и свободен, как птица,

ненависть всех партий так же единодушно обрушивается на низложенного, как прежде симпатии всех партий окружали властелина. Теперь не помогают больше ни уловки, ни протесты, ни уверения: властелин без власти, низложенный политик, сошедший со сцены интриган — всегда самое жалкое существо на земле. Поздно, но с безмерными процентами заплатит теперь свой долг Фуше, никогда не служивший какой-нибудь идее, моральной страсти человечества, а всегда лишь — преходящей благосклонности мгновения и людей.

Куда же теперь? Изгнанный из Франции герцог Отрантский сначала не заботится об этом. Разве он не любимец русского царя, не доверенный Веллингтона, победителя при Ватерлоо, не друг всемогущего австрийского министра Меттерниха? Разве не обязаны ему баварские князья и Бернадоты, которых он посадил на шведский престол? Разве не близок он уже многие годы со всеми дипломатами, разве не добивались страстно все князья и короли Европы его благосклонности? Ему достаточно (так думает низложенный) только сделать лишь легкий намек, и каждая страна будет настойчиво добиваться чести принять изгнанного Аристиды. Но какая разница в обращении мировой истории с низложенным и с властелином! Несмотря на многократные намеки, со стороны русского двора не приходят приглашения, так же как и от Веллингтона; Бельгия отказывается — там уже достаточно старых якобинцев, Бавария осторожно уклоняется, и даже старый друг, князь Меттерних, держится до странности холодно. Да, конечно, если герцог Отрантский уж очень хочет, он может отправиться в Австрию, там великодушно готовы ничего не иметь против. Но он ни в коем случае не может ехать в Вену, нет, там его присутствие не может понадобиться, и также в Италию — ни при каких условиях. В крайнем случае, в маленьком провинциальном городке, и то не в Нижней Австрии, то есть близко от Вены, может он поселиться (предполагается хорошее поведение). Да, он не слишком настойчив, старый добрый друг Меттерних, и даже то, что обладающий миллионами герцог Отрантский предлагает вложить все свое состояние в австрийские

земли или государственные бумаги, то, что он предлагает отдать своего сына на службу в королевскую армию, не смягчает сдержанного тона австрийского министра. Когда герцог Отрантский предлагает посетить Вену, он вежливо отклоняет: нет, ему лучше тихо и мирно отправиться в Прагу.

Так, собственно, без настоящего приглашения, без чести, скорее терпимый, нежели зазываемый, перебирается Жозеф Фуше из Дрездена в Прагу, чтобы обосноваться там: его четвертое изгнание, последнее и самое жестокое, началось.

В Праге также все не слишком восхищены прибытием высокого, во всяком случае, круто скатившегося с высоты гостя, в особенности неприязненно относится к внезапному пришельцу потомственная аристократия. Богемские дворяне все еще читают французские газеты, которые как раз сейчас изобилуют мстительными и яростными выпадами против «госпожина Фуше»; они часто и очень подробно рассказывают, как в 1793 году этот якобинец опустошал церкви в Лионе и обчищал кассы в Невере. Все маленькие писаки, которые прежде трепетали перед тяжелым кулаком министра полиции и должны были держать за зубами свое негодование, беспрепятственно плюют теперь на беззащитного.

С бешеной скоростью поворачивается теперь колесо. Тот, кто в свое время надзирал за полмиром, теперь сам под надзором; все полицейские приемы, рожденные его изобретательным гением, применяются теперь его учениками и подчиненными против своего бывшего учителя. Каждое письмо к герцогу Отрантскому или от него проходит через Черный кабинет, вскрывается и списывается, полицейские агенты подслушивают и докладывают о каждом разговоре, шпионят за его знакомыми, каждый шаг его контролируется, всюду он чувствует за собой слежку, подслушивание; его собственное искусство, его собственная наука испытываются с жесточайшей искусностью на всеискуснейшем, который их изобрел. Напрасно ищет он защиты от этих унижений. Он пишет королю Людовику XVIII, но тот так же не отвечает свергнутому, как это

сделал однажды Фуше по отношению к Наполеону, в день его свержения. Он пишет князю Меттерниху, который, в лучшем случае, отвечает ему через низших канцелярских служащих односложное «да» или «нет». Он должен спокойно сносить все ругательства, которыми каждый награждает его, он должен перестать наконец шуметь и подавать жалобы. Любимый всеми лишь из страха, он презираем всеми с тех пор, как его больше не боятся: величайший политический игрок сошел со сцены.

Двадцать пять лет ускользал он, гибкий и недостижимый, от рока, который уже так часто угрожающе нависал над ним. Теперь, когда он окончательно повержен на землю, судьба безжалостно обрушивается на низложенного. Не только как политик, а также как частный гражданин переживает Жозеф Фуше в Праге свою Каноссу: ни один романист не мог бы изобрести более остроумного символа его морального унижения, чем маленький эпизод, который произошел там в 1817 году. К трагическому присоединяется теперь ужаснейшая карикатура всякого несчастья — комическое. Унижается не только политик, но и супруг. Можно не сомневаться в том, что не любовь приблизила красивую двадцатишестилетнюю аристократку к этому пятидесятишестилетнему вдовцу с голым и помятым лицом мертвеца. Но этот малособлазнительный кавалер был в 1815 году вторым богачом Франции, обладателем двадцати миллионов, светлостью, герцогом и министром Его христианнейшего Величества; миловидной, но обедневшей провинциальной графине улыбалась законная надежда блистать на всех придворных вечерах и в Сен-Жерменском предместье, среди знатнейших женщин Франции и, действительно, начало было очень многообещающим: Его Величество соблаговолил собственноручно подписать ее брачное свидетельство, дворяне и придворные теснились среди поздравителей, пышный дворец в Париже, два имения и княжеский замок в Провансе соперничали в том, кто даст приют своей новой госпоже, герцогине Отрантской. За такое великолепие и за

двадцать миллионов честолюбивая женщина может взять в придачу и тощего, лысого, пергаментно-желтого супруга пятидесяти шести лет.

Но поторопившаяся графиня променяла свою молодость на золото дьявола, потому что вскоре после медового месяца она открывает, что она не супруга высокоуважаемого государственного министра, а жена самого презренного человека во Франции, изгнанного, лишенного земель, презираемого всем миром «господина Фуше» — герцог со всем своим великолепием исчез, ей остался лишь желчный, раздражительный, потрепанный старик. Поэтому не кажется очень неожиданным, что в Праге между этой двадцатипятилетней женщиной и молодым Тибодо, сыном также изгнанного старого республиканца, завязывается «*amitié amoureuse*»\*, о которой точно не знают, насколько она была лишь *amitié* и насколько *amoureuse*. Дело доходит до весьма бурных объяснений по этому поводу, Фуше отказывает молодому Тибодо от дома, и это супружеское недоразумение, к несчастью, не остается тайной.

Роялистские газеты, подкарауливая каждый повод, чтобы шелкнуть кнутом того человека, перед которым они дрожали многие годы, печатают ехидные заметки о его домашних разочарованиях, распространяют, к восхищению всех читателей, грубую ложь о том, что молодая герцогиня Отрантская в Праге удрала от старого рогоносца со своим любовником. Вскоре герцог Отрантский замечает, что, когда он появляется в пражском обществе, дамы с трудом подавляют смешок, и иронические взгляды сравнивают молодую, цветущую женщину с его собственной далеко не очаровательной фигурой. Старый распространитель слухов, вечный охотник за сплетнями и скандалом, чувствует теперь на самом себе, как неприятно быть жертвой злостного уничтожения репутации, и что с таким злословием нельзя бороться, а самое разумное — это бежать от него. Лишь теперь, в несчастье, сознает он всю глубину

---

\* Любовная дружба (*фр.*).

своего падения, и жизнь в Праге становится для него адом. Он обращается к князю Меттерниху с просьбой разрешить ему покинуть ненавистный город и избрать другой внутри Австрии. Его заставляют ждать. Наконец Меттерних милостиво разрешает отправиться в Линц; туда смиренно скрывается разочарованный и усталый человек от ненависти и насмешек прежде подвластного ему света.

Линц — в Австрии всегда улыбаются, когда кто-нибудь называет этот город, он слишком невольно рифмуется с провинцией. Мещанское население сельского происхождения, корабельные работники, ремесленники, — большей частью бедные люди, лишь несколько домов заселены австрийскими земельными аристократами. Здесь нет ни великой, славной традиции, как в Праге, ни оперы, ни библиотеки, ни театра, ни шумных аристократических балов, ни празднеств, — настоящий и довольно сонный сельский провинциальный городок, убежище ветеранов. Там поселяется старик с двумя молодыми женщинами, почти одного возраста, одна — его супруга, другая — его дочь. Он снимает великолепный дом, роскошно обставляет его, к большой радости линцовских подрядчиков и дельцов, так как в их стенах до сих пор не жили такие миллионеры. Несколько семей пытаются завязать знакомство с интересными и, хотя бы по деньгам, важными чужестранцами; знать, однако, явно предпочитает урожденную графиню Кастеллян этому мещанскому отродью, «господину Фуше», которому впервые Наполеон (тоже авантюрист в их глазах) накинул на сухие плечи герцогскую мантию. Чиновничество, в свою очередь, получило тайный приказ из Вены по возможности меньше общаться с ним; так живет он, раньше страстно деятельный, в полнейшей изоляции и почти избегаемый.

Один современник в своих мемуарах очень образно описывает его положение на одном из общественных балов: «Было странно видеть, как принимали герцогиню и как никто не интересовался самим Фуше. Он был среднего роста, сильный, но не толстый, лицо у него было уродливо. Он появлялся на тан-

цевальных вечерах постоянно в синем фраке с золотыми пуговицами, белых брюках и белых чулках. Он носил большой австрийский орден Леопольда. Обычно он стоял один у печки и смотрел на танцы. Когда я наблюдал этого раньше всемогущего министра французского королевства, который стоял так одиноко и покинуто и, казалось, радовался, когда какой-нибудь чиновник вступал с ним в разговор или предлагал ему партию в шахматы, — я невольно начал думать о непостоянстве всякой земной власти и могущества».

Единственное чувство поддерживает этого духовно страстного человека до последнего мгновения его жизни: надежда еще раз, еще когда-нибудь вернуться в сферу высокой политики. Усталый, истасканный, немного тяжеловесный и даже уже потучневший, он не может расстаться с иллюзией, что его, высокозаслуженного, еще раз призовут на его должность, еще раз судьба, как это часто бывало, вынесет его из мрака и бросит обратно в божественную мировую политическую игру. Непрестанно ведет он тайную переписку со своими друзьями во Франции, все еще прядет старое веретено свои таинственные сети, но они остаются незамеченными под линцовской крышей. Под вымышленным именем выпускает он «Замечания современника о герцоге Отрантском», анонимную похвалу, в которой живыми, даже лирическими красками описывается его талант, его характер; одновременно, в своих частных письмах, он усиленно сообщает, чтобы напугать своих врагов, что герцог Отрантский пишет свои мемуары, и даже то, что после этого они должны быть изданы у Брокгауза и посвящены Людовику XVIII: этим он хочет напомнить слишком отважным, что у бывшего министра полиции Фуше есть еще стрелы в колчане, и даже смертельно отравленные.

Но странно — никто больше не трепещет перед ним, ничто не освобождает его от Линца, никто не думает о том, чтобы призвать его, привезти, никто не нуждается в его совете, в его помощи. И когда во французском парламенте, по другому поводу, возбуждается вопрос о возвращении изгнанника, о



нем вспоминают уже без ненависти и без интереса. Трех лет, с тех пор как он покинул мировую арену, оказалось достаточным, чтобы забыть великого актера, который подвизался во всех ролях; молчание простирается над ним, как стеклянный катафалк. Для света не существует более герцога Отрантского; просто старый, усталый, сердитый, одинокий и чужой человек угрюмо гуляет по скучным улицам Линца. То там, то здесь подрядчик или делец вежливо приподнимают шляпу перед согбенным старцем, никто больше не знает его и никто не думает о нем. История, этот адвокат вечности, жесточайшим образом отомстила человеку, который всегда думал лишь о мгновении: она заживо похоронила его.

Так забыт герцог Отрантский, что никто, кроме нескольких австрийских полицейских чиновников, не обращает внимания, когда наконец в 1819 году Меттерних разрешает герцогу Отрантскому переехать в Триест, и то только потому, что из надежного источника он знает, что эта маленькая милость предназначается для умирающего. Бездеятельность утомила и принесла больше вреда этому беспокойному и жадному к работе человеку, чем тридцать лет фронтовой службы. Его легкие отказываются служить, он не может переносить сырого климата, и Меттерних дарует ему более солнечное место для смерти — Триест. Там изредка видят сломленного человека, уже тяжелыми шагами направляющегося к мессе и, со сложенными руками, преклоняющего колени перед скамьями: тот самый Жозеф Фуше, который четверть века тому назад собственной рукой разбивал распятия на алтарях, теперь, склонив седую голову, преклоняет колени перед «постыдными свидетельствами фанатизма»; возможно, что его охватила тоска по родным тихим переходам трапезных его старого монастыря.

Что-то в нем совершенно изменилось; он, старый сутяга и честолюбец, хочет только мира со всеми своими врагами. Сестры и братья его великого противника Наполеона, также давно низложенные и забытые светом, приходят навещать его;

они доверчиво болтают с ним о прошедших временах: все эти посетители удивлены, каким кротким сделала усталость этого человека. Ничто в этой бледной тени не напоминает больше устрашающего и опасного человека, который в течение двух десятков лет управлял светом и похлопывал по плечу величайших людей своего времени. Он хочет лишь мира, мира и спокойной смерти. И действительно, в свои последние часы он примиряется с Богом и людьми. Примирение с Богом: старый воинствующий атеист, гонитель христианства, разрушитель алтарей, он посылает в последние декабрьские дни за «отвратительным обманщиком» (как он величал его в майские дни своего якобинства), за пастором, и с набожно скрещенными руками принимает соборование. И примирение с людьми: за несколько дней перед смертью приказывает он своему сыну открыть его письменный стол и вынуть все бумаги. Зажигается большой огонь, сотни и тысячи писем бросаются в него, а с ними, вероятно, и страшные мемуары, перед которыми дрожали сотни людей. Была ли это слабость умирающего или последняя поздняя доброта, был ли это страх перед потусторонним миром или грубое равнодушие, — во всяком случае, все, что могло скомпрометировать других и чем он мог отомстить своим врагам, он, проникшись новым и почти набожным настроением, уничтожил на смертном одре, усталый от людей и от жизни, впервые, вместо славы и власти, стремясь к другому счастью: к забвению.

26 декабря 1820 года эта странная, богатая приключениями жизнь, начавшаяся в гавани Северного моря, угасает в городе Триесте на южном море. И 28 декабря опускают тело беспокойного перебежчика и изгнанника на последний покой. Известие о смерти знаменитого герцога Отрантского не пробуждает большого любопытства в свете. Лишь легкая, слабая дымка воспоминания о его имени быстро проносится и почти бесследно исчезает в успокоившемся небе времени.

Но четыре года спустя еще раз вспыхивает беспокойство. Распространяется слух, что устрашающие мемуары должны

появиться, и кое у кого из властителей, успевших слишком отважно обрушиться на низложенного, пробегает дрожь по спине: неужели еще раз заговорят эти опасные уста из могилы? Неужели выплывут на свет из тени полицейской лавочки отложенные в сторону документы, слишком доверчивые письма и компрометирующие доказательства? Но Фуше остается верным себе и в смерти. На мемуары, выпущенные ловким книготорговцем в 1824 году в Париже, так же нельзя полагаться, как на него самого. Даже из могилы не выдает всей правды этот упрямый молчальник, и в холодную землю ревниво уносит он свои тайны, чтобы самому остаться тайной, полумраком и полусветом, никогда вполне не разгаданной фигурой. Но именно потому все снова влечет она к инквизиторскому искусству, которое он сам в совершенстве изучил: по мимолетно промелькнувшему следу создавать весь извилистый жизненный путь и в переменчивой судьбе раскрывать духовные свойства этого замечательнейшего политика.



## СОДЕРЖАНИЕ

### ВРАЧЕВАНИЕ И ПСИХИКА

*Перевод В. Зоргенфрея*

Введение . . . . .	9
<b>Франц Антон Месмер . . . . .</b>	<b>25</b>
Предтеча и его время . . . . .	25
Зарисовка . . . . .	31
Воспламеняющая искра . . . . .	35
Первые опыты . . . . .	41
Домыслы и постижения . . . . .	47
Роман девицы Парадиз . . . . .	53
Париж . . . . .	62
Месмеромания . . . . .	69
Академия вмешивается в дело . . . . .	76
Борьба сторон . . . . .	82
Месмеризм без Месмера . . . . .	86
Возврат в забвение . . . . .	96
. Приемники . . . . .	108
<b>Мери Бекер-Эдди . . . . .</b>	<b>113</b>
Жизнь и учение . . . . .	113
Сорок погибших лет . . . . .	119
Квимби . . . . .	129
Психология чуда . . . . .	136
Павел среди язычников . . . . .	141
Зарисовка . . . . .	151
Первая ступень . . . . .	155
Учение Мери Бекер-Эдди . . . . .	168
Переход в откровение . . . . .	188

Последний кризис . . . . .	195
Христос и доллар . . . . .	206
Отход в облака . . . . .	218
Распятие . . . . .	230
Последействие . . . . .	243
<b>Зигмунд Фрейд . . . . .</b>	<b>247</b>
Положение на рубеже веков . . . . .	247
Зарисовка . . . . .	262
Исход . . . . .	271
Мир бессознательного . . . . .	281
Толкование снов . . . . .	287
Техника психоанализа . . . . .	302
Область пола . . . . .	315
Предзакатные дали . . . . .	322
Значение во времени . . . . .	344
<b>ЖОЗЕФ ФУШЕ</b>	
<b>Портрет политического деятеля. <i>Перевод П. Бернштейн</i> . . . . .</b>	<b>351</b>
Предисловие . . . . .	351
<i>Глава первая. Взлет . . . . .</i>	<i>356</i>
<i>Глава вторая. «Mitrailleur de Lyon» . . . . .</i>	<i>384</i>
<i>Глава третья. Борьба с Робеспьером . . . . .</i>	<i>402</i>
<i>Глава четвертая. Министр директории и консульства . . . . .</i>	<i>431</i>
<i>Глава пятая. Министр императора . . . . .</i>	<i>470</i>
<i>Глава шестая. Борьба с императором . . . . .</i>	<i>498</i>
<i>Глава седьмая. Вынужденное интермеццо . . . . .</i>	<i>516</i>
<i>Глава восьмая. Последняя борьба с Наполеоном . . . . .</i>	<i>532</i>
<i>Глава девятая. Низложен и забыт . . . . .</i>	<i>567</i>

**СТЕФАН ЦВЕЙГ**

**Собрание сочинений  
в десяти томах**

**Том шестой**

**Редактор**

*И. Шурыгина*

**Художественный редактор**

*И. Марев*

**Технический редактор**

*Г. Шитова*

**Корректоры**

*Н. Кузнецова, И. Сахарук*

ЛР № 030129 от 02.10.91 г.  
Подписано в печать 20.04.96 г. Уч.-изд. л. 29,65.  
Цена 24 000 р.

Издательский центр «ТЕРРА».  
113184, Москва, Озерковская наб., 18/1, а/я 27.

**Цвейг С.**

**Ц26**      Собрание сочинений: В 10 т. Т. 6: Врачевание и психика; Жозеф Фуше: Портрет политического деятеля / Пер. с нем.— М.: ТЕРРА, 1996.— 592 с.

ISBN 5-300-00432-4 (т. 6)

ISBN 5-300-00427-8

Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций.

В шестой том Собрания сочинений вошли историко-критические очерки «Врачевание и психика» — со статьями о Ф. Месмере, Мери Бекер-Эдди и З. Фрейде, воплотивших в жизнь идею лечения духом, и «Жозеф Фуше» — о замечательном политическом деятеле эпохи французской революции и Империи.

Ц 4703010000-208  
А30(03)-96      Подписное

ББК 84.4А